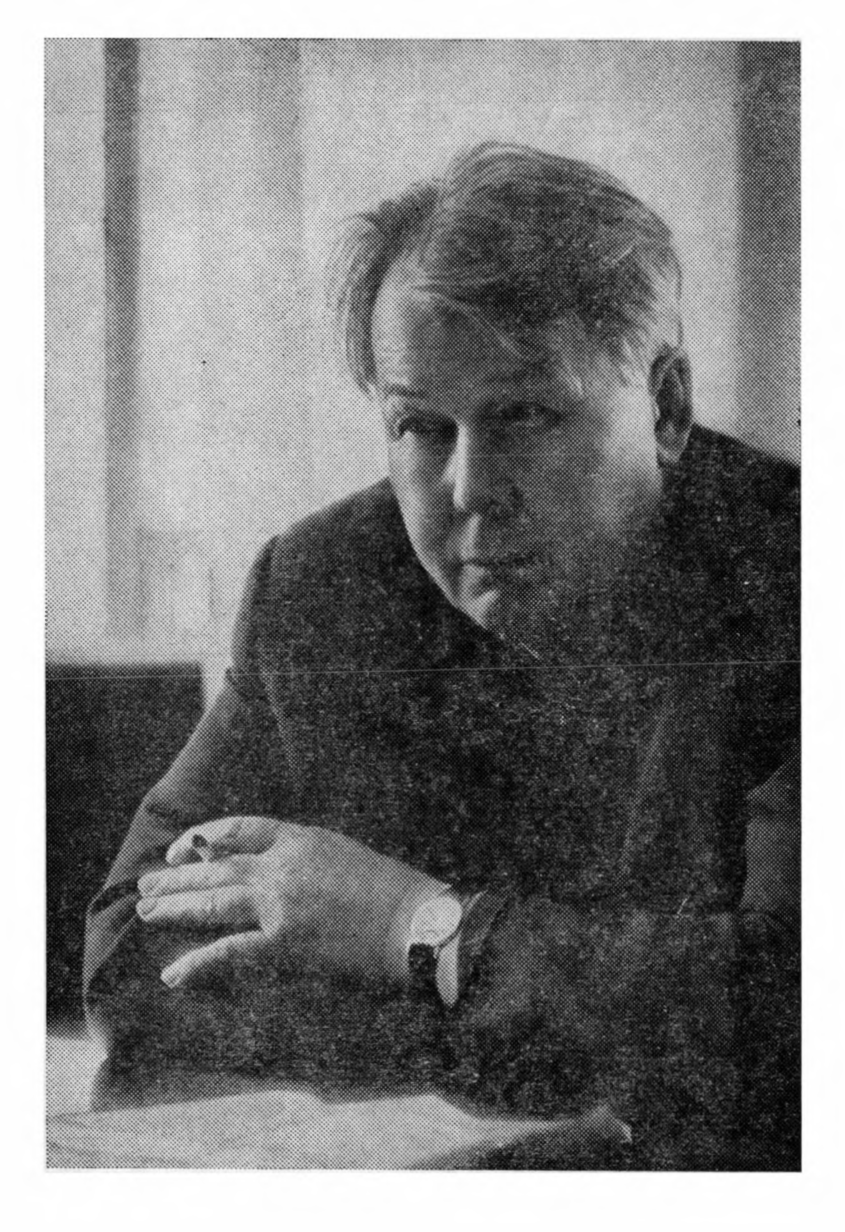
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.ТВАРДОВСКОМ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.ТВАРДОВСКОМ





ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ А. ТВАРДОВСКОМ

СБОРНИК

Москва Советский писатель 1978

Р2
В77

Александр Трифонович Твардовский — выдающийся советский поэт, любимый миллионами читателей в Советском Союзе и широко известный в переводах своих произведений за рубежами нашей Родины.

Сборник воспоминаний о нем его друзей и товарищей по годам учебы, военной поры, работы в советской литературе дает широкое представление об А. Твардовском как писателе, общественном деятеле и человеке. Среди авторов воспоминаний писатели П. Бровка, К. Ваншенкин, Е. Воробьев, Е. Долматовский, Б. Полевой, К. Симонов, И. Соколов-Микитов, К. Кулиев, художники О. Верейский и многие другие современники поэта.

Составитель *М. И. ТВАРДОВСКАЯ*

В $\frac{70302-165}{083(02)-78}$ 10—76

В ЛЯХОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ



родилась в деревне Ляхово, Глинковского района, Смоленской области. Сама деревня была расположена около реки, на большаке Смоленск — Ельня. Это о нем в поэме «Василий Теркин» вспоминает Александр Трифонович Твардовский, мой земляк и одноклассник: «Мать-земля моя родная, старый дедовский большак». На краю деревни стояла маленькая начальная, четырехклассная школа.

Вместе со мной учился и Александр Трифонович, а был он для нас тогда просто Шура. Приходил он сюда из соседней деревни Загорье вместе с братом Костей. Иногда отец привозил их в школу на лошади, бывал и у нас. Наш дом стоял рядом со школой. Все мы знали дружную и трудолюбивую семью Твардовских.

За деревней, в густом красивом парке, располагалась барская усадьба помещика Бартоломей. К усадьбе вели красивые подъезды, вокруг нее сад, цветы. Везде надписи на калитках ограды: «Проход посторонним воспрещен». Само имение нам казалось неописуемой красоты и, конечно, было недоступно. Сюда и была переведена школа.

В классе Александр сидел в среднем ряду, от стола третья парта. Всегда опрятный, подтянутый, с красивым, открытым лицом, голубыми глазами, таким остался он в памяти. Учился он отлично, переходил из класса в класс. Учительница Валентина Георгиевна всегда хвалила его, и в классе любили своего одноклассника.

Помню, в школу приехал инспектор и пришел к нам на урок. Мы все притихли — боялись. Раньше в школу на уроки ходил поп, чтобы учить нас закону божьему. На уроке

он сидел с линейкой в руках. Этой линейкой он бил того, кто отвечал не так. А когда вызывал отвечать, то не называл по имени или фамилии. Он тыкал линейкой в живот и говорил: «Ну, ты, маслобойницкое брюхо, отвечай!» При инспекторе мы также испугались, и читать первым учительница вызвала Шуру.

Читал Шура, как и всегда, четко, громко, отвечал смело и отлично продекламировал стихотворение Некрасова, которое было задано на дом. Все осмелели и стали отвечать, все пошло хорошо.

Он очень любил книги и удивлял нас знанием их. Мне теперь кажется, что порог школы он переступил уже с рифмой. Вначале мы слышали от него: сноп — сугроб, береза — Сережа, снег — смех. Потом, смотрим, у него уже появились стихи.

На большаке среди берез была одна выросшая боком. То ли ветром ее пошатнуло, пока не укрепилась, то ли еще что, но она такая и росла. Мы ее звали «кривая береза». Была она толстая, крепкая. Смельчаки пробовали взбираться по ней вверх.

Слышим, Александр, обращаясь к ней, говорит:

Наклонилась к земле,
Но не упала.
Рада солнцу, весне,
Что не пропала.

Все мы любили стихотворение из нашей школьной программы (не помню его автора).

Расскажи, мотылек,
Как живешь ты, дружок?
Как тебе не устать
День-деньской все летать?

— Я живу средь лугов
В блеске летнего дня.
Ароматы цветов —
Вот вся пища моя.

Но короток мой век —
Он не более дня.
Будь же добр, человек,
И не трогай меня!

Вскоре он нам читает свои, видимо под впечатлением этих написанные, стихи:

На цветах засыпают бабочки,
Уткнувшись в их середину,

А я сижу на лавочке
И любуюсь на эту картину.

Мы, помню, пробуем оценить и спрашиваем: почему на лугу стоит лавочка? Нам ведь привычно было видеть приволье и простор лугов без лавочек и скамеечек.

А он нам уже с увлечением читает на память стихи — «Крестьянские дети» Некрасова, «Бородино» Лермонтова и другие им горячо любимые стихи знаменитых русских поэтов. И произносит их так красиво, увлекательно, что заслушаешься.

Желанием отлично учиться и знать много он зажигал нас на уроках. Он любил учительницу, всегда готовил уроки и хорошо отвечал. Дружил с одноклассниками и помогал, если кто не понимал урока. В школьных коридорах висели географические карты. Александр любил рассматривать их и хорошо запоминал реки и города на них. Знал то, что еще не учили в классе. Все как-то вперед и больше того, что задавалось. Он грамотно писал и любил правильное произношение слов. Бывало, в разговорах или просто играх заспорим с ним.

Мы девочки-одноклассницы знали, чем довести его, и говорили «Твярдовский» вместо Твардовский. А он с укоризной говорил: «Эх ты, бяреза...» А если с нами была старшая сестра, то он говорил: «А ты Лидя» (вместо Лида).

Но это было не всерьез, товарищ он был хороший. Старшие мальчишки, бывало, обижали нас. Они любили бросаться снегом, колоть еловой веткой. А то, бывало, налетят и давай девочкам тереть щеки снегом, пока не заплачешь. Было холодно и без того, одежонка плохая, мерзнем, а тут еще накидают за воротник холодного снегу. Мы старались подходить к школе, когда видели, что идут Шура и Костя. С ними мы шли смело. Знали, что в их присутствии налет не пройдет.

Любил Шура на переменах организовать игру «в города»: станем друг против друга, и начинается перекличка городов. Перед этим надо было каждому назвать себя каким-нибудь городом. Всем нам были известны города Смоленск, Ельня, Москва. А ведь хотелось назвать другой, новый город. Вот и просим Александра, который знал названия многих городов. Так, смотришь, уже к следующему разу и сами начинаем искать карты и географические книги.

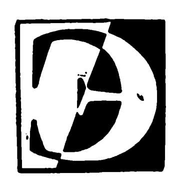
Была у нас мечта видеть свои места еще красивее и лучше. Как нам хотелось, чтобы дороги в деревне были ровные, обсаженные по сторонам березами, как у подъездов в бывшей панской усадьбе на старом большаке. Александр мечтал, чтобы было много садов вокруг, цвели цветы, и написал об этом стихи:

Вы, ракиты, густые, большие,
Принимайте под тенью, друзья.
А поля и луга дорогие,
Полюбите навеки меня!

Когда я училась в четвертом классе, у меня умер отец, и мать оставила меня помогать ей дома, в школе я стала бывать редко. На следующий год я держала вступительные экзамены в пятый класс смоленской школы. Но годы учебы с Александром Трифоновичем, воспоминания о светлых школьных днях в Ляховской начальной школе остались в памяти.

1973

ЕЩЕ О ЛЯХОВСКОЙ ШКОЛЕ



то было в 1922 или 1923 году.

Утром, к девяти часам, вместе с другими ребятами, бежали в школу два брата Твардовские — Александр и Костя.

Одеты они были в зимнее время в дубленые кожушки, сшитые в сборку, с полотняными сумками на боку для книг и завтрака. Осенью и весной бегать было сравнительно легко, но зимой — беда. Заносы, бураны, дороги не прочищались, учащиеся утопали в снегу и, как сейчас помню, почти каждый день оттирали один другому уши, щеки, носы.

Часто в такую погоду дальние ребята ночевали у нас.

В метель Трифон Гордеевич подвозил сыновей, и тогда на сани наваливались и попутные ребята.

Иногда он у нас ожидал конца занятий, а когда не располагал временем, говорил моей маме: «Лукьяновна, пусть мои парни переночуют, перебудут пургу».

Я была на один класс старше братьев Твардовских, а мои сестры Маня и Тоня учились вместе с ними.

Нам, детям, очень нравилось, когда братья у нас ночевали.

Наилучшим местом для наших занятий была большая русская печка.

Мы садились на скрученные сенники, грели перемерзшие за день ноги, сушили мокрую, а то и мерзлую обувь.

К этому времени зажигалась подвешенная к потолку лампа, и, кроме того, отец ставил заправленную для нас двухлинейную лампу на печку, на скамеечку, а то и на дежу.

И начиналась подготовка уроков. Мы читали, учили на память, считали, решали на грифельных досках задачи и один перед другим очень старались.

Конечно, приходилось слезать с печки писать и переписывать за столом, но основным местом обучения была печка.

На печке шла у нас беседа.

Плетенки лука, повешенные на стене, мотки пряжи, бабушкины мешочки с травами, мерцание лампы создавали обстановку для рассказов, фантазий, мечтаний вслух. Особенно если на дворе что-то стучало в забор или ворота, снег сыпал в окно, а в трубе завывало.

В перерыве между учением уроков или после того, как приготовим их, любили играть «в поезд», или, как мы чаще говорили, «в паровоз».

От нашего села до ближайших станций — Починок, Пересна, Глинка —было от четырнадцати до двадцати километров, и в хорошую погоду слышен был гудок паровоза, а иногда и стук колес.

Мы любили прислушиваться, определяли, куда шел поезд и какой он, а потом играли.

Впереди становился старший и кричал, как паровоз, остальные позади «чухали», изображая вагоны.

Играли мы и в другие игры,— например, в прятки, ключик. Чаще всего заводилой был шустрый, подвижной выдумщик Саша Твардовский.

Когда мы учили уроки, никак не хотел слезать с печки мой младший брат Боря. Он тоже что-то повторял, а то и спрашивал. Мы отнекивались, говорили: «Не мешай», «Потом», «Подожди», и только Саша Твардовский был к нему терпелив и даже ласков.

Уроки Саша почти всегда выучивал первый, потом на счетных палочках что-то складывал с Борей, рисовал на грифельной доске.

И вот однажды, когда мы слезли с печки ужинать, Боря начал складывать буквы и читать по газетам, которыми был оклеен угол.

Мама сначала думала, что это он выучил на память слова на стене, и принесла букварь. Но он тут же стал его читать.

Удивлялись родные, удивлялись учителя, и долго шла по селу молва о том, как Боря Ерофеев начал читать, когда ему не было еще и пяти лет.

Конечно, помог ему научиться читать Саша Твардовский.

Любил Саша сочинять стихи. По нашей просьбе он читал их. Мы слушали его внимательно всем домом — и отец, и мать, и глуховатая бабушка.

Нам нравилось все, что он сочинял, мы хвалили его и кричали: «Писатель, писатель!»

Читал он свои стихи и в классе, и слово «писатель» прочно пристало к нему.

Кроме учителей Варвары Лаврентьевны и Валентины Ге-

оргиевны, а позже учителей Гарянских к нам на урок приходил батюшка отец Антоний.

Он почти ничего не объяснял, строго спрашивал, часто ставил ребят в угол на колени, а то и бил линейкой по рукам. И вот Шура подговорил мальчишек устроить забастовку — не отвечать попу. Все девочки были тоже строго предупреждены.

На вопросы батюшки мы отвечали: «Не знаем», «непонятно».

Всех нас поставил на колени. Стояли мы после уроков долго, уже стемнело, онемели ноги, болели колени, но никто не просил прощения.

Самому попу надоело, он ушел,— нас отпустили.

Пришел он к нам и на следующий день, тоже долго ругался, страшил адом, искал зачинщиков, но мы молчали.

Саша рассказывал моей сестре Тоне, как он с братьями любил лазать по ракитам, которые стояли вокруг небольшого озерца около их дома.

Мать, Мария Митрофановна, боялась за детей, просила не влезать на высокие деревья и приводила пример, как один мальчик упал с высокого дерева и стал дураком. Это был Петя Пансковский, уже пожилой человек, который ходил с длинной палкой, расширенной книзу. Он ходил от деревни к деревне и плясал под окнами домов. Ему выносили еду, иногда медяки.

Но все же Саша упал с ракиты,— испугался, конечно, и, вскочив на ноги, сказал:

Упал с ракиты,
Стал как рак,
Но не дурак.

Это случилось, когда он еще не ходил в школу.

Помню игру в лапту — у нас ее называли апукой. Это была любимая наша игра во время перемен весной и осенью.

Иногда мячик был покупной, но с ним нужно было очень аккуратно обращаться. Он как-то скоро разбивался и дома за него попадало. Чаще же мы пользовались самодельными мячами. Весною мы выскубывали шерсть у линяющих коров, крепко накатывали ее на небольшой камушек и обтягивали сверху тряпками. Такой мячик был у нас в большом ходу, и весной у нас было что-то вроде смотра мячиков на прочность и легкость.

Однажды Саша бил, а я стояла сзади, и мне здорово попало по щеке палкой. Щека распухла, я боялась бежать домой. Ребята прикладывали мне в коридоре мокрые тряпки и медяки.

Такие случаи бывали нередко. Мальчишка обыкновенно убежит — и все: ведь не нарочно же бил.

Но Саша прибежал, протянул мне палку и говорит:

— Ударь меня по щеке, чтобы и мне было так же больно,— ведь я виноват. Ударь, и мы будем в расчете.

Я, конечно, не ударила. Походила некоторое время с краснотой, синяками, и опять мы вместе били апуку.

Стихи у Саши получались все лучше, и нам они нравились все больше. Стихи были про осень, бурю, мороз-трескун, о событиях в школе и играх.

Нам многим захотелось тоже писать стихи.

Пожалуй, даже редко кто не писал. Писали все. И после больших трудов у нас что-то получалось. Мы советовались, шептались, читали один другому и убеждались в конце концов, что с Сашей никто сравниться не может.

Мы говорили, что у него получается очень ловко,— это наше любимое местное выражение.

Окончилось детство, и разошлись наши жизненные дороги. Я больше никогда не встречалась с ним, но я и моя семья внимательно следили за его творчеством и читали о нем все, что можно было достать.

Когда умер Александр Твардовский, для нас это было большое горе.

1973

ЧАЙ С СОЛЬЮ

Шел двадцать шестой год. Демобилизовавшись из армии, я возвратился в Смоленск и первое время работал в молодежной газете «Юный товарищ», которую кратко называли «ЮТ».

Работая в газете, я списался с юнкором из Починковского района Сашей Твардовским, который присылал в редакцию юношеские, еще незрелые, но оригинальные стихи. В письмах своих Саша писал, что в деревне Загорье живется ему не ахти как, что он мечтает о Смоленске, но как это устроить, не знает. «Чего проще, приезжай ко мне»,— ответил я.

Спустя несколько месяцев он приехал. К тому времени я поступил в университет, на лингвистическое отделение. Когда я в первый раз увидел его, он показался мне наивным мальчиком, этаким белокурым пастушком со вздернутым носом. Я даже засмеялся над его ребяческим видом, хотя было ему лет семнадцать:

— Оказывается, вот какой ты!

Вот так мы и зажили. Как говорят, на равных правах. Особой нужды не терпели: стипендия да кое-какой гонораришко за его стихи, вроде таких, как «Выздоровление», «Уборщица». Правда, питались больше всухомятку, чаем с хлебом и сахаром.

Однажды (это было летом) я дал ему двугривенный, чтобы он купил сахару. Он пошел, а я стал кипятить чай. Возвратился он очень скоро.

— Принес сахару?

— Нет... Отдал этому... на углу...

А на углу стоял нищий — высокий, плотный мужчина, всегда подвыпивший.

Я не одобрил поступок юного друга, но что сделаешь?

— Ну что ж, будем пить чай с солью...

Прошли годы. Александр Трифонович Твардовский стал выдающимся (а по-моему, лучшим) советским поэтом, давшим народу такие классические произведения, как «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль».

И как тяжело стало на душе, когда в субботу вечером, 18 декабря 1971 года, услышал я, что Твардовского не стало...

Смоленск, 1972

ЭПИГРАММА



много слышал о дружбе Александра Трифоновича Твардовского со старейшиной смоленских писателей Ефремом Михайловичем Марьенковым. Не знаю почему, но, может быть, из-за скромности своей Ефрем Михайлович воспоминаний не пишет. Хотя, на мой взгляд, он имеет большее право сказать об Александре Трифоновиче первое слово, чем кто-либо другой.

Как-то я спросил у Марьенкова:

— Ефрем Михайлович, а вы помните эпиграмму Твардовского?

Сказал и испугался. А вдруг для него это будет неприятно? Ведь прошло столько лет... Марьенков преобразился, словно помолодел лет на пятьдесят. И мне показалось, что с лица его исчезли глубокие морщины. И, не отвечая на мой вопрос, без запинки, на одном дыхании, прочитал:

Он сидит и повесть пишет
О ячейке, о селе,
И похаживают мыши
На писательском столе.
Он сидит, не беспокоясь,
И на них не крикнет: «Брысь»,
Потому что эту повесть
Только мыши будут грызть.

А потом добавил:

— Эпиграмму-то он на меня написал, а сам эту повесть напечатал в журнале.

Повесть «Записки краскома» появилась в двенадцатом номере журнала «Новый мир» в 1966 году, с послесловием Александра Трифоновича Твардовского.

Смоленск, 1973

СЕРГЕЙ ФИКСИН

ПЕРВАЯ ДАЛЬ ПОЭТА



ыло это пятьдесят лет назад. Тихий, полудеревянный Смоленск. Мощенная булыжником Пролетарская улица. Белое трехэтажное здание губкома партии. Оно чудом уцелело после войны, сохранилось по сей день. Но что там и кто там теперь, я уже не знаю. Зато хорошо помню, что в нижнем этаже этого дома размещалась губернская комсомольская газета «Юный товарищ» — наше ежевечернее пристанище и первый литературный институт. Редакция объединяла вокруг себя пишущих стихи юнкоров и два раза в месяц выпускала литературную страницу со стихами преимущественно о юности, с фельетонами и фотоснимками. Проза почти никого из нас не привлекала, кроме, пожалуй, радиожурналиста Василия Ардаматского. Даже староста нашей литгруппы Дмитрий Осин, много позже выпустивший несколько книг прозы, и тот ограничивал себя только стихами и песнями.

Некоторое время спустя литгруппу «Юного товарища» пополнили два приехавших в город на учебу «деревенских» поэта — Александр Твардовский и Николай Рыленков, которых мы тогда знали только по нескольким стихотворениям, напечатанным в смоленских газетах. А стихи Твардовского в «Смоленской деревне» были даже сопровождены штриховым портретом «селькора-поэта» — паренька со вздернутым носом, в плотно застегнутой косоворотке и в аккуратной кепочке, видимо специально купленной для такого случая. Правда, его стихи особенного переполоха в нашей литгруппе не произвели — они были не очень близки нам по тематике и как-то угловаты и вялы по форме. Но в них, как я ощутил уже вскоре, было нечто такое, чего не было ни у одного из нас. Мы искали красивых одежек для слова, а он давал слово обна-

женным, но таким чистым и точным, что оно легко и свободно вводило нас в тот маленький избяной мир, который был уже достаточно обжит семнадцатилетним пареньком из деревни Загорье. Помню:

Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стены блестят.

Многие из нас, конечно, смолу сделали бы «золотистой», а стены не иначе, как «гладкими». Истинную цену простому и точному эпитету мог определить тогда, пожалуй, один Михаил Васильевич Исаковский. Имя этого поэта в те годы не выходило за пределы Смоленской губернии, но стихи его мы знали наизусть и удивлялись — как он может брать за сердце самыми обыкновенными словами! Вот к таким именно стихам, без вычурности и лоска, был счастливо привержен и Александр Твардовский.

Равнение мы держали на городское литобъединение, ставшее в 1927 году Смоленской ассоциацией пролетарских писателей. Вначале эта организация носила краткое неблагозвучное название — САПП. Потом его «облагозвучили» — она стала именоваться СмолАППом.

На свои литературные вечера, которые обычно проводились в Доме работников просвещения (ДРП), ассоциация приглашала и нашу литгруппу. Там выступали поэты и прозаики, более зрелые по опыту и старшие по возрасту: Михаил Исаковский, Борис Бурштын (Б. Иринин), Ефрем Марьенков, Владимир Смолин и самый молодой из них — Александр Гитович. Но нас больше всего тянуло в этот ДРП имя Михаила Исаковского. Почти все его стихи, печатавшиеся в «Рабочем пути» и «Смоленской деревне», я знал на память, и ничьи другие меня так не волновали. Именно там, в ДРП, я впервые из уст самого Исаковского услыхал «Радиомост», «Ореховые палки», «Хутора»... А стихотворение «Матери», бывало, по ночам читал самому себе:

Ты не печалься об ушедшем сыне,
Я лучших дней у жизни не прошу.
Всегда, всегда к Октябрьской годовщине
Я благодарные стихи пишу...

Родная мать, молящаяся небу!
Родная мать, покорная судьбе!
Скажи, не ты ль приклеивала хлебом
Портреты Ленина в своей избе!

Это, конечно, не единственное и далеко не самое лучшее стихотворение Исаковского, которое могло меня тронуть, но оно, как бы вовсе «не сочиненное», а появившееся на свет «само по себе», отложилось в моей памяти на всю жизнь.

Вот этот-то человек и сыграл великую роль в судьбе

Александра Твардовского. Михаил Васильевич обратил на него внимание еще до очного с ним знакомства.

Работая в газете «Рабочий путь», М. В. Исаковский время от времени получал письма и стихи загорьевского паренька-селькора и, находя в них «божью искру», каждый раз обнадеживающе отвечал ему.

От станции Починок до Смоленска всего сорок километров, так что путешествие нашего загорьевского друга длилось не больше часа. Поселился он в Доме крестьянина, в бывшем «губернаторском», что стоял через дорогу, против нашей редакции. Как-то под вечер Твардовский пришел в «Юный товарищ» и стал знакомиться с работниками газеты и с нашими стихотворцами. Их там можно было застать в любое время. А тут как раз мы готовили особую литстраницу, кажется, посвященную очередной годовщине литгруппы. Все мы увидели своего гостя впервые, хотя с его стихами были уже достаточно знакомы. Ради такого случая отложили литстраницу и уселись вокруг желтого казенного столика слушать новые стихи Твардовского. Какие именно, сейчас уже вспомнить трудно, но в этот раз они были много чище и по своей тематике как-то шире тех, что печатались в смоленских газетах. Правда, от некоторых строк и строф повеивало Исаковским, но это нас только радовало. О том, что свой собственный почерк приходит к поэту с годами, и то далеко не к каждому, мы узнали несколько позже. Но наш новый друг вовсе не заимствовал у любимого поэта ни готовых образов, ни тем более его мыслей. Ощутимы были только интонации Исаковского и завидное умение обходиться без украшательства, широко пользоваться самым обычным русским словом.

К концу нашего литературного вечера пришла редакционная уборщица тетя Ксеня и, чтобы не тревожить нас, сразу принялась за кабинет редактора. Все мы уважали ее. Женщина эта, не имея никакого образования, знала на память стихи покойного мужа — смоленского поэта Сергея Страдного — и была весьма аккуратной исполнительницей своей маленькой должности. Мы перешепнулись о ней с Твардовским. Он, оказывается, тоже знал Страдного по газетам и как бы про себя заметил: «Жена поэта — уборщица... О таких стихи надо писать...» Прошло какое-то время, и мы читали первое «городское» стихотворение А. Твардовского «Уборщица». Ни в одной из многочисленных книг поэта, которые у меня есть, я не смог найти этого стихотворения, чтобы его здесь привести полностью. Остались в памяти только первые строки:

Где самый ответственный, самый важный
В углу принимал посетителей робких,

Она выметает мусор бумажный,
Окурки и спичечные коробки...

Вся суть стихотворения заключалась в опоэтизировании труда «маленького человека» — уборщицы. Редактор же «Юного товарища» Альперович, видимо, понял стихи весьма субъективно и многое принял на свой счет. И это пошло только на общую пользу: редакторский стол «в углу» с тех пор стал для всех нас мерилом чистоты и опрятности.

В самом конце того первого вечера-встречи с Александром Твардовским мы долго ломали головы над небольшой, но важной для нас задачей. Вот-вот должна выйти юбилейная литстраница. Все уже готово — и статья, и стихи, и даже фотография актива литературной группы. На фотографии четверо: Дмитрий Осин, Александр Плешков, Александр Рутман и Сергей Фиксин. Но нет Александра Твардовского. А он должен быть обязательно. Главное — он уже приехал «насовсем» и работает вместе с нами. А если пересняться? Опять ничего не получится — Плешков уехал в длительную командировку. В конце концов решили так: Твардовскому завтра же сняться отдельно, а художнику вмонтировать его фотографию в общий снимок. Сказано — сделано. Художник и цинкограф довели дело до конца. К четырем молодцам прибавился пятый — в своей неизменной косоворотке и в уже поношенной кепочке... Так, впятером, мы и предстали перед читателями в свой именинный день.

В Доме крестьянина Твардовский жил недолго, недели две-три. Я несколько раз заходил к нему и все больше убеждался, что в этой «гостинице» бедному моему другу не только писать, а и отдохнуть по-людски не приходится. Комната хоть и большая, но все койки стоят впритирку, над ними плавает махорочный дым. На всех постояльцев лишь две тумбочки, примоститься к ним невозможно — их осаждают мужички со своим салом в холщовых тряпицах, со своим луком и крупной солью.

Вскоре кто-то из сотрудников «Рабочего пути» (кто — сейчас трудно припомнить) присмотрел для Твардовского уголок в квартире одиноких старичков на Почтамтской улице, кажется, даже во дворе самого почтамта. Тут наш друг чувствовал себя несколько вольнее, по крайней мере хозяева выделили ему дощатый столик, жестяную лампу и даже топчан с сенником и байковым одеялом. В общем жить было можно, а главное — писать.

Жить-то жить, а надо было и питаться. Сам я до этого времени работал на кирпичном заводе, а в общем там, куда пошлет биржа. Приходилось даже качать нефть и отпускать керосин в системе Нефтесиндиката. Но все эти работы были случайные — то сезонные, то поденные. Тянуло к чему-то более интересному и постоянному. Будучи в известной мере

связанными с губернскими газетами, мы с Твардовским начали выполнять отдельные поручения редакций — «Рабочего пути» и того же «Юного товарища». Для «Рабочего пути» собирали городскую хронику. Город мы разделили между собой на две части: верхняя часть до моста, по взаимному соглашению, отходила Твардовскому, Заднепровье — мне. В зоне моего друга были сосредоточены в основном все советские учреждения, Пединститут и школы. У меня — завод имени Калинина, фабрики — катушечная, «Красный швейник» и железнодорожный узел.

Собрать за день по пяти-шести заметок казалось нам вначале делом совсем пустяковым. Но вскоре пришлось убедиться, что и здесь необходимы большой навык и умение хотя бы не пасовать перед людьми, когда чего-то недопонимаешь. А некоторые любители подтрунить даже пользовались нашей необстрелянностью и вводили нас в краску. Особенно запомнился случай в Бюро погоды, куда впервые обратился Александр Трифонович за прогнозом на завтрашний день.

— Скажите, пожалуйста,— робко обратился он к сотруднику Бюро,— какая завтра ожидается погода?

Тот, видя, что имеет дело с новичком, ехидно ответил:

— Сухая и ясная... если, конечно, не будет дождя. А в случае пойдет дождь, то о ясности не может быть и речи.

Так мой друг и не получил никакой «ясности». И, как бы в отместку злому насмешнику, мы отыскали прошлогоднюю подшивку газеты и с точностью переписали все данные о погоде на то же самое число и сдали в отдел местной информации. К счастью нашему, погода оказалась точно такой же, как и в прошлом году. Может, благодаря этой случайности никаких опровержений в редакцию не поступило, и наша мальчишеская тайна выдается вот только теперь. Но после этого случая ходить в Бюро уже никто из нас не отваживался. Сводку погоды заведующий отделом брал по телефону.

На свой скудный гонорар приобрести что-либо из одежды мы не могли, но на еду все же хватало, тем более что питались мы очень скромно, чаще всего в маленьких кофейных и чайных, где особенно налегали на дешевую колбасу.

Наше ежедневное общение с Твардовским перешло в дружбу. А когда к его хозяевам-старичкам приехали и поселились какие-то близкие родственники, я перевез его к себе, под родительскую крышу.

Наш домик, покрашенный охрой, стоял на окраине города по Выгонному переулку — тихому, пыльному и малолюдному. Название свое переулок получил оттого, что горожане когда-то выгоняли свой скот к этому месту, а уж отсюда пастух гнал стадо прямиком на пастбище. Твардовскому сразу понравилось название нашего переулка. «От него пахнет пар-

ным молоком»,— сказал он мне как-то в первые дни своего переселения.

Семья наша — из пяти человек — занимала до этого две небольшие комнаты и кухню. С приходом нового жильца мне пришлось потесниться. В меньшую комнату, отведенную мне, как старшему, перетащили из кухни бельевой сундук, «удлинили» его табуреткой. И таким образом на первое время кроватная проблема была решена. А одного столика вполне хватало на двоих — работали мы за ним поочередно. Книг у нас тогда было столько, что они свободно умещались на подоконнике.

Я опускаю многие подробности нашего житья-бытья середины 20-х и начала 30-х годов. Придерживаться последовательности и точности событий мне сейчас уже трудно — с тех пор минуло почти полвека. В те же молодые годы мы с Александром Трифоновичем как газетчики разъезжали по городам тогдашней Западной области и снова встречались в родном Смоленске. Приходилось нам совершать и совместные поездки. Цель их обычно сводилась к написанию очерков для «Рабочего пути» и к созданию литературных групп при местных газетах. Но было одно в нашей жизни, самое долгое и самое далекое путешествие, о котором мне хочется сказать особо. Для этого пока перенесемся из лета 1928-го в лето 1970 года.

Передо мною газета «Орловская правда» за 21 июня 1970 года. На внутренней полосе газеты крупный портрет Твардовского, читающего стихи. В правой руке неизменная папироса. Портрет обрамлен статьей «Первая даль поэта»[1]. Ниже — «К 60-летию со дня рождения А. Т. Твардовского».

Привожу выдержки из этой статьи:

«...Он родился 21 июня 1910 года в Смоленском краю и пришел в большую литературу вслед за своим старшим земляком М. Исаковским, горячо поддерживавшим ранние поэтические опыты талантливого парня. Все это хорошо известно из автобиографии Твардовского и множества посвященных ему статей и книг.

Однако ни в одной из этих работ нам не удалось найти ответа на вопрос о том, почему некоторые стихи начинающего смоленского поэта оказались в 1928 году в «Орловской правде» и «Правде молодежи» (ныне «Орловский комсомолец»). Обратившись за разъяснением к автору, мы получили от него недавно любезный ответ вместе с новым поэтическим сборником, где есть стихотворение про «Перевозчика-водогребщика», которое прямо перекликается с «Перевозчиком», опубликованным свыше сорока лет назад в Орле. Вот что пишет Александр Трифонович:

«По поводу появления моих ранних стихов в орловских газетах могу сообщить следующее:

---

[1] Автор статьи — орловский литературовед В. Громов.

Летом 1928 года мы с Сергеем Фиксиным, смоленским поэтом, совершали поездку «с целью изучения жизни и быта», как было, помнится, указано в нашем мандате от смоленской комсомольской газеты, по маршруту: Смоленск — Брянск — Орел — Курск — Харьков — Симферополь — Севастополь.

Так как, имея наше командировочное удостоверение, мы командировочных, конечно, не получали, то в названных городах мы делали остановки с целью заработка. В Брянске на нефтебазе перекачивали вручную нефть из железнодорожных цистерн в баки, в Севастополе работали «кто куда пошлет» на экскурсионной базе и во всех этих городах еще сбывали свои стихи в местных изданиях. В Орле, помнится, нас встретил и приветил М. Киреев. В городе мы пробыли не более суток, ночевали в Доме крестьянина. Пожалуй, лучше всего это помнит Фиксин. Если это Вас интересует, напишите ему».

Мы так и поступили. Ответ Сергея Фиксина, стихи которого также были тогда напечатаны в орловских газетах вместе со стихами Твардовского, содержит интересные подробности. Оказывается, командировочное удостоверение двум молодым литераторам, решившим «повидать белый свет», было подписано их старшим товарищем и земляком М. В. Исаковским. Эта первая самостоятельная и долгая поездка по стране открыла ее участникам не только море и горы, но и интересных людей.

Одним из них был наш земляк писатель-орловец Михаил Киреев, живущий ныне в Нальчике. Взволнованный воспоминаниями о днях своей юности, прошедшей в нашем городе, он сообщил:

«Да, молодых смоленских поэтов Александра Твардовского и Сергея Фиксина «встретил и приветил» тогда в Орле я. Дело обстояло так. Я работал в ту пору секретарем редакции «Правда молодежи». ...Как-то жарким летним днем 1928 года в мой «кабинет» (это был большой пустой зал с единственным столом в углу) энергичной походкой вошли два бодрых парня в поношенных сиреневых майках.

Представились. Стихотворцы из Смоленска — Твардовский и Фиксин. Едут в Крым, и, по всему видно, едут налегке. Через минуту-две мы сообща читали стихи наших новых — мимолетных — друзей, читали обрадованно, с неподдельным интересом... Стихи эти дышали подлинной поэзией. Особенно, помню, поразила нас «Уборщица» Твардовского. Простая, «прозаическая» тема, а вот берет за душу!

Так начиналась первая даль поэта...»

И в конце орловской статьи приводились строки Твардовского из его новых лирических стихов:

И вот мы вместе покидали
Глухие отчие места,
И столько нам завидных далей
Сулила общая мечта...

Мечта-то была, может, и общей, но «завидные дали» суждено было открыть только ему. И будут они манить к себе еще многие и многие поколения.

Передо мною, спутником его юности и почти сверстником, во всей своей святой и грешной непосредственности встает эта «первая даль поэта». Суть того памятного путешествия заключалась в юношеском стремлении «повидать белый свет».

Как говорится в песне, «были сборы недолги» — две смены белья на каждого да по десятку стихотворений, аккуратно переписанных от руки. Все это вместе с хлебом, колбасой и махоркой уложено в брезентовые портфели и поверх затянуто бечевкой. На случай дождей прихватили по старому плащу, да других-то и не было; у меня — серый, с разными пуговицами, у друга — цвета кирпича.

Хоть путь был загадан и долгий, денег у нас едва хватило только на билеты до Брянска. Но головы об этом не болели: с нами крепкие руки, надежные плечи, взаимные шутки и дружелюбные подтрунивания.

В Брянск приехали мы рано утром — от Смоленска это всего восемь часов езды. Куда пойти? Где приземлиться? Искать гостиницу бессмысленно — помимо паспортов потребуют и деньги. А их нет. Устроиться временно на вагоностроительном заводе «Красный Профинтерн»? Там поденщиков, конечно, не возьмут. А оставаться «в кадрах» — разрушатся все наши планы с поездкой.

И тут мелькнула у меня спасительная мысль. Работая в Нефтесиндикате, я приглянулся заведующему смоленской автобазой, старому большевику Павлу Матвеевичу Щелкунову. Он аккуратно следил за моими стихами в газетах и удивлялся, как это я «с таким талантом» не вылезаю из промасленной парусиновой спецовки. И вот этого нефтяника-стихолюба еще до нашего «похода» перевели на такой же начальственный пост в Брянск. Моя идея податься к нему была всецело поддержана другом, и мы, не теряя времени, отправились.

Нефтебаза находилась на окраине города, у самой железной дороги. Щелкунов, тучный бритоголовый дядька, встретил нас по-отечески. Был он человеком многосемейным и ютился в служебном помещении, за перегородкой, на территории самой базы. Так что рассчитывать на ночлег нечего было и думать. Мы откровенно изложили ему свои замыслы и за скромным семейным чаем пришли к такому устному соглашению: два молодых проезжих стихотворца берутся по указанию завбазой перекачивать нефтепродукты из вагонов-цистерн в резервуары. За каждую цистерну бензина или керосина — три рубля. За нефть — на рубль больше. Ночевать в караульном помещении, вместе с милицейской охраной.

Что ж, условия вполне приемлемы.

Во второй половине дня, вооружившись насосом и тяжелой гофрированной кишкой, мы уже освобождали нутро первой цистерны. Не помню сейчас, сколько времени отнимала у нас каждая такая накаленная солнцем махина, но больше двух за день мы не одолевали.

Справедливости ради надо сказать, что администрация

базы нарядила нас в брезентовые костюмы и наша личная одежда оставалась в полной сохранности от производственных «травм». Что же касалось жилищных условий, то тут было много смешного и грустного.

Нашим новым квартирохозяевам милиционерам кто-то необдуманно серьезно сказал, что к ним на время поселяются два писателя. Когда же те увидели нас и узнали, чем мы здесь занимаемся, то все как один пришли в замешательство. Ничего себе писатели! Ходят замызганные, в сандалиях на босу ногу, пьют их же плиточный чай, правда, со своим сахаром, вприкуску. Курят махорку, а не «Сафо» и не «Эпоху». А главное — ничего не пишут, а с утра до ночи качают нефть.

Тут уж волей-неволей пришлось нам слукавить и на какое-то время спрятаться за широкую спину Алексея Максимовича. Мол, на что уж великий писатель, и тот в молодости разгружал волжские лайбы и месил тесто. А уж нам-то и бог велел.

Смотрим, наши новые друзья потеплели, их милицейская замкнутость уступила место наивной любознательности:

— Значит, вы будете писать про нашу нефтебазу?

— Да вот, думаем.

— А напечатают это в книгах?

— Если хорошо получится, напечатают.

— А про нашу караульную жизнь туда приписать можно?

— Обязательно припишем, а как же!

После таких разговоров мы уже чувствовали себя полноправными жителями караулки. Если и ощущали какие неудобства, то только ночью. Личных топчанов за нами не закрепили, да их некуда было и ставить. Получалось так. Милиционеры дежурили посменно. Двое уходили на пост, а мы с другом занимали их места. Когда же те возвращались на отдых, нам приходилось уступать их топчаны и перебираться на опустевшие. И так три-четыре перекочевки за ночь. В общем наши брянские сны сладкими назвать было нельзя. Но сил от этого не убавлялось, и чувствовали мы себя превосходно. А когда садились писать домой письма, то наши хозяева ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, полагая, что книга о них уже начинает рождаться.

Брянской нефтебазе мы отдали совсем малую, почти незаметную частицу нашей жизни — не более десяти суток. Но зато дни эти помогли нам уверовать в неодолимую силу труда, и дальнейший путь уже не казался нам слишком рискованным и неясным.

Щелкунов велел конторе подсчитать опустошенные нами цистерны. Получив свой заработок, мы горячо распрощались со всеми, затянули веревочками портфели и отправились на вокзал. Хватило и на билеты, и на недельное питание.

...Следующим городом на пути к Севастополю был Орел. Пребывание наше в Орле уже вкратце описано в приведенной здесь статье из «Орловской правды». Полноты ради стоит добавить лишь о нескольких минутах нашего тяжкого смущения в стенах самой редакции.

Ожидая ответственного секретаря, мы оказались в окружении трех молодых газетчиков. Те с присущей журналистской молодости развязностью повели с нами такой разговор:

— А стишки при вас? А ну-ка, покажите...

Уже при одном слове «стишки» у Твардовского забегали на скулах желваки, и он, отведя глаза в сторону, глубоко затянулся махоркой. Я тоже смолчал, как бы не поняв их вопроса.

Но те язвительно продолжали:

— У вас там небось о девочках да о природе, а у нас тут другое дело, нам вот об орловских рысаках в самый бы раз. Конезаводство рядом — рукой подать. Прошлись бы, присмотрелись,— глядишь, и поэмка!

Но тут, на наше счастье, в комнату вошла девушка и сказала, что секретарь редакции пришел и просит нас зайти. А дальнейшее уже известно. Михаилу Кирееву о молодых его оболтусах мы, конечно, ничего не сказали — стоило ли портить настроение такому доброму человеку?!

О Курске особых воспоминаний как-то не осталось. В этом городе мы пробыли около двух суток: первый день устраивали свои дела в «Курской правде», а назавтра до глубокой ночи бродили по вокзалу в ожидании харьковского поезда.

Харьков поразил нас своим неоглядным цветником на привокзальной площади. Вдобавок ко всему утро выдалось настолько ясным, теплым, что сразу поверилось в удачу.

— Тут уж конских стихов не потребуют,— заключили мы, доев последнее полукольцо чайной колбасы и покидая бульварную скамейку.

В газете «Харьковский пролетарий», куда нам посоветовали обратиться со своими стихами, встретил нас высокий, худощавый человек по фамилии, если не изменяет память, Ярошевский. Сейчас представляю его смутно, но помню его доброжелательность и умение отличать в стихах зерно от половы. Еще помню вошедшую к нам при чтении стихов пожилую женщину, изящно одетую и довольно красивую. Она была, кажется, заместитель редактора. Женщина, надев пенсне, читала наши стихи молча и в такт ритму удовлетворенно кивала головой. Мы наблюдали за ней и чувствовали, что стихи ей нравятся.

— Милые ребята,— как-то неожиданно сказала она, до-

читав последнюю строчку и сняв пенсне,— скажите честно: вы ждете похвалы или денег? Только честно!

Подыскивая более удобный вариант ответа, я растерялся. Но мой друг нашел его сразу:

— Ни того, ни другого. Два билета до Симферополя.

— Так вот, будет то и другое. Надо как-то ребятам помочь,— обратилась она к Ярошевскому и передала ему наши листочки.— Выберите сами. И напишите в бухгалтерию.

Тут Твардовский, сидевший рядом, больно ущипнул меня за колено. Я ответил ему тем же. Произошел взаимообмен чувствами. Словами такое не передашь.

Но радость наша чуть было не погасла. По редакции прошел слух, что денег в кассе нет. Когда нас вызвали в бухгалтерию, мы заметили, что вместо денег нам готовят какую-то голубую бумагу. Ну, думаем, сейчас преподнесут облигацию, и делай с ней что хочешь. Однако мучиться догадками пришлось недолго — дают нам голубую бумагу и говорят, что это денежный чек. С ним надо пойти в банк и получить сорок рублей.

Верить или не верить? Мы по возможности скрываем свой восторг и делаем вид, что по чекам получать нам не впервой. Нашли этот банк. Заходим со своими неприглядными портфелями и плащами. Дежурные милиционеры у дверей окидывают нас не очень нежным взглядом, но пропускают беспрепятственно. Через какие-нибудь полчаса деньги все же получены. Такую сумму держим в руках впервые. К выходу продвигаемся молча, боясь выдать на людях свою ребячью радость... И уже у самых дверей те же самые милиционеры, как по сговору, подлетают к нам и отводят в сторону.

— Ваши документы!

Мы достаем свои паспорта. Но этого, оказывается, мало.

— Как вы очутились в Харькове?

Объясняем, как и почему. Но охрана не сдается, требует документального подтверждения наших слов. И мы в первый раз за все путешествие предъявляем свое «командировочное удостоверение», подписанное М. Исаковским. Это уже кое-какое действие возымело — милиционеры сразу меняют тон и неестественно покашливают. Но тем не менее, хотя и пониженным голосом, предлагают нам «на всякий случай» показать свои портфели. Мы с привычной быстротой развязываем веревочки, и те убеждаются, что в портфелях, кроме белья, полотенец и рукописей, ничего нет. Мы свободны. Но теперь радость наша в какой-то мере перемешалась с чувством незаслуженной обиды за то, что — пусть даже на краткий миг — мы показались кому-то совсем другими людьми.

Наше подавленное состояние несколько сглаживалось тем, что мы теперь с «капиталом», что имеем право даже почеловечьи пообедать и купить по коробке «Сафо» (27 копеек

коробка). Куда же пойти? Только не в ресторан — в ресторанах мы еще не были ни разу в жизни. Цены там, видимо, высоченные, да и одежда наша, не дай бог, вызовет у людей только излишнюю настороженность, что мы уже испытали час назад.

В таких рассуждениях совсем неожиданно встречаем белую табличку под окном небольшого деревянного домика: «Домашние обеды». Для нас это диковинка. Но скромные, женским почерком выведенные два слова нас не отпугнули, а, наоборот, заворожили.

— Зайдем?

— Рискнем!

На звонок вышла опрятная старушка в белом переднике и в кремовой кружевной наколке. Ничуть не смутясь нашей внешностью, она подала нам тетрадный листок — меню. Выбрали мы, кажется, суп-рассольник, гуся с мочеными яблоками и на третье абрикосовое желе. Хозяйка подала рассольник и оставила нас одних. Твардовский, помешивая почечный навар, буркнул мне:

— А старушонка-то, видать, старорежимная!

Судя по дорогой мебели, буфету с сервизом и коврам на стенах, можно было согласиться, что хозяюшка и вправду горя еще не хлебнула, 20-е голодные годы, видно, обошли ее стороной. Подходя к нам еще два раза, она даже не поинтересовалась, что мы за люди и откуда к ней пожаловали. Да и с нашей стороны не было задано ни одного вопроса, словно мы предвидели, что она сейчас ошарашит нас чем-то совсем неожиданным.

И она ошарашила: почтительно поданный нам счетик потянул около десяти рублей. Это ведь четвертая часть всего нашего харьковского заработка!

Мы с другом молча переглянулись. Кто-то из нас начал сворачивать в трубочку тетрадное меню. Но десятку выложить все же пришлось. И даже поблагодарили старуху, но с такой напускной деликатностью, которую вряд ли могла не понять даже она.

Но уж зато мы тогда и пообедали!

Харьков — Симферополь. Это уже предпоследний этап нашего странствия. Сначала постепенная, потом резкая смена пейзажей приковывала нас к вагонному окну. Пирамидальные тополя, белые мазанки, холмы и горы. И названия самих станций — Перекоп, Сиваш, Джанкой — воскрешали в нашей памяти все прочитанное о недавней гражданской войне. И мы поочередно цитировали строки из стихов Багрицкого, Есенина, Светлова, Уткина, где упоминались эти места, теперь спокойные, зеленые и солнечные.

Симферополь оказался куда малолюднее и тише Харькова. А зелени, цветов и синего неба здесь было, пожалуй, даже больше. Для полноты блаженства не хватало лишь одного Черного моря, но и до него уже можно было дойти пешком.

Особенно памятным событием в этом городе осталось вынужденное столкновение моего друга с незадачливыми работниками из местной газеты.

Не спеша продвигаясь к центру города, в одном из киосков покупаем литературное приложение к газете «Красный Крым» — еженедельник наподобие теперешней «Литературной России». Разве что потоньше. Перелистываем, просматриваем. Твардовский делает последнюю затяжку, отбрасывает окурок и с присущим ему юморком заключает:

— Тут, если чего и недостает, так это наших стихов. Придется друзей выручить!

Под чертой последней полосы читаем адрес редакции и не задерживаясь отправляемся «на выручку» «Красному Крыму».

Что представляли собой принявшие нас там люди, сейчас сказать затрудняюсь, но отлично помню — у Твардовского они отобрали в очередной номер стихотворение «Горькому».

Мы на два-три дня поселились в самой дешевой гостинице, невдалеке от базара, и с нетерпением ждали воскресенья, чтобы купить и увезти с собою хоть бы один экземпляр еженедельника: как-никак это не обычная газета, а литературная — будет что показать хотя бы тому же Исаковскому.

И вот в воскресное утро, встав чуть ли не с петухами, отправились бродить по городу. Гуляли, пока не открылись магазины и киоски. Подходим к газетному и наметанным глазом сразу же находим то, что нам так нужно. Лихорадочно листаем страницы... Есть! На радостях берем по два номера. Но читать не читаем: решили оттянуть это удовольствие на несколько минут, пока не доберемся до своей ночлежки.

Дома завалились на еще не застланные койки. И только тут дали глазам полную волю.

Твардовский вообще читал гораздо быстрее меня. Дочитав свое стихотворение до середины, он, как ужаленный, соскочил с койки, разрывая в клочки газету, которую ждал с таким нетерпением.

— Олухи царя небесного! — кричал он, потрясая обрывками злополучной газеты.— Это же надо подумать, учинили какую галиматью!

И действительно, так взорваться было из-за чего. В его стихотворении стояли такие строки:

Но это единственный Горький
Из тысячи горьких бродяг.

А симферопольцы «отредактировали» так, что в первой строке буква «г» превратилась в строчную, а во второй — в заглавную. В общем — позор.

И уже назавтра, в понедельник, мой Трифоныч устроил крымчанам в их редакции такую «пресс-конференцию», что тем некуда было деваться.

— Я что,— разгоряченно, но убедительно говорил он,— я человек проезжий и никому не известный, меня будут долбить заочно и не увидят, как я краснею. Да и вряд ли сочтут ваше невежество за мою вину. А вы-то, вы?! Ведь вас встречают читатели на каждом шагу. Вы будете отчитываться перед ними, и они вам никогда не простят этого.

...А было тогда Твардовскому восемнадцать лет.

И вот наконец Севастополь. Это уже все. Можно сказать,— добрались.

Морской залив разделял Севастополь на две части: одна называлась Корабельной стороной. Помню только, что Корабельная была не центральной частью города. Однако хмельные голоса частных перевозчиков у пристани Коминтерна (бывшей Графской) наперебой заманивали пассажиров именно на Корабельную. Об одном из них я написал тогда стихотворение «Севастопольский перевозчик».

Начиналось оно так:

— На Корабельную, кого?!
А ну, садись, плывем сегодня! —
Так хриплый бас людей зовет
К сырым качающимся сходням.

Года задора далеки,
Он перевез почти полмира —
Он смотрит как на пятаки
На всех случайных пассажиров.

Позже, когда мы уже обрели себе пристанище и делились своими первыми стихами о Крыме, Твардовский, прослушав это стихотворение, с ехидцей заметил:

— Пятаков я у тебя набрал бы на весь рупь, а остальному капиталу не завидую!

Тут, говоря его же словами, ни прибавить, ни убавить...

Куда направить свои стопы, где надежнее причалить — совета по этому поводу мы не держали, тут надо было выбирать оседлость более длительную. И мы положились на судьбу.

Неторопливо шагая по раскаленным плитам города русской славы, не пропускаем ни одной вывески, ни одного газетного стенда. Спрашивать же у людей было как-то совестно — ведь даже сами точно не знали, чего ищем.

Бродили-бродили и наконец, кажется, набрели: «Экскурсионная база Наркомпроса».

— Зайдем?

— Господи, если не сюда, то куда же?

Это был бурый каменный домище с широким полукруглым крыльцом и массивными, тяжело открывающимися дверьми.

Мы — туда, она — оттуда. Встреча у самых дверей... Кто она, сейчас будет ясно.

— Вы что хотели, молодые люди? — Вопрос был очень ласков и сопровождался улыбкой.

Мы несколько замялись:

— Вот нам бы где остановиться...

— А вы что, экскурсанты?

Врать мы не могли, но и назвать себя писателями также не хватало смелости. И тут мы во второй раз за свое путешествие предъявили «мандат», подписанный Исаковским.

— Ну вот, это другое дело. Так бы и сказали. Пошли со мной.

Женщина вернулась вместе с нами в помещение. Это уже предвещало нечто благоприятное. Она повела нас по левому крылу нижнего этажа, и мы очутились в просторной столовой с высокими окнами, в меру затененными легкими шторами.

— Садитесь,— указала она на самый ближний столик, даже не спросив, хотим ли мы есть.— Кстати, и я немного перекушу с вами.

Официантка, похожая на белую лебедушку, быстро подала нам великолепный завтрак и грациозно уплыла на кухню.

Вот здесь мы и познакомились как следует с этой добросердечной, уже чуть седеющей женщиной. Звали ее Софья Ивановна Добрынина. Жена московского профессора, работающего в системе Наркомпроса. Здесь, на экскурсионной базе, она заведовала всеми хозяйственными делами. Наскоро поев, Софья Ивановна оставила нас одних и предупредила, что о нашем размещении она распорядится и что за нами придет кастелянша.

Нас поместили отлично. Комнатка оказалась как раз на две койки, можно было вслух восхищаться гостеприимством хозяйки и вообще непредвиденным поворотом нашей судьбы.

Время, когда экскурсанты сходились к обеду, мы безмятежно проспали. Уже на закате отчетливо услышали звонок на ужин.

— Ну что, пошли? — спрашивает меня Твардовский.

— А удобно ли без путевок? — отвечаю ему, потягиваясь.

— Конечно, удобно! Мы ведь не через окно сюда залезли. Непутевые такие же едоки, как и путевые.

Мы посмеялись этому каламбуру и пошли. И поужинали, как все праведные рюкзаконосцы.

На следующее утро мы уже не гадали, идти нам к завтраку или нет. Уселись на тех же местах и ждем. Как только принялись за еду, подходит к нам хорошо настроенная Софья Ивановна, берет свободный стул и совсем по-свойски подсаживается к нашему столику. Ей тут же подали все, что и нам. Справившись о нашем самочувствии, сразу перешла к деловому разговору:

— У писателей, мне кажется, хорошо развит эстетический вкус. У меня к вам, друзья мои, есть маленькая просьба. Помогите нам оформить стенд с видами Крыма. Есть у нас для этого все, кроме фантазии. Как попало наляпать открытки и журнальные репродукции — дело, конечно, нехитрое, но получится казна-матушка, и никого это не привлечет.

Разве можно было отказаться? Прежде всего за добро платят добром. Кроме того, надо же чем-то оправдать наше здесь поселение. Сразу же после завтрака нам доставили весь необходимый материал, и мы в своей комнате приступили к работе. Похвалиться своим «эстетическим вкусом» никто из нас, конечно, не мог, но избежать шаблона в размещении всех красот Крыма и даже привнести нечто свежее в виде отдельных двустиший мы были в силах.

В тот же день, к вечеру, наша работа уже красовалась в столовой на самом видном месте. Нам было приятно смотреть, как проголодавшиеся в походах экскурсанты, вместо того чтобы сразу наброситься на ужин, тесно обступили нашу «литературно-художественную» фанеру, вслух читали стихотворные текстовки, а девчата визгливым хором выкрикивали названия мест, где они уже успели побывать.

Сами же авторы сидели за своим столиком и, невпопад тыча вилками, удовлетворенно косились на все происходящее.

Первый трудовой взнос Севастополю сделан. Теперь можно и спать спокойно, и без прежней застенчивости входить в столовую.

Вскоре за первым взносом последовал и второй. Но перед этим мы уже хорошо ознакомились с городом, осмотрели знаменитую Севастопольскую панораму, памятники русским адмиралам и несколько раз в день бросались в белые волны совсем не черного моря. На это ушло у нас дня три-четыре сравнительно беззаботной жизни.

Может, так продолжалось бы и дальше, если б милейшая Софья Ивановна не обратилась к нам с новой просьбой:

— Друзья мои хорошие, выручайте, ради бога! Заболел наш Абдулла, и мы остаемся без мяса и хлеба.

Абдуллой звали старичка татарина, который доставлял базе эти продукты на своем собственном коньке и на своих же дрожках. Но поскольку старик никому не доверял своего вороного, Софья Ивановна предложила самый простой выход: к семи утра два молодых представителя базы идут на извозчичью биржу, берут дядьку с тарантасом и привозят в столовую все, что надо. Но мы нашли выход еще проще: зачем каждый раз платить какому-то дядьке по рублю, если этот груз мы можем доставлять на своих могучих плечах? Главное — опять представляется случай быть полезными этому доброму дому, который до сих пор не берет с нас ни гроша ни за ночлег, ни за питание. Эту мысль умная хозяйка уловила с полуслова и тут же одобрила нашу самоотверженность, хотя все же деликатно спросила: «А не тяжело вам будет, ребятки?»

Тогда было не тяжело. Ежеутренне мы брали на кухне по огромной корзине и отправлялись в пекарню. Там нас нагружали белым хлебом — по двадцать буханок на каждого,— и мы, тяжело ступая, но ни разу не останавливаясь, выполняли свой первый маршрут в какие-нибудь полчаса. За первым следовал второй — это уже за мясными тушами. И не с корзинами, а с холщовыми мешками. И ходили мы туда по пояс раздетыми — иначе бы наши рубашки никакими средствами не отстирать от бурых пятен. И все это диктовалось нашим долгом перед добрыми людьми. А силы, повторяю, хватало — тридцать девять лет на двоих!

Так что дни проходили не так уж праздно, как может показаться. Мы даже успевали писать стихи о Крыме и «заготавливать» отдельные строки для будущего.

Лежим как-то под вечер на «своем» берегу залива и любуемся противоположной стороной города, где по крутой каменистой горе спустились белые глинобитные домики. Твардовский мне читает:

Белый домик. Белый городок.
Белые дымящиеся стежки.
Как далек, немыслимо далек
Милый край ячмѐня и картошки!

И тут же оговаривает ударение на предпоследнем слове:

— Ячмень, правда, не прижился в строке, но я его потом пересажу.

«Пересадил» ли он впоследствии этот ячмень и были ли вообще опубликованы эти строки, честно скажу, не уследил. Но зато ночной пароход, за которым мы наблюдали с того же

берега, хоть и через много лет, но все же причалил к сердцу читателя.

В тихую звездную ночь к Севастополю подходил огромный пароход, освещенный множеством огней. Твардовский по обыкновению толкнул меня в бок:

— Ну, ей-богу, на нас плывет город! Приглядись — хоть маленький, но город!

И только лет десять спустя увидело свет его стихотворение «Кружились белые березки...», датированное 1936 годом, где тот самый пароход шел уже не по Черному морю, а по безымянной русской реке:

Гармонь играла с перебором,
Ходил по кругу хоровод,
А по реке в огнях, как город,
Бежал красавец пароход.

То ли этот редкий и точный образ столь долго отлеживался в записной книжке поэта, то ли так глубоко врезался в его память — сейчас судить трудно.

Снабжение экскурсионной базы хлебом и мясом оставалось за нами до тех пор, пока не встал на ноги старик Абдулла. Вернув ему эту обязанность, мы некоторое время оставались его «подручными» — ездили за продуктами вместе с ним, но нагружать и разгружать дрожки ему не давали: старик был еще слаб.

Как-то утром нас разбудил незнакомый голос:

— А ну-ка, братья писатели, вставайте, поговорим!

Мы быстро вскочили. Перед нами стоял человек в легком чесучовом костюме. На вид он был довольно молод, но все же старше нас. Ранним гостем оказался сам директор базы Дмитрий Иванович Кузнецов. О нем мы, правда, кое-что слышали, но видели впервые — был он в какой-то служебной отлучке.

— Вот что, друзья мои,— начал он после краткого с нами знакомства,— вы долго еще собираетесь у нас пробыть?

Истинных намерений директора мы сразу не угадали и как-то смутились, хотя тон его обращения к нам казался мягким и добрым и по всему чувствовалось, что человек о нас уже наслышан. Может, только это и придало нам смелости ответить не задумываясь:

— Пока не намекнут...

Кузнецов приятно улыбнулся.

— Так вот, я и хочу намекнуть, но только о другом. Хотите у нас поработать до конца сезона?

Мы с Твардовским молниеносно переглянулись и, как по сговору, подвинулись со своими табуретками поближе к ди-

ректору, что уже почти означало наше согласие. И он понял это:

— Значит, по рукам? Отлично. Работой мы вас не задавим, ребята вы, я вижу, здоровые. Теперь слушайте. База у нас плановая, едва хватает мест даже предъявителям путевок. А такие кустари, вроде вас, валят к нам и днем, и ночью. И отказывать им грешно, и помещать некуда. Так вот, братцы писатели, я договорился со школой имени Шевченко занять их помещение под свой филиал. До сентября оно все равно пустует. В чем будет состоять ваша первая задача? Сегодня же идите в эту школу — она тут рядом, по улице Карла Маркса,— и перетащите все парты в подвал... Шевченковский филиал потом будет закреплен за вами. Об этом после.

Нам пришелся по душе такой разговор — короткий, прямой и доброжелательный. Такие люди встречаются не всюду, и, может, поэтому их долго не забываешь.

С появлением Кузнецова как-то незаметно отошла на второй план наша добрая Софья Ивановна. Дальнейшая работа двух ее подопечных стала более сложной и требовала стабильного мужского руководства.

Со школой мы справились быстро. К обеду следующего дня вместо парт уже стояли чисто застланные раскладушки, а на двери самой маленькой комнаты красовалась художественно выполненная табличка: «Комендант». Этот громкий чин был присвоен автору сих воспоминаний. Директор сдержал свое обещание, филиал базы предоставил в полное наше распоряжение. Должность же моего Трифоныча звучала еще многозначительнее: «Агент по доставке экскурсантов с моря и суши». Это означало, что к такому-то поезду или пароходу мой друг должен отправляться на вокзал или пристань и встречать прибывших путешественников. Путевки проверять на месте: у кого они есть — на правую сторону, у кого нет — на левую. И так, группами, все следуют за агентом в город. Дорога одна. «Плановые» по пути остаются на основной базе, а «кустарей» Твардовский доводит до нашего филиала. Здесь мы проверяем их документы, берем за ночлег и выписываем квитанции.

Люди у нас долго не задерживались, самое большее — двое-трое суток, пока не обойдут все севастопольские и окрестные достопримечательности.

А вечерами вся молодежь нашего филиала — и хозяева, и «квартиранты» — собирались в пришкольном садике, выносили свои табуретки и устраивали импровизированные концерты. В ход шли и гармошки, и гитары, и мандолины — все, что испокон сопутствует юности при любых обстоятельствах. Сами же мы только могли читать стихи, но в силу своего «служебного положения» воздерживались и от этого. Посиль-

ное участие принимали разве только в общем хоре, где голоса наши, конечно, не выделялись.

Итак, одни приезжали, другие уезжали. Исключение составляли только двое жильцов — молодой художник из Рыбинска и флегматичная худенькая пионервожатая, приехавшая из Курска, как узнали потом, вовсе не с туристскими целями. Пионервожатой мы ее нарекли только потому, что она не расставалась с красным галстуком.

Живет художник неделю, две. За койку давно уже не платит. Каждый вечер приходит с новыми крымскими эскизами и показывает их только нам — он уже успел узнать, что к живописи мы имеем несколько большее отношение, чем к туризму. И все же спросили у него, как в свое время спрашивали у нас:

— А долго ли вы здесь собираетесь жить?

Сконфуженный живописец чистосердечно поведал нам, что со дня на день ждет от родителей денежный перевод и пока перебивается с хлеба на квас. Не поверить ему было нельзя. Мы уже и тогда кое-что понимали в людях. И, тем более взвесив свою собственную судьбу, никаких препятствий чинить ему не стали.

В благодарность за братское сочувствие художник набросал наши портреты, и мы их повесили в «комендатуре» — каждый над своей койкой. Вскоре он получил из Рыбинска перевод, честно расплатился и уехал.

С пионервожатой было сложнее. Она жила бесплатно около месяца. С утра, повязав свой алый галстук, куда-то уходила часа на два, а потом, чем-то недовольная и усталая, ложилась на свою раскладушку и читала. Питалась она на стороне и никаких разговоров с нами не заводила. Спросить у нее деньги и вообще поинтересоваться ее планами никто из нас не решался.

После разлуки с художником нам продолжало казаться, что и судьба девушки чем-то напоминала нашу. О том, кто она, зачем приехала, и даже фамилию ее. мы узнали уже позже и при обстоятельствах довольно смешных. А пока лежал ее паспорт в нашей папке, и никто в него не заглядывал.

Собрались мы вечером, как обычно, в своем садике и стали обдумывать очередную программу концерта. Поскольку через каждые два-три дня люди у нас менялись, то и репертуар в какой-то мере освежался. На этот раз, впервые за все время, пришла в садик и наша загадочная жилица со своей табуреткой и с накинутой на плечи пуховой шалью, хотя вечер был настолько душным, что даже не спасала близость моря.

Стали записывать выступающих. К ней, сидящей в сторонке под акациями, никто из организаторов не подходил. И,

может, только поэтому, предварительно кашлянув, к акациям вразвалочку подплыл Твардовский.

— Ну, что вы нам споете?

Жиличка, как от озноба, плотнее натянула на себя шаль и робко ответила вопросом:

— А можно, я прочту стихи Асеева «В Крыму расцветают черешни и вишни...»?

— Отлично. А как вас представить?

— Фея Пуговкина.

— Как, как? — переспросил Твардовский, не сдержав своего обычного задиристого хохотка.

Та смущенно повторила.

— Нет, так не пойдет! — не унимался мой друг.— Фея — и вдруг Пуговкина! Не чувствую гармонии. Фамилию на этот раз придется заменить. Ну, к примеру, Фея Пуговецкая, а? Вы только послушайте, как звучит!

Но Фея уже не в состоянии была слушать дальше. Она так искренне хохотала, так всплескивала руками, что даже пуховая шаль ее сползла с плеч. Нам казалось, что такое настроение овладело ею впервые в жизни. А может, именно так и было.

Наша Фея выступала на вечере смело и вдохновенно. Крайне прозаическую фамилию ее словно заволокло морским дымком ранней асеевской лирики. И часами двумя позже, когда мы втроем прохаживались по набережной, Фея без прежней робости, как самым близким людям, поведала нам причину своего приезда сюда.

В Курске она действительно работала школьной пионервожатой и вела младшие классы. С детства болеет легкими. Врачи посоветовали ей хоть на два месяца поехать в Крым и подышать морским воздухом. А тут как раз летние каникулы. Фея — в горком комсомола. Там ей дали денег на дорогу и письмо к севастопольским товарищам по работе с просьбой устроить Фею пионервожатой в какой-нибудь детский лагерь. Севастопольцы пообещали сделать это при первой же возможности. Но возможности такой до сих пор не выпадает. И она каждый раз возвращается к своей раскладушке с неотступной боязнью — вдобавок ко всем невезениям лишиться еще и крыши над головой... И вдруг — все наоборот: молодые веселые хозяева сами пошли ей навстречу и вызвали на откровенность.

Так и продолжала Фея жить в нашем приморском замке, пока горком комсомола не подыскал ей подходящее место где-то у «самого синего моря», вдали от городских испарений и дыма.

Покидая нас, она дала слово — в первую же получку рассчитаться за жилье и подарить нам по морской раковине, извлеченной из моря ее руками.

Но ни тому, ни другому свершиться было не суждено. И вовсе не по ее вине. Да и не по нашей.

Всему причиной оказалась появившаяся в середине августа заметка в местной газете «Маяк коммуны». Дословно цитировать ее не берусь, но всю суть помню отлично. В ней говорилось, что экскурсионная база открыла в помещении школы имени Шевченко свой филиал, что в пришкольном саду вечерами, до поздней ночи, стоит невообразимый шум, не смолкают песни и музыка, мешающие соседям спать, что руководят этим филиалом два невесть откуда приехавших экскурсанта, не имеющих никакого отношения к системе Наркомпроса...

В общем тут было почти все правильно, нечего было и опровергать, кроме разве того, что экскурсантами мы не были.

Не успели мы прочесть заметку, как открылась дверь и в комнату вошел Дмитрий Иванович Кузнецов. На лице директора были смущение и досада. Сел на свободную табуретку и хлопнул по столику своей широкой ладонью.

— «Проведемте, друзья, эту ночь веселей!» — Он угодил как раз по развернутой на столе свежей газете.— Ах, вы уже читали? — И не стал разъяснять актуального смысла этой седой студенческой песни. Да мы и так поняли его...

Разговор состоялся утром. А вечером того же дня в квартире Кузнецова был устроен прощальный ужин в честь отъезжающих на родину двух самых молодых и исполнительных, но не входящих в систему Наркомпроса работников.

За щедро накрытым столом, сверх нашего ожидания, собрался весь штат базы, включая повариху Зою Кузьминичну и возчика Абдуллу. Нас посадили на видное место — между Кузнецовым и Софьей Ивановной. Дымились горячие блюда, искрилось крымское вино в графинах, и всеми цветами пылали виноградные кисти. Никаких возвышенно-торжественных речей не было. Был только добрый напутственный разговор старших с младшими. Общий смысл разговора сводился к тому, что юность наша не стала искать гладеньких стежек в жизни, а пошла прямиком, одолевая ухабы и рытвины даже в этом экзотическом краю, где иных подстерегают только одни искушения.

— Продолжайте свой путь так, как вы его начали,— пожелал нам Кузнецов.

А Софья Ивановна, став между мною и Твардовским, по-матерински опустила руки нам на плечи и сказала:

— Я первой вас встретила и последней обниму перед дорогой. А пока прочтите нам свои стихи.

Вот это уже хуже! Не привыкли мы к этому. Другое дело — читать друг другу наедине. Но, слава богу, до поезда оставалось всего два часа — самый спасительный способ отказаться.

— Успеем, успеем,— опережает нашу мысль Софья Ивановна,— пешком не пойдете, у подъезда вас ожидает лошадь.

Мы, конечно, сразу догадались, что там за лошадь: это последняя благодарность нашего старого друга Абдуллы.

Стихи все же читали. Твардовский был воспринят с восторгом. Я это понял больше по лицам слушающих, чем по их овациям. Невольно теперь вспоминаются его хрестоматийные строки:

Вот — стихи, а все понятно,
Все на русском языке.

В конце вечера нам были вручены совсем непредвиденные подарки — по светлому летнему костюму и по головке голландского сыра. Костюмы, видимо, потому, что их у нас не было. А сыром мы всегда восхищались за завтраком, и это не осталось незамеченным.

У крыльца нас и вправду ожидал уже знакомый вороной конек, запряженный в те же тощие дрожки, на которых мы с Абдуллой перевезли за лето горы хлеба и мяса.

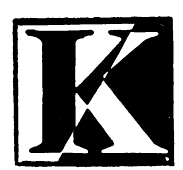
Кроме хозяина и нас дрожки могли принять только одну миниатюрную Софью Ивановну. Все остальные с цветами в руках шествовали за нами пешком. Возглавлял пешеходов сам директор.

Перед расставанием не следует долго задерживаться на перроне, тем более в своих воспоминаниях.

Последний гудок. Последние секунды. Возможно, я уж слишком подробно рассказал здесь о нашем первом путешествии по белу свету. Да оно как совместное было и последним. И, может, поэтому мне захотелось подольше побыть в юности с человеком, ближе и дороже которого у меня тогда не было.

Фрунзе, 1972

КОЛОДНЯ



олодня — это станция под Смоленском, почти его пригород, и называли ее обычно Товарной или Сортировочной — по назначению.

Три или четыре, а может, и все шесть километров (тогда говорили — верст) отделяли эту малолюдную станцию от города. Иногда казалось — зря люди садятся в поезд, дойти — пустяк. Иногда же город отодвигался от Колодни бесконечной своей Старомосковской улицей с ее ухоженными и запущенными домишками и обязательными огородами при них, на которых особенно выделялись крупнолистая, сознающая свое значение капуста и парящий над грядами укроп.

Расстояние между станцией и городом, видимо, зависело от того, шла ли я из дому в лес или из лесу домой.

Еще школьницей стала я знакомиться с окрестностями Смоленска. Испробовала концы многих выходящих из него дорог: ходила и за Чертов ров, и за Свирскую и Рачевскую слободы, и за горы Ясеную, Склянную, Покровскую. Но всего чаще избирался недалекий от дома и представлявший выбор в конце путь — на Колодню.

По правую руку, если оставить Смоленск за спиной, прилегает к станции высокий холм, покрытый березово-хвойным, с большой примесью осины лесом. Этот холм и называла я мысленно Колодней: станция была мне ни к чему. А по левую руку, если пройти еще с версту тропой, прикрытой незавидным ольшаником, таился дивный уголок нашей смоленской природы — Танцо̀вая роща.

Почему так называлось это место, не знаю. Может быть, название шло от помещика, бывшего владельца земли, а может, из-за самой рощи, выросшей здесь, на склоне холма. Могучие стволы сосен, взбираясь по холму, розно клонились,

их вершины, где сближенные, где отдаленные, выделялись издали среди более светлых лиственных пород. Вот этот сосновый разнобой в прямизне иных стволов мог дать имя роще и местности вокруг нее.

С правой стороны от рощи был другой, более крутой, лысый холм; из-за редкой, летом усыхавшей травы его никогда не косили. У подножья холма и Танцовой рощи образовалась низина, переходившая в берег ручья, летом нитяного, а весной обильно разливавшегося.

Еще к северным склонам оврагов прижимались последние сугробы, а в роще, среди сухой листвы, сосновой иглы да и своих полуживых, полуубитых морозом листьев, расцветала голубая пролеска — открывались глаза весны. Повсеместно первые цветы в народе называют подснежниками. На Смоленщине под это название шли голубая пролеска, ветреница (анемона) и хохлатка.

Сырая луговина перед рощей, постепенно просыхая, давала все новые и новые травы и цветы и новые краски самой местности. Ранней весной луг ослеплял металлическим блеском золотой калужницы. Ее лакированные, красиво вычерченные листья соперничали в блеске с цветами и создавали изумительную гармонию долины, поливаемой сверху солнцем.

Народ не любит калужницу. А вот пролеска была любима. Несешь букетик через слободу и то и дело слышишь:

— Подснежники!..

— Смотри, уже подснежники!..

Значит, весна.

Позже появлялась вахта, или трифоль,— бледно-розовая и белая, прекрасно выглядевшая в легком, нетугом букете. Догоняя ее, расцветали раковые шейки, прелестные, задумчивые купавы, дремы, а к сенокосной поре, когда луг просыхал, появлялись ромашки и все виды колокольчиков, начиная от слегка голубых и белых наперсточков, годных лишь на мизинец и предпочитавших сухие кочки и кончая глубоко синими, с крапинками внутри цветочной чашечки горечавками, которые я по незнанию и по сходству формы относила в ту пору к колокольчикам.

А в роще цветение шло своим порядком. Отцветали примулы и фиалки, зацветали ландыши, потом любка и высокий крупноцветный колокольчик, называемый в книгах персиколистным. На опушках и в луговых заливах, врезавшихся в рощу, розовой стеной стоял иван-чай. По взгоркам, кочкам — выше сырых мест — днем было ало от травянки, а у ручья все голубело от незабудок. Осенью долина у подножия холмов краснела от малиново-бордового бархатистого шпажника. Помнится: огорчалась, когда, собирая букет, замечала:

цветок в руке не надламывался, а вырывался из почвы с луковкой. В этом месте его уже не будет.

В ручье была своя жизнь. В бочажках мелькали и прятались от шагов и теней маленькие рыбки, а однажды меня напугали две извивающиеся змеи (это были угри). Ручеек впадал в озерко, окруженное кустами, летом сплошь покрытое белыми нимфеями и их округлыми листьями и менее красивыми, странными и даже таинственными кубышками.

Позже, живя в Подмосковье, я уже никогда не встречала луга с таким богатым подбором цветов и трав на столь небольшом пространстве и такого уюта, которым дышала долина у Танцовой рощи.

Но речь пойдет о Колодне.

На станцию из города можно идти по шпалам с любого переезда в Заднепровье или Старомосковскою длинной улицей.

Правая сторона улицы в направлении к Колодне примыкала к берегу Днепра, а левая — к железнодорожным путям. Выбор дороги зависел от настроения. Если хотелось скорее попасть в рощу, надо было устремляться по шпалам, а если хотелось пройтись и поглазеть на слободские окна с богатыми наборами цветочных горшков, выбиралась Московская.

И чего только не было на подоконниках ее однотипных и все же не на одно лицо смотревшихся домишек! Это только в романах про обывателя герань да герань. Всевозможные фуксии, кампанулы, бальзамины, герани всех оттенков — от белого до темно-красного, почти черного — и лиственно-декоративные растения, многие названия которых мне так и не пришлось узнать, разводились с большой тщательностью, любовью к земле и природе, навещать которую по желанию не всегда могли работающие люди.

Одна прогулка в Колодню особо помнится. Московская улица кончается, не доходя до станции километра два. Сразу за последними домами открывается русло Днепра. Все оно, пока взгляд не упирается в поворот реки, покрыто впритык уложенными плотами, одной своей стороной подведенными к берегу. Идти по плотам, вызывая изредка слабый плеск воды, чувствуя, как прогибается бревно, ослабленное в связке, подставляя лицо ветерку от реки,— так хорошо.

И вдруг — всплеск, и день погас. Прохладный сумрак, мгновенный рывок кверху — и вовремя: бревно всплыло и стало на место, прикрыв западню.

Я огляделась — ни души. Ни рыболова, ни прохожего. Никто не видел, никто не слышал. Отжав платье, я перешла на шпалы. Но и любимая Танцовая роща не сняла в тот день ощущение тревоги в душе от необычного купанья. Полумрак, солнечные блики под накатом бревен, пробившиеся в зазоры плота, и недоброе вращение свободного бревна, задетого но-

гой, чувствовались как обошедшее тебя на этот раз наказание за что-то...

Первая наша с Александром Трифоновичем прогулка пришлась на Колодню. Уже была Валя, наша дочка. И маршрут в сторону Колодни был выбран не иначе, как из-за желания показать ему мои любимые места. Приехали на станцию, и он предложил не идти в Танцовую, а подняться на Колоднинский холм. Мы обошли несколько уголков и выбрали место для отдыха. Я предполагала, что, отдохнув, мы побродим по роще. Хотела показать ему места, где водились подосиновики. Но он решил сначала закусить и вдруг достал из кармана бутылку. Мне стало грустно оттого, что места эти он не почувствовал. И роща, и весь Колоднинский холм не были местами его детства. Иные углы иного леса дарили ему радость, и в других местах оставлял он те печали, от которых забиралась детская душа под покров леса.

В Смоленск мы возвращались по шпалам. Денег на обратные билеты у нас не было.

Еще раз в этой роще мы с ним побывали уже несколько лет спустя.

Учился он тогда в ИФЛИ, и была у нас в Москве комнатушка-проходнушка. Но по привычке нас тянуло в родные места. Да и легче было среди своих: у моей сестры Веры был малыш, ровесник нашему Сане, и решено было снять совместно на лето избу. Вера выбрала Колодню: частые поезда и близость города позволяли ей ночевать на даче и ездить на работу.

Однажды, перед его возвращением в Москву, мы решили сбегать по грибы.

Оказалось, что собирать грибы на холме надо учиться заново. Я по старинке шарила глазами, подымаясь в гору. Но что-то мне мешало, что-то было не так. Посмотрела, как ходит по лесу Александр Трифонович, и поняла, что он сумел «сообразоваться» с обстановкой: он поднимался на несколько шагов вверх по склону и оттуда, сверху, делал обзор видимого пространства. Среди редкой травы и прошлогодней трухи хорошо видны были яркие шляпки подосиновиков.

А потом он уехал.

В памяти возникает Колодня уже не девичьей поры. Прогулки с ребенком на руках особенно помнятся.

С горы безлюдная к вечеру станция была тиха и грустна. Робко перемигивались зеленые и красные огни семафоров, за которыми малыш следил так пристально, словно хотел понять их значение.

И я всматривалась в сигналы. Непричастность их к нашей жизни была столь определенна, словно посылались они на другую планету. В сердце начинала забираться тоска. Хотелось иной жизни, работы, порядка, прочности. Поезда

почему-то напоминали, что такая жизнь возможна: вот едут же люди. Но красный или зеленый глаз был устремлен в вечернее пространство, печаль не слабела: красный не разрешал ехать, зеленый разрешал тем, кто сидел в вагонах.

В поселке в домах зажигался свет на время ужина и вечерних хозяйственных дел, а часом позже только и оставались вознесенные над путями огни семафоров и ночные отчетливые звуки не затихавшей жизни станции: отдаляющееся погромыхивание колес, придыхание остановившегося паровоза, свистки составителей товарных эшелонов, резкая, но неразборчивая команда...

Когда настало время нам переезжать, мы стали советоваться: как быть дальше? Решили, что малыша я на время оставлю у мамы в Смоленске, поеду с Валей, устрою ее в детский сад, а потом заберу Сашеньку.

В Москве к концу второй недели были собраны все справки, ожидали места в детском саду. И тут из Смоленска пришла эта страшная телеграмма.

Но запись подробная о тех днях сделана Александром Трифоновичем, и я привожу ее полностью.

«14.X.1938

Уже пять дней, как нет Саши. Когда с людьми — уже болтаю о делах и т. п. А чуть останусь один — думаю только о нем. Сегодня вдруг вспомнил песенку, которую мы сложили с Валей, забавляя Сашеньку в зимние вечера в нашей конуре:

Раненько-раненько
Встанет наш Санинька
И побежит за водой...

И не помню, как-то:

Санинька, родненький,
Дай нам холодненькой,
Дай нам воды ключевой.

С самого начала хотел записать все, как пришла одна и другая телеграмма, как ездили хоронить, все. Но по приезде сразу ничего не получалось. Вырвал начатые листы. Теперь легче и еще грустнее оттого, что уже легче, что все пройдет и останется житейское воспоминание: умер ребенок. И я этого не хочу. Это был не ребенок, а Сашенька, мой сынок, мой друг, моя радость. Вспоминаю: я сознавал, я чувствовал, как много он помогает мне в жизни, как много я черпал от его милой, незабываемой доброты и ласковой веселости. И легче переносил свою обидную бесприютность, неудачи, тягости. Это был чудесный маленький человечек, с большой серьезной головкой, синими-синими глазами и веселыми розовыми

полными щечками. А ручки и ножки были крупные, отцовские.

В последний раз видел я его в июле, когда ездил на дачу к своим,— он меня не скоро признал, но потом признал и стал ласкать меня, баловаться; я ложился на полу в избе, а он с разбегу наваливался на меня своим смешным большим животиком, вползал на грудь, шутливо кусался, измазывал всего слюнями, непрестанно повторяя: па-па, паппа, паппа...

Но мы скоро уехали — и прощанье мне запомнилось смутно. Выходит, попрощался я с ним еще весной, когда отправил всех на дачу, чтоб засесть самому за зачеты. Уезжали часов в 11 вечера, посадил я их в купе (а он не спал все время, когда я с ним ходил под окнами по тротуару, ожидая такси,— он мурлыкал), и бедная моя Маня, оставшись одна со своими птенцами, поставила Сашеньку на столик у окна, а я уже вышел и стоял на платформе. Он прощался, улыбался, сплющивал о стекло свой носик-пуговку, водил лапками по стеклу. Не помню: дождался ли я, чтоб тронулся поезд? Не может быть, чтоб не дождался. Все, кто проходил, любовались на Сашеньку, какие-то женщины долго стояли любуясь. Осин как раз подошел, тоже хвалил. А у Мани лицо было грустное. Она не хотела уезжать, знала, что иначе нельзя — я не сдам зачетов,— но не хотела. Кроме того, она очень устала, все последние дни прошли в сборах, она стирала, гладила. А я ходил с Сашенькой по городу, заходил иногда очень далеко, сидели в скверике напротив большого белого здания с двумя мемориальными досками (историку Соловьеву и И. А. Гончарову).

Когда приехали с юга, еще были надежды на квартиру, что вот-вот что-то получится. А я погрузился в переводы Шевченко. Маня уехала одна в Смоленск, дожила с детьми на даче последний месяц, переехала в Смоленск, и тут мы решили, скрывая от самих себя по возможности боль такого решения, что Саша *покамест* (мучительно неопределенное *покамест*) останется у бабушки, а Вале пора в детский сад — Валя с Маней приедут ко мне.

Когда они приехали, зашла свояченица Лена и стала просить Валю в гости на дачу, где они доживали с мужем последние дни. Мы отпустили Валю, остались одни. Маня вдруг расстроилась и расплакалась о Сашеньке.

— Оставили мальчика одного...

А я стал ее успокаивать, утешать, хотя никаких добрых вестей о квартире у меня не было...

...Прошло десять дней, было, кажется, одно письмо, что Сашенька здоров. Я переводил по 100—150 строк в день. Закончил вчерне «Гайдамаков».

9-го утром в форточку подали молнию: Саша болен дифтеритом, лежит в больнице, выезжай. Нас ужаснуло, что он в больнице один, маленький, но мы и представить себе не могли, как еще это обернется.

Маня с Валей стали собираться в дорогу, я хотел оставить девочку, но с детсадом еще было неизвестно,— решили, что она поедет.

Маня пошла искать винограду для Сашеньки, а я сел за газеты, стал читать материалы о летчицах — были с вечера заказаны стихи для «Правды».

Часу в двенадцатом подали вторую молнию: Саша умер выезжай немедленно.

Я был один в комнате, Валя играла на улице, Маня еще не возвращалась. И хотя чуть не закричал, завыл как-то над телеграммой — горе еще не придавило меня так, как потом. Побежал искать Маню. Сбегал в один магазин — нет, вернулся,— ее нет, побежал в другой — нет, очередь за яблоками — не протолкнуться. Побежал домой, Маня открыла,—

— Машенька,— сказал я, протягивая ей руки.

И она сразу опустилась, присела как-то, лицо исказилось от страха, и голос стал слабый, жалостный, молящий:

— Что? Что? Что?..

Она уже поняла и только просила, умоляла, теряя силы, чтоб я сказал ей другое. Внес я ее в комнату, в дверях мелькнулахищная поганая тень Марихен: у нее была радость — новость.

Я сперва старался утешать Маню, уговорить, обласкать, но потом сам зарыдал,— и все это, что я пишу, уже только строчки, бледные и ничтожные, и передать они ничего не могут. Но я должен записать все, как могу, как выходит. Буду записывать все по порядку.

Плакать нам долго было нельзя, поезд отходил через три четверти часа, мы кинулись собираться. Удалось вызвать такси, и мы уехали. Позвонил я только Мише[1].

Поезд шел долго, почти со всеми остановками, и потом я никогда днем по этой дороге не ездил, а за ночь она проходила очень быстро. Мане кой-как я достал постель, она легла, плакала и засыпала от слабости, а я курил в тамбуре (вагон детский, хотя грязный и бесплацкартный), стоял у окна, сидел на откидном стульчике в коридоре вагона, а больше все стоял да ходил. Так и прошло 10—11 часов пути. Валя сперва смотрела в окно, потом играла в детском отделении, потом уложили ее с мамой на полку.

В Вязьме успел послать телеграмму, что приедем сегодня в 12. Я знал, что старуха убивается и что к горю у ней еще сознание вины, ответственности за это горе.

---

[1] Исаковскому М. В.

Вера нас встретила на вокзале. Пришли на квартиру, больная, охрипшая, поднялась с дивана Ирина Евдокимовна, стала просить прощения, обвинять себя. Схватила мою руку, прижала к своей груди.

— Александр Трифонович, поверьте... Батюшка...

Кое-как успокоились, улеглись. Еще по дороге узнали от Веры, что Сашенька еще в больнице,— я все с ужасом представлял его себе в комнате, в гробике. Решили совсем не привозить его домой. Часов в 6 утра пришла моя мама, поплакала и ушла. Я с ней почти не говорил.

Предстоял день тягостных и мучительных хлопот по похоронам и т. п. Меня почему-то издавна пугало это. Я никогда никого не хоронил и словно боялся, глупый, что не сумею,— не знаю, с чего начать и т. д.

Маня не хотела остаться дома, пошла со мной заказывать гробик. Шли через весь город на какую-то Козинку, возле костела, где мастерская гробов. Утро было осеннее, мозглое, город грязный, неприютный и чужой. Только в одном месте шли вдоль забора, к костелу, под забором валялись мокрые желтые листья — кленовые и ясеневые — городские листья— вспоминалось что-то далекое-далекое. Там где-то поблизости был дом, где я жил около года маленьким — лет 4—5, а напротив был забор вроде этого и за ним большие городские деревья, сад. Тогда или позже я подумал, почувствовал, что вот *полжизни* прошло. Был я маленький, а вот уже дети у меня были и хороню уже одного. И последние юношеские глупости покинули голову. Нет им больше места.

Гробик нашелся готовый, только мы попросили его оклеить белым. Женщины, вязавшие венки на полу в большой комнате, уставленной гробами, стали расхваливать гробик и уверять, что наш мальчик в нем поместится: вот так будет головка, вот досюда ножки. Маня плакала. Она весь день то держалась как будто, то вдруг при каком-нибудь напоминании ее точно душило, и она все более слабела и старела лицом. Бедненькая, как ей было тяжело, как обидно и горько на жизнь!

По дороге из гробовой встретили Певзнера А., единственно кого встретили из прежних знакомых. Потом зашли в цветочный магазин, взяли букет. Там было противно: какой-то полуурод, полуидиот с дырявой щекой что-то бурчал, бормотал, отбирая цветы.

Потом мерзли на вокзале в ожидании такси, а их во всем городе 3—5. Когда уже совсем разуверились дождаться — подошла машина, и мы ее уже не отпускали до конца, наездили 18 километров.

Поехали за гробиком, остановились у фотографии (фотограф был раньше предупрежден, но теперь стал закусывать, и мы его ожидали), захватили по дороге Веру и отправились

на Покровку, в больницу. Но прежде всего мы съездили на Тихвинское кладбище, где, всячески ублажая сторожа, заставили его вырыть могилку, выбрали местечко под кустиком сирени, напротив — памятник: Татьяна Федорова. Самое трудное и мучительное было у мертвецкой, когда женщина, обряжавшая Сашеньку («У меня свои дети»), вынесла его *в гробике, в синенькой рубашечке,* бледненького и серьезного, со сложенными на груди ручонками. Губки запеклись и потрескались, ноготки на ручонках посинели... А Вера и Маня, еле держась на ногах от слез, стали его убирать цветочками.

Тут прибежала и заголосила Ирина Евдокимовна, которую нарочно мы не взяли с собой,— она бегом на гору прибежала. Отвели ее, но она так просила допустить ее к гробику, так покорно и жалостливо обещала не плакать, что я ее оставил. Фотографу дал 30 руб. (он оказался хам: узнал, что мы уехали, и волынит с фото), извинился перед ним, что не могу его отвезти обратно, и мы поехали на кладбище: я с шофером, а женщины с гробиком на коленях — позади, на сиденье.

Сторож кончал могилу. Мы открыли гробик, чтоб поправить Сашеньку,— он сбился на бочок, пока несли. Изо рта показалась струйка крови,— Вера утерла марлей. Взглянули еще раз на него, как он лежит, бедный, обиженный, покинутый мальчик с цветком в ручках (он очень любил цветочки — особенно любил обдувать одуванчики), и закрыли. Сторож, не вылезая из ямы, принял гробик, уложил его и, *наступив на него,* вылез. Мы кинули горстки земельки, цветы, а сторож быстро засыпал его сухой, рушеной землей с обломками чужих гробов, со свежей желтой листвой. Из-под осыпающейся земли несколько минут показывалась, белела головная часть гробика. Могилка вышла очень похожей на детский глиняный пирожок. Маня и Вера убрали ее оставшимися цветочками, аккуратно уложив их.

— Все, сынок...— сказал я и мы поспешили к машине, а мальчик наш остался один».

В 1943 году редакция «Красноармейской правды» стояла в Колодне. Александр Трифонович жил то у родных в Смоленске, освобожденном к этому времени, то в редакционном поезде.

Наверно, он не видел в военные ночи глаза семафоров, наводящие такую грусть. Но и без них было ему чем помянуть станцию Колодню. Это о ней сложил он строки:

...О какой-нибудь Колодне,
Нынче спаленной дотла;

О гулянке средь села;
О реке, что там текла;
О судьбе, что в гору шла;
О той жизни, что была,
За которую сегодня
Жизнь отдай, хоть как мила...

Строки эти не вошли в окончательный текст «Теркина». Мне кажется, что опустил эти стихи автор не из-за их несовершенства,— он мог бы довести их. Нет, за этими строками стояла тень прошлого. А то, что казалось ему только личным, что составляло глубинную жизнь души, не часто выносилось наружу. Это закон народной жизни. Он соблюдался им до конца дней.

1974

БУДУЩИЙ ТВАРДОВСКИЙ



...Мы познакомились в 1928 году. Скоро наши встречи стали частыми, временами — почти ежедневными. Конечно, меньше всего мне приходило в голову и тогда, и позже, что когда-нибудь я буду писать о нем воспоминания. Он был на год моложе и здоровья, казалось, был неизбывного, да и меньше всего мы думали о запечатлении своих встреч. В памяти остались лишь самые общие впечатления тех лет и некоторые события и детали.

Одним из первых общих впечатлений от его личности было ощущение сочетания очень здорового, нормального, крепкого, жизненного, коренного и вместе с тем очень духовного. Большой и вместе с тем сдержанной, не навязчивой силы. Очень нормального, почти обычного — и самобытного, небывалого.

Высокий, стройный сельский юноша, «загорьевский парень», красивый красотой некоторых деревенских гармонистов и вместе с тем еще чем-то бóльшим и необычным. Ясно-голубоглазый, с открытым лицом, часто освещавшимся такой же ясной, доверчивой, даже простодушной и вместе с тем одухотворенной улыбкой. Да, именно светилась и в улыбке, и во всем обличье, и в разговоре природная одухотворенность, народная интеллигентность. И ясные глаза смотрели иной раз с глубинной пристальностью, проницательностью, для восемнадцатилетнего парня совсем необычной; подчас чувствовалась в них и некоторая настороженность, испытующая, критическая наблюдательность деревенского человека, которому все внове в непривычной городской среде и все интересно, но который ко всему относится с полной самостоятельностью, независимостью,

свободой. И который был исполнен напряженным трудом души.

Теперь, ретроспективно, можно только удивляться энергии и эффективности этого труда. Удивляться тому, как быстро восемнадцатилетний юноша из «глухого, чудного, нарочного» «хутора-хуторка», юноша, по приезде в Смоленск полушутя-полувсерьез спрашивавший, как включить электрический свет, юноша, формальное образование которого сводилось к незаконченной сельской средней школе,— как быстро этот юноша со всем напором своего здоровья, сил двигался вверх по лестнице и общей культуры, и поэзии, познания и самопознания, становления себя как поэта и человека. Но тогда это чудо казалось чем-то само собой разумеющимся, естественным, ибо оно было не уделом «особой, избранной судьбы», а частицей и концентрированным выражением, продолжением гигантского народного культурного подъема, охватившего с середины 20-х годов «глухие углы».

И скорее теперь удивляет инфантилизм многих современных «молодых» поэтов, оснащенных высшим образованием, но до тридцати лет все еще пребывающих в пеленках...

В труде души молодого Твардовского было нечто непосредственно вырастающее из труда крестьянина и мастерового человека, каким был и его отец — крестьянин и кузнец, из труда души его матери, своеобразной и поэтической крестьянки, образ которой проходит через его поэзию и о которой не раз он говорил и в наших тогдашних беседах, и вместе с тем это был уже труд души народного интеллигента и поэта совершенно нового типа, труд души будущего Твардовского. Это создавало особую сложность и вместе с тем особую простоту его личности, его поэтических поисков.

Про него можно было уже тогда сказать его же позднейшими словами: «Что проще — да! — и что сложнее». И уже тогда определилось главное в этой сложной простоте — сочетание жизненности, даже деловитости, практичности, вплоть до, так сказать, селькоровской злободневности, с пафосом больших ожиданий, великих идеалов, «завидных далей» — и своей личной и общенародной судьбы,— тем, о чем с такой светлой и грустной улыбкой вспоминает он в своем стихотворении «На сеновале». И был на всю жизнь накрепко определен его фундаментальный «завет первоначальных дней» — «не лгать, не трусить, верным быть народу». И с самого начала он с большой настороженностью относился ко всяким любителям «краснословья», даже когда оно было искренним.

Его духовность была лишена обычной юношеской мечта-

тельности и тем более сентиментальности и риторики. Поражало именно стремление к истине в ее живой исторической конкретности, более того — сегодняшней ее насущности. Трезвость, зоркость взгляда, упорное стремление ясно отличать зерно от половы. Благодаря этому он остро, иной раз слишком остро, чувствовал всякую фальшь, показуху и всякое, как он выразился в одном из своих последних писем мне, «пустоутробие».

...Наши — частенько многочасовые — беседы были беседами обо всем на свете. Прежде всего о жизни, меньше о литературе. Большое место занимало его стремление «дорваться вдруг до всех наук со всем запасом их несметным и уж не выпускать из рук...». В этом отношении его разговоры с новым городским другом продолжали тот разговор «на сеновале».

Он и позже всегда ценил любое конкретное сообщение, информацию. Но при всем разнообразии тем получалось, что никогда не хватало времени на чисто житейское или вообще узколичное. Не то чтобы этими вопросами пренебрегали, но его практичность не имела ничего общего с житейской ловкостью, приспособляемостью, никогда не заслоняла духовности. И во всех делах, даже в бытовых мелочах, характерны были для него безусловная порядочность, разборчивость в средствах, высокое чувство достоинства и — главное — чувство ответственности поэта и гражданина «за все на свете», то чувство ответственности, которое было лейтмотивом его жизни.

Житейские дела его долгое время были не устроены. С восемнадцати лет он стал писателем-профессионалом, не имея постоянного заработка. В дальнейшем, с начала 30-х годов, он совмещал работу поэта с регулярной учебой в вузе и с довольно частыми поездками по заданию местных газет или журналов в деревню. Это, в сущности, и был образ жизни самый плодотворный, подходящий для развития его таланта.

И определился еще один принцип его личности и творчества, который сформулирован был и в одном из последних, итоговых его стихотворений: «К обидам горьким собственной персоны не призывать участья добрых душ. Жить, как живешь, своей страдой бессонной, взялся́ за гуж — не говори: не дюж».

В молодости этот принцип осуществлялся им иногда даже с некоей чрезмерностью, из-за этого были случаи тяжелых недоразумений с близкими ему людьми. Вообще он был человеком гораздо более уязвимым, ранимым, чем казалось другим (да и ему самому.) Сохранил он эту ранимость и позже...

В течение 1928—1936 годов все или почти все стихи его

читались и обсуждались со мной еще до того, как отдавались в печать. Было немало и «экспериментальных» стихов, для печати не предназначенных.

Пробы делались в разных направлениях, но ничто не могло заставить его поддаться какой-либо моде или очередному «веянию» — поражало единство, упорство основного поиска.

...Кто был его литературным учителем в этом поиске? Строго говоря, перебирая в памяти и его стихи, и его разговоры, не могу назвать ни одного поэта. Сам он не раз называл М. Исаковского. Это было верно в наиболее общем смысле, поскольку Исаковский был основоположником всей «смоленской школы», как теперь иногда называют поэтов-земляков. Он оказал и прямую поддержку в самых первых его шагах. И для всех нас Исаковский был бесспорным авторитетом, уважаемым старшим товарищем.

Но все же следы непосредственного влияния Исаковского заметны лишь в стихах Твардовского 1925—1927 годов, а начиная с 1928—1929 годов все его стихи похожи только на самих себя.

В наших разговорах, конечно, обсуждался со всем юношеским запалом «весь» опыт мировой поэзии. И делался главным образом один вывод — учиться надо у классиков, а писать надо стихи совершенно нового типа, как в первый раз на свете. Были и попытки теоретически наметить, обосновать пути поэзии новой действительности, поэзии, основанной на предельно прямом воспроизведении ее углубленной конкретности и духовного богатства. Выдвигались и более узкие «рекомендации». Например, идея создания нового типа социалистической лирики — сюжетной, событийной, углубленно психологической, предельно разговорной, включающей в себя и повествовательные, и драматические элементы, и (главное) «лирику другого человека», диалектику душевного движения, роста нового трудового человека, новых человеческих отношений.

Среди поэтов XX века, которые тогда были учителями молодого поэтического поколения, никто особенно не привлекал молодого Твардовского, а некоторых он активно не любил и лишь немногими активно интересовался. На фоне обычных увлечений тогдашней литературной молодежи (помните: «Тихонов, Сельвинский, Пастернак...») вкусы молодого Твардовского, как и других поэтов, его земляков, были возвратом к традиции XIX века «через голову» чуть ли не всего XX века. Пушкин, Некрасов, Тютчев, помню фигурировали прежде всего в наших разговорах.

С начала 30-х годов молодой смоленский критик особенно много говорил о «некрасовском направлении». Однако непосредственное обсуждение некрасовского опыта на-

ибольшую роль сыграло несколько позже, в период перехода к «Стране Муравии» от ультраразговорных, «прозаизированных» ранних поэм. Сохранилось в памяти неизменное восхищение Тютчевым. «Тютчевское» начало было заложено в Твардовском гораздо раньше, чем оно внешне проявилось в самой фактуре его стихов, а в лирике 60-х годов синтез «некрасовского» и «тютчевского» начал играть особо большую роль. Внимательный глаз может найти начало таких поисков и в стихах смоленского периода, в том числе ныне забытых. Но, вопреки часто высказывавшимся мнениям, никогда ни самый молодой, ни самый поздний Твардовский не игнорировал опыт поэзии XX века, и многое в этом опыте было им усвоено, переработано и продолжено прямо или косвенно.

Из отдельных оценок смоленских лет мне особенно запомнилось его отношение к Бунину. Бунин, несомненно, был в числе его главных поэтических учителей (или предшественников).

Помню, как мы совместно восхищались бунинским «Одиночеством», как открывали для себя его искусство психологической и вместе с тем предметной и «поведенческой» детали. «Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой». И концовка: «Что ж! Камин затоплю, буду пить... Хорошо бы собаку купить». Такие детали и весь строй, ход этой лирико-психологической новеллы во многих отношениях непосредственно подготовляли поэтику лирико-психологических «рассказов в стихах» Твардовского, в той, однако, небольшой мере, в какой кто-либо мог на него непосредственно влиять. Любовь к Бунину сохранилась на всю жизнь даже в деталях: когда мы уже в конце 50-х годов както вновь заговорили о Бунине, то прежде всего было названо то же «Одиночество».

Из других поэтов XX века, сколько помню, больше всего обсуждались Мандельштам, Пастернак (некоторые его стихи Твардовский очень признавал, хотя в целом Пастернак ему был довольно чужд).

С годами он стал любить и ценить многое из того, к чему раньше был равнодушен или что даже совсем отвергал. Но то, что он полюбил в молодости, в основном оставалось его любовью до конца дней. Нельзя привязать его к какой-либо одной, хотя бы самой прекрасной — «некрасовской» или другой — традиции, хотя, конечно, эта традиция им достойно продолжалась.

И если уж искать какие-то его литературные источники, то были ими не только и не столько стихи, сколько художественная и документальная проза — от Толстого и Чехова до газетных сельских корреспонденций и дневниковых записей-наблюдений самого Твардовского. Недаром полушутя он говорил мне в нашем последнем разговоре в 1970 году: «Я, в

сущности, прозаик». Но и в этом он продолжал все — и ничего в отдельности, так же как ни от чего не отталкивался, но все начинал сначала. Скорее даже с середины, с живого потока сегодняшнего бытия в его устремлениях к «завидным далям». Потока жизни в ее конкретной новизне и новизны в ее конкретности — как «в первый раз на свете», ибо все и было первый раз на свете.

Как давно прошли эти юношеские встречи, разговоры, эти стихи будущего Твардовского! Давно. «Жизнь тому назад». И вот уже пришел и прошел тот будущий Твардовский. И «по праву памяти» и ее обязанностям, той памяти, которая была таким важным началом всей его поэзии, так нужно, кажется, именно теперь вспомнить его истоки, вспомнить того, будущего Твардовского.

Ленинград, 1972

ТАК ПРИШЕЛ ОН В НАШУ ШКОЛУ ЖИЗНИ...

1

Первый раз я встретился с Александром Трифоновичем Твардовским, а точнее — с Сашей Твардовским, зимой 1926 года, в январе или феврале, тогда ему было неполных шестнадцать лет.

В Смоленске проводился губернский съезд селькоров, на который пригласили и Сашу Твардовского — селькора с почти уже двухлетним стажем.

Во время обеденного перерыва на съезде ко мне в редакцию газеты «Рабочий путь» он и пришел. Это был стройный юноша с очень голубыми глазами и светло-русыми волосами. Одет был Саша в куртку, сшитую из овчины. Шапку он держал в руках.

Сейчас не сохранилось того дома в Смоленске, по улице Карла Маркса, в котором помещалась редакция «Рабочего пути». Но я отлично помню, в какой комнате мы встретились; помню большой стол, покрытый почему-то черной клеенкой, за которым я работал и за который рядом со мной — плечом к плечу — сел Твардовский. Он дал мне несколько старательно переписанных стихотворений, и я стал читать их.

Стихи Твардовского мне понравились. Конечно, они не были совершенны, как и стихи всякого начинающего поэта, но тем не менее нетрудно было заметить, что Твардовский пишет не так, как другие: он по-своему видит описываемое в стихах и старается говорить своими словами, не прибегая к установившимся шаблонам стихотворной речи. В этом смысле стихи были поэтически свежими, в своем роде оригинальными, мало похожими на те стихи так называемых «крестьянских поэтов», которые печатались в то время в больших количествах.

Если не изменяет мне память, я выбрал для «Рабочего пути» два стихотворения, которые показались мне наиболее удавшимися, и попросил редакционного художника, чтобы тот нарисовал портрет автора.

Стихи с портретом появились то ли на следующий день, то ли спустя еще один день. Напечатаны они были на очень видном месте — на третьей странице сверху, в правом углу.

И я думаю, что Саше Твардовскому было приятно вернуться домой со съезда селькоров уже в качестве поэта, которого печатает губернская газета, печатает даже с портретом.

2

В следующий раз я встретился с Твардовским в двадцать восьмом году, под осень. Он приехал, чтобы устроиться на работу. И конечно же больше всего ему хотелось работать в газете. Об этом он просил и меня.

Однако ни я, ни кто-либо другой ничего не могли сделать. В то время существовала еще безработица, и желающих найти работу было много. А у Саши не было к тому же никакой специальности.

Что касается редакции газеты «Рабочий путь», то взять его туда было тоже невозможно. В то время весь штат редакции состоял из восьми или десяти человек. Включить в штат еще хотя бы только одного человека газета не могла: она и без того приносила убыток и никаких дотаций ни от кого не получала. И было поэтому не до расширения штатов.

Об этом я и начал говорить Саше Твардовскому, когда тот, встретив меня на улице, завел речь об устройстве на работу в редакцию. И между прочим я посоветовал ему:

— А почему бы вам (мы тогда были с ним на «вы») не поехать обратно домой? Подождали бы там, пока положение не изменится к лучшему, а потом можно было бы подумать и о работе в Смоленске.

— Нет,— решительно ответил Твардовский,— домой я не поеду. Попробую все-таки остаться здесь...

И он остался в Смоленске, хотя приходилось ему иногда очень плохо. Он скитался по чужим углам и жил за счет грошового гонорара, получаемого им за стихи, изредка печатавшиеся в смоленских газетах.

К этому времени, то есть к концу двадцать восьмого года или к началу двадцать девятого, относится одно событие, которое мне хорошо запомнилось. На собрании смоленских литераторов Твардовский читал свои новые стихи, и мы, участники собрания, обсуждали их.

Среди прочитанных было стихотворение «Уборщица». По содержанию, да и по форме стихотворение самое незамысловатое. В нем говорилось о том, как уборщица приводит в порядок комнату, где только что окончилось заседание, как она ставит на место венские стулья, сдвинутые как попало. Но в незамысловатости стихотворения было нечто такое, что мог вложить в него только Твардовский. Уборщица ставила на место не просто венские стулья, а стулья еще теплые от только что сидевших на них людей. Заприметить подобную деталь и сказать о ней мог только поэт с большой поэтической зоркостью.

Эта зоркость весьма характерна для поэзии Твардовского. Возьмите любое его произведение, и вы найдете в нем столько деталей, столько самых неожиданных красок! Мы сами наверняка не заметили бы этих деталей и красок, если бы нам не подсказал их Твардовский. И подобный «подсказ» начался у него еще в юные годы.

Мне вспомнилось сейчас стихотворение Твардовского о наступлении осени, стихотворение, написанное в 1943 году. Начинается оно следующей строкой:

В лесу заметней стала елка...

Собственно, дальше об осеннем лесе можно и не говорить. Все ясно само по себе: листва облетела, деревья стоят почти голые. Лишь немногие желтые листки, оставшиеся на ветках, трепещут от ветра. Лес стал как бы прозрачным, он весь как бы просматривается насквозь. И в нем то тут, то там видна яркая зелень елки (слово «елка» Твардовский употребил как собирательное), той елки, которая летом была скрыта густо разросшейся листвой и только теперь «стала заметней».

Пример этот, конечно, не единственный и не самый значительный. Но и он показывает, как зорко видел мир поэт Твардовский и как хорошо и достоверно описывал он то, что попадало в поле его зрения.

3

Саша Твардовский не удержался все же в Смоленске — уж очень плохо приходилось ему там. И он решил попытать счастья в Москве. Как жилось ему в столице, я могу судить лишь по небольшому письму, которое получил от него, по-видимому, в начале тридцатого года (даты на письме нет, а конверт не сохранился). Кстати сказать, это письмо было самым первым, полученным мной от Твардовского. Вот что писал он мне:

«Уважаемый Мих. Вас.!

Приветствую Вас от имени московского пролетариата.

Я жив, здоров, очень весел. Всего этого желаю и вам. (Один раз большое «В», другой — маленькое!)

Михаил Васильевич! Напишите мне по возможности длинное письмо, в коем Вы отобразите текущие смоленские события, свою работу и т. д. и т. д.

У вас в «Чудаке» идут стихи. Там же на днях появится мое «Варенье». Больше нигде мне не удалось приткнуть это стихотворение. В общем стишки мои идут помаленьку. Смотрите ближайшие №№ «Прожектора», «Огонька», «Октября». Работаю старательно, несмотря на не весьма удобные жилищные обстоятельства, ну, да на днях я поселюсь в своей отдельной комнате, где на двери будет укреплена дощечка:

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ.
Пролет. поэт
19 лет

Жму вашу трудовую руку!

Так пишите, дорогой!

Адрес: М-ва, 9, Тверская, 38, кв. 211».

Письмо Твардовского, хотя и было написано с юмором, даже с известной долей игривости, свидетельствовало все же о том, что жилось молодому поэту в Москве нелегко. Печатали его редко и мало, а той самой своей, отдельной комнаты, о которой писал с такой надеждой, он так и не дождался.

И в тридцатом году «пролет. поэт 19 лет» (хотя тогда ему было уже двадцать) снова оказался в Смоленске. Он нашел себе работу в журнале «Западная область» (был такой журнал; тогда и сама область называлась не Смоленской, а Западной). Кроме работы в журнале молодой поэт часто ездил в командировки в качестве корреспондента газеты «Рабочий путь». Ездил он преимущественно в колхозы, писал корреспонденции, очерки и конечно же стихи.

Но я в это время переехал на работу в Москву, и личные встречи с Александром Трифоновичем у меня прекратились.

4

Но именно в эту пору между Твардовским и мною возникла та большая дружба, которая длилась несколько десятилетий.

Пожалуй, началась она с переписки. Писали мы друг другу очень часто, рассказывали в письмах о своих делах, о планах на будущее, посылали друг другу стихи. И, конечно, помогали один другому всем, что только было в наших возможностях.

Из Москвы я часто приезжал в Смоленск. Во время таких приездов мы с Твардовским были почти все время вместе. Вместе мы совершили и несколько поездок по Смоленской области. Дважды — летом тридцать шестого года — побывали в моих родных местах, во Всходском районе. Там Александр Трифонович на районном слете участников художественной самодеятельности перед пятью тысячами собравшихся с необычайно большим успехом читал главы из еще не напечатанной тогда «Страны Муравии».

В 1935 году Александр Трифонович решил показать мне «свой» колхоз. «Своим» он называл его по той причине, что много раз бывал в нем, писал о нем, подолгу жил там. Колхоз этот, находившийся в селе Рибшево и получивший название «Память Ленина», Твардовский знал настолько хорошо, что лучше, вероятно, и нельзя знать. Он знал не только хозяйство колхоза, не только руководителей его во главе с председателем Дмитрием Прасоловым, но он знал всех колхозников и колхозниц, знал их характеры и наклонности, знал, кто и как жил раньше — до колхоза.

В писательской среде мы много говорим и говорили, что писатель должен знать жизнь народа. Для Твардовского этой проблемы никогда не существовало. Жизнь деревни он знал во всех подробностях, знал даже то, что знать совсем не обязательно,— разные курьезные и некурьезные случаи из жизни колхозников.

Приехав в Рибшево, мы остановились с ним в хате-лаборатории — никакой гостиницы в колхозе, конечно, не было. Утром я увидел, как присматривавший за лабораторией дед принес большую охапку сухих березовых дров и затопил русскую печь, которая занимала, пожалуй, четвертую часть площади всей хаты-лаборатории. Я удивился, зачем в такую жару (температура днем доходила до плюс тридцати градусов) надо топить печь, да еще такую большую. А потом шутливо спросил Твардовского:

— Может, этот дед варит себе еду сразу на целую неделю?

— Если б это так, то еще ничего б,— с некоторой загадочностью ответил Твардовский.— А то ведь он затопил печку и извел столько дров только затем, чтобы сварить себе на завтрак одно-единственное куриное яйцо. Вот он какой, дед!

Признаться, я ни за что не заприметил бы, что дед топит огромную печь из-за одного яйца. А Твардовский примечал все, даже самые незначительные мелочи.

Вспоминается и другой случай, связанный с поездкой в колхоз «Память Ленина».

Еще раньше Твардовский писал мне, что в колхозе три автомашины — две грузовых и одна легковая. К слову *легковая* он прибавлял еще одно слово — «антилопа».

В Рибшеве я вспомнил об «антилопе» и спросил у Александра Трифоновича, почему он называет легковую колхозную машину точно так же, как в книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок». И мой друг рассказал мне удивительную в своем роде историю.

Еще во время первой мировой войны, по-видимому, летом семнадцатого года, молодой солдат-шофер угнал с фронта небольшой грузовичок и тайком, ночью, пригнал его в Рибшево, своему отцу. Той же ночью машину со всеми предосторожностями загнали в самый угол сенного сарая и забросали ее сеном.

Машина была совсем ни к чему в крестьянском хозяйстве. Да и показывать ее было опасно. Но отец солдата все же никак не хотел расставаться с ней. «Может, на что пригодится»,— думал он и продолжал скрывать автомашину в сенном сарае.

Так и простоял в нем фронтовой грузовичок более десяти лет. Он был обнаружен лишь тогда, когда началась коллективизация.

Председатель колхоза Прасолов, как мог, привел в порядок эту неожиданно оказавшуюся в колхозе автомашину. Колхозный плотник сколотил из досок новый, уже «легковой» кузов, и машина заработала. Вот откуда взялась эта самая «антилопа», на которой Прасолов совершал свои служебные поездки. Ну, а название «антилопа» дал, конечно, Твардовский. Оно так понравилось колхозникам, что те иначе и не называли свою машину, как только «антилопой».

История совершенно необычная и редкостная. Но Александр Трифонович знал и ее.

Он, однако, не только рассказывал мне разные истории, имеющие отношение к колхозу «Память Ленина», но и показывал его, поскольку председатель уехал (на «антилопе»!) куда-то по делам и в Рибшеве его не было.

Мы ходили с Александром Трифоновичем по полям и лугам, смотрели колхозное стадо, разговаривали с пастухом. Но с особой радостью показал мне Твардовский озеро, которого не было еще год тому назад. Оно образовалось по воле колхозников, соорудивших плотину на небольшой речке. Озеро большое, многоводное, красивое. В нем завелась уже и рыба.

5

Несомненно, глубокое знание истории возникновения многих колхозов Смоленщины, знание жизни колхозников и натолкнуло Твардовского на мысль взяться за поэму «Страна Муравия». Писать это произведение он начал в тридцать четвертом году, когда ему было двадцать четыре года. И уже с первых глав «Страны Муравии» стало очевидным, с

каким талантливым, я бы даже сказал — с каким особо талантливым и самобытным поэтом мы имеем дело.

Еще не окончив поэмы, Твардовский часто читал мне то, что он уже успел написать.

Эти чтения, проходившие то в Смоленске, куда приезжал я, то в Москве, куда приезжал иногда Твардовский, я очень любил: в них всегда открывалось что-то новое, чего ты еще не знал и о чем никто еще не писал. Главное же — не писал так, как мог написать лишь один Твардовский.

А в тридцать шестом году Александр Трифонович читал «Страну Муравию» в Москве, в теперешнем Доме литераторов, в присутствии большого количества писателей.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что чтение это прошло не просто хорошо, оно прошло триумфально.

«Страну Муравию» напечатал журнал «Красная новь». А автору поэмы, поступившему для продолжения образования в Институт философии, литературы и истории (сокращенно ИФЛИ), Союз писателей назначил особую стипендию.

Поэма Твардовского сразу же получила широчайшее распространение. Высокую оценку дала ей и критика. И очень скоро «Страна Муравия» была включена в вузовские программы: студенты должны были изучать ее наряду с произведениями классиков и лучшими произведениями советской литературы.

Создалось любопытное положение: студент Твардовский при окончании института (а он его окончил в 1939 году) на экзаменах мог вытащить такой билет, по которому он должен был бы рассказать экзаменаторам о произведении поэта А. Твардовского «Страна Муравия». Случай, как мне кажется, небывалый в истории литературы...

Вот так пришел в нашу жизнь самый лучший наш поэт, поэт огромного таланта Александр Трифонович Твардовский.

6

Зимой в начале 1967 года мне стало известно, что есть решение об издании четырехтомного собрания моих сочинений. Выпустить четырехтомник в свет должно было издательство «Художественная литература» в течение 1968—1969 годов.

Это известие привез мне Александр Трифонович Твардовский, приехавший навестить меня в больнице, где я тогда находился.

Я сразу же решил, что для четырехтомника напишу новую автобиографию, потому что прежние мои автобиографии были чрезвычайно коротки, «анкетны». Хотелось написать автобиографию более подробную, хотя и не чересчур длинную. Ее я и начал набрасывать, находясь еще в больнице.

Но летом, когда было написано около 120—130 машино-

писных страниц, я понял, что выполнить свои намерения мне не удастся. Не удастся потому, во-первых, что если продолжать в том же духе, как я и начал, то было никак невозможно закончить ее к установленному сроку, то есть ко времени сдачи в издательство первого тома, который и должен был открываться, как это принято, автобиографией. Во-вторых, мое намерение не осуществилось бы и в том случае, если бы я успел дописать автобиографию к сроку: по-видимому, я, не рассчитав чего-то, начал писать чересчур подробно, и будь автобиография дописана, она одна заняла бы целый том. А это не входило ни в расчеты издательства, ни в мои собственные.

Словом, новую автобиографию я отложил в сторону, ограничившись включением в первый том совсем небольшой автобиографии, написанной ранее.

Вступительную статью к моему четырехтомному собранию сочинений согласился написать А. Т. Твардовский. Поэтому я подробно рассказывал ему, что будет включено в четырехтомник и что не войдет в него. Александр Трифонович знал также и о моей незаконченной автобиографии. И однажды — это, кажется, было уже летом шестьдесят восьмого года — он попросил:

— А ты все-таки дай мне прочесть, что́ ты там написал...

Автобиография была ему послана.

— Все то, что ты прислал мне, я прочитал. Это интересно и нужно. И написано на должном уровне. Тебе обязательно надо продолжить то, что ты начал,— посоветовал Твардовский.— Обязательно!..— И уже в шутливом тоне добавил: — Я на корню покупаю все, что уже выросло и что ты еще вырастишь на своем поле, и буду печатать это в «Новом мире». И редактировать твою автобиографию буду я сам лично, если ты мне, конечно, доверяешь,— закончил он все в том же шутливом тоне.

И я стал продолжать свои автобиографические записки, или даже автобиографические записи, как условно назвал их спервоначала. Писал я их и дома, писал, если было можно, и в больнице, куда в последние годы попадал, к сожалению, довольно часто.

Перед сдачей в набор А. Т. Твардовский, и как редактор «Нового мира», и как редактор моего произведения, предложил мне:

— Надо придумать какое-то название для твоих записок. Ну, что-нибудь вроде «Дороги жизни» либо «На ельнинских путях». Впрочем, и то и другое плохо. Это я бухнул первое, что пришло в голову. Ты придумай что-нибудь получше, придумай такое, что определяло бы главную суть произведения и его характер... По возможности — даже и место действия... Да ты и сам поймешь, что́ тут нужно.

На следующий день я послал в «Новый мир» несколько названий, в том числе и название «На Ельнинской земле». В записке я пояснил, что редакция может выбрать любое из названий, но что лично мне больше других нравится «На Ельнинской земле».

Это название Александр Трифонович и оставил. Но по телефону сказал мне:

— Кроме заголовка «На Ельнинской земле», по-моему, надо дать и подзаголовок, чтобы окончательно определить характер произведения. Твое «автобиографические записи» для подзаголовка не годится. «Записи» и «записки» — и то, и другое «не звучит». Я предлагаю так: «Автобиографические страницы». Этот подзаголовок определяет не только то, о чем пойдет речь, но он также включает в себя и другой смысл: он показывает, например, что это не вся автобиография, а лишь ее «страницы» и что этих «страниц» может быть и больше, и меньше. Словом, ты можешь закончить какой угодно «страницей». А после, если надо, напишешь другие «страницы», и они тоже будут к месту.

Я сразу же согласился на подзаголовок, предложенный редактором «Нового мира».

Редактором А. Т. Твардовский был чрезвычайно внимательным, умным и чутким. Он хорошо понимал и чувствовал то, что редактировал. И его редактирование могло принести произведению лишь большую пользу и никогда не приносило вреда.

Сколько-нибудь значительных поправок в тексте моих «страниц» он не сделал. За исключением каких-то мелочей я вполне согласился с Александром Трифоновичем.

«Автобиографические страницы» — столько, сколько я успел их написать,— появились в «Новом мире».

Продолжение «страниц» я смог начать лишь летом 1970 года, и напечатано это продолжение было в журнале «Дружба народов». Александр Трифонович этого уже не видел. Он тяжело и долго болел.

1972—1973

ИФЛИЙСКИЕ ГОДЫ



первые о Твардовском я внятно услышал в старом доме на улице Грановского, в комнате с балконом-фонарем. Здесь жила красавица и умница Екатерина Дмитриевна Трощенко. Литературный критик, она деятельно выступала в печати в начале 30-х годов. Ее проблемные и полемические статьи были у всех на виду и имели успех. В тот вечер в гостях у Екатерины Дмитриевны был Дмитрий Петрович Мирский. На столе лежала папка, на которой было написано: «А. Твардовский, «Страна Муравия»...

— Это надо читать! — посоветовал мне Мирский.

— Эту поэму вам надо прочитать всенепременно,— сказала Трощенко.— Ах, нет, я сейчас вам сама прочитаю...— И она увлеченно прочитала несколько отрывков из поэмы,— отчетливо помню ее чтение, которое так и хочется назвать восторженным или пылким.

Так впервые я познакомился со «Страной Муравией».

Рукопись я взял домой, в останкинское общежитие, и прочитал ее залпом. В ту пору стих и стилевая манера Твардовского, казалось, не могли меня увлечь. Я бредил Пастернаком. Но поэма увлекла меня естественностью своего звучания, чистотой красок и фактуры слова, умением говорить о живой жизни.

Многое запомнилось сразу же и надолго. В поэме несколько особенно понравившихся мне мест, в первую очередь вот это:

Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведи:

— Как в двадцать лет
Силенки нет,—
Не будет, и не жди.

— Как в тридцать лет
Рассудка нет,—
Не будет, так ходи.
— Как в сорок лет
Зажитка нет,—
Так дальше не гляди...

Стих движется своевольно, как беседа, но притом он точен и выверен. Разговорная, бытовая интонация естественно сочетается в описательных строфах с живописью словом, картинностью.

Возвращая поэму Екатерине Дмитриевне, я все это высказал ей и спросил об авторе — где он, что с ним.

— Поэма, вот увидите, быстро станет известной, может быть даже классической, но она еще не напечатана. Говорят, Фадеев собирается печатать ее в «Красной нови». Но пока не держишь книжки журнала в руках, не говори, что вещь напечатана...

Как известно, «Страна Муравия» быстро завоевала признание читателей и критики. О Твардовском заговорили, притом не только с надеждой, как обычно говорят о молодом авторе, но и с почтением, как о человеке зрелом, уже сразу оправдавшем надежды. Панферов, рассказывали, ворчал: мол, рассказ о стране, которую ищет единоличник, взят из его «Брусков» без всякой ссылки на автора. Твардовский не скрывал этого очевидного факта, а Фадеев — так тот прямо и одобрительно высказывался по этому поводу в одном из своих выступлений.

Впоследствии Твардовский объяснил мне, что его заинтересовала сюжетная схема: герой путешествует по стране и видит разные области жизни, разные ее стороны и участки предстают перед читателями. Таковы образцы — «Дон Кихот», «Мертвые души», «Кому на Руси жить хорошо». Этой сюжетной схеме соответствует и «Страна Муравия». У Панферова это всего лишь эпизод, малая сцена, он прошел мимо своей возможности, другой же художник эту возможность сделал реальностью.

Вскоре после напечатания «Страны Муравии» я познакомился с Твардовским. Мы оказались студентами одного курса отделения русской литературы Московского института истории, философии и литературы, коротко называемого ИФЛИ. Это был год 1936-й. Ко времени встречи с Твардовским я уже проучился в ИФЛИ два с лишним года.

Немного о самом институте.

О нем не так-то просто рассказать. Я недоволен своей памятью и завидую людям, которые могут излагать «все подряд», все как было, изо дня в день, из года в год. Моя память

фрагментарна и вспыльчива, вот почему я не ручаюсь за последовательность событий, за то, что было несколько раньше, а что было несколько позже. Зато я уверен в подлинности подсказываемого мне памятью. Моя забота — дать прежде всего портрет на фоне движущегося времени.

Итак, немного о нашем институте.

После долгих лет отсутствия филологического факультета в МГУ, в пору, когда появилась новая, думающая, жаждущая всерьез применить свои силы молодежь, был организован в 1934 году Институт истории, философии и литературы. К работе были привлечены (перечисляю по памяти, поэтому далеко не всех) лучшие знатоки классической филологии С. И. Соболевский, С. И. Радциг, М. М. Покровский, Б. Н. Граков, историки русского языка Д. Н. Ушаков, Г. О. Винокур, В. И. Стеллецкий, историки русской литературы Н. К. Гудзий, Д. Д. Благой, Б. В. Нейман, А. А. Белкин, историк русской литературы XX века Б. А. Михайловский, историк советской литературы Е. И. Ковальчик, теоретики литературы Л. И. Тимофеев, Г. Н. Поспелов, историки западной литературы М. В. Сергиевский, А. К. Дживелегов, В. Р. Гриб, Л. Е. Пинский, Е. И. Пуришев, Д. Е. Михальчи, А. А. Елистратова, фольклористы Ю. М. Соколов, Э. Г. Померанцева. К этому надо добавить серьезный состав преподавателей по социально-экономическим, историческим и философским циклам.

Помещавшийся сперва в переулке вблизи Девичьего поля, институт переехал в Ростокинский проезд, поближе к природе, к Сокольникам, Богородскому, Яузе, Лосиноостровской, в зелень. Я ликовал — больше не надо было трамваем полтора часа ездить от Останкина к Зубовской площади. Можно было пешком через пустырь, через Алексеевское добираться к Ростокинскому. Сколько утренних бесед было у нас с Георгием Азовцевым, Лорисом Овсепяном, Григорием Ковровым, Кларой Полонской, Николаем Чукановым, Ириной Слонимской, Ильей Дармановым, Валентиной Рябовой, Людмилой Поповой и другими отправлявшимися из общежития в институт. Посмотрю сейчас — блаженное время! Я шутил: «В те дни, когда в садах ИФЛея...» Параллель с Лицеем была у всех перед глазами. Но расцветали все мы далеко не безмятежно...

Поступивший сразу на третий курс Твардовский медленно, но верно входил в нашу среду. Потом мы узнали, что он кончил два курса Смоленского пединститута, что уже были изданы в Москве в «Молодой гвардии» поэма «Путь к социализму», в Смоленске вышла вторая поэма «Вступление» и очерки «Дневник председателя колхоза». Еще позднее мы узнали об его поездках вместе с Исаковским по колхозам и совхозам области, о собирании фольклорных записей, о куз-

нице в Загорье, об отце, Трифоне Гордеевиче, о котором Твардовский говорил всегда почтительно и немногословно.

Год поступления в ИФЛИ совпал с годом напечатания «Страны Муравии», а в следующем, 1937 году появилась в «Октябре» статья Н. Н. Асеева об этой поэме, весьма хвалебная. Твардовский всегда помнил об этом добром слове старшего товарища. Без напряженности и ложной скромности он говорил, как для него это важно — поддержка Асеева. Инакопишущего, но чуткого и отзывчивого.

Твардовский, которого только самые смелые называли Сашей, а иные Трифоновичем, Трифонычем, а третьи вовсе никак не называли, появлялся в институте в своем темно-синем, а потом и светло-сером костюме, чистом, хорошо отутюженном и ладно сидевшем на нем, будто это не сельский житель, а джентльмен. Он любил голубые рубашки. Галстуки менялись не часто, но всегда гармонировали с костюмом и рубашкой. Он не допускал небрежности. Был подтянут и носил портфель, в котором не было студенческой тесноты, все лежало на своем месте. Все его воспринимали как человека молодого, но уже по-своему солидного.

Белая голубизна его глаз была первым заметным его признаком, его отличием. Таких глаз не приходилось видеть. Твардовский часто морщил свой высокий лоб, и на лице тогда изображалось смущенное недоумение, желание понять собеседника, не быть ему в тягость. Брови удивленно, как-то по-детски вскинуты. Это еще более открывало взгляд, в котором было много упрямого желания понять окружающее, застенчивость и гордость. Косая прядь светлых волос падала на лоб, и Твардовский иногда легким и изящным, иногда сумрачно-потужливым или резким жестом вскидывал их вверх, и они на несколько мгновений укладывались на место.

В складе речи и в произношении чувствовался житель северо-запада России, Смоленского края. В разговоре Твардовский исходил от истоков. Без особых специальных напоминаний в собеседнике возникало ощущение того, о т к у д а он и к т о он. Деревня Загорье, станция Починок были уже для меня местом, обжитым памятью, вниманием, облюбованным, важным для уроженца этих мест. Мне было интересно, я бы даже сказал — захватывающе интересно вслушиваться в его речь, в интонацию ее, чувствовать не только, *что́* он говорит, а *как* говорит. Речь у него была чистая, живая, родниковая речь интеллигента из народа, который мог в равной степени беседовать с односельчанами и с профессорами. У Твардовского был вкус к языку, чувствовалось, что в этом человеке происходил постоянный внутренний отбор слов, речений, способов передачи своих мыслей. В этом отборе не было ничего от пуриста или школяра, он охотно вводил в

свой словарь новые слова, но вводил их не в силу того, что это делают другие, а потому что самостоятельно пришел к этому.

Точность выражения у Твардовского стояла на первом плане. В этой точности воплощалась и красота выражения.

Посеешь бубочку одну,
И та твоя.

Эта «бубочка» верно легла в свое гнездо — интонационное, смысловое, ритмическое. В другом случае слово показалось бы легким, легковесным, сладковатым. А здесь оно весомо и незаменимо.

Вдали взлетает грузный грач
Над первой бороздой.

Я увидел этого грача. Сочетание слов «грузный» и «бороздой» дало мне это видение. Звуки живописуют.

Пласты ложатся поперек
Затравеневших меж.

В нескольких словах — картина. Движущаяся картина.

Земля крошится, как пирог,—
Хоть подбирай и ешь.

Аппетитно сказано.

Интересовало Твардовского не только современное звучание русского слова. Стиль старинных писаний увлекал его. Так, занимаясь историей древнерусской литературы, Твардовский остановил свой взгляд на «Житии протопопа Аввакума». Я слышал, как он читал отдельные страницы этого жития, с каким пониманием говорил о ритмике и синтаксисе старинной повествовательной фразы — периоде. Он собирался этим заняться специально, но не знаю, удалось ли ему в дальнейшем это сделать.

В разговоре, когда был не в настроении, он владел интонацией главным образом вопросительной: «Ну как там твое Останкино?» (об общежитии), «Ну как там твои новаторы?» (о Хлебникове и Маяковском). Вопросительная интонация была одновременно и восклицательной, потому что в тоне вопроса содержался уже частичный ответ. За этой интонацией мне всегда слышалась внутренняя тревога Твардовского, его неудовлетворенность собой. Он отлично владел интонацией рассказчика, повествовательной, добротной, степенной, неторопливой. Слушать его было всегда интересно.

Это был подчас ершистый, колючий, иронический человек, трудный для самого себя, но очаровательный в минуты радости и редкой удовлетворенности сделанным и достигнутым. Конечно, он знал себе цену, у него было сложное чувст-

во собственного достоинства, которое некоторым казалось гордыней, этакой «шляхетской» неприступностью. Но поставленные им перед самим собою задачи в русской литературе и общественной мысли были столь высоки, что только по ним одним он соразмерял свою жизнь и свои свершения.

Внешне он был выдержан, спокоен, старался быть уравновешенным, что называется — владел собой. Но надо знать, какой ценой далось ему это. В нем была большая скрытая сила. Встретив человека, он начинал не с недоверия к нему, а с пристального приглядывания: в душе прикидывал дистанцию, на которую надо было впускать того или иного человека в свою жизнь. Эта дистанция диктовалась, разумеется, не утилитарными, не меркантильными соображениями, а выработанными с детства в крестьянской среде понятиями о человеческом достоинстве.

Ему было внове все, что творилось в студенческой среде. И хотя он явно не хотел с головой погружаться в эту студенческую атмосферу, ему было интересно наблюдать за всем, что происходит в институте. Особенно любил он комические эпизоды, случавшиеся в аудиториях и в общежитии. В лицах я рассказывал ему, а он хрипло похохатывал.

Студенты глухо волновались —
В программу был включен Новалис.

Это мое двустишие Твардовский советовал развить в стихотворную новеллу. Помнится, я написал ее, читал ему и другим студентам. Но новелла не состоялась, а двустишие запомнилось.

Студенты, встретившись, сбивались в кучу и наперебой говорили, говорили. Эти сцепления в коридорах института, в общежитии, в метро, в Сокольническом парке были часты и желанны. Еще бы! Обсуждать, полемизировать, спорить по всякому поводу — какое наслаждение! Сколько на это потрачено времени! Стоит студент, ты к нему с вопросом, он отвечает, и — пошло, пошло...

Твардовский молчал, стоял в стороне, в одиночестве. Он не скучал. Не всякий решался «зацепить» его, он взглядом, жестом, осанкой мог легко «отшить» неприятного ему человека. Он был занят делом и далеко не всегда поддерживал так называемые «интересные разговоры». Зачем на это тратить драгоценное время! Изо дня в день он писал стихи, рассматривал их как главное дело жизни. А это главное дело забирало все его время и всего его целиком. Он писал стихи, как прозу, каждодневно, постепенно набирая высоту. В задачу недели, месяца, года входили отдельные стихи, циклы, книги. Он не терял времени.

Его место в литературе определялось им самим, без аналогий. Он не хотел проходить по графе «крестьянский писа-

тель», или «рабочий писатель», или «молодой писатель». Русская литература представлялась ему поприщем ответственным и многотрудным.

В институте Твардовский часто появлялся вместе с другим студентом — белорусским критиком Алесем Кучаром, они жили в ту пору в одном номере гостиницы.

— Пришел пан Твардовский со своим кучером,— шутили мы.

Твардовский высокого роста, Кучар — невысокого, один светловолос, другой шатен с высокими дымчатыми волосами. Они постоянно говорили о белорусских делах, и в их беседах неизменно принимали участие и другие студенты нашего курса — Алесь Жаврук и Андрей Ушаков, погибшие на фронтах Отечественной войны. Это было своеобразное белорусское землячество в институте.

Присутствуя на лекциях, Твардовский внимательно слушал их и делал заметки в своих блокнотах. Это были лекции Бориса Владимировича Неймана по русской литературе XIX века, Г. Н. Поспелова и Л. И. Тимофеева по теории литературы, Д. Д. Благого, Н. К. Гудзия, А. С. Орлова, А. М. Еголина, А. А. Белкина. В институтских коридорах во время перемен Твардовский разговаривал на темы лекций, его замечания были лаконичны и дельны.

Он любил слушать старых профессоров. Говорил о них с глубоким уважением, узнавал об их жизни и деятельности. Порой одним-двумя словами пытался определить человека, дать ему прозвище.

О Н. К. Гудзии, читавшем нам древнерусскую литературу:

— Даниил Заточник...

О Д. Д. Благом, ведшем курс русской литературы XVIII века:

— Попробуй сними с него цветную тюбетейку и приложи парик того времени. Представляешь?..

Профессор Юдовский читал нам историю партии. Читал без конспекта, в свободной манере, словно рассказывал историю своей жизни. Впрочем, его жизнь вписывалась в общую историю. Говорил он обстоятельно, живо, наглядно. Был Юдовский в черных очках и кожаной черной куртке. Твардовский сказал:

— Бронепоезд 14-69...

После первой лекции М. А. Лифшица по курсу — введение в историю эстетических учений Твардовский, с которым мы сидели за одним столом, посмотрел на меня как-то странно и, наклонив голову, сказал почтительно и восхищенно по адресу лектора:

— О, это да, это голова! А ты говоришь — Вин-кель-ман...

В дальнейшем почтительность студента к преподавателю переросла в дружбу, длившуюся долгие годы. Твардовский

не раз говорил мне, как много дает ему общение с Михаилом Александровичем Лифшицем.

Он говорил почти междометиями, но в его тоне проступала та восторженность, которая бывает у крестьян при встрече с настоящей образованностью. Я и позднее встречался у него с таким почтительным отношением, когда речь шла о старых профессорах, о ревностных знатоках своего дела.

Он умел, он искал способ радоваться. Мы идем по улице Горького. Снегопад. Рассказываю, как года три назад всей молодежью института по-особому празднично переживалась Челюскинская эпопея. А потом — перелет Чкалова, Байдукова, Белякова через Северный полюс в Америку, их посадка в Ванкувере, чествование героев, кортеж машин на улице Горького, балконы, кружатся листовки...

Твардовский оглянулся вокруг и просиял, словно это сейчас и происходило.

— Тем все это и хорошо, что тут не надо быть наедине со своей приватной думой, тут все переживается со всеми...— говорил он.

Вскоре после прихода Твардовского в ИФЛИ я написал о нем заметку в стенную газету «Комсомолия». Он впоследствии говорил, что эта заметка значила для него больше, чем многие обстоятельные статьи. Первая! Это было в пору, когда — после Смоленска — о нем еще не знали, когда слава еще была впереди, когда он был еще в неведении, как его встретят, что его ждет в Москве? Признаться, я мало еще знал и самого Твардовского, и обстоятельства его жизни. Он иногда бывал в наших общежитиях в Останкине, на Стромынке, на Усачевке.

Лежу на койке студенческого общежития в Останкине. Это четвертый корпус, который летом 1939 года, перед самыми государственными экзаменами, сгорел. Пока еще весна 1937 года. Весна мягко переходит в лето. Окно распахнуто в голубизну, которой недостает контрастного цвета для того, чтобы ясней осознать свою чистоту и безмятежность. И вот он, этот контраст, так недостававший этой голубизне. Копна светлых мягких волос, сдуваемых ветром. Сперва вижу эти волосы, потом удивленно вскинутые брови, глаза того же, что и небо, но еще более светлого колера, белесые.

— Заходи, заходи, пожалуйста! — обращаюсь к Твардовскому.

Он входит. В выражении лица некоторая хмурость, замкнутость. Он ищет тона в разговоре, пробует этот тон — то шутливый, то иронический, то исповедальный, лиричный. Душа, ищущая контакта с другим человеком и недоумевающая, если его нет. Вот почему, мне кажется, никто из нас, студентов, никогда не знал, приласкает тебя Твардовский или обругает. Подверженный резкой, видимо плохо управ-

ляемой смене настроений, он не сразу овладевал и собой, и вниманием собеседника. В виде самозащиты он высылал вперед чувство достоинства, этакую сановитость. А было это всего лишь нежеланием фамильярничать и позволять вмешиваться во «внутренние дела» его.

Заметка моя послужила моему сближению с Твардовским, хотя оно никогда не переходило в очень близкое знакомство и в дружбу. Он иногда был нежен ко мне, иногда огорчительно груб. И мне как-то боязно было идти навстречу такой неровности, я сравнительно поздно узнал о действительных причинах этой неровности и о его способах найти душевное равновесие и место среди людей. Иногда Твардовский в свои молодые годы показывал пример терпения, я бы сказал — долготерпения, пример тактичности и мудрой не по годам незлобивости.

Году в 1938-м в книжном магазине на Остоженке (ныне Метростроевская улица) я купил сборник стихов современных поэтов, пишущих о деревне. Кого там только не было! Его же, автора «Страны Муравии» и «Сельской хроники», не поместили.

Я возмутился и по пути к дому, где жил Твардовский, усердно накапливал силы возмущения, доходившие до прямого взрыва:

— Это сектантство! Групповщина! Надо протестовать!

Твардовский полулежал на диванчике. Он спокойно посмотрел на меня и так же спокойно сказал, когда я умолк, даже позволил себе краткую паузу после моего взрыва.

— Не поместили? Скажите! — произнес он нараспев.— Что, там указаны составители?

Он не стал ждать, пока я отыщу в книжке их имена,— его это не интересовало.

— Вот они и отвечают перед историей за свой вкус, выбор, за свои симпатии и антипатии.

Твардовский затянулся папиросным дымом (он в ту пору много курил, пачка «Казбека» всегда была в его кармане или портфеле), мощно выпустил дым и сказал:

— Вот и все. А ты не суетись...

Мы иногда шли из института, из Ростокинского проезда, вдоль ограды Сокольнического парка к метро «Сокольники», если я ехал в город, а не шел в общежитие в Останкино. Он выходил у Дворца Советов и шел по Гагаринскому переулку домой. Как-то он показал мне дом, где снимает комнату. Так случилось, что, устав от общежития, я, по совету своих друзей, снял угол в Чистом переулке и оказался соседом Твардовского. Он жил в одном из переулков на Пречистенке. Здесь я у него бывал, и наши разговоры были непродолжительными и касались поэзии. Он меня держал на отдалении, словно предлагал отношениям нашим

испытательный срок. Но вместе с тем обнажал наши разногласия.

— Твоих Блока и Маяковского могу читать только из-под палки.

— Почему они мои?

— Но и не мои.

Должен признаться, что в те годы я сам далеко не все принимал и у Блока, и у Маяковского. Александр Трифонович знал тексты и того, и другого, и старался понять их, и неизменно думал о судьбе этих двух и других поэтов.

Чем же объяснить его сердитость, непримиримость, категоричность? Как известно, в дальнейшем не было ни такой сердитости, ни такой непримиримости, ни такой категоричности. Дело углублялось и потому осложнялось. Эволюция Твардовского была протяженной и значительной. Это особая тема.

Как я сейчас понимаю (и как не мог понять в молодые годы), ранний Твардовский утверждал в литературе нечто принципиально новое. Не декларативно, не декламационно утверждал он письмо, отличающееся не только от Блока и Маяковского, но и от многих других предшественников и современников. Это была глубоко духовная полемика, отталкивание. Без такого отталкивания, доходящего порою и до неприятия, не может быть серьезных шагов в искусстве.

Пусть нынешние любители поэзии не спешат обвинить Твардовского в кощунстве: ах, Блока, ах, Маяковского не принимал... Меня нисколько не коробило его «из-под палки». Я не видел в этом крамолы. Мне, напротив, нравилось это свободно выраженное мнение, верность выбранному пути. Вместе с тем здесь сказался сильный характер Твардовского, самостоятельность суждения, своя эстетическая позиция (она эволюционировала, но основы ее были заложены рано), стремление всегда гнуть свое. Ничего не хотел принимать на веру, брать с чужого голоса. Проверка всего — всем существом.

Основательно задумав и наметив свой путь, Твардовский завоевывал право на определенность и даже категоричность своих суждений.

...Однажды, доехав с Твардовским на метро от Сокольников до Дворца Советов, я предложил ему пойти в Музей новой западной живописи на Кропоткинской улице, находившийся в том здании, в котором сейчас помещается Академия художеств.

В студенческие годы я бывал здесь часто. Скалы в Бель-Иль, чайки на фоне парламента на Темзе, стог снега около Живерни, бульвар Монмартр в полдень, завтрак на траве, осеннее утро в Эраньи, мороз в Лувесьенне, портрет актри-

сы Самари, голубые танцовщицы... Я, грешным делом, любил это пиршество цвета.

После некоторого раздумья Твардовский согласился пойти в музей. Благо день был жаркий, а в вестибюле музея повеяло прохладой, как в сенцах. Почтительно и робко озирая стены, Твардовский переходил от Моне к Писсаро, от Дега к Ренуару. Здесь он, хотя и кратко, останавливался, наклонялся к рамам, чтобы прочитать имя художника и название. Но как только он перешел из зала импрессионистов к новейшим художникам, как только он увидел Матисса и Пикассо, шаг его перешел в бег и он скучно и недовольно стал меня отыскивать в толпе зрителей.

Он увел меня в предыдущий зал.

— Ну вот твой Сезанн. Написано: «Автопортрет». Да ведь это же огурец, натуральный огурец с глазами и носом.

Потом он остановил меня у картины Дега.

— Ну вот твоя «Танцовщица у фотографа». Все хорошо. Но неверная нога, какая-то деревяшка, выброшенная вперед...— И вдруг он неожиданно для меня зарифмовал: — «Дега — нога»...

Единственный за все время случай, когда в разговорной речи он позволил себе специально зарифмовать два слова.

Он отошел от полотен к окну. Невидящим взглядом посмотрел на город за окном и сказал:

— Слишком много так называемых впечатлений и слишком мало натуры.

Я пытался доказать ему, что он неправ, что натурой в ее объективности пусть занимается фотография, а живопись должна трансформировать виденное. Живописцы должны увидеть...

— Ну, и что же они увидели? Только свои искаженные сны. Нет, эти твои деятели съедают глаза, твои и мои, а не раскрывают их на мир.

Тогда мне, признаться, были неприятны эти выводы Твардовского, сделанные им с убежденностью, но без ярости. Потом я понял, что в другой области искусства он видел свою миссию в том, чтобы вернуть уважение к самой натуре.

Можно было не соглашаться с доводами и выводами Твардовского, но его позиция и то, как он ее защищал, и тогда вызывали во мне уважение. В тот день подтвердилась ранее раскрывшаяся мне очень важная в Твардовском черта — его принципиальность и неуступчивость в главном. Он никогда не хотел угождать собеседнику. В среде литераторов и художников распространена расхожая похвала — на всякий случай. Мол, чего я буду тебе перечить, соглашусь с тобой, лишь бы не спорить. Этак польстить неожиданным для самого себя согласием, мнимым единством взглядов...

Видел Твардовский, что я увлечен импрессионистами, но он, не высмеивая эту мою привязанность, все же подвергал самой суровой критике тех, кто меня так увлек. С постоянством убежденного в своих принципах человека он отвергал художников, представленных в Музее новой западной живописи.

Я всегда помнил, что он старше меня на четыре года. Немного, но в молодости эта дистанция чувствительна. Шуткой побаивались задеть не только его, но и людей, к которым он имел прямое или косвенное отношение.

Меня и нескольких моих друзей и собеседников «ифлийские мудрецы» называли «озерной школой», шутливо приписывая нам название известной школы английских поэтов. Этим подчеркивалась разнохарактерность художественных течений среди ифлийской молодежи. Во всяком случае, определялось различие Твардовского и его сторонников и сторонников других художественных взглядов.

Каждый из составлявших ифлийскую когорту молодых поэтов (Кочнев, Коган, Самойлов, Наровчатов, Леонтьев и другие) в той или иной степени желал вступить с ним в общестуденческий разговор, общаться на равных. Твардовский ощутимо отдалялся, будто опускал незримый шлагбаум для такого общения. Он не рвался на вечера молодых, отказывался от почестей, диктуемых модой на новизну, на ведомственные «открытия» молодых дарований. Он, кажется, никогда и не именовался молодым поэтом,— бог миловал. Сразу же, когда к нему пришло признание, он вступил в круг мастеров. Ученичества не было видно. Следов работы не показывал.

Мы по молодости лет часто и очень щедро тратили свое время на досужие разговоры о том о сем, это называлось — вести литературные беседы. Твардовский же не поддерживал их, как правило, не давал себе права увязнуть в них. Он шел по своей стезе — упрямо и неуклонно, он выполнял свой каждодневный урок.

Уже в начальную свою московскую пору, после публикации «Страны Муравии», он дружил с писателями старшего поколения, особенно с Фадеевым и Маршаком.

Несколько раз я спрашивал Твардовского, почему он так безотчетно преклоняется перед Маршаком.

— Ну, представь себе, ты приезжаешь издалека, у тебя еще не напечатанная в центре поэма, обстоятельства твоей жизни смутны, и ты не знаешь еще, на каком ты свете. И вот в вестибюле, возле гардероба, к тебе подходит человек, известный тебе по портретам и намного старше тебя, и говорит, не то спрашивая, не то восклицая: «Вы Твардовский?» — «Да, отвечаю, Твардовский». Он переспрашивает несколько раз: «Вы Твардовский?» — «Да»,— говорю. Он берет

мою голову за виски, как кувшин, целует меня в лоб, обнимает и говорит: «Я давно ждал появления такого поэта, и вот вы пришли». Ну как бы ты отнесся к этому?..

На себе испытал я, что отношение Твардовского к людям было очень неровным. Всегда трудно было сказать, когда он приласкает, когда обидит, даже оскорбит. Он был неизменно верен своему душевному состоянию, а оно менялось, как погода перед весной,— то повеет теплом, то снова хмурь и непогодь. Ему мучительно трудно было «властвовать собой», а так хотелось. В нем все время что-то боролось, что-то брало верх, потом «западало», с тем чтобы снова оказаться на поверхности. И он искал и находил людей (главным образом старше себя), которые внушали ему более ровное отношение, по преимуществу почтительность.

Сам того, может быть, не желая, Твардовский заставил меня думать о природе дара и успеха, о творческом поведении поэта в современном мире. Честолюбие его было глубоко упрятанным, корневым, крепким. Ничего суетного в суждении о людях и о литературе.

С молодых лет творчески его всего больше интересовали судьбы людей-современников, судьбы народные. Таков характер его дарования. Я никогда не грустил, как иные, по поводу отсутствия у него любовных посланий. Другое было у него на уме, другое было в сердце, другое занимало этого человека.

Я спрашивал себя: когда он успел составить такое выношенное мнение о многом, обо всем? Он мог терпеливо выслушать чужое мнение. Но если был не согласен с ним, собирал складки на лбу, широко раскрывал глаза и ограничивался короткой внятной репликой: «Никак нет...», «Да нет же...», «Все не то...». Или: «Как можно!», «Как легковесно судят!», «Не своими словами вы говорите!..» Многое в Твардовском раскрыла война, послевоенная пора, но уже тогда, в ифлийские годы, определились главные черты его облика.

Разные люди, мы с ним жили в одну эпоху. Мы росли в разных условиях. Общей была для нас среда газетчиков, у него — смоленских, у меня — киевских.

Твардовский пристально вглядывался в лица студентов. Чувствовалось, он всех хотел понять, доискаться до корней. Отбрасывал мелочи. Судьбу задумывал крупно. Был собой недоволен и давал понять: это еще не все, он может больше, полнее, вот повремените...

В 1938 году, в связи с 60-летием со дня смерти Некрасова, Твардовский сделал в ИФЛИ доклад о некрасовской поэме «Кому на Руси жить хорошо». Это был серьезный, самостоятельный доклад о поэме, которую он любил и знал. Чувствовалось, что выбор темы не случаен, что она прошла через всю жизнь Твардовского. А. Еголин, души не чаявший

в Александре Трифоновиче, упоминавший его в своих статьях как одного из последователей Некрасова, вместе с Исаковским, на мой вопрос о том, как ему понравился доклад, ответил: «Редкий аспирант мог бы сделать такой доклад. Хоть сейчас в печать...» Улыбнулся, губы у него разошлись от уха до уха. «Но Твардовский почему-то не хочет...»,— добавил он с сожалением [1].

В следующем, 1939 году, этот доклад стал курсовой работой Твардовского. Был он исправлен и дополнен или зачтен в качестве курсовой работы в его первоначальном виде — не помню.

В ту пору параллельно с некрасовским кружком или семинаром существовал пушкинский кружок или семинар. Первым руководил Еголин, вторым — Благой. Семинары не враждовали, скорее дополняли друг друга. Незачем было копировать споры революционных демократов с ревнителями «искусства для искусства». Своих споров было вдосталь. И среди этих споров главный — протест против вульгарной социологии, против тех, кто писателей прошлого, по ифлийской формуле, характеризовал так: поэт (имярек) «недопепонял».

В пушкинском семинаре я сделал доклад «Лирика Пушкина», повлекший за собой «местного значения» дискуссию. Приближался 1937 год — столетие со дня гибели поэта. Эта знаменательная дата много выправила в толковании его творчества, и ученые, так недавно подсчитывавшие доходы помещика Пушкина, хором стали петь о национальном поэте, родоначальнике, основателе, основоположнике. Пушкин и Некрасов более не противопоставлялись, а сочетались, почти так же, как Чернышевский и Добролюбов.

В наших — в присутствии Твардовского — беседах о литературе Пушкин и Некрасов творчески возникали как две вершины, на которые в своем движении ориентировались те или иные современные поэты.

В нечастых беседах о Пушкине он был почтительно осторожен, словно бы откладывал окончательный разговор до новых времен.

— Поддержать талант — это предварительно создать атмосферу, в которой он мог бы существовать. Вот все ждут, что появится новый Пушкин. Ждут. А новые Пушкины являются только после того, как такая ат-мо-сфе-ра будет создана. Воздух — вот что нужно таланту. Нет воздуха — он погибает.

Поздней я нашел общее между этим высказыванием и

---

[1] См. сборник «О Некрасове», IV. (Ярославль, 1975), где дан фрагмент этой студенческой работы А. Твардовского. *(Прим. составит.)*

тем, что о гибели Пушкина говорил Блок в пору, когда не хватило ему воздуха.

— Ты обязательно придешь к Пушкину, он вершина повыше Некрасова,— говорил я.

— Для моего материала «Кому на Руси...» ближе «Онегина»,— отвечал Твардовский.

Говоря так, он, конечно, не противопоставлял Пушкина Некрасову: он понимал последовательность и сопредельность этих двух вершин русской поэзии. Но в годы молодые ему был ближе Некрасов, от этого никуда не уйдешь.

Несогласия наши шли по многим, по разным линиям. Меня задевало то, что Твардовский не проявлял никакого интереса к инакопишущим его товарищам по институту. В лучшем случае он отмалчивался, когда речь заходила о таких поэтах, как Багрицкий, Сельвинский, Луговской, Заболоцкий. Правда, Багрицкому он был благодарен за его доброе отношение к первым литературным опытам. Много позднее он помянет его добрым словом на съезде учителей. Но для многих же поэтов у него было одно словцо — «книга»: эти, мол, не от жизни, а от книги. Все, что не входило в круг понятий, в систему взглядов Твардовского, не согласовывалось с ними, мешало их стройности, он именовал литературщиной, говорил об этом неизменно уничижительно.

В качестве положительного примера поэта, порвавшего с книгой и пришедшего к жизни, он охотно называл Николая Дементьева и его «Мать». Это стихотворение выделял:

— Вот чего может добиться поэт, порвавший с книгой и вдохнувший воздуха жизни.

Уже в ту раннюю пору, после «Страны Муравии», «Сельской хроники», цикла о деде Даниле, у Твардовского появилось немало поклонников среди наших студентов. Он — высокий, статный, с неторопливо-раздумчивой походкой, ненавязчивый, гордый, сосредоточенный, со своей постоянной думой — выглядел уже и в ту пору вожаком, этаким Кастусем Калиновским, среди студентов-ифлийцев. Это восхищение достигло апогея, когда вместе с другими писателями Твардовский был награжден орденом.

Помнится общеинститутский митинг, смущение и радость самого Твардовского.

В институтскую пору поэтика Исаковского, Твардовского и близких им художников входила в литературный обиход, но далеко еще не была главенствующей. Не раз, не два в беседах от Ростокинского к Сокольникам Твардовский внушал мне, что отход русской поэзии от реализма Пушкина и Некрасова был бедственным, много ей стоил. Расшатались устои стиха и прозы, говорил он, символизм и дальнейшие течения пагубно повлияли на литературу. Считал близкими себе таких поэтов, как Светлов и Голодный, от-

мечал их близость народно-песенной стихии. Зато не щадил Маяковского. Есенин, по его мнению, не знал деревни, это старая деревня. Павел Васильев деревни тоже не знает, фигляр, красные сапожки. Нам в ту пору это казалось провинциализмом. Я не соглашался с Твардовским, спорил с ним, доказывая, что литература не может жить без поиска нового, без обновления, без отказа от привычного... Он иронизировал над моей горячностью: мол, молодо — зелено...

К этому времени семья Твардовского, жена и дети, переехала в Москву, он получил квартиру и мог работать систематически, мог печататься где хотел, прежде всего в «Правде». Мы встречались не часто, несколько раз он приезжал к нам в Останкино, несколько раз я бывал у него на квартире. Никогда он не спрашивал, что пишу, но если я и показывал ему стихи, он прочитывал некоторые из них — на выбор — и останавливался на одном. То, что я писал, было ему чуждо, но случалось порой — он вспыхнет и скажет: «Вот твой путь, в этом роде и пиши». Так он отозвался о моем стихотворении «Ливень». Прочитал его вслух в присутствии Маршака и отметил умение давать детали в их динамике:

> И гром с высокой лестницы ядром
> Стал скатываться.
> Женщина с ведром
> Бежит, бежит по лужам в платье белом,
> Подставила ведро под водосток,
> И хлынул по ведру железный стук,
> И, наполняясь медленно, запело
> Ведро.

— Как ты, Самуил Яковлевич, как тебе?

— Мне тоже кажется. Впрочем, голубчик, я бы это написал по-другому, более короткими строками, у него строка длинновата,— отозвался Маршак и после Твардовского принялся читать вслух это стихотворение.— Более короткая строка более соответствует дыханию человека...

Маршак не замечал, что говорит это о себе: ведь его дыхание было импульсивным — коротким, прерывистым.

Существовавшее при ИФЛИ литгруппа молодых поэтов-студентов как-то пригласила Твардовского почитать стихи и поделиться своими мыслями. В одной из аудиторий первого этажа набралось много людей. Твардовский после чтения сидел на подоконнике вдали и слушал, что говорят об его стихах. И хвалили, и поругивали, последнего было, пожалуй, больше. Я, помнится, сказал, что после первой книги многие поэты подводят, разочаровывают, вот почему мне хочется, чтобы Твардовский «не засиживался в девках» и от вчерашних своих достижений шел к новым. Твардовскому это мое выражение приглянулось, он глухо покашлял, словно поперхнулся махорочным дымом, и сказал:

— Что ж, попробую, понимаю твою тревогу, буду стараться не засиживаться...

В пору подготовки к первым выборам в Верховный Совет мы часто выступали в составе агитбригад в Сокольническом районе в рабочем клубе, на заводе «Красный богатырь», на избирательных участках. Твардовский обычно читал «Перепляс» из «Страны Муравии» и некоторые стихи из «Сельской хроники». Я, подзадоривая, просил его читать про Данилу. Как-то, познакомившись летом с этими стихами, я написал Твардовскому письмо в Загорье или Смоленск, куда он в ту пору поехал. Ответа не получил, но при встрече он сказал:

— Хотел отвечать тебе, но вот думаю — скоро увидимся на занятиях, и тогда поблагодарю. Приятно было, что тебе Данила понравился. Он может породить нового героя, не знаю, какого, но помоложе.

Много поздней, уже в пору Отечественной войны, после выхода «Василия Теркина», я напомнил Твардовскому о нашем разговоре по поводу деда Данилы и его героев периода «Сельской хроники».

— Ну как же, помню. Скажу тебе так: писатель, конечно органический писатель, через всю жизнь тянет одного и того же героя. Не обязательно под тем же именем. Он может менять звание и возраст, это даже обязательно. Но этот герой для этого писателя органичен, незаменим, что ли. И в этом смысле ты был прав, заранее почувствовав, предчувствуя то, что нельзя было предугадать: в героях «Муравии» и «Сельской хроники» уже зарождался «Теркин». Тот же мой земляк мирных лет оказался в военной шинели. А дальше? Что дальше? А дальше жизнь покажет...

Жизнь показала... А тогда, задолго до войны, я как-то отважился и на одном из избирательных участков, в агитпункте, прочитал в присутствии автора два стихотворения из цикла Твардовского: «Дело в праздник было, подгулял Данила...» Пародируя пьяного, я любил читать:

Чинно, благородно
Шел домой Данила.
Хоть в нетрезвом виде
Совершал он путь,
Никого обидеть
Не хотел отнюдь.
А наоборот,
Грусть его берет,
Что никто при встрече
Ему не перечит.

И еще читал я нараспев это:

Жил на свете дед Данила
Сто годов да пять,

Видит, сто шестой ударил,—
Время помирать.

Мне нравилась (да и теперь нравится) концовка — о прикинувшемся мертвым труженике, артистизм и лукавство этого Кола Брюньона русской деревни:

— На леса,— кричит Данила,—
Дайте мне топор!

Еще любил я и всюду с удовольствием читал «За тысячу верст от родимого дома...» — стихи, веющие смоленским ветром и несущие запах сена.

В том письме в Загорье я приветствовал Твардовского как поэта реальности и полузабытой в то время традиции. Речь шла о том, что позднее выразилось в объективном тематизме, возвращенном Твардовским и поэтами его круга для нашей поэзии. Он говорил: «существенная объективная тема». От восклицаний и космологических обобщений предстояло поэзии вернуться к действительной жизни, к реальности 30-х годов нашего века. «Тема — это сам поэт»,— думалось мне. Нет, говорил Твардовский, тема — вне поэта. Он ее вбирает в себя...

Задолго до тетки Дарьи, властно вошедшей в строки зрелых и поздних лет, еще в довоенные годы возникали в разговорах Твардовского под разными именами народные персонажи (дед Пимен, Прохор, брат Федор, Пятрусь). От их лица и имени должно судить о происходящем. Это вырабатывалась народная точка зрения на событие. Моральной основой для определения такой точки зрения было русское крестьянство. Поначалу Твардовский не считал, что я могу понимать *такое*, участвовать в беседах на *эту* тему, что могу поддерживать *такие* разговоры и даже интересоваться ими. Я понимал (и это поздней подтвердилось), что кто-то изображал меня Твардовскому в искаженном свете.

Как-то в Сокольниках, у Круга, в столовой, мы беседовали вдвоем, и я рассказал Твардовскому о начале коллективизации на Украине, о бедствиях моей семьи, о моей работе в «Арсенале». Твардовский смотрел на меня удивленно, как бы не узнавая или знакомясь со мной заново. И уж совсем удивило его то, что я интересовался историей русского крестьянства от Татищева до Грекова и считал, что крестьянство не только государственный кормилец — оно составляет моральную основу русского общества. Для того чтобы проверить меня, он спрашивал о том или ином народном восстании, о голоде в Поволжье, о лесных пожарах, о «Юрьевом дне»... Спрашивал не столько любопытства ради, сколько для того, чтобы убедиться в недостаточном знании.

К сочинениям современников относился сурово. Миловал не многих. Любил подтрунивать. Подходя к стенду современ-

ных писателей на четвертом этаже ИФЛИ, показывал уверенно и утвердительно в сторону Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова, об остальных умалчивал.

Среди ифлийских друзей и доброжелателей Твардовского прежде всего назову Николая Чуканова. Этот добрый и скромный человек, пришедший в институт уже после армии, смотрел на Александра Трифоновича влюбленными глазами. Мне не приходилось встречать мужской привязанности, равной этой. Чуканов говорил о Твардовском, сияя так, что сразу же менялся и его голос. Это была душевная улыбка, восхищение. Стихи Твардовского знал отменно. Читал их охотно. Мы с Чукановым дружили, и его отношение к Твардовскому медленно, но верно передавалось мне. Он старался сблизить нас. И я ему до сих пор благодарен за это душевное движение.

Николай Иванович Чуканов раньше многих других и лучше многих других разглядел и понял Твардовского и, что не менее важно, сильней других поверил в него. Позднее, после окончания института и после войны, в 1948 году, Н. И. Чуканов защитил в МГУ диссертацию «Творческий путь А. Твардовского», опубликовал несколько посвященных ему исследований и продолжает свою важную работу ныне.

Твардовский умел ценить преданность окружающих. Из старших современников он был предан тем, которые шли ему навстречу и были ему душевно близки. Мы не столько знали, сколько чувствовали, что в его институтском бюджете времени все большее и большее место занимали эти старшие, эти именитые, эти почтенные.

Окончание института мы отмечали на квартире нашей студентки Любы Байронас, крупной, веселой. Дело было на Сретенке. Были Николай Чуканов, Василий Квашин, писавший письма ко Вселенной, Георгий Азовцев, мой друг по общежитию, мечтавший стать Белинским нашего времени, подвергавший всех писателей жестокой критике. Помнится, Твардовский пришел вместе с женой своей Марией Илларионовной, сперва был хмур, а потом разошелся и читал стихи, потом после него читали стихи и другие.

Наши разговоры всего интересней были, когда касались поэзии, ее стиля, рифмы, ритма, словаря, образности.

Твардовский рассказывал мне, как создавалась «Страна Муравия», как перебрал он сотни частушек того времени, пока не нашел для поэмы вот эту:

Меня высватать хотели,
Не сумели убедить,
Неохота из артели
Даже замуж выходить.

Здесь «выходить» работает на полную мощность, здесь двойной смысл.

Название хутора «Борки» он выбирал из десятков, если не из сотен, названий.

Он говорил мне в аудитории перед лекцией Б. В. Неймана:

— Я люблю рифмы типа «реки — орехи». Не «реки — веки», а так, чтобы аукался звук не тождественный и равный по происхождению: «к — х». Не «реки — веки», не «орехи — огрехи».

Не ручаюсь за порядок слов в размышлениях Твардовского, но порядок довода был такой, как я привожу. И пример «реки — орехи» — подлинный, подкрепленный его же стихами:

Но уже темнеют реки,
Тянет кверху дым костра.
Отошли грибы, орехи,
Смотришь, утром со двора
Скот не вышел...

Меня тогда подкупило и озадачило точное знание того, чего он добивался от стиха, какого именно значения и звучания. Не любил игры в словеса, называл это «игрой в бирюльки». Но каждая малость стиха живо его интересовала, и оттого система его образов, поэзия в целом отличалась единством и осознанностью. Мастер, говорил он, знает, чего добивается, во имя чего добивается, в отличие от любителя, бредущего вслепую.

Иногда Твардовский показывал мне новые стихи, и я с любопытством заглядывал в его блокноты, где было все перемарано, но где выписано было — в который раз — окончательное решение. Он не торопился с выходом в печать. Тогда ему было двадцать семь — двадцать восемь лет, а выглядел он среди нас, юнцов, зрелым, сформировавшимся человеком. Внешне он был спокоен, сдержан, уравновешен. Но своя особая, постоянная дума владела им. И это всего заметней проявилось поздней — во время войны и после нее.

Развитие его было естественным и стремительным. Он не любил шума и разговоров о «творческом росте».

— Ты идешь за Некрасовым, а надо — за Пушкиным,— говорю ему.

— Это как сказать... А вот захочу и пойду за Пушкиным.

Много лет спустя он мне говорит:

— Ну вот видишь, и Пушкин мне сгодился.

— Кишка тонка.

Он мне этого не простил, как не мог простить и моей пикировки с Маршаком на Первом совещании молодых писателей, в 1947 году. Крестьянская почтительность к старшим и образованным осталась у него до последних дней.

Не был я обделен встречами с интереснейшими из современников. В том числе и с Твардовским. Я видел его подолгу, мог, любуясь, наблюдать за его внешностью и беседой, разговаривал с ним, спорил, был свидетелем сцен и эпизодов, умолчать о которых считал бы несправедливым. И жаль мне, что отношения с Твардовским по тем или иным причинам не задались, не перешли в дружбу.

Дальнейший ход жизни ничего не исправил в корне, не внес решительных перемен в эти отношения, хотя в военные и послевоенные годы было много важных и существенных встреч и бесед, о которых надо мне рассказать особо.

1976

Ц. СОЛОДАРЬ

В ДНИ, КОГДА РОЖДАЛСЯ «ТЕРКИН»



Многолетний поток писем, начавшийся в 1942 году, после появления первых глав «Книги про бойца», побудил Александра Трифоновича дать в 1951 году «Ответ читателям «Василия Теркина». В «Ответе...» упоминается и неизменно удачливый, почти сказочный богатырь Вася Теркин, чьи небывалые подвиги в боях с белофиннами изображались на страницах фронтовой газеты. Это были лубочного типа рисунки с веселыми и непритязательными стихотворными подписями. Поэт достоверно рассказал о некотором, хотя и отдаленном, родстве фельетонного Васи с его Василием Теркиным — героем Великой Отечественной войны. Это он стал родоначальником династии лубочных героев военной поры — Гриши Танкина, Ивана Гвоздева, Прова Саблина и других неизменных участников четвертой полосы фронтовых газет. Их стоит помянуть добрым словом хотя бы потому, что они помогали на войне бойцам, которые не могли «прожить без прибаутки, шутки самой немудрой».

Когда на летучке сотрудников газеты «На страже Родины» в декабре 1939 года решили создать некую серию смешных рисунков о боевых похождениях смекалистого и хитроумного бойца, было высказано немало противоречивых суждений.

Наиболее немногословно высказался Твардовский. Я не решаюсь сейчас воспроизвести дословно высказывания Александра Трифоновича. Но мне, как и еще одному из зачинателей «Васи Теркина» — талантливому карикатуристу Василию Ивановичу Фомичеву, запомнилось: поэт говорил, что нужен традиционный русский лубок, пусть подвиги Васи удивят своей несбыточностью, лишь бы не были скучны.

Простота, доступность, фельетонность — вот какие слова мы услышали тогда от Александра Трифоновича. Пусть читатель внимательно рассматривает рисунок, считал он, но подпись должна быть прочитана быстро, с ходу. По этому пути и пошли участники коллективной работы над иллюстрированными фельетонами о похождениях Васи.

Александр Трифонович не сочинял подписей к рисункам, но охотно выступал в роли редактора. И неизменно добивался от авторов простоты, выразительности и — краткости. Когда от четырехстрочных подписей к рисункам кое-кто из нас перешел к шести-, а затем и к восьмистишиям, Твардовский просто рассердился:

— Многословие погубит Васю! Подпись под рисунком — это его сгусток, а не жижа.

Сергей Иванович Вашенцев, постоянный спутник Александра Трифоновича в поездках на передний край, рассказывал, как поэт допытывался у бойцов об их отношении к Васе Теркину. И его радовало, что Вася веселит бойцов.

Иных наших сотрудников беспокоило, что эти похождения становятся все более и более фантастичными. Твардовский, однако, решительно ограждал Васю от подобной критики. Он рассуждал примерно так:

— Сатирический отдел газеты не инструкция в помощь боевому уставу. Не инструктировать, а веселить бойца должны Васины подвиги. И чем замысловатей и мудреней они будут, тем лучше.

Сюжет каждой серии рисунков, название которой начиналось обязательно со слов: «Как Вася Теркин...», обычно придумывали художники Вениамин Брискин и Василий Фомичев. Но их фантазия постепенно стала истощаться, и в конце концов они запросили помощи. Добровольцы из писательской группы пытались помочь, но увы, бесплодно. И Александр Трифонович, посмеиваясь, посоветовал художникам бить челом Сергею Ивановичу Вашенцеву, пришедшему в газету с солидным военным опытом.

Александр Трифонович с нескрываемой теплотой и, не побоюсь сказать, по-сыновьи относился к самому пожилому среди нас — Сергею Ивановичу Вашенцеву. И когда Вашенцев придумал несколько остроумных сюжетов похождений Васи, Твардовский шутил:

— Не подвел старый солдат!

В своих письмах читатели, обращаясь в газету, просили более обстоятельно рассказать о Васе Теркине, рассказать не только подписями под рисунками, а и настоящими стихами. И Александр Трифонович принял предложение руководителя писательской группы Николая Семеновича Тихонова написать стихотворение «Вася Теркин». Вот заключительные

строки этого стихотворения, не приведенные поэтом в его «Ответе читателям «Василия Теркина»:

По смекалке — свет не знал
Молодца такого.
И ни разу не бросал
Он на ветер слова.
И при этом, как ни строг
С виду Вася Теркин,—
Жить без шутки он не мог
И без поговорки.
Веселит, смешит бойцов —
Где бы ни был с ними,
Что б ни встретилось...
Таков
Общий наш любимец!

В середине февраля 1940 года было решено издать сборник «Вася Теркин на фронте» в виде иллюстрированного выпуска фронтовой библиотечки. Книжка открывалась стихотворением Твардовского, за которым следовали шестнадцать серий рисунков со стихотворными подписями разных авторов, но главным образом, Николая Щербакова, который много работал в газете над этой темой. Книжку издали в полном смысле слова «молнией», ее сдали в набор и подписали к печати в один и тот же день — 19 февраля.

Накануне в Ленинград приехал Самуил Яковлевич Маршак и, конечно, сразу повидался с Твардовским. Александр Трифонович, как говорится, с ходу попросил Маршака написать стихи для готовившегося сборника. Маршак впоследствии рассказывал, что сначала наотрез отказался, а потом развел руками и согласился: уж кому-кому, а Твардовскому он отказать не мог.

Сразу же предложил Александр Трифонович и тему стихов — биография Васи. Ею было решено завершить сборник.

На рассвете Александр Трифонович уехал в действующие части, и получить стихи у Маршака редактор поручил мне. Дорог был каждый час. Вот почему я то и дело звонил в гостиницу Маршаку и с нетерпением спрашивал, можно ли приехать за стихами.

— Нельзя!

И только поздно вечером, когда начальник типографии доложил редактору, что снимает с себя ответственность за выход сборника в срок, Маршак позвонил:

— Приезжайте, голубчик.

Хотя от редакции до гостиницы «Европейская» было несколько минут ходьбы, обрадованный редактор отправил меня на машине, указав, что на операцию «Маршака в набор» дается десять минут.

Усталый Маршак негромко прочитал мне стихи. Поблагодарив, я уже собрался было взять рукопись, но услышал:

— Придется подождать, голубчик. Пока не прочту Твардовскому, стихи не могу вам дать. Не волнуйтесь, он уже вернулся. Сейчас будет здесь.

Я понимал, что спорить бесполезно. Не подействовала на Маршака и мрачная физиономия редакционного шофера. Нарочито громко, так, чтобы слышал Самуил Яковлевич, шофер многозначительно напомнил мне, что редактор снимет с нас стружку.

Однако Маршак и ему сказал:

— Я все понимаю, голубчик, прекрасно понимаю. Но придется ждать Твардовского.

Вскоре появился Александр Трифонович. Изрядно озябший, он только вернулся с передовой, но звонок Маршака заставил его отложить ужин и отдых.

Усталость Маршака как рукой сняло. Громко и выразительно он прочитал стихи. Свое одобрение Александр Трифонович выразил столь определенно, что энергичный шофер уже потянулся за рукописью. Но его опередил Твардовский. При всеобщем молчании он внимательно просмотрел рукопись, а затем прочитал вслух первую строфу:

Не в Париже, не в Нью-Йорке —
А в поселке под Москвой
Родился Василий Теркин,
Наш товарищ боевой.

— А ведь в представлении читателя Вася крестьянского происхождения,— сказал он.— Не случайно, что он «врагов на штык берет, как снопы на вилы». Не лучше ли ему родиться не в поселке под Москвой, а в деревне? В деревушке?

Подумав секунду-другую, Маршак, озорно улыбнувшись, размеренно проскандировал:

Не в Париже, не в Нью-Йорке —
В деревушке под Москвой...

И, глянув на нас, воскликнул:

— Ну, стоило дожидаться Александра Трифоновича? Одно точное слово — и все стало на место.

Маршак и Твардовский еще несколько минут колдовали над «Биографией». Это беседовали и совещались два художника, и привязанные друг к другу, и понимавшие друг друга.

В машине шофер осведомился у меня:

— На сколько Маршак старше Твардовского? — И, узнав,

что на двадцать три года, заключил: — Значит, суть не в возрасте, а в том, что оба свое дело понимают. Потому и слушают один другого.

...Через три дня редактор вручил работавшим в газете писателям по книжечке «Вася Теркин на фронте». Александр Трифонович взял одну и для Маршака.

И тут же фоторепортер, пользуясь случаем,— собралась вся писательская группа,— сделал снимок.

Всматриваясь в него, неизменно вспоминаю о выпавшей на мою долю счастливой возможности видеть, как работал в суровую военную зиму замечательный поэт нашей эпохи Твардовский.

1974

ГОД ФРОНТОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА



был знаком с Александром Твардовским на протяжении более трех десятилетий. Сразу скажу, что мы не были близкими друзьями, не знаю, как на меня смотрел Твардовский, но я на него — снизу вверх, как на старшего, как на мастера, еще тогда, когда сам был начинающим, да и в последующие годы.

Он старше меня на пять лет, в молодую пору такая разница чувствуется остро. Но главное старшинство было и в стихах, и в характере поэта. Мы все начинали рано, печатались с юности, но Твардовский уже с первых своих шагов был взрослым. У него был взрослый характер. В годы, когда многие из нас еще били в пионерские барабаны, он даже о детстве своем писал так:

Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.
— Ну, сыны?
Что, сыны?
Как сыны? —
И сидели мы, выпятив груди,—
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие женатые люди.

Приехав в Москву в середине тридцатых годов из Смоленска, он отличался от нас солидностью и степенностью и дружил со старшими по возрасту. Вероятно, не без оснований, он считал меня и моих ровесников мальчишками,— во всяком случае, до тех дней, когда красноармейская форма сделала нас похожими друг на друга.

В 1939 году группа писателей была призвана, точнее пошла добровольцами, в ряды РККА и мы с Твардовским выехали в одном вагоне в его Смоленск, чтобы 17 сентября вместе перейти границу и участвовать в освобождении Западной Белоруссии.

Потом в том же качестве «писателя военной газеты» и он, и я были направлены под Ленинград и прошли войну с белофиннами на Карельском перешейке. Редакции у нас были разные, но узкий фронт — один.

Мы стали боевыми товарищами взамен литературной дружбы, которая у нас — в обычном ее понимании — вообще не состоялась. Вот об этом товариществе и своих впечатлениях о Твардовском на войне я имею право и, наверно, должен рассказать. Я ограничу свои воспоминания одним годом войны — Великой Отечественной,— начну с середины 1941-го и доведу рассказ до весны 1942-го.

Двадцать третьего июня мы встретились в Главном Политуправлении Красной Армии, где с 1939-го числились прикомандированными для выполнения специальных заданий. Туда явились Константин Симонов, Алексей Сурков, Борис Горбатов, Евгений Петров, Михаил Светлов, Василий Лебедев-Кумач, Сергей Михалков, не помню, кто еще.

Мы были возбуждены, растревожены, каждый ожидал «командированного предписания» (тогда слово «командировочный» только обретало права гражданства и в разных неуклюжих формах проникало в обиход). Предписание это, впрочем, ничего не объясняло — указывался лишь город, куда надлежало прибыть и к какому начальнику там обратиться.

Александр Твардовский был словно отключен от высокого напряжения, будоражившего нас. Он сидел у окна, печальный и сосредоточенный. В трудные моменты он всегда вот так замыкался, и я уже знал эту черту его непростого характера. Лучше было его не трогать, не заговаривать с ним.

Мы получили предписания одновременно и показали их друг другу. Нам надлежало отбыть в одном направлении и поступить в распоряжение одного бригадного комиссара. Условились ехать вместе, первым же поездом. К нам присоединился еще Джек Алтаузен. На войну с белофиннами он очень рвался, но приехал в Карелию в день объявления мира. Признаюсь, мы не раз добродушно подтрунивали над этим его опозданием. И теперь казалось, что красавец Джек радуется — уж он не опоздает, больше не будет насмешек. Драматизма наступивших событий и трагизма отдельных наших судеб еще не понимали мы в полной мере на третий день войны... Во всяком случае, могу сказать это о себе и о Джеке.

Итак, мы едем вместе. У нас с Алтаузеном было по одной «шпале» на петлицах, а у Твардовского — две. Он становился старшиной нашей маленькой литературной команды и принял новую обязанность с иронической улыбкой:

— Требую беспрекословного подчинения, и помните, что вы — низшие чины. Один — за водкой, другой — за селедкой — ать-два... И ограничимся этой рифмой!

Джек был несколько старше нашего «старшины» по возрасту и литературному стажу. Люди они были совсем-совсем разные, но Твардовский помнил, что в начале тридцатых годов знаменитые в те времена Жаров и Алтаузен разбирали напраслину, накрученную завистниками и злыднями против него, и решительно защитили Твардовского от опасных нападок.

Иные люди оказанную им в трудный момент поддержку потом считают унижением, стараются забыть сделанное им добро. Твардовский всегда помнил, как вовремя пришли ему на помощь комсомольские поэты, не стеснялся чувства благодарности.

Мы встретились под часами у Киевского вокзала. Нас никто не провожал — так заранее условились, не желая усугублять тяжесть расставания с близкими. Комендант определил нас в вагон. Заняли купе. Твардовский сказал:

— Знаете, Джек, не защити вы меня тогда, может, пришлось бы мне ехать совсем в другом направлении.

Джек краснел и радовался.

Впрочем, стоило поезду тронуться, сложность обстановки, грусть разлуки и тревога словно спрятались куда-то. Первый вечер в дороге мы провели весело, без обид подтрунивали друг над другом, даже пели — нестройно и умиленно: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой...» Этой несколько накрученной возбужденностью старались ограничить остроту момента. Рано легли спать и рано проснулись. Утро было нежное, полное июнем. Поезд задержался на станции, где из другого состава, на параллельном пути, выгружались спешно эвакуированные из совсем молодой Советской Прибалтики. Зеленый склон возле станции был уставлен желтыми, красными и лакированными, особо бросавшимися в глаза, как «заграничные», чемоданами беженцев.

Это первое видéние, сконцентрировавшее в себе жестокость и горе войны, глубоко потрясло Твардовского. Он писал об этом сам, мне нет нужды пересказывать. Тогда, безмолвно смотря из окна вагона, везшего нас на фронт, поэт проникся печалью и гневом, водившим его пером почти четыре года войны, да еще и многие годы потом.

Только первый вечер был у нас такой беспечный. Впро-

чем, уменье добродушно подтрунивать над товарищами Твардовский сохранил и в самые сложные дни.

Приехав, наконец, в Киев, мы отправились пешком в штаб Киевского Особого Военного округа, ставшего уже тыловой базой Юго-Западного направления. Город был в полном расцвете щедрого лета. На душных улицах почти не встречалось взрослых, но мы видели очень много пионеров, не успевших выехать в лагеря или успевших вернуться.

Мальчишки патрулировали небольшими группами — не знаю уж, по чьей инициативе. Они с подобострастием заглядывались на высокого синеглазого военного в новеньких ремнях, с орденами Ленина и Красной Звезды на гимнастерке. Тогда мало было орденоносцев. Твардовскому любой костюм был к лицу и по фигуре, выглядел он браво и солидно.

Мы поинтересовались, что за патрули на углах и перекрестках. Узнали: ловят шпиона. Его видели на вокзале в каком-то странном сером полувоенном френче и с пишущей машинкой в руках. Он выдавал себя за писателя. На вокзале никто не проявил бдительности, шпион скрылся. Теперь спохватились, ищут...

Мы дошагали до штаба. В политуправлении оставался на хозяйстве один батальонный комиссар. Он был болен и лежал на диване, у телефона. Как раз, когда мы, спросив разрешения по всей положенной форме, вошли в кабинет, телефон зазвонил. Сообщали о поимке шпиона. Шпион твердит, что он писатель. Дети, задержавшие его, порядком помяли бедняге бока... Поняв из реплик, о чем речь, Твардовский приложил сомкнутые пальцы к фуражке и лихо отчеканил:

— Писатель прибыл в ваше распоряжение.

Батальонный комиссар оторопел. Мы с Джеком приняли условия опасной игры и последовали примеру своего старшины:

— Писатель явился...

— Писатель докладывает...

Батальонный комиссар оказался человеком веселым. Он приподнялся на локте и с очень серьезным видом буркнул:

— Сейчас призову на помощь пионеров, тогда узнаете, как у нас в Киеве детишки поступают с теми, кто выдает себя за писателей. Особенно за Твардовского!

Мы были разоблачены.

Нам оставалось попросить батальонного комиссара познакомить нас со шпионом. Все-таки он выдает себя за нашего коллегу. Шпион с портативной пишущей машинкой? Странный детектив!

Пришли дополнительные сведения. Шпион назвал себя

не одной, а сразу двумя фамилиями — Мальцевым и Ровинским. Он приехал из Львова, его зовут Орестом.

А ведь на Западной Украине действительно жил писатель Орест Мальцев, подписывавшийся псевдонимом Ровинский. В 1939 году он женился на польской красавице и остался жить во Львове. Все это мы рассказали батальонному комиссару. Зловещий клубок начал разматываться.

Нам предъявили задержанного. Вид у него был жалкий.

— Саша, Женя, Джек, выручайте! — испугав своих конвоиров, закричал Орест, ибо, как пишут в роскошных романах, это был он.

Он выскочил из пылающего Львова, захватив лишь пишущую машинку, в мундире родственника своей жены, бывшего легионера.

Твардовский предложил составить документ, подтверждающий, что задержанный действительно писатель, наш старый знакомый, что у него есть и фамилия и псевдоним, что он едет в Москву, в Главпур за назначением.

Наше пребывание в Киеве в тот день было почти целиком занято спасением Ореста. К вечеру его освободили из-под стражи и он отбыл в Москву. До вокзала мы его проводили, чтобы не повторилось утреннее происшествие.

Ночью мы выехали на командный пункт фронта, в Тарнополь (Тернополем город стал зваться позже).

Нас подключили к команде мобилизованных, направлявшихся в распоряжение штаба. Это были партийные работники в новеньких, топорщащихся гимнастерках. Грузовик с несколькими рядами досок-сидений, от борта до борта. Все мы с винтовками, полученными в штабе бывшего округа...

Твардовский сказал: «Здесь и так много начальников, я слагаю с себя обязанности старшины». Не успели киевские начальники рассесться на досках, и уже командование взял на себя, конечно, «безусый энтузиаст» — Джек Алтаузен. Властвование доставляло ему, очевидно, удовольствие. Он очень вовремя подавал команду: «Воздух!» — мы выпрыгивали в кюветы, палили из винтовок в небо, а после отбоя вновь забирались в кузов, ехали дальше, тесно прижавшись друг к другу плечами.

Очень короткая ночь с бомбежками казалась длинной-предлинной. Пулеметным обстрелом с воздуха, смутными вестями и слухами о сброшенных противником десантах была она наполнена до отказа.

Утром мы подъезжали к старой границе (1939 года). Прекрасные нивы, ставшие уже здесь золотыми, свежие, в росе, васильки и маки на обочинах дорог.

Твардовский и все мы особым взглядом пытались охватить эту голубоватую с золотом даль. Александр Трифонович считал сам процесс сочинения, а особенно записывание

стихов делом тайным, интимным. Он молчал отчужденно, не отвечал на вопросы. Лишь после я нашел в комплекте газеты «Красная Армия» стихи «Тебе, Украина», сложившиеся в то утро:

Какие хлеба поднялись от границы,
Как колосом к колосу встали они,
Как пахнут поля этой ржи и пшеницы
На утреннем солнце. Всей грудью вздохни.
Вздохни, оглянись — и увидишь впервые,
Как вольно раскинулась эта земля —
Поля золотые, леса молодые,
Луга заливные и снова поля.

В стихотворении упоминалась и «белая пыль», которой мы наглотались вдоволь. Мы прибыли в Тарнополь словно в масках из этой белой пыли. Гимнастерки наши потеряли свой щегольской вид, винтовки, с которых мы не успели вытереть масло, покрылись как бы шерстью и требовали основательной чистки.

Штаб Юго-Западного направления размещался в не очень старинном, но возведенном по всем правилам замке на окраине города.

Прежде чем идти представляться к начальству, совершенно необходимо было помыться.

Твардовский сказал, что баня — это уже его дело. Он отправился в разведку, облазил какие-то башни и коридоры и радостно известил нас, что нашел ванную комнату, но на дверях почему-то здоровенный амбарный замок.

Мы отправились туда втроем и при помощи найденной во дворе железяки замок аккуратно сорвали. В большой белой фарфоровой ванне лежал мертвый командир в окровавленной гимнастерке.

— Свят-свят-свят...— сказал Твардовский, и мы стали торопливо прилаживать замок на место.

В те дни уже ничему не удивлялись. На другом этаже нашлась все-таки незапертая ванная, и мы помылись холодной водой, потерли друг другу спины. Твардовский крякал, ахал, безжалостно поливал наши хлипкие тела. Сам он был красиво сложен, плечист и говорил, что о человеке можно судить по глазам и по коже. Есть люди с такой кожей, что лучше бы им родиться курами без перьев!

Чистенькие предстали мы перед очами начальства. Решилась наша судьба. Твардовский остался в редакции фронтовой газеты «Красная Армия», а мы с Джеком направлялись в армейские газеты 6-й и 12-й армий и обязаны были ночью выехать и искать свои редакции на дорогах отступления.

Твардовский очень ласково и грустно попрощался с нами.

В течение июля мы часто оказывались где-то совсем близко друг от друга. Мне передавали привет от него Юрий Крымов, Виктор Полторацкий. Я в свою очередь передавал поклон ему. В нашу армию нерегулярно доставлялась фронтовая газета, но когда приходила все-таки, я читал стихи и корреспонденции Твардовского, как личные письма, адресованные мне одному.

Потом 6-я армия оказалась в кольце.

Когда осенью, проламывая рваными сапогами первый ледок, израненный и, наверное, страшноватый с виду, я шел к линии фронта по оккупированной Полтавщине, в исполосованном колесными следами лесу я набрел на место политотдельской стоянки, недавно опустевшее.

Там валялась намокшая от дождей и росы пачка газет «Красная Армия». Я жадно развернул газеты. Первое, что мне попалось на глаза, были стихи Твардовского и Безыменского. Значит, живы, значит, действуют!

Драгоценная весточка, полученная мной от товарищей, прибавила сил.

Мне суждено было вновь встретиться с «Красной Армией» лишь в ноябре, на следующий день после 24-й годовщины революции. Вот как это произошло...

Перейдя наконец линию фронта, я вместе с группой «окруженцев» добрался до станции Валуйки. Здесь комендант квалифицировал меня как «доходягу» и поместил в санитарный поезд, направлявшийся, по слухам, в Иркутск. Раны, на которые я не позволял себе обращать внимания «там», чтоб только выжить на своей территории, вновь открылись и заныли. Ко всем бедам добавились фурункулы.

Военврач сказал, что в тылу меня за месяц-другой поставят на ноги, приказал лежать. Я сдал проводнику вагона (санпоезд был составлен из вагонов дальнего следования) свою жалкую одежонку, получил казенное белье. Проводник обещал в пути выменять мое барахло на продукты и поделиться ими со мной.

Я лежал на жесткой полке и уныло смотрел в серое окно. Вот рельсовые пути стали множиться — мы подъезжали к станции. Воронеж. Санпоезд поравнялся с эшелоном из специальных вагонов и остановился. Я увидел в большом зеркальном окне противоположного вагона просторный салон с наборными кассами. У кассы стояла девушка с косами вокруг головы венком, набирала шрифт в верстатку, а в проходе вышагивал взад-вперед высокий красивый — такой знакомый — человек.

Твардовский!

Это мог быть только поезд-редакция «Красная Армия»! Я испугался: сейчас мой санпоезд тронется, меня увезут черт знает куда. А здесь редакция, Саша, товарищи.

Когда в безвестности до срока
Или в забвеньи ты, поэт,
Творишь свой замысел высокий,
Доверчиво свой хранишь секрет;
Готовишь людям свой подарок,
В жизни замеченный давно, —
Ты можешь быть больным и старым,
Несчастным, — счастлив все равно.

И пусть порой найдет морока —
Нелепый страх, обидный суд,
И пусть бранить тебя жестоко,
Напрасно, может быть, начнут. —
Ты слышишь это и не слышишь
В заботах милого труда:
Тем часом ты сидишь и пишешь,
Ты занимаешь города.

И все с тобою в этом часе —
Твоя Варшава, твой Берлин,
И слава, что еще в запасе,
И ты на свете не один...
... Беда придет в иную пору... (и б.

12 [redacted]50 А. Твардовский

«За далью — даль». Автограф, 1950 г.



А. Твардовский. Апрель 1927 г.

Смоленская Деревня.

ское—бытовое,—

Крестьянин, сделаі

ОВЫЙ БЫТ.

ином вы-

ных пере-
держали в
ивали вод-
ртовщину:
чепуху.
і семейный

вождаемые
причудами,
живет и

орым день
ч народной
за „прино-

Пришла революция. Она много внесла нового и в быт деревни.

Старые бытовые устои мало по малу рушатся и на развалинах их постепенно нарождается новый быт.

Красные свадьбы, октябрины, революционные праздниства, газета, изба-читальня,—все это явления нарождающегося нового быта.

Здесь все просто, понятно. Все это исходит из того—как бы так наладить отношения между людьми, чтобы каждый видел и чувствовал, что жить ему стало лучше.

За новый быт надо бороться—грамотностью, просвещением.

Изживать пережитки старины.

Клином клин вышибать.

А. Ник—ич.

Каждь
о нуждах д

Трудно крестья
в газету, а особе
когда каждая мину
дороже зимнего д
еще и потому,
желающие и даж
едва умеют дер
даш в руках и н
бумажки на цыга
для заметки.

А недостатки
есть и крестьянин
дит. Бывают не
стороны волостно
ва и самой деревн
оперившийся, зату
бевшего и тогда
стьян просыпаетс
пожаловаться, пос
излить накипевшу
кому?

В волости,—ну, п
земкомиссия,—мож
слушать, как за
соответствующего
начению товарища
за недостатком в
вает то и другое.
стьянину надо пом
в волости есть че
но беседующий и
на все вопросы —эт
волостного комитет
нему всегда идит
говорите о всем не
волости.

Есть и другой

ОСТКИ НОВОГО.

* * *

о наряду с этим мы ви-
ростки нового быта. Из
отдельных бытовых яв-
ій вырисовываются очер-
ія новой деревни.
вежее, здоровое, бьющее
одым задором, лицо.
аленький факт, о котором
бщает крестьянин деревни
ынино, Кардымовской во-
и, Ф. Емельянов: женились
і попа" двое беспартийных
стьян. Но для того, чтобы
ать эту простую вещь, на-
было много пережить, пе-
одиться.
ез попа в деревне Духов-
е, Стодолищенской воло-
хоронили умершую ком-
олку. Собралось до 200 че-
к. Разве в них не запала
ра протеста против церков-
обрядов?

Новая изба

Пахнет свежей сосновой смолою.
Желтоватые стенки блестят.
Хорошо заживем мы семьею
Здесь—на новый советский лад.

А в углу мы „богов“ не повесим
И не будет лампадка тлеть.
Вместо этой дедовской плесени.
Из угла будет Ленин глядеть.

Александр Твардовский.

Детские ясли.
Ясли—большое облегчение для крестьянки.

(Стодолищенская вол. Росл. у).

12 июля в селе Новой Рудне открылись детские ясли.

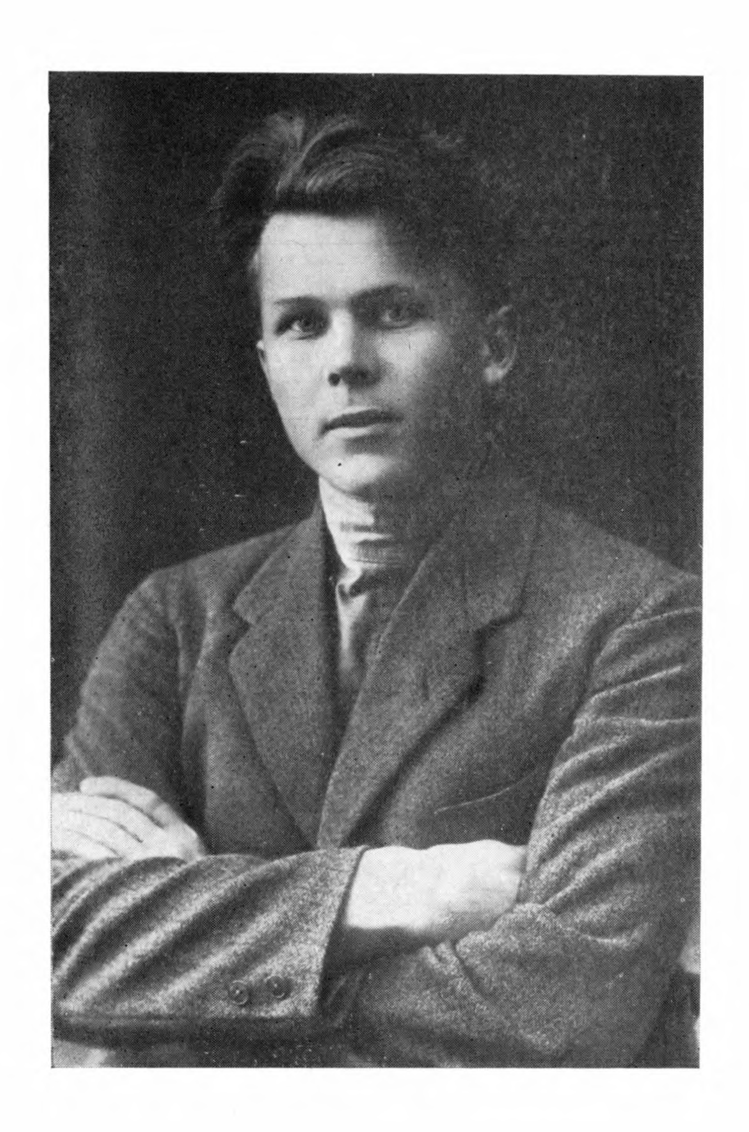
Средства нашлись—их дали по подписному листу рабочие и служащие города Рославля.



Газета «Смоленская правда» от 19 июля 1925 г. со стихами А. Твардовского «Новая изба»



Смоленские литераторы А. Гитович, А. Твардовский, М. Исаковский, 1929 г.



А. Твардовский. 1930 г.



А. Твардовский. 1937 г.

Фронтовая библиотечка
газеты „На страже родины"



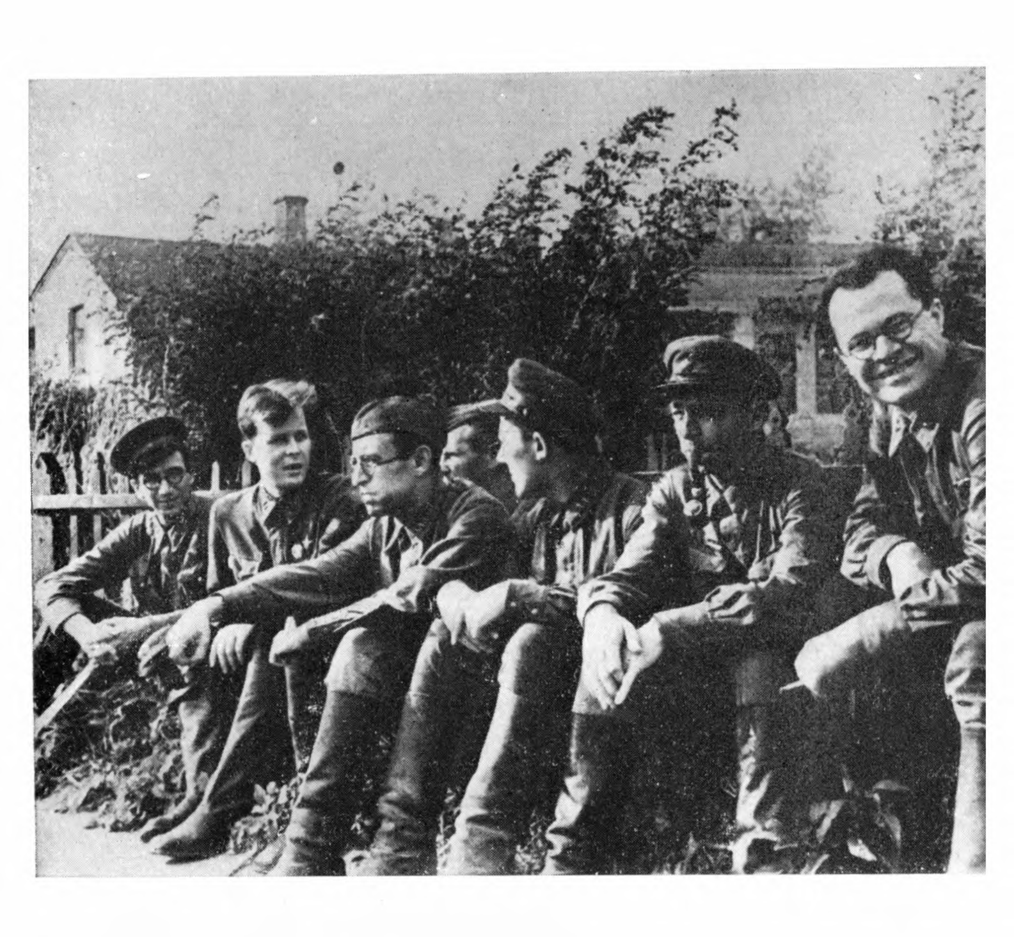
Вася Тёркин

Государственное издательство
„ИСКУССТВО"
Ленинград 1940 · Москва

Обложка книги «Вася Теркин», изданной в 1940 г.



А. Твардовский. Октябрь 1941 г.



Писатели И. Френкель, А. Твардовский, В. Гроссман, В. Кожевников, С. Голованивский, М. Матусовский. 1941 г.



А. Твардовский на фронте. 1943 г.



А. Твардовский на пепелище родной деревни Загорье.
Август 1943 г.



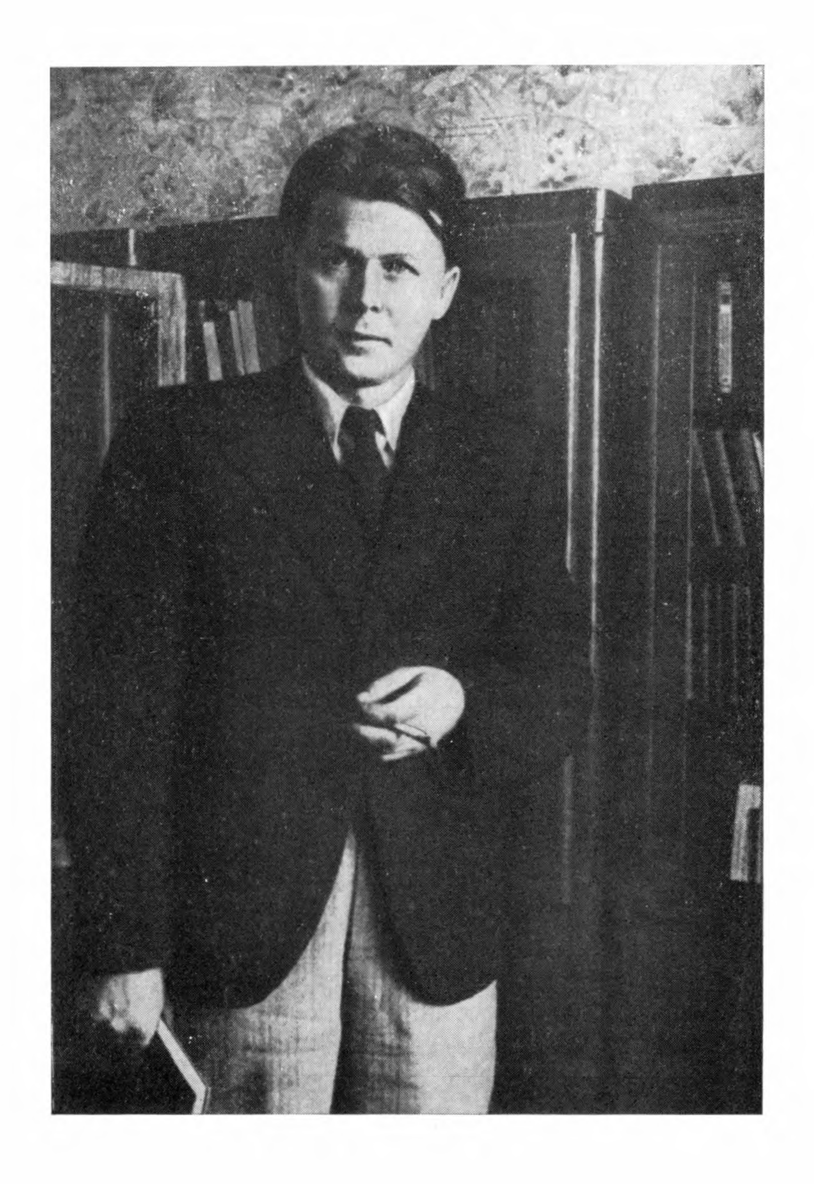
В освобожденном Смоленске. Т. Миронов, А. Твардовский, В. Глотов. 1943 г.



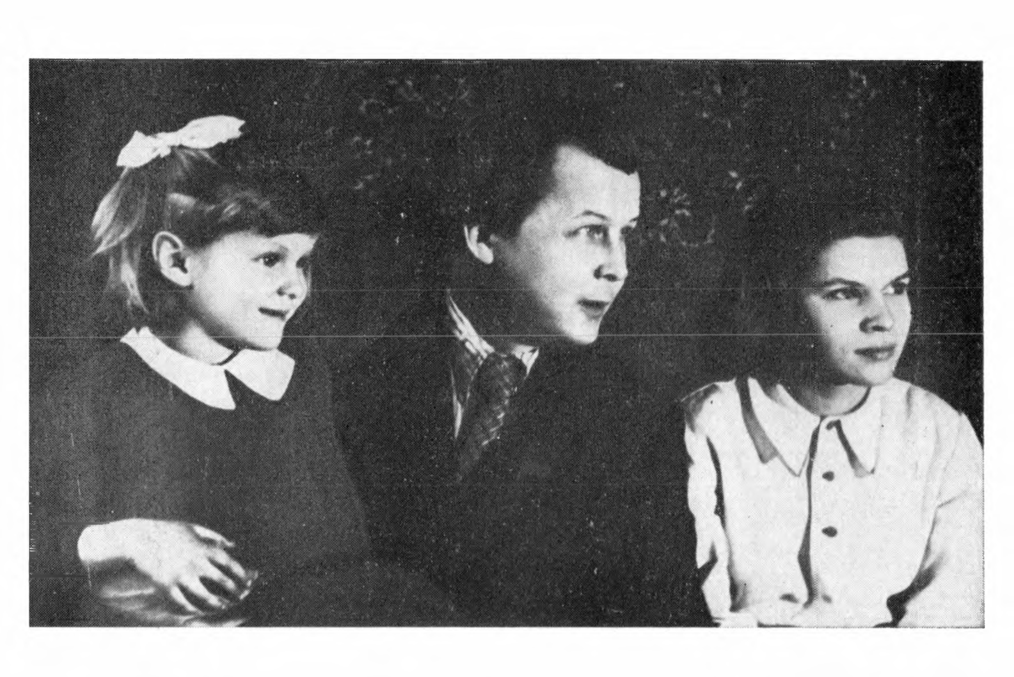
В родных местах на Смоленщине. 1943 г.



А. Твардовский, О. Верейский, В. Глотов. 1944 г.



А. Твардовский. 1946 г.



А. Твардовский с дочерьми Ольгой и Валентиной, 1946 г.

Я хотел выскочить как был — в белье. Но встретившийся мне в тамбуре проводник забеспокоился — не самовольничай! Он, видно, решил, что я сейчас пущу в обмен вчера полученное белье. Я снял казенную белую рубаху. Моя вшивая одежда еще не успела пойти на обмен и была возвращена мне растерявшимся проводником.

Санпоезд уже трогался, я соскочил на ходу, бросился к спецпоезду, забрался на подножку вагона, распахнул тяжелую дверь, вбежал в наборный цех.

Твардовский ошеломленно и растерянно смотрел на меня. Мы молча стояли друг против друга. Кажется, я заплакал первым, но он бросился навстречу, неуклюже обнял, и вот уже его слезы потекли по моим заросшим щекам. Заслышав какую-то суматоху в наборном цехе, прибежал украинский поэт, мой довоенный добрый знакомый Савва Голованивский.

Когда оторопь этой странной встречи чуть улеглась, Савва вспомнил, что перед праздником Твардовский показал ему письмо моей матери из татарского городка Чистополь, куда ее эвакуировали, спросил, как найти силы, чтобы ответить ей.

Да, наша встреча состоялась 8 ноября, а 7, в день XXIV годовщины, Твардовский писал в «Октябрьском письме»:

Мать, не спеши считать меня убитым...

Письмо было тут же вручено мне — материнское письмо, исполненное веры в невозможность, немыслимость гибели сына. Через несколько дней мне пришлось уехать в Урюпинск. Я вернулся в начале декабря и поселился в редакции «Красная Армия», передислоцировавшейся из поезда на главную улицу Воронежа, в здание музыкального училища.

Мы оказались с Твардовским в одном музыкальном классе. Не стол, а рояль был там, Твардовский называл его письменным роялем.

Твардовский, старший по званию, был и здесь старшиной, неукоснительно требовал образцовой заправки коек и вообще порядка. Правда, все мы нещадно дымили — кто из трубки, кто из козьей ножки. Табак был ужасный и назывался «филичевым».

Твардовский делал в редакции все, что положено рядовому журналисту,— правил заметки, дежурил по номеру, был на рассвете «свежей головой» (так назывался выспавшийся работник, читающий первый пробный экземпляр номера газеты). Потом писал он то, что было сегодня нужно,— передовую так передовую, очерк так очерк, стихи так стихи.

Теперь, через много лет после войны, многие читатели,

никогда ее не видевшие, не совсем ясно представляют себе боевую позицию писателя на войне, а может, и вообще бойца на фронте. Наверное, не было такого человека, который все четыре без малого года не выходил из боя. Внутри полка и дивизии сражающееся подразделение менялось местами с подразделением отдохнувшим, стоявшим во втором эшелоне, само уходило во второй эшелон. Дивизия менялась позициями с другой дивизией. Были дни и месяцы без активных боевых действий, были передислоцирования. Редко кому из бойцов удавалось обойтись без ранения и госпиталя... Однако все эти передвижения и перемещения — относительно боя и огня — оставались пребыванием воина на фронте. И в этом смысле можно без всяких преувеличений сказать, что Твардовский всю войну провел на фронте, так же как и его Василий Теркин.

Боевая позиция поэта была в редакции фронтовой газеты, по врагу огонь он вел с ее страниц.

Когда же ему удавалось все же выезжать в командировки, он спокойно и с достоинством выходил под огонь, когда этого требовали обстоятельства. В окопах и на дорогах Твардовский всегда выбирал стрелков определенного характера, подолгу беседовал с ними. Лишь позже, когда сложился образ Василия Теркина, товарищи, ездившие с поэтом в части, узнавали черты знакомцев Твардовского. Психологию солдата он знал блестяще, достоверность созданного им образа неповторима.

Работал в Политуправлении фронта бесстрашный бригадный комиссар Иван Гришаев. Однажды он запретил Твардовскому ехать в опасное место. Александр пошел к бригадному объясняться. Гришаев сказал ему:

— Третьяковскую галерею эвакуировали в Сибирь. Могу же я проявить осторожность, когда речь идет о литературных ценностях. Не своевольничайте, Саша, вы себе не принадлежите.

Вместе с киевским русским поэтом Борисом Палийчуком Твардовский вел в газете юмористический отдел — четвертую полосу.

Здесь действовал веселый персонаж Иван Гвоздев.

Четвертая полоса создавалась коллективом журналистов, художников и писателей. В старых комплектах можно найти фельетоны, подписанные Твардовским и Палийчуком. Общими были персонажи, не возбранялось никому пользоваться ими для очередной сатиры.

Я знал, что Твардовский считает творчество делом сугубо индивидуальным, не признавая коллективных сочинений. Когда в 1939 году, накануне 17 сентября, мы с Владимиром Луговским в Смоленске вдвоем стали сочинять песню для

будущего освободительного похода «Белоруссия родная, Украина золотая», Твардовский нас чуть ли не высмеял:

— Плюс на плюс дает минус! Не знаю, как это получается в математике, но в литературе очень наглядно!

Впрочем, через несколько дней он написал на пару с Ильей Френкелем стихи «Перед боем». Да и «Белоруссия родная, Украина золотая» была позже по-другому принята Александром Трифоновичем. Шли уже последние месяцы войны, когда мы, вызванные с фронтов, встретились в Москве, на пленуме Союза писателей. Твардовский отозвал меня в сторонку и спросил:

— Ты не обидишься, если я вас с Луговским процитирую без кавычек?

— О чем речь?

— О вашей строевой песне.

Так в «Теркине», в главе «Про солдата-сироту», появились строчки:

Срок иной, пора иная —
Бей, гони, перенимай.
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Здравствуй, пели, и прощай.

Щепетильность Твардовского при цитировании стихов товарищей была известна. Он имел право возмущаться, когда один поэт почти дословно повторил в своей песне теркинские строки: «Я согласен на медаль». Он говорил автору, к которому вообще-то неплохо относился: «Попроси у меня — я тебе получше строчки подарю. Но без спросу не хватай, это гадко».

В условиях повседневной фронтовой газетной работы, он не считал для себя зазорным писать вместе с товарищами.

Я бывал в Воронеже не часто, но, возвращаясь с фронта, из дивизий, всегда оказывался в дружеской семье журналистов «Красной Армии».

Твардовский был инициатором встречи у нас в музыкальном классе 23 февраля 1942 года — годовщины Красной Армии.

Из писателей на ней были Александр Безыменский, Микола Упеник, Савва Голованивский, Джек Алтаузен, Борис Палийчук, Виктор Кондратенко. Кому-то надлежало остаться трезвым как стеклышко и дежурить по праздничному номеру газеты. Редактор, обычно отдававший приказания, на этот раз сказал: «Решайте сами». Заложили в шапку фантики — пустые бумажки и одну с надписью: «Ответственный несчастный дежурный». Эту бумажку вытянул Михаил Розенфельд, боевой корреспондент «Комсомольской правды», еще до войны успевший побывать в Испании и на Северном по-

люсе. Именно сегодня стало известно, что Розенфельд награжден еще одним орденом. Тем досаднее было ему оказаться дежурным по номеру. Дежурному было выражено соболезнование. Мы засели за рояль — теперь лаковая крышка была накрыта газетой и уставлена бутылками и консервами.

Мы поднимали наивные тосты за то, чтобы Победа пришла в этом, 1942 году, пели хором и читали друг другу стихи и эпиграммы, а бедный Розенфельд корпел над сырыми полосами завтрашней праздничной газеты. Правда, он время от времени заглядывал к нам в класс, жалобно произносил на пороге:

— Пожалейте сирого и голодного, ответственного и дежурного!

Сердце — не камень, мы милостиво угощали дежурного, и он, несколько повеселев, возвращался на свой пост.

В полночь Твардовский встал из-за стола, объявил, что должен пойти проверить, все ли в порядке в отделе «Прямой наводкой», за который он отвечал. Он вернулся вскоре, принес полосу завтрашней газеты, показал нам на верхнюю строку под линейкой. Там была крупно набрана дата выхода газеты: «23 февраля 1943 года» — Миша Розенфельд уже прорвался в будущий год! Вот каким должен быть настоящий газетчик!

Тут появился ответственный дежурный, не знавший и не ведавший о пропущенной им ошибке и готовый вновь утолить жажду.

Твардовский поднялся над роялем, объявил, что пить можно всем, кроме того, за кого будет поднят тост, и провозгласил: «За храброго человека, живущего в 1943 году».

Розенфельд еще не понял, что это пьют за него, но своей дозы не получил. Ему была предъявлена начерно сверстанная полоса с датой — «23 февраля 1943 года», он схватился за голову и помчался в типографию вносить поправку. Увы, всеобщему любимцу, самому отчаянному из нас, не удалось дожить до 1943 года: через три месяца после описываемого эпизода Михаил Розенфельд улетел под Харьков, где счастливо начиналось и вскоре трагически захлебнулось большое наступление. Он погиб на том участке фронта вместе с Джеком....

Гибель товарищей Твардовский переживал тяжко. Уже после войны, в потрясающей балладе «Я убит подо Ржевом...», он с особой остротой раскрыл горькое чувство причастности к судьбам погибших:

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали,—
Были мы наравне.

Это равенство поэт потом оспорил в стихотворении «В тот день, когда окончилась война...» Но в тот февральский вечер, который я вспомнил, еще многие наши потери были впереди, кончалась зима, и подходила весна 1942 года.

В Воронеже оказалось немало известных писателей представлявших центральные газеты. Сманивали и Твардовского перейти в «Красную звезду» и в «Правду», но предварительные переговоры с ним всегда нарывались на резкий отказ:

— Я здесь, во фронтовой газете, на своем месте. Если и перейду на другую службу, то только в редакцию газеты армии, которой предстоит освобождать мой Смоленск и Смоленщину.

Ему было чуждо все показное. Военная форма скульптурно сидела на нем без каких-либо усилий с его стороны. Он любил шутку, но презирал сальности и пошлость. В его присутствии не рассказывали анекдотов — робели. Он никого не отчитывал, не поучал, но умел резко осадить, больно ударить коротким и единственным, как бы вскользь сказанным, словом. Был он колюч, непримирим, и некоторые из нас начинали разговор с ним с тайной опаской. Объективность требует сказать, что не всегда Александр Твардовский был справедлив по отношению к окружающим. Предубеждения его возникали порой без видимой причины и без достаточных оснований.

Недолюбливал он представителей центральных газет. Ему казалось, что писатели, приезжающие из Москвы, слишком чистенько одеты и отутюжены, материал собирают в штабе, а не в траншеях.

Прикрепленных к газете Военно-Воздушных Сил и носивших авиационные голубые петлички наших товарищей писателей Александр Трифонович иронически называл гордыми соколами. Были обиды, но в общем-то до серьезных разногласий не доходило.

Когда приехал в Воронеж Виктор Ардов для выступлений перед горожанами и была расклеена на тумбах афиша «писатель-юморист», Твардовский разворчался:

— Как можно объявлять себя юмористом? А если в доме что случится? Заболеет кто? Не дай бог — умрет. Юмор, навязанный извне,— одно зубоскальство. Другое дело, если глупость сражают остроумием, в трудном положении пускают на выручку шутку!

Только успел он выговориться, как в редакции нашей появился смуглый человек с тщательно подстриженной и расчесанной бородкой, с иронически-веселыми, блестящими черными, ассирийскими глазищами. Наши машинистки загляделись на гостя. Он действительно был красив. Зашептались: «Ардов, Ардов!»

Александр Трифонович явно искал случая, чтобы обо-

стрить отношения, но Виктор Ардов не обращал на поэта никакого внимания — чем еще больше его подзадоривал. Наконец Ардов заметил пристальный недобрый взгляд и спросил:

— Твардовский, я вам не нравлюсь?

— Мне очень нравится ваша борода, но почему-то не нравится ваша фамилия — я ее прочел на улице, на афише. Ардов! Что это за фамилия?

Но не так-то просто было пикироваться с Ардовым. Юморист мгновенно парировал:

— Вам не нравится моя фамилия лишь потому, что она целиком входит в вашу! Тв-ардов-ский!

Александр рассмеялся искренне и по-доброму.

— Сдаюсь! Мне и в голову не приходило, что мы с вами почти однофамильцы.

Отношения между этими — такими разными — людьми больше не омрачались стычками. Твардовский предложил Ардову сотрудничать на четвертой полосе, в отделе «Прямой наводкой».

Вернувшись однажды с передовой в редакцию, я узнал, что Твардовского переводят на Западный фронт. То ли до начальства дошли его мечты об участии в предстоящем освобождении родной Смоленщины, то ли, наоборот, начали действовать непостижимые правила, которые культивировал в отделе печати политуправления инструктор, ведавший распределением и назначением писателей. Он их вообще терпеть не мог и бог знает в чем подозревал. Этот деятель всегда поступал противоположно просьбам. Если подчиненный изъявлял желание служить на Севере, за Полярным кругом, его тотчас же направляли на самый Южный участок фронта. Стоило начальнику услышать, что человек рвется из тылового округа на передовую, его переводили в еще глубже расположенный тыловой округ.

«Начальника наоборот» быстро раскусили. Чтобы попасть на интересный и горячий участок боевых действий, надо было сказать ему: «Ну, я навоевался! Пора и в Новосибирск, на отдых!» В тот же день хитреца самолетом отправляли в самое пекло, куда он как раз мечтал попасть.

Для того чтобы оказаться под Смоленском, Твардовскому надо было проситься в Среднюю Азию. Но, кажется, его миновала чаша сия. Появившиеся главы «Василия Теркина» сразу привлекли читательское внимание и внимание более высокого начальства.

Не для того, чтобы сводить запоздалые счеты, а в интересах истины вспомню, что не всем понравились первые страницы «Книги про бойца». Новое всегда имеет не только сторонников, но и противников, иначе какое же оно новое? Александр Фадеев, Павел Антокольский, Николай Тихонов

с первых глав ощутили значимость книги, ее силу. Однако нашлись блюстители устава, которым Теркин казался слишком вольным и даже недисциплинированным бойцом. Объявились мрачные ценители-«оптимисты», оспаривавшие, например, повторение строк:

Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Возражения были и против эпитета «святой», и против того, что «не ради славы». А чем же подбодрить воина? А ордена на что?

Нашлись ворчуны, они признавали Теркина, когда он был персонажем четвертой полосы красноармейской газеты, и отказывали ему в месте в большой литературе.

Да, начало шествия Василия Теркина по страницам газет не было триумфальным. Впрочем, мне кажется, что сам автор не представлял еще в полной мере, что он написал, и вообще легко судить о событиях и книгах только через годы, когда они утверждены временем.

Твардовский уже собрался уезжать в Москву — и вдруг затосковал. Ему трудно было расставаться с товарищами, с которыми начинал путь с запада на восток, тянуло на родную Смоленщину, но так хотелось пройти с востока на запад, по Украине, с которой столько теперь было связано!

Я был тогда лишь прикомандирован к редакции из политрезерва, в штате не определился. И тут стало известно, что на должность, освобождающуюся в связи с отбытием Твардовского, назначают меня. Испытывая чувство неловкости, зная, что ему не очень хочется уезжать, я встретился с Твардовским.

Я откровенно поведал ему о своих волнениях. Мне не хотелось, чтобы он заподозрил меня в стремлении сесть на его должность. Разговор у нас получился печальный, но Александр Трифонович посмеялся надо мной:

— Это у тебя наследственные адвокатские тревоги разыгрались. Я знаю, что если бы ты просился в редакцию на это место, тебя бы кадровик загнал на другой край фронта. Так что не терзайся, все правильно. Приказ из Москвы, я еду, все решено. Будешь писать «Ивана Гвоздева» и «Василия Теркина»?

— «Теркина» писать не буду!

— Смотри, а то посоревнуемся! У меня все равно получится лучше! (Забавная деталь — после войны в Болгарии были напечатаны главы «Василия Теркина», но фамилия автора стояла... Долматовский. Александр Трифонович при встрече вдруг сказал — шутя, с наигранной досадой: «Койку

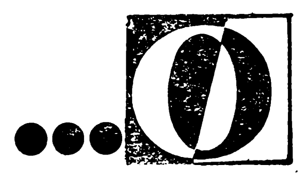
мою в Воронеже захватил, должность в редакции «Красной Армии» занял, а теперь еще и «Теркина» под своей фамилией публикуешь на болгарском языке!»)

Я вновь уехал в войска, и в Воронеж попасть больше не удалось: началось отступление — до Волги. Твардовский из Воронежа отбыл на Западный фронт. Потом мы встречались не раз, в мирные времена даже соседствовали в дачном поселке Внуково, но, ограничив свои воспоминания о Твардовском первым годом войны,, когда мы находились в одном «боевом расчете», я не буду выходить за рамки этого времени.

Это был год фронтового товарищества.

1977

ДУМКА



...Осенью сорок первого, во время войны, я вместе с группой украинских писателей в редакции газеты «Красная Армия» впервые встретился с Александром Твардовским. До этого я его не видел, но хорошо знал и его стихи, и поэму «Страна Муравия», которая всеми своими мыслями, всем строем своим и звучанием была мне близка.

Я увидел высокого красивого человека с голубыми, по-детски чистыми глазами. В нем угадывался волевой, твердый характер, который, к сожалению, не всегда дается талантливым людям. Еще до войны я начал переводить «Страну Муравию», но потом пришли фронтовые дни, и перевод остался незаконченным.

Нас сроднили холодные осенние ночи сорок первого, когда мы отступали из Львова, Тернополя и Киева. Эти тревожные ночи, эти фронтовые солдатские траншеи во время бомбежек, вконец разбитые дороги, где застревали даже танки. Мне не забыть их никогда...

Мы отходили из Прилук на Пирятин, Лубны и Полтаву, а немцы наседали нам на плечи, и фашистские «кукушки», укрывшись в ветвях сосен и тополей, стреляли нам в спину. Нелегкие были эти дороги. Мы делились тогда с Александром Твардовским последним куском хлеба, вместе грелись у солдатских костров, и осеннее ненастье не раз заставало нас под одной шинелью.

Когда мы стояли под Валуйками, мне по заданию редакции надо было ехать на переправу. Дорога предстояла нелегкая. Мы горячо, как братья, распрощались с Твардовским. У меня не было тогда ни плащ-палатки, ни каски, только солдатская гимнастерка и полинявшая от дождей шинель.

— Что бы тебе подарить на дорогу, Андрей? — сказал Александр Твардовский. Он готов был отдать мне все, что при нем было.

Мигом сбегал в комнату и принес подушечку — думку, как называют ее в народе.

— Возьми, Андрюша, эту думочку, она тебе пригодится. Она счастливая, я придумал на ней немало хороших стихов,— сказал он сердечно.

Помню, той же осенью сорок первого мы сошлись как-то в крестьянской хате. Тут были писатели Олекса Десняк, Анатолий Шиян, Сергей Воскрекасенко, Александр Довженко, художник Пустовойт и я. Позже зашел и Твардовский. По правде говоря, нам всем тогда было невесело. За окнами играла солдатская гармонь. Она так хорошо, так сердечно пела о наших днях, а дни эти были не слишком-то легки...

Тут Твардовский сказал:

— Вот пишу сейчас «Василия Теркина». Не знаю, что из этого выйдет. Может, солдатский анекдот... А мне бы хотелось показать такого солдата-жизнелюба, который в трудные минуты, как этот гармонист, согревает людям душу. Прочитай, Андрюша, первую главу, только не смейся,— сказал он с присущей ему скромностью.

В тот же вечер я прочитал первую главу поэмы и увидел, что это начало большого народного лиро-эпического произведения. И когда назавтра он спросил меня: «Ну как?» — я бросился ему на шею и горячо расцеловал.

Его человечность, его чуткость по отношению к людям я замечал всегда, но особенно запомнился мне один случай. Уже после войны он зашел ко мне в Москве в гостиницу, где я тогда временно жил, и осторожно сказал:

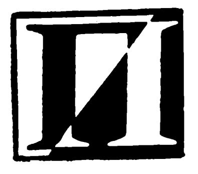
— Андрюша, тебе надо ехать в Киев. Мать тяжко захворала.

Я еще не знал, что матери уже не было в живых, но навсегда благодарен Александру Трифоновичу за то, что он не отходил от меня всю ночь и унимал мою тревогу, а в пятом часу утра отвез на Внуковский аэродром и отправил в Киев.

Я посвятил ему поэму, назвав ее «Послание Александру Твардовскому».

1973

В ФЕВРАЛЕ СОРОК ВТОРОГО



амять человека не вечна, она не может сохранить все, даже в свое время сильно волновавшие его, встречи. Но есть такие, что запоминаются в подробностях на всю жизнь. Для меня это — фронтовые встречи с Александром Твардовским. Их бережет не только память. У меня сохранилось много дорогих реликвий, в том числе и первое издание «Василия Теркина» с автографом А. Твардовского.

В память о первой нашей встрече, которая произошла в феврале 1942 года на Юго-Западном фронте, Александр Трифонович на подаренной мне книжке дописал следующие строки:

Фронт налево, фронт направо,
Поперек страны-державы,
И в февральской вьюжной мгле
Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

И после этих строк вновь поставил свою подпись. Тогда же он рассказал мне историю создания «Василия Теркина». Она была самым тесным образом связана с нашим Юго-Западным фронтом. То, о чем я расскажу, было написано еще несколько лет тому назад, при жизни поэта. Как-то я зашел к нему в редакцию «Нового мира» и подарил ему свою документальную повесть «Герои не умирают». Тогда же я сказал Александру Трифоновичу, что работаю над фронтовыми дневниками и хочу подробно рассказать о его приезде в Горьковскую дивизию, о пребывании в 636-м полку.

— Что же от меня требуется? Согласие? — спросил он.

— Да,— ответил я.— Хочу написать кое-что и о том, как появился на свет «Василий Теркин». С ваших слов, конечно. В «Ответе читателям «Василия Теркина» обойдены отдельные интересные моменты.

— Что имеется в виду?

— Причины отъезда с Юго-Западного фронта.

— Обо всем не напишешь, дорогой,— улыбнулся Александр Трифонович,— и без того «Ответ...» получился длинный. Да, настроение тогда было у меня дрянное. Я искал себя, в том числе и в вашем полку,— после небольшой паузы сказал Твардовский.— Пиши, с удовольствием прочитаю, а разногласия уладим...

Я написал. Будучи в Москве, позвонил Твардовскому: сможет ли найти время, чтобы прочитать небольшой материал? Я объяснил, что если он не станет почему-либо возражать, то обязательно включу его в свою новую книгу.

— Мне хочется прочитать ее всю. Может быть, и мой совет пригодится,— ответил поэт.

Он просил занести рукопись или переслать. Я очень сожалею, что мне так и не удалось этого сделать.

В конце января 1942 года наш полк занимал рубеж обороны юго-западнее железнодорожной станции Щигры. Штаб полка стоял в крупном населенном пункте Сокольья Плота, примерно в двух километрах от переднего края. На этом рубеже мы перешли к обороне и успели основательно окопаться. Шли бои местного значения.

В полк часто приезжали из армии и с фронта. В один из вьюжных февральских дней позвонил комиссар дивизии Олейник:

— У нас гости и хотят приехать к вам. Но мы сначала решили собраться у нас. Приезжайте пока к нам, а потом решим...

Подъехали мы последними, нас поджидали, чтобы вместе сесть за праздничный стол в честь годовщины Красной Армии. Мы представились.

— Твардовский,— протянул руку один из гостей.— Из фронтовой газеты «Красная Армия». Решили приехать к вам на праздник...

— Очень приятно,— ответил я.— Такие гости всегда нам приносят радость.

— Но газетчики иногда могут причинить и беспокойство,— улыбаясь, заметил Твардовский.

Александр Трифонович, видимо подумав, что его фразу можно истолковать по-другому, обнял меня за плечо и сказал:

— Это я в шутку.

Об этом периоде своей работы во фронтовой газете впоследствии поэт писал: «В качестве спецкорреспондента, еще точнее сказать — в качестве именно писателя (была такая штатная должность в системе военной печати), я прибыл на Юго-Западный фронт, в редакцию газеты «Красная Армия», и стал делать то, что делали тогда все писатели на фронте.

Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, заметки — всё».

Я знал, конечно, Твардовского, читал его и в газетах. Но поскольку случилось так, что в разговоре речь все время шла о газетчике, то комиссар дивизии Олейник решил внести ясность:

— Александр Трифонович не просто газетчик. Он известный советский поэт.

— Где уж там известный,— усмехнулся Твардовский и пятерней сгреб вверх свои длинные, распадающиеся в разные стороны русые волосы...

Подошел командир дивизии полковник Анашкин, предложил сесть за стол.

Ужин продолжался до глубокой ночи. Было произнесено немало торжественных тостов, но затем речи и обращения стали более непосредственными, теплыми и шутливыми. Александр Трифонович, которого я знал как автора «Страны Муравии», оказался компанейским человеком, обаятельным и простым. Буквально через полчаса скованности как не бывало. Мы наперебой стали просить его прочитать что-нибудь из своих стихов

— Согласен,— улыбнулся поэт.— Но что именно?

— Что-нибудь из «Страны Муравии»,— попросил я.

И вот в чисто выбеленной крестьянской хате, где за столом сидели воины в видавшей виды полевой форме, раздался звонкий голос поэта:

С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон,
И сверху — облака...

Твардовский читал один отрывок за другим, ему аплодировали; читал еще, его просили снова.

— А хотите из фронтовых? — внезапно спросил он, вдохновляясь.

Все хором выразили согласие: «Давайте, давайте фронтовые!» Тогда впервые услышал я глубоко взволновавшие меня строфы, которые в дальнейшем вошли в замечательную поэму «Василий Теркин»...

Когда стали разъезжаться, я попросил Твардовского приехать в 636-й стрелковый полк. К моей радости, он ответил:

— Я собираюсь к вам и буду обязательно, но сейчас начальство не отпускает. Даю слово утром сбежать к вам, на передовую, к бойцам. Договорились?

— Хотите, приеду за вами? — с готовностью предложил я.

— Не нужно беспокоиться, думаю, и Федор Иванович Олейник мне поможет, а возможно, и сам поедет утром. Прямо после завтрака.

Вспоминая о периоде своей работы в газете «Красная Армия», поэт писал: «...Чувство неудовлетворенности всеми видами нашей работы в газете постепенно становилось для меня личной бедой. Приходили мысли и о том, что, может быть, не здесь твое настоящее место, а в строю — в полку, в батальоне, в роте, где делается самое главное, что нужно делать для Родины».

Об этом мы разговорились в первый же вечер его пребывания в нашем полку. Он приехал во второй половине дня. Поздоровавшись, тут же попросил отправить его в батальон, где «поинтереснее, неспокойно, идет настоящая война». Командир полка Джахуа спокойно ответил:

— Сутки вы пробыли в штабе дивизии, полдня пробудете в штабе полка и так дойдете до отделения. Куда вам торопиться, дорогой Александр Трифонович!

После такой речи Джахуа поэт поднял обе руки и шутя заявил:

— Я сдаюсь: «пленник кавказцев».

Под вечер противник начал массированный обстрел села Соколья Плота, где размещался штаб полка. Я предложил Александру Трифоновичу перейти в хорошо оборудованную землянку. Он согласился, но лишь с условием, что туда пойду и я. Пришлось объяснить ему, что при сильных артиллерийских обстрелах весь штаб переходит в землянки и ничего зазорного в этом нет.

В углу землянки мигала коптилка, сделанная из артиллерийской гильзы. Запах керосина мешался с дурманящим ароматом сена, и это создавало необычайный фронтовой «букет». Мы долго не спали. В начале обстрела в землянку пришел командир полка, но когда все затихло, он ушел к телефонам, а я остался с Александром Трифоновичем. В этот вечер я узнал его ближе. Твардовский рассказывал о чувстве неудовлетворенности, вызванной работой в газете.

— Мне кажется, в тысячу раз лучше быть в полку, батальоне, роте, с людьми, которые непосредственно куют победу, чем коротать свои фронтовые будни в редакции. Правда, газетчики делают большое и благородное дело. Им тоже часто приходится рисковать жизнью. Но мне лично не хочется повторять уже пережитое на финской войне. Знаете, я ведь буквально бежал из редакции, и не хочется возвращать-

ся туда. Вот ищу, ищу. А что? Даже точно не смогу определить...

Помолчали. Мне не хотелось нарушать ход его мыслей. После небольшой паузы поэт заговорил вновь.

— Может быть, среди бойцов я и найду ответы на мои вопросы.

— Смотря какие,— вырвалось у меня.

— Это тоже верно...

Александр Трифонович опять заговорил о чувстве творческой неудовлетворенности.

— Скоро уже год, как воюем. А что серьезное я написал для фронтового читателя? Стихов написал немало, но если они мне самому не по душе, то солдату в окопах тем более... Все это и угнетает меня. Да и у нас в редакции обстановка... Ребята хорошие, но с редактором у меня что-то не ладится.

Вернусь в редакцию — непременно в Москву уеду. Буду проситься на другой фронт. Если представится возможность, попытаюсь осуществить самую заветную свою мечту. Я ведь с нею уже несколько месяцев ношусь.

Немного помолчав, Твардовский закончил, растягивая каждое произнесенное слово:

— Хочу написать книгу про простого бойца. Дома у меня есть некоторые наброски еще с финской войны. Но сегодняшний наш боец сильно отличается от того, прежнего... А вот чем — об этом еще надо думать и думать.

С Александром Трифоновичем мы подружились. Он уже не торопился уезжать. Побывал в батальонах, ротах, беседовал с бойцами, с котелком подходил к солдатской кухне, в окопах прислушивался к незамысловатым солдатским шуткам, метко брошенной фразе.

Однажды я оставил Твардовского в первом батальоне, которым командовал капитан Вадим Москвитин, а сам направился во второй батальон, где к вечеру намечалась частная операция по захвату безымянной высоты. Я попросил Москвитина, чтобы он или его комиссар Дмитрий Саенко проводили поэта до штаба полка. Вадим заверил, что «головой ручается».

Операция началась с наступлением сумерек. Бой был в разгаре. Я находился на наблюдательном пункте комбата Середы. Вскоре подъехал и командир полка. Не обращая внимания на сильный артиллерийский огонь по площадям, Джахуа добрался до нас и, увидев меня, спросил:

— А где Твардовский?

— У Москвитина. А разве он еще не вернулся в штаб полка? — вырвалось у меня.

Пока мы связывались с Москвитиным, из темноты выползли две фигуры — это были Саенко и Твардовский.

— Это нечестно, друзья,— недовольно сказал поэт,— меня в штаб, а сами на передовую.

— Разберемся потом,— бросил Джахуа,— а сейчас давайте в укрытие, обстрел усиливается.

Уже второй час шел бой, но ожидаемых результатов мы не добились. Джахуа нервничал, что-то бормотал в адрес комбата: мол, он не так все организовал, как нужно. Командир этого батальона старший лейтенант Григорий Алексеевич Середа был храбрым человеком. Но что поделаешь, если враг отчаянно сопротивляется?

— Разрешите, товарищ подполковник, я сам,— обратился Середа к командиру полка.

И он со своим ординарцем тут же скрылся в темноте. Вскоре роты поднялись в атаку. Наши бойцы ворвались в окопы противника. Высота была занята. Раненный в ногу Середа приказал ординарцу бегом вернуться на КП и доложить о выполнении боевой задачи. Пока санинструктор Надя Кутаева перевязывала рану, немцы перешли в контратаку и потеснили одну из наших рот. Середа с Надей чуть было не попали в плен. Девушка не растерялась, по глубокому снегу, ползком, на своих хрупких плечах вынесла двадцатидвухлетнего крепыша комбата. Потом Игорь — так мы звали Середу — не раз повторял:

— Я, Надюша, как бы вновь родился. А ты хоть и моложе меня, но мне вроде матери.

Твардовский остался с нами допоздна и был очень взволнован подвигом Нади Кутаевой. Он написал о ней очерк, который был напечатан во фронтовой газете.

На другой день вечером мы, уставшие, вернулись из батальона старшего лейтенанта Даниеляна и тут же свалились на сено, покрытое плащ-палаткой. Долго молчали. Потом Александр Трифонович привстал, приблизился к коптилке в углу землянки и стал что-то записывать в блокнот. Я молча наблюдал. Изредка он уточнял у меня кое-какие детали из своих дневных впечатлений. И вдруг заговорил:

— Кто бы мог подумать, что вчерашний учитель математики сегодня будет батальоном командовать? Солидный человек Даниелян. Меня поразило и другое: русская балалайка у него в землянке. Оказывается, он сам играет на ней армянские мелодии. Правда, здорово?

— Самсон Карапетович хорошо играет на таре. Есть такой восточный инструмент. Но где его взять? К тому же тара очень громоздкий инструмент для фронтовика. Вот и приспособился к балалайке.

Александр Трифонович подружился с большим кругом людей полка. Бойцам и командирам очень хотелось, чтобы он остался в полку как можно дольше. Но Твардовский го-

ворил, что ему непременно надо ехать в редакцию, а затем в Москву, где у него есть неотложные дела.

Особых сувениров у нас не было, и перед отъездом мы решили подарить из наших трофеев зажигалку, карманный фонарик и браунинг. Александр Трифонович приехал в полк в довольно поношенных сапогах. К концу его пребывания у нас они стали совсем разваливаться. Решено было сшить Твардовскому новые сапоги. Тот противился, говорил, что все это ни к чему, но мы все-таки настояли.

Джахуа вызвал полкового сапожника Гургена. Он был армянин, но родом из Тбилиси и потому хорошо говорил по-грузински. Чтобы гость не понял, о чем идет речь, Джахуа по-грузински спросил, есть ли кожа на новые сапоги. Гурген ответил, что ни хрома, ни шевро и в помине нет, зато можно сшить летние сапоги из брезента, на кожаной подошве. Сложив пальцы и поднеся их к губам, он дал понять, что получится конфетка. Джахуа что-то произнес. Гурген тут же исчез из хаты и явился буквально через несколько минут с парой сапог, которые уже побывали у него в ремонте. Он попросил гостя временно переобуться в них. Даже не сняв размера, он через два дня принес Александру Трифоновичу изящно сшитые брезентовые сапоги и хорошо отремонтированные старые. Твардовский долго спрашивал, кто чинит в полку обувь, есть ли еще мастера, кроме Гургена. Позднее, когда появилось стихотворение Твардовского «Армейский сапожник», нам показалось, что многие черты своего героя поэт позаимствовал у нашего Гургена.

* * *

Хочется думать, что пребывание поэта в 636-м полку сыграло немаловажную роль в судьбе Василия Теркина. Это видно и из автографа Александра Трифоновича на подаренном мне экземпляре книги: «...на память об одной из лучших встреч моей жизни» — и из тех строк, которые я привел в начале воспоминаний.

1972

ОЛЬГА КОЖУХОВА

ОДНАЖДЫ НА ПУТИ



ело было на Смоленщине, под Ленином, осенью 1943 года. Ветер носил над крышами домов мокрые желтые листья. Уже смеркалось. Было холодно и уныло, когда к нам, в комнату литсотрудников, вошел армейский поэт Василий Глотов и позвал меня к главному редактору. Я накинула шинель, и мы пошли в дом, где жил наш «шеф» Николай Дмитриевич Бочин. Здесь, в полутемной комнате, при свете керосиновой лампы, меня и познакомили с высоким, широкоплечим человеком в военной форме. Сейчас уж и не помню, какие у него были на погонах знаки различия. Как-то это в нем было не главное. Главным было лицо, очень сдержанное, округлое, русское, с живыми серо-голубыми глазами и мягкой, словно смущенной улыбкой. Эта мягкость, столь необычная в нашей армейской обстановке, меня как-то странно тронула: я давно от нее отвыкла.

Разговор поначалу был несколько скованным, не общим, пока кто-то не попросил Александра Трифоновича почитать нам новые свои стихи и он не чинясь согласился. Мы сидели вокруг грубо оструганного стола в полутьме и под шорох дождя за окном затаив дыхание слушали «Теркина». Александр Трифонович читал, чуть отклонившись от желтого круга лампы в тень. Читал негромко, глуховатым, простуженным голосом.

Потом он рассказывал что-то. Потом читал еще и еще. А потом спел знаменитую песенку про шинель:

Упадешь ли, как подкошенный,
Пораненный, наш брат,
На шинели той поношенной
Снесут тебя в санбат.

А убьют — так тело мертвое
Твое с другими в ряд
Той шинелкою потертою
Укроют — спи, солдат!

С чем сравнить этот долгий, осенний, но пролетевший, как одно мгновение, вечер? С чем сравнить эту песню, знобящую душу? С чем сравнить поэта, который, как заблудившееся небесное светило, вдруг упал к нам, словно с неба, в наши осенние будни?

Среди приостановившегося наступления, дождей, грязи, сырости, среди скуки редакционной жизни, когда изучена каждая шутка и каждый жест соседа, когда знаешь наизусть все тирады редактора и когда более всего ждешь наступления, вдруг пришел настоящий поэт, напоил всех живою водой, встряхнул, ободрил.

С удивлением и даже некоторой боязнью смотрела я в тот вечер на открытое русское лицо поэта, на светлые, есенинские волосы, на мягкую, застенчивую его улыбку. Как он просто сказал!.. Удивительно, как все просто, а трогает! Разве я смогу когда-нибудь так просто сказать? Говорить просто — это ведь не всякий умеет.

В ту осень мне плохо писалось, и Твардовский на этот счет сказал так:

— Что со стихами заминка, это хорошо. Это всегда бывает перед тем, как человек начинает новую полосу работы, это преодоление барьера, иначе говоря,— рост. Правда, настроение бывает тяжкое, не верится, что ты способен на что-то, но такова уж наша доля. Не насилуйте себя, пусть даже некоторое время не будет стихов — тем лучше пойдет после...

Эти слова для меня тогда были откровением.

1963

Н. БАКАНОВ

ПО МИНСКОМУ, НА ЗАПАД



вадцать третьего — двадцать четвертого июня 1944 года наши войска перешли в решительное наступление. Белорусская операция проходила в обстановке стремительного движения на запад огромной массы советских войск, окружающих и уничтожающих войска противника.

Для «Красноармейской правды» наступила напряженная пора. Освобождение родной земли от фашистских оккупантов было главной темой газеты. Все писатели и журналисты решали одну задачу — добросовестно и оперативно информировать читателей газеты о событиях на фронте.

Оперативная группа редакции с начала наступления выдвинулась ближе к войскам. Хорошо обеспеченные транспортом, постоянной связью с политуправлением и штабом фронта, мы вели всю необходимую работу в войсках и в освобожденных городах. Часто случалось так, что вернувшийся вечером из командировки товарищ ночью готовил к печати добытый материал, а на рассвете мчался в войска на новое задание.

Только за первые десять дней наступления наши войска освободили Витебск, Оршу, Борисов, Минск. За это время оперативная группа редакции пять раз переместилась на новое место, а группа «ночников» вместе с поездом-типографией по-прежнему была привязана к железной дороге и отставала от войск на 150—200 километров.

2 июля 1944 года стало известно, что советские войска завершили окружение 4-й немецкой армии восточнее Минска. До освобождения столицы Советской Белоруссии остались считанные часы.

Едва занялось утро, мы с Твардовским отправились в

очередную поездку. Наш новенький «виллис» проворно выбрался из деревни Куровщина и свернул на раздавленный гусеницами танков проселок, ведущий к автостраде Москва — Минск. Возле небольшой деревушки нас остановила группа крестьян. Сильно возбужденные, они рассказали, что ночью через деревню прошла большая группа немцев.

Твардовский попытался выяснить, что значит «большая группа», но это ему не удалось. Одни говорили, что гитлеровцев было больше тысячи, другие называли сотни.

Не дождавшись окончания этого спора, мы выбрались на автостраду и помчались на запад.

Невдалеке от Минска мы увидели идущий с юга связной самолет «ПО-2». Он совершал какие-то причудливые пируэты. С востока к нему тянулись трассы светящихся пуль. Но вот самолет резко снизился и приземлился возле автострады.

Через несколько минут молоденький, изрядно взволнованный летчик рассказал нам, что прилетел он с полевого аэродрома вместе с каким-то «сумасшедшим военным корреспондентом».

— Этот хлюст в золотых очках обманул нашего командира полка,— говорил летчик, внимательно осматривая крылья самолета, продырявленные пулями и осколками.— Он клялся, что Минск уже освобожден, командир и поверил, приказал мне его доставить. Вот и доставил. Сколько пробоин...

— Куда же он девался?

— На попутной машине к Минску уехал. Даже спасибо не сказал.

Значит, северный край «котла», в котором заперты окруженные немцы, не так уж далеко?

Следом за тягачами, тащившими противотанковые пушки, мы как-то незаметно въехали в Минск. На западной окраине еще раздавались автоматные очереди.

Город был неузнаваем. К старым разрушениям, которые я видел в Минске в первые дни войны, прибавилось много новых. Дзоты на перекрестках, баррикады, таблички с немецкими надписями, картофельные грядки на пепелищах трехлетней давности, дым от пожаров — вот как выглядел город.

Его главные улицы, по которым на запад шли автомашины, орудия и танки, были запружены горожанами. Многие держали в руках подносы с хлебом и солью, лукошки с вареной бульбой, ведра с водой — и кормили, и поили солдат.

Лица у людей были счастливые, радостные, и Александр Трифонович глядел на них, говорил с ними, радость этих людей помогала ему справиться с тяжелым впечатлением от картины разрушений.

С большим трудом пробрались мы в центр, к зданию пра-

вительства БССР. На высокой каменной трибуне, мимо которой до войны проходили торжественным маршем войска минского гарнизона, возвышался красный стяг нашей родины. Вокруг трибуны, словно пчелы, роились военные корреспонденты.

Побеседовав с товарищами, мы узнали, что «сумасшедший», прилетевший на связном самолете,— корреспондент «Известий» Евгений Кригер.

Твардовский долго и подробно разговаривал с командиром 11-го минно-саперного батальона майором Малаховым. Его воины уже трудились в огромном здании правительства Белоруссии и в Доме Красной Армии, освобождая их от мин и фугасов замедленного действия. Майор пригласил нас заехать к нему в часть, и мы обещали это сделать через несколько дней.

Вскоре небольшая площадь опустела. Корреспонденты рассеялись, как дым. Многие помчались на ближайшие аэродромы, чтобы вовремя поспеть в Москву.

Мы не могли соревноваться в быстроте с военными корреспондентами центральных газет: кроме личных впечатлений нам нужны были рассказы непосредственных участников уличных боев в Минске, имена отличившихся воинов. С этой целью мы побывали в различных районах города. Наконец нам повезло. На большой площади, возле здания оперного театра, собрались воины стрелковых и танковых подразделений.

Нам с Александром Трифоновичем нелегко было записывать рассказы воинов. Вместе с минчанами они окружили нашу машину плотным кольцом и хотели, чтобы мы обязательно написали в газете о стрелках батальона лейтенанта Реховского, которые умело выкуривали противника из укрытий, об автоматчиках лейтенанта Кисленко, захвативших в плен несколько десятков вражеских солдат и офицеров. Назывались и другие фамилии командиров и подразделений. отличившихся в боях.

Обратный путь был долгим и нелегким. Поезд-типография, куда мы спешили с материалами об освобождении Минска, все еще оставался «в районе Смоленска». До редакции по прямой было 250 километров. Под палящим солнцем, в клубах пыли, мы объезжали взорванные мосты и еще не снятые саперами минные поля, терпеливо дожидались очереди для проезда по шоссе, с обеих сторон забитом встречными потоками автомашин, танков, орудий, артиллерийских и инженерных парков. Наконец наш шофер ловко пристроился к идущей в Смоленск колонне санитарных машин с ранеными воинами. Дело пошло гораздо быстрее.

Мы с Твардовским договорились, что он напишет очерк «В освобожденном Минске», а я — статью «Блестящая побе-

да». Поздно вечером, усталые, голодные, насквозь пропыленные, приехали мы в поезд-типографию. Номер газеты за 4 июля уже верстался. Быстро умылись, поели, принялись за работу.

Когда материал был сдан в секретариат, я собрался обратно в Куровщину, где находилась оперативная группа редакции, а Твардовского убеждал остаться здесь, отдохнуть. Но он предпочел поехать со мной.

«Домой» мы приехали в двенадцать часов ночи. За день проехали 532 километра. Восемнадцать часов почти не слезали с машины с очень жесткими сиденьями. Два дня после этого писали и принимали пищу лежа на животе.

Несколько дней спустя Твардовский написал стихотворение «Минское шоссе». В нем есть такие строки:

Идет, вершится суд суровый.
Священна месть, и казнь права.
И дважды, трижды в день громово
Войскам салюты шлет Москва.
И отзвук славы заслуженной
Гудит на тыщи верст вокруг,
И только плачут наши жены —
От счастья так же, как от мук.

Во время летнего наступления Твардовский целиком включился в работу отдела «Фронтовая жизнь». Почти ежедневно он выезжал в действующие части и освобожденные города, часто выступал в газете с публицистическими и оперативными материалами.

Ночь с 5 на 6 июля провели в белорусском городе Логойске. Попали мы туда, отыскивая очередную стоянку для оперативной группы редакции. Городок пострадал сравнительно мало. Сгорело лишь несколько домов да была взорвана плотина небольшого пруда.

Уже стемнело, когда наша машина остановилась у здания, занятого партизанским госпиталем. На широком крылечке большого деревянного дома сидела молоденькая девушка в кожаной куртке, с самозарядной винтовкой Токарева в руках. Мы поздоровались, присели рядом, немного помолчали, прислушиваясь к тихому журчанию протекавшей рядом речушки. Девушка-партизанка рассказала, что зовут ее Костей,— это, конечно, не настоящее имя, а партизанская кличка. К партизанам ее забросили на самолете после окончания курсов подрывников, воевать пошла добровольно.

Долго и подробно рассказывала нам «Костя», как она рапидами подрывала немецкие эшелоны, как ее дважды ранили и какие замечательные люди белорусские партизаны. Я больше молчал, слушал вопросы Твардовского и ответы девушки, на счету которой было шесть немецких эшелонов, пущенных под откос.

Александр Трифонович написал рассказ «Костя». Он целиком основан на подлинном материале.

В Логойске у нас побывали писатели Илья Эренбург и Петр Павленко. Часто бывал в редакции литовский писатель Пятрас Цвирка. Он подружился с Твардовским и все время, пока редакция находилась в Литве, помогал нам своими советами. Спустя несколько дней Пятрас свозил нас с Твардовским на родину, познакомил с родителями, жившими на том самом хуторе, где Цвирка написал свои лучшие произведения.

11 июля возле города Вильнюса, где шли упорные уличные бои, мы разыскали штаб командира механизированного корпуса Героя Советского Союза генерала Обухова. Размещался он в небольшой роще на окраине столицы Литвы.

На другой день мы несколько раз выезжали на бронетранспортере в различные районы Вильнюса и видели, как смело действовали стрелки и артиллеристы, очищая от противника дом за домом, квартал за кварталом.

13 июля 1944 г. Вильнюс был полностью освобожден от немецких войск.

1973

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

В ТЯЖКИЙ ЧАС ЗЕМЛИ РОДНОЙ



есной сорок второго года Политуправление Западного фронта обосновалось вблизи станции Обнинская, заняв несколько благоустроенных зданий. Некогда здесь был интернат для испанских детей. Но война докатилась до этих мест, Обнинская оказалась в тылу у немцев, и они разместили здесь свой лазарет. Поблизости от усадьбы возникло просторное кладбище — хоронили умерших от ран.

Поезд-типография «Красноармейской правды» нашел себе приют на железнодорожной ветке, уходившей в глубь ближнего леса. В мае, когда листва была жидковата и лесочки, рощицы просматривались, на крыши вагонов набрасывали для маскировки свежесрубленные березки. В середине лета в этом уже не было нужды — поезд оказался под зеленым шатром ветвей, сходящихся над узкой просекой, по которой тянулись рельсы.

Я встретил Александра Трифоновича Твардовского возле бревенчатого дома, занятого отделом кадров Политуправления. Он прибыл с Юго-Западного фронта в «Красноармейскую правду» несколько дней назад и еще плохо знал дорогу; я провел его к поезду кратчайшим путем...

Вот в этом поезде посчастливилось мне слушать первые главы «Василия Теркина». Меня ошеломила сила поэмы, я смотрел на лица товарищей — они испытывали такое же потрясение. Нас объединяла счастливая причастность к поэзии. А читал Твардовский вдохновенно и с плохо скрытым волнением — как примут «Василия Теркина» малознакомые фронтовые журналисты?

С первых месяцев войны «Красноармейская правда» печатала раешник о похождениях смекалистого, смелого и

умелого бойца Гриши Танкина. Наверно (думал я до того, как началось чтение), этот Вася Теркин пришел на Отечественную войну с обновленным багажом солдатских придумок и прибауток, наверно, Вася Теркин литературный брат нашего Гриши Танкина...

Тем больше обрадовало знакомство с главами новой поэмы «Василий Теркин». Поэт счастливо обманул мои ожидания, он познакомил с героем, который стал моим надежным фронтовым другом «с первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной...».

Когда он читал печальные строки, то сам был подвластен их сдержанному трагизму; когда Василий Теркин шутил, интонация, улыбка, жест чтеца были пронизаны юмором.

Первые главы поэмы появились в «Красноармейской правде» в дни, когда фашисты вышли к Сталинграду. Твардовский ходил мрачный. Мы редко видели его улыбающимся, а тем более смеющимся. К слову сказать, к шуткам, остротам он был очень требователен. Но добротный юмор находил в нем благодарного ценителя...

Впятером спали мы в брезентовой палатке. Прежде этим брезентом накрывали бочки с мазутом, и жирный запах асфальта начисто забивал ароматы трав и полевых цветов, подступавших к пологу палатки. После одного особенно знойного дня спать было совершенно невмоготу; лежали голые, обливаясь потом. Твардовский первым вылез из палатки — размяться на поляне. Следом за ним выползли и остальные.

А нужно сказать, что в штабе фронта, а значит, и в редакции, соблюдались строгие правила маскировки. В небе частенько висела немецкая «рама»; уже тогда этот самолет-разведчик солдаты называли «ябедник», «стукач», «табельщик». Нас обязали ходить лесом, не протаптывая дорожек через лужайки.

На полянке дышалось легче. Но не успели мы подышать прохладой, как с опушки леса раздался грозный окрик:

— Кто там разгуливает по поляне? Кто нарушает приказ?

Это шел от поезда полковник М., добрейшая, но при этом уставная душа. Полковник подошел ближе, посмотрел на нас при бледном свете луны и растерянно спросил:

— Кто такие?..

— Это мы, товарищ полковник,— отважно признался Твардовский.

— А почему голые? — спросил полковник М.

— Мы не голые,— возразил Слободской,— это у нас форма такая, товарищ полковник. Мы лунатики...

Первым не удержался от смеха Твардовский. До чего он заразительно смеялся!

— А-а-а...— неуверенно протянул полковник М.— Тогда гуляйте...

Неуверенной походкой он обошел поляну по кромке и скрылся в березняке, подсвеченном молодой луной.

Наутро, когда я проснулся, Твардовского в палатке уже не было. Обычно он уходил в ближний лесок, усаживался на пень или поваленное дерево, клал на колени планшет и сосредоточенно работал. Позже я видел его гуляющим всегда в одиночестве или сидящим в зеленом закутке на опушке леса, будь то на Смоленщине, в Белоруссии или Литве.

И в то памятное утро Твардовский явился к порции пшенной каши и задымленному чаю после долгой прогулки и усердной работы. Не помню, ему принадлежали эти строчки или остались нам в наследство от Алексея Суркова, переведенного от нас в «Красную звезду», но строчки имели хождение в редакции, и Твардовский тоже их не раз повторял:

Такова моя традиция —
По утрам привык трудиться я.

Я не был посвящен в литературные интересы и планы Твардовского. Но помню — однажды он заинтересовался рассказом о моей поездке в семидневный дом отдыха, устроенный для старожилов переднего края, для разведчиков.

Воспользовавшись затишьем на фронте, такой дом отдыха открыли в дивизии, где комиссаром был Балашов. Под дом отдыха отвели избу-пятистенку на околице деревни, в нескольких километрах от передовой. Боец мог после бани отоспаться в тепле, на чистой койке, питаться не всухомятку и не когда случится, а согласно распорядку дня, досыта курить, не пряча цигарки в рукав, гулять в полный рост по деревне, которая не просматривается и не простреливается противником. По просьбе Твардовского я дал ему координаты — номер дивизии и название деревеньки, утонувшей в снежных сугробах. По возвращении Твардовского в редакцию (в те дни стояли лютые морозы) я спросил, доволен ли он поездкой, понравилась ли ему эта затея с домом отдыха для бойцов.

Он ответил:

— Хорошо. Немножко б хуже, верно, было б в самый раз...

Может, именно потому, что я имел косвенное отношение к главе «Отдых Теркина», он первому прочел ее мне.

В той избе-пятистенке стояли семь коек, об отдыхающих бойцах заботилась очень милая, но откровенно некрасивая

санитарка из полкового медпункта. Какой, однако, эта санитарка была приветливой и ласковой хозяйкой! Она отчетливо возникла перед глазами, когда я услышал строки;

Теркин смотрит сквозь ресницы —
О какой там речь красе:
Хороша, как говорится,
В прифронтовой полосе.

Хороша при смутном свете,
Дорога, как нет другой...

Твардовский дочитал главу и, вопреки своему обыкновению, спросил:

— Ну как?

Я ответил рефреном из главы:

Ничего. Немножко б хуже,
То и было б в самый раз.

В «Красноармейской правде» глава «Отдых Теркина» была опубликована 13 апреля 1943 года.

С каждой новой главой росла популярность поэта в войсках фронта.

13 марта 1943 года, в день освобождения Вязьмы, мы долго колесили по городу. В первые часы Вязьма была безлюдна, мертва. Бродили саперы с миноискателями. В центре города мы увидели немецкое кладбище. Мертвецы там лежали по тридцать два в ряд, аккуратными шеренгами, будто кто-то муштровал их и после смерти. Немецкое кладбище — единственное место в городе, где можно было разгуливать не опасаясь мин. Вот почему бойцы 222-й дивизии расположились здесь на привал, грелись, сушили сапоги, валенки, портянки.

Твардовский долго, сосредоточенно смотрел, как, потрескивая, горят в солдатском костре березовые колья, жерди, дощечки. Потом он всю дорогу ехал молча.

Наша «эмочка» не раз застревала на разбитом шоссе, и, вытаскивая ее, мы чуть не по пояс вымокли в кюветах, выбоинах, которые оттепель превратила в глубокие лужи. Машина часто буксовала, мотор надрывался изо всех сил, и стало ясно, что не хватит горючего на обратный путь. Долго плутали по окраинам Вязьмы — где бы разжиться бензином? Заехали на пустующую нефтебазу — все бочки до одной были прострелены бронебойными пулями.

С трудом на задворках каких-то кирпичных амбаров нашли бензоцистерну авиационного полка. Твардовский остался в «эмке», а мы с подполковником Бакановым отправились на промысел.

Лейтенант в летном шлеме, с голубыми петлицами на

шинели невежливо отказал — он не имеет права отпускать бензин всякому, кому не лень его просить. Не разжалобили лейтенанта ни мой просительный тон, ни угроза Баканова, что из-за его формализма «Красноармейская правда» выйдет завтра без корреспонденции из освобожденной Вязьмы.

Очевидно, Твардовский услышал разговор. Он раздраженно открыл дверцу «эмки» и поторопил нас:

— Поехали! Еще унижаться...

Баканов направился к машине, а я не отказал себе в удовольствии упрекнуть напоследок лейтенанта:

— Эх, формалист... Да знаете, кому вы пожалели бензин? Василию Теркину! Это ведь он в машине сидит.— Я заспешил к своим товарищам.

— Твардовский?! — встрепенулся лейтенант.— Почему же вы, товарищ капитан, сразу не сказали?..

Я торопливо сел в «эмку», мы тронулись.

— Стойте! — донеслось вдогонку.

Лейтенант, сняв шлем, бежал за машиной, скользя по раскисшей дороге, отчаянно размахивая руками, чтобы не упасть в слякоть.

— Остановитесь! Я найду бензин! Стойте!

— Чего он хочет? — спросил Твардовский.

В двух словах я пересказал разговор с лейтенантом, уверенный, что Твардовский с удовольствием и, может быть, чуть-чуть снисходительно посмеется, мы остановимся и зальем бак. Но Твардовский жестко приказал шоферу Пронину:

— Не останавливайся, Василий Иванович! Пусть подавится своим бензином. Казенная душа...

Лейтенант еще метров сто бежал за машиной, ноги его разъезжались, он лавировал между выбоинами, залитыми водой, брызги летели фонтаном. Он был убежден, что сидящие в машине его не слышат,— кто же уедет от бензина, который только что выпрашивал?..

Нам повезло, и при выезде из Вязьмы на Минское шоссе мы запаслись горючим в артиллерийском полку.

Я был уверен, что Твардовский, молча сидевший впереди, уже позабыл о неприветливом лейтенанте, как вдруг услышал:

— По лицу видно, что лейтенант этот сроду не летал. А небось получает летный паек номер пять...

Когда Твардовский сталкивался с неуважительным отношением к себе и к своим товарищам, с бездушием, формализмом, хамством, он отвечал молчаливым презрением, сдержанным негодованием. За три года не припомню случая, чтобы он невежливо разговаривал с подчиненными, с теми, кто был ниже его по званию.

Но вот в разговорах с начальством, когда имели место

несправедливость, бестактность, он своего недовольства не скрывал.

Нарочито резок был Твардовский с подполковником Д., который обследовал «Красноармейскую правду», когда поезд-типография стоял под Смоленском. В план инспекторской поездки подполковника Д. входила и беседа с Твардовским. Подполковнику Д. подчинялись все фронтовые писатели, но ему были чужды понятия «поэзия», «творчество», «вдохновение». Беседуя с Твардовским, подполковник Д. никак не мог взять в толк, что тот не составляет загодя ежемесячный план своей работы. Поначалу поэт терпеливо объяснил это обследователю, но тот не унимался, продолжал казенный допрос, а Твардовский не собирался пускать его в свою «творческую лабораторию», делиться самым для себя сокровенным. Кончилось тем, что подполковник Д. вынужден был покинуть землянку Твардовского в самом скоростном порядке: хозяин к тому моменту уже не стеснялся в выражениях, перестал придерживаться правил гостеприимства и вежливости.

Но все эти обследования имели место в дни, когда войска стояли в обороне или шли бои местного значения. А как только фронт приходил в движение и всех гнал на запад свежий ветер наступления, ох, как далеко позади оставались все недоразумения, игра самолюбия — далеко и в пространстве, и во времени.

Незадолго до освобождения Смоленска «Красноармейская правда» напечатала очерк «Два года спустя». Речь шла об освобождении деревень Клин, Починок, Натальино, Петуховка и селения Буда-Завод в верховьях Десны. Счастливый случай привел полки на те позиции и в те места, где они бились первой фронтовой осенью. Дорогой ценой заплатила тогда 268-я немецкая пехотная дивизия за свое продвижение на восток: на поле сражения осталось больше тысячи фашистов. Через два длинных года наши полки вернулись, заняли свои старые блиндажи. Бойцы и офицеры стали на постой в крестьянских хатах, где их узнавали хозяева.

В жестоком бою 28 сентября 1941 года пал смертью храбрых командир полка Мещеряков, общий любимец. Похоронили его тогда второпях: кругом гремел бой, который сам Мещеряков не успел довести до конца. Перед тем, как оставить Петуховку, прах Мещерякова перевезли дальше на восток, в селение Буда-Завод, и предали земле. Поставить памятник не успели, да это было бы и неосторожно — немцы могли осквернить могилу героя. Лишь два года спустя на могиле Мещерякова установили памятник и командиру воздали почести, каких он достоин.

«У могилы выстроился взвод автоматчиков из полка

Семенихина, сменившего Мещерякова,— сообщала газета,— и в скорбной тишине сентябрьского вечера прогремел трехкратный салют. Дула автоматов были обращены на запад, туда, где догорал закат. Салют прозвучал строго и торжественно, как присяга на верность, как клятва беречь доброе имя и честь дивизии...».

В тот день я подробно рассказал Твардовскому о траурном митинге в Буда-Заводе — не откликнется ли он на это событие? Материал в «Красноармейской правде» вдохновил его. Через несколько дней газета напечатала стихотворение «У славной могилы», оно заканчивалось такими строками:

. . . .
И целых и долгих два года
Под этой смоленской сосной
Своих ожидал ты с восхода.

И ты не посетуй на нас,
Что мы твоей славной могиле
И в этот, и в радостный час
Не много минут посвятили.

Торжествен, но краток и строг
Салют наш и воинский рапорт.
Тогда мы ушли на восток,
Теперь мы уходим на запад.

А речь в стихотворении идет о прославленной на Западном фронте 222-й стрелковой дивизии, так много сделавшей для освобождения Смоленщины. Приказом Верховного Главнокомандующего 25 сентября 1943 года дивизии было присвоено наименование Смоленской.

Путь Александра Трифоновича к Смоленску прошел через его родное Загорье. Он заехал туда после встречи с летчиками на аэродроме в Починке, после того, как оказался в двенадцати — пятнадцати километрах от отчего дома. В очерке «По пути к Смоленску» («Красноармейская правда», 28 сентября 1943 года) он писал: «В Загорье я не застал в живых никого. Кто уцелел — подался в леса, скрывается у дальней родни, знакомых. Остальные — на каторге у немцев или в больших общих могилах, которые были мне указаны жителями других деревень. Из прежних соседей моей семьи я нашел только Кузьму Ивановича Иванова, который последние годы жил в Смоленске и только нашествие немцев вновь заставило его искать прибежище в родных деревенских местах. Грамотный, памятливый и толковый человек, он рассказал мне при нашей короткой встрече все, что знал о наших общих знакомых, родных, близких, о горькой и ужасной судьбе многих из них».

Автор не включил этот отрывок в свою фронтовую прозу,— видимо, посчитал чересчур личным. В Загорье с ним

заезжал фотокорреспондент «Красноармейской правды» Василий Аркашев. Он сделал в тот день драгоценный снимок: поэт стоит, понурившись, обнажив голову, у дерева, изувеченного снарядом.

Под Смоленском мы жили на Вороньей горе рядом — в землянках. Когда я, вернувшись с передовой, сидел в редакции и отписывался, у меня иногда по нескольку раз на дню возникала надобность в консультациях языкового характера. Вообще говоря, Твардовский не любил, когда его беспокоили, однако помогал без раздражения, поощрял бережное отношение к языку, к стилю.

Сам он радовал слух удивительно точным отбором слов, построением фраз, был воинствующе нетерпим ко всякого рода пустословию, косноязычию, бюрократическим оборотам речи. Он мог в разговоре насупиться, помрачнеть не оттого, что услышал плохие новости, а лишь потому, что собеседник говорит клишированными, канцелярскими словами. В нашем редакционном коллективе, где служили опытнейшие журналисты, Твардовский был грамотней всех.

По вольному найму в редакции работал пожилой человек, в прошлом корректор одной из московских типографий Владимир Александрович Соколов. Нужно было видеть страдальческое лицо Соколова, когда он правил гранки фронтового, кстати сказать, известного писателя.

— Что случилось? — спросил однажды Твардовский расстроенного Соколова.

— О боже! Герой рассказа «облокотился спиной». А редакция и автор считают подобное телодвижение естественным...

Твардовский и Соколов очень оживленно и подолгу рассуждали о тонкостях русского языка, им всегда было интересно в обществе друг друга...

Однажды Твардовский зашел за мной в землянку, чтобы вместе идти в поезд-типографию, который стоял под горой, в полукилометре от нас, на запасных путях станции Колодня. Я попросил Твардовского подождать несколько минут. По моему разумению, этих минут должно было хватить, чтобы дописать главу рассказа.

— Это же хорошо, что ты прерываешь работу, не поставив точки! — оживился Твардовский.— Хочу дать совет. Но только при одном условии: не подумай, что совет продиктован нежеланием тебя подождать. Мой совет — прерывай работу на полуслове! Пусть строфа или глава останется недописанной! Тем охотнее берешься потом за продолжение работы, тем сильнее тянет к бумаге. Усядусь, допишу строфу, и легче пишется новая. Всегда труднее начинать, чем дописывать уже найденное. Важно вовремя набрать скорость, тогда легче подниматься в гору...

Как-то Твардовский поделился со мной стопкой бумаги трофейного происхождения — огромное богатство! — и показал свой заветный клад. На дне деревянного ларца хранилась бумага разных сортов, нарезанная по-разному. Листочки пошире, совсем узкие... Он доверительно, что было совершенно не в его характере, пояснил, что, меняя размер стиха, он ощущает потребность сменить формат бумаги. Ему легче перейти на другой размер стиха, если перед ним бумага другого формата.

Мне показалось, он был раздосадован своей внезапной откровенностью, потому что добавил грубовато:

— Впрочем, тебе это знать совершенно не обязательно. Мало ли чудачеств у нашего брата! «Пресволочнейшая штуковина» все еще существует.

Ларец, из которого Твардовский извлек стопку писчей бумаги с водяными знаками, уже дважды хранился у меня. Когда Твардовского вызывали в Москву, он заносил деревянный ларец ко мне. В нем хранились записные книжки, черновики, разнокалиберная бумага и там же маленький чайник для заварки, пачка чая, а то и две, кисет с сахаром. Чай он заваривал, придерживаясь строгих рецептов,— ну прямо священнодействовал...

В первый раз, когда Твардовский просил меня присмотреть за его имуществом, он протянул ключик от ларца. Я отказался взять ключик: к чему он мне? Запертый ларец я прятал в вещевом мешке вместе со своим маленьким архивом. Думаю, Твардовский оставлял мне ларец потому, что я жил не в редакции на колесах, а ютился обычно по соседству с поездом. Сотрудники редакции и рабочие типографии, обитавшие в вагонах, были более беззащитны при бомбежках. Наш салон-вагон уже пострадал на станции Смоленск-сортировочная, двое тогда были ранены.

С осени 1943 года Западный фронт семь с лишним месяцев стоял на рубеже восточнее линии Витебск — Орша. Зимой 1943—1944 года провели шесть наступательных операций, но без успеха.

Весной 1944 года наступило затяжное затишье. Весенняя распутица всегда длительнее и злее, если линия фронта проходит по лесисто-болотистой местности, а таких труднопроходимых участков было немало под Витебском, под Богучевском, по берегам Лучесы в районе Осиновской ГЭС, окруженной безбрежными торфяниками.

Редакция в те дни ютилась на отшибе, у деревни Маклино. Особняком стояли дом и немецкие бараки — прежде их занимали немецкие зенитчики. В доме кое-как оборудовали кухню. Поблизости, у деревни Тишино, проходила железная дорога, и в тупике нашел пристанище наш поезд-типография.

Длительная передышка была вызвана не только вселенской распутицей на стыке зимы и весны, но и последними неудачными операциями.

А в перерыве между боями начальство вспоминает обо всем, о чем ему недосуг подумать в дни боев. Вспомнили, что давно не проводили строевых занятий, выправка у многих политработников оставляет желать лучшего. В штабе фронта были замечены фронтовики, позабывшие Устав: кому-то не козырнули вовремя, не соблюли правил «подхода» к генералу...

В редакции тоже приступили к строевым занятиям. Командиром отделения, куда вошли писатели газеты, художники О. Верейский и В. Горяев, еще несколько военных журналистов, был назначен А. Твардовский. Отнесся он к этому назначению с юмором:

— Где это видано, чтобы подполковник командовал отделением? Согласен, но при одном условии — если меня будут величать «командующий отделением».

Он назначил себе двух заместителей. Майор М. Слободской стал заместителем по политической части, интендант второго ранга О. Верейский отныне именовался «заместитель командующего отделением по хозяйственным вопросам и по связи с Военторгом». Командующий отделением с большой выдумкой злоупотреблял высоким положением в нашем крошечном гарнизоне. Например, О. Верейскому не всегда хватало пайка, и ему поручалось снимать пробу с кухонного котла, но лишь при условии, что он утром вычистит сапоги командующего отделением.

Ну, а меня Твардовский назначил запевалой отделения. Забегая вперед, скажу, что до конца войны строевые занятия не возобновлялись, но от обязанности запевалы отделения Твардовский меня не освободил. Зимой 1944-45 года, в бытность редакции в Каунасе, я сочинил песню о шинели на стихи из «Василия Теркина». Когда мы впервые с автором пели дуэтом: «Эх, суконная, казенная, военная шинель», нам аккомпанировал на гитаре фотокорреспондент «Красноармейской правды» Михаил Савин.

После зарядки и до первого строевого занятия к нам обратился с вступительным словом старый знакомый, полковник из штаба — М., незлобивый, добродушный человек.

Отделение уже построилось, Твардовский гаркнул луженым, старшинским голосом: «Подравняйсь!», «На первый-второй рассчитайсь!» — и, наконец: «Смирна-а-а!» Выражение лица у нашего командующего делалось надменное, но ему мешала с трудом скрываемая улыбка.

Полковник М. напомнил нам о важности изучения воинских уставов. Он убеждал нас, что день, когда мы не заглянули в Устав строевой службы, должен расцениваться как

пропаций в нашей жизни. Окружающая действительность представлялась полковнику М. тьмой, и единственным источником света в этой тьме был Устав.

Первое строевое занятие прошло более чем оживленно. С плаца перед немецким бараком то и дело разносился раскатистый смех. Слышалось грозное «разговорчики!!!» нашего командующего. По его убеждению, успехи отделения были бы еще больше при наличии своего строевого марша. Вечером того же дня Твардовский со своим замполитом сочинил и текст марша.

— Вот тебе куплеты,— сказал мне командующий отделением.— А подобрать мелодию твоя забота.

Назавтра строевые занятия шли под аккомпанемент собственного марша, в котором запомнились такие куплеты:

Полковник нам пример дает,
Он на зарядку нас зовет,
Он к свету нас из тьмы ведет,
А не наоборот. (2 раза)

Полковник нам пример дает,
Он нам командует: «Вперед!» —
И мы должны идти вперед,
А не наоборот. (2 раза)

После строевых занятий успевали поиграть в городки,— нет лучшего упражнения, если учишься далеко и метко бросать гранату. Твардовский стал чемпионом по городкам в нашем маленьком гарнизоне.

— Сила личного примера,— подшучивал наш командующий отделением, сокрушая би́той городошную фигуру «пулеметное гнездо» (довоенное название этой фигуры — «бабушка в окошке»).

Нельзя сказать, чтобы выправка фронтовых журналистов стала совершенной, однако и строевые занятия, и метание гранаты, и стрельба по консервным банкам, служившим нам мишенями, прекратились. Редакционные работники срочно выехали в полки по оперативным заданиям.

Сменилось фронтовое командование, был назначен новый командующий — генерал-полковник Иван Данилович Черняховский, а 24 апреля 1944 года наш Западный фронт переименовали в Третий Белорусский.

Мне посчастливилось слышать выступление Черняховского на слете разведчиков. Кое-что я записывал, в частности, дословно записал фразу, сказанную Черняховским:

«Все мы — от генерала до командира взвода — должны научиться командовать возвышенным духом наших солдат...»

Началась скрытная, деятельная подготовка к летнему наступлению, к операции, которая позже стала известна под названием «Багратион».

На прифронтовых шоссе, проселках, полевых и лесных дорогах установили строгий контроль. Передислокация войск шла под покровом ночи. В прифронтовых лесах сосредоточивались танковые артиллерийские корпуса и бригады, инженерные батальоны с громоздкими понтонами и другие войсковые части — и все это с соблюдением строгих правил маскировки.

Может, потому так запомнилось прифронтовое шоссе тех дней, что дорожники задержали нашу машину, в которой возвращались в редакцию Твардовский, капитан Александр Иванович Шестак и я. А тут еще, как на грех, маячил над шоссе немецкий воздушный разведчик по прозвищу «костыль». Старший на контрольно-пропускном пункте загнал наш «виллис» на опушку леса.

— Днем — ни одной машины на шоссе! — кричал дежурный КПП.

Выяснилось, что, пока мы находились в полку, на дорогах ввели новые строгости. Мы ждали, когда проедет дорожный начальник, чтобы попросить амнистии. Твардовский доложил ему о происшествии, но при этом выразил сомнение в разумности поведения ретивого дежурного КПП: новые пропуска только что введены, не все успели их получить. Если сегодня прекратится всякое движение, немцы заподозрят неладное. Разумнее, чтобы машины на шоссе изредка появлялись — не чаще и не реже, чем прежде.

Полковник из дорожного управления подумал-подумал и сказал Твардовскому:

— А ведь вы правы, товарищ подполковник. Доложу своему начальству.

И приказал пропустить «виллис».

«Красноармейская правда» преднамеренно печатала материалы об оборонительных боях, давала советы саперам, как минировать передний край обороны, устраивать лесные завалы, отражать ночные вылазки противника и т. п. То был посильный вклад газеты в программу дезинформации, которую разработали наши разведчики и которая проводилась в жизнь в напряженные дни мая — июня, предшествовавшие операции «Багратион».

В те дни «Красноармейская правда» начала печатать очередные главы поэмы «Василий Теркин». Я пришел к редактору Якову Михайловичу Фоменко с предложением написать передовую статью под заголовком «Василий Теркин». Перед тем я успел заручиться поддержкой майора Льва Александровича Хахалина, ответственного секретаря редакции.

В какой бы спешке и напряженной сутолоке ни рождался завтрашний номер газеты, в работе редактора случались «окошки», и он ухитрялся сыграть в шахматы. А шахматист

он был закоренелый. Жизненный опыт научил нас, что к редактору рискованно обращаться с просьбой, когда он партию проигрывает или уже сдался. Больше шансов на успех имели те, кто просил о чем-то после редакторского выигрыша. Я терпеливо выждал подходящий момент и обратился к редактору.

Поначалу Яков Михайлович отнесся к моему предложению скептически:

— Где это видано, чтобы фронтовая газета напечатала передовую статью, посвященную литературному герою?

И здесь мне неожиданно помогла запись речи нового командующего фронтом Черняховского, на его встрече с разведчиками, где он говорил о возвышенном духе солдат-освободителей.

— Твардовский в своем «Теркине» как раз и выразил возвышенный дух советского солдата!

— Согласен,— сказал Фоменко, человек творческий, смелый и любящий литературу.— Но как говорить об освободительной миссии нашего солдата, если мы не имеем права напечатать самого слова «наступление»?

— Слова «наступление» в статье не будет. И знаете, кто мне поможет? Сам Теркин. Помните то место, где он призывает освободить родную землю?

Проигравший уже нетерпеливо расставлял фигуры, надеясь взять у Фоменко реванш, а я решил не испытывать судьбу и закрыл за собой дверь редакторского купе.

Передовая статья попала в бережные руки сотрудника редакции Инны Ивановны Кротовой и под заголовком «Василий Теркин» появилась 23 мая 1944 года...

«4 сентября 1942 года, когда в «Красноармейской правде» была напечатана первая глава поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», Советское Информбюро сообщало, что немцы рвутся к Сталинграду.

В тяжкий для Родины час появился Василий Теркин, труженик-солдат, с горячим сердцем, с народной сметкой и хитрецой, мастер на все руки и мечтатель, влюбленный в свою родную землю, святой и грешный русский чудо-человек.

В его непреклонной вере в победу, неиссякаемом юморе и неистощимой бодрости отразился характер русского солдата, дух народа-воина, ведущего святой и правый бой ради жизни на земле.

Таким полюбили Теркина бойцы-читатели, такой Теркин живет в землянках, пылит по фронтовым дорогам с матушкой пехотой, балагурит у походной кухни, греется у костров на привалах, мокнет под дождями, мерзнет в сугробах, зло и яростно бьет немцев и день ото дня учится бить их еще лучше.

Кто же он, наш друг, наш сослуживец, наш земляк смоленский, наш старый знакомец Василий Теркин? Где найти его? В какой роте он воюет? На какую полевую почту ему писать? Да и есть ли такой на самом деле?

Может быть, в Красной Армии и нет солдата по имени Василий Теркин. Но многие тысячи таких, как он, русских солдат, носящих другие имена, живут и воюют. Их характерные черты собрал в образе своего героя автор поэмы «Василий Теркин» поэт Александр Твардовский.

Василий Теркин — литературный герой. Его создал поэт. Но такова сила настоящего искусства, что он стал для нас, для всех читателей, живым и подлинным человеком, у которого учатся, слова которого повторяют, которому хотят подражать. Герой поэмы вошел в наш боевой быт как постоянный спутник, как умелый друг и советчик.

Сегодня мы начинаем печатать третью часть поэмы. Читатель вновь встречается со своим любимым героем. Вместе с читателем прошел Теркин большой и многотрудный путь войны. Он пережил горечь отступления, он сумел выстоять в самые трудные дни, он накапливал в боях мастерство, и настал день, когда он пошел на запад. Теркин первым входил в деревни родной освобожденной Смоленщины, из которых когда-то он уходил последним.

Третья часть поэмы рассказывает о новом этапе войны, когда завершается освобождение родной земли, когда

...от Подмосковья
И от Волжского верховья —
До Днепра и Заднепровья
Вдаль на запад сторона —
Прежде отданная с кровью,
Кровью вновь возвращена.

Вместе со всей армией вырос Василий Теркин, вместе со всей армией стремится он на запад, ощущая дыхание близкой победы. Вместе со своим читателем-воином он будет праздновать эту победу».

В то время я наивно полагал, что дезинформация противника перед наступлением сводилась к запрету ездить днем по прифронтовым дорогам, а в армейской печати усердно публиковать материалы, связанные с обороной своих позиций. Лишь спустя четверть века мне стал известен истинный масштаб секретной подготовки Белорусских фронтов к операции «Багратион».

Ровно через месяц после памятного номера «Красноармейской правды», на рассвете 23 июня, над нашими позициями взвились две зеленые ракеты. Началось наступление, какого еще не знал наш фронт, а многострадальная белорусская земля еще не слышала такого артиллерийского грома, не знала такого землетрясения.

Это был сигнал и для редакционных бригад, которые тоже двинулись на запад, чтобы «Красноармейская правда» могла без опозданий широко и своевременно освещать наступательную операцию. В дни освобождения Белоруссии фронтовые пути и перепутья разлучили меня с Твардовским. Ему можно было только позавидовать — он все время находился на направлении главных ударов. Днем 26 июня он вошел в дымящийся Витебск, а ранним утром 3 июля был с передовыми танковыми частями в Минске, за двести километров от той деревеньки Маклино, в которой «командующий отделением» проводил строевые занятия.

Поздней осенью я попал в сортировочно-эвакуационный госпиталь № 290 в Каунасе. Спустя неделю меня проведали Твардовский, Верейский и начальник отдела партийной жизни редакции подполковник Александр Григорьевич Григоренко.

Весть о том, что в госпиталь приехал автор «Василия Теркина», быстро распространилась среди раненых. Начальник нейрохирургического отделения майор Александр Архипович Шлыков пригласил гостей отобедать.

А нужно сказать, что в нашей редакции в ту пору орудовал вороватый старшина, у которого из общего котла вытекал навар, исчезало мясо, равно превращая и борщ, и щи, и суп в водянистое варево.

В нейрохирургическом отделении гостей потчевали на славу. Две тумбочки, составленные вместе и покрытые стерильной простыней, составили стол, его украшением была фляжка с водкой. Щи принесли наваристые, густые, а Твардовский, прихлебывая их, с удовольствием процитировал самого себя:

Чтоб в котле стоял черпак
По команде «смирно»...

Когда гости отобедали, замполит нейрохирургического отделения обратился к Твардовскому с просьбой выступить на следующий день в госпитале. На третьем этаже пустует просторный лекционный зал мест на двести пятьдесят — триста. А сколько еще можно поставить там стульев и коек! Зал двухсветный, окна большущие, и стекла не выбиты.

Твардовский дал согласие и позже спросил у меня:

— Как ты думаешь, стоит прочесть главу «Смерть и воин»? Еще не читал ее бойцам.

— Обязательно прочти,— сказал я: недавно мне посчастливилось первым услышать от автора эту главу.

— А уместно ли ее читать раненым? — сомневался Твардовский.— Все время упоминается смерть. Не слишком ли мрачно?

— Самое важное,— возразил я,— в том, что санитары спасли бойца, который был на пороге смерти. До раненого быстрее, чем до кого-нибудь другого, дойдут слова: «До чего ж они, живые, меж собой свои — дружны...»

Твардовский задумался, а затем сказал:

— Допускаю, что ты прав...

— А вы скажете вступительное слово,— обратился ко мне замполит.

— Нужно ли? — спросил Твардовский кисло.

— Уверен, что на встрече не будет никого, кто не знаком с вашим Теркиным,— сказал замполит.— Но хотелось бы услышать и несколько слов о его крестном отце.

Твардовский поморщился:

— Только поскромнее и покороче.

— Буду краток,— обещал я.

— Еще прошу — без преувеличений и без комплиментов, на которые ты бываешь необдуманно щедр...

Огромный госпиталь занимал корпуса Литовского медицинского института. До нашего прихода в Каунас немцы разместили в институте лазарет и на черепичных крышах намалевали огромные белые кресты — это фашисты предостерегали наших летчиков.

Перед встречей с Твардовским на третьем и четвертом этажах царило оживление. Легкораненые, врачи, медсестры и санитарки, свободные от дежурств, задолго до начала заполнили большую аудиторию. Иные раненые приковыляли с трудом, а в отделении грудной хирургии тяжелораненые возбужденно просили, умоляли, требовали, чтобы их перенесли в зал: они тоже хотят увидеть, услышать Твардовского.

Начальник госпиталя полковник Вильям Ефимович Гиллер распорядился, чтобы раненым помогли. По коридорам сновали санитары с носилками. Но санитаров не хватало, и в носилки впрягались легкораненые — те, у кого целы руки и кто без костылей. Я уже поправлялся, расхаживал по госпиталю с забинтованной головой и тоже помогал санитарам.

Главная аудитория напоминала зал Политехнического музея в Москве. Скамейки из светлого дерева расположены амфитеатром в восемь рядов, а над последним рядом полукругом тянется большой балкон — оттуда выход на четвертый этаж. Помнится, пол в аудитории настлан пробковый.

Когда мы вышли к столу на помосте, зал был переполнен — сидели, стояли, лежали. Слушателей 450—500, не меньше.

Белые халаты вперемежку с серыми и пестрыми халатами раненых. Проход в центре зала, ведущий в коридор третьего этажа, заставлен носилками с тяжелоранеными. Несколько десятков коек с лежащими на них ранеными установили возле полукруглого помоста.

После моего вступительного слова (которым Твардовский, судя по нетерпеливым жестам, был не совсем доволен) он вышел к рампе и без всякого предисловия начал читать главу поэмы «От автора». Отчетливо помню бытовые интонации, полные затаенного юмора. И только в конце авторского вступления зазвучали суровые, металлические ноты, поэт говорил о правде, «прямо в душу бьющей, да была бы она погуще, как бы ни была горька».

Главу «Переправа» Твардовский читал в чуткой тишине, но после слов: «Густо было там народу — наших стриженых ребят...» — в зале начали чаще покашливать, подозрительно хлюпать носами.

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Едва прозвучали эти строки, в зале стали всхлипывать, послышался плач и чье-то сдержанное рыданье.

Твардовский замолк. И, как мне тогда показалось, замолк потому, что сам не сразу совладал с волнением.

После «Переправы» прозвучали главы «Два солдата», «Гармонь», «Смерть и воин» и в заключение «О любви».

Читая «Смерть и воин», он снова разволновался. Не был уверен в своем выборе? Читал впервые такой аудитории? Слушали в напряженной тишине, к нам доносилось сердцебиение зала. Все затаили дыхание, когда прозвучала последняя строка: «И, вздохнув, отстала смерть».

В то утро я впервые в жизни понял смысл слов «глаголом жги сердца людей»...

Назавтра гости в предобеденный час появились в палате. Я вовсе не склонен был объяснять их приход острой тоской по товарищу, временно и вовсе не по героическому поводу выбывшему из строя. Безусловно, сыграло свою роль гостеприимство майора медицинской службы А. А. Шлыкова и его медперсонала.

Неторопливо прощаясь после сытного обеда, Твардовский сказал с улыбкой:

— Ты не торопись выписываться. Мы тебя еще разок-другой проведаем...

Вскоре после встреч в СЭГ № 290 Твардовский написал главу «По дороге на Берлин». Мне довелось вместе с ним в первые часы пересечь границу Восточной Пруссии перед городом Ширвиндтом. Речка Шешупа с неподвижной пепельной водой. В низком, задымленном небе над Ширвиндтом смутно виднелся далекий шпиль — то ли кирха, то ли городская ратуша. Свежеотесанный черно-белый столб с надписью «Германия» в первые же часы был испещрен автогра-

фами. В дело пошли и уголек, и кинжал, и штык, и чернильный карандаш. Все торопились проехать через границу, воочию увидеть фашистское логово. А Твардовскому хотелось подольше постоять у пограничного столба, поглядеть, как бойцы переходят, переезжают через границу. Настороженно вглядывались вперед: какая она из себя, эта Германия? Долго смотрели на восток — доведется ли вернуться на родину?

Во время зимней передышки, когда армии накапливали силы для нового удара, Политуправление фронта собрало писателей — сотрудников дивизионных, армейских и фронтовой газеты «Красноармейская правда» — на совещание. В центральной печати промелькнула заметка:

«ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 16 января (спецкор ТАСС). Политуправление 3-го Белорусского фронта провело совещание писателей-фронтовиков.

С большим вниманием собравшиеся выслушали доклады о прозе — майора Кушелева, о поэзии — подполковника Твардовского, о красноармейском творчестве — капитана Воробьева».

Стихотворение, даже весьма несовершенное по форме, с шероховатостями, языковыми огрехами, могло вызвать симпатию Твардовского, если он обнаруживал в нем одну-две подлинно поэтических строки. В таких случаях он относился к поэту со строгим дружелюбием. Но он не давал поблажки набившим руку рифмоплетам, авторам аккуратно причесанных, отутюженных или выспренних, крикливых стихов. Твардовский ненавидел зарифмованную гладкопись.

Сотрудник армейской газеты, поэт, пожаловался, что редактор разлучает его с любимой музой и перегружает журналистскими заданиями: две недели назад ему поручили написать очерк о снайпере, а на минувшей неделе передовую статью. Этим он объяснял свое поэтическое бесплодие.

— Хочу напомнить обиженному товарищу мудрую еврейскую пословицу,— сказал Твардовский: — «Талант — как деньги. Или он есть, или его нету».

Устное словотворчество, красноармейский фольклор всегда интересовали поэта. Он внимательно слушал поговорки, прибаутки, присказки, пословицы, делал записи. Ему интересно было, какие строки из «Василия Теркина» обрели к концу войны власть поговорок и пословиц.

И вот на совещании, сказав о молодых способных авторах газеты, я не обошел молчанием графоманов. Их не могла остановить опасная, беспокойная жизнь на переднем крае. Я привел один из примеров безнадежной графомании:

«Товарищ редактор Я. М. Фоменко! Посылаю новую партию своих стихов на тему нашего времени, главным образом артиллерии. Я хотя и молодой, но быстро растущий поэт, и

редко проходит день, чтобы я не написал после боя одного или двух стихотворений. Я нахожусь в настоящее время на огневой позиции батареи, жив-здоров и в расцвете своего таланта. Стихотворения прошу печатать в том порядке, в каком они переписаны в тетрадку и безо всякого псевдонима, а именно под моей личной фамилией, которую бойцы уже знают и скоро узнают еще лучше. Как только пропустите эту партию стихов, вышлю новую, которые уже зреют и скоро созреют. А таланта на оформление стихов у меня хватит и еще останется. С тем остаюсь поэт-сержант *Алексей К.»*

Письмо вызвало веселое оживление слушателей, а Твардовский прямо-таки зашелся от смеха. Он попросил отдать ему письмо, что я и сделал, сняв для себя копию. Пробежав глазами еще раз письмо, он сказал:

— И все-таки будем снисходительны. Сидя в окопе, глядя в глаза смерти, человеку страшно: убьют, и никто не вспомнит. И он наивно думает, что стихами оставит память о себе.

Помнится, критикуя пустозвонные вирши какого-то поэта из дивизионной газеты, Твардовский назвал их трухой. И вот спустя четверть века в стихотворении «Слово о словах» я прочел: «Слова — труха, слова — утиль...»

К концу войны наши фронтовые дорожники осмелели и двигались следом за наступающими полками со своей «наглядной агитацией» в виде всевозможных указателей, щитов, призывов. Кто колесил по фронтовым дорогам, видел этот кочующий инвентарь — указки, стрелки, скороспелые лозунги. На шоссе, ведущем из Смоленска на Витебск, находился контрольно-пропускной пункт. Сперва едущих на фронт встречал щит: «Вперед, на запад!», а спустя метров полтораста мы читали призыв: «Тихий ход!» Твардовского очень смешило это случайное нелепое совпадение.

Беззвездной февральской ночью ехали мы по скользкому лабиринту узких немецких дорог, обсаженных тополями. Днем дороги развезло, а к ночи слякоть заледенела. Брезентовая крыша «виллиса» была свернута, нас пронизывал сырой ветер, такой студеный, будто он дул не с соседней Балтики, а непосредственно из Арктики. Разыскивали танковую бригаду, которая дислоцировалась вблизи линии фронта на нескольких господских дворах и фольварках. Номер бригады и фамилия командира были засекречены, а на указках значилась фамилия помощника командира бригады по тылу. Фашисты при отступлении нарочно сбили свои дорожные указатели, чтобы затруднить пользование картами, чтобы дольше плутали наши машины и танки, чаще теряли друг друга.

Развилки, перекрестки, повороты, новые развилки. Все усерднее светили фонарем на карту, чаще склоняли много-

сложные немецкие названия, но на стрелках-указках искомой фамилии все не было.

На очередной развилке Твардовский заявил, что наступила его очередь разведать дорогу, и вышел из «виллиса».

Под ногами черная мокрядь, лужи, выбоины, затянутые тонким ледком. На развилке темнел большой фанерный щит. Твардовский подошел, посветил фонарем, донесся его смех. Он вернулся, влез в машину, еще смеясь, и наконец сказал:

— Алеша Сурков успел тут побывать раньше нас. На фанере-то его стихи: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет».

Уже близко к полночи, до одури поколесив вдоль линии фронта, мы сидели в фольварке, в подвале с могучими бетонными сводами, сторожко прислушиваясь к близким разрывам и привычно пренебрегая разрывами снарядов, которые ложились подальше. Отогрелись у радушных танкистов. Твардовский не мог отказать гостеприимным хозяевам в просьбах и прочитал главу «Гармонь». Читал он на память, вглядываясь в лица слушателей при свете двух «катюш» — фитили торчали из сплюснутых снарядных гильз.

Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ...

Будто именно об этих танкистах, сиюминутных слушателях, написал поэт, будто именно они грели ноги про запас, когда их танки попали в пробку на заснеженной дороге.

В конце трапезы, затянувшейся до глубокой ночи, замполит бригады, родом с Кавказа, предложил тост за поэзию, которая тоже воюет. Пожелал долголетия Твардовскому, а еще большего долголетия его стихам.

— После войны мы их высечем на мраморе,— сказал он с восточной витиеватостью.

— Мрамор — парадная форма для стихов,— отмахнулся Твардовский,— а пока стихи воюют на бумаге и даже... на фанере!

Конечно, поговорили о близком мире, о том, как горько умереть в самый канун победы. И здесь танкист с задымленным лицом, в замасленном комбинезоне, судя по всему механик-водитель, сказал:

— У нас, у танкистов, есть поговорка — жизнь одна и смерть одна...

Твардовский рассмеялся и чокнулся с механиком-водителем. Тот и не подозревал, что процитировал соседа по застолью.

Чем популярней становился «Василий Теркин» на фронте, тем больше его драгоценных строк входило в солдатский словарь на правах присказок и поговорок. Но одновременно «Василий Теркин» плодил и неумелых подражателей, эпиго-

нов. Твардовский читал подражания, присланные в «Красноармейскую правду», хмурый, будто отбывал тяжелую повинность.

Но пародии на «Василия Теркина», которые сочинялись в нашей редакции, он слушал без раздражения, часто с веселой охотой. Твардовский сказал как-то, что только бесталанный дурак может обидеться на талантливую пародию.

Он долго смеялся, прослушав сатирические стихи М. Слободского «Теркин в ТАССе». Это была эпиграмма на болтливого, нахрапистого, но трусоватого корреспондента (такие, хоть и редко, попадались в нашей журналистской семье,— я на войне встретил двух или трех). Такой корреспондент обычно околачивался у информаторов в Политуправлении фронта и переписывал политдонесения, а заметки свои начинал словами: «Мы стоим на переднем крае». Когда же он уезжал в Москву, то надевал для блезиру каску и брал с собой автомат.

Вышло так, что, к сожаленью,
Не спросив ни нас, ни вас,
Бросил Теркин отделенье
И пошел работать в ТАСС.
Это выбор бесподобный
Для того, кто головой
Ограниченно-способный
И негодный к строевой.
И чтоб лучшим там считаться,
Нужно в год — немалый срок! —
Ухитриться, расстараться
Накропать десяток строк...

— Вот чертушка! — одобрительно сказал Твардовский про автора пародии.

Он считал, что многолетняя работа Слободского в жанре пародии выработала у него обостренное чувство стиля.

— Больше всего пародия приносит пользу тому, кого пародируют,— сказал Твардовский.— То, что заложено на большой глубине, высмеять трудно. А то, что лежит на поверхности,— всегда легкая добыча пародиста. И нашему брату об этом полезнее помнить, чем обижаться.

Поэт любил прислушиваться к стихотворным импровизациям, умелому версификаторству, а сам импровизировать вслух не любил,— во всяком случае, я редко слышал это. Впрочем, один такой экспромт, никем не записанный, помню. Это было уже после войны в городке, куда перебазировался из Германии штаб фронта и где обосновалась наша редакция.

С демобилизацией писательской группы в отделе кадров Главпура не торопились, замена нам долго не прибывала. В редакции успели сочинить по этому поводу шуточную ан-

кету: «Ваш любимый город» — «Этот город».— «Ваша любимая песня?» — «Прощай, любимый город...» и т. д.

Твардовского демобилизовали в редакции первым. Рано утром он пришел на Форштадт, где жили О. Верейский и я, чтобы поделиться радостью — завтра возвращается в Москву. Уже выйдя за калитку, он полез в карман и протянул О. Верейскому трофейный карманный фонарь, длинный, круглый, о трех батареях.

На мгновенье он задумался, посмотрел на дом, где мы нашли пристанище, и продекламировал:

Мне не хватает многих нужных
Вещей, добытых под огнем.
Ну что ж, ходи в бобруйский нужник
С моим дареным фонарем!

А мне Твардовский подарил тогда пачку чая и стопку отличной бумаги трофейного происхождения. Он достал подарки из знакомого мне ларца. Уезжал он налегке, не обремененный никаким имуществом — малогабаритный чемодан и много повидавший на своем фронтовом веку вещевой мешок «сидор».

Провожая вечером Твардовского, мы пели его любимые фронтовые песни: печальную белорусскую «Перепелочку», песню «Моторы пламенем объяты...», подслушанную у фронтовых летчиков, она исполнялась на мотив старой шахтерской песни «Прощай, Маруся-ламповáя»; песню фронтовых корреспондентов Блантера — Симонова, нашу доморощенную строевую «Полковник нам пример дает...», песню Соловьева-Седого — Фатьянова «Давно мы дома не были...». И конечно же нашу «Шинель».

Вновь забегая вперед, вспоминаю, как вскоре после окончания войны Твардовский позвонил мне в Москве: «Никто тебя от должности запевалы не освобождал. До каких пор ты будешь манкировать своими обязанностями? Поезжай к Дмитрию Николаевичу Орлову — он постарше тебя, а ты поздоровей его — и прорепетируй с ним «Шинель» для радио». Вскоре наша «Шинель» прозвучала в эфире в проникновенном исполнении народного артиста Орлова, несравненного чтеца «Василия Теркина»...

Майор Алексей Алексеевич Зеленцов, который ехал с Твардовским до Минска, торопил с отъездом, а кто-то из провожающих показывал на яркий месяц и утверждал, что такой ночью опоздание легко наверстать.

На прощанье мы выпили «посошок на дорогу», разбив рюмки о крыло «виллиса». Шумный прибой веселья бился в ветровое стекло и в борта еще неподвижного «виллиса», а Твардовский стоял, взявшись рукой за дверцу, и, запрокинув голову, молча и сосредоточенно смотрел на месяц.

Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна,—

невесело продекламировал Твардовский.

Он внезапно отрешился от праздничных проводов, мыслями был сейчас далеко от нас, и вся предотъездная веселая суматоха, хмельной ералаш показались совсем некстати.

Я смутно помнил, что две прозвучавшие строчки откуда-то из классики, но откуда? Прошло время, я отыскал их у Пушкина в седьмой, похоронной песне западных славян:

Вспоминай нас за могилой,
Коль сойдетесь как-нибудь.
. . . .
С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

Сколько раз я ни перечитываю эти пушкинские строчки, живущие в заключительной главе «Василия Теркина», сколько раз ни обращаюсь памятью к стихотворениям «Я убит подо Ржевом...», «В тот день, когда окончилась война...» — всякий раз в памяти воскресают проводы Твардовского в Бобруйске в светлую, лунную ночь.

1973

РЯДОМ С НИМ



етом 1943 года в Москве было созвано совещание редакторов фронтовых газет.

Съехались редакторы армейских и дивизионных газет, специальные корреспонденты и работники отделов пропаганды. Я сидел у самых входных дверей и смотрел, не покажется ли кто знакомый. Вижу, в зал вошел высокий, красивый блондин — подполковник. Я спросил соседа:

— Кто это?

— Твардовский.

«Вот здорово,— подумал я,— значит, будет возможность поговорить с ним».

После двух докладов объявили перерыв. Я подошел к Твардовскому, представился. Он взглянул на меня каким-то необычно прямым и ясным взглядом, дружелюбно проговорил:

— А я вас знаю. Недавно был в одной дивизии на вечере самодеятельности. Автоматчик исполнял вашу песню о разведчике, хорошо получилось. А стихи у вас есть с собой? Покажите-ка!

Я вынул из планшетки короткое стихотворение «Другу». Он быстро прочитал и передал его товарищу:

— Посмотри-ка, Николай.

Тот вооружился очками и начал читать вслух.

— Ну как? — спросил его Твардовский.

— Миниатюра получилась.

Александр Трифонович согласился.

— Хорошо подмечена солдатская усталость. Вот видите,— обратился он ко мне,— Рыленков обычно скуп на похвалы... Вот что, майор Глотов, подберите-ка еще две-три та-

кие миниатюры и присылайте нам в «Красноармейскую правду».

Стихи в газете появились.

Твардовский часто приезжал в нашу армию, обычно с полковником Н. Бакановым — начальником отдела боевой подготовки «Красноармейки». Они на два-три дня увозили меня в части: по долгу службы я знал действующие подразделения, фамилии передовых воинов и командиров,—словом, был не бесполезен, сопровождая товарищей туда, где они могли найти интересный материал.

Встречали нас гостеприимно, всегда просили Александра Трифоновича что-нибудь прочитать. Он никогда не отказывал. Потом я брал гармошку и исполнял свой «деревенский» репертуар, напевая под музыку шуточные частушки. Твардовскому это нравилось.

С первых встреч я понял, как Твардовский наблюдателен, как велик его интерес к новым людям. И любопытство его было не мелочным, не праздным: он хотел знать все в подробностях, и как-то в конце концов все у него шло в дело. Особенно его радовала всякая мастерски выполненная работа.

Помню, где-то в смоленских лесах мы с ним ночевали в темной, полусырой землянке. Было холодно. Мы поднялись рано, натянули на себя полушубки и выскочили за двери, в березняк, размяться и согреться. У черного пня приземистый солдат колол дрова. Он неумело всаживал топор в чурку и затрачивал много сил, чтобы вытащить его обратно. Твардовский посмотрел на вспотевшего «дровосека», толкнул меня плечом, сказал:

— Плохо колет. А ты умеешь?

— Конечно.

— Вот и покажи, как это делается.

Я выпросил топор у воина и начал разъяснять ему, что в мороз березовые чурки колоть очень легко, только ставить их нужно узким концом кверху, колоть с вершины. Придерживая одной рукой чурку, я принялся откалывать одинаковые поленья. За несколько минут наколол кучу дров. Твардовский, переступая с ноги на ногу, говорил:

— Артист, артист!

В той же землянке, уже в тепле, «дровосек» рассказал нам один случай из своей фронтовой жизни. Он много месяцев на переднем крае, привык спать в шапке, не раздеваясь. И вот совсем недавно его послали в дивизионный дом отдыха. Показали железную койку, дали теплое одеяло и белоснежные простыни, кормили вкусно и сытно.

— Хорошо было,— говорил пехотинец,— но мне не понравилось. Первые три ночи я ни на минуту не сомкнул глаз, измучился. Приходило на ум все, что случалось на фронте,

вспоминался родной край, вообще все, что когда-то видели мои глаза. Уже стал подумывать: «Как бы отсюда смотаться?» Пожилой санитар посоветовал мне на ночь надеть шапку. Я так и сделал. И что вы думаете? Уснул и никаких снов не видел!

Александр Трифонович внимательно слушал пехотинца.

Недели через две пришла фронтовая газета. Развертываю — вижу очередную главу «Отдых Теркина»:

То ли жарко, то ли зябко,
Не понять, а сна все нет.
— Да надень ты, парень, шапку,—
Вдруг дают ему совет.

И после четырех строф:

Видит: нет, не зря послушал
Тех, что знали, в чем резон.
Как-то вдруг согрелись уши,
Как-то стало мягче, глуше
И всего свернуло в сон.

Война продолжалась. Мы уже не раз спали под одной шинелью, мылись в уцелевших деревенских банях. Александр Трифонович устранил между нами официальности в обращении: называл я его по-дружески — Сашей.

— Соскучился по семейным словам,— сказал он задумчиво.— А ты не скучаешь о доме?

— Что сделаешь, война.

Он вздохнул и произнес:

Заняла война полсвета,
Стон стоит второе лето.
Опоясал фронт страну.
Где-то Ладога, а где-то
Дон — и то же на Дону.

Однажды летом мы шли по большой равнине к березовой рощице, где отдыхала стрелковая часть, выведенная из боя. Александр Трифонович задумался. Когда он становился замкнутым, сосредоточенным, я старался ему не мешать. И вдруг он разговорился. Вспоминал свою юность на «хуторе пустоши Столпово», как начал писать стихи и как радовался, когда их печатали, как в ту пору помогали ему стихи Исаковского.

Потом мы заговорили о значении записной книжки. Я ни разу еще не замечал, чтобы он вынимал из кармана блокнот и записывал беседы с командиром или с воином.

— Вообще-то я на фронте мало записываю,— признался он.— Если какой-либо факт или боевой эпизод крепко запомнился, то он и без точной записи убедительно перейдет в

стихи — многие строчки в «Теркине» я слышал и запомнил. А еще вот что... Ты, например, беседуешь с отличившимся солдатом или офицером, он тебе просто и подробно рассказывает о каком-то случае. И вдруг ты достаешь блокнот и начинаешь записывать. Он сразу становится сдержанным, старается подбирать выражения литературного свойства. А тебе не они нужны, а его живая душа.

— Значит, записная книжка не обязательна?

— Я не это сказал,— взглянул он удивленно.— Теперь происходит много событий. Одно впечатление вытесняет другое. Интересные факты бледнеют, забываются, а когда-то они потребуются. Вот здесь и придет на помощь записная книжка. У меня, например, долго сохраняются такие книжки.

На Западном фронте наступило относительное затишье. Проводились лишь бои местного значения, чтобы лишить немецкое командование возможности перебрасывать крупные силы с запада на юг. Фронтовые командиры начинали привыкать к «условной тишине» и обзаводиться «маленьким хозяйством». Я знал одного комдива, который построил в лесу приятный домик и выращивал небольшую грядку лука. У домика копались куры, а по утрам в лесу разносилось громкоголосое «ку-ка-ре-ку», лай собаки.

Как-то я увидел Александра Трифоновича, он показался мне бледным, утомленным. Почему бы не пожить ему в этом лесу, не встретиться с окопными постояльцами, пока они не очень еще заняты? Но оказалось — он уже побывал в таком «раю».

Вскоре мы сдвинулись с насиженного места. Я забыл о петухе и прочем и вспомнил обо всем этом, лишь читая новую главу из «Теркина»:

Столько жили в обороне,
Что уже с передовой
Сами шли, бывало, кони,
Как в селе, на водопой...

И прижившийся на диво,
Петушок — была пора —
По утрам будил комдива,
Как хозяина двора.

Во второй половине 1943 года, после поражения немецких армий на Курском выступе, мы с нетерпением ждали дня, когда начнется наше наступление на Западном участке фронта. Ждать долго не пришлось. Не вылезая из частей, я чаще всего там и встречал Александра Трифоновича. Настроение его было приподнятым.

В начале августа развернули боевые действия войска Западного фронта, а позднее перешли в наступление армии Калининского. Бои были упорные, ожесточенные. Наконец ча-

сти Красной Армии освободили Ельню, Ярцево, Духовщину и перерезали железную и шоссейную дороги Смоленск — Рославль; 25 сентября освобожден был Смоленск.

А на другой день с утра мы с ним осматривали город. Говорили мало, больше смотрели. Мне было больно, а ему еще больнее. Сколько раз он проходил по этим улицам, любовался их красотой, зеленью. Теперь, опустив голову, поэт шагал среди развалин, о чем-то думая.

— Тяжело тебе? — спросил я.

— Тяжело...— ответил он.

Еще через день на площади у памятника Кутузову состоялся большой митинг. Тысячи военных и гражданских людей окружили трибуну. Выступали освободители Смоленска и представители городских властей. Выступал и Александр Трифонович.

Я слышал впервые, как он говорил перед большой аудиторией, был поражен тем, как прекрасно он говорил.

Из Смоленска мы выехали в редакцию нашей армии. По пути побывали в двух отдыхающих частях, выступили перед фронтовиками — читали стихи. В редакцию явились сильно пропыленные и помятые. Я попросил хозяйку истопить баню. К вечеру на складе АХО получил две пары чистого белья и раздобыл веник. Александр Трифонович был доволен.

— Это ты здорово придумал,— говорил он.— Пойдем-ка отмоемся. Правда, это не Сандуны, но все же...

Парился он отчаянно. Поставил на полок таз с холодной водой, распарил веник и хлестал себя до изнеможения. Потом выходил в предбанник, отдыхал и снова парился. Я сидел на полу и зажимал рот ладонью. Дышать трудно, а он просит:

— Поддай пару, Вася, поддай!

Утром на самолете связи штаба армии я проводил его во фронтовую редакцию. Потом мы долго не встречались. Наша армия давно уже перешла границы Белоруссии и вела бои недалеко от Витебска.

Вскоре редакция переехала на маленькую станцию железной дороги Москва — Минск. Как раз выпали глубокие снега и начались морозы. И вот как-то к нам снова приехал Твардовский с полковником Бакановым. Они разыскали меня в полуразрушенной избе. Я только что дописал очерк и собирался выехать в командировку в одну из действующих частей.

— А мы едем в танковую бригаду,— присев на мою койку и закуривая, сказал Александр Трифонович.— Где она?

— Почти там же.

— Тогда скажи редактору и едем с нами.

В бригаду приехали перед закатом солнца. Танкисты раз-

мещались в землянках в густом, заиндевевшем лесу. Командир жил в закрытом кузове автомашины. Мы направились к нему, но он уже шел нам навстречу. Я знал его еще по Сибири, представил ему своих спутников и коротко сказал о нем:

— Это мой земляк, полковник Гаев. Из боя почти не вылезает, не раз уже поцарапанный. Думаю, что место у него для нашей ночевки найдется, а все остальное заработаем.

В фанерном утепленном домике на колесах полковник рассказал нам о последних боях бригады и о подготовке к новым сражениям. Сейчас личный состав приводил в порядок боевую технику и вооружение. Командир бригады попросил Александра Трифоновича выступить вечером перед «чернорабочими» войны.

Огромная медсанбатовская палатка была битком набита. Танкисты, хорошо побритые и веселые, встретили нас по стойке «смирно». Командир бригады открыл вечер и предоставил слово поэту.

— Ну что я могу прочитать вам, дорогие товарищи? — поднялся Александр Трифонович.— Стихи о танкистах у меня есть, но вы своим ратным трудом заслужили большего.

Танкисты зашевелились:

— Читайте «Теркина»! Он нам подходит!

Поэт прочитал две главы — «Переправу» и «Гармонь». Когда утихли аплодисменты, в углу поднялся коренастый командир танка и спросил, почему за последнее время «Теркин» реже стал появляться на страницах газеты, не думает ли автор заканчивать «Книгу про бойца».

— Нет, товарищи, не думаю,— улыбнулся Александр Трифонович.— «Теркин» так же, как и вы, некоторое время приводил себя в боевой порядок. Воениздат издает первые главы книжечкой, нужно было внести кое-какие исправления и дополнения. Этим я и занимался. Могу заверить вас, что «Теркин» вместе с вами пойдет до Берлина.

И снова дружные аплодисменты.

Уже в «домике на колесах» полковник Гаев рассказал Александру Трифоновичу, что у нескольких наших погибших воинов товарищи находили среди писем из дома газетные вырезки с «Теркиным», а недавно наши танкисты нашли в сумке убитого в бою немца зачитанные газетные вырезки из «Книги про бойца». Видимо, отдельные главы «Теркина» попадают и к немцам, кое-кто из них знает русский язык.

Встретились мы уже в Минске, после долгого перерыва. На окраине города размещался лагерь военнопленных немцев. Он был переполнен. Молодой начальник лагеря решил преподнести Твардовскому немецкую авторучку и часы. Александр Трифонович вежливо отказался.

— Благодарю! — сказал он.— Часы у меня есть. А фашистской ручкой «Теркина» писать не хочу.

В полдень мы проезжали полем. Недавно здесь колосились хлеба, теперь они лежали, примятые немецкими катками. Вдали виднелись городские коробки зданий без крыш и окон, а в низине, на поле,— подбитые танки и трупы фашистов. Александр Трифонович долго молчал, потом прочел вслух:

Пройдется плуг по их могилам,
Накроет память их пластом,
И будет мир отрадным тылом
Войны, потушенной огнем.
И, указав на земли эти
Внучатам нынешних ребят,
Учитель в школе скажет: — Дети,
Здесь немцы были век назад.

Новая наша встреча была в маленьком латвийском городке на берегу Немана. Фашисты, видимо, спешно бежали, не успев взорвать корпуса фабрики и огромное здание пивоваренного завода. Медики уже проверили безвредность пива в больших бочках и чанах. Многие фронтовики вволю угостились трофейным напитком, наполнив канистры и термосы в дорогу.

Во второй половине дня интенданты запретили вход на территорию завода и у ворот поставили часового.

Мы подходили к заводу, когда возле него остановились боевые машины «Т-34». Танкисты бросились к воротам. Седоусый худощавый постовой преградил им путь:

— Нельзя.

— Почему нельзя?

— Большой начальник приказал...

Танкисты примолкли и переглянулись. В это время от машины к постовому быстро подошел танкист, высокий, широкоплечий. Карманы синеватого комбинезона блестели пятнами мазута. Левую сторону лица его пересекала широкая полоска шрама. Он строго посмотрел на постового сверху вниз и грубо спросил:

— В танке горел?

Постовой взглянул на его лицо и отступил в сторону:

— Проходите! Только скорее!

— Слышал пароль? — улыбаясь, спросил меня Александр Трифонович.— Сильный!..

У Немана мы стояли долго. Начиналась осень. В эти дни я проштрафился перед своим начальством, ожидал решения политотдела армии и готов был к отъезду из редакции. Александр Трифонович прослышал о беде и пришел ко мне.

— Ждешь?

— Жду.

— И что же ты думаешь?

— Думаю, «дальше фронта не пошлют».

— А знаешь? — качнул он головой.— Иди в политотдел, забирай свое личное дело, и поедем в политуправление фронта. Там найдут тебе место.

— Спасаешь?

— Нет! — сказал Александр Трифонович резче.— Думаю, в другом месте ты больше пользы принесешь, если здесь не заладилось.

Через четыре дня я работал уже в редакции газеты другой армии. Она размещалась тогда в маленьком польском городке — в Сейнах. Первый эшелон штаба армии и политотдел жили в красивой роще. Неожиданно прибыли к нам полковник Баканов и Александр Трифонович. Поэта попросили выступить перед офицерами штаба армии и политотдела. Он согласился. Под вечер он сказал мне:

— Будешь и ты выступать.

— Нет! — возразил я.

— Это почему же?

— Задавишь ты меня «Теркиным».

— Ах, вот ты какой! — протянул Александр Трифонович. А провожая меня в сени, сказал коротко: — Будем выступать вместе.

Откровенно говоря, чувствовал я себя неважно. Но выступление прошло хорошо.

Было это уже в конце зимы 1944 года. Наши войска перешли границу Восточной Пруссии и продвигались вперед по шоссейным и проселочным дорогам, прижимая немцев к берегу Балтийского моря. Погода стояла отвратительная: небо закрывали толстые сизоватые тучи, шел мокрый снег. Фронтовики сутками находились в мокряди, изнуренные и продрогшие. Возвращаясь из передовых частей, Александр Трифонович по пути заехал к нам, во второй эшелон армии. Я пригласил его в комнату и предложил горячего чаю. Он присел на табуретку возле окна и курил одну папиросу за другой, был молчалив и чем-то удручен.

— В Грюнвальде был? — неожиданно спросил он.— Слышал?..

— Слышал...

Речь у нас шла об уничтожении госпиталя прорвавшимися в наш тыл гитлеровцами: раненые были убиты на постелях, а медперсонал или расстрелян, или удушен в подвале выхлопными газами танка по методу «душегубки».

— Какая жестокость! Какая жестокость! — Казалось, он хотел и не мог поверить в то, что произошло.

...И последний раз на фронте мы встретились в маленьком населенном пункте неподалеку от Балтийского моря. Редакция армейской газеты «На врага!» занимала тогда опустевший замок Галинген, хозяин которого бежал на запад.

Александр Трифонович приехал к нам с Орестом Верейским. Жили они у нас дня три.

Вечером, уже у меня в комнате, Твардовский вынул из офицерской сумки маленького формата книжку, столбиком написал несколько слов и, вручая мне, сказал:

— На память о войне.

Это было первое издание «Василия Теркина», вышедшее в Смоленске. Последние главы в него еще не вошли, но в основном «Книга про бойца» была полностью. На титульном листке Александр Трифонович написал:

«Василию Глотову,
близкому родственнику В. Теркина,
моему дорогому поэту и товарищу по войне.

А. Твардовский

1945 г. Замок Галинген, В. Пруссия».

Я от души пожал ему руку.

И последний подарок от Александра Трифоновича — оттиск портрета Теркина и краткое письмо:

«Дорогой Василий Иванович!

Поздравляю тебя с 50-летием нашей Армии от себя и от имени солдата, чье изображение, которым он, между прочим, обязан твоей «ряшке»,— на обороте.

Автор — пусть его стареет,
Пусть не старится герой!..

Обнимаю тебя.

Твой *А. Твардовский*

21. II. 68 г.»

1973

К ДВУМ ПОРТРЕТАМ



итая воспоминания друзей и современников об известных людях, мы часто испытываем чувство неудовлетворенности. Иногда это рассказ о себе, купание в лучах чужой славы. Часто в повествование щедро вводится живая речь того, о ком пишется, удивительно схожая с речью, характером, интонациями автора воспоминаний. Получается это, наверное, непроизвольно, но от этого не легче. Видимо, впечатления о человеке с течением времени как-то трансформируются, более или менее сближаясь с привычным образом мысли пишущего. Легко ли это преодолеть?

Конечно, всем нам доводилось читать прекрасные воспоминания, достойные тех, кого вспоминали. Но много ли их? К тому же любое подлинное искусство выражает душевный мир его создателя. А Александр Трифонович Твардовский так выражен, так раскрыт в своих творениях, что нужно ли, можно ли что-нибудь добавить к тому, что уже обрело бессмертие? Нет, лучше не браться.

Но вот я заметил, что стал чаще, чем прежде, получать письма от читателей книг, какие мне довелось иллюстрировать. Письма от незнакомых людей, с соседних улиц и из далеких городов. И хотя они обращены ко мне, речь в них идет совсем не обо мне, а только об Александре Трифоновиче Твардовском. И вот одно из них, которое начиналось так: «Извините за беспокойство, прошло больше трех месяцев со дня смерти А. Т. Твардовского, а он постоянно вспоминается, о нем постоянно думается». В письме было множество вопросов, и заканчивалось оно так: Может быть, у Вас нет времени или желания ответить на это письмо, а может быть, наоборот, Вам захочется поделиться воспоминаниями о том, кого Вам выпало счастье знать, с людьми, которые испыты-

вают чувство любви и глубочайшей благодарности к Твардовскому и хранят о нем светлую память навсегда».

В силу моих природных и профессиональных особенностей мне свойственно доверяться главным образом зрительным впечатлениям. И хотя, к сожалению, я рисовал Твардовского обидно, непростительно мало, многое из виденного, наблюденного на протяжении тех тридцати лет, счастливо выпавших на мою долю, когда мне доводилось много и близко соприкасаться с ним, я вижу с предельной ясностью.

Взяв за отправную точку два сделанных мною в разное время портрета Александра Твардовского, я расскажу, как сумею, о нем, в надежде добавить хотя бы несколько штрихов к этим портретам.

Первый портрет был сделан весной 1943 года. Впервые я увидел его таким, каким он изображен на этом рисунке, только на год раньше. В облике его за этот срок ничего не изменилось. Разве что петлицы на воротнике гимнастерки с тремя шпалами старшего батальонного комиссара сменились погонами подполковника.

Он прибыл в газету Западного фронта «Красноармейская правда» уже известным писателем. И хотя многие из нас, сотрудников фронтовой газеты, не читали еще ни «Отцов и прадедов приметы...», ни «Песни о полковом знамени», а некоторые даже и «Страны Муравии», слава тридцатидвухлетнего поэта докатилась до нас задолго до знакомства с ним. Мы ждали его с нетерпением. Многие из служивших в редакции знали Твардовского по финской войне, но и те, кто, как оказалось потом, не видели его ни разу, рассказывали массу удивительных и маловероятных подробностей его биографии, характера, быта: такова — увы! — оборотная сторона известности.

Мы стояли тогда в густом лесу под Малоярославцем. Наши палатки были раскинуты под прикрытием деревьев, а неподалеку на железнодорожной ветке стоял замаскированный редакционный состав. И вот тут как-то в весенний день вылез из попутной машины молодой Твардовский. Едва он удалился, чтобы доложить о прибытии, все принялись обмениваться первыми впечатлениями. Кто-то очень точно сказал о его внешности: «Помесь красной девицы с добрым молодцем».

Он был удивительно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго. Подвижные брови иногда удивленно приподымались, иногда хмурились,

сходясь к переносью и придавая выражению лица суровость. Но в очертаниях губ и округлых линиях щек была какая-то женственная мягкость. Несмотря на удивительную моложавость, он выглядел и держался так, что никому и в голову не приходило на первых порах называть его Сашей, как это было принято у нас и как некоторые уже звали его за глаза задолго до первой встречи.

Каждый, кто хотя бы раз в жизни встречался с Александром Трифоновичем, знал за ним эту удивительную особенность — воздвигать невидимую стену между собой и собеседником, не допускавшую фамильярности, дурного панибратства. Он не воздвигал сознательно эту невидимую черту, этот барьер, особенно ощутимый тогда, когда собеседник был, на его взгляд, плохим, ничтожным человеком. Это было какое-то особенное, одному ему присущее органическое свойство, которому я не могу придумать названия. Это не было ни высокомерием, ни в малой степени ощущением своей отмеченности и значительности. Тем более что проявлялось это свойство часто в отношениях с людьми высокого положения или обладающими общепризнанной известностью. Он любил поговорку: «Каждый задается настолько, на сколько ему не хватает разума». А уж разума ему было отпущено с лихвой.

Когда мы узнали его поближе, мы поняли, что эта кажущаяся суровость, строгость — некий щит, под прикрытием которого он неторопливо изучает тех, с кем его свела судьба. Александр Трифонович нелегко сходился с людьми. Но, испытав к кому-нибудь доверие, он прочно закреплял свое доброе, хотя и требовательное, отношение к нему. И тогда он позволял себе раскрыть те черты, какие скрывались до поры за так называемым «непроницаемым» щитом. Я не берусь перечислять эти черты его сложного характера, хочу только отметить и застенчивость и способность по-детски удивляться, радоваться или огорчаться. Не всем дано сохранить до седых волос детскую душу. Она была до самой смерти у Александра Трифоновича Твардовского.

Те немногие, кого он называл своим другом, знали устойчивость, прочность его дружбы. Однако это не значит, что к друзьям он бывал снисходителен. Нет, его бескомпромиссность, нетерпимость к человеческим слабостям, ко всякой фальши, несправедливости, лицемерию не давали спуску никому. Он умел жестоко высмеять, как выстегать, ранить словом, не делая при этом разницы между близким другом и человеком сторонним.

В ту пору в литературном составе редакции работали писатели Вадим Кожевников, Евгений Воробьев, Морис Слободской, Цезарь Солодарь. Все они, наверное, помнят, как мы собрались однажды в полутемном от маскировки редакционном салон-вагоне и Твардовский стал читать нам первые, еще

нигде не публиковавшиеся главы «Василия Теркина», которые он привез с собой. Он сидел у стола, и заметно было, как он волнуется. Мы же еще не знали, что нам предстоит услышать. Многие ждали веселых приключений лихого солдата, вроде того Васи Теркина, что писался группой поэтов в уголке юмора газеты «На страже Родины» во время финской кампании.

Но вот он начал читать:

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной —
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда,—
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б — вода.

Сейчас эти строки звучат для нас как вступление к знакомой, любимой поэме. Тогда услышали мы их впервые. И читал их Твардовский.

Все ждали стихов Твардовского с интересом. Вагон был заполнен людьми, которые только что обменивались шутками, передавали друг другу сигареты, прикуривали, одобрительно кивали головами, слушая первые строки. Только что. Сейчас, несмотря на то, что народу в вагоне сильно прибавилось и у раскрытых дверей кучкой стояли солдаты, тишина была такая, какая редко, наверное, случалась в военную пору. А молодой, сильный голос, в котором звучал временами смоленский говорок, выводил:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька...

Как все просто, как похоже на твои собственные мысли, только ты не знал, не умел их так ясно выразить. Много лет спустя я прочел в одной из статей Твардовского: «...кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!»

Как хорошо, что в наше время существует запись человеческого голоса. И многие знают по пластинкам (как жаль, что их выпускают так мало), как читал свои стихи Александр Твардовский. Но, конечно, читал он по-разному. Ведь наст-

роение читающего, аудитория, ее ответная реакция — многое влияет на характер исполнения. И я благодарен судьбе за то, что она даровала мне радость слушать живого Твардовского. И особенно за тот первый раз.

Читал он великолепно, просто, не прибегая к актерским приемам, не повышая голоса, не помогая себе жестикуляцией. Мне довелось присутствовать однажды в редакционном кабинете толстого журнала, когда один известный поэт принес свои стихи для опубликования. Как он их читал! Он то шептал, то кричал во весь голос, он отбивал такт ногами, почти пританцовывал, руки его ни на миг не оставались в покое — они то рассекали воздух, то плавно плыли в нем... И видавший виды редактор сказал: «Нет, так не пойдет. Вы прекрасно прочитали стихи, почти как Качалов. Браво! Но поглядим, каковы они без этого актерского блеска. Оставьте, я прочту их глазами».

Не было и тени актерского блеска в том, как читал Твардовский. Да и нужно ли это, когда сами слова хватают за душу? Мы слушали эти слова — единственные, точные, незаменимые — и радовались, и удивлялись им. И сочетание этого легкого смоленского говора и слов не псевдонародных, а подлинно народных, которые не просто слышал, впитав с детских лет, а которыми привычно пользовался, едва научившись говорить, босоногий мальчишка из смоленской деревни, со словами всегда русскими, не модными, не общепринятыми, за которыми стоят знания обширные, глубокие, культура подлинная,— вот это сочетание и было речью Твардовского.

Литературоведы, критики не раз, наверное, будут возвращаться к языку Твардовского — эта тема неисчерпаемая. Они это сделают лучше меня, им и карты в руки. Я же только радовался, слушая эту речь. Я имею в виду не только стихи. А то, как он разговаривал, как строил фразы, какие слова находил.

Итак, мы слушали первые главы «Василия Теркина». С этого дня на протяжении всех лет войны они печатались по мере написания в нашей газете «Красноармейская правда». Последняя, заключительная глава «От автора» была написана или, во всяком случае, начата в памятную ночь с 9 на 10 мая 1945 года.

Мы были свидетелями того, как одна за другой рождались главы «Теркина». Но это не следует понимать буквально. Работая, Александр Трифонович до поры ни с кем не делился, никогда не писал на людях. Сидел подолгу один в землянке или в лесу, никому не показываясь. Помню его одинокую фигуру в накинутой на плечи длинной шинели, бродящую в лесу, среди покалеченных войной стволов деревьев. Он любил писать ранним утром и всегда старался ра-

ботать допоздна, часть работы, ту, что уже завязалась, отложив на завтра, чтобы, чуть забрезжит свет, снова сесть к столу (опрокинутому ящику, пню — где придется), на котором уже лежит пусть малое, но все же начало для разгона на сегодня.

Когда глава сдавалась в печать, он сразу становился общительнее, веселее, старался размяться. Он очень любил проявлять свою немалую физическую силу, то есть не показывать ее, а просто выпустить ее на волю. То он колол дрова для печурки, то рыл новую землянку, никогда не упускал случая подтолкнуть, вытащить завязшую машину, боролся с немногими охотниками померяться с ним силами, с готовностью принимал участие в застольных сборищах, на которых с охотой и старанием пел старинные народные песни.

Однако эти короткие промежутки видимой передышки после только что сданной новой главы «Василия Теркина» вовсе не означали полной свободы, отключения мысли, как это могло порой показаться со стороны. Его слух и зрение были в постоянном напряжении — они ловили, копили материал для продолжения поэмы.

Самый большой, бесценный материал он черпал, конечно, в частом пребывании на передовой, в воюющих частях, хотя редакционные задания, служившие поводом для таких командировок, и отвлекали его от непосредственной работы над «Теркиным».

Не скажу, чтобы рисунки, которые я делал для глав «Василия Теркина» на страницах «Красноармейской правды», украшали газетную полосу. Более серьезно надо было думать об иллюстрациях, когда речь зашла об издании первых глав поэмы отдельной книгой, а эта счастливая возможность возникла уже в 1943 году.

Мне хотелось открыть книгу фронтисписом с портретом Василия Теркина. И это оказалось самым трудным. Каков он, Теркин, собой? Многие солдаты, портреты которых я набрасывал с натуры, казались мне чем-то похожими на Теркина — кто улыбкой, кто прищуром веселых глаз, кто всем милым, усеянным веснушками лицом. Но ни один из них не был Теркиным. Я оказался в роли Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы»: «...Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...»

Разумеется, каждый раз я делился результатами своих поисков с Александром Трифоновичем. И каждый раз слышал в ответ: «Нет, это не он». Да я и сам знал — не он.

Но вот однажды в нашей редакции появился приехавший из армейской газеты молодой поэт. Приехал он к Твардовскому почитать ему свои стихи. Василий Глотов всем нам сразу понравился. У него была добрая улыбка, веселый нрав. И еще мы знали, что не ведавшему снисхождения Твардов-

скому понравились некоторые, еще незрелые стихи молодого поэта. Прошло несколько дней, и вдруг я с пронзившим меня радостным чувством узнал Василия Теркина в Василии Глотове. Я бросился к Александру Трифоновичу со своим открытием. Он сначала удивленно вскинул брови, потом попросил меня для начала нарисовать Глотова и показать ему.

Я не был обескуражен его реакцией. Наоборот, она меня обрадовала. Александр Трифонович был далек от проблем и интересов изобразительного искусства, но он понимал, что сама жизнь и ее художественное изображение не одно и то же.

Идея «попробоваться» на образ Теркина показалась Глотову забавной. Когда я рисовал его, он хитро прищуривался, расплывался в улыбке, что делало его еще больше похожим на Теркина, каким я его себе представлял. Я нарисовал его анфас, в профиль в три четверти, с опущенной головой. Показал рисунки Твардовскому. Александр Трифонович сказал: «Да». И это было все. С тех пор он никогда не допускал ни малейшей попытки изобразить Теркина другим. В дальнейших публикациях, в зависимости от характера издания и способа печати, я переделывал этот портрет, меняя только технику исполнения, но стараясь не нарушить сходства.

Кстати, о сходстве. Естественно, мои наброски с Глотова не были протокольным, точным повторением его черт, да и вряд ли буквальное копирование чьего-либо лица может привести к созданию облика литературного героя. Все мои прежние поиски теркинских примет в других лицах, конечно, не пропали даром. Я аккумулировал их, рисуя того Теркина, основой которого стал Глотов.

Но все же Глотов надолго стал Теркиным — товарищи по армейской газете не называли его иначе. Сейчас писатель Василий Глотов живет и работает во Львове, недавно ему исполнилось шестьдесят лет.

То, что я был свидетелем событий, которые либо вошли в главы «Теркина», либо стали фоном для них или толчком для их возникновения, то, что я видел и мог с натуры рисовать места, где происходили описанные в них события, помогло мне в работе над иллюстрациями к «Василию Теркину» и «Дому у дороги». Помогло не буквально пересказать содержание, а идти как бы параллельно со стихами, со своим изобразительным рассказом. Вместе с тем я мог сохранить в рисунках конкретность и времени и места действия. И разрушенный, сожженный Смоленск, и мощенные бревнами болота Белоруссии, и равнины Восточной Пруссии с дальними готическими шпилями, и тот прусский городок, где писалась глава «В бане», даже тот стул из графского дома — все, это виденное, хоженое и рисованное.

Кстати о бане. Он любил всласть попариться в баньке, гордился знанием тонкостей банного дела и особо — своим умением тереть спину. Однажды в прусской деревне командир части решил угостить нас отличной, оборудованной на русский манер баней. Нас было трое — Александр Трифонович, художник Горяев и я. Разумеется, мы с восторгом приняли приглашение. Едва раздевшись, Твардовский тотчас же решил продемонстрировать нам свое умение, сначала на спине Горяева. Едва над спиной Виталия стала гулять мочалка и в баньке раздались его первые сладостные стоны, подоспел присланный начальством пожилой сержант-банщик. Увидев в предбаннике гимнастерку с погонами подполковника и две другие — с капитанскими, он, отпихнув Твардовского, ласково склонился над разомлевшим Горяевым: «Разрешите мне, товарищ подполковник» — и стал со знанием дела обрабатывать его лопатки, «подполковник» беззвучно похохатывал, с торжеством поглядывая на Твардовского. Надо было видеть лицо сержанта, когда мы стали одеваться...

Когда я стараюсь представить себе Твардовского тех военных лет, он почему-то видится мне в лесу, среди березовых стволов или еловых зарослей. Хотя стояли мы в те годы не только в лесу, а жили и в бункерах, на вершине Вороньей горы у въезда в Смоленск, и в бараках на краю поля, и в прибалтийских городках, и в совсем лишенных леса немецких хуторах.

Может быть, это представление возникает оттого, что я впервые увидел его в лесу, или оттого, что он всегда с такой нежностью относился к живой природе, так знал и любил лес, столько прекрасных слов сказал о нем в своих стихах. Какой болью наполнены строки:

Лес — ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку, как-нибудь.
Не корчеванный фугасом,
Не поваленный огнем...
Блиндажами не изрытый,
Не застроенный зимой.
Ни своими не обжитый,
Ни чужими — под землей...

И даже «на околице войны, в глубине Германии» он вспоминает не раз родную березу. Помните эти строки в главе «По дороге на Берлин»:

Далеко, должно быть, где-то
Едет нынче бабка эта,
Правит, щурится от слез,
И с боков дороги узкой,
На земле еще не русской,—
Белый цвет родных берез.

Ах, как радостно и больно
Видеть их в краю ином!..

Однажды я увидел его необычайно возбужденным. Обычно невозмутимый, Александр Трифонович стоял, широко расставив ноги, против дома, где еще недавно размещался немецкий штаб, и о чем-то горячо говорил, размахивая руками. Я не сразу понял причину его волнения. Оказалось вот что: мостки через канавы, заборчики палисадников, лесенка, ведущая к дому,— все было обнесено аккуратными оградками из белоснежных стволов молодых берез. Позже, идя дорогами наступления, мы на каждом шагу видели эти затейливые заборчики, скамеечки, беседки, даже кресты на могилах, построенные с немецкой аккуратностью из срубленных березок. Но тут мы увидели это впервые. И еще кто-то заметил с одобрением: вот, мол, хозяйственный немец придумал, как украсил свое жилье. Твардовский говорил, что русский человек никогда не позволил бы себе зря губить молодые деревья. И какая уж тут красота, если срубленная береза, не очищенная от коры, сразу начнет гнить. Не могли немцы не знать этого. А раз знают, то лишний раз подтверждают временность своего пребывания на нашей земле.

Позже он написал об этом очерк, который так и называется «О русской березе». И там есть такие строчки: «Мертвенность — вот сущее впечатление всего, что немец нагородил из березы. Чудное народное дерево безвкусно и кощунственно употреблено чужеземцем на украшение захваченной им земли».

Много-много лет спустя кто-то, пожелав сделать мне приятное, соорудил подобную скамеечку в саду около моего дома. Я с ужасом разобрал ее и унес колышки. Я торопился. Александр Трифонович собирался зайти ко мне в этот день.

Можно ли было упрекнуть его в пацифизме, во всепрощении? Все его творчество военных лет красноречивей всяких слов говорит о его ненависти к фашизму. Но вот он рассматривал как-то фотографию, изображавшую группу немецких солдат, и говорил, что вот для нас все эти лица объединены одним понятием «противник». А сколько за этим словом разных людей, характеров, судеб. А за каждым из них — семья, ожидающие, страдающие люди. В ту пору никому из нас не приходила в голову такая мысль, а приди она, мы не решились бы высказать ее вслух. А он мог. Кажется, не было таких обстоятельств, такой обстановки, когда бы Твардовский не говорил то, что он думает.

Весна 1945 года застала нас в небольшом городке неподалеку от Кенигсберга. Наш 3-й Белорусский фронт, выйдя к Балтийскому морю, закончил военные действия раньше

других, воевавших тогда в сердце Европы. По дорогам Восточной Пруссии потекли людские толпы. Навстречу войскам шли, ехали на чем придется, с трудом передвигались люди, освобожденные из плена, неволи передовыми частями нашей армии. Здесь шли вперемежку люди всех национальностей и возрастов. Одежда их оборвалась, истлела, превратилась в рубище. Но что-то еще сохранилось, не совсем утратило свой изначальный вид. Береты, островерхие пилотки, тюрбаны из тряпья, деревянные сабо, пледы и одеяла, накинутые на плечи, самодельные шляпы и шляпы, видавшие лучшие дни. Все это шло пешком, катилось на двуколках, тарантасах, велосипедах, спотыкалось на высоких каблуках, растекалось по дорогам, располагалось табором вдоль обочин.

Александр Трифонович пристально наблюдал за этим живым потоком. Он рад был случаю угостить сигаретой, завязать разговор, обменяться шуткой. Люди были так возбуждены свободой, весной, возможностью общения, им хотелось говорить с кем угодно — слишком долго они молчали.

Помню, как встретилась нам группа молодых итальянцев. И нам, и им хотелось высказать расположение друг другу, но, увы, весь запас итало-русских слов был исчерпан в одну минуту. Александр Трифонович попросил Льва Хахалина, ответственного секретаря нашей редакции, человека очень музыкального, спровоцировать итальянцев на пение. И тот завел «O, sole mio!..». Итальянцы мгновенно подхватили. Мы подпевали им, как умели. Потом мы, хлопая друг друга по плечам, пели во весь голос «Катюшу» и долго не могли расстаться. Какие это были дни!

На восток, сквозь дым и копоть,
Из одной тюрьмы глухой
По домам идет Европа,
Пух перин над ней пургой.

День 9 мая был солнечный и жаркий. Этот день каждый, наверное, запомнил по-своему и навсегда. И вместе с тем волнение, охватившее нас, не давало возможности запомнить все ясно и последовательно. Все события этого необыкновенного дня сливаются в непрерывное ликование.

«Это был тот самый праздник, которого мы столько лет ждали в муках и горе, в безмерно огромном труде»,— писал Твардовский, вспоминая День Победы.

Я помню, как на залитой солнцем улице плакал пожилой солдат, как обнял его Твардовский, пытаясь успокоить. Солдат же бесконечно повторял одно и то же: «Сегодня люди перестали убивать друг друга!»

А вечером гремел салют из всех видов оружия. Стреляли все. Стрелял и Александр Трифонович. Палил из нагана в светлое от разноцветных трасс небо, стоя на крылечке акку-

ратного прусского домика — последнего нашего военного пристанища. Какой невообразимый, немыслимый, какой веселый шум стоял тогда... «И ни один из этих и множества иных звуков не принадлежал чужой силе...» — писал Твардовский в том же своем очерке, назвав его «Утро праздника».

Опустошив барабан, Александр Трифонович ушел к себе и заперся. Как ему писалось в этом неуемном шуме, всплесках хохота, нестройного хорового пения, среди всех этих звуков радости, рвавшейся наружу?

* * *

Второй портрет нарисован в 1966 году в дачном поселке под Москвой, где постоянно жил Александр Трифонович и где много лет живу я. Портрет этот был впервые опубликован в книге его лирики, изданной «Советским писателем» в 1967 году. Подарив мне экземпляр книги, Александр Трифонович сделал под портретом шутливую надпись; она заканчивалась так:

...Ты вопреки веленью добрых правил
На темени моем волос убавил,
Чтоб сблизить с лысиной своей.

Увы, двадцать четыре года отделяли один портрет от другого. Русые волосы и поредели, и поседели на прекрасной голове доброго молодца.

В этом наброске я ограничился изображением головы. Официальный портрет требовал, наверное, воротника, галстука, бортов пиджака. Но для меня образ Твардовского не вяжется с городским его обличием. Наши отношения сводились больше к ситуациям, когда он бывал или в гимнастерке, как в годы войны, или в расстегнутой куртке, свитере, ковбойке, ватнике — его обычной одежде дома и в поездках. Вот таким я видел его, когда он шел в лес по грибы, или пересаживал молодые деревья в своем саду, или отбрасывал снег с дорожек, орудуя огромной лопатой. В городском обличье я видел Александра Трифоновича гораздо реже, навещая его изредка в редакторском кабинете «Нового мира», либо на каких-нибудь официальных вечерах.

Если не считать жизни в одном и том же поселке, где счастливая судьба снова свела меня с Александром Трифоновичем, мне выпала еще возможность нескольких совместных поездок с ним — на Смоленщину и на сибирские стройки.

Как-то в середине 50-х годов Александр Трифонович предложил мне поехать с ним в Смоленск и оттуда в его родное Загорье. Мы гостили два дня в Смоленске у Марии Митрофановны, матери поэта, которая так счастлива была принимать редкого дорогого гостя, что и мне, случайному попут-

чику, досталась добрая доля ее любви, радости, гостеприимства. Оттуда мы съездили в совхоз Лонницу, к брату Твардовского, Константину Трифоновичу, унаследовавшему от отца мастерство и любовь к кузнечному делу. Погостив в Лоннице, мы отправились дальше, в районный центр Починок, неподалеку от которого, близ деревни Загорье, родился Александр Трифонович. Из Починка мы уехали на двух машинах и даже с эскортом — добровольный охотник, молодой паренек на мотоцикле, показывал дорогу. То есть он искал ее, эту несуществующую дорогу среди полей, прорезанных перелесками, потому что и хутора, где когда-то родился Твардовский, как и дороги к нему, давно́ уже нет. Наш запыленный гонец то появлялся, то снова исчезал среди высоких хлебов, наконец возник, широко улыбаясь, издали возвещая и криком, и гудками, что нашел, нашел то место, где стоял когда-то отчий дом его прославленного земляка.

Никогда не забуду, как он стоял там на пустом месте, угадывая по одному ему заметным следам, где был дом, сарай, где росло заветное дерево... Мы расступились, отошли, оставив его одного; я и сейчас вижу, как он стоит там на взгорке и ветер играет его волосами. За ним было только светлое полуденное небо и высокая гряда облаков.

...Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей...

Мы долго стояли поодаль, пока он не взглянул в нашу сторону, и тогда мы подошли. Этот пригорок, заросший ольхой, окруженный кольцеобразной канавой—«копань», как называл ее Александр Трифонович,— и был единственным следом того, что здесь было когда-то жилье. Много лет назад кузнец Трифон Гордеевич решил вырыть на своей усадьбе небольшой прудик, чтобы скапливалась там дождевая вода. Старшие сыновья — Саша и Костя — помогали отцу. Когда рыли канаву, землю сбрасывали в середину. Сооружение это так и не было завершено, но теперь только по его следам удалось найти то место, где был когда-то теплый обжитой дом, пока жестокая судьба не согнала отсюда семью, строившую, обживавшую и согревавшую его.

Обратно мы ехали в сумерках. Люди, сидевшие в двух запыленных машинах, не проронили за всю дорогу ни единого слова. Александр Трифонович сидел рядом с шофером, и у него было такое лицо, что, обращаясь к нему с вопросом, мы говорили шепотом. Мы заночевали в Починке, хотя собирались вернуться в Смоленск, дорогого гостя не отпускали земляки. Они раскинули для него стол и заявили, что никуда не отпустят до утра. За столом его попросили почитать стихи.

Я много раз слушал Твардовского. Но никогда — ни до, ни после этого — даже тогда, в лесу под Малоярославцем, он не читал так, как в этот вечер. Он читал свои юношеские стихи, потом стихи военных лет, потом главы из «Теркина» и несколько глав из «Дома у дороги». Эту поэму Александр Трифонович называл падчерицей, потому что она, почти совпав по времени с «Василием Теркиным», гораздо реже печатается. Я очень люблю эту поэму. Когда он читал главу: «Родился мальчик в дни войны», хозяйка дома, давно уже сидевшая с влажными глазами, теперь просто рыдала, не вытирая слез, сбегавших по ее милому румяному лицу. Плакал и ее муж, бывший в войну храбрым боевым генералом. Что до меня, то даже сейчас, много-много лет спустя, когда я вспоминаю этот вечер, стоит, не проходит комок в горле.

Мы уезжали из Смоленска ранним утром, в спешке забыв взять заботливо приготовленную руками матери снедь в дорогу. Магазины были еще закрыты, возвращаться не хотелось — пути не будет,— и мы заехали по дороге на вокзал. В зал ожидания, где был буфет, нас не пускали — у нас не было билетов на дальние поезда. Женщина, преграждавшая нам путь, не глядя на нас, повторяла механическим голосом одно только слово: «Нельзя». Но вот она подняла вдруг глаза, всплеснула руками, потом прижала их к груди и воскликнула: «Александр Трифонович! Нет, сын ни за что не поверит мне, что я видела вас живого! Он вас сейчас в школе учит!»

И когда мы, уже нагруженные покупками, прощались с ней, она снова заверяла нас, что сын ни за что, ни в жизнь не поверит ей и что какая ей сегодня выпала великая удача.

* * *

Когда Александр Трифонович задумал поселиться на даче под Москвой, чтобы можно было работать в тишине, выбор его остановился на том поселке, где я уже обитал несколько лет. Александр Трифонович подробно расспрашивал меня об этом месте, об условиях нашего быта, о людях, живущих здесь. Мне очень хотелось, чтобы Твардовские стали нашими соседями, и я не скупился на похвалы, но объективности ради сказал, что вот только далековато от города, сообщение плохое, иногда из-за этого пропускаешь что-нибудь интересное или важное. Твардовский глянул на меня с удивлением. «В наши годы страшно одно — пропустить хорошую мысль»,— сказал он.

Поселившись здесь, он привязался к нашим местам. И зимой, и летом, как бы поздно ни задерживали его дела в городе, он старался хоть к ночи вернуться сюда, чтобы проснуться и начать новый день в тишине, среди берез.

В одной из лучших своих статей, открывающих собрание сочинений И. А. Бунина, Твардовский писал: «Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под деревом,— он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышался в рассказе. Он знает все травы, цветы полевые и садовые...»

Все это в полной мере можно отнести к самому Твардовскому. Он отлично знал природу и потому так любил ее:

Трава была травы добрей —
Горошек, клевер дикий,
Густой метелкою пырей
И листья земляники.

Для него природа была родным домом. Он относился к ней уважительно, по-хозяйски. Он знал, где можно, где нельзя ходить по траве, потому что это не просто травка, а покос, знал, когда и как можно ранить дерево, чтобы добыть сок, не причинив ему вреда; знал, когда и как пересаживать деревья, чтобы они прижились, как обрезать их, чтобы стала пышной крона. Он никогда не выбирал непременно хорошей погоды для дальнего похода в лес — шел в дождь, не замечая его. Он шел по лесу как хозяин, угадывая по своим тайным приметам грибные места, ругался, увидев следы варварской порубки. Брошенные в лесу обертки, куски газет, всякий пикниковый мусор возмущал его, и он никогда не шел дальше, пока не вытащит спички, не разожжет костерок и не спалит весь собранный им мусор. И не уйдет, пока не убедится, что костерок догорел.

Он всегда пользовался спичками и, хоть и был заядлым курильщиком, никогда не хотел прибегать к помощи зажигалки. Даже тогда, когда болезнь ограничила подвижность рук, он ухитрялся одной левой зажигать спичку о прижатый к груди коробок. Друзья подарили ему тогда удобную настольную зажигалку, но он продолжал упрямо чиркать спичками. Он вообще относился с недоверием ко всяким бытовым новшествам. Долго не хотел пользоваться электробритвой, косо поглядывал на женщин в брюках, иронически относился к изменчивости моды в одежде, как не признавал всякую моду в быту, в искусстве и литературе. Но тут его никак нельзя было обвинить ни в косности, ни в консерватизме, скорее наоборот — он видел дальше и глубже многих.

Он знал народные приметы и верил им. И если он говорил, что первый снег непременно растает, потому что лег на мягкую, не схваченную морозом землю, что весна нынче будет ранняя или лето дождливым, что гроза пройдет стороной,— мы знали, что так и будет.

Мы шутили, что он угадывал перемены в природе раньше, чем они происходили. И он радовался им. Когда-то. Но вот у меня есть фотография — на ней Александр Трифонович, подняв трость (одну из тех, что он сам вырезал и любовно остругивал), показывает на порозовевшие по-весеннему макушки голых берез. И я помню, что он говорил при этом. А говорил он, что вот идет весна, а с годами перемены в природе воспринимаются не радостно, как прежде, а тревожно и болезненно. Это была его последняя весна, то есть почти последняя. Была еще следующая, которую он видел уже только из окна своей комнаты.

А еще в том году, к которому относится эта фотография, он, как всегда, косил траву, пересаживал деревья, копал землю, орудовал топором и пилой. Делал он все это так умело, так ладно и как будто с легкостью, что радостно и весело было глядеть на него.

Как и в военные годы, он любил работать ранним утром. Когда он заходил за мной поутру, чтобы, еще заспанного, вести на речку (пристыдив, что я поздно сплю и не вижу такого прекрасного утра), всегда оказывалось, что он уже успел что-то написать и прочесть.

Когда он успевал читать все, что прочитал на своем веку, непостижимо. Ведь кроме того обширного материала, который он считал своим долгом читать как редактор журнала, он, казалось, не пропускал ни одной новой, только что вышедшей (стоящей) книги, постоянно возвращаясь к когда-то прочитанному, открывая для себя новые имена среди пропущенных.

Я не хочу писать панегирик вместо простого рассказа о том, чему был свидетель. И не мне говорить о начитанности Твардовского — это общеизвестно. Мы только постоянно поражались его памяти на слово. Она была фантастической. Он мог процитировать целый абзац из прочитанной накануне книги. Иногда он находился под таким сильным впечатлением от нее, что в течение нескольких дней не мог ни о чем другом говорить. И когда он говорил о книге, которую ты на своем веку читал и перечитывал не раз, он всегда открывал в ней целые залежи того, что ускользало от тебя раньше и, высвеченное его вйдением, становилось открытием.

Однажды, когда речь шла о значении литературы в истории человечества, он привел полушутя как неопровержимый довод в пользу могущества печатного слова то обстоятельство, что во все времена власть имущие страшились не столько самих негативных явлений в жизни общества, сколько их отображения в литературе.

Сейчас я казнюсь, что вместо того, чтобы только слушать, раскрыв рот, Твардовского, я не записывал по свежей памяти всего, что он говорил. И еще больше казнюсь, что рисовал

его с натуры так обидно непростительно мало. Конечно, я наблюдал его так часто, что в дополнение к своим наброскам я надеюсь еще вернуться к его изображению.

А наблюдал я его по-всякому — и в быту, и на отдыхе, и даже за работой, хотя то, что называется «кухней» творчества, было скрыто от сторонних глаз. И только однажды я оказался невольным, случайным свидетелем того, как он сочинял стихи. Мы ушли далеко в лес, запасшись корзинами для грибов,— Мария Илларионовна, Александр Трифонович и я. Но, конечно, Мария Илларионовна, жена Александра Трифоновича, самый заядлый грибник из всех, кого мне довелось видеть за этим занятием, сразу обогнала нас и скрылась в лесу. Мы разбрелись. Продираясь сквозь заросли, я время от времени видел Александра Трифоновича, который, к моему удивлению, не смотрел под ноги, а прямо перед собой и что-то бормотал, невнятно, нараспев. Я отошел, чтобы не мешать, но мой спутник меня уже не замечал. Он стал говорить все громче, все отчетливее и даже отойдя так далеко, что я уже не видел его за деревьями, я услышал: «И чью-то душу отпустила боль». И снова, и снова одну и ту же эту фразу. И потом: «И чье-то сердце отпустила боль». И так попеременно. Я отошел еще дальше, а строка эта продолжала звучать в моих ушах. Через несколько дней я услышал все стихотворение. Это были те стихи, что публикуются последними (пока последними) в изданиях произведений Александра Трифоновича Твардовского.

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участья добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной,
Взялся за гуж — не говори: не дюж.

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

В этих словах смысл и цель всей огромной нелегкой жизни, они могли бы стать эпиграфом к книге о великом поэте нашего времени, эпитафией на его памятнике.

1972

ДВЕ СТРОКИ



овод для пиршества — взятие Кенигсберга. Из горящего, оглохшего от бомбежек и канонады города возвратились корреспонденты «Боевой тревоги», нашей армейской газеты. Как не «обмыть» такую победу?

Едва мы начали разливать по стаканам и кружкам вино, как услышали под редакционным окном скрип тормозов. В дверях появились Твардовский, Верейский, Горяев и еще два или три корреспондента из фронтовой газеты «Красноармейская правда». Они возвращались из Кенигсберга и решили заночевать у нас.

Гости, попавшие с корабля на бал, сразу включились в торжества. Я подсел ближе к Твардовскому. Третий раз за войну судьба свела меня с ним. Хотелось поговорить, может быть, почитать стихи. Не успел я и рта открыть, как с наполненным стаканом приблизился Валентин Доброхвалов. Майор Доброхвалов, наш вездесущий, отчаянный корреспондент, отличался повышенной склонностью к обострениям и конфликтам. Черная большая голова его была всклокочена. Он обвел взглядом сидящих, мгновение смотрел на редактора, но обратился к Твардовскому:

— Я к вам, Александр Трифонович. Вы большой писатель. Вам все можно. Вот я и хочу узнать: напишете ли Вы о Кенигсберге все, до мелочей?

— Говори ясней! — крикнули Доброхвалову.

Я с отчаянием слушал тираду своего друга. Я чувствовал, что третий раз рушится возможность поговорить с Твардовским. Однако прежде, чем досказать начатую историю, на несколько минут отвлеку читателя воспоминаниями.

Первый раз Твардовский заехал в «Боевую тревогу», когда армия стояла на отдыхе. Все мы очень хотели встретить-

ся с ним, послушать новые стихи, потолковать о Теркине. Появлявшиеся в печати главы этой поэмы мы, как правило, читали вслух, коллективно.

Из-под нашего носа редактор увез Александра Трифоновича к какому-то генералу. Через час вернулся сумрачный, без Твардовского. Рассказал неохотно:

«Адъютант доложил генералу. Попросил подождать. Ждем пятнадцать, двадцать минут. Что случилось, что за дела? Время тихое, боев нет. Армия на переформировке. Наконец выходит адъютант, приглашает к генералу. Мы поднимаемся. Твардовский за локоть придержал меня, говорит адъютанту:

— Доложите генералу, что время, которое я выделил на свидание с ним, у меня истекло.

И уехал в войска».

Второй раз я увидел Твардовского перед наступлением в Восточной Пруссии. Приехал я в «Красноармейскую правду» с рукописью поэмы о своем бывшем однополчанине, Герое Советского Союза Юрии Смирнове — «Русский солдат». В редакции я встретил Евгения Воробьева, рассказал, зачем приехал.

— Надо хватать его за полы,— сказал Воробьев.

Действительно, Твардовский стоял уже во дворе возле редакционного «виллиса».

Воробьев нас познакомил. Александр Трифонович бегло полистал поэму, сказал:

— Оставьте.

И укатил в командировку.

12 января 1945 года я развернул «Красноармейскую правду» с тайной гордостью и трепетом. В ней напечатали мою поэму. Я прочитал ее от строки до строки и заметил в двух местах правку Твардовского.

У меня было сказано о хирурге, которого Юрий Смирнов просил о выписке из госпиталя:

И, пощупав осторожно рану,
Покачал безмолвно головой.

Твардовский переделал:

Врач ощупал осторожно рану,
Покачал ученой головой.

Я описывал начало артподготовки:

Казалось, горные громады
С крутых вершин сорвались вдруг,
Все стало жертвою вокруг
Неумолимой канонады.

Твардовский усилил эту строфу:

Казалось, горные громады
С крутых вершин сорвались вдруг,
К земле склонилось все вокруг
Под низким небом канонады.

Признаюсь, я не сразу оценил редакторскую правку мастера. Я не сразу заметил, как малейшие оттенки меняют значение и весомость слова. Ведь «пощупать» рану и «ощупать осторожно рану» — не одно и то же.

«Под низким небом канонады» — зримая картина. Землю заволакивает дым сражения.

«Неумолимая канонада» — громко и только. Реальный образ за этим не встает.

Собственно, из этих мелочей складывается поэзия и непоэзия.

Редакционные остряки спрашивали:

— Сколько строчек выправил тебе Твардовский?

— Две,— с достоинством отвечал я.

— Счастливчик,— говорили мне.— Теперь в твоей поэме есть две строки, написанные талантливой рукой.

Товарищи подшучивали надо мной, а Твардовский, видно, не совсем забыл о моем существовании. Через некоторое время в Риге проводилось фронтовое совещание молодых писателей. Твардовский прислал открытку и мне, приглашал принять участие в совещании. Но я в эту пору оказался в госпитале. Открытка отыскала меня с опозданием, да и не мог я куда-либо ездить — лежал с серьезным осколочным ранением...

И вот в третий раз Твардовский рядом, совсем рядом, но какой тут может быть разговор, если Доброхвалов с полным стаканом ждет ответа.

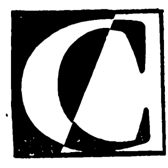
Александр Трифонович сидит нахохлившись, спокойно буравит глазами Доброхвалова. Наконец он подымается.

— В начале войны для меня было праздником, когда услышал — наши бомбардировщики дальнего радиуса действия бомбили Кенигсберг. А сегодня в Кенигсберге наша пехота. И это для меня главное. Давайте выпьем за главное!

Мы выпили за главное. И читали стихи из «Теркина».

Дмитров, 1973

«КОСИ, КОСА, ПОКА РОСА...»



трашная в замахе своем, ходила с шелестом летящего над тобой снаряда коса войны и обивала кровавую росу на широком прокосе. Широк был этот прокос и страшен тем, что по ту сторону его, отступая, оставлял солдат в доме у дороги родных и близких. И что с ними там — живы ли, под своим ли кровом или угнаны на чужбину,— неизвестно, да и не будет известно, пока не вернется боец с фронта, прогнав захватчиков. Да и тогда на послевоенном пепелище своем не всегда встретит тех, о ком думал все эти годы. Но так глубока и необратима его вера в торжество жизни, в возвращение близких, что, отложив костыль, еще прихрамывая, возьмется он за плотничий топор и на выжженной земле — тюк да тюк — возведет под крышу на месте старого, разрушенного войной новый сруб и будет ждать, верный древнему поверью, будто срубленный для кого-то дом ускорит возвращение тех, для кого он рублен:

Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой.

Не знаю почему, среди других больших произведений Александра Твардовского, вышедших из-под его пера, поэма «Дом у дороги» особенно близка и дорога мне. Может быть, потому, что ни в какой другой поэме не сказалась так пронзительно любовь поэта к жизни во всех ее проявлениях, причастность его всему живому — от гудящего в росной траве отяжелевшего шмеля до наших пленных солдат, идущих в сборных ротах, до рожденного в неволе мальчика, сына крестьянки, оказавшегося уже под стражей со дня своего рождения.

Может быть, близка эта поэма и потому, что место действия ее знакомо тебе и ты видел эти образцовые поместья и бараки — тоже образцовые — для батраков, русских, угнанных сюда на трудовую повинность из России, потому, что сам шагал по Кенигсбергскому шоссе уже в наступлении, преследуя врага огнем и колесами.

А может быть, и потому, что в годы войны в доме у дороги, где-то на подступах к Восточной Пруссии, в Литве, ты встретился однажды воочью с автором этого удивительного повествования.

Да, так оно и было!

Впервые Александра Трифоновича Твардовского, тогда подполковника, я увидел на литовском хуторе близ местечка Гришка-Буда. Местечко это запомнилось мне своей тишиной и как бы отдаленностью от войны, гремевшей где-то за околицей. Впервые после двухлетней службы орудийным номером и артиллерийским разведчиком, после сумасшедших рейсов за снарядами на «интерах» и «студебеккерах», я очутился на тихом хуторе, в расположении дивизионной газеты «Во имя Родины», куда, как бывшего журналиста, да к тому же пописывающего стихи, перетянул меня с прежней службы Аркадий Сахнин, редактор.

Стояла осень сорок четвертого. Твардовский в открытом «виллисе», потрепанном, как все «виллисы» на фронте, завернул на этот хуторок, возвращаясь с передовой, из окопов Штурмовой комсомольской бригады, занимавшей позиции впереди наших артиллеристов. Уже вечерело, и Аркадий Сахнин, сопровождавший Твардовского в этой поездке, видимо, уговорил его заехать — передохнуть и перекусить. Не знаю, о чем шел у них разговор, но Сахнин, желая показать, что и наша многотиражка не лыком шита, мог упомянуть и о том, что кроме всего прочего и у него в газете есть свой поэт. Меня позвали, и я прочел свои стихи того времени. Не помню, чтобы это вызвало особый восторг нашего гостя. Некие одобрительные слова, сказанные тогда, скорее относились к тому общему хорошему настроению, которое сопутствует, как я заметил по себе, людям, вернувшимся с переднего края, вышедшим из-под огня. Это чувство полноты жизни, несмотря на усталость, и оживляло беседу за столом. При довольно ярком свете коптилок из латунных орудийных гильз, которых нам, артиллеристам, было не занимать, неожиданно запомнились распахнутые и блестящие, должно быть, многое повидавшие за этот день, глаза Твардовского. Это потом они, через много-много лет, станут белесоватыми, как бы выцветшими от всего увиденного, словно ушедшими в себя, глядящими куда-то в неведомую тебе даль. Но в то время, о котором идет речь, глаза Твардовского глядели вокруг с живым интересом, будто вбирая все окружающее,

будто откладывая мгновенные оттиски увиденного в кладовых памяти, про запас.

Отложился, должно быть, в памяти нашего гостя и этот хуторок, и стол с двумя латунными светильниками, и сержант, мальчишка по возрасту, в изрядно потасканной солдатской гимнастерке, туго перехваченной, для бравости, офицерским ремнем, читавший свои довольно-таки неуклюжие стихи. Потому что спустя какое-то время после этой встречи, уже в Кибартае, на границе с Восточной Пруссией, зимой, наша полевая почта вручила мне открытку следующего содержания:

«Тов. Гордиенко! Вы включены в список участников фронтового совещания поэтов и писателей, о чем еще получите специальное извещение. Привозите новые стихи. Потолкуем обо всем здесь. Привет.

А. Твардовский».

Хранящаяся у меня до сих пор, как память об Александре Трифоновиче, открытка эта замечательна была тем, что на обороте изображен был художником В. Горяевым не кто иной, как Василий Теркин, развернувший от плеча до плеча гармонь. А через мехи этой гармони шли печатные строки:

Праздник близок, мать Россия,
Обрати на Запад взгляд:
Далеко ушел Василий,
Вася Теркин — твой солдат.

Написанные по следам событий, строки эти касались каждого из нас. Ведь это мы, солдаты Белорусских фронтов, разгромив группу немецких армий «Центр», в ходе летнего наступления, через Белоруссию и Литву, вышли к границам Восточной Пруссии. Далеко ушли мы! Уже наглядно, зримо ощущалась близость нашего торжества, нашей победы. Как негативная сторона событий, по ту сторону реки, за литовскими домиками Кибартая, поднимались, обугленные, задымленные остовы домов прусского города Эйдкунена. Островерхие, припорошенные снегом кровли и шпили этого города на фоне ночного неба своей призрачностью и вправду казались проявленными в негативе.

Холодом и каменной пустыней веяло на тебя среди этих руин; перекошенные и сорванные со своих мест над витринами, раскачивались под ветром начертанные готическим шрифтом вывески, и мерцали бесконечной россыпью на узких мостовых осколки стекла и хрустели под кирзовым твоим сапогом, как растоптанные елочные украшения несостоявшегося рождества.

В переулках и дворах, между свежих сугробов, еще не сплошь, не до конца засыпанные снегом, вразброс лежали

трупы гитлеровцев. И грозен, и широк был этот прокос войны. Только теперь уже косила наша коса...

А по бревенчатому мосту, наведенному нашими саперами прошлой ночью, шли и шли колонны машин со снарядами к переднему краю — накапливался боезапас для нового зимнего наступления.

По тому же мосту, миновав мертвый город, через Кибартай и дальше в глубь Литвы, к тыловым складам, возвращались они порожняком, так что не составляло труда с такой попутной машиной добраться хоть до Каунаса.

Именно туда, в Каунас, и предписывал явиться мне в самый канун Нового года упомянутый в открытке Твардовского официальный вызов на совещание поэтов и писателей Третьего Белорусского фронта.

И вот обмундированный с миру по нитке (кто дал новую гимнастерку, кто — сапоги новые, кто — свежие погоны), налегке, затянутый в не положенную мне по чину портупею, с попутной машиной, добрался я наконец до города на Немане, по нашим фронтовым понятиям жившего уже почти мирной жизнью.

Совещание писателей Третьего Белорусского фронта собрано было газетой «Красноармейская правда», на страницах которой каждый из нас, участников, успел уже до этого опубликовать стихи, рассказ или очерк.

Совещание это собралось и проходило в большом пустоватом зале с обшарпанными стенами и наспех составленными, как в сельском клубе, скамьями. Так же просты и непритязательны были стол президиума с красной кумачовой скатеркой и фанерный ящик докладчика. Но было электричество — настоящее, городское. Была обрадованная передышкой и всей этой необычной для нас мирной обстановкой молодая товарищеская компания, разместившаяся общежитием тут же, в соседних, тоже пустых, комнатах. И было тщетно скрываемое напускным равнодушием нетерпеливое желание услышать о своих писаниях слово старшего летами, званием и опытом товарища. Докладчиков, как я узнал теперь, порывшись в старых подшивках, было три. Но в те дни мне, по тогдашнему моему молодому эгоизму, запомнился, разумеется, один доклад, а именно тот, в котором шла речь о моих стихах,— доклад Твардовского «Фронтовая поэзия». Впрочем, не только мне — каждому из поэтов казалось, что доклад был о нем, что похвалили именно его стихи. Это стало ясно из туманных по скромности заявлений участников совещания после доклада, когда мы собрались в нашем общежитии, накоротке. Еще яснее читалось это по сияющим лицам поэтов. Особенно повезло Борису Карпенко. Похвала Твардовского его стихотворению «Лось» — и с этим согласились все — была особенно убедительной. Стихотворение действительно бы-

ло необычным. В нем рассказывалось о том, как два солдата в чаще прифронтового леса наткнулись на лося, не услышавшего, не почуявшего их приближения:

Здесь тропы тайные и все дороги
Покрыла мхом седеющим земля.
Припав к ручью, расставив прочно ноги,
Он жадно пил, ноздрями шевеля...

Солдат, от лица которого ведется повествование, вскидывает автомат, но его напарник-снайпер останавливает своего товарища. Ему, еще вчера из засады хладнокровно бравшего на мушку каждого оплошавшего гитлеровца, жаль убивать зверя. И вот уже оба — тот, что остановил ненужный выстрел, и другой, опустивший оружие,— оба, сдерживая дыхание, любуются первозданной мощью и красотой, горячим током самой жизни, струящейся, пульсирующей в каждой жилке лесного великана. Наглядевшись и дав напиться, солдаты вспугивают его тихим свистом, и лось, прянув, срывается с места, чтобы исчезнуть, растаять, как видение, в предутренней дымке.

И деревцем безлистым пролетели
В туман его ветвистые рога...

Чтобы понять необычность для нас этого стихотворения, так высоко оцененного тогда Твардовским, нынешнему читателю необходимо знать, когда и в какой обстановке были написаны эти стихи.

А написаны они были тогда, когда мы впервые вступили в логово врага, в логово зверя, как тогда говорили и писали,— в дни возмездия гитлеровцам за все, что совершили они во время оккупации на нашей попранной их нашествием земле. Стихотворение казалось необычным своей добротой, человечностью. Оно не то возвращало к довоенному времени, не то уводило в послевоенное.

Мы забывали о пощаде и жалости. Твардовский помнил. Помнил о завтрашнем дне, о возвращении — и скором уже — к мирному труду, к земле, к саду, к семье, к детям, когда особенно нужна будет доброта к лесному зверю и птахе, не говоря уже о человеке.

Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой...

Совещание писателей, длившееся несколько дней, закончилось, и мы разъехались по своим «хозяйствам». Началось последнее для нас на Западе наступление, и догонять своих пришлось на попутных машинах, уже где-то под Инстербургом. Война подходила к концу, так что вновь увидеть Алек-

сандра Трифоновича Твардовского довелось мне уже в послевоенное время.

Известно, как важны первые шаги на литературном поприще, как окрыляет, заставляет работать первая похвала умудренного годами, мастерством и опытом художника, его доверие.

В нашу последнюю встречу на фронте Твардовский был подполковником, я — сержантом. Это соотношение или дистанция оставались и позже — в литературе. Но, будучи старшим товарищем, он умел ободрить, поддержать, продвинуть,— разумеется, когда видел, что в ранце сержанта припрятан до поры если не жезл маршала, то, во всяком случае, все же какой-то жезл!

Так было со многими моими сверстниками. Так было со мной. После Победы и демобилизации, из Сибири, я послал Твардовскому свою первую книжку стихов «Звезды на касках» и в ответ получил такое письмецо:

«Спасибо за книжечку. Я ее просмотрел — она производит хорошее впечатление.

Почему Вы вдруг очутились в Новосибирске?

Что делаете там, что пишете?

Привет!

А. Твардовский».

Тогда же в адрес Новосибирского отделения Союза писателей на мое имя пришла телеграмма Платона Воронько, из Комиссии по работе с молодыми писателями, председателем которой в то время, кстати сказать, был А. Т. Твардовский. В телеграмме говорилось о том, что я зачислен в Литературный институт имени Горького на Тверском бульваре, куда и должен прибыть к началу учебного года.

Жилось тогда скудно, и писатели-сибиряки, войдя в мое положение и расщедрившись, выделили мне из казенных фондов ордер на ботинки и пятьсот рублей теми, еще дореформенными деньгами, с чем я и отбыл в столицу.

В Москве, на улице Воровского, в Союзе писателей, я сразу же отыскал Платона Воронько. Больше того — все как-то так удачно и даже превосходно складывалось, что тут же я увидел и Александра Трифоновича, впервые в штатском.

Твардовский, как упоминалось уже, кроме всех прочих дел по Союзу ведал еще и Комиссией по работе с молодыми писателями. В основном это было поколение пришедших с войны. Так что под штатской одеждой у всех у нас колотились еще солдатские сердца. Всего два года отделяло нас от победного салюта. Война оставалась главной темой наших писаний. Мы еще не до конца простились с павшими товарищами, не вполне осмыслили минувшие события. И было даже как-то неловко, что автор «Дома у дороги», «Я убит подо

Ржевом...», «В тот день, когда окончилась война...» и других, еще не написанных, еще ожидавшихся нами стихов, что Твардовский столько времени, урывая у себя, тратит на нас, молодых. Но, видимо, он считал это нужным.

Вот и на этот раз предстояло обсуждение рукописи, присланной начинающим автором. И поскольку я в глазах комиссии наглядно олицетворял эту самую «молодую поросль», да к тому же явился, как нарочно, к самому началу обсуждения, меня пригласили принять в нем участие.

Из моих записок может показаться, что Александр Трифонович был этаким опекуном молодых да начинающих, только и делал, что вызывал в Москву, рекомендовал журналам и издательствам. Отнюдь нет. Суровее пастыря в деле поэзии я не знал. Более жесткого редакторского карандаша, пожалуй, и не было. И недаром требовательность его многими считалась чрезмерной. Довелось эту жесткость почувствовать и мне, и, может быть, больше, чем другим, потому что мои рукописи попадались ему под руку чаще, пожалуй, чем рукописи тех, кто не желал рисковать своей репутацией, прочно установившейся в иных местах, у иных редакторов. Говорилось и о его пристрастиях, которые конечно же были. Но суждения Твардовского-редактора в конечном счете диктовались не личными пристрастиями, а подлинно высокой заботой о судьбах поэзии, о ее чистоте, незахламленности. Для него в стихах не существовало мелочей. Существенным было буквально каждое слово.

Немало всяческих и разных словесных «мелочей» встречалось, кстати сказать, и в рукописи, на обсуждение которой я неожиданно для себя попал в день приезда в Москву из Сибири.

Кроме Твардовского и Платона Воронько были еще и критики, фамилии которых за минувшие с тех пор годы как-то расплылись в памяти и выветрились. Отчетливо помню, однако, что начинающему поэту досталось-таки от них на орехи. Поэт, писавший на сельскую тему, нарочито коверкал слова, подгонял их, как ему казалось, «под народный говор». Были в его стихах и «березонька белоствольная», и «девоня чернавка», и, очевидно, казавшиеся автору очень свежими и емкими такие находки, как «заплачки», «новоледье», лисица у него смотрела «в сугробную щелку», а сам он любил «по веселой пройтиться земле», вдыхая «родимый запах торфа и навоза». Очень злоупотреблял поэт и окончаниями на «во», рифмуя, к примеру, слова «покудово» и «худово».

В лице Твардовского, когда он поднял глаза от рукописи, промелькнуло, как мне показалось, нечто озорное. Заключая обсуждение и как бы сразу снимая сугубую серьезность и удручавшую самих критиков суровость суждений о поэте,

Твардовский выразил свое отношение к псевдонародности в двух вызвавших общий смех словах:

— Худово покудово!

Его строгость к себе и другим проистекала, как мне кажется, из чувства ответственности перед павшими на войне. Все написанное он как бы отдавал на их суд, строже и безапелляционнее которого не было и не могло быть. Высшая эта инстанция не потерпела бы ни формальных ухищрений, скрывающих пустоту души, ни словесной эквилибристики, обличающей скудость мысли, ни ложного пафоса или неискренности, ни даже полуправды. Незримые судьи эти требовали от художника отдаться своему делу безоглядно. Никаких обстоятельств, смягчающих отступничество в слове, не могло быть, как не существовало оправдания отступничеству в бою на той войне, с которой они не вернулись. Это чувство фронтового братства жило во многих из нас, но, думаю, ни в ком так остро, как в Твардовском. Эхо артиллерийских залпов все еще докатывалось до нас и звучало под сводами дубового зала в Доме литераторов, в аудиториях и студенческих общежитиях, в пассажирских поездах, в пути — всюду, где читались фронтовые стихи старым друзьям и первому встречному. Мы еще возвращались с войны и не могли вернуться...

В скором поезде, удобства которого все еще сравнивались невольно с бытом теплушки из эшелонов военного времени, ехал я в свою первую творческую командировку в Винницу. В Киеве, куда наш состав прибыл утром, выяснилось, что поезд на Винницу уйдет лишь вечером.

Побродив по городу, поглазев на воздетую булаву сидевшего в седле бронзового Богдана Хмельницкого, я зашел в киевский Дом литераторов и там случайно, от партнера по бильярду, оказавшегося известным прозаиком, узнал, что Твардовский в Киеве. Мы тут же решили пойти к нему в гостиницу.

И снова, как в мой первый приезд в Москву, все складывалось так удачно и даже превосходно, что, поднявшись в номер к Твардовскому, мы застали его у себя; к тому же он был один, не занят и довольно радушно приветил нас. Между прочим Александр Трифонович любил это слово «приветить» и нередко употреблял его в письмах.

Войдя в номер, мы поняли, что Твардовский занимает его не один — с соседом, что было не удивительно, поскольку через день-два ожидались торжества по случаю 30-летия Советской Украины, гости прибывали отовсюду в немалом числе. И приходилось потесниться.

Осталось в памяти другое. На спинку одного из стульев был наброшен выходной костюм хозяина, на спинку другого — китель полковника Военно-Воздушных Сил, сосе-

да, так же отглаженный, приготовленный для выхода. На штатском костюме золотились в ряд три лауреатских медали, на военном — три Звезды Героя Советского Союза. Расположенные близко, почти рядом, костюмы эти не то чтобы соперничали, но равно соседствовали друг с другом. Удивительно и прекрасно было то, что под общим кровом сошлись как бы два мастера своего дела, два аса, владевшие один — небом поэзии, другой — фронтовым небом, оба Александры — Александр Твардовский и Александр Покрышкин, кстати земляк мой, сибиряк, уроженец Новосибирска. Вскоре Покрышкин и сам появился в номере и присоединился к нашей компании, значительно увеличившейся с приходом Андрея Малышко и других украинских писателей.

Не только я, но и остальные — что было заметно по перехваченным мною взглядам — обратили внимание на это так шедшее обоим соседство. И хотя регалии и звания не всегда соответствуют трудам, подвигам и величию человеческого духа, тут не было сомнения в соответствии. Это радовало и вселяло гордость, особенно за нашего хозяина-мастера, ибо главенство в компании принадлежало ему, а мы принадлежали к его цеху — к цеху поэтов.

Андрей Малышко принес рукопись только что завершенного перевода на украинский язык поэмы Твардовского «Дом у дороги».

Нет, воистину война хотя и стала нашим прошлым, все еще шла за нами по пятам и не хотела отстать.

Едва успели гости освоиться, Твардовский распорядиться об угощении, а Малышко развернуть рукопись и приступить к чтению своего перевода, как послышался стук в дверь и в комнате явилось новое, судя по всему важное, лицо.

В молодости внимание наше бывает острым и цепким даже к малозначительным, казалось бы, деталям. Так что вошедший помнится мне до сих пор со всеми подробностями. Прежде всего бросились в глаза его черные, с квадратными носами, блестящие ботинки; костюм тоже был строгим, черным, с широкими плечами. Вообще весь он казался чрезвычайно устойчивым и как бы квадратным.

Александр Трифонович пошел ему навстречу, а мы, чувствуя некоторую напряженность и внутренне, и внешне подтянувшись, незаметно для себя выстроились шеренгой у стены — строем, вдоль которого, сопровождаемый нашим хозяином, и шел, останавливаясь и пожимая руки, новый гость. Твардовский, представляя нас, называл фамилии. И опять меня — да и других, наверное,— порадовала и ободрила внутренняя стойкость, независимость и даже как бы обособленность нашего хозяина от суетности минуты; он ни в чем не изменил себе, ни в осанке, ни в голосе, ни в словах, с кото-

рыми обращался к новому гостю, ни в ответах на его довольно поверхностные, впрочем, вопросы.

Гость отбыл. И мы, рассыпавшись из шеренги по комнате, вернулись к рукописи Малышко, снова развернутой для чтения. Тут, кстати, подоспело угощение, еще более оживившее всю компанию.

Поэзия перевода была высокой и вызвала одобрение многих, в том числе самого автора. Не только метрика и крепость стиха, но и образы, и детали, хотя и несколько измененные в украинской трактовке, соответствовали оригиналу и трогали необыкновенно. И снова мы возвращались к войне, к ее началу:

Коси, коса, поки роса,
Зіб'єм росу — клади косу.
І сад ловив тонку луну,
А з пятки й до носочка,
Підмивши збитош трав'яну,
Текли роси струмочки...

И для сравнения — по-русски, в оригинале, опустив рукопись, на память:

Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой.
Таков завет и звук таков,
И по косе вдоль жала,
Смывая мелочь лепестков,
Роса ручьем бежала...

Слушая тогда эти и другие строки из «Дома у дороги», мы еще не знали, что в душе Твардовского роились уже новые, послевоенные образы, зрел замысел и складывался план другой, новой поэмы, с иными просторами, с иным рефреном, с иными человеческими судьбами. Но поскольку эти воспоминания мои относятся к событиям фронтовых и примыкавших к ним первых послевоенных лет, я ограничусь в них лишь временем создания и выхода в свет «Дома у дороги», не касаясь поэмы «За далью — даль».

Кстати, Даль Владимир Иванович в Толковом своем словаре живого великорусского языка приводит пословицу, ставшую рефреном и так углубившую и расширившую течение поэмы Твардовского «Дом у дороги», в несколько иной редакции. У Даля пословица звучит так:

Коси, коса, пока роса,
Роса долой, и ты домой.

Лишь особое озарение могло подсказать художнику эту незначительную на первый взгляд замену местоимений. Бытовой, ограниченный крестьянским двором смысл ее раздви-

нулся необыкновенно. Теперь она выражала надежды и чаяния огромного количества людей, не только угнанных на чужбину или эвакуированных в тыл, но и занятых ратным трудом на тысячеверстных фронтах. Это «мы», поставленное поэтом в строку вместо «ты», явилось широчайшим обобщением человеческих судеб на войне. Теперь художник говорил не от себя, как ни велика и значительна его личность, но от лица народа.

Мне довелось не раз и позже бывать около Твардовского — в московском Доме литераторов, в столичной гостинице «Москва», у Расула Гамзатова, поэзию которого он уважал, в квартире Алексея Фатьянова, у которого, живя по соседству, он часто бывал в 50-е годы.

В последний раз я видел Твардовского в его кабинете в редакции «Нового мира», на Пушкинской. Он поднялся навстречу и приветил меня радушнее прежнего. Печать усталости лежала на его лице, и нечто старческое было уже в морщинках по углам губ. Светлее обычного, как бы выцветшими от виденного, были его и всегда-то не густого, а как бы рассеянного цвета глаза. Посветлела еще больше и проредилась седина, раньше как-то и не замечаемая вовсе.

Речь шла о моей сибирской поэме «Там, за большим перевалом», две главы из которой — «Босую власть» и «Мотькин пихтач» — он одобрил. В других главах остались его пометы.

Он спросил меня о моей жизни и делах. Я сказал, в осуждение себе, что много перевожу. Но он возразил, утверждая, что писатель должен работать в разных жанрах и видах литературного труда, не только в поэзии и прозе, но и в переводе, и в очерке.

— Как говорил старик Маршак, хозяйство наше должно быть многопольным...

И задумался.

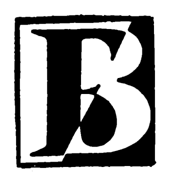
Может быть, слово это отпочковавшееся от емкого, связанного с крестьянскими работами и ратным трудом слова «поле», напомнило ему о полях сражений минувшей войны, а может быть, о вспаханных плугом или колосящихся хлебами десятинах его детства и юности на Смоленщине, в Загорье, среди косогоров, березовых перелесков и лугового разнотравья — на земле отцов и дедов...

Щедрым и высоким в лугах России был покос его жизни, его поэзии.

Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой.

1974

ОН И НАШ, БЕЛОРУССКИЙ



первые я встретился с Александром Твардовским в Минске в начале 30-х годов. Мне было тогда лет двадцать пять — двадцать шесть, ну, а Саше Твардовскому, как тогда мы его звали, лет двадцать с небольшим. Появился он в Минске как молодой поэт вместе с группой смоленских литераторов, в которую входили Михаил Исаковский, Ефрем Марьенков, Николай Рыленков, Николай Грибачев и другие. Наиболее известным из смолян был в то время Михаил Васильевич Исаковский, о нем даже писал Максим Горький. Да и прозаик Марьенков, постарше годами, как-то выделялся. Александр Твардовский держался скромно, на нем будто лежала еще печать какой-то сельской замкнутости. Он не стремился выступать в обсуждениях, но по его проницательным голубым глазам было видно, что он пытается как можно лучше понять окружающее. Ведь, как потом рассказывал нам Твардовский, его глубоко интересовала Советская Белоруссия как соседка Смоленщины, с которой он был связан кровными узами, и как республика,— с ее развивающейся культурой. Да и творчество некоторых наших поэтов уже в то время привлекало его.

Помню, что мы вместе со смоленскими гостями выступали на предприятиях и в клубах, обменивались обещаниями дружить и переводить друг друга. Да вот не скажу, что много обещаний давал молодой Твардовский, он и тогда на легкие обещания не был падок. В нем было заметно большое уважение к старшему — Михаилу Исаковскому, скромности которого, мне казалось, он старался тогда даже подражать. С большой почтительностью он относился и к нашим классикам — Янке Купале и Якубу Коласу. И творчество их было ему известно.

Есть поэты, как бы постепенно набирающие свою высоту, а есть как бы стремительно взлетающие, и к ним относился Твардовский. Он как бы присматривался, изучая, познавая, вбирая в себя годами необходимые знания, и вдруг раскрылся перед миллионным читателем в своем ярком, мудром, искрящемся, неповторимом таланте. Всего через несколько лет я встретился с ним в Москве как с автором «Страны Муравии», наиболее яркого поэтического произведения о становлении колхозной жизни. Встретился случайно у Белорусского вокзала. Оказалось, что мы одним и тем же поездом приехали в Москву — он из Смоленска, а я из Минска. Мы были уже знакомы по нескольким прежним встречам, да и читали друг друга. Я, обрадовавшись встрече, не преминул ему высказать свое восхищение «Страной Муравией» и почувствовал, что это понравилось моему собеседнику. А чтобы поговорить подробнее о наших поэтических делах, решили вместе позавтракать.

Зашли в ресторан «Якорь». Посетителей было многовато, и мы, выбрав наиболее укромный уголок, где можно было поговорить, принялись за трапезу. Я всматривался в своего собеседника и видел, что одет он скромно, даже, может быть, несколько провинциально. По его манере держаться чувствовалось, что успех не вскружил ему голову.

Твардовскому, конечно, было приятно слушать мои восторженные отзывы, хотя они не были первыми. Некоторые места поэмы ему самому нравились, и он не преминул прочитать их для меня. Читал он, не в пример многим поэтам, нажимавшим в то время на голос и на «пафос», выразительно и как-то весьма задушевно. Чувствовалось, что поэт знает цену каждому слову. Поговорили мы и о наших современниках, и о классиках.

— Ты Некрасова любишь?..

— Ну конечно,— как-то обычно ответил я.

— Люби Некрасова... это очень большой русский поэт. Мало кто сделал столько, как он...

Мы вышли из «Якоря» и направились к Тверскому бульвару. У памятника Пушкину разошлись. Мне помнится, что молодой Твардовский говорил в то время о предстоящем переезде в Москву. Расставшись, я посмотрел ему вслед, и у меня было такое ощущение, что впереди у него большой поэтический путь.

Так оно и вышло. Вскоре поэзия Твардовского заняла одно из первых мест в современной советской литературе. Газеты и журналы все чаще выходили со свежими, глубокими, по-настоящему мудрыми его произведениями. Он уже учился в ИФЛИ, где вместе с ним были и наши белорусские литераторы Алесь Жаврук и Алесь Кучар. Они рассказывали мне

об успехах Твардовского. А при новых встречах удавалось послушать и вновь создаваемое им.

Мне трудно вспомнить все наши встречи в те годы. Помню, что увидел я вскоре Твардовского уже в военной шинели. Это было в дни освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину, а потом в суровую зиму войны с белофиннами. А в 1942 году я встретился с Александром Трифоновичем в Москве. Мы сидели в Доме литераторов в укромном уголке. Твардовский не любил излишнего шума. Не помню, кто еще был с нами. Читал он новые главы из поэмы. Эти главы потрясли нас. Как все было мудро, глубоко и просто... Какие народные обороты, поговорки, живые притчи... Думаю, невпопад я сделал тогда замечание:

— Саша! А вот насчет фамилии Теркин — нельзя было выбрать поблагозвучнее?..

— Ты не понимаешь, Петя! — рассмеявшись, ответил он.— Во-первых, дело не в фамилии героя, все, что говорится о нем, сделает ее потом благозвучной, а во-вторых, а чем она не русская, не народная?

Я подумал, что действительно мое замечание неосновательно, и почувствовал даже неловкость.

Уже потом, после новых больших литературных удач Твардовского, я убедился, что у него ничто не было случайным. Он умел находить самое центральное, что выражало интересы народа, и герои его произведений, и имена их были наиболее характерны для своей роли в его произведениях.

И вот смотрю я ныне на Васю Теркина и его боевых друзей — на картину Ю. Непринцева — и никак не могу представить: а как же иначе, как не «Теркин», мог бы называться главный герой?

Александр Твардовский работал неторопливо, но весьма основательно. С первых же заслуженных успехов труд его стал примером для многих и особенно для близких товарищей. Мы, его одногодки по творчеству, да и старшие, которых он так уважал, относились внимательно к его суждениям. Я хочу сказать хотя бы о наших классиках Янке Купале и Якубе Коласе. Похвалу Твардовского они ценили и прислушивались к его критическим замечаниям. По возрасту они были много старше, и, казалось, годы отделяли их от Твардовского, но по своему поэтическому кредо, по направленности поэзии они были весьма родственны.

Помню их частые задушевные беседы и особенно ярко последнюю — в июне тяжелого 1942 года. В эти дни Янка Купала приехал в Москву из Печищ под Казанью, где он поселился после ухода из Белоруссии. Жил он в гостинице «Москва», помню, что в номере 412. В Союзе писателей я встретил Александра Твардовского, приехавшего в Москву

по командировке с Западного фронта. Узнав, что Янка Купала в Москве, он высказал желание непременно повидаться с ним. И мы вскоре очутились у любимого нами поэта. Надо было видеть, как оба были рады этой встрече. Купала, глубоко переживавший потерю родной земли, весьма хмурый в те дни, как бы просветлел при встрече с фронтовиком. И потекла беседа. Было уже близко к полночи, так мы и не заметили, что наступило время, когда передвигаться по Москве запрещалось. Мы остались ночевать у Купалы, ну, и понятно, что беседа затянулась еще дольше.

Купала интересовался фронтовыми делами, а были они в те дни весьма грозными. Помню, что уверенность Твардовского хотя и в нелегкой, но безусловной победе над врагом вдохновляла старшего поэта.

— Так буду я дома, дорогой Трифонович? — всегда уважительно обращавшийся к Твардовскому, спрашивал Купала.

— Будете, и мы с вами будем, абавязкова будем,— допуская белорусизм в угоду Купале, утверждал Твардовский.— Хотя и нелегкая еще впереди дорога.

И запыленная гимнастерка, и следы от фронтовых ремней на ней у Твардовского как будто говорили о еще нелегком фронтовом пути до победы.

Конечно, читали стихи. И, безусловно, «Василия Теркина». Купала восхищался. Всегда немногословный, в тот вечер он не раз повторял:

— Як гэта цудоўна!.. Як гэта цудоўна! [1]

Жаловался Купала Твардовскому на свое горе, на то, что где-то страдает в оккупации старая, беспомощная мать, и на то, что сгорело у него все приобретенное годами, особенно жаль библиотеку и оставленные рукописи. Окрыленный встречей с Твардовским, его рассказами и прочитанной поэмой, Купала на прощанье приглашал Александра Трифоновича:

— Через несколько дней мне будет шестьдесят. Дорогой Саша,— и здесь он, хотя уже отступил от величания по отчеству, звал Твардовского, как всегда, на «вы»,— вы не сможете приехать в Москву посидеть со мной, стариком, дела ведь у вас фронтовые... А после разговора с вами я уверен, что буду дома. Дайте слово, что проведаете меня на даче в Левках над Днепром...

— Даю слово, дядька Янка,— уже совсем по-белорусски и не шутя заверил Купалу Твардовский

Они расцеловались. Но встретиться уже не смогли. Через несколько дней Янка Купала трагически погиб.

А с Твардовским повстречались мы уже летом 1944-го в

---

[1] Как это чудесно! *(белорусск.)*

овобожденном Минске. Как-то иду я, задумавшись, по улице города, да и улицей это было назвать трудно — одни руины да задымленные остовы былых зданий вокруг,— вдруг слышу знакомый шутливый голос:

— Да никак это сам товарищ Бровка по своей освобожденной столице шагает!..

Я обернулся и, узнав Твардовского, не преминул отшутиться:

— С вашею помощью, товарищ Твардовский!

— А что же ты думаешь? — И он продолжал полушутливо: — В этом и моя какая-то доля есть.

— Ну, раз так, пошли ко мне!..

Твардовский был вместе с Евгением Воробьевым. По дороге поделились фронтовыми новостями — радостными, в то время ведь гитлеровцев гнали все дальше и дальше... Поскорбели и о неисчислимых страданиях Белоруссии, о печальном облике Минска. Но ощущение приближающейся победы как бы отражалось на наших просветлевших лицах.

У меня в маленьком, но обжитом уголке мы, как водится, посидели по фронтовому. Что-то добыл из скромных пайков я, да и Твардовский с Воробьевым потревожили фронтовые сумки. В общем обед по тому времени получился на славу. А больше всего порадовали моих гостей свежие огурчики.

— Ну, ты понимаешь ли, Петя, что это значит,— говорил увлеченно Твардовский,— первые огурчики, выращенные на твоей освобожденной земле? Ну, ты полюбуйся только!..— И он возбужденно вертел, как некое чудо, зеленый огурец перед нашими лицами.— А что за вкус! — восхищался он, бережно откусывая.

И нам действительно после таких восторженных отзывов свежие огурцы с белорусской гряды показались особенно вкусными.

О многом мы поговорили тогда. И, конечно, вспомнили Янку Купалу.

— Жаль, очень жаль, что не дожил Иван Доминикович. Вот бы поплакал на радостях, да и написал бы... Да и в Левках мы бы побывали...

Твардовский не очень любил читать во время таких бесед. Но на этот раз читал вновь главы из «Теркина», да и стихи. Помню, что прочел ему и я свою небольшую поэмку «Ясный Кут». Были разговоры и даже споры о том, что хотелось бы видеть в нашей поэзии, но расстались дружески.

Вскоре после войны — это было в 1947 году — довелось мне быть с Александром Трифоновичем, Ильей Эренбургом и Павлом Тычиной в одной из первых заграничных поездок — в Польше. Это была моя первая поездка за рубеж, да, очевидно, и Твардовского. Хотя она была в братскую Польшу, все же волновала нас. Как быть? Как держаться? Илья

Григорьевич Эренбург, проехавший к тому времени вдоль и поперек весь мир, был тем, на кого мы равнялись. Но вскоре я заметил, что Твардовский держится свободно: не очень печется о своем костюме, да и в разговорах с польскими писателями и иностранными корреспондентами,— а их тогда окружало нас много,— держится, как всегда, просто, обычно, рассуждает спокойно, пересыпая свою речь шутками, народными изречениями. И я понял, что вот так просто, непринужденно, но с чувством достоинства и надо держаться за границей.

Польские друзья принимали нас от всего сердца. По тому времени, может быть, даже слишком тратились на угощение. Обильно кормили и потчевали. Оно и понятно. Мы вместе отмечали в те дни радость общей победы. Но внутренняя скромность Твардовского проявила себя и на этот раз. Однажды вечером, делясь своими впечатлениями о прожитом дне, Твардовский сказал:

— А знаешь, как-то неловко получается — слишком щедро они нас потчуют. Ведь народу и нашему, и польскому живется еще нелегко. Карточки. Иногда с трудом рука к куску подымается.

Но это отступление. А поездка была весьма интересной, по-настоящему необходимой. Мы проехали тогда почти всю Польшу. И выступали, выступали... И среди рабочих в заводских клубах, и у крестьян, и у литераторов, и ученых. Надо было видеть, как восторженно везде принимали Твардовского. Поэзия его в то время была весьма популярна в Польше. Да и поэтическую, образную речь его, мне казалось, слушатели воспринимали легко.

Была у нас и одна тяжелая поездка. Это в Освенцим. Все мы ходили по хмурым баракам, где гибли тысячи и тысячи, стояли, опустив головы, у печей крематория, сквозь которые прошли дымом сотни тысяч, склоняли головы у стены, где расстреливали обреченных, с ненавистью смотрели на окна дома, где во время казни играл оркестр и веселились эсэсовцы. Твардовский весь день был молчалив. Я никогда не забуду, как у крематория он по-братски молча пожал мне сочувственно руку, как будто поддерживая меня, зная, что здесь погибла и моя мать. Когда мы проходили огромный барак, в котором разостланными на полу хранились волосы, и детские, и седые, волосы всех оттенков, остриженные у жертв перед казнью, чтобы использовать потом для набивки матрацев, Твардовский заторопил нас к выходу.

В Катовицах новому народному воеводе генералу Завадскому был предоставлен для жилья прекрасный особняк, очевидно принадлежавший раньше кому-то из «бывших». Сам воевода, человек скромный, поселился рядом в небольшом домике, а особняк предоставили гостям. Довелось и нам

несколько дней пожить в нем. Павла Григорьевича Тычину поместили в отдельной комнате, а мы с Твардовским жили вместе. Комната была огромная, кровати, тоже не маленькие, стояли рядом. Можно было и перекинуться впечатлениями на досуге.

Как-то вечером, переговорив обо всем, мы вздумали запеть. Твардовский, не обладая особым даром пения, тем не менее пел проникновенно. Вот мы и заводили все, что нам припоминалось. Больше народное: русские, белорусские да и украинские песни. И «Вниз по Волге», и «Ой, расцвіла ружа...», и «Реве та стогне...». И как-то незаметно мы остановились на «Коробейниках». Ну и увлеченно же затянули мы: «Эх, полным-полна...», даже находившийся рядом Павло Григорьевич не утерпел и пришел подтянуть.

А Твардовский, с каким-то особым удовольствием окончивший песню, вдруг неудержимо расхохотался.

— Ну и хороши же мы!.. Ну мог ли когда-то представить бывший воевода, что в его палатах загремит некрасовская «коробушка»?

И он опять перешел к Некрасову:

— Скажите, Павло Григорьевич... Вы, конечно, большой мастер пения и наших певческих данных высоко не цените... Но слова ведь, слова какие?..— И в упор: — А вы любите Некрасова?

Милый Павло Григорьевич, застигнутый врасплох, да, очевидно, обожающий Некрасова, запричитал:

— А як же? А як же?..

— Вот и Петрусь,— припомнил он давний наш разговор,— так же мне говорил: «А як же?.. А як же?..» — И Твардовский категорически заявил: — А я очень люблю Некрасова. Никто так, как он, не понимал русскую крестьянскую душу... Я читаю его неизменно и каждый раз открываю в нем новое для себя...

Разве можно теперь вспомнить все, что говорил он тогда... А говорил он вдохновенно, с глубоким знанием творчества Некрасова. И потом, когда мне доводилось слушать выступления Твардовского, я всегда убеждался, как неисчерпаем кладезь его знаний и как огромно умение находить новые аргументы. У него, прямо скажу, кроме великолепного поэтического таланта, был и большой литературоведческий дар. Правда, он редко пользовался им. Но то, что осталось из выступлений Твардовского по вопросам литературы, особенно поэзии, весьма поучительно.

Он мало писал критических статей, хотя устно о творчестве того или иного товарища высказывался часто. Но вещи, особенно привлекавшие его, были всегда в центре внимания. Так, повезло Аркадию Кулешову. Твардовский писал и много говорил о его выдающейся поэме военных лет «Знамя бри-

гады». Он же посоветовал своему старшему другу Михаилу Васильевичу. Исаковскому перевести ее на русский язык.

Александр Твардовский хорошо знал белорусский язык. И потому белорусская поэзия была для него полностью открытой. Он глубоко уважал наших старейшин и высоко ценил их творчество. Правда, сам переводил мало. Но иногда обращался к тому, что было для нас неожиданным. Вдруг появились в его переводе стихи сравнительно малоизвестного белорусского поэта Миколы Засима. И мы увидели, что проглядели их. А стихи по-настоящему народные, остроумные, с цепкой поэтической хваткой. И юмор в них острый, густой, партизанский...

Александр Твардовский никогда не скрывал своего отношения к поэту. Помню одно из заседаний Секретариата СП СССР. Шел разговор о делах издательских. Кто-то предложил многотомное издание нашумевшего в те годы поэта, утверждая, что все написанное им надо обязательно издать. Вот, мол, и Есенина теперь издают полностью.

Твардовский взорвался:

— Ну уж, позвольте!.. Что Есенина, это правильно. Я никогда не учился у Есенина, но считаю, что вашему кандидату, которого вы осмеливаетесь ставить рядом с Сергеем Александровичем, куда как далеко до него.

И все согласились, что сравнение нового претендента с великим русским поэтом неуместно.

Много лет доводилось мне встречаться с Александром Трифоновичем на разных пленумах и съездах, а чаще всего в работе Секретариата Правления Союза писателей СССР. Он выступал редко, но, как говорится, метко, и к голосу его всегда прислушивались. Ну, а что касается поэзии, мнение его было неоспоримым. Все мы, в том числе и поэты старшего поколения, всегда прислушивались к нему. А когда он возглавлял «Новый мир», напечатать стихи в журнале считалось за честь.

Бесконечно требовательный к себе, был он таким же и по отношению к другим. Сам не спешил печататься, но уж то, что выходило в свет, по своей завершенности было безупречно. Работал он всегда. Помню, что во время отдыха и лечения в Барвихе, встречаясь со мной на прогулке, он всегда говорил о том, чем тогда жил. По его хотя и отрывочным рассказам можно было судить, как движется работа.

— Ну, кажется, додумал до конца,— говорил он об одной из своих глав.— Расставил колышки... А теперь только пахать,— говорил он, встречаясь через некоторое время.— И борозды кладутся как будто не плохо...— замечал он еще через несколько дней о своей работе.

Твардовский, мне казалось, не любил выступать на больших литературных вечерах и собраниях с чтением своих

произведений. Он не гнался за мельканием своей фамилии на бесконечных афишах по какому-либо поводу и без повода. А вот в кругу близких друзей, тех, кому он доверял и кого уважал, любил и почитать, и посоветоваться.

Был он скуповат на похвалу, но если отмечал что-либо, знали, что это заслуженно, и все мы были ему весьма признательны. Никогда не забуду и я, когда в 1962 году во время присуждения мне Ленинской премии в Комитете по премиям, на Неглинной, он подошел и сердечно поздравил. Мы расцеловались. И я всегда чувствую этот дорогой для меня поцелуй.

Ну, а если, как я уже говорил, Твардовский не любил выступать на многолюдных вечерах с чтением стихов, то с речами и подавно. Зато, если уж выступал на каком-либо ответственном съезде или собрании, то всегда и весьма глубоко, и основательно, и поучительно. В таких выступлениях его ощущались и знание предмета разговора, и понимание будущего.

Все мы в Белоруссии весьма ценили его замечания о нашей литературе, а его выступление на Втором съезде писателей Белоруссии воспринимается и ныне как очень значительное. Оно по-настоящему аналитическое, определяющее вехи дальнейшего развития литературы.

Твардовский не разбрасывался своими привязанностями. Были у него друзья, среди которых одних он любил больше, других меньше, но всем был другом, честным и правдивым.

Ну, а сам он любил больше всех (да и с благодарностью вспоминал о том, что в свое время учился у него) Михаила Васильевича Исаковского.

Я много раз присутствовал на дружеских их беседах и помню, с какой трогательной любовью Александр Трифонович относился к старшему товарищу и как признательно говорил о нем везде и всегда.

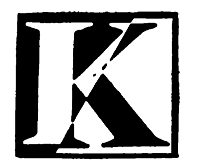
Как жаль, что мы не записываем впечатлений о наших встречах. Сколько ушло из того, что могло бы дополнить светлый образ по-настоящему великого русского поэта Александра Трифоновича Твардовского, поэта глубоко патриотичного, поэта-коммуниста, поэта-интернационалиста, немало помогшего многим поэтам наших братских республик.

Когда Александр Трифонович заболел, мы все надеялись, что он одолеет свою тяжелую болезнь. Ведь мы знали, что он — богатырь.

Я вглядываюсь в его новую книгу, вышедшую в «Библиотеке всемирной литературы», и ставлю ее на полку в ряд с другими, самыми выдающимися именами мировой литературы. Чувствую, что это навечно.

Минск, 1973

ПОБРАТИМЫ



луб имени Дзержинского переполнен. Идет съезд писателей Белоруссии, первый послевоенный.

Твардовский говорит о нашей литературе. Бережно, доброжелательно. У него большая мера: не на день, не на год прикидывает он удачу произведения, надо, чтоб у стихов хватило дыхания на долгую жизнь.

Слушает зал, внимателен президиум. Там серьезный, озабоченный Якуб Колас. Время от времени он взглядывает на говорящего, и видно по всему — ему нравится речь. Когда оратор возвращается на место, Константин Михайлович подсаживается поближе. Жмет ему руку, улыбается, что-то говорит.

Наутро он останавливает меня у входа в зал:

— Не видел Александра Трифоновича?

В руках сборник стихов поэта,— очевидно, только что купил в киоске.

На эти слова как раз и подоспел тот, кого искали. Колас подает книжку, улыбается.

— Подпишите еще одному поклоннику вашего таланта.

Твардовский несколько замялся:

— Простите, Константин Михайлович. Не имею права подписывать вам на ходу. Разрешите взять с собою.

...Наконец отговорены речи, даны наказы, высказаны пожелания, провозглашены все дружеские тосты. Делегаты и гости начинают разъезжаться.

Константин Михайлович решает дать себе отдых, побродить по лесу в Болочанке. Как всегда, начинает собираться в дорогу заблаговременно. Ходит по саду и обсуждает программу поездки — где остановиться, с кем повидаться.

Зовут к телефону. Возвращается довольный:

— Александр Трифонович! Говорит: «Хотелось бы попрощаться. А ежели ввалюсь не один?» — «Забирайте, говорю, всех, кто вам по сердцу...» Смеется: «Главное, чтобы вам по сердцу пришлись!»

Приехали втроем — Твардовский, Андрей Малышко и Аркадий Кулешов. Сразу у калитки Александр Трифонович передает хозяину несколько своих книжек.

— Это все, что нашлось здесь.— И предупреждает слова благодарности: — А та, на которую вы подразорились, пусть останется у меня. На память. Как наглядный урок уважения к старшим. Вы — умелый педагог, Константин Михайлович.

Колас прежде всего ведет гостей к своей клумбе с житом, посеянным по старинному способу — пополам с ячменем. Твардовский становится сосредоточенным и минуту как бы отсутствует, видимо закрепляя что-то в памяти. Потом с шуткой возвращается в беседу:

— В Белоруссии никогда не угадаешь, что тебя ждет. Ехал к поэту, а попал еще и к агроному. По-моему, таким делом не грех бы и всей Академии заняться, не только вице-президенту.

Твардовскому все здесь нравится, а более всего — что на участке высокие сосны, рябинки и кусты орешника, нетронутый лесной угол...

Возле ягодных грядок он задерживается, называя клубнику земляникой.

— Настоящие садоводы только так и говорят, никогда не обмолвятся. Также имею отношение к этому племени. У меня под Москвою скворешенка. Может, заглянете?

— Обязательно,— хитровато благодарит Колас,— для обмена опытом. Приеду к поэту — авось попаду и к садовнику.

Беседа становится шире и просторнее, все переходят в дом.

Из рабочей комнаты гости заглядывают в спаленку Коласа, где только и мебели, что скромная кровать и столик с приемником.

— Строго живете, Константин Михайлович,— с улыбкой говорит Твардовский.— Поистине монашеская келья.— Вдруг он замечает, что из спальни есть дверь прямо на лестницу.— Ага, понимаю,— Твардовский показывает на запасной выход,— это для музы, которую, так сказать, при случае и обнять можно. Что же, все в духе монастырских традиций.

Веселее всех смеется Константин Михайлович.

— Молодой глаз! А мне все невдомек, для чего двери прорубили.— Он приглашает за стол.— Не отказываться! До поезда далеко. Вы первый раз у меня в доме — это одно. И второе — почему бы нам не потолковать, не продолжить вчерашний вечер?

Вчера был прием в честь гостей и делегатов съезда. Выступали, читали стихи. Твардовский приехал на прием после продолжительной встречи с большой аудиторией в Доме офицеров, он устал и, видимо, надеялся отдохнуть. А тут снова просили читать.

Твардовский поднялся бледный. То ли от неожиданности, а может, не вспоминались нужные строки, но он молчал. Пауза затягивалась.

Колас наклонился к соседу:

— Ничего, затишье бывает перед добрым дождем.

Сказано было вполголоса, но Твардовский услышал, улыбнулся Константину Михайловичу глазами.

— «Переправа»,— объявил он.

Целый раздел «Василия Теркина»! Не рискованный ли выбор для банкетного зала?

Мне посчастливилось слушать Качалова и Яхонтова, многие дни я ходил взволнованный чтением Маяковского.

Здесь было совсем иное. Поэма не читалась, а как бы импровизировалась на наших глазах. Властью таланта поэт снова пробудил свое первоначальное переживание, включил в него слушателей. Длинный стол под белоснежной скатертью с множеством дышавших солнцем цветов внезапно стал свинцовой гладью осенней реки. И в ней погибали русские стриженые ребята. Как полно и горько ударило это слово утратой непрожитой юности. Потому что, будь они нестриженые, пахали бы поле, танцевали на вечерках. А так «теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно...».

Вздохнулось всем недавним солдатам, умолк на мгновение и поэт. Приглушил волнение в голосе и повел нас дальше.

Константин Михайлович вернулся с вечера возбужденный, долго листал «Теркина», а сегодня рад еще раз поздравить гостя с успехом.

— За то, что — молодец! — повторяет он вчерашние слова.

— Прежде всего за вас, Константин Михайлович,— в тон отвечает Твардовский.— За всех молодцов, что поднялись тут, в Беларуси. Я недавно читал стихи тех, кого знал раньше, и многое — впервые. Ощущение такое, как будто все время прикасаешься к жизни народа. И рассказывается достойно.

Это — об «Антологии белорусской поэзии». Сейчас, видно, редактирует эту книгу Твардовский не без удовольствия, невзирая на множество хлопот по изданию.

— Хочется, чтобы книга служила подольше. Список авторов, пожалуй, широковат, но составляли вы сами...

— Возможно,— соглашается Колас.— Однако и в жизни

целых стран разное случается. Одна страница сто лет живет, другая не успела написаться, а уже ни одного слова не разобрать. Здесь мы ничего не поправим.

— Что бы вы посоветовали? — осторожно спрашивает Твардовский.

— Я не ищу поблажек, Александр Трифонович. Да, наверно, это и не нужно. Сделать скидку одному,— глядишь, всю литературу обидел. Я думаю о молодых,— продолжает Колас.— Наверно, кое-кто из них покажется слабой страницей в нашей общей книге. А через несколько лет может блеснуть.

— У молодых есть преимущество: они когда-нибудь сами себя поправят. Тут и похвала не помешает.

— Я слышал,— вспоминает Колас,— как у нас похвалили одну вашу вещь...

Твардовский взглянул на Кулешова, потом на меня:

— Рассказали?

А дело было так. Стояла осень 1944 года. Я допоздна задержался в редакции газеты «Звязда». В комнату заглянул дежурный по номеру:

— Приехал Твардовский, тебя спрашивает.

Это было неожиданно, мы никогда не встречались. Однако время военное, особенно удивляться не приходилось, отношения упрощались сами собою.

Высокий русоволосый подполковник пожал мою руку:

— Еду с фронта, ночь захватила.

Гостиницы в городе не работали. Я жил в маленькой комнатке, спал почти без подстилки и, кажется, без подушки. Где приютить гостя и, главное, чем принять? Пока я мучительно искал выход, Твардовский спросил:

— А не можем ли мы отыскать Аркадия?

Я вспомнил, где сейчас можно найти Кулешова: как раз в этот вечер приглашали слушать чью-то новую поэму. Я предложил Твардовскому поехать туда.

— Вы полагаете, удобно?

Выбора не было. Вызвали Кулешова, и они вдвоем с хозяином квартиры пригласили нас на огонек.

Поэма была уже давно прочитана и, видимо, дружно похвалена, но неугомонному автору хотелось угостить ею и опоздавших. Остальным пришлось слушать еще раз.

Прозаик, с кем мы примостились на каком-то чурбачке, толкал меня под бок:

— Крепко написано, ничего не скажешь, крепко!

Захваченный своим творением, поэт читал с дрожью в голосе и, ободряемый сочувственными взглядами присутствующих, набирал все больше пафоса.

Сначала Твардовский заинтересовался, однако очень

скоро стал безучастным, покручивал трехзубую вилку и, казалось, слушал, отбывая повинность.

— Ну как, хорошо? — победоносно спросил автор, уже готовя тем самым еще один похвальный отзыв.

В таких случаях обычно говорят нечто малозначащее либо делают доброжелательное движение. Твардовский молчал. Будто и не слышал щедрых похвал от гостей. Потом негромко сказал:

— Я считаю произведение хорошим, если могу в нем хоть чему-то позавидовать. А сейчас, прости меня...

Присутствующие смутились, но, как ни странно, возражений не последовало. Только несколько отрезвевший хозяин начал нечто не слишком деликатное.

Твардовский поднялся.

— Прошу прощения. Я попал сюда случайно. Не каждому топору быть ко двору. Будьте здоровы!

С помощью Кулешова мы устроили гостя в чьей-то пустой квартире, угостили, чем могли. И вот уже Твардовский читает главы из еще незавершенной поэмы «Дом у дороги».

Взыскательный мастер жил в своей работе, еще спорил сам с собой, правил и уточнял себя, не прощая и малейшей промашки либо поспешности.

Все это почувствовалось в чтении, поэт проверял на нас, что удалось, а что вновь пойдет в переплавку. Поэма обрадовала. Хорошо бы опубликовать отрывок у нас! Александр Трифонович заколебался и неожиданно дал «добро».

Укладываясь на ночь на жесткой кушетке, Твардовский проговорил: «Но если по дороге — куст встает...» Я знал эти строчки и мысленно закончил: «Особенно — рябина». Нетрудно было догадаться — поэт затужил по дому и теперь радуется близкой встрече с родной Смоленщиной...

Утром поехали в Дом печати, познакомили нашего гостя с одним из редакторов. Договорились быстро, поэма идет в ближайший номер, из бухгалтерии принесли аванс.

Твардовский поднялся было идти диктовать машинистке, и вдруг что-то его удержало:

— Давайте-ка сначала почитаю вам. А может, не понравится, тогда зачем зря машинку гонять.

Шагая по кабинету, он добрые полчаса читал почти все написанное. Редактор сидел в позе каменного идола, наконец милостиво улыбнулся.

— Напечатаем.

— Тогда, чтобы не терять времени, я не буду диктовать. Кулешов передаст вам рукопись.

Не оценив этого особого доброжелательства — права первой публикации, да еще и автограф,— редактор насторо-

жился: не промахнулся ли он в чем-то? Поднялся с кресла и процедил:

— А все же, товарищ Твардовский, позвольте ваши документы.

Александр Трифонович изменился в лице и обвел нас взглядом.

— Ваше право!

Не выпуская из рук, он показал редактору военное удостоверение, положил на стол аванс и быстро вышел. Тут уже не выдержали мы, наговорили редактору не скупясь... Он не обиделся, только лениво отмахнулся рукою:

— Откуда я знаю?.. Надо всех проверять.

Не своими ногами выходили мы на улицу, думая, что Твардовского уже и след простыл. Ничего подобного! Он стоял у «газика» и весело рассказывал о приключившемся своему шоферу:

— Везет мне у вас! Встречи — на всю жизнь. А расскажи кто-нибудь, божись и клянись — не поверил бы.

В голосе Твардовского не слышно огорчения, даже самой малости: подхватил колоритный случай и тешится им как художник.

Нам становится немного легче. Просим дать отрывок — переведем и напечатаем в другом издании. Тут всеми овладевает смех. Безудержный, когда хохочет все существо, словно вытряхивая из себя неловкость или тревогу.

Мы смеемся в машине, смеемся в магазине, глядя на нас, начинает смеяться продавщица и спрашивает, как это делают степенные люди, усмиряя расходившихся мальчишек:

— А что вы смешное съели? Лягушку, что ли?

— Была такая закуска,— бросает кто-то из нас,— теперь давайте чего-либо повкусней.

Добираемся до деревянного домика на окраине, где нарезаются шкварки и жарится большая сковорода яичницы. Уже, кажется, беседа плывет в берегах фронтовых и всяких иных забот, а стоит кому-нибудь одному улыбнуться, как снова прыснут все.

Незаметно перешло за полдень: надо прощаться, видного времени — только-только доехать до Смоленска. Твардовский помнит обещание и передает страницы из записной книжки,— небольшие, в клетку, густо записанные лиловыми чернилами, они и теперь хранятся у меня.

Прошло несколько лет. Константин Михайлович сегодня завершает невыдуманную новеллу невыдуманной концовкой:

— Этот редактор скоро очутился на Полесье, кажется, в земельном отделе.

— Давай ему бог,— говорит Твардовский,— человеку никогда не мешает земле поклониться.

— Да, если земля ему что-нибудь дала. Но, возможно, и этот научится различать, где овес, где бульба. Грамоты было у него мало, что касается всего прочего — сами убедились. Дадут ему полосу на подпись — сидит-сидит, бедняга с красным карандашом, а потом звонит секретарю: «Иди сюда! Вот снова забыл, как эту закрутку в мягком знаке ставить, вправо или влево?»

— Такую вещицу, Константин Михайлович, вы могли бы и Лескову подарить.

— Любите его? — Колас не дожидается ответа: — Помоему, нельзя не любить! Со словом делал чудеса. А юмор!..

И беседа становится веселей, переходит на лесковских героев, лиц духовного сословия.

В тот вечер еще пелись песни. На белорусскую, в которой молодица будила «молодого обнимаючи, а седого все толкаючи», Твардовский ответил своей, очевидно, любимой,— о том, как немилому клали в изголовье камыш.

Колас слушает не наслушается. Каждая народная песня ему дорога. И не в исполнении прославленных мастеров, а вот так, в застолье, когда певцы не блещут ни голосом, ни слухом, а ведут мелодию, как подсказывает сердце. Недаром на вопрос, что включить в концерт на его юбилее, Колас ответил: «Попросите моих друзей поэтов — пусть споют «Волочебную».

Гости начинают собираться к поезду, а Константин Михайлович и слушать не хочет. Предлагает соснуть часок, а завтра в полном составе податься по грибы.

Твардовский растроган, просит отложить белорусский лес на следующий раз.

— Вы допустили нас в свое сердце, Константин Михайлович, вот мы и побывали всюду, где вам любо. Разрешите проститься. Вы могучий на своей земле человек, однако железнодорожники привыкли придерживаться колеи и поезда нам сюда не подадут...

Назавтра в Болочанке, сидя на боровой поляне, Колас говорит как бы про себя:

— Чудак человек! Не поехал сюда, ведь знает — земле поклониться надо. Походил бы по лесу, ан силы и прибавилось бы. Как у былинных богатырей. Есть, есть у него от этой породы, и немало.

Спрашивать, о ком это, не надо.

Лет через пять, когда соберется Третий писательский съезд, Колас скажет:

— Помнишь наш «лесковский» вечер? Вот тебе еще один пример, как у хорошего писателя ничто не пропадает зря. Твардовский тогда уже мыслями в новой поэме был.— Константин Михайлович говорит о недавно прочитанных разделах «За далью — даль».— Казалось бы, все наши то-

гдашние шуточки да остроты насчет попов мимо уха пропустил. А он выхватил кусочек золота: среди пассажиров едет «поп с медалью восьмисотлетия Москвы». И не говори, что мог встретить такую личность с наградой. Не соглашусь. Увидеть и написать — невелика заслуга. А этот поэт не из таких, не может он просто брать увиденное и услышанное. Другое дело — опереться на это, использовать контрасты и создать свое. Батюшка в вагоне мог ехать, верно. Однако медаль ему Твардовский привесил, даю голову на отсечение...

Они встречались не так часто и не так близко, чтобы укрепились те человеческие отношения, что называются дружбой. Но эти два человека, весьма сдержанные в проявлениях чувств, были неизменно рады друг другу. И им легко говорилось, могли позволить себе и помолчать.

Сероватое декабрьское утро никак не может распогодиться, в гостиничном номере темно. Ростепельный полумрак раздражает Константина Михайловича.

Звонит телефон.

— Нужно посоветоваться! — говорит Твардовский.

— Вот и хорошо, а то очень уж медленно тянется время.— Колас доволен.— А ты куда собираешься?

Отговариваюсь делами: мало ли какие у них могут быть советы... Возвращаюсь, когда гость и хозяин успели позавтракать, говорят о вечере, где оба собираются выступать.

— Хотите послушать мое выступление?

Твардовский читает, как всегда, на память. Колас отвечает тем же. Какое-то время они молчат. Потом внимание Александра Трифоновича привлекает большой, надежный зажим, скрепляющий страницы коласовского стихотворения.

— А это зачем?

— Все бывает... Вдруг поднимется ветер и унесет...— серьезно объясняет Колас.

— Ветер — в Большом театре? — тоже как будто удивляется Твардовский.— Едва ли он будет допущен туда.

— Я бы не надеялся на память, Александр Трифонович. А что, если вдруг выйдете на трибуну и забудете?

— Тогда мне уж никакие силы не помогут.

Твардовский одевается, он как-то по-особому хорош в ладном болгарском полушубке. Константин Михайлович жалеет, что не взял своего:

— Можно было бы куда-нибудь вместе за дровишками двинуть.

— В лес надо стеганку призапашивать. Завтра увидимся!

...Была встреча и в лесу, как хотелось Константину Михайловичу. Твардовский приехал в наш загородный Дом творчества вместе с Аркадием Кулешовым.

После обеда я встретил их у ржаного поля. Шли, останавливаясь, что-то доказывая друг другу. Видно, разговор был начат давно и не терял остроты.

Оказалось, Твардовский пишет новую поэму и познакомил друга с начальными главами.

— Надо бы почитать,— сказал Аркадий.— Колас вернулся из Минска?

Мы сели под елью. Колас в такую пору обычно присоединялся к беседам при вечернем костре. Дали знать кое-кому из обитателей Дома творчества, попросились послушать и наши жены.

Прочитаны «Две кузницы» и «Семь тысяч рек». Нам светло и празднично. Одними глазами улыбается Кулешов, как бы говоря: «А что?»

— Когда альпинист подымается на пик, не надо, наверное, ни подталкивать, ни тянуть его за пятки вниз. Сам взойдет. Вот и скажем: счастливо до самой вершины.— Колас пожимает руку гостю.— Многое надо сказать вам, Александр Трифонович, за один раз не управиться.

Позже Константин Михайлович в беседах возвращается к этому чтению. Ему запомнился мальчик, на чьих глазах происходило чудо превращения металла в орудия труда: человек становился творцом. И в умении «тем молотком своим кузнечным сковать такой же молоток» уже виделось зарождение мастерства поэтического.

— По земле надо ходить осторожно, приглядываясь. А то возьмешь и затопчешь росток, а он поэтического рода. Что мы, сельской кузнички не видели?.. Видели и знали, а проходили мимо, не обращая внимания. А поэт глянул и услышал молот главной нашей кузницы, уральской. Вот этому и поучился бы...— Колас называет фамилию и мрачнеет.

При отъезде из Дома творчества к Твардовскому привязался один литератор: начал с амикошонства, а потом наговорил грубостей. Попробовали угомонить, а тут за невежу вступился Александр Трифонович: «Не трогайте. Человек может говорить, что хочет: он тут хозяин».

Ирония дошла и до затуманенного ума пиита, он ушел и долго после этого боялся встречи с Коласом. А Константин Михайлович хоть ничего не сказал ему, однако случай запомнил: он не прощал нарушения законов гостеприимства. Даже через несколько лет, посылая Твардовскому собрание сочинений, снова разволновался, будто сам был в чем-то виноват. Придирчиво отбирал лучшие экземпляры, долго примеривался пером, прежде чем начать подписывать. А потом договорил все, что не уместилось в дарственной надписи, все,

что было навеяно еще тем, авторским чтением поэмы «За далью — даль».

— «Семь тысяч рек». И все сбегаются в Волгу. Много рек набирает силу и на наших просторах... У кого-нибудь другого это могло прозвучать как справка из учебника. Так и поэзия, чтобы стать Волгой, должна вобрать в себя не менее ручьев и речек. Вот он и есть такая река. И я слышу где-то в течении его поэзии белорусские криницы. Так и скажу ему...

Наверно, известные строки о том, как чередуются дали, как вслед за одной возникает другая, напомнили Коласу собственные представления, тревожившие его лет тридцать назад, когда писал он в рассказе «Даль»: «А скоро ли будет та даль, милый ветер?» — «Она давно осталась позади, а теперь новая даль перед нами».

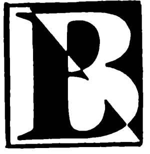
Как-то Александр Трифонович заговорил о Коласе:

— Трудно вам будет, ребята, без стариков. Вот и последний ушел. Его смерть — утрата для всей литературы. Боюсь, что сейчас вы начнете искусственно прибавлять ей вес. Зачем? Есть же настоящая весомость — Колас и Купала. Их не на один ваш век хватит, чтобы поддерживать славу Белоруссии. А там, глядишь, если не толкаться локтями и поддерживать всех, кто пробивается к солнцу, появится и преемник. Достойный.

Минск, 1972

НИК. КУТОВ

СВОЙСТВА ПОЭТА И РЕДАКТОРА



40-х годах, когда мои стихи впервые начали появляться в газетах и журналах, я увлекался творчеством самых различных поэтов. Я открывал в них привлекательное и интересное, и мне поочередно хотелось быть похожим на каждого из них. Я не осознавал, что, только найдя свою тему в поэзии и выработав свою интонацию, свой стиль, свою манеру письма, можно считать, что ты вышел и на свою орбиту.

Во время этих исканий и связанных с ними ошибок я встретился с Александром Трифоновичем Твардовским. Эти встречи многое определили в моей литературной судьбе.

В первый раз я увидел Александра Трифоновича вскоре после окончания войны в Москве, в Союзе писателей. Приехав на несколько дней с Урала вместе с поэтом Яковом Вохменцевым, мы решили — если увидим Твардовского, то попросим его посмотреть наши стихи. В это верилось и не верилось, но когда в одной из комнат появился Александр Трифонович, мы, превозмогая робость, подошли к нему и изложили нашу просьбу. Александр Трифонович не стал долго держать нас в неопределенности. Выслушав, он сказал, чтобы мы пришли к нему завтра с утра домой.

Удивленные тем, что так быстро все решилось, мы распрощались с Александром Трифоновичем. Но чувство удивления не проходило, оно жило в нас, и мы весь день находились в состоянии радостного ожидания, а утром, как и было условлено, поехали к нему.

Дверь открыла Мария Илларионовна Твардовская, жена поэта. Она сказала, что Александра Трифоновича нет дома, но он скоро будет. И действительно, не успели мы оглядеться и испытать сомнение, что, быть может, обещанная встре-

ча не состоится, появился Александр Трифонович. Он пригласил нас в кабинет. Потом он стал терпеливо читать наши рукописи, иногда спрашивая, что думал выразить автор, или отмечал неудачные места. Когда я высказал несогласие с его оценкой, Александр Трифонович ответил: «Жалуйтесь, идите в суд!» — и продолжал делать свои пометки на стихах. За нас пыталась заступиться Мария Илларионовна, но Александр Трифонович был непреклонен. Наконец, обратясь ко мне, он сказал: «Вот эти стихи я отобрал, как лучшие» — и объяснил, почему, а потом позвонил по телефону в один журнал и в беседе, как позже выяснилось, с главным редактором сказал ему:

— Тут у меня двое поэтов с Урала. Я кое-что у них отобрал. Вы ведь знаете, мне не все нравится, а это, по-моему, интересно, но вы посмотрите сами, только не гоняйте их по консультантам.

После телефонного разговора мы еще некоторое время оставались у Твардовского. Александр Трифонович, знаток русского языка, рассказывал, как надо уметь улавливать тонкие оттенки смыслового значения слов. Он приводил примеры, резко отвергал расхожие слова, литературные штампы, кочующие из произведения в произведение.

Вскоре после моего возвращения домой, на Урал, я увидел свои стихи опубликованными; это была одна из первых моих публикаций в толстом журнале.

Запомнились мне и другие встречи с Александром Трифоновичем. Я видел его и в журнале «Новый мир», когда приезжал по своим делам в Москву. В столичной сутолоке, толкотне и спешке, когда люди мелькают, как стеклышки в калейдоскопе, нелегко вести разговоры о стихах. Александр Трифонович был лаконичен, не тратил напрасно времени. Однажды, взяв у меня стихи, он спросил:

— Сколько вы продержитесь в Москве? — Я сказал, что дня два.

— Хорошо, если я успею, посмотрю, вы мне позвоните, если нет, тогда я напишу вам в Ленинград.

Я два раза звонил Александру Трифоновичу, но его не было в редакции. Через непродолжительное время по возвращении домой я получил телеграмму:

«Ваши стихи будут опубликованы в № 1 за 1951 год. Александр Трифонович предлагает убрать четыре строчки в стихотворении «Здравствуй, море». Срочно сообщите, согласны ли вы с правкой Твардовского».

Меня удивило, что Твардовский нашел нужным спросить у меня согласия по поводу сокращения четырех строк. Такое уважительное отношение встречается далеко не в каждом журнале.

Через год я снова приехал в Москву. На мой вопрос со-

труднику отдела поэзии С. Карагановой, смогу ли я увидеть Александра Трифоновича, она тоже ответила вопросом:

— А вы очень хотите его видеть?

— Конечно, очень...

Она посмотрела на меня, как бы раздумывая, стоит ли устраивать мою встречу, и, постояв в некоторой нерешительности, повела меня по коридору.

— Вот здесь,— сказала она,— а дальше вы уже действуйте сами.

Я открыл дверь. В комнате были двое. Один ходил из угла в угол, другой,— как оказалось, А. Тарасенков,— сидел в кресле за столом. Я, не разглядев как следует, обратился к нему. Александр Трифонович, поняв мою ошибку, повернулся и, чуть заметно улыбаясь, сказал: «Вот я, вот я» — и подошел ко мне. Рассказав Твардовскому, что побывал на строительстве Южного канала и написал об этом стихи, я с большими сомнениями вручил их Александру Трифоновичу. Мне казалось, что стихи написаны в очерковой манере и Александру Трифоновичу не понравятся.

Твардовский взял стихи и стал их при мне читать. Я подумал, что он тут же мне их вернет, а он, прочитав одно или два стихотворения, не сказав ничего о них, положил стихи в портфель.

— Свяжитесь через некоторое время с отделом,— обратился он ко мне.— Я посмотрю, как только буду посвободнее.

Особо не надеясь на счастливый исход, я пошел бродить по Москве. Уже никуда не хотелось заходить. Так и уехал, не узнав о судьбе моих стихов. Но предчувствия обманули. В августовском номере я увидел их напечатанными и тогда оценил еще одну особенность Твардовского: не только понимать чужую манеру письма, но и принимать ее.

Вскоре после приезда в Ленинград я серьезно заболел, попал в больницу и надолго вышел из строя. Прошло много времени, прежде чем я смог вернуться к работе. У меня все время было большое желание увидеть Александра Трифоновича, но по разным причинам мы не встретились. В те годы я написал произведение о людях деревни, но по неопытности не мог найти своего, оригинального решения темы. Моя поэма во многом повторяла произведения на колхозную тему, написанные другими поэтами.

Твардовский это, конечно, заметил и прямо написал мне свое мнение. Я очень огорчился, но вынужден был признать правоту его слов. Неудача постигла меня и в другом произведении — о юности. Александру Трифоновичу понравились отдельные строфы и строчки поэмы, но в целом вещь его не удовлетворила. Это была лишь заявка на большое лирическое произведение. Потом я сам убедился в этом, и

мне было неловко оттого, что я поспешил послать Твардовскому во многом несовершенные стихи. Однако и в строгих ответах мастера чувствовалось доброжелательное отношение, сквозило стремление помочь своим талантом и опытом. Письма Александра Трифоновича были конкретны, немногословны, он умел сказать коротко о главном, обращал внимание на самую суть.

Перечитывая Твардовского, всякий раз заново открываю его для себя. Это верный признак вечной молодости его высокого искусства.

Ленинград, 1973

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ТВАРДОВСКОМ



был участником Второго совещания молодых писателей в 1951 году. Семинаром, куда я попал, руководили С. Гудзенко, А. Межиров и еще (на всякий случай) поэт постарше, поопытней — Н. Сидоренко. Дело в том, что первые двое, по сути наши сверстники, сами еще ходили в молодых.

Руководители подходили к нам исключительно по-деловому, предельно добросовестно — Гудзенко, красивый, с темными, сросшимися у переносья бровями, очень решительный, Межиров, чуть заикающийся, настроенный более отвлеченно, мечтательно, беспрерывно что-нибудь цитирующий, и уже седой Сидоренко, самый конкретный, увлеченный дотошным разбором наших строф и строчек.

Однажды на вечернем занятии, когда за окнами было темно, летел мокрый снег и мы неторопливо приступили к обсуждению очередного поэта, отворилась дверь и вошел Твардовский.

Нужно сказать, что наиболее маститые писатели на Втором совещании сами не руководили семинарами, но принимали участие скорее в роли наблюдателей, как теперь принято говорить — курировали.

Он вошел, поздоровался и сел возле двери. Мне показалось на миг, что у него слегка растерянный вид, если это состояние вообще может быть отнесено к Твардовскому. Но все-таки было короткое ощущение, что он попал не туда, а обнаружить это стеснялся.

Поэт, которого обсуждали, остановился, смешался.

— Читайте, читайте,— деловито подбодрил его Гудзенко, показывая и подчеркивая, что в таком посещении нет

ничего необычного, и тот продолжал. Но я его уже не слышал.

Передо мной сидел сорокалетний Твардовский. Тогда мне казалось, что сорок — это очень много. Ведь он написал уже не только «Страну Муравию», но и «Теркина», и «Дом у дороги». Он написал «Я убит подо Ржевом...», и «В тот день, когда окончилась война...», и «Две строчки» и многие другие шедевры лирики. Лишь по недоразумению, по незнанию, по непреодолимой потребности давать каждому явлению определенное и только одно наименование многие считают его чистым эпиком.

Он написал еще не все (не было «За далью — даль» и остального), однако, забегая вперед, замечу, что через несколько лет, когда мне исполнилось тридцать, он сказал мне, что главное десятилетие художника и в особенности поэта — от тридцати до сорока. То есть проявляется пишущий стихи, разумеется, раньше, но за этот отрезок нужно постараться сделать многое, важное, основное. Это костяк, ядро жизни и творчества. На меня эти его слова произвели сильнейшее впечатление.

Конечно, я видел Твардовского и прежде, и не раз — на поэтических вечерах, на 50-летии М. В. Исаковского или просто встречая на улице (он жил тогда поблизости от нашего института) — и всегда испытывал истинную радость. Но впервые он сидел в шаге от меня.

На нем был темный костюм, голубоватая рубашка под галстуком, грубые, на толстой подошве, ботинки, скорее башмаки, какие тогда носили (время отказа от калош).

Его лежащие на коленях руки были крупны, ширкопалы, лицо непроницаемо. Он был все-таки чем-то озабочен и слушал невнимательно.

И точно, вдруг он поднялся и, извинившись, сказал негромко, с достоинством:

— Я обещал привести к вам Самуила Яковлевича. Ему очень хотелось. Если можно, сделайте, пожалуйста, минут на десять перерыв, я за ним схожу...

Гудзенко великодушно согласился, и Твардовский ушел.

Все были возбуждены, поднялись, курящие задымили, повалили в коридор. Все втайне завидовали обсуждаемому поэту.

Прошло минут двадцать, руководители уже переглядывались: не вернется? — и тут они появились.

Маршак был настроен по-боевому.

— Давайте, давайте послушаем,— тяжело дыша, произнес он своим быстрым говорком и сел рядом с Твардовским, примостив меж колен палку. Вероятно, они недавно вместе пообедали и теперь пребывали в состоянии, которое позднее Твардовский определил строчкой «полны взаимного добра».

Поэт начал снова. Он разложил на маленьком столике газеты и тонкие журналы со своими стихами и зачитывал их.

— А на память вы можете? — скрывая подвох, спросил Твардовский.

— Нет,— простодушно ответил тот.

— Ага, все понятно,— многозначительно кивнул Маршаку Александр Трифонович.

Впоследствии я еще не раз слышал от него, что это первый и очень верный признак: если не помнят свои стихи наизусть, значит, они не настоящие, не органичные.

Действительно, поэту ведь не нужно заучивать, затверживать их, они запоминаются, откладываются сами собой, составляя часть его жизни.

Началось обсуждение, и Маршак сразу же сделал фактическое замечание, не помню уже, какое точно, но по поводу упоминавшегося в стихотворении пистолета, и то, что оно было специфически военное, доказывающее, что Маршак понимает не только в стихах, очень обрадовало Твардовского.

Я умышленно не называю фамилии поэта, потому что в дальнейшем он стал работать совсем по-иному и добился серьезных успехов.

Выступил кто-то из наших, затем Гудзенко подвел итоги и объявил перерыв. Высокие гости поднялись и попрощались.

И тут Межиров по наущению Винокурова обратился от имени семинара к Маршаку с просьбой прослушать и остальных — по одному стихотворению, по кругу.

Они поколебались, но делать было нечего, и пришлось, хотя и с некоторой неохотой, вернуться.

Первым, как инициатор, читал Винокуров.

Он прочел свое тогда лучшее стихотворение «Гамлет» — о ефрейторе Дядине «со множеством веснушек на лице». В Литературном институте и на теперешнем семинаре стихотворение котировалось высоко.

Они прослушали очень внимательно, и Маршак спросил:

— Это что же, голубчик, сатира?

— Почему сатира? — изумился Винокуров.— Может быть, вы думаете, юмор?

— А что, юмор?

Твардовский загадочно посмеивался.

Я понял: мой друг Винокуров опрометчиво выбрал для чтения именно то, что читать им никак не следовало. Для Маршака Гамлет значит слишком многое, чтобы его упоминать в связи с каким-то ефрейтором, а Твардовскому эта коллизия показалась явно надуманной, книжной.

Но автор их заинтересовал, они попросили прочесть еще. Он прочитал стихотворение о солдате, идущем «мимо длинных, длинных, длинных сел», и Твардовский уже задумчиво кивал в лад.

Пыльная дорога. Полдень. Душно.
Это стало все давно былым...
Вспомнил же его я потому, что
Это я был им.

Теперь оба его похвалили.

Тоже задумчиво кивал сам себе Твардовский, когда я читал стихотворение «Бывший ротный». Спросил, напечатано ли. Жаль, можно было бы и в «Новом мире».

Я, тоже по их просьбе, прочел второе — хотел написанного незадолго перед этим «Мальчишку», но не решился и выбрал тоже о солдате — «Снегопад». (А «Мальчишку» я впервые прочел в конце совещания, на большом вечере одного стихотворения, и он тут же был принят в «Новый мир».)

Потом они восхищались стихотворением Сергея Мушника «Чоботы», и Твардовский сокрушался:

— Нет, это не переведут, все пропадет. Хоть на украинском печатай!..

Они стали расспрашивать, кто мы и откуда, очень удивились, что из Литературного института:

— Из нашего Литинститута?

Другие тоже заслужили похвалу, некоторые были приглашены сотрудничать в журнале, кое-кто этим приглашением вскоре воспользовался. А о нас троих Твардовский упомянул в своем выступлении на общем заседании, сказал, что был удивлен встрече с нами, назвал новыми поэтами. Об этом приятно вспомнить, кроме того факта, что в напечатанной «по сокращенной стенограмме» речи А. Т. Твардовского не оказалось наших имен. Они, видимо, выпали как раз в процессе сокращения.

Так я познакомился с А. Т. Твардовским, а общение с ним стало одной из самых ярких радостей моей литературной жизни.

Никому — ни из сверстников, ни из старших поэтов-метров, ни из редакторов — не показывал я свои стихи с таким волнением, с таким душевным трепетом,— это чувство ничуть не потускнело с годами.

Ничье отрицательное суждение не обдавало меня такой горечью, ничья похвала не наполняла таким счастьем.

Всякая встреча и разговор с ним оставляли ощущение значительности, важности происшедшего с тобой. Я чаще всего испытывал острое как никогда желание работать, что-то сделать — и не просто, а на пределе своих возмож-

ностей, даже выше предела, открыть в себе что-то новое, верить в себя.

Я был настолько покорен, завоеван им, что не сумел оценить того, что живу в одно время с Пастернаком и Ахматовой, не познакомился с ними, не сделал попытки. Когда я сказал к слову, что не знаком с Пастернаком, Твардовский ответил веско:

— Не много потеряли.

Думаю, что немало.

Сила обаяния и воздействия его личности и таланта была столь велика, убедительна, что его литературные противники, если бы только он пожелал, стали бы его верными союзниками, еще почли бы это за честь (многие из них, как мне кажется, в глубине души мечтали об этом).

Люди, работавшие и сотрудничавшие с ним, в большинстве своем становились лучше, справедливее, человечней, всем своим обликом, поведением и делом невольно старались заслужить его одобрение.

Хочется сказать о счастье общения с ним и пожалеть тех, кого это не коснулось. Это была удивительная личность, огромного масштаба, охвата, ума, при некоторой суровости, как мне казалось порою, чуть-чуть напускной. Приятно было видеть его лицо, слышать его говор, своеобразный, слегка белорусский, что ли. Он говорил «изящно». А какой он был собеседник, рассказчик! С какой живостью, подробностями он говорил о детстве, о деревне, о тонкостях печного или кузнечного ремесла. Это было так же сочно, как и в его стихах: «И прикуривает, черт, от клещей горячих».

У него было такое качество: о чем бы он ни рассказывал, это приобретало характер значительности. Однажды, помню, в перерыве какого-то заседания обедали мы, несколько человек во главе с ним. Было начало лета, и только появились свежие огурчики. И вдруг он сказал:

— Знаете, какое было любимое лакомство в моем детстве? Огурцы с медом.

И спросил меня:

— Пробовали?

Получив отрицательный ответ, он посмотрел на меня с некоторым сожалением и произнес задумчиво:

— Слаще арбуза...

А ведь за этим действительно встает очень многое. Он вообще умел *сказать*. Я не встречал человека, который бы не слушал его, что называется, разинув рот. И в стихах

он так умел поставить слово, так повернуть его, что это бывало как взрыв, поражало, сохраняя полнейшую естественность.

Я не раз писал о его поэзии, чрезвычайно близкой мне; одна работа — «Перечитывая Твардовского» — довольно велика. Сейчас я больше хочу сказать о нем — это штрихи его портрета, его характера.

Мимоходная точность суждений.

С. С. Смирнову (тогдашнему руководителю Московской писательской организации):

— На длинной машине ездишь?..

(То есть на «ЗИМе» или «ЗИЛе», бывших только в служебном пользовании.)

Мне (глядя, как я причесываюсь у него в передней) о моих тогда лишь слегка, как мне казалось, поредевших кудрях:

— Ну, это только для себя осталось...

На мой вопрос, написал ли он что-нибудь в Коктебеле, с усмешкой:

— Жарко было. А мне, чтобы стихи писать, нужно штаны и рубашку надеть. Иначе я не могу.

Когда Твардовский стал впервые главным редактором журнала, Маршак сказал ему о том, что человек часто портится, если сквозь его жизнь проходит множество людей, да еще судьба которых порою от него зависит, и предостерег его. Рассказывая об этом, Александр Трифонович заметил:

— Как это верно!

Один поэт сказал ему при мне, что Некрасов... эпигон Блока. То есть у Блока какие-то некрасовские черты сильнее, чем у самого Некрасова.

Твардовский некоторое время смотрел на него, а затем сказал проникновенно:

— Как же вам не совестно!

Александр Трифонович говорил мне, что никогда не интересуется оформлением своих книг, не смотрит заранее эскизы, а встречается с работой художника только по выходе книги в свет.

Я спросил:

— А как же Верейский?

Он ответил:

— Это другое дело.

...Осенью 1965 года в Риме, приглашенный в числе других поэтов почитать стихи в клубе нашего посольства, отказался: «Давно стихов не пишу»,— и когда Сурков сказал: «Прочтешь старые»,— заметил назидательно (не вполне серьезно, конечно):

— А читать старые стихи считаю безнравственным.

Вообще читал свои стихи прекрасно, но не любил выступать.

Рассказывая о поездке вместе с Э. Казакевичем и М. Лукониным в Сибирь и на Дальний Восток (откуда началась «За далью — даль»), он восхищался сложением Луконина. Когда проезжали над самым Байкалом, он спросил Луконина, что тот будет делать, если поезд упадет в воду.

— Стекло выдавлю,— беспечно ответил он,— и раму.

— И выдавит! — с удовольствием подтверждал Твардовский.— Здоровый парень!..

Я передал это Луконину, желая доставить ему удовольствие, но тот заметил весьма кисло:

— Лучше бы сказал, какой я поэт. А то — «здоровый парень»!

А это ведь немалая похвала в его устах. Потому что больше всего он ценил удаль, веселость, естественность.

Я не раз слыхал, как он говорил «ты» (и, разумеется, они ему) Исаковскому, Тарасенкову, Луконину и другим друзьям и товарищам старше, моложе его или ровесникам.

Но он никогда не обращался на «ты» к тем, с кем он не был на «ты», как у нас порой водится. Он не желал, чтобы ему отвечали тем же, исключал самую возможность подобного казуса.

Иные старшие писатели обращаются к младшим на «вы», но только по имени. Разумеется, здесь нет ничего худого, если тех это устраивает. Но он никогда и этого не делал. Лишь раза два за все годы знакомства, в долгом застолье, он назвал меня Костей.

В нем и внутренне, и внешне очень ярко проявлялось чувство достоинства.

Когда-то он мне сделал потрясающее предложение:

— Все, что напишете, приносите мне. А то, что я не возьму, вы сможете продать в другое место...

Мне кажется (теперь!), что это слово «продать» он употребил, чтобы указать на деловую сущность приглашения и чтобы я поскорее пришел в себя.

И я приносил.

Он не торопясь надевал очки, закуривал, брал карандаш.

У меня замирало сердце. В те несколько минут, пока он читал, никогда нельзя было угадать приговор, и всякий раз мне казалось, что речь пойдет не о том, напечатает ли он то или иное стихотворение, а что вообще решается моя судьба.

Он немало принял моих стихов, но многое и отверг.

Я отметил любопытное его свойство: когда стихотворение ему не нравилось (большей частью верно), он часто не просто откладывал его, но, вероятно, стараясь выглядеть особенно убедительным, начинал искать слабости не там, где они были на самом деле.

Так, критикуя одно мое действительно слабое стихотворение о стройке, он сказал:

— Почему вы пишете «кафель»? Есть слово «кафля».

— Да,— согласился я,— но «кафель» тоже есть.

Твардовский наличие такого слова отрицал.

— Ну что вы, Александр Трифонович! — волновался я.— Посмотрите в словаре.

Он глянул на меня с некоторым удивлением:

— Я словарями никогда не пользуюсь.

Я был почти добит, но еще слабо сопротивлялся, и он великодушно предложил:

— Хорошо, спросим у ученого человека.— И позвал: — Борис Германович!

Появившийся из соседнего кабинета в качестве арбитра ответственный секретарь журнала Б. Г. Закс произнес весьма остроумную краткую речь, из которой явствовало, что хотя слово такое и есть, но прав Александр Трифонович.

В том же стихотворении у меня было о рабочем:

Пьет молоко из горлышка бутылки,—
В другой руке надкушенный батон.

— Ну хорошо,— сказал Твардовский устало, но терпеливо,— зачем вы употребляете французское слово «батон», когда есть прекрасное русское слово «булка»? И вообще батон бывает не только хлебный, есть шоколадный батон и еще другие. Неточно!..

Я пробормотал о том, что здесь понятно, какой батон, и что это слово давно, по моему разумению, укоренилось в русском языке, но я уже сдался. Тем более стихотворение не стоило того, чтобы пытаться его отстаивать.

Лишь через несколько лет, листая этимологический словарь Преображенского, я случайно наткнулся на слово «булка» и узнал, что оно тоже иностранного происхождения.

Но большинство его замечаний отличалось исключительной точностью суждений и вкуса. Он не терпел неопределенности, всяческой приблизительности, случайности.

Как-то среди прочих я принес стихотворение «Весенняя природа». Он начал читать:

О первые весенние мазки,
Природы ученическая робость!
Разрозненные пробные листки,—
От пышных рощ их отделяет пропасть.
Удаче каждой радуется глаз.
Вот куст зацвел — и нет его дороже...

Он остановился и спросил:

— Какой куст?

Я был готов к этому вопросу:

— Неважно какой. Я специально не уточняю. Ведь здесь дело совсем в другом...

(По правде говоря, мне очень хотелось, чтобы было слово «вот», как бы указывающее на этот злополучный куст: «Вот куст зацвел...»)

Он поморщился, отложил листок и сказал:

— Нет, вы уж мне объясните, что́ за куст. Конечно, если можете.

Через несколько дней я принес эти стихи с «отремонтированной» строчкой:

Зацвел орешник — нет его дороже...

Он снисходительно усмехнулся:

— Ну ладно...

Так оно и пошло, и перепечатывалось с тех пор много раз.

Дважды он сам, без меня, исправлял всего по одному слову. Я принес стихи, он был в отъезде и прочел их уже в верстке. Заведовавшая отделом поэзии С. Г. Караганова, встретив меня, сказала:

— Все в порядке. Александр Трифонович заменил у вас одно слово. Я не помню где, но очень хорошо.

А я сразу понял — какое, но не догадался — каким. Там было стихотворение «Дом» и в нем четверостишие:

Не диван, не кровать,
Не обоев краски.
Нужно дом создавать
С верности и ласки.

Мне не нравилось слово «создавать», звучащее здесь как-то казенно и выспренне. Я поставил «затевать», но оно тоже было в данном случае не мое и коробило едва уловимым оттенком лихости, развязности. Я оставил «создавать».

А он зачеркнул и написал «начинать»:

Нужно дом начинать
С верности и ласки.

Насколько лучше! Так и печатается.

Еще в моей первой прозе, в «Армейской юности», за которую я взялся благодаря ему (об этом я уже писал ранее), он переправил одно слово — «яловичные» (вместо «яловые») сапоги. Конечно, правильней, хотя в армии говорили именно «яловые».

Поэту такой силы, широты и разнообразия, ему, как ни странно, свойственно некоторое предубеждение против стихов о любви. Вероятно, это едва ли не уникальный случай — отсутствие интимной лирики у поэта такого масштаба. Как редактор он иногда печатал стихи о любви, но большей частью старался от них отделаться.

Приношу стихотворение:

Меж бровями складка.
Шарфик голубой.
Трепетно и сладко
Быть всегда с тобой.

В час обыкновенный,
Посредине дня,
Вдруг пронзит мгновенной
Радостью меня.

Или ночью синей
Вдруг проснусь в тиши
От необъяснимой
Нежности души.

Он сразу отчеркивает первую строфу, закуривает, долго кашляет и говорит еще сквозь кашель:

— Вместо этого что-нибудь бы другое. Дальше неплохо, но очень уж коротко, куцо.

(Короткие стихи он тоже не жалует.)

Я вижу, как неохота ему обсуждать эти стихи, они ему не интересны, он устал. Но все же он протягивает листок вошедшему в большой кабинет своему заместителю А. И. Кондратовичу:

— Посмотрите.

Тот пробегает глазами и произносит бодро:

— Слишком лично.

Александр Трифонович смотрит на меня с веселой удовлетворенностью:

— Вот видите!

А я, сдерживая улыбку, думаю с изумлением: «Милый Алексей Иванович, предоставьте уж это ему...»

...Несмотря на то, что у него самого есть совершенно замечательные короткие стихотворения, он душой не принимает миниатюру, недолюбливает, она его не удовлетворяет до конца.

Не раз он говорил:

— Ну, что это у вас, кусочек чего-то, отрывок? Нужно продолжить, развить... В стихах должно что-то происходить.

— Но как же,— иногда спорил я,— вся русская лирика? «Я вас любил...», «Как дай вам бог любимой быть другим...» Это тоже нужно продолжить?

— А что же,— не смущаясь, с той серьезной уверенностью, с той свойственной ему колоссальной, покоряющей убежденностью, отвечал он,— можно и эти стихи воспринять лишь как начало и развить в длинное стихотворение. Там еще многое можно сказать.

— И «Пора, мой друг, пора...»?

Он весело глянул на меня: — И это:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... и глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Самое удивительное, что в дальнейшем я прочитал в примечаниях к этому пушкинскому шедевру:

«В рукописи стихи сопровождены планом их завершения: «Юность не имеет нужды в at home[1], зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он *домой.* О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь, etc.— религия, смерть».

Таким образом, Пушкин собирался продолжать это стихотворение!

Меня не раз привлекало то, что его день рождения — 21 июня. Тридцать один год минул ему накануне войны. Вот как он описывает следующее утро:

...Стояло юное, в цвету,
Едва с весной расставшись, лето;
Стояла утренняя тишь,
Был смешан с медом воздух сочный;

---

[1] В своем доме *(англ.).*

Стекала капельками с крыш
Роса по трубам водосточным;

И рог пастуший в этот час,
И первый ранний запах сена...
Все, все на памяти у нас,
Все до подробностей бесценно:

Как долго непросохший сад
Держал прохладный сумрак тени;
Как затевался хор скворчат —
Весны вчерашней поколенья;

Как где-то радио в дому
В июньский этот день вступало
Еще не с тем, о чем ему
Вещать России предстояло...

Видимо, он не успел еще лечь в ту короткую ночь и, разумеется, не знал ранним воскресным утром, что над Россией уже гремит страшная война. Та война, в чьем огне суждено было богатырски окрепнуть его таланту, поднявшись до самых больших высот русской поэзии.

Но в стихах об этом дне он не позволил себе ничего сугубо личного.

Я пишу это в конце лета, на берегу Рижского залива, под ровный шум моря и сосен.

По дороге сюда я проснулся среди ночи в вагоне. Поезд стоял на какой-то станции, была гроза, молнии сквозь неплотную занавеску освещали купе. А на вокзале что-то объявляли по радио, и вдруг я понял, что это Ржев. Я совсем забыл, что мы должны проезжать мимо. И первое, что возникло,— «Я убит подо Ржевом...»

Это великое стихотворение настолько уже связано в нашем сознании с этим городом, с этим названием, что уже составляет как бы часть его, как бы часть его славы. Город Ржев уже знаменит и этим стихотворением, как может быть город знаменит выдающимся человеком или стариннейшим собором.

Поезд уже шел вовсю, заглушая грозу, а в голове моей стучало:

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

И дальше — сильнее, чем щемящее блоковское: «Похоронят, зароют глубоко»:

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе...

На этом месте у меня всегда перехватывает горло.

Позволю себе закончить воспоминания собственными стихами. Конечно, понятие документальность плохо сочетается со словом стихи. Но когда писалось это стихотворение, я старался с возможной точностью передать свое посещение уже тяжело больного поэта. Это происходило у него на даче, в Красной Пахре. Добавлю еще, что там находились Мария Илларионовна Твардовская, его дочь Ольга Александровна и писатель Юрий Трифонов.

В КРАСНОЙ ПАХРЕ

И сразу же, в дверях,
Меня пронзила жалость,—
Пропал мой долгий страх,
И только сердце сжалось.

Он, словно между дел
И словно их немало,
Средь комнаты сидел,
Задумавшись устало.

Ушла за дальний круг
Медлительная властность,
И проступила вдруг
Беспомощная ясность
Незамутненных глаз.
А в них была забота,
Как будто вот сейчас
Ему мешало что-то.

Он подождал, потом
(Верней, слова, ложитесь!)
Негромко и с трудом
Промолвил: — Покажитесь...

Я передвинул стул,
Чтоб быть не против света,
И он чуть-чуть кивнул,
Благодаря за это.

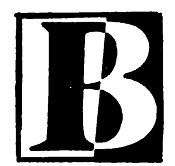
И, голову склоня,
Взглянул бочком, как птица,
Причислив и меня
К тем, с кем хотел проститься.

У многих на виду,
Что тоже приезжали,
Он нес свою беду
И прочие печали.

Какой ужасный год,
Безжалостное лето,
Коль близится уход
Великого поэта.

...Как странно все теперь.
В снегу поля пустые...
Поверь, таких потерь
Немного у России.

ХЛЕБ И ГЛИНА



от я и в Чите. Непринужденно шагаю в своей слегка укороченной по негласной моде солдатской шинелишке с черными погонами, в которые туго вставлены дюралевые пластинки.

Нас, нескольких военных, поселили в гостинице, выдали мандаты, блокноты с печатной надписью на обложке: «Участнику II конференции писателей Забайкалья». Я был не только самый молодой, но и самый младший по званию — рядовой, единственный на конференции. Узнав, что в составе делегации из Москвы приехал сам Александр Твардовский, я нетерпеливо искал его глазами — в комнатке Союза писателей, в гостинице, во время прогулок по городу. Просто даже не верилось, чтобы настоящий Твардовский запросто ходил по нашему такому далекому от Москвы городу. Я не расставался с только что купленной книгой «Дом у дороги», знал наизусть все ключевые места ее, бесконечно повторял такие естественные, простые слова, которые складывались в стихотворный кирпичик, приобретали волшебную силу мгновенно воссоздавать целую картину живой жизни.

Трава была травы добрей —
Горошек, клевер дикий,
Густой метелкою пырей
И листья земляники.

Или:

Еще не та была пора,
Что входит прямо в зиму.
Еще с картошки кожура
Счищалась об корзину.
Но становилась холодна
Земля нагрева летнего.
И на ночь мокрая копна
Впускала неприветливо.

Значит, человек сам по осени спал в копне, иначе не придумаешь неприветливость мокрого сена. В особенности невыносимо перехватывало слезами горло в том месте, где рассказывается, как «родился мальчик в дни войны, да не в отцовском доме...».

Литераторы народ демократичный, тут звания и возраст роли почти не играют. Мы, военные — сержанты, офицеры, среди которых был один полковник, ставший ныне известным писателем,— собравшись для знакомства, почти беспрестанно цитировали «Василия Теркина», смаковали живописные подробности.

Твардовского я увидел в президиуме. Большой, грузноватый, почти сорокалетний мужчина в сером хорошо сшитом костюме в чуть заметную клетку. На крупное как бы припухшее, щекастое и курносое лицо спадало светлое крыло волос. Невероятно — он курил в президиуме! Сперва я даже не поверил глазам. Чтобы в президиуме, где все областное начальство и генералы, перед забитым до отказа залом сидеть вот так, совершенно спокойно, естественно и покуривать. Но как спокойней, уютней, проще, естественней становилось все вокруг из-за этого, как улетучивались волнение, некая неловкость.

Был долгий доклад, разные выступления, приветствия, и вот наконец ударили в полную силу светильники всех калибров, сцена с длинным столом под красной бархатной скатертью и сверкающим графином, с могучей трибуной стала ослепительной — Твардовскому предоставили слово. Кинооператоры и фоторепортеры изготовились. Он, как мне показалось, с видимой неохотой вышел к трибуне, встал рядом с ней, независимо положил локоть правой руки на нее, слегка оперся и тяжело вздохнул. Молчание угрожающе длилось. Не знает, что говорить, напугался я и сам весь напрягся. Ну-ну, не осрамись, мысленно подбадривал я. Обернув свое пылающее лицо назад, я увидел, что весь зал, почти не дыша, следил за ним глазами.

Медленно-медленно, как паровоз, трогающий сверхтяжелый состав, он заговорил. Слова были тяжелы, ложились грузно в память, оседая надолго. Они были неотразимо просты и складывались в поразительно ясную мысль: если бы завтра вся матушка печать и радио стали утверждать, что глина полезней хлеба, то вряд ли нашелся бы дурак, который вместо хлеба купил бы утром глиняный кирпич. А если бы таковой и нашелся, то и его вскоре потянуло бы к натуральному хлебу. Нечто подобное иногда происходит в литературе. В силу разных причин читателю иногда преподносят вместо духовного хлеба — эрзац, этакую глину. Но время все ставит на свои места. Расхваленная глина останется глиной, а обруганный хлеб — хлебом...

Я не рискнул изложить его выступление прямой речью, но за главную мысль ручаюсь.

Запомнилось, как он в этом выступлении, обращаясь к молодой забайкальской писательской организации, говорил, что мы ходим буквально по золоту. Речь шла о необычайно колоритном населении нашего края, где смешались языки,— тут осели и наследники декабристов, и революционеры разных национальностей, более поздних времен, тут много переселенцев, приехавших осваивать новые земли. И природа, и люди, и дела их — восхитительны. Твардовский разговорился, с воодушевлением рассказывал, как во время непогоды он, путешествуя по области, вынужден был заночевать со спутниками у солдат какого-то затерянного в таежных сопках подразделения: какие замечательные, умные, начитанные эти ребята, как широко они мыслят, как много понимают, как любят отечественную литературу, родное слово. В его импровизированном, рождающемся прямо на глазах рассказе мелькали точные подробности, характерные словечки, и мы с друзьями только значительно переглядывались: как сами не заметили, как сами не уловили? Вот что значит глаз и ухо Твардовского!

Его доверительность, искренность, какая-то открытость, а главное — заинтересованность и, я бы сказал, гражданственная, умная наблюдательность вызвали в зале порыв такого пристрастного чувства, что председательствующий долго не мог утихомирить аплодисменты...

Он руководил у нас поэтическим семинаром. Занимались в просторной комнате обкома партии. Сперва курили только во время перерыва в коридоре, но вскоре так увлеклись, что забыли о порядке, дымили все. Твардовский вступал в разговор редко, но суждения его запомнились. У одного стихотворца промелькнула фраза: «Над грудой книг, брошюр, газет». Стоп! Александр Трифонович поморщился:

— Брошюра, прокуратура — что за слова? За ними же ничего нету. Ни веса не имеют, ни вкуса, ни аромата. Сравните, например, я говорю: «трава», «снег», «старик». Или вот: «кисть руки». Ведь это же слова-образы. А у вас сплошь какие-то бесцветные «брошюры». И даже порядок слов в предложении имеет значение. Вот говорят «кровь с молоком». Что вы представляете? Ну конечно девичье красивое лицо. А давайте переставим слова: «молоко с кровью»...

Особенно сердито выступал он против выспренних, пустых, общих мест. Один нахальноватый капитан, привыкший, что его вирши чуть ли не еженедельно печатаются в окружной газете, вообразил себя метром. Сделаны же его стихи были по известному принципу: «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал». Твардовский осторож-

но приостановил нас, тех, кто набросился на бедного доморощенного «гения». Он как-то даже ласково, с задумчивой улыбкой спросил у капитана:

— У вас есть мать? Есть. А вы прочитали бы ей свои стихи? Вот пришли бы домой, а она, занятая с утра по хозяйству, усталая, старенькая, встретила бы вас. Хватило бы у вас духу прочитать вот это ей? А?.. Не хватило бы? Вот то-то. Надо так проверять свои стихи: если не стыдно их прочесть самому дорогому для себя человеку, значит, стихи получились...

После перерыва Твардовский взял листок из какой-то рукописи, спросил:

— Чье это? «Чжу Дэ»?

Это было, как я уже говорил, в 1949 году, когда имя Чжу Дэ было широко известно. Мне довелось увидеть солдат его армии во время маньчжурского похода в 1945 году, китайцев я знал с детства — жил я возле китайской границы. Поэтому мне казалось естественным, что я взялся написать такое стихотворение, навеянное еще и симоновским «Генералом».

— Вы видели Чжу Дэ? Не видели. Ну, а портрет в «Правде» — недавно печатался? Видели? Так хоть чуть-чуть его нарисовать вы могли. У вас же только имя его упомянуто. Человека не вижу. Гладко, правильно написано, и рифмы неплохие. А стихотворение не волнует.

— Глина,— согласился я, пылая от стыда.

Он поднял на меня светлые, с почти бесцветной радужной оболочкой глаза, серьезно посмотрел, как бы вбирая в память, и развел руками:

— Может быть. Давайте посмотрим ваши другие стихи...

Много, много уроков получил я в жизни, но это занятие всегда перед глазами.

Хлеб и глина...

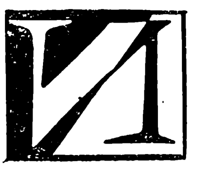
В заключение все поэты читали свои стихи в Доме офицеров. Народу набилось — не протолкнуться. Я пролепетал свое стихотворение, чуть не оглох от ударов крови в ушах.

И вот слово Твардовскому. Тишина такая, что слышно дыхание. Он читает «Переправу» из «Василия Теркина». Вроде бы наизусть знаю эту главу, а слышу будто впервые. Он читает естественно, просто, будто бы сам впервые встретил эти строки и при этом знает, что слушает его самый дорогой человек, может быть, мать. Поэтому с такой невероятной силой действуют стихи. А когда доходит до строк: «Люди, теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно»,— по залу проходит сдавленный общий вздох, будто это ты, живой, теплый, идешь ко дну холодной реки.

Кишинев, 1973

П. ВЫХОДЦЕВ

ВСТРЕЧИ И ПЕРЕПИСКА С А. Т. ТВАРДОВСКИМ



з всех литераторов, с которыми мне посчастливилось встретиться в жизни, я не могу назвать ни одного, кто бы произвел такое яркое впечатление и оказал такое сильное влияние на мое миропонимание, как Твардовский. И до сих пор не ослабевает чувство благодарности судьбе за то, что моя фронтовая юность протекала «под знаком» этого большого русского поэта.

Еще задолго до личного знакомства, будучи рядовым солдатом, я был буквально потрясен, впервые прочитав главы гениального «Василия Теркина», опубликованные во фронтовых газетах и журналах. Это было в 1943 году. С тех пор Твардовский стал поэтическим кумиром для нас, фронтовиков, особенно молодых. Он словно открывал нам самих себя, ненароком поучал, подбодрял, вносил в тяжелую фронтовую жизнь искру бодрости и веры. Мы пытались представить себе облик автора «Теркина», его возраст, голос, походку, жесты. И всякий раз получался Теркин, только постарше.

При всей наивности нашего восприятия и поэмы, и образа самого поэта оно было необыкновенно сильным, искренним и устойчивым.

Когда в конце 1949 года я оказался в аспирантуре Института русской литературы (Пушкинский Дом), для меня не было выбора темы диссертации — ею стали поэмы Твардовского. Жажда встретиться с поэтом, просто увидеть его и о чем-нибудь поговорить была большой и естественной, но всякий раз одолевала мальчишеская робость.

Однако в процессе работы накапливались неотложные вопросы, в разрешении которых, как мне казалось, мог помочь только Твардовский. Меня особенно интересовали читательская почта «Василия Теркина» и некоторые вопросы,

связанные с творческой историей поэмы, которые, думалось мне, откроют секрет ее успеха и художественного своеобразия. В конце 1951 года я обратился к нему с письменной просьбой и вскоре получил ответ.

В письме от 22 ноября 1951 года Александр Трифонович, соглашаясь при встрече ответить на мои вопросы и познакомить с почтой читателей «Василия Теркина», предупреждал, однако, в бессмысленности разысканий фронтовых газет, где печаталась поэма, и бесплодности проведения текстологических сопоставлений вариантов и редакций. «Дело не в разночтениях,— писал он,— а «в Теркине» — каков он есть в собранном виде. О нем-то и не сказано еще ничего путного, на мой взгляд».

Вначале мне показалось, что, как и большинство писателей, Твардовский недооценивает литературоведческую работу, историко-литературные разыскания и т. п. и склоняет к чисто критическому рассмотрению литературного произведения. Однако, зная, с каким вниманием он еще в молодости относился к литературной науке (он, например, рецензировал в 1934 году первый том горьковских «Материалов и исследований», выпущенных Академией наук под редакцией В. А. Десницкого), я отверг эти подозрения и, продолжая работу, решил дообъяснить ему свои задачи и желания.

Где-то в начале 1952 года произошла первая встреча с поэтом — в редакции журнала «Новый мир». Встреча была очень волнующей для меня, хотя и по необходимости краткой. Видя редакционную рабочую «суету» и чрезвычайную занятость Твардовского, я оставил в стороне все свои «вопросы» и попросил только об одном — позволить познакомиться с письмами читателей. Александр Трифонович широко улыбнулся, извинился, что все еще никак не может вместе с Марией Илларионовной их привести в порядок, позвонил домой, подробно рассказал, как проехать, и снова извинился, сославшись на занятость.

Позже мне приходилось видеть Твардовского в разных душевных состояниях, но эта краткая встреча, проходившая вперемежку с деловыми распоряжениями, советами и указаниями сотрудникам журнала, оставила о нем впечатление как о человеке большой энергии, проницательного склада ума и особенно — удивительной способности легко, свободно и уважительно разговаривать с людьми. Умение держаться естественно и просто, без оглядки на свое положение и огромный литературный авторитет, о котором он, безусловно, знал, я хорошо запомнил и при следующих, столь же непродолжительных встречах в «Новом мире». Не могу, например, забыть, как однажды (в те же 1952—1953 годы) он, сидя за своим редакторским столом, искренне, почти по-детски самозабвенно смеялся, вытирая слезы, слушая какие-то смешные

истории, которые рассказывал тут же Ираклий Андроников. Подхваченный стихией смеха, он и сам рассказал забавный эпизод с Маршаком, у которого была привычка дотрагиваться рукой до коленки собеседника, смутившим некую девицу, пришедшую к нему по какому-то серьезному вопросу. При этом он снова заливался заразительным до слез смехом. В другом случае, как-то представляя меня присутствующим (среди которых помню только Анатолия Тарасенкова) и произнеся какие-то лестные слова в мой адрес, он вдруг запросто заговорил о «трепотне» критиков, которые бесконечно повторяют о Теркине — рубахе-парне, не унывающем солдате-балагуре и «не видят главного».

И снова что-то «теркинское» увиделось мне в его натуре, естественной и здоровой.

Вскоре, однако, я узнал другого Твардовского — тяжело переживающего, негодующего, болеющего общими бедами и неполадками, думающего о судьбах страны, о ее прошлом и будущем, исторически широко мыслящего,— того Твардовского, который был недоволен истолкованием «Теркина», который создал бессмертные «Страну Муравию», «Дом у дороги», «Стихи из записной книжки», «Послевоенные стихи», главы «За далью — даль»...

Особенно запомнилась встреча 26 апреля 1955 года в доме отдыха «Истра», где Александр Трифонович работал над новой поэмой.

По предварительной договоренности мы должны были встретиться в Москве числа 25—26 апреля. Однако Александр Трифонович продлил свое пребывание в «творческом отпуске», и я, по предложению Марии Илларионовны, на их «Победе» дождливым вечером 26 апреля отправился в «Истру».

Это была первая обстоятельная беседа с Твардовским по различным литературным и нелитературным вопросам, оставившая глубокий след не только в моем понимании творчества и личности самого поэта, но и современной литературы и даже некоторых важнейших жизненных проблем.

Его волновало состояние нашей литературы, низкий уровень многих художественных произведений, в которых правда подменяется установившимися схемами, а критика выдает их за высокие образцы искусства.

Разговор незаметно перешел и на более общие темы — о судьбах русской деревни, о правде, которой должен служить писатель, о литературе военных лет, о современной поэзии. Многие суждения Твардовского были настолько неожиданны для меня, что только гораздо позже я понял их глубокий смысл. Особенно горячо и интересно он говорил об издержках «культа личности», отрицательно повлиявших на духовную жизнь села, на вековые крестьянские традиции, общее самочувствие трудовых масс, о том, что писатель, стремясь

разобраться в том, как складывается наше сегодня, не имеет права обходить острые вопросы.

— Главное,— заключил он,— не потерять чувства правды. А то бывает так: сначала человек идет на компромисс, на сделку со своей совестью, потом привыкает, а потом становится уютно и тепло. Глянет — а годы-то ушли, и жизнь прожита совсем не так. Это самое опасное и самое страшное в жизни.

И добавил:

— Для всех это самое страшное.

— Чем вы сейчас занимаетесь? — неожиданно спросил Александр Трифонович.

Я поделился планами, в частности сказал о замысле написать книгу «Поэзия Великой Отечественной войны», о том, что начал осваивать архивы В. Инбер, М. Алигер, П. Антокольского и других поэтов. Твардовский усмехнулся, попутно бросив реплику: «Заботятся о своем будущем!» (это насчет архивов), а потом полушутя спросил:

— Сколько вам лет?

Я ответил.

— Ну, тогда понятно. Мне кажется, что вы еще не вышли из того аспирантского возраста, когда все представляется в каких-то школьных измерениях... Что осталось от поэзии Отечественной войны? О чем вы будете писать? Ведь многое из того, что считается «классикой», имеет малое отношение к настоящей поэзии...

Некоторые довольно резкие суждения о произведениях военной поры мне показались спорными. Я до сих пор не могу решить, насколько прав или неправ был Твардовский, и склонен думать, что он имел в виду недостаточность глубоких, масштабных, эпических произведений, достойных великого героического подвига народа. В таком случае он безусловно прав.

Когда я высказал желание писать также о Пришвине, Есенине, Паустовском и других, по моему мнению, все еще недооцененных художниках, Твардовский энергично поддержал разговор, но снова озадачил своими суждениями.

— Пришвин,— говорил он,— это художник большой, земляной. У него великолепно получается, когда он пишет о природе, о пробуждении весны, о ласточке... но у него совсем нет человека. И уход его в природу вызван боязнью перед человеческими страстями. Мы знаем замечательные примеры, когда уходили в природу, на охоту и результатом были «Записки охотника», «Дед Мазай», «Крестьянские дети». А у Пришвина — пантеизм, обожествление природы. А человека нет. Нет главного.

Я пытался оспорить это столь резкое утверждение, доказывая, что Пришвин пишет прежде всего о человеке, но

по-своему решает главные проблемы жизни. Твардовский возражал. Тогда я спросил:

— Вы давно читали Пришвина?

Он ответил:

— Давно, очень давно.— И, подумав, добавил: — Может быть, вы и правы.

О Паустовском сказал (почти дословно передаю):

— Паустовский интересен, талантлив, но он уже помельче значительно. У него часто идет от желания блеснуть, показать необычное, и одеколоном сильно отдает.

Тогда для меня совсем неожиданными были признания Твардовского о Есенине:

— К Есенину я всегда относился без особой любви. Но это — поэт, большой художник.

Первостепенный интерес представляли высказывания Александра Трифоновича, касающиеся его собственного творчества. Занятый в то время подготовкой монографии о поэте, я, конечно, старался «выудить» его мнение о некоторых конкретных фактах, которых я не знал или в которых сомневался. В частности, мне очень важно было узнать причины странных, на мой взгляд, и длительных перерывов (особенно в 1944 году) в публикации глав «Василия Теркина» во фронтовых газетах и в журналах. Я высказал предположение, что, вероятно, приходила мысль о завершенности поэмы после окончания первой (1943) и второй (1944) частей.

Твардовский сказал:

— Отчасти да. Но не печатали еще и потому, что считали поэму недостаточно советской...

Было хлопот! Тогда гремел «Фома Смыслов». Мне его в пример ставили...

— С «Теркиным» не очень везло,— продолжал Александр Трифонович.— Когда я, приехав с фронта на несколько дней в Москву, читал вначале поэму своим друзьям (литераторам), многие противопоставляли ей «Страну Муравию». «Разве это то? — говорили они.— Там мастерство, единство...» То же случалось и после «Теркина», когда его приводили в качестве примера новому моему произведению... Писателю всегда приходится преодолевать себя в восприятии читателя, то есть то, что он в тебе привык видеть. Без этого нельзя.

Неприязненно, подозрительно относясь к вопросу о текстологических и иных сопоставлениях творчества разных писателей с целью выяснения традиций, Твардовский тем не менее не раз говорил о глубоких внутренних связях нашей литературы с классической. Я осмелился рассказать о том, как мне открылись пушкинские традиции в поэме «Василий Теркин» (мною уже была написана, но не опубликована статья на эту тему). Он подтвердил, что действительно в период

работы над «Теркиным» он испытывал наибольшее воздействие Пушкина, так как сам в годы войны как-то по-новому его прочел.

— Так что вы правы,— сказал он.— Все будет зависеть от того, как написано.

Забегая вперед, скажу, что статья «А. Твардовский и русская классическая поэзия», которая вскоре была опубликована и прочтена им, все же ему не очень понравилась (о причинах скажу ниже).

Выяснились в той памятной беседе и некоторые другие детали творческой биографии Александра Трифоновича. Например, на мой вопрос, была ли написана им поэма «Мужичок горбатый», о которой он говорил, кажется, в 1932 году, на совещании смоленских писателей, Твардовский ответил утвердительно, добавив, что напечатана она, однако, не была, так как вскоре «сам пережил ее».

— Мне хотелось показать такой тип мужичков, придавленных бедностью и нищетой, которые выродились в болтунов и демагогов.

Особенно показались неожиданными (и до сих пор они трудно поддаются объяснению) мысли Твардовского в связи с его прозой.

— Вообще,— сказал он,— проза меня всегда волновала, и на стихи я всегда смотрел как на временное явление, подступы к прозе. Поэтому в моих стихах так много прозы, повествовательности...

Очень взволнованно рассказывал Твардовский о читательских письмах, признавался, как дороги ему стихи в подражание «Василию Теркину».

— У меня,— говорил он,— есть уже большая книга таких «продолжений» и «дополнений» к «Теркину». Я вам их как-нибудь покажу. Вот никак не соберусь отдать переписать (на машинке) и переплести. Придется просить Марию Илларионовну... Недавно, например, получил письмо от женщины-домохозяйки. Это — великолепно!.. Только что письмо ей написал. И таких много. И сейчас все еще идут письма. Это интересное явление, когда люди еще не осознают разницы между литературой и душевными непосредственными желаниями. Часто удачно схватывают стиль, размер «Теркина»... Вот это надо осмыслить...

Мы засиделись, и Александр Тирофонович опоздал на ужин. Провожая, он сожалел о том, что разговор был «слишком беглый», и приглашал приехать завтра с А. Г. Дементьевым, который собирался быть. Занятый, однако, весь следующий день, я не смог воспользоваться приглашением.

Последующие встречи, особенно переписка, длившаяся около десяти лет, помогли еще более узнать и характер поэта, и его творческие устремления.

Уже после первого знакомства в начале 1952 года, воспользовавшись щедростью Твардовского и любезностью Марии Илларионовны, доверительно выдавшей мне на руки сотни читательских писем, я впервые, читая их, по-настоящему почувствовал глубину народности автора «Теркина» и, как мне казалось, нашел для себя тайну бессмертия образа. Когда, опираясь на богатейший материал этих писем, а также беспрецедентную в истории литературы творческую историю поэмы, я написал и опубликовал первую свою работу «Принципы типизации в поэмах А. Твардовского», Александр Трифонович стал не только первым ценителем и критиком, но и суровым помощником. Для начинающего исследователя было, конечно, великим счастьем получить от самого строгого судьи, автора поэм, письмо, в котором содержались строчки: «Должен сказать, что Ваша статья в «Звезде» мне очень понравилась. Это серьезный разговор, какого я не слышал еще, если не говорить о статье В. Александрова. Это уже не «образ бывалого (до чего не люблю это слово в нынешнем применении!) солдата в поэме А. Твардовского...» и т. п.» (26 I 1954 г.).

Дело, однако, было не просто в похвальных словах, не в эгоистических чувствах поэта и критика. Сопоставляя это и другие письма Твардовского, а также беседы с ним, которые касались оценок и толкования его произведений, хотя бы косвенного его участия в пропаганде своего творчества, удивляешься высоте и принципиальности его позиции, последовательности, с которой он отстаивал достоинство поэта,— и одновременно чрезвычайной личной щепетильности. Так, например, все свои замечания и пожелания по поводу прочитанных моих работ о нем он высказывал крайне осторожно, с постоянными оговорками, что не может давать «никаких советов», что «вообще занятие не в моем вкусе — поучать, как надобно писать обо мне» (19 IX 1954 г.) и т. п. Вместе с тем, когда касалось каких-то принципиальных для него вопросов, его суждения были неукоснительными и даже резкими.

Он всегда решительно возражал против использования его рукописей, ссылок на «архив писателя», даже если это относилось к читательским письмам, всячески уклонялся от «подсказок» толкования произведений. Во всем этом ему виделась писательская нескромность. Положительно, например, отозвавшись о моей статье, посвященной народно-поэтическим истокам его творчества («некнижный» подход и «расширительное» толкование проблемы), он скептически отозвался о статье, в которой выяснялись классические традиции в его поэзии, хотя она написана была по тем же принципам. Его даже смутили заглавия статей и академическая «солидность» сборников, в которых были помещены

статьи. 8 сентября 1956 года он иронически писал мне: «Правда, заглавия статей звучат так, что я отчасти почувствовал себя уже отлитым в бронзе, покойником, притом — давним, как будто над моим прахом уже сомкнулись волны, по крайней мере — десятилетий, и в то же время как будто мне оставлена возможность читать, что тут, на земле, обо мне пишут. Словом, я вздрогнул от некоего холодного дуновения времени».

Твардовский не был безразличен к мнениям критики о его произведениях, но я ни разу не заметил в этой его заинтересованности мотивов, которыми нередко руководствуются писатели, особенно молодые,— тщеславия и суетного успеха. И в этом смысле он для меня был олицетворением традиций русских классиков.

Наиболее ценным показателем «полезности своего труда» для Твардовского было, несомненно, общенародное признание его произведений, высказанное, в частности, в сотнях и тысячах писем рядовых читателей. Об этом он сам прекрасно рассказал в работе «Как был написан «Василий Теркин». Поэтому и профессиональной критике он предъявлял критерии как бы не частного характера, а общие — насколько она проникает в главное содержание литературного произведения, долженствующего утверждать художественную правду, практически участвовать в духовной жизни народных масс, быть заинтересованной современностью и будущим. «Чувство правды» он ценил превыше всего и у писателя, и у критика.

Общение с критиком (в частности со мной) Твардовский никогда не сводил ни к упрекам, ни к поучениям, ни к благодарственным фразам. И даже, казалось бы, резковатые замечания о небрежностях стиля, о неверных или неточных мыслях делались настолько открыто, прямо и доброжелательно, что как бы имелись в виду не сами по себе эти оплошности, а принцип работы литератора, ответственность пишущего, необходимость быть точным и чутким к слову. В ряде писем он интересовался мнением и о своих новых (публикуемых) произведениях. При этом опять-таки «профессионализм» в работе он не отделял от нравственного состояния человека. Чтобы не быть голословным, приведу одно письмо полностью.

«М. 27. II. 57.

Дорогой Петр Созонтович! Все то, что Вы говорите о своих сомнениях, чувстве неудовлетворенности содеянным и т. д.,— все это очень хорошо, потому что это обязательный признак роста, выползания из скорлупы кандидатско-диссертантского (простите!) «жанра». И здесь непременно бывает так, что человек способен преувеличивать, т. е. видеть

одни несовершенства свои, а на самом деле оно и не так. Это свойственно было всем настоящим людям литературного труда, не только нам, грешным. Если этого нет — пиши пропало. Сложность только в том, что и на этом нельзя успокаиваться: вот, мол, какой я хороший, подлинный, сомневаюсь, не удовлетворяюсь, гипертрофирую свои слабости и т. д.,— словом, все в порядке. Как только решил на том, так и опять пропал, пропал так же, как и тот, который с самого начала доволен собой, не изведав даже этих терзаний. Словом, покоя нет, покой нам только снится, и то редко. Но при всем этом — очень хорошо, когда появляется неприязнь к написанному,— значит, надо искать, ломать, пробиваться дальше. И пусть покоя нет, но известная, хотя бы временная, и удовлетворенность должна посещать душу — иначе труд, продвижение вперед невозможны. Немножко можно иногда себя ободрить в этом смысле, не теряя чувства объективности.

Вы человек еще очень молодой для Вашего призвания и назначения, у Вас большой запас сил и времени, но Вы уже успели хлебнуть той отравляющей смеси, коей у нас подкармливают «молодых научных сотрудников». Очень хорошо, что Вас от нее тошнит уже, рад за Вас. Простите, с чего это я вдруг начал как бы вещать? Просто так.

«Теркина после войны» [1] мне обещали верные и могущественные лица достать. Тотчас поделюсь с Вами.

Очень рад Вашей готовности принять участие в «оформлении» теркинского фольклора. Я, пожалуй, попробую предложить это дело «Сов. писателю».

Желаю всего доброго —

Ваш *А. Твардовский*»

Эпизод с подготовкой «теркинского фольклора», то есть книги стихов читателей «Василия Теркина», сам по себе очень интересен для характеристики Твардовского как человека.

В одном из писем середины 1957 года Твардовский поделился мыслями о возможности опубликования собравшихся у него стихов и поэм читателей и предложил написать к этому изданию «пояснительную статью». «Тогда, заручившись Вашим согласием, я дам команду подбирать стихи и подготовить для Вас экземпляр этой рукописи» (5 VII 1957 г.).

В ряде последующих писем главной темой была подготовка этой книги. Твардовский писал о трудностях собира-

---

[1] С. Юрасов. Василий Теркин после войны. По А. Твардовскому. Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1953. Об этой книге см. подробно в статье А. Твардовского «Как был написан «Василий Теркин» *(Прим. автора).*

ния, о «нажиме» издательства, о своем нежелании писать вступительную статью (что предлагало издательство) и т. п. В январе 1958 года я наконец получил из Ялты, от Александра Трифоновича, где он с семьей отдыхал в санатории, письмо и рукопись (машинопись) «Стихов читателей «Василия Теркина».

Казалось бы, Твардовский, так страстно мечтавший видеть изданной такую книгу, был у цели. Однако, раскрыв конверт, я вот что прочел в письме:

«Дорогой Петр Созонтович!

Одновременно с сим высылаю рукопись «Стихов читателей» в первоначальном, натуральном, только переписанном на машинке виде. Это была нешуточная работа для М. И. (Марии Илларионовны.— *П. В.*) — извлечь эти 108 стихотворений из массы писем. Но что это такое — не могу судить по первому (подряд) прочтению их, и годится ли это для издания — не знаю. Там много интересного и даже трогательного — почти все они это не просто отклик и желание поговорить с автором на его языке, но и своеобразное «заманивание», понуждение автора к продолжению этой книги. Могу сказать без псевдоскромности, что образец такого «контакта» между писателем и читателем, пожалуй, беспрецедентен в нашей лит-ре, не только в поэзии, хотя бы иметь в виду и такие книги, как «Сталь» Островского или «Повесть» Полевого,— там некие привходящие мотивы и обстоятельства. Но мне трудно допустить, что при моей жизни я позволил бы опубликовать такие славословия собственной персоне, какими там оснащено каждое почти послание. И, однако, я посылаю Вам все это в нетронутом (как и в отношении длиннот и малограмотности) виде, чтобы не лишить материал его доподлинной натуральности. Посмотрите и отпишите мне о своих соображениях. Льщу себя надеждой, что безотносительно к возможному изданию этой штуки она Вам будет небезынтересна» (6 I 1958 г.).

Присланные Твардовским материалы были действительно уникальные во всех отношениях, и я без промедления написал об этом Александру Трифоновичу. От него сразу же получил ответ. «Я очень рад,— писал он,— что Вы распознаете и признаете значительность этого материала, при всех необходимых оговорках насчет длиннот, литературщины и т. п. И не откладывайте в особо долгий ящик свое намерение написать нечто — это не пропадет ни в коем случае. При встрече мы договоримся насчет составительства. По истинному праву труда и забот об этом деле составителем должна быть М. И. (Мария Илларионовна.— *П. В.*), хоть и очень не хотелось бы дать повод к обычным в таком случае

остротам лит. братии. Но и это нужно еще обдумать» (18 I 1958 г.).

В следующих письмах Александр Трифонович высказывает различные соображения относительно издания этих материалов, возможных издательств, публикаций в журнале, характера вступительной и т. п. Словом, проблема эта серьезно занимала его и, судя по всему, прежде всего с точки зрения явления «беспрецедентного в нашей литературе». Однако тревожная (для меня) оговорка — «Но мне трудно допустить, что при моей жизни я позволил бы опубликовать такие славословия собственной персоне» — все чаще стала звучать в письмах Твардовского, и я, зная уже эту его особенность, стал опасаться, что он в конце концов примет отрицательное решение, хотя он и продолжал заботиться об издании.

Когда я испросил совета, соглашаться ли на предложение написать по этим материалам статью об особенностях современного фольклора для академического издания «Русский фольклор», Твардовский горячо поддержал эту мысль. «Мое мнение,— отвечал он: — подряжайтесь! Мне даже кажется, что это, покамест, наилучший вариант запуска в жизнь этого материала. Подряжайтесь и пишите, стараясь процитировать наиболее яркие и выразительные строфы, места, изложив от себя общее содержание вещи, дав понять о ее контексте и т. д.— не учить Вас» (10 IV 1958 г.).

Твардовский словно бы почувствовал облегчение оттого, что снимается с него мучительный вопрос «вмешательства» в судьбу своего творчества, которого он всегда так избегал. К концу 1958 года он, вероятно, уже пришел к окончательному выводу о «преждевременности» публикации «теркинского фольклора» — все по той же причине. Даже когда я попросил разрешения в подготовленном мною «Семинарии» опубликовать письма читателей, он ответил: «Что касается писем, я решил не публиковать без особых обстоятельств (вроде «Ответа читателям») читательских писем, ибо куда ни кинь, а это «делопроизводство собственной славы», и уподобляться мне в этом смысле некоторым иным деятелям не следует» (10 IV 1959 г.). А через несколько дней в связи с тем же «Семинарием» и моими просьбами он написал решительно и бесповоротно: «Продолжения «Теркина» — только опубликованные, иных цитировать и называть не нужно. Это же и в отношении писем читательских. Хорошо бы Вам обойтись и без «летописи жизни и творчества», рассовав необходимые факты и даты там-сям по ходу изложения. Вообще — повторяю свое окончательно сложившееся мнение и решение: я — не источник для биографа (или как там Вас назвать в данном случае) — это нехорошо, некрасиво до стыда. Точно так же и в отношении писем и иных мате-

риалов. И, поверьте мне однажды, все это чепуха и пустяки, все это псевдонаучность, с которой Вам так трудно расстаться. Можно и должно не знать никаких «ранних» и т. п. произведений, никаких «вариантов» — и написать на основе общеизвестных и общезначимых вещей писателя самое главное и самое существенное» (21 IV 1959 г.).

Твардовский остался верным себе.

Я не стал разубеждать его в том, что жанр справочно-методического издания — «Семинарий» — не может обходиться без этих «псевдонаучностей» и что литературная наука вообще не может создаваться без учета всех имеющихся фактов и т. п.

Этот, казалось бы, частный эпизод в жизни Твардовского, эпизод, о котором, возможно, мало кто знает и который можно было бы назвать «внутренним», убедительнее, чем многие «внешние», раскрывает благородный облик поэта. Независимо от того, прав или не прав был Твардовский объективно, отказавшись от публикации книги так ценимых им стихов читателей (как и читательских писем), он прав был в одном — в бережении и отстаивании высокого достоинства художника, в сохранении его чести и совести.

С начала 60-х годов по разным причинам, и в первую очередь по причине переключения моих научных интересов в другие области нашей литературы, переписка с Александром Трифоновичем Твардовским оборвалась, хотя и были у меня с ним встречи и беседы.

Последней и самой тяжелой для меня, как и для всех знавших и любивших этого великого русского поэта, была встреча 21 декабря 1971 года в траурном зале Дома литераторов в Москве.

1974

БЕСЕДЫ...



ногие годы, будучи автором «Нового мира», я общался с Александром Трифоновичем Твардовским.

Однако мои воспоминания не выстраиваются таким образом, чтобы создать у читателя более или менее общее представление о нем — мы ведь (за исключением двух-трех случаев) общались с ним только в стенах редакции и только, как принято нынче говорить, по одной линии: редактор — автор.

И лишь во время последней болезни Александра Трифоновича я несколько раз навестил его на даче.

В начале 1954 года я приехал в Москву, зашел в редакцию «Нового мира».

Поговорили о том, о другом. Между прочим я рассказал Александру Трифоновичу об одном из своих студентов-заочников, очень интересном человеке, директоре МТС.

Сидели мы на диване, в кабинете Александра Трифоновича, и вдруг он стукнул меня по колену.

— Значит, едете в эту самую МТС и пишете очерки об этом самом директоре. Листов шесть-семь, не меньше. А мы ставим этот очерк на открытие номера. Никто, кажется, до сих пор не открывал толстый журнал очерком. Интересно?

Я сказал, что дело это не такое уж простое вообще, а в частности вряд ли меня отпустят из института в разгар учебного года на месяц, а то и полтора.

— А это уже моя забота, я, а не вы, буду звонить в министерство, согласовывать вопрос.

Через несколько дней я снова зашел к Александру Трифоновичу. Он довольно сердито спросил:

— Вы что же, большой начальник, что ли? Ведь и в самом деле не отпускают вас. Говорят — учебный год и так далее!

— Нет, не большой! Заведую кафедрой, а надо мной еще декан и заместитель декана, директор и заместители директора, но тем не менее...

— Добьемся! Хотя дело, верно, не такое простое!

И на этот раз мы снова сидели на том же диване, беседовали, а в руках у меня была только что подаренная автором книжка «За далью — даль», первое издание первой части поэмы. Я сказал:

— Конечно, дело это трудное. Но оно легкое по сравнению с тем трудом, который вложен в такую вот книжечку.

— Ну, еще бы! — согласился Александр Трифонович.— Ведь это мне куда надо было, чтобы написать ее? Действительно — в даль за далями! Ну, а тут? Тут же дело-то, кажется, рядом, рукой подать — снять трубку и позвонить в министерство! И пешком до самого министра тоже не более десяти минут. Но — не достанешь, трудно.

После этого мы говорили еще о чем-то, а спустя минут пять Александр Трифонович неожиданно вернулся к мысли, которой был, видимо, занят все это время:

— Вы знаете, а ведь во всей литературе так!

— Как?

— Для литературы трудно все, что очень далеко, взглядом не достанешь, еще трудно все, что очень близко, вот тут, под самым сердцем. Самое же легкое и доступное для нее — не близко и не далеко, аředненько. Точно: есть такая максимально доступная литературная дистанция. И соответствующая ей траектория тоже есть, пальни не глядя — и все равно попадешь. Ну, а стрелки по этаким целям всегда найдутся, сомневаться не приходится.

В середине октября 1964 года я тяжело и неожиданно заболел и перед поступлением в больницу лежал в номере гостиницы «Украина».

Заходили друзья, знакомые — проведывали.

В номере было несколько человек, когда появился Твардовский.

Встал в дверях, прислонился к косяку и спросил как бы сам у себя, ни к кому не обращаясь:

Сходится в хате моей
Больше и больше народу:

«Ну, расскажи поскорей,
Что ты слыхал про свободу»[1].

— Борис! Внуши ему (это значит — мне), чтобы не болел!

— Да я уже внушал, говорил! — кивнул Полевой.

— Еще скажи! И вы тоже скажите, Павел Филиппович! (А это обращение к Нилину.)

Немного погодя все собрались уходить, и я сказал Александру Трифоновичу:

— И рад бы не болеть, но уговорами ведь не поможешь!

— Тут уговоры, голубчик, обязательно нужны! Если писателю долго не говорят и не внушают, чтобы он не болел, ему ничего другого не остается, как только болеть!

Имена и фамилии литературных героев для Александра Трифоновича были далеко не безразличны.

У меня был такой герой — профессор Вершенков.

— Ну что вы, право,— сетовал Александр Трифонович,— да разве это можно?

— А что?

— Как это что?! Профессор Вершенков, почти Вершков, почти — вершок. Да я, кабы не был редактором, и читать-то про такого не стал бы — ведь все уже сказано о нем!

— А может, вершок тут ни при чем, может, это «вершинка» работает?

— Час от часу не легче! Да ведь не в поддавки же играем — назовите Вершининым! Вершина, а настоящая или нет, надо узнать, то есть надо прочитать и составить собственное мнение.

Долго спорили, звонили в типографию — не поздно ли еще изменить фамилию одного из персонажей?

Типографии это дело, конечно, не улыбалось.

Но в конце концов Вершинин стал-таки героем романа.

Александр Трифонович придавал очень большое значение заглавиям произведений.

Требования у него были здесь в общем-то те же, что и к литературе в целом: чтобы было не броско, не искусственно, а скромно и как можно более по существу дела.

— Заглавие не реклама, а самое произведение. Неона тут не нужно, не нужно думать, что кто-то будет читать стихи или роман в темноте глубокой ночи. Выдавать авторский замысел заглавием с самого начала тоже нельзя. От страницы к странице заглавие должно наполняться смыс-

---

[1] Н. Некрасов, «Крестьянские новости».

лом и значением, развиваться вместе с сюжетом. Простые слова заглавия под конец чтения должны наполняться смыслом, становиться мудрыми, и если это произойдет, их простота окажется сильнее и значительнее самого броского заголовка. И полюбятся они больше. Так называемые «крылатые слова» — антиподы заглавий, другое дело, что заглавие может стать когда-нибудь крылатым словом.

— Ну, а примеры?

— «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Шинель», а, может быть... может быть, и «Василий Теркин».

— Но есть и другие, очень значительные уже с самого начала, философские: «Война и мир», «Отцы и дети», «Преступление и наказание»?

— Ну, если вы действительно ничуть не сомневаетесь в своих силах, если не боитесь с самого начала взять перед читателем обязательство рассказать ему о том, что такое война, а что такое мир, тогда другое дело. Все другое дело, что выше нашего суда.

Шел разговор об одной моей вещи.

— А концовка не слишком прямолинейна? — спросил Александр Трифонович.— Вам не кажется? Самые последние абзацы — два-три?

— Так ведь в этом логика произведения,— сказал я.— Оно все ведет к этому. Вот если не ведет, не соответствует, тогда худо!

— Видите ли, логика художественного произведения — это его костяк. Но одни только кости — это для анатомии, а для физиологии уже не годится. Логика художественного произведения должна предусматривать, как бы вам сказать, угол естественного рассеивания, что ли. Это — обязательно и не требует пояснений. Потому что если вы заявите, что выбили сто очков из ста возможных, это сразу вызовет подозрения: а не врет ли?

— А я вот читал на днях: какой-то чемпион по стрельбе выбил четыреста девяносто семь очков из пятисот возможных!

— Так то в тире, в искусственных условиях и ради спорта! А литература не тир и не спорт. Она живет в природных условиях, а больше ни в каких.

Говорили об одном авторе. Александр Трифонович заметил:

— А ведь это ужасно — распускать слюни около правды!

Должно было последовать какое-то продолжение этих слов, я стал его ждать.

А было оно таким:

— Ну вот, идет человек тысячу километров, чтобы где-то там, в конце пути, взять какой-то огонек. Ну, какой-то уголек, пусть будет так. Путь трудный — и вплавь ему приходится, и переправы, и перевалы, и мало ли что... Наконец-то достиг, протянул руку, ан — горячо! И — не взял! Ну, скажите, пожалуйста, кому какое теперь дело до того, что он этот путь проделал, а?

— Не сразу дело делается. Один прошел столько, сколько мог, а другой уже возьмет уголек!

— Но и я же об этом: не делай вида, что уголек у тебя в руке! Не обманывай, скажи честно: ногами пришел, а руками не взял — страшно! Но распускать слюни около самой правды, кривляться и делать вид, будто она у тебя в руках, и все это — чувствуя ее дыхание, ее взгляд на себе, уж не кого-то там обманывать, а ее — нет, это ужасно!

Может быть, это и странно, но я не могу сказать, много ли Александр Трифонович помнил стихов, своих и других поэтов. Зато что касается прозы, он удивлял меня необыкновенно.

— Значит, тут у вас о том, как шумит лес, да? Слышу, правда, слышу я, как шумит ваш алтайский кедрач. А вот послушайте-ка как это происходит у Мельникова-Печерского. Короленко — это вы, наверное, помните, а Печерского, подозреваю, что не очень, да? Ну вот...

Александр Трифонович прикрывает глаза, кладет руки на стол и медленно начинает говорить текст. Одну минуту, другую...

— Неужели все вот так и помните, Александр Трифонович?

— Все не все, а что читал недавно и с наслаждением, то помню...

Каюсь, я потом забегал в библиотеку, проверял — так ли? Все было так. Во всяком случае, я не обнаруживал заметных для себя отступлений от текста.

Как-то я заметил:

— И что это вы, Александр Трифонович, все ругаете и ругаете в журналах одних и тех же авторов? Раз, другой — это куда ни шло, ну, а сколько же можно, не без конца же?!

И тут же я понял, что разговор будет серьезным и сердитым.

— Надо! Обязательно надо! — начал этот разговор Твардовский.— Плохие книги не потому плохи, что они плохие,

это бы полбеды: они — живучие. Рано или поздно они сойдут со сцены, время их разоблачит, но слишком рано этого не бывает почти никогда, а слишком поздно — почти всегда! И эти книги живут, процветают, приносят гешефты, премии, дачи и огромный вред. Мы отчетливо сознаем, как возвышает человека хорошая книга, но как роняет его плохая — не сознаем почти никак!

Кроме того, о них очень трудно писать. О хороших и пишется с легким сердцем, просто и коротко... Ну, например, о Бунине... Об Ахматовой. Они ведь потому еще и хороши, что ясны и отчетливы. Безупречное безупречно само по себе и не требует длинных доказательств. Вы заметили, что положительные рецензии всегда короче отрицательных? Плохая книга стремится снизить до своего уровня даже очень хорошего критика, и вот критик барахтается в этом плохом, а иной раз пускает пузыри. И в литературном деле едва ли не самое главное — разоблачение плохих книг.

— Главное-то, наверное, все-таки создание хороших книг?

— Я говорю не о литературном творчестве, а о литературном деле! Так вот, главная задача Союза писателей и его Секретариата — всячески препятствовать появлению и жизни плохих книг. А я тоже секретарь Правления СП СССР!

— М-да...

— А что? В этом-то все и дело: секретари заседают, принимают и посещают, на писательскую работу у них остается десятая часть того, чем располагает не очень секретарь или совсем не секретарь. А когда их книги становятся рядом и книга секретаря оказывается лучше, это значит, что секретарь в десять раз талантливее своего товарища. Так? Так! Только этот расчет мы не принимаем в расчет. Беда!

О книгах, которые Александр Трифонович считал плохими, он говорил сердито и очень сердито.

Помню несколько его отзывов.

— Прочитал. Ну, этот, с позволения сказать, роман, с позволения сказать, писателя Н.

— Ну, и как?

— Азартный бокс. Очень азартный, боевой бокс, но только — женский.

— Писатель Н., вы спрашиваете? Четырехглазка! И романы пишет тоже четырехглазые.

— А это как понять?

— Четырехглазку-то? Рыба такая. Недавно прочитал:

обитает на большой глубине и пользуется там одной парой глаз. Но кормится в верхних слоях; как только у нее появляется аппетит — она туда. А там пользуется уже другой глазной парой. Распространена, как мне кажется, не только в океанских водах.

Бывали у Твардовского и уступки. Во всяком случае, одну уступку я наблюдал.

Говорили о поэте, довольно известном, и я высказался в том смысле, что поэт посредственный.

Александр Трифонович подошел ко мне, нагнулся к самому уху:

— Так ведь — старый! Как бы был молодой, я бы с него три шкуры спустил. И устно, и письменно. Но поймите — старый же!

Несколько слов о Твардовском-редакторе, о том, как с этим редактором у меня возникли отношения, какими они были на протяжении почти двадцати лет.

Впервые я послал свою рукопись — небольшой рассказ — в редакцию «Нового мира» из Омска летом 1952 года. Послал «просто так», никого в редакции не зная, ни к кому персонально не обращаясь.

Через пять дней я получил телеграмму:

«Рассказ печатаем ближайшем номере тчк фразу «на берегу реки» меняем «на берегу Иртыша» тчк шлите новые рассказы приветом Твардовский».

После мне рассказывали (Сергей Сергеевич Смирнов, который был тогда заместителем главного редактора), что рассказ «Трифоновичу» понравился, но только он был огорчен одним обстоятельством — тем, что я оказался уже в ту пору членом Союза писателей. А ему очень хотелось «открыть» совершенно заново совершенно никому не известного автора.

Должен еще сказать, что рассказик-то мой был в общем слабенький и спустя лет семь я бы такой вряд ли стал писать, а Твардовский — печатать. Его требования к журналу и к литературе в целом возрастали с каждым годом.

Но тогда, получив такую телеграмму, я был, конечно, обрадован, хотя у меня и мысли не появилось о том, что отныне я буду постоянным автором «Нового мира». Я вообще в ту пору не задумывался над перспективами такого рода, поскольку считал себя инженером, научным работником, а писателем — разве только в выходные дни.

Однако разговор сейчас не об этом, а о том, что фраза «на берегу реки меняем на берегу Иртыша» стала на все

последующие годы как бы символической для наших отношений редактора и автора.

Любое изменение текста, которое делала редакция в моих рукописях, обязательно согласовывалось со мною, и позже, когда мне пришлось издавать книги, я был очень удивлен тем, что это не общее правило и что кто-то, кроме меня самого, пытается присвоить право врываться в мой текст.

По большей части мне удавалось приезжать в редакцию со своими новыми рукописями, если же что-то мешало поездке, нельзя было получить хотя бы несколько дней в институте, тогда из редакции ко мне приезжал Б. Г. Закс.

И в том, и в другом случаях наша работа обычно продолжалась не более трех-четырех дней и речь шла прежде всего о возможных сокращениях.

Это не то чтобы правило шло от Александра Трифоновича.

— Вы подумайте, поищите, пожалуйста: вдруг да можно что-то такое сократить? А вы пропустите такую возможность! Нельзя же!

— Стараюсь, Александр Трифонович, думаю!

— Вы мне зубы-то не заговаривайте, а сокращайте! Старайтесь!

И ведь действительно: начнешь стараться, обдумывать и видишь — из трех глав можно сделать две, а из четырех три, а при этом какая-то часть текста сокращается, уходит. Уходит не механически, чем-то надо его заменить, каким-то новым текстом, но уже гораздо более компактным.

Оглядываясь назад, я не жалею о сокращениях, которые были в свое время сделаны в разных вещах, кроме разве одного: не напрасно ли я исключил одну главу из рукописи романа «Соленая Падь»?

Но тут потерь, по крайней мере безвозвратных, нет: взял да и включил какой-то текст в одно из переизданий, это можно сделать после долгих размышлений, без всякой спешки, а вот под горячую руку, при первой журнальной публикации, все-то тебе кажется хорошим, необходимым, а это вовсе не так, и что-то лишнее угрожает засорить вещь.

Помню такой случай.

Восьмой номер «Нового мира» за 1954 год действительно, как и намечал еще зимой Александр Трифонович, открывался моими очерками «Весной нынешнего года», которые я написал, почти полтора месяца прожив у директора одной сибирской МТС.

Александр Трифонович в августе покидал пост главного редактора. Он позвонил мне в гостиницу:

— Номер с вашими очерками мною подписан к печати,

но я уже не редактор. Но все равно нам надо встретиться: хочу убедить вас в одном порядочном сокращении, необходимом, поверьте мне!

Встретились в редакции вечером, никого уже не было, редакционное помещение ремонтировалось, мы сидели в прихожей, кругом стояли ведра с известью, щетки, на столе лежала чья-то рабочая роба.

На душе у Александра Трифоновича было тяжело, он был неприветлив, какие уж тут приветствия, и начал, как говорится в таких случаях, с места в карьер:

— Вы перепутали две линии, одна — о посевной, о вывозке на поля навоза, а другая — интимная, чуть ли не любовная. Да разве это можно? Надо убрать немедленно вторую. Соглашайтесь, пока не поздно, а то потом уже поздно будет, когда номер выйдет в свет.

Я совершенно не был подготовлен к этому предложению, очерки были ведь одобрены в редакции безоговорочно всеми и Александром Трифоновичем тоже.

Я напомнил ему об этом, он сказал:

— А, да не все ли равно, как и почему произошла ошибка! Важно ее исправить, пока есть время. Пока еще можно.

Я не дал окончательного ответа и договорились так: прямо из редакции я ехал на вокзал, затем в Сибирь и вот дорогой должен был принять решение и сообщить о нем телеграммой.

Всю ночь, лежа в вагоне на полке, размышлял я на этот счет, вспоминал эту встречу и этот разговор, а потом сообщил не то из Кирова, не то из Перми, не помню сейчас, что главу такую-то надо исключить.

И действительно, когда номер вышел и я взял в руки печатный текст своих очерков, я еще раз убедился в том, от какой ошибки предостерег меня Александр Трифонович.

Была у Твардовского-редактора и еще одна особенность или манера, не знаю, как это назвать.

Привозишь в журнал рукопись, он знакомится с ней и спрашивает:

— Ну? И кого бы вы хотели иметь редактором этой вещи?

— Наверное, неудобно вот так выбирать, Александр Трифонович. Есть же отдел прозы, ему и карты в руки...

— Ну, а если представим себе, что в этом нет никакого неудобства?

— Да я бы хотел вот такого-то... Но ведь он у вас в должности — ответсекретарь. Или замредактора?

— Освободим! На несколько дней освободим от всех других обязанностей — работайте вместе. Раз вам так хочется,

и дело пойдет лучше, к взаимному удовольствию. И — пониманию!

Конечно, каждый из авторов «Нового мира» имеет свой собственный опыт сотрудничества с ним, мой опыт был вот таким.

Еще должен сказать, что никогда я не испытывал в «Новом мире» всего того, что называется «волынкой», «резиной», чем-то еще в том же роде.

Рукописи, которые я представлял, обсуждались в редколлегии самое большее дней через десять. И чтобы намеченная встреча не состоялась, такого не помню. Если и не было «главного», так он звонил по телефону либо сообщал свое мнение и свои замечания через заместителя, а позже всегда находил случай и еще развить их уже в личной беседе.

Был даже такой случай. Я прямо с вокзала привез в редакцию рукопись романа «Соленая Падь» в четырех экземплярах. Объем ее был двадцать пять листов. Четыре дня спустя редколлегия почти в полном рабочем составе обсуждала роман — все его за это время прочли.

А это уже другое дело, что после того, как рукопись была принята, одобрена и сдана в секретариат, время до выхода ее в свет тянулось и тянулось.

Одна моя рукопись лежала вот таким образом без движения восемь месяцев.

Александр Трифонович звонил мне в Новосибирск:

— Вы не волнуйтесь, пожалуйста, вещь пойдет!

А мне казалось, что Александр Трифонович волновался при этом гораздо больше, чем я.

Я ему так и говорил.

Он соглашался:

— Правильно! Вы-то свое авторское дело сделали, а я свое редакторское еще нет! Небось пишете новую вещь?

— Пишу и весь в ней. Вот и не беспокоюсь о том, что уже лежит на вашем столе,— некогда!

— До чего же счастливый народ эти самые авторы, написали — и гора с плеч!

1973

В ДАЛЬНЕЙ ДАЛИ

е помню почему, но весть о том, что в Сибири назрело интереснейшее событие — перекрытие великой реки Ангары у села Братска,— в редакцию опоздала, и мы с художником Орестом Верейским пропустили все рейсовые самолеты. Но нам сказали: возможно, ночью будет спецрейс. Возможно! И с вечера мы уже маялись у касс аэродрома, моля всех богов, чтобы это «возможно» стало фактом. Тут встретили мы еще одного товарища по несчастью — пражского корреспондента Иржи Плахетку. Истинный репортер, который, как говорится, всегда знал о пожаре еще до его возникновения, многозначительно сообщил, что с нами в Братск вылетает Твард.

— Твард?

— Ну да, Александр Твардовский. Не слышали?.. Летит, летит. Он сам мне об этом говорил.

Признаюсь, мы очень обрадовались. Орест Верейский всю войну провел вместе с Твардовским в редакции фронтовой газеты. Мы с Твардовским ходили тогда в секретарях Союза писателей, довольно часто встречались и после заседаний шли домой пешком и по дороге толковали по душам. Ну, а на войне я, разумеется, был яростным поклонником его «Василия Теркина»...

Объявили спецрейс. В очереди пассажиров, отлетающих на Иркутск, Твардовского не оказалось. Девушка, выписывающая билеты, просмотрев список пассажиров, сказала:

— Александра Твардовского нет. Не значится. Зато с вами летит американский миллионер Аверелл Гарриман. Устраивает?

Замена была неравноценной. Твардовского мы все трое любили и очень жалели, что он отстал. В те дни уже печа-

тались главы его новой поэмы — «За далью — даль». В поэме он как раз добрался до тех заповедных сибирских мест, где сейчас вот должна была зародиться крупнейшая по тем временам электростанция мира.

И так уж случилось, что первую часть рейса мы проговорили о Твардовском, о поистине всепокоряющей силе его поэзии, о том, как в творчестве его сейчас начинают сливаться традиции Некрасова и Пушкина. Верейский, первым, еще во фронтовые времена, проиллюстрировавший «Теркина», с юмором рассказывал, как долго мучался он, ища графическое воплощение знаменитого русского солдата, как израсходовал массу листов на эскизы, прежде чем нашел живую модель... в лице знакомого политработника. Плахетка утверждал, что «Теркин» столь же бессмертен для русских, как «Бравый солдат Швейк» для чехов. Ну, а я вспоминал, как главы этой удивительной поэмы в дни ее постепенного рождения мгновенно распространялись из газеты «Красноармейская правда» по всем фронтам, как писалось в те дни — «от Белого до Черного моря», и как мой шофер и друг Петрович, сам в жизни представлявший собой сплав Швейка и Теркина со значительным преобладанием Швейка, по любому подходящему фронтовому случаю приводил из этой поэмы то шутку, то присказку, то остроумный солдатский анекдот. А однажды, когда машина наша провалилась под лед на реке Одер и сам он еле при этом спасся, извлеченный из воды пехотинцами, горько продекламировал:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода...

Несмотря на то что в Иркутске не нас, разумеется, а Аверелла Гарримана со свитой ждал специальный самолет и в этот самолет погрузились и мы, на перекрытие Ангары мы все-таки опоздали. Прибыли в древнее село Братск, когда пойма Ангары была залита пестрой толпой и шло народное гулянье. На подъездах к мосту, по которому только что двигались вереницы самосвалов, обрушивавших в реку бетонные монолиты, груды песка и щебня,— пестрая человеческая кипень, загорелые девушки в цветастых платьях, парни в клетчатых рубахах, солидные строители, пришедшие сюда с женами и детьми полюбоваться покоренной рекой, порадоваться своей победе.

Плахетка с упорством трудолюбивой пчелы уже порхал в этой толпе со своим киноаппаратом, когда у меня за спиной раздалось веселое и насмешливое:

— Что, опоздал? Реку-то вот без тебя пришлось перекрывать.

Перед нами стоял улыбающийся Твардовский. Загорелый, посвежевший, с выгоревшим чубом, в клетчатой рубахе с закатанными рукавами, он был похож на строителя и совершенно сливался с веселой толпой. Оказывается, предупрежденный кем-то из своих бесчисленных почитателей, он прибыл сюда заблаговременно и теперь вот смотрел на нас со снисходительной насмешкой.

— Древние римляне говорили: опоздавшим кости,— а здешние сибиряки скажут вам еще лучше: кто зевает, тот воду хлебает... Эх вы, короли-репортеры!

Еще в Иркутске, когда мы пересаживались на местный самолет, дежурный по аэродрому протянул догнавшую меня телеграмму: «Вечером передайте полосу репортажа с рисунками Верейского, со стихами Твардовского». Признаюсь, мне как-то неудобно было подступать к поэту с такой просьбой. Знал ведь, что пишет он раздумчиво и это «срочно» может его, пожалуй, и обидеть. Но Твардовский даже не удивился. Согласно кивнул своей большой, лобастой головой, и когда на тайгу, золотя верхушки лиственниц, ложились последние косые лучи заходящего солнца, иркутский корреспондент «Правды» Николай Печерский уже кричал в телефонную трубку, а я для верности дублировал на телеграфном бланке только что вышедшие из-под пера поэта строки. И сейчас вот, столько лет спустя, легко воспроизвожу по памяти строфу из этого стихотворения:

...Недвижны тяжкие ворота,
За ними плес плененных вод.
Умолкла битва, но работа
Вступает в новый свой черед.

И действительно, выглянув в запыленное окошко домика почтового отделения, фанерные стены которого содрогались, распираемые толпой корреспондентов, можно было видеть, что праздничная толпа будто растаяла и на помост эстакады, сотрясая тьму огнем фар, идет бесконечная очередь самосвалов. Работа вступила в свой черед.

Твардовский, человек в общем-то замкнутый, немногословный, известный среди братьев писателей своим нелегким характером, мог показаться и мрачноватым. Но тут, на Ангаре, мы часто видели его среди строителей, в особенности среди пожилых, бывалых строителей, и он часами вел с ними неторопливые беседы. От предложения устроить в клубе вечер его стихов он наотрез отказался, даже обидев этим энтузиастов организаторов. На наши попытки его убедить отвечал коротко, сердито: не надо, ни к чему, не хочу. А через день на палубе катера, который нес нас по Ангаре к островному колхозу, которому предстояло оказаться на

дне будущего Братского моря, он без особых просьб и приглашений читал матросам главы из «За далью — даль». Читал и застенчиво спрашивал у них после каждого отрывка:

— Ну как, ребята, ничего? Получается?.. А вот еще послушайте...

Когда же Плахетка вознамерился заснять это чтение, рассердился, повернулся к аппарату спиной и ушел. Потом опять вернулся к матросам и снова зазвучали стихи. Это чтение чуть не окончилось для нас несчастьем, ибо увлеченный стихами рулевой зазевался и едва не посадил катер на мель.

А однажды, уже поздней ночью, мы поднялись на знаменитый, высокий, вознесенный над Ангарой утес Пурсей, увенчанный старыми корявыми соснами. Пришли, чтобы полюбоваться ночными видами гигантских развертывающихся на реке работ. И тут мы увидели Твардовского. Сидит один на скамейке в глубокой задумчивости. Вяло отреагировал на наше шумное появление. В разговоре участия не принял, продолжал отчужденно смотреть вниз, на посеребренные луной крутые берега реки, на шубу таежных чащ, темной массой подступавших к самой воде, на жиденькие огоньки села, еле различимые в соседстве с нервным полыханьем огней стройки. И вдруг сказал:

— И дружинники Ермака это видели. И протопоп Аввакум, когда его везли в Братский острожек, видел. А скоро вот ничего этого не будет. И утеса этого не будет, и скамейки этой не будет. Вода, сплошная вода... Знаете, грустно как-то все-таки.

На острове, которому предстояло оказаться на дне будущего моря, мы долго ходили по остаткам длинной колхозной улицы. Колхоз уже переселялся на новые, удобные места. Большинство дворов были пустыми. Это были удивительные дворы. Избы, рубленные из бревен в два обхвата. Усадьбы, огороженные высокими заборами. Крепкие чуланы, амбары, навесы для сушки рыбы — целый жилой комплекс, включающий и курную баньку, все добротное, будто литое, век простоявшее.

Молодые ребята из плотничьей бригады разбирали дворы. Грузили бревна на машины, перевозили на новое место, где уже росла новая усадьба, усадьба городского типа, возводимая по чертежам, добытым энергичным председателем на сельскохозяйственной выставке.

— Не жалко? — спросил Твардовский русоволосого парня, по-видимому бригадира, который легко, будто играя огромной вагой, поднимал очередной венец.

— Чего? — не понял тот.

— Ну вот разбираете дом, ведь родились тут... Переедете, не будете скучать?

— А по чем скучать-то? По комарам да мошке? По лягушкам? На новом месте раздолье — и поля, и выпасы, не придется коров на лодках переправлять.

— И все так думают?

— Ну за всех не скажу, может, кто и жалеет... Бабы вон жаловались, женщины-колхозницы то есть. Могилки тут родные, деды-прадеды похоронены... А так чего жалеть?

Твардовский вздохнул, а мне вдруг вспомнился герой из «Страны Муравии» Никита Моргунок, странствующий по охваченной пламенем первых пятилеток стране в поисках тихого мужицкого рая с мечтой зажить когда-нибудь по-настоящему, «своим двором». Эти колхозные ребята из плотничьей бригады могли быть даже не детьми, а внуками Никиты Моргунка, и мне показалось, что создателю этой поэмы о победах колхозного строя было все-таки грустно оттого, что они так бездумно расстаются со своим обжитым их предками островом.

На следующий день мы осматривали уже новую, перевезенную на материк часть деревни, где с помощью строителей Братска поднялись вдоль улицы дома, сельский клуб, школа, детские ясли и детский сад. Улица была почти готова, и даже молоденькие рябинки покачивались вдоль тротуаров.

Мы пришли в дом к председателю правления этого колхоза. Нас посадили ужинать, и ужин был веселый, с гармошкой, с плясом. Твардовский как-то незаметно исчез с отцом председателя, который когда-то, как нам сказали, был вожаком известного в этих краях партизанского отряда. Они отсутствовали весь вечер. Пропустили и патриаршую уху, и великолепные пельмени «из трех мяс» — бараньего, говяжьего и медвежьего,— а когда вновь появились, мы усаживались уже на вездеходы.

— Посмотри как следует на этого старика.

Я посмотрел. Старик стоял прямой, худощавый, крепкий. Ватник, туго перехваченный ремнем, оттенял прямо-таки мальчишескую талию.

— Красный партизан. Сибирь у Колчака отбивал. Часы от Иркутского облисполкома имеет «За отличную храбрость и верное служение пролетарской революции». Больше двадцати убитых медведей у него на совести, а сейчас вот с колхозной пасеки центнерами мед берет.

А потом, когда вдали показались бесконечные россыпи огней стройки, Твардовский вдруг добавил:

— А сейчас знаешь, чем тот старик занимается в свободное от пасеки время? В омшанике гроб себе строит. Да, да. Из лиственничных досок. Крышку уже сколотил.

Мы задержались в Братске, а Твардовский раньше нас уехал в Иркутск пароходом.

— Ничего путного вы с самолета не увидите,— сказал он нам на прощанье и насмешливо добавил: — Туристы... На пароходе хорошенькие стюардессы леденчиками не кормят, зато с настоящими людьми познакомлюсь, Сибирь погляжу, ее с неба-то не увидишь, Сибирь.

В Иркутске на аэродроме встретил нас незнакомый человек и сказал, что в гостинице нам устраиваться не надо, что ждет нас к себе прямо к ужину известный сибирский писатель Франц Николаевич Таурин, как раз тот самый Таурин, хороший роман которого «Ангара» мы все перед отъездом в Братск основательно перечитали. Таурин жил в городке строителей уже известной тогда Иркутской ГЭС, которая вступила в строй, опередив Братскую. Мы припоздали, и ужин был в самом разгаре. Твардовский, совершенно преображенный, при галстуке и манжетах, был в ударе.

— Опять опоздали? Несолидно, товарищи, несолидно. Неторопливый, медлительный пошел нынче газетчик. Опять вот к шапочному разбору прибыли...

Во время этого ужина произошел такой очень памятный для меня инцидент. Знаменитый гидростроитель пересел ко мне и, переходя на «ты», вдруг спросил:

— Не узнаешь меня?

Я начал что-то мямлить: дескать, кажется, встречал на Конференции сторонников мира или на сессии Верховного Совета. Он с досадой сказал: «Эх, ты...» Поднял русую прядь, закрывавшую лоб. И опять повторил: «Эх, ты...» На высоком загорелом лбу его был отчетливо виден старый полукруглый шрам. И по шраму этому я вдруг признал в знаменитом инженере друга моих комсомольских лет, с которым в Твери мы состояли в одной ячейке и даже, признаюсь, ухаживали за одной девушкой, причем старались по мере сил не ревновать друг к другу, ибо ревность по тем временам была чувством для комсомольца недостойным.

— Андрей!

— Борька!

Мы обнялись, и больше всех радовался этой встрече Твардовский: вот это да, какой сюжет, не сразу и поверишь. А когда Бочкин предложил нам поехать на Байкал на ночную рыбалку, Твардовский с тем же шумноватым энтузиазмом поддержал эту мысль. Повторяю, он был совершенно необычен в этот день: смеялся, шутил, охотно читал стихи, и свои, и чужие. А когда по пути на великое озеро, до которого было рукой подать, мы не очень стройно, диковатыми голосами затянули «Славное море, священный Байкал», он шутливо сказал: «Да не ревите вы, как медведи весной» — и принялся дирижировать нестройным нашим хором.

Все мы оказались рыбаками ничтожными. Зря промахали удочками с час. А вот гидростроителю повезло, и уха,

приготовленная по какому-то особому, сибирскому, известному Таурину рецепту, оказалась необыкновенно наваристой. Прямо с костра в закоптелом ведре, на обгорелой палке внесли мы ее в дощатый домик, где ютились гидрологи ГЭС, и стали хлебать деревянными ложками из большого таза. Тихо открылась дверь, и бесшумно вошла девушка-гидролог. Она пришла из тайги. За плечом у нее висел карабин, а в руках был букет, нет, не букет, а охапка тех луговых цветов, что носят в Сибири поэтическое название жарки. Болотные сапоги ее хранили следы ночной росы. Мы подвинулись и пригласили ее к столу, но она наотрез отказалась. Сунула свои жарки в большую банку, поставила на окно, а сама села в дальнем углу и притихла, уставившись на Твардовского большими голубыми глазами.

Уговаривали ее, звали — не подошла. Так в уголке и просидела над какой-то тетрадкой до конца шумной нашей трапезы. И Твардовский с ее появлением тоже как-то сразу изменился. Примолк. Замкнулся, уйдя в себя. А когда стали прощаться, он бережно и почтительно поцеловал руку этого маленького гидролога.

— Заметили, как пахнут ее цветы? Какой-то странный, не луговой, какой-то задумчивый запах,— сказал он.

Промолчал всю дорогу. А когда машина бежала через Ангару по гребню плотины, точно продолжая разговор, сказал:

— А нелегко ей, наверно, такой маленькой, хрупкой, одной среди мужичья... Карабин за спиной носит, чудачка. От кого и от чего защитит ее этот карабин?..

Под утро мы были уже на аэродроме, и с зарей самолет понес нас в Москву, где, преодолев тысячи километров, мы должны были приземлиться тоже утром. Утром того же дня. А в полдень Франц Николаевич Таурин посадил Твардовского на хабаровский экспресс. Из сибирской дали поэт отправлялся в даль тихоокеанскую, на самый восточный край советской земли.

1972

Н. ПЕЧЕРСКИЙ

«Я В СКУКУ ДАЛЬНИХ МЕСТ НЕ ВЕРЮ...»

Сибирская строка Твардовского

1. АНГАРА


е люблю телефонных звонков. С ними у меня всегда связаны неудобства и неприятности. Этот звонок был особенный — радостный. В Иркутск из Москвы сообщали: едет Александр Трифонович Твардовский. Просили встретить, устроить и, если удастся, уговорить написать для «Правды» очерк о строительстве Иркутской ГЭС, перекрытии Ангары.

И вот я на вокзале. У перрона стоит припорошенный пылью дальних дорог поезд. Сломя голову мчусь к вагону. Никого. Только безучастный проводник с флажками в кожаных чехлах. Состав ушел, а я все стоял на перроне, надеясь на какое-то чудо.

И чудо действительно случилось. Не на вокзале, правда, а дома. Только открыл дверь — телефонный звонок. Голос знакомый, близкий. Оказывается, Александр Трифонович уже давно приехал, коротает время в гостинице. Той самой одной-«единственной Центральной», которая вскоре появится в поэме «За далью — даль».

Пошли расспросы о сибирском житье-бытье и, конечно, о том, когда и как начнется перекрытие Ангары. Улучив минуту, передаю просьбу редакции. Александр Трифонович закурил сигарету, подумал и отказался. Видимо, это предложение нарушало его собственные планы. Впрочем, Твардовский все-таки согласился. Поставил лишь одно условие — писать будем сообща.

Ранним июльским утром 1956 года отправились на стройку. На крутых, всхолмленных берегах Ангары тьма народа — и строители, и приезжие гости, и просто досужие ротозеи. Работа уже кипела вовсю. Двадцатипятитонные самосвалы с грохотом въезжали на дощатый наплавной

мост, обрушивали в реку огромные бетонные кубы. Река не желала подчиниться, свивалась в гигантские жгуты, уносила прочь кубы и скальный грунт. А самосвалы все шли и шли...

Пожалуй, из всех явлений природы наиболее близким к этой картине был ледолом на большой, густо заселенной по берегам реке. Та же величественная и тревожная праздничность, то же ощущение чего-то необычного и значительного, когда часы и минуты стоят дней и лет. Но там чаще всего люди лишены деятельного, практического участия в том, что происходит, а здесь именно они заведуют всем, что совершается с водой, землей, камнем и металлом.

Строки приведены из очерка, который мы написали с Твардовским. Не хочу лукавить, эта очень точная и емкая фраза принадлежит Александру Трифоновичу. Кстати, за все время, что толклись мы на берегу Ангары, Твардовский ни разу не вынимал записной книжки. И дело не в его отличной памяти.

Книжка, как сам сказал об этом Александр Трифонович, мешает видеть самое главное и интересное, оставляет в итоге лишь какие-то верхушечные представления о событиях и людях, с которыми встречался. Но книжка такая у Твардовского все же была. Он доставал ее уже потом, чаще всего по утрам, когда отчетливее и яснее работает мысль. Сидит у стола, ссутулив плечи, что-то вспоминает, делает записи отчетливым, убористым почерком.

Нелегко дались триста газетных строк. Не было времени не то чтобы сообща подумать о плане очерка и отобрать из вороха событий какие-то самые главные примеры. Не удавалось даже словом обмолвиться с Твардовским. Строители наперебой стремились познакомиться с любимым поэтом, хоть издалека поглядеть на него. Порой я просто-напросто терял его из виду в гуще монтажников, верхолазов, бетонщиков, шоферов... А он чувствовал себя превосходно среди этих людей — интересных, ярких, умеющих весело и забористо пошутить, отозваться улыбкой на шутку и доброе слово.

Но вот наконец он рядом. Сидим за длинным столом под легким навесом на берегу реки. Девушки подают в алюминиевых мисках борщ и отдельно куски вареного мяса. Твардовский ест с удовольствием, успевая поглядывать на беснующуюся у перемычки реку. О том, что уже пора писать злосчастный очерк,— ни слова. С видом скорбным и просительным напоминаю Александру Трифоновичу о своей заботе. Твардовский хитрит, делает вид, будто не знает той сиюминутной оперативности, которой испокон веков живет газета. Вскидывает на меня по-детски чистые голубые глаза и говорит:

— А что, если мы завтра напишем, а? Прямо с утра и возьмемся. Вы не бойтесь, я вступлюсь за вас...

Вижу, не хочется ему приниматься за очерк, уходить с этого веселого, боевого празднества на сибирской реке. Да и мне, честно говоря, не хотелось. Но ведь служба... Я прекрасно знал, что коллеги мои уже давно торчат возле телефонов, диктуют в Москву отчеты о перекрытии Ангары. Но что поделаешь — завтра так завтра. Тем более — есть надежный покровитель.

Но вот пришло и «завтра». Утром Александр Трифонович пришел ко мне на квартиру и как ни в чем не бывало, ни словом не обмолвившись о прежнем уговоре, заявил, что пора уже ехать на стройку. А то, чего доброго, можно проворонить самое яркое и значительное. Будто на закланье, я отправился вслед за Александром Трифоновичем на Ангару. Иду и думаю — теперь уж никакое поручительство не поможет.

Твардовский, не спрашивая дороги, уверенно пробирается по тропкам к перемычке. И снова встречи, рукопожатия, разговоры. На стройке у Александра Трифоновича уже было множество друзей и знакомых. В том числе и начальник строительства Андрей Ефимович Бочкин — «седой крепыш, майор запаса, по мерке выверенной сшит». Были эти люди чем-то сродни друг другу. Может, своей неторопливой рассудительностью, прямотой суждений, а может, и душевной добротой, заинтересованным отношением к человеку, его невзгодам и заботам, к делу, которому они оба служили честно и преданно.

У начальника штаба перекрытия Ангары — так официально и неофициально называли в те дни Бочкина,— конечно, была уйма самых горячих и неотложных дел. А все же выкроил он время, чтобы пройтись с Трифоновичем по дощатому, пляшущему под тяжестью самосвалов настилу, потолковать о самом главном — и, наверное, не только однодневном, связанном со стройкой. Это я уже понял потом, из рассказов самого Твардовского...

Опустив голову, с настроением прескверным слонялся я по берегу реки. Твардовский без труда заметил мой пришибленный вид, взял за руку выше локтя и голосом вкрадчивым и добрым спросил:

— Ну что, страдаете, Николай Павлович?

Я ответил, что в самом деле страдаю и что вообще в редакции с меня живьем сдерут шкуру. Упоминание о «шкуре» подействовало. Но с реки Твардовский, так или иначе, не ушел. Не то, что не хотел. Не мог.

— Знаете что,— сказал он,— поезжайте домой и начинайте очерк, а я потом приеду. Обязательно!

Я уехал. Сел к столу, мараю бумагу. Лист за листом. И все — в корзину. Ни одной путной, выразительной строчки. Пишу, и будущее рисуется передо мной в самом что ни на есть неприглядном виде. И не то что о шкуре своей пекусь, не такая и большая ей цена. О другом: как не опозориться перед Твардовским. Ведь верил же он в меня хоть чуть-чуть, если взял в соавторы.

И все же написал, сделал заготовку, которая в журналистике именуется «болванкой». Тут и Твардовский приехал. Усталый, но довольный и приподнято-радостный. Сел к столу, по-хозяйски придвинул к себе «болванку». Прочел несколько абзацев, подумал минуту и провел жирную косую черту. В этих абзацах пространно излагалась легенда о старике Байкале, который швырнул увесистым камнем в непокорную дочь свою Ангару, убегавшую к красавцу Енисею.

Участливо посмотрел на меня и спросил:

— Жаль?

Я кивнул головой.

— Ну и зря,— сказал Твардовский.— Короткий рассказ должен быть предельно емким. Не огорчайтесь, это не только ваша беда. Многие писатели начинают рассказ черт знает откуда. Надо прямо с воскресенья, а они заводят шарманку с пятницы или субботы...

Он снова начал читать. Листал страницу за страницей, кивал головой. У меня чуточку отлегло от сердца: может, пронесет? Зазвонил междугородный телефон. Не отрывая глаз от рукописи, Твардовский махнул рукой:

— Скажите, сейчас передадим... Чего они там?

Очерк вскоре передали. Твардовский вписал в него несколько превосходных абзацев, вымарал все выспренние фразы и в том числе заголовок «Штурм Ангары». Полушутя, полусерьезно, чтобы не обидеть соавтора, сказал, что все подлинно настоящее кратко и просто. И примеры привел — «Анна Каренина», «Демон», «Капитанская дочка». Я выслушал и пополнил список «Василием Теркиным». Твардовский смолчал. Он не любил параллелей...

Так вместо «Штурма Ангары» в газете появилось «Перекрытие Ангары». Столько хороших, теплых откликов на газетную публикацию в жизни моей еще не было. На другой день телефон разрывался от звонков. Но первым, пожалуй, опубликованный очерк прочел сам Александр Трифонович. Он примчался ко мне чем свет с газетой в руке и предложил немедля ехать на стройку, показать очерк начальнику строительства Бочкину. Конечно, это было не из хвастовства. Скорее всего хотел он на той поре хоть чем-то оправдать свое присутствие на стройке. Он как бы чувствовал себя должником перед строителями...

2. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ

Он давно говорил о своем желании поглядеть на старый сибирский застенок, который, если верить песне, залег «между двух высоких скал». Мы выбрали светлый денек и отправились в путь. Машина неторопливо катила по узкой таежной дороге. Справа и слева тянулись ввысь медноствольные сосны. В простых сереньких платьях стояли на полянках березы. Твардовский, задумавшись, глядел в окошко. Он не любил разговаривать в дороге.

И вдруг машина несколько раз подозрительно чихнула и остановилась. Шофер Лаврентий Семенович Комаров, фронтовик и рубаха-парень, смущенно отбросил капот, начал копаться в моторе. Мы вышли на дорогу, свернули в лес. То здесь, то там в жухлой лесной подстилке замелькали шляпки грибов. Твардовский стал собирать их в горсть. Я сказал, что грибы нам вроде бы ни к чему. Твардовский возразил:

— Как это — ни к чему? Грибы всегда к чему.

Он продолжал собирать грибы, складывал их в приметном месте, чтобы потом забрать. Скоро у него уже было несколько горок волнушек, подберезовиков, маслят. А у меня так — два-три грибочка, да и те никудышные. Подошел Александр Трифонович. Очень серьезно и строго сказал:

— А грибы брать вы не умеете. Их надо перехитрить. Обязательно. Ходите и бормочите про себя: «Грибов нет, нет грибов». Вот тут-то они и объявятся. Попробуйте...

Послушал совета и в самом деле вскоре нашел несколько вполне приличных грибов. Но дело, понятно, не в заветных словечках. Приговаривая: «Грибов нет, нет грибов», я стал более внимательным, не ловил зря ворон и, главное, поверил, что грибы в тайге есть. Но вот Комаров крикнул издалека, что все готово. Мы взяли грибы и пошли к машине. Шофер нарвал охапку травы, а на нее бережно уложил грибы.

Между прочим, с приездом Твардовского Комаров совершенно вышел из-под моей власти и слушался только Александра Трифоновича. Скажет Твардовский: свернуть влево — сворачивает, скажет: ехать назад — Комаров, не ожидая моего согласия, вертит руль на сто восемьдесят градусов. Они сразу же подружились. Твардовский называл Комарова только по имени и отчеству. Да не только его — всех, с кем так или иначе сводила его судьба. Я счастлив, что эта простая житейская мудрость, о которой от поры до поры ведут дискуссии газеты, стала теперь правилом и для меня.

Удивительная душевная доброта Твардовского — не наигранная, не показная — как-то сразу привораживала к нему людей. В этом я еще раз убедился, когда приехали в Александровский Централ. Мы немало удивились, увидев в глухой, болотистой низине длинное и высокое здание каторжной тюрьмы. «Двух высоких скал» не было и в помине. Возможно, безвестному каторжанину, сложившему полную безнадежной тоски и глухой грусти песню о Централе, «скалы» понадобились для рифмы, а может, — в этом тоже есть свой смысл, — поэт не видел самого Централа. Обреченных на изгнанье привозили в тюрьму ночью, ночью же и увозили. А дальше — путь по сибирскому этапу или туда, откуда уже никому нет возврата.

Высокая кирпичная стена ограждала Централ от внешнего мира, от небольшой, раскинувшейся на пологом склоне деревушки. Два ряда колючей проволоки, сторожевые башни по углам. Ворота с черным смотровым глазком. А вокруг надсадная, гробовая тишина, еще более выделенная и подчеркнутая шумом окрестных сосен.

С трудом удалось найти хранителя ключей от Централа. Был это человек пожилой, замкнутый. Он наотрез отказался впускать в Централ «первого встречного-поперечного». Я достал документы. Собеседник весьма равнодушно взял в руки удостоверение, привычно кинул взор на фотографию, на меня и возвратил.

— Все равно нельзя, — сказал он, — не дозволено.

Твардовский в это время стоял с шофером возле машины, с ожиданием и любопытством поглядывал на нас. Хочешь не хочешь, пришлось выпускать последний «козырь». Я начал горячо объяснять, что приехал сюда не один, со мной-де сам Твардовский, это его личная просьба и т. д., и т. п. Но нет, и это не поколебало решения старика.

— Твардовского знаем, — сказал он. — А все равно нельзя. Будьте здоровы, гражданин!

Опустив голову, пошел я к Александру Трифоновичу. Безрадостная весть нисколько не омрачила Твардовского. Он лишь ухмыльнулся и сам отправился вести ведомственные переговоры. Не знаю, о чем он говорил со стариком, только видел, как тот добродушно смеялся чему-то, а Твардовский уже совсем по-приятельски держал старика за руку.

Не могу сказать, нарушил старик какие-то запреты или нет, но мы тут же отправились с ним в таинственный, овеянный недобрыми легендами застенок. Длинные, бесконечные коридоры, камеры с двух сторон, гулкая, хватающая за душу тишина. Разговаривали вполголоса. Но больше смотрели. Все было предельно ясно без слов. Дольше всего стояли в одиночке, где в свое время был заключен

Ф. Э. Дзержинский. Низенькие, зверски прибитые к полу дощатые нары, квадратный столик, окантованный толстым листовым железом. Высоко над головой крохотный светлячок тюремного окошка.

Твардовский стоял у порога, смотрел на все это сурово и молча. Затем из конца в конец промерил камеру ровными тяжелыми шагами. Остановился, подумал о чем-то и вновь, отсчитывая про себя шаги, прошел по одиночке. Заглядывали и в другие камеры. Тоже молча и с опаской, как в старый, осыпавшийся колодец. И только перед уходом Александр Трифонович спросил нашего спутника, где место, в котором свершалось «то самое»...

Старик замялся, будто сам был в чем-то виноват, сказал, что ничего не знает и не ведает. Встретил строгий и в то же время какой-то безмерно добрый взор голубых глаз Твардовского и повел по коридору. Высокая камера, замурованное кирпичами окно. У самого потолка разбитая и пыльная электрическая лампочка. Время стерло все следы, которые говорили о последних в жизни заключенных минутах. Но нет, казалось, мы видели все это, страшное и невероятное, потрясающее своей жестокой и безрассудной правдой.

Твардовский взял меня за руку и вывел из камеры. Не мы одни попытались заглянуть, что происходило по ту сторону жизни. Когда мы вышли из тюремного корпуса во двор, провожатый наш показал замурованное и закрашенное краской окно. Сверху оно было обито толстым железом с поржавевшими шляпками гвоздей по краям. Кто-то отодрал кусок этого железа, выдолбил несколько кирпичей, но разглядеть, конечно, ничего не смог...

Весть о приезде Твардовского быстро облетела таежное село. Нас пригласили в гости. За столом, накрытым с щедрым сибирским хлебосольством, стояли на видном месте жареные грибы, собранные Твардовским. Люди влюбленными и какими-то совершенно ошалевшими глазами смотрели на поэта, верили и не верили, что именно он находится здесь.

Рядом с Твардовским, по правую его руку, сидел наш провожатый. Он был счастлив, будто сам лично открыл, нашел и подарил миру такого человека. А между тем выяснилось, что старик никогда в жизни имени Твардовского не слышал, книг его не читал и даже теперь, после близкого знакомства, называл его Твердовским. Но старик, сознавшись в своей жизненной промашке, дал слово, что прочтет его книгу. Для этого был и совершенно конкретный повод — Александр Трифонович вручил ему томик стихов с дарственной надписью.

3. ЧАСТУШКИ ДЛЯ ЦИРКА

Кое-кто пытается утверждать, будто Твардовский в общениях своих с людьми был суровым и неприветливым. Нет, это глубокое и обидное заблуждение. Искренность, прямота, честность и радушие отличали Твардовского всегда, во всем, в самых простых и будничных знакомствах.

Возвратившись из Александровского Централа, мы увидели в Иркутске множество пестрых афиш — приехал на гастроли тяжелоатлет-гиревик Жеребцов. Он поселился в гостинице «Центральной», рядом с номером Твардовского. Жеребцов узнал об этом своем соседстве. Как-то поймал меня в коридоре, затиснул в угол и заявил, что два таких человека, как он и Твардовский, должны обязательно познакомиться и по душам поговорить о жизни и искусстве. Встреча с гиревиком не могла быть опасной, и я пообещал Жеребцову свое посильное ходатайство перед Александром Трифоновичем, а при случае передал тому просьбу циркового артиста. Твардовский внимательно выслушал меня, пожурил за опрометчивое решение и попросил привести Жеребцова к нему в номер. И вот плечистый, богатырского сложения артист сидит за столом вместе с Твардовским и прибывшим в тот день в Иркутск Ярославом Смеляковым. Горячась и размахивая руками, рассказывает о своей сложной, полной неожиданностей и житейских превратностей судьбе. В юношескую пору Жеребцов был цирковым борцом. Однажды соперник его применил какой-то бесчестный прием, изуродовал ему левое ухо.

— Надо было отсосать ухо, но не успели,— сказал наш темпераментный собеседник.— Видите, какое стало...

Жеребцов взъярился от этих нахлынувших на него воспоминаний, хватил по столу пудовым кулаком и отколол большой кусок доски. Много пришлось повозиться Лаврентию Семеновичу Комарову, чтобы привести стол в порядок.

Уже позже Твардовский несколько раз вспоминал злосчастное ухо циркача, переносил печальный случай совсем в иную плоскость — полистал как-то книжку одного не совсем уж бесталанного в прошлом поэта, отложил ее в сторону и с грустью сказал:

— Не отсосали человеку вовремя ухо, а теперь видите, что получилось...

После душевного разговора в гостинице Жеребцов проникся к Твардовскому еще большей симпатией. Изъявил готовность вести его немедля в цирк, усадить на лучшее место. Без билета и контрамарок. Не знаю, любил ли Александр Трифонович цирк, но он с величайшим интересом смотрел, как Жеребцов швырял вверх литые чугунные гири, взваливал на плечи невероятные тяжести.

— А ведь он силен! — шептал он.— Силен человек!

Выступление Жеребцова сопровождалось песнями, частушками и плясками его труппы. Зрелище было по-своему красочное и праздничное. Но песни и частушки, сочиненные бог весть кем, ясностью мысли не отличались. Возможно, Жеребцов и сам чувствовал уязвимое место своего репертуара. Так это или не так, но артист решил найти достойного автора для реприз. Я уклонился от посредничества между Твардовским и Жеребцовым в этой затее. Тогда Жеребцов обратился к Ярославу Смелякову. Я присутствовал при беседе двух договаривающихся сторон.

— Товарищ Смеляков,— сказал Жеребцов,— попросите, чтобы Александр Трифонович написал для меня частушки. Я как-то стесняюсь. Он все же умнее меня...

Смеляков весело и широко улыбнулся, а потом вдруг очень серьезно, но все равно с шутливой, не покидавшей его всю жизнь интонацией в голосе сказал:

— Знаете, я ведь тоже стесняюсь. Скажу по секрету — Твардовский даже меня умнее!

Услышав через некоторое время все это, Твардовский долго и весело смеялся, сказал, что над предложением Жеребцова стоит подумать и, возможно, он частушки напишет.

4. В БРАТСКЕ

В средине июня 1959 года мы снова встретились с Твардовским на сибирской земле. На этот раз Александр Трифонович прибыл в Братск. Со дня на день у Падунского порога ожидалось перекрытие Ангары. Приехал он, как всегда, поездом. Самолетов не любил, говорил, что это не путешествие, не поездка, а «перемещение в пространстве»: ничего не услышишь, никого не увидишь, кроме ушедшего в собственные заботы соседа.

Братск пришелся Твардовскому по душе. Подымался с рассветом, будил меня и тащил в тайгу. Края эти и в самом деле стоили любви и привязанности. Нигде, как в Братске,— а я немало повидал таежных мест,— Сибирь не открывается так широко и самобытно. Вовек не забудешь крутую говорливую гребенку Падунского порога, где мерялись со стихией своей удалью лоцманы и лихие рыбаки; не уйдут из памяти утесы Пурсей и Журавлиная грудь, веками сторожившие таежную тишину, заросшие пунцовыми жарками и застенчивым сиреневым багульником леса́...

Часами бродили мы по узеньким, пробитым среди скал тропкам, по-свойски заглядывали в брезентовые, слинявшие от дождей и солнца палатки строителей, в их новые, пахнущие свежим тесом дома, в дощатые, сколоченные на

скорую руку конторки управлений и служб строительства. Неподалеку от реки увидели старую, оставшуюся от давних времен избушку с новой, яркой вывеской «Парикмахерская». Зашли и туда. С видом важным и довольным сидел Александр Трифонович в кресле. Парикмахер, который, видимо, недавно приобщился к царству ножниц и бритв, старался изо всех сил. Закончив процедуру, он отошел в сторонку и с опаской поглядывал на дела рук своих. «Полубокс» Твардовского смущал немного и меня. Но Твардовский остался доволен. Отряхнулся, мельком глянул в зеркало и, к великой радости мастера, сказал:

— Отлично постригли. Так даже на улице Горького не сумеют.

А потом, когда уже отошли от заведения на приличное расстояние, с досадой сказал:

— Вот же, черт собачий, что сделал! Придется кепку надевать...

В урочный час мы пришли к перемычке Братской ГЭС. И хотя было это уже, по существу, повторением того, что видели на Ангаре, вблизи Иркутска, трудно было оторвать взор от беснующейся возле каменной гряды реки, от бесконечного, грохочущего по дорогам кортежа самосвалов, взметнувшихся ввысь подъемных кранов, напористых, зубастых экскаваторов, от всего, что затеял на берегу Ангары человек.

Снова, как и на Иркутской ГЭС, предстояло мне передать очерк о перекрытии реки. Соавтором моим на этот раз был Борис Полевой. Повздыхав об этой своей каторжной повинности, мы с Полевым отправились сочинять отчет в домик редактора многотиражной газеты «Огни Ангары» Михаила Совенко. Вскоре пришел туда и Александр Трифонович. Поглядел, как лепим мы сообща строку к строке, сел на дощатое, нагретое солнцем крылечко и склонился над записной книжкой.

Твардовский прибыл на Ангару по личному приглашению начальника строительства Братской ГЭС Ивана Ивановича Наймушина. Он, как и в Иркутске, хотел отквитать свой долг перед строителями. Так, на этом крылечке было написано и передано по телефону в «Правду» стихотворение «У Падунского порога». Под ним стояли строки: «19 июня 1959 года. Братск» — день перекрытия Ангары. Написано было не наспех, как порой требуют этого события. Дважды переписывал Твардовский на чистый лист бумаги стихотворение из четырех строф, и в самую последнюю минуту, когда Москва уже была «на проводе», отобрал рукопись и снова переделал две последние строки. Так и хранится у меня это стихотворение. И дорого оно не только тем, что написано рукой Твардовского. На всю жизнь запомнил я его

завет: «Не торопитесь печатать скороспелок. Никогда. Даже если не будет у вас в кармане ломаного гроша».

Из Братска мы отправились в Иркутск на теплоходе. Сидели обычно на носу корабля, лицом к ветру. Широко и вольно разлилась в то лето Ангара. Паводок на Ангаре, в отличие от иных рек, наступал в жаркую погоду, когда в горах таяли снега и ноздреватые, слежавшиеся льды. По течению плыли деревья с черными узлами корней, покачивались на волне стожки прошлогоднего сена. Однажды увидели и зайца на огромной коряге. Видимо, то был какой-то дальний потомок зайцев деда Мазая...

Вечером Александр Трифонович читал команде корабля стихи в кормовом салоне. Было много народу. Сидели впритирку на диванах, просто на полу, стояли возле дверей и стен. Читал Александр Трифонович негромко. И поэтому какой-то особой и необычной была тишина. Только вскрикнет порой сирена теплохода и тотчас смущенно умолкнет. Еще ближе и дороже стал всем после этого чтения человек с круто опущенными плечами, чистым, открытым взором голубых глаз. Никто не осмеливался занять избранное им возле окна место в ресторане, который был порой забит до отказа, взобраться раньше его по крутому трапу на палубу.

Александр Трифонович любил тишину. Порой долго просиживал в каюте возле открытого настежь окна. А на теплоходе между тем с утра до полуночи гремели из бесчисленных репродукторов песни. Трудно лезть со своим уставом в чужой монастырь, но я все же отважился поговорить о шумовых эффектах — от своего имени, конечно,— с молоденьким пареньком радистом. Прошло совсем немного времени, и репродукторы заглохли.

Несколько пассажиров, не мыслящих плавания без увеселительных сопровождений, отправились с самыми решительными намерениями к радисту. Но не помогли ни просьбы, ни угрозы «отразить безобразие» в книге жалоб. Радист лишь смущенно разводил руками и ссылался на устаревшую технику и какие-то «атмосферные помехи».

— Ну что я могу сделать? — оправдывался он, указывая на погасшие лампочки приемника.— Заело, товарищи...

И только когда теплоход причалил к Иркутской пристани, из всех его репродукторов, как дань любви и уважения к поэту, как салют в честь полюбившегося всем человека, грянул боевой походный марш...

5. РОКАМБОЛЬ

Снова о характере Твардовского, его умении никогда не подлаживаться под чужие настроения и взгляды, всегда быть самим собой и в то же время быть близким, понятным

и своим человеком в доброй и хорошей среде. Был он жесток и беспощаден лишь к людям пустым и никчемным. А они порой окружали его, напрашивались в друзья, при случае козыряли своей близостью к поэту.

Но вначале небольшое отступление. Однажды, возвратясь из поездки по сибирским городам и весям, мы решили пообедать на скорую руку у меня дома. Жены, как на грех, дома не оказалось. Я разыскал кое-какие припасы — мясо, лук, морковь, картошку, помидоры — и стал к плите. Твардовский внимательно, но все же с некоторым сомнением следил за процессом приготовления незнакомой ему доселе еды. «Процесс» был крайне прост: я свалил в кастрюлю без всякой последовательности продукты и предоставил, как говорится, дело самотеку.

Вскоре варево было готово, и мы уселись пировать. Твардовский зачерпнул ложкой из тарелки, попробовал, а затем, хитро прищурившись, спросил, как называется эта еда. Не долго думая, я веско и авторитетно ответил:

— Карамболь.

Александр Трифонович рассмеялся, варево похвалил, но сделал некоторое уточнение.

— Нет, это не карамболь,— сказал он.— Это рокамболь. Вы уж мне поверьте, я знаю...

Появилась жена. Отведала «рокамболя» и пришла в ужас. Но Твардовский мужественно отстаивал свое мнение, даже попросил добавки, чем, конечно, утвердил в семье мой поварской престиж. Рассказ об этом не случаен. Рокамболь, как известно, герой детективных романов французского писателя Понсона дю Террайля, нарицательно — имя авантюриста, приключения которого неправдоподобны. Именно этой кличкой едко и зло окрестил Твардовский одного нашего случайного знакомого, приезжего литератора.

Случилось это так. Дня через два после описанной трапезы мы решили поехать в Слюдянку, поклониться седому Байкалу. В эту поездку увязался и помянутый литератор. Был это человек суетливый, бесцеремонный и болтливый. Сидел он рядом с шофером и всю дорогу трещал без умолку. Твардовский с чувством тяжелым и мрачным курил одну сигарету за другой. Но сделать замечание попутчику не решился.

Но вот наконец сверкнул за перевалом серебряной гладью Байкал. Твардовский облегченно вздохнул: можно хоть на время избавиться от назойливого соседа.

И вот оно, славное море, лежит у наших ног, с вкрадчивым шумом катит на прибрежные камни неторопливую волну. К счастью, наш попутчик нашел полезное занятие — стал собирать на берегу причудливую, как корни женьшеня, байкальскую губку. Мы остались одни. Стояли, молча лю-

бовались морским простором. У Байкала есть удивительная особенность. В какие-то очень короткие промежутки он становится то угрюмо-серым, то голубым, то сиреневым, то розовым и празднично нарядным...

Не отрывая глаз, следил Твардовский за этой неповторимой сменой света и красок. Был он спокоен и строг, казалось, совсем забыл о путевых невзгодах. Между тем надвигался вечер. Над вершинами Хамар-Дабана клубились серые влажные тучи, взблескивали ветвистые молнии. Жаль было расставаться с Байкалом. Но все же хорошо, что вовремя тронулись с места. Едва машина взобралась на перевал, хлынул проливной дождь. Стеной стала перед глазами черная дымная мгла. Лишь изредка на дороге возникали призрачные силуэты встречных машин и тут же исчезали в беспощадной дождевой наволочи.

Прошло часа два или полтора, и где-то в стороне от дороги мы увидели вдруг неподвижный тусклый огонек. Я объяснил Александру Трифоновичу, что это домишко таежного объездчика.

— Поехали к нему,— предложил Твардовский.— Чайку попьем и обогреемся. Скучно ведь там человеку одному.

Я попытался возразить, сказал, что в лесной глуши люди укладываются спать рано. Да и вообще неудобно, мол, ни с того ни с сего ломиться в чужие двери.

— Почему же в чужие? — возразил Александр Трифонович.— Свой там, наш человек. Поехали...

Комаров, собственно, и не ждал моего решения. Он уже свернул на боковую дорогу и катил к небольшой, засевшей меж дерев избушке лесника. Подъехали, постучали. На пороге возник плечистый, заросший густой черной щетиной человек. Хорошо, если просто прогонит, а то ведь и по шее накостыляет, с опаской подумал я.

Но все обошлось. В дом нас пустили охотно и дружески. Прошло немного времени, и на столе уже шумел самовар, лежала всяческая снедь. И в том числе огромный кусок жареной медвежатины. Мы приобщили к хозяйской еде свои припасы и сели к столу. И бородач, и не очнувшаяся как следует от сна хозяйка были довольны. Слушали неторопливый рассказ Твардовского о житейских разностях, расспрашивали его о тех краях, где самим не удалось побывать.

О себе Твардовский не сказал ни словечка. Но я видел, как неохотно, с искренним огорчением отпустили Александра Трифоновича из лесной избушки. Нет, это была для ее обитателей не простая и случайная встреча, каких много в жизни. Я помню, как, несмотря на все наши отговорки, хозяйка раскидывала для нас постели, надевала на подушки белые, стиранные дождевой водой наволочки, как уже у по-

рога лесник держал всей своей могучей пятерней ладонь Твардовского, глухим, убежденным басом говорил:

— Ну, заночуй, Трифонович. Ну, я тебя прошу — уважь!

Но в Иркутске нас ждали дела, и мы уехали. А дождь лил и лил не переставая. Едва мы вырулили на тракт, машину тряхнуло на ухабе. С полочки, которая находится между сиденьем и задним окошком, что-то свалилось и упало под ноги. Твардовский наклонился и поднял увесистый сверток. Развернул и, к немалому удивлению, увидел куски городской колбасы, консервы, сыр, сахар и пачку печенья — наши не доеденные за общим столом припасы.

Нетрудно было догадаться, кто приволок их сюда — по своей собственной скаредности, непорядочности или по настоянию гостеприимных хозяев. Твардовский буквально почернел от гнева и обиды. Он приказал шоферу остановиться, подал сверток литератору и сказал:

— Немедленно отнесите леснику, или я вышвырну вас вон!

Согнувшись под проливным дождем, наш спутник побрел по дороге и сгинул в темноте. Мы долго стояли на обочине, ждали. Все молчали. Твардовский не любил перемывать косточки недругов. Он только глухо, про себя шептал:

— Ах, мерзавец! Ах, Рокамболь!

Но вот Рокамболь вернулся, мокрый и несчастный. Отдал он сверток леснику или просто-напросто бросил в кусты, неизвестно. Машина снова помчалась по дороге. Шофер все время отодвигался к дверце, подальше от соседа. И, видимо, не потому, что был тот мокрый до нитки. Лаврентий Семенович не знал подлинного значения слова «рокамболь», но он беспредельно верил оценкам и выводам Александра Трифоновича. После отъезда Твардовского из Иркутска «рокамболь» стало самым ругательным словом Комарова.

Поездка на Байкал принесла Твардовскому и радости, и огорчения. Но она оставила чистый, хороший след в его поэтической судьбе. Остаток ночи Александр Трифонович провел в моем доме. Когда я проснулся, Твардовского в спальне уже не было. Кровать его была аккуратно застелена. Я заглянул в соседнюю комнату. Закрыв лоб рукой, Твардовский сидел у стола. Услышал шелест шагов, обернулся и сказал:

— Вот написал стихи о Байкале. Хотите послушать?

Голосом ровным и чуть-чуть глуховатым он начал читать новые стихи. Сибиряки называют Байкал чудом природы. Чудом поэзии показались мне и стихи. Я сказал об этом. Твардовский спрятал листок в карман и кратко сказал: «Спасибо». Он был строг не только к собратьям по литературе, но и к самому себе. Стихотворение «Байкал»,

где, казалось, уже ничего ни убавить, ни прибавить, он еще раз «подчистил и дополнил» где-то в дороге, в поезде. Об этом он сам рассказал мне в своем письме.

6. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

Александр Трифонович любил ездить и в близкие, и в дальние края. Правда, не всегда удавалось ему из-за сумятицы дней выбраться из столицы, прилечь с книжкой в руке на скрипучую полку вагона. В поэме «За далью — даль» есть такие строки:

Я в скуку дальних мест не верю,
И край, где нынче нет меня,
Я ощущаю, как потерю
Из жизни выбывшего дня.

Отошел от иркутского перрона поезд, и будто вместе с ним из жизни ушло что-то бесконечно дорогое и невозвратное. Остались лишь книжка с краткой надписью и серая полосатая кепка, которую носил Твардовский и оставил мне на память о сибирских встречах.

Вскоре от Александра Трифоновича пришло письмо из Владивостока. И в нем также сквозила жажда поближе увидеть и узнать то, что открывает и таит в себе новая, незнакомая даль. «Дорогой, милый Николай Павлович! — писал Твардовский.— Второй день здесь, доехал благополучно. Очень наруку было мне опоздание поезда, т. к. дало возможность дневного обозрения новизны иного, чем Восточная Сибирь, края. За Хабаровском — другая земля. Вместо тайги хвойно-угрюмой — парк с огромными луговыми полянами, пашнями, лесозащитными полосами у дороги и т. д., и т. п. Словом, стоило терпеть жару и духоту поезда до Хабаровска, а там уже пошли и дождики, и что ближе к морю, то влажней и пасмурней — я люблю такую погоду».

В письме Александр Трифонович рассказывал о своих встречах с местными литераторами, о прочитанных в поезде книгах. Писал и о моей повести «Генка Пыжов — первый житель Братска». Но дело не в книге и не в оценке, которую дал ей Александр Трифонович, а в том, что он очень кстати посоветовал мне,— а это, видимо, касается и других литераторов,— не влюбляться в свои собственные произведения, спокойней и строже принимать похвалу, мимолетный «зигзаг удачи».

В Иркутске посиделки с кедровыми орешками называют «сибирским разговором». Много еще осталось у меня в кармане «орешков», но все не расколешь в один присест. Расскажу о последней встрече. Была она уже в Москве, в больнице, где по случайному совпадению пришлось лежать мне

в одно время с Александром Трифоновичем. С нежной любовью и грустью о невозвратном вспоминал Твардовский сибирскую строку своей жизни, говорил о непреложной обязанности писателя быть в гуще событий, которыми живет страна. И многое еще легло бы четкой и строгой строкой в его книги от этих поездок, если бы не случилось того, что случилось...

Каждый день на протяжении двух недель встречались мы с Александром Трифоновичем в палате, а если удавалось, в тихом березовом парке. Палата Твардовского была где-то в конце длинных коридорных лабиринтов. Перед тем, как идти по этому коридору, я справлялся у дежурных нянь и сестер, у себя ли Александр Трифонович. Его превосходно знали все — и врачи, и няни, и судомойки.

Однажды я обратился с этим вопросом к двум женщинам, коротавшим время на узеньком, обитом серой клеенкой диване — к молоденькой в нарядных остроносых туфлях и старушке с белым завитком волос на затылке.

— Это какой Александр Трифонович? — спросила модница.— Который согнулся вот так, как ворона?

Старушка в белом халате сердито посмотрела на соседку и кратко сказала:

— Дура! Не как ворона, а как человек!

Я рассказал об этом Твардовскому. Он весело рассмеялся, на «ворону» не обиделся и попросил обязательно познакомить со старушкой. И было это, конечно, не из тщеславия. Просто хотел поглядеть на человека, который вот так искренне, от всей души, сказал о нем теплое и хорошее слово. Твардовский не переносил шумных здравиц и публичных признаний своих заслуг. Тому есть много примеров.

Вместе с нами лежал в больнице известный скульптор Лев Кербель. Много раз Кербель просил Твардовского хоть немного попозировать ему, хотел сделать скульптурный портрет поэта. Твардовский не согласился. Отказал он в слезной просьбе и фотографу, который явился с целым арсеналом своих фотографических причиндалов. И, видимо, поэтому так мало осталось для потомков снимков и портретов Твардовского, так правдиво и убежденно звучат строки его стиха:

Я счастлив жить, служить Отчизне,
Я за нее ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни —
Не для статьи передовой.

Настала пора выписываться Александру Трифоновичу из больницы. Я пришел проститься и сказать, кстати, что увидел наконец старую няню, которую до этого не удавалось разыскать. На больничном столике Твардовского, там,

где еще совсем недавно писал он стихи, лежало множество коробочек с духами, пудрой, сверточки с простенькими сувенирами, которые приготовил он в подарок врачам, сестрам и няням. Услышав о старушке няне, Твардовский поспешно взял со стола самый большой сверток и сказал:

— Пойдемте!

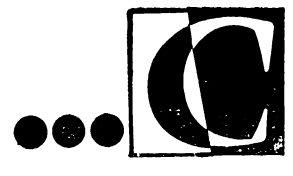
Старая женщина приняла подарок. Тепло, как-то совсем по-матерински, посмотрела на Твардовского и, не в силах сдержаться, закрыла лицо рукой...

Это была последняя моя встреча с Твардовским. Последний взгляд, последнее пожатие руки.

1973

К. ВОРОБЬЕВ

ВЫЗЫВАЕТ ТВАРДОВСКИЙ



удьба в какой-то степени жестоко обделила меня, считаю — незаслуженно: мне посчастливилось всего лишь дважды беседовать с Александром Трифоновичем, и я, так сказать, всю жизнь любил его заочно и втихомолку. Но эти наши две встречи были замечательны и останутся памятны для меня до конца жизни. Речь тогда шла о моих труднопроходимых повестях, и то, *что* говорил мне Александр Трифонович, *как* говорил, *насколько* он помог мне жить и писать, передать в воспоминании не только трудно, но просто немыслимо.

В конце 50-х годов я написал нелегкую для себя повесть «Убиты под Москвой». Речь шла в ней о роте кремлевцев, попавших в окружение черной осенью 1941 года, о преодолении ими курсантских иллюзий, отрывавших воина от действительности. Эта моя рота дралась, как я понимаю, не только мужественно и самозабвенно, но и рыцарски красиво. Эпиграфом к повести я, не спрося на то позволения автора, поставил строки из знаменитого стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом...». Редактор журнала, куда я послал рукопись, энергично вернул мне ее при своем эмоциональном разъяснении, что война была отнюдь не такой, как она описана у меня. В заключение он почему-то называл меня «пустым холодильником». В то время я был еще сравнительно молод, и такое кухонное сравнение привело меня в состояние столбнячной оцепенелости. Позже я узнал, что этот редактор на войне не был. Повесть отвергли еще многие журналы и издательства. Я не только отправлял ее по почте, но и доставлял, так сказать, нарочно,— говорили, будто личное общение автора с сотрудниками редакций

смягчает их души, но в моем случае этого не произошло. Хуже всего было то, что я бесповоротно терял веру в свои писательские способности, хотя до этого у меня уже вышли в Москве и Литве три сборника рассказов и повесть и я был членом Союза. Приниматься за новую вещь не было душевных сил — «холодильник» не выходил у меня из головы, а безучастность и унижающая человеческое достоинство черствость отвергающих тебя редакторов подкрепляли мысль о твоей бездарности.

И тогда я решился на дерзость и послал повесть в «Новый мир» — журнал, казавшийся для меня недосягаемым, ибо в нем печатались произведения высокой художественной ценности.

Истекал второй год мытарств моей рукописи, и была тогда осень, самая лучшая по яркости и свежести, какую я могу припомнить. Телеграмма из «Нового мира» пришла на семнадцатый день. Вызывал сам Твардовский. Было беспокойно и невероятно: сообщалось, что командировочные я получу там, в журнале.

Меня обнадеживающе поразила царившая в редакции атмосфера сосредоточенной вдумчивости и задушевности в обращении с авторами, какая-то прочная литературная порядочность в доверии к ним со стороны рядовых сотрудников. Им было, по-моему, тесновато работать, но уютно маленькие кабинетики, низенькие своды в узких опрятных коридорчиках настраивали посетителя на миротворный лад.

Александр Трифонович принял меня в два часа дня. Тот факт, что он лично вызвал меня из Литвы телеграммой, вселял в меня, конечно, какую-то надежду на благополучную беседу, но когда он, собранно-строгий и озабоченный, поднялся за столом мне навстречу, надежда эта погасла. Он поздоровался со мной сдержанно и даже чуть-чуть важно, и я обратил внимание, что ладонь у него узкая, длинная, аристократическая. На нем был элегантно просторный темно-коричневый костюм с депутатским значком на лацкане пиджака, и это, его депутатство, окончательно рассеяло все мои иллюзии, ибо я подумал, что государственный человек должен быть строг вообще. У нас тогда выдалась небольшая пауза: я внутренне напрягся, готовясь к последнему и уже непоправимому горю, а Александр Трифонович, возможно, просто ждал звука моего голоса. Я, однако, глупо молчал, и тогда он, оставаясь по-прежнему строгим и важным, сказал сам:

— Константин Дмитриевич, в своей повести вы сказали несколько новых слов о войне. Повесть мы решили печатать в одном из ближайших номеров...

Я тогда позорно оконфузился. Я заплакал, стыдясь и пытаясь спрятать глаза от Твардовского. Александр Трифонович молчал, глядя мимо меня в окно,— давал мне возможность, как я понимаю сейчас, привести себя в порядок,— но тогда мне почему-то подумалось, что он уважает мои слезы, раз молчит, и от этого они были горше и отрадней.

«Убиты под Москвой» появились в «Новом мире» в феврале 1963 года.

Вторая моя встреча с Александром Трифоновичем состоялась весной 1967 года. У меня опять получилась трудная и грустная повесть, но уже не о войне, а о деревне 30-х и 40-х годов. Я послал ее в «Новый мир» и вскоре получил вызов на редколлегию. По тому, как предупредительно-заботливо встретили меня в редакции,— будто я был опасно болен, не подозревая о том сам,— я понял, что на этот раз меня ждет тут что-то новое. Так оно и случилось. Заседание редколлегии проходило в кабинете Александра Трифоновича. Он поздоровался со мной вежливо и сухо, и началось мое коллективное избиение, аккуратное, на высшем уровне корректное и доказательное, так что мне, как волейбольному мячу на тренировке хорошо слаженной команды, не удавалось ни приземлиться, ни отлететь за черту площадки. В повести усматривались некоторые идейные просчеты, губившие все ее побочные достоинства, доступные для любого автора, пишущего о своем детстве. Я сидел ошеломленный и разоренный до основания. Мне хотелось курить, но обратиться к Твардовскому за разрешением было немыслимо. Он временами взглядывал в мою сторону, потом что-то шепнул Б. Заксу, и тот улыбнулся и подал мне сигареты, спички и пепельницу.

В заключительном слове Александр Трифонович сказал, что никто не в силах помочь мне с повестью, кроме меня самого.

— Вы терпите бедствие в одиночном самолете, мы это видим со стороны, но спасти вас не в состоянии,— сказал он, и я вообразил себя в кувыркающемся «кукурузнике» над пустынным полем, затем мне представилась моя унылая и бесконечная дорога домой с отвергнутой рукописью.

Когда со мной все было покончено и члены редколлегии начали выходить из кабинета, я подошел к Твардовскому, чтобы поблагодарить за внимание, и проститься.

— Садитесь, Константин Дмитриевич,— внушительно сказал он.— Сколько вам, между прочим, лет?

Я ответил.

— Да? А мне казалось, что вы моложе. Так вот. Повесть надо спасать. Надо...

И Александр Трифонович, вдруг преобразившийся и ставший каким-то осторожно-ласковым, доступным и понимающим всю мою отцовскую боль над погибшим дитем, в течение полутора часов указывал, советовал, объяснял, учил меня, как спасти мою «Тетку Егориху»...

И тогда для меня открылись новые стороны и грани души и совести Александра Трифоновича, его высокая редакторская прямота и редкая честность рядом с пронзительной тревогой за того, к кому обращена эта прямота, его непреклонное мужество в стремлении утвердить правду...

Вильнюс, 1973

«ОБРАЩАЯСЬ К СОВРЕМЕННИКУ»

...Передо мной за редакторским столом Александр Трифонович Твардовский. Первое впечатление — он очень большой: массивные плечи, крупные руки, в которых карандаш кажется тоненьким стерженьком. Брови нависли над глазами, а они цветом и холодностью своею сущий лед. Он сидит и молчит, испытующе смотрит на меня.

...Было это в январе 1959 года. В редакции газеты «Московский комсомолец», где я только начал работать после демобилизации из армии, задумали специальную полосу — портреты москвичей, делегатов предстоящего XXI съезда партии, и их рассказы о своих делах, их мысли о настоящем и будущем, о молодежи. Мои коллеги журналисты довольно быстро взяли интервью. А мне из-за пристрастия к стихам выпала задача весьма почетная и почти невыполнимая — встретиться и побеседовать с Александром Трифоновичем Твардовским.

В те дни я возненавидел наш редакционный телефон: стоило мне набрать номер «Нового мира», и я узнавал, что Александр Трифонович в Центральном Комитете партии или в Союзе писателей, в Гослитиздате или в редакции «Литературной газеты», что у него заседание редколлегии или разговор с авторами... А то и попросту мне сообщалось, что Александр Трифонович не может меня принять.

— Чего ты удивляешься? — говорили мои знакомые.— Вся Москва знает, что Твардовский не любит давать интервью, предпочитает не сниматься в кино и на телевидении... Ему, как ты сам понимаешь, паблисити ни к чему. Так что отступись!

Я уже понял его отношение к этому самому паблисити. Но если ему самому это было не нужно, то он нужен был нашей газете! Нет, отступаться было нельзя...

— Правильно,— подбадривал меня заведующий отделом.— Ты только что из армии, значит, должен быть упорным и проявлять находчивость.

Заканчивал он уже с металлом в голосе:

— Без этого интервью полоса не выйдет!

И однажды — вот она, журналистская удача! — я вдруг услышал, что Александр Трифонович может уделить представителю газеты «Московский комсомолец» немного времени — на следующий день, рано утром. И когда я шел в редакцию «Нового мира», то невольно улыбался, ловя себя на мысли, что все прохожие завидуют мне, а поседевший от снега Пушкин именно на меня смотрит со своего пьедестала...

И надо же — после стольких терзаний разговор абсолютно не получается! Придуманная мной схема интервью сразу же рухнула и рассыпалась. С самого начала Твардовский отрубил мне, что его мысли, наблюдения, мечты — в его стихах. В них, мол, на все отвечено. А потом умолк. И пришлось мне действительно призывать на помощь армейскую находчивость.

Я стал рассказывать Александру Трифоновичу, как во время маневров и стрельб, в мороз, посреди леса читал своим однополчанам «Теркина».

— ...и, перефразируя ваши строки, от вашей выдумки нам все-таки было теплей,— добавил я.

— Значит, помогает? — улыбнулся Твардовский, и я горячо подхватил:

— Еще как!

Ну и здорово! Оказалось, что Твардовский умеет улыбаться. И вокруг его глаз, кстати не таких уж и холодных, лучики добродушных морщинок и голос в общем-то приветливый.

Александр Трифонович размял сигарету, закурил, вкусно затянулся и вместе с дымом выдохнул:

— А что еще доброе можете высказать?

«Вот те на! Я пришел брать интервью, но, кажется, вместо этого меня самого интервьюируют»,— подумал я и заговорил о том, как воспринимаются молодежью главы его новой поэмы «За далью — даль», как они многое ей объясняют, на многое открывают глаза.

— И что-нибудь наизусть знаете? — полюбопытствовал Твардовский.

Я с удовольствием, точно ученик, напросившийся к доске, стал читать на память главу «Литературный разговор».

Твардовский слушал внимательно, словно это были чужие, незнакомые ему стихи, а не поэма, создававшаяся им чуть ли не десяток лет. Слушать он, видно, умел великолепно — располагающе и с удовольствием. Я разохотился, но он прервал меня очень ловко, как раз на строчке:

Нет, братец, хватит. Совесть знай...

Неторопливо загасив сигарету, помолчал и поинтересовался:

— А в какой компании окажусь я на этой вашей полосе?

— Герой Социалистического Труда сталевар Золотов, дважды Герой предколхоза Буянов, народный артист Царев, крановщица Комарова... — начал перечислять я.

— Ясно, ясно,— сказал Твардовский.— Компания подходящая. Ну что же, раскрывайте ваш блокнот. Только одно условие: подготовите материал — приносите сюда. Пока я не погляжу, не печатать!

На следующее утро я вошел в кабинет Твардовского с еще сыроватой длинной газетной гранкой в руке. Александр Трифонович взял оттиск, надел очки и, вооружась шариковой ручкой, стал читать. Закончил чтение, вроде бы соглашаясь, хмыкнул. Я протянул было руку за гранкой, но он сказал:

— Не спешите. Есть тут грешок литературности.

Нацелился ручкой и с видимым удовольствием «вырубил» напыщенный заголовок. Подумал и аккуратно, мелкими буковками, вписал сверху другой. «Обращаясь к современнику» — вот как стал называться материал.

...Номер «Московского комсомольца» от двадцать четвертого января пятьдесят девятого года пожелтел, обтрепался по краям, протерся на сгибах. В центре второй полосы — интервью с Твардовским, его овальный фотопортрет. Вот отрывки из этого малоизвестного интервью:

«Работая над поэмой («За далью — даль».— *И. С.*), мне очень не хочется возвышаться над читателем, поучая его. К сожалению, риторичность, повторение прописных истин вместо создания полноценных художественных образов — недостаток, присущий многим произведениям наших писателей... Плохо, если автор занимается главным образом тем, что дает читателю готовые инструкции и рецепты: и как варить сталь, и как писать пьесу, и как детей рожать. И все в холодно-нравоучительном тоне.

Нужно, чтобы читатель вместе с автором и героями разделял радости и горести, трудности исканий. Ведь читатель идет за автором, «взыскующим некоего града», ищущим.

...Как и «Теркин» в годы войны, «За далью — даль» очень дорога мне, хотя я и не отбираю среди своих поэм «любимчиков». Памятна мне и «Страна Муравия», кровью плачено за «Дом у дороги». Я чувствую, что не мог не написать «За далью — даль». Работать над ней — моя жизненная необходимость. Эта поэма позволяет мне широко и свободно обращаться к современнику, вовлекая его в большой разговор о жизни, о настоящем и будущем.

Сознание нужности, необходимости именно этого произведения — очень важная вещь. Без нее нельзя творить. Если нет внутренней необходимости высказаться, то — чудес не бывает — читатель просто не заинтересуется написанным».

Повторяю — это январь пятьдесят девятого года, и ряд соображений, оценок, выводов Александра Трифоновича, так сказать, «привязан» к тому периоду. Но вместе с тем как остры и актуальны многие его мысли! И как в некоторых словах, в построении отдельных фраз, в значительности, оригинальности и глубине сказанного видится сам Твардовский с его неприязнью к шаблону и серости, к литературщине...

А тогда, вернув мне гранку, Александр Трифонович неожиданно спросил:

— Сами-то вы стихи пишете? По своей причастности к этому делу небось пришли именно к делегату-поэту?

Я кивнул и смутился.

— Что это, ровно красна девица? А ну-ка, припомните быстренько, только самую малость.

Я откашлялся и прочел Твардовскому несколько строф своей «армейской поэмы».

— Любопытно,— сказал Александр Трифонович,— хотя «электричества» явно не хватает. Да и порой чувствуется этакая невольная похожесть подражания. Правда, на слух — одно восприятие, а вот с карандашиком пройтись — дело совсем другое. Пришлите как-нибудь, не робейте.

— Очень вам благодарен, Александр Трифонович,— забормотал я.— Только если я соберусь когда-нибудь послать вам свои стихи, то вы самым беспощадным образом...

— Будет, будет,— остановил меня Твардовский.— И конечно же беспощадным образом. Иначе и нельзя в нашем деле. А сейчас запишите-ка мне ваш адресок. Выйдет «Даль» полностью — пришлю вам как ее пропагандисту...

И Александр Трифонович выполнил свое обещание. В июле шестидесятого года я получил из «Нового мира» бандероль. В ней было первое, гослитовское издание поэмы — аккуратная книжечка в суперобложке малахитового цвета с надписью: «Илье Симанчуку — от автора с лучшими пожеланиями».

...Прошло семь лет. За это время я стал радиожурналистом. Стихи понемногу продолжал писать, но Твардовскому их не показывал. Стеснялся своей самодеятельности, да и не сомневался, что он забыл про меня.

Мне пришлось побеспокоить Александра Трифоновича совсем по другой причине. В Китае вовсю бушевала пресловутая «культурная революция». На хунвэйбиновских кострах вместе с книгами лучших, любимых народом китайских писателей сжигались и произведения советской литературы, пользовавшиеся в Китае большой популярностью. Были обращены в пепел и переводы на китайский язык поэм Твардовского. Маоцзэдуновская пропаганда в припадке антисоветской истерии злобно клеветала на Шолохова, Симонова, Твардовского, на руководимый им «Новый мир».

Я позвонил Александру Трифоновичу и предложил ему выступить в одной из наших радиопередач, дать достойную отповедь пекинским клеветникам.

— Не буду я выступать,— немного помолчав, ответил он.— Оправдываться, что ли, перед ними?

Я попытался уговорить его, но Твардовский стоял на своем.

— Буду делать свое дело. Согласитесь, что это тоже позиция! И вполне определенная... Да, кстати,— добавил он,— стихи почему вы не присылаете? Наш уговор остается в силе!

Я был удивлен и обрадован. Надо же — помнит!

Составил я подборку из семи стихотворений, послал Твардовскому. И через несколько дней, 13 февраля шестьдесят седьмого года получил ответ.

«Дорогой товарищ Симанчук! — писал Александр Трифонович. — В стихах Ваших есть что-то определенно симпатичное, но, к сожалению, есть еще много строк и слов, вырывающихся из-под контроля, порой — совсем несуразных. Нужно отдавать себе ясный отчет — то ли это слово, какое мне нужно, не случайное ли оно и незаконное.

Присмотритесь к моим пометкам на рукописи.

Не спешите.

Желаю удачи».

По страничкам моих стихов Твардовский воистину прошелся рукой мастера. Немало отверг, предложил кое-какие переделки, обратил внимание на неудачные слова. Но и на похвалу не поскупился: одно стихотворение пометил плюсом, а против второго написал «хор». Правда, и в них указал на недочеты.

«Присмотритесь к моим пометкам на рукописи»,— подчеркнул Александр Трифонович. И я многократно возвращался к этим его замечаниям, удивляясь их афористичности, их снайперской точности. Одно из моих стихотворений,

к примеру, было посвящено осени, и неудачно выбранная образная система увела меня куда-то далеко и в нежелательном направлении. Судить об этом можно хотя бы по такому четверостишию:

...Тучи на рощу пикируют круто,
Капельки-бомбы несутся к земле,
А паутинки, не зная маршрута,
Как заграждение, реют во мгле...

Александр Трифонович решительно отчеркнул это четверостишие. А сбоку четко написал: «Велика ли радость уподоблять явления милой природы ужасным о́бразам войны?» И это были слова поэта, видевшего и переживавшего тяжелые раны, нанесенные природе боями и писавшего в одном из своих очерков: «Война обживает и преображает на свой однообразный лад любую местность, любой край... Она лишает всякую местность ее особливого облика. Всякое своеобразие пейзажа, очарование того или иного уголка земли отступает на задний план перед однообразием военных дорог, изгибами и пересечениями траншей, уродством пожарищ, воронок, руин...» А в другом очерке, размышляя о том, как была обезображена, изуродована его родная Смоленщина, Твардовский признавался, что испытывал буквально физическую боль и что «...рассказывать о виденном в оборотах литературного письма кажется кощунством...». Вот чем и была обусловлена реакция Александра Трифоновича на «военизированные» образы моего стихотворения.

Замечания Александра Трифоновича были воистину поэтической школой в миниатюре. Они предельно ясно растолковывали мне, что писать стихи ради эффектной рифмы, ради громкого, так и выпирающего из строки слова — блажь, что надо избавляться от приблизительности, от «общих мест», но не превращать детализирование в фотографичность описания. Подчас Твардовский демонстрировал мне это, меняя всего лишь одно слово в стихотворении и делая подобную замену удивительно точно и убедительно. Примером тому служит одно из моих тогдашних стихотворений:

Траву и косами рубили,
И солнцем выжгли до нутра,
Кололи вилами, сгубили
И стоговать пришли с утра.
　　По сути стог — травы могила,
　　Могила братская стеблей...
Пропитан воздух ароматом
Росы, кустарников, лугов,
Как будто запахов набатом
Трезвонит сено до снегов.
　　И к травам высохшим с волненьем
　　И обнаженной головой

Идешь. Вот подвиг вдохновенья:
Они — мертвы.
А дух — живой!

Последняя фраза, последние полторы строки — резюме всего стихотворения. На них должна лежать нагрузка смысловая. Александр Трифонович вычеркнул слишком звучное слово «подвиг». Вместо него он написал на полях свой вариант — слово «образ». И этим укрупнил все стихотворение, придал ему более поэтичный смысл.

Еще один маленький пример. Нет у автора сил удержаться от искушения припомнить стихи, которые Твардовский удостоил оценкой «хор». Но и к их финальному четверостишию у него нашлось мудрое замечание.

Ты приляжешь на землю
Носом прямо в траву.
И как будто задремлешь —
Видишь сны наяву.
Бродит в низенькой чаще
Ток подземный густой.
Травы пахнут пьяняще,
Как крепчайший настой...
Здесь, с годами пустея,
Огрубев на войне,
Вдруг ты станешь Антеем
И сильнеешь вдвойне.

Александр Трифонович отчеркнул две последних строчки, приписав сбоку: «Антей притянут без нужды». И мне стало ясно, что весь настрой, весь антураж этого стихотворения (а в нем было еще две строфы) никак не вяжется с древним мифом, что это опять-таки грех литературщины.

Прошел примерно месяц. И я вновь, на этот раз случайно, встретился с Твардовским, если не ошибаюсь — в Союзе писателей. Увидев меня, улыбнулся несколько сумрачно, протянул свою большую руку.

— Ну, как вам моя «рубка лозы»? Не отбила охоту?

— Что вы, Александр Трифонович! — изумился я.— Спасибо вам за все.

— Полно,— остановил меня Твардовский.— Интересно, а как теперь заканчивается то стихотворение, что с Антеем?

Спишь, как в детской постели,
И сильнеешь вдвойне,—

отрапортовал я.

— Ну-ну... А вообще — что будет с той подборкой?

— Доработаю, Александр Трифонович,— выпалил я.— Ночами буду сидеть, по строчке, по словечку все переберу — и доработаю!

Твардовский слушал меня, скептически прищурившись.

— Я вам на это вот что скажу,— веско проговорил он.— Работать, конечно, надо тщательно, со вниманием. Но от натужного писания проку нет. Этакая мучительная кропотливость наливает стихи свинцовой тяжестью, делает их неуклюжими, неестественными. Хорошие стихи пишутся, знаете, как бы легко,— и он пошевелил пальцами,— свободно, а размер сам собой выпевается. Вот только добиться такой легкости ох как нелегко! Вы понимаете?

Я кивнул.

— И еще. Я заметил, что вы приглядываетесь к жизни, к ее приметам и мелочам. Хочу вас предостеречь — не спешите любые ваши наблюдения обязательно зарифмовывать, непременно использовать в стихах. Обогащайтесь встречами, поездками, чтением без плюшкинской задней мысли накопить и присовокупить все это для очередных писаний. Иначе будете обеднять свое восприятие жизни, превратите его в делячество, а стихи свои — в сверхоперативное отражение событий. Стихи, хотя они и в газетах печатаются, отнюдь не газетный жанр. Это тоже понятно?

— Понятно, Александр Трифонович...

Это была наша последняя встреча. Долго потом вспоминал я каждую его фразу, каждую интонацию...

Я горжусь тем, что хотя короткое время пользовался его вниманием и расположением. Моя встреча с ним — маленький эпизод в большой работе Александра Трифоновича.

...Стихи мои, отредактированные им, так и лежат у меня в особой папке. Порой я достаю их, просматриваю его замечания, вспоминаю наши недолгие встречи — и прячу их. Наверное, от этого мне порой кажется, что наш разговор с ним продолжается, как продолжается он, пожалуй, у многих близких и далеких его друзей.

1974

КАК Я БЫЛ У ТВАРДОВСКОГО



ил я в Новосибирской области, вот уже и за пятьдесят мне перевалило, а я ни разу не был в Москве. Наконец приехал. Москва! Иду возле ГУМа, по проезду Сапунова, а этот проезд рядом с Красной площадью. Но я этого не знаю и спрашиваю: — А где Красная площадь?

В Москве был у меня знакомый, человек хороший, добрый, большой культуры,— это поэт-сатирик Абрам Маркович Арго. Я зашел к нему. Жил он на Арбате. После всяких разговоров я сказал:

— Абрам Маркович! А не могу ли я увидеть Твардовского? Ну хотя бы издали?

Он говорит:

— Устроим! Он только вчера был у меня, вот на этом диване сидел!

Вот здорово! Я нахожусь в комнате, в которой только вчера был Твардовский, сидел вот на этом потертом диване, обтянутом дерматином!

Арго позвонил в редакцию «Нового мира» — ответили, что Александр Трифонович дома. Арго позвонил на дом — женский голос ответил, что он в редакции. Арго опять звонит в редакцию. Там спросили:

— Кто говорит?

— Старик Арго говорит!

Тогда Твардовский взял трубку. Я напугался. О чем я скажу, если мне придется взять трубку и услышать голос Твардовского? Но, слава богу, до этого не дошло. Арго сказал:

— Вот тут у меня сидит человек из Сибири, очень хотел бы увидеть вас... Нет, печатать что-либо в «Новом ми-

ре» он не собирается, он просто идет к вам, как факир в Мекку.

— Сегодня суббота, день куцый,— ответил Твардовский,— пусть зайдет в понедельник.

Да, была суббота, было 19 марта 1961 года. Я отправился в гостиницу. В праздничном волнении и тревоге провел я воскресенье. Завтра увижу Твардовского! А что я скажу ему? Не скажешь же, что вот, мол, просто хочу поглядеть на вас, за этим и приехал из Сибири! Ну ладно, думаю, что-нибудь скажу, там видно будет, а пока не могу придумать для начала ни одного слова. Стоп! А вот предлог: я преподнесу ему две книжки журнала «Октябрь», в которых совсем недавно напечатана моя поэма! Написал на обложке: «Александру Твардовскому, властителю моих дум, без которого, очевидно, не было бы этой поэмы». Надпись глуповатая, но это я понял только после. Твардовский, наверное, подумал: «Ну, потеря для литературы не была бы велика, если б эта поэма и не появилась!»

«Страна Муравия» впервые попала мне в руки в 1940 году. Как прочитал я первую строфу:

С утра на полдень едет он,
Дорога далека,
Свет белый с четырех сторон,
И сверху облака...—

так и читал до конца с улыбкой восторга. И все казалось, что это... мое, да и все тут!

Что за диво такое!

Прошло много лет. И вот я стою у памятника Пушкину, посматриваю на часы, в девятом пойду в редакцию «Нового мира». Это рядом. А может, я все-таки не решусь войти к Твардовскому? Но тогда я все равно увижу его! Остановится машина, он выйдет, и я увижу, как он пройдет несколько шагов до двери!

Две женщины в телогрейках подметают у пьедестала, на котором стоит Пушкин, и разговаривают. К ним подходит еще одна с метлою в руках.

— А вот и Даша! Легка на помине, как сноп на овине!

Удивительно, как приятно слышать эти родные, сельские слова в центре столицы! Они подействовали на меня успокаивающе, я вошел в просторный вестибюль и по широкой, очень отлогой и поэтому легкой для восхождения лестнице дошел на втором этаже до двери с табличкой: «Редакция журнала «Новый мир», сел здесь на деревянный диванчик и стал ждать. С полчаса прошло — никто не входит, никто не выходит. Но вот тяжелая входная дверь там, далеко внизу, в конце лестницы, грохнула, и вошел он. С дымящейся сигаретой в руке, в пальто нараспашку, он нето-

ропливо поднимается по лестнице, полы пальто касаются углами ступеней, длинный галстук с широкими косыми полосками... Он! Вот он совсем приблизился ко мне. Я вскочил, сорвал с головы шапку.

— Александр Трифоныч! В субботу Арго звонил вам...

Дальше мне и говорить не пришлось, он сразу вспомнил, сказал:

— Ну что ж вы здесь сидите? Проходите, проходите!

Я вошел вслед за ним. Он снял пальто и кепку. Так вот он какой, Твардовский! Высокий, тонкий, прямой, красивый, хотя то, что он красивый, я знал по портретам, а то, что он высокий, помнил по статье Суркова, напечатанной в «Литературной газете» к 50-летию Твардовского. Мне вот что вспомнилось: когда-то, очень давно, в какой-то статье Белинского я прочитал, что писателя полюбишь только тогда, когда полюбишь глядеть на его портрет. Это целое занятие, равное чтению, перечитыванию, глядеть на портреты, на фотографии Есенина, Маяковского, Твардовского, Ольги Берггольц и многих-многих других. Фотографий Твардовского, вырезанных из газет, у меня много, я храню их, и среди снимков есть один особенно интересный. Это вроде и не фотография, а картина, создание художника: Твардовский стоит в высокой траве перед обгорелым стволом, стоит с обнаженной головою, в шинели нараспашку, стоит задумчивый и грустный, а вокруг поле, только поле. Приведу полностью надпись: «Этот снимок был сделан в сентябре 1943 года. Только что Советская Армия выгнала немцев со Смоленщины, родины Александра Трифоновича Твардовского. Деревня Загорье была полностью уничтожена. Много односельчан Твардовского погибло, а те, кто остался в живых, ютились в темных, сырых землянках. С радостью встретили жители Загорья своего земляка поэта: угощали, чем могли, рассказывали обо всем... Там, в Загорье, я и сфотографировал Александра Трифоновича.

В. Аркашев, бывший фотокорреспондент газеты «Красноармейская правда».

Эта фотография могла бы лечь в основу картины, место которой в Третьяковской галерее. Впрочем, может, это уже и сделано, я не знаю.

Но я перебил сам себя. Бросив на кресло пальто и шапку, я вошел вслед за Твардовским в его кабинет. Какой-то маленький, ниже меня ростом, сухонький и седоватый человек внимательно и с явным недоумением посмотрел на меня и, наверное, подумал: «Кого это Александр Трифонович так почтительно ведет к себе, уж не знаменитость ли какую?!» Да, думаю, знаменитость, пусть хоть на минутку в чьем-то представлении побуду знаменитостью, и то хорошо! Пусть

тот человек после скажет разочарованно: «Ах, вон что! А я думал...»

То-то же, все же думал!

Твардовский понимал, что я волнуюсь, и, видно, затем, чтобы дать мне несколько прийти в себя, удалился в другую комнату. Оставшись один, я осмотрелся. На стенах несколько портретов, нарисованных карандашом, из которых я узнал только Шолохова. Но вот Твардовский входит и садится на свое рабочее место.

— Александр Трифоныч! Я не знаю, как начать! Ну, да как начну! Вот я вам принес свою поэму, напечатанную поэму! Не потому, что считаю ее чем-то значительным, а просто как предлог, чтоб вас увидеть!

Тут я, пожалуй, и неплохо сказал.

— Вот я начинал с прозы, писал рассказы, а под старость — стихи!

— Это бывает,— сказал он.— Да вы садитесь!

— Эта поэма,— продолжаю я стоя,— выходит в издательстве «Советская Россия» отдельной книжкой. И, кроме того, рассказ размером с ваших «Печников»! Александр Трифоныч! Я прошу вас, поставьте вот здесь свою подпись!

И я положил перед ним второй том его стихотворений и поэм, изданных в 1957 году,— там на первом листе под обложкой я, в то время не мечтавший о возможности встречи с Твардовским, записал строки известного письма Бунина к Телешову — отзыв о «Теркине».

— Вот, говорю, Александр Трифоныч, я это выписал шестого октября 1957 года и был так рад этому, как будто меня похвалили!

— Спасибо за добрые чувства! — сказал он.

— И прошу вас — поставьте вот тут ваш автограф!

Но автограф он не поставил, а выдвинул ящик стола, за которым сидел, достал только что вышедшую книжку «За далью — даль» и надписал мне.

— Да вы садитесь, садитесь!

Но я, не отказываясь словами от приглашения и прижимая к груди «За далью — даль», ретируюсь задом к двери.

Он встал и провожает меня. Спросил:

— Сколько вам годочков-то?

— На два года старше вас.

Он помолчал, прикидывая.

— Ну что ж? Я вот стариком себя не считаю.

— Ну,— говорю,— кроме доброго здоровья и долгих лет, Александр Трифоныч, пожелать вам ничего не могу!

Он приподнял одно плечо, улыбнулся, сказал:

— Бог знает! В жизни все очень сложно!

— Ну! — сказал я, стоя уже за порогом, по эту сторону двери.

— Ну! — сказал он, оставаясь за порогом по ту сторону двери.

Как на крыльях летел я по улице Горького. Смешно, но мне казалось, что меня сейчас никакой автобус не задавит! Перескочит через меня!

Когда Чехов подарил Горькому часы, Горький писал кому-то в шутку: «Мне хотелось кричать: «Да знаете ли вы, черти, что Чехов подарил мне часы!»

Не ручаюсь за дословность. Вот и у меня было такое же состояние. Да знаете ли вы, и вы, и вот вы, знаете ли вы, что Твардовский — да, вы не ослышались! — Твардовский подарил мне «За далью — даль» с надписью: «Михаилу Павловичу Кубышкину от автора. А. Твардовский».

В ту пору я писал что-то вроде поэмы — рассказ в стихах о том, как шла электрификация Транссибирской магистрали, где я работал землекопом. Копали котлованы для опор. И вот небольшой отрывок я послал Твардовскому. Он ответил мне хорошим, доброжелательным письмом, указывал, как над стихами поработать, но журнал «Сибирские огни» принял эту поэму целиком и печатание отрывка в «Новом мире» не состоялось.

Михаил Исаковский в своей повести «На ельнинской земле» пишет: «В то время мне даже и в голову не приходило, что каждое стихотворение... кто-то придумал, кто-то сочинил. Казалось, что они возникли и существуют сами по себе,— ну, например, как возникли и существуют речка или лужайка. Может быть, они даже и не возникали, а существовали всегда».

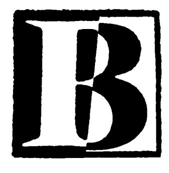
Так вот, мне каждая строфа «Страны Муравии» и «Василия Теркина» кажутся такими: да неужели их кто-то придумал, сочинил? И тут я вспоминаю строки А. К. Толстого:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку!

И вот то, что носилось незримо, пойманное глазом, подслушанное ухом гения, будет вечно. Таковы необъяснимые, дивные, изумительные строфы Твардовского.

Болотное, 1972

«СЛЕЗАМ НУЖНО ВЕРИТЬ...»



сентябре 1961 года в Воронежское отделение Союза писателей на имя критика Анатолия Михайловича Абрамова пришла телеграмма: «НАПИШИТЕ ДЛЯ НОВОГО МИРА РЕЦЕНЗИЮ НА КОСТЕР ЖИГУЛИНА ЗПТ ПЕРЕДАЙТЕ АВТОРУ МОЮ ПРОСЬБУ ПРИСЫЛАТЬ НОВЫЕ СТИХИ — ТВАРДОВСКИЙ».

Нечего и говорить, сколь радостно было для меня содержание телеграммы. Речь шла о только что вышедшей тогда в Воронеже моей книге «Костер-человек». Стихи я послал по почте, а 4-го ноября сам приехал в Москву и пришел в редакцию журнала.

Только что закончился XXII съезд КПСС. Твардовский был в связи с этим очень занят, спешил, как мне сказали, на какое-то важное совещание, но, узнав, что я приехал из Воронежа, принял меня. Первые слова Твардовского меня несколько удивили. Он внимательно присмотрелся ко мне и сказал:

— Вид у вас болезненный, но глаза веселые, живые. Верю, что вы выздоровеете!

Уже после я сообразил, что это, вероятно, Абрамов писал Твардовскому о моей болезни. Александр Трифонович попросил меня рассказать о себе, заинтересовался подробностями моей трудовой биографии. Читая стихотворение «Хлеб», в котором говорилось о работе на лесосеке, он спросил:

— А что, действительно была такая норма — двадцать кубометров?

Я объяснил, что норма выработки при валке леса зависит от многих условий — от диаметра и породы деревьев, от пилы (лучковая или двуручная) и даже от погоды.

— А вот у вас строка: «Под крики «бойся», брань и смех...» Что это значит «бойся»?

Я объяснил, что так кричат вальщики при падении дерева, чтобы предупредить об опасности. Твардовский несколько раз повторил, как бы удивляясь непривычному оттенку слова:

— Гм... Бойся!.. Бойся!.. Это слово хорошо бы поставить в конце строки!

Читая «Полярные цветы», Твардовский отчеркнул строфу:

И разом ахнули ребята,
Нажал водитель на педаль:
Была светла и розовата
От тех цветов глухая даль.

— Не мне об этом говорить,— сказал он,— но это же Твардовский!..

Читая стихи, Александр Трифонович удивительно точно и сразу находил в них места, где хоть в малейшей степени нарушалась гармония, где стихотворная строка не соответствовала естественному движению внутреннего чувства. В моем стихотворении «Земля» рассказывалось о рытье котлована, об упорном сопротивлении земли, скованной мерзлотой: «Мы сначала снимали твой снежный покров. Кисти мерзлой брусники алели, как кровь. Корни сосен рубили потом топором и тебя обжигали горячим костром...» Начальный вариант заканчивался так:

Наконец ты сдавалась,
Дымясь и скорбя.
Мы ведь люди, земля!
Мы сильнее тебя.

Ты обиду на нас
В глубине не таи:
Мы ведь люди, земля,
Мы ведь дети твои.

Стихотворение Твардовскому понравилось, но последнюю строфу он ударил беспощадно.

— Это нехорошо! Если вы дети, то земля — мать. А вы ее били-колотили, жгли костром. Да еще после этого говорите: не обижайся, мол, на нас — мы ведь твои дети!

Говорят, Твардовский в жизни бывал порою суров и даже резок, в частности в отношении к молодым поэтам. Допускаю, что в этом есть небольшая доля истины, идущая от высоких требований поэта к стихам. Но мне всегда открывался в нем прежде всего человек добрый, участливый, готовый помочь. Сейчас понимаю, как много значили для меня даже нечастые общения с Твардовским, и для моего творче-

ства, и даже — не побоюсь сказать — для окончательного формирования моего мировоззрения. Не говоря уж о самом прямом участии Твардовского в моей судьбе (он хлопотал об устройстве меня в московскую больницу, звонил хирургу, который меня оперировал).

Для понимания одной очень важной, а может быть, и главной черты Твардовского (и человека, и поэта) значителен, на мой взгляд, следующий эпизод. В одну из встреч я показал ему свое стихотворение, в котором обыгрывалась старинная поговорка «Москва слезам не верит». В стихах говорилось о нелегких жизненных испытаниях, об их преодолении. Заканчивались они словами:

Я сам теперь не верю в слезы,
Я верю в мужество людей!

Стихи понравились Твардовскому — деталями и эмоциональным напряжением,— но лобовое окончание его не устроило:

— Перепишите конец! Сделайте его теплее, тоньше, человечнее. Знаю, что это трудно, но попробуйте раскалить, расплавить себя до того состояния, в котором писали... Зачем эта твердокаменность: «Не верю в слезы»! Слезам нужно верить...

Стихи я переписал. Они были приняты в журнал. Нынче, перечитывая Твардовского и вспоминая этот разговор, я особенно ощущаю важное свойство его лирики: обостренное чувство совести, чувство долга и какой-то необыкновенной сопричастности к чужой боли.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,—
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Сколько здесь подлинного, щемящего человеческого чувства, в этих удивительных словах, в этих «все же, все же, все же»! Здесь — сама обнаженная душа.

Есть у Твардовского замечательный, пронзающий сердце цикл стихов, посвященный памяти матери. В одно из этих стихотворений вкраплены слова старинной народной песни. Все-то было чужое в далекой тайге.

В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей.
Даже снег визжал больнее
Под полозьями саней.
Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.

Были эти на край света
Завезенные слова.
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Все-то было чужое. А вот песня родная была! И она помогла людям. В песне-то была душа народная. Вот эта бессмертная, вечная душа народа живет и в стихах Твардовского. Это и делает его подлинно народным, великим поэтом.

1972

ХАРАКТЕР ПРЯМОЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ



Я слышал, конечно, о поэте Твардовском и до войны. Но моя жизнь в 30-х годах сложилась так, что ни книг, ни журналов, ни газет я не видел. Только с первого года войны я получил возможность читать, что мне хотелось. «Василия Теркина» читал по мере печатания глав. Эта «Книга про бойца» полюбилась сразу. Не могу себя назвать усердным читателем поэзии: всегда был слишком занят своим делом — военным. Но я не пытаюсь судить о стихах как знаток. Для меня хороши те стихи, которые заставляют невольно раскрыть свой слух, полностью отдать им внимание, принимать их сразу и чувством, и умом.

С малых лет мне случилось жить среди крестьян, мастеровых и солдат (как говорится, «в гуще народа»). Меня поразило, как правдиво Твардовский пишет о народе. Он-то сам его знал. Как-то раз он сказал в разговоре, что «народ — море, в нем всякая тварь водится» и что многое вредное для народа зарождается в нем самом. Но знание народа можно увидеть больше всего в том лучшем, что увидел в народном характере Твардовский, о чем так правдиво и глубоко пишет Твардовский. Все просто, а сколько ума в солдате Василии, сколько в нем широты. И самые суровые испытания не могли его ожесточить, не заставили его зачерстветь.

Все войны, в которых мне пришлось участвовать,— от первой мировой и до второй мировой,— весь фронтовой опыт дает мне право сказать, что Твардовский понял народ на войне, его человеческие стремления, его особенную любовь к таким людям, как Василий Теркин. Фронтовику дороги такие товарищи, как он,— веселые, но не легкомысленные, способ-

---

Печатается с сокращениями.

ные в самую тяжелую минуту поддержать дух друзей, высмеять грозного врага, подшучивать в затейливых побасенках над приунывшими товарищами, не щадя в шутке и самого себя. Такие люди, как Теркин, действуют отважно и разумно. Они сражаются «ради жизни на земле» и во время боя отдаются ему без других мыслей, кроме одной — как победить? Когда случается передышка, они умеют полностью отдаться отдыху, помогают своей бодростью и другим совладать с усталостью, вернуть себе радость жизни.

Еще одно привлекло меня в «Книге про бойца». Я был всегда строгим, требовательным, когда дело касалось воинской дисциплины. Я ценил дисциплинированных подчиненных. Но, может быть, потому, что сам я был с 1912 года рядовым солдатом и становился командиром, не перескакивая ни через одну ступень, начиная с гражданской войны и после нее, от меня не укрылось различие между теми людьми, которых всех можно считать дисциплинированными. Хороши те из них, которые не стараются «угодить начальству», а сохраняют достоинство и, уважая начальника за его старшинство по службе, много больше уважают его за умение воевать, бить врага и беречь своих людей. Такие военные лучше всех и для боевого дела, и просто как люди. Василий Теркин — образец такого бойца. В его дисциплине есть свобода, инициатива, он смело принимает свои решения. Обстановка в бою часто складывается неожиданная, всего командир предусмотреть не может. И счастье его, если среди его солдат есть Василий Теркин. В конце концов, достоинство человека как человека и его достоинства как военного должны были бы совпадать. Не всегда так бывает. Честность Теркина — черта его как человека; он честен и как боец. Он хитрит с врагом, он и среди своих себе на уме, лукав и тонок. Но не лжет своим, обманывает только врага. Никто не заставит его признать неправду правдой или по своей воле перемешивать правду с неправдой и выдавать смесь за чистую правду. Тем меньше может он признать неправду правдой ради своей выгоды.

Вспоминая о встречах с Твардовским, я считал необходимым начать с того, как я встречался с его произведениями. Когда я читал во время войны «Книгу про бойца», это была моя первая встреча с Твардовским.

Мне надо немного отклониться, чтобы поделиться одним воспоминанием. В 1943 году у нас в Третьей армии побывали писатели, среди них Борис Леонидович Пастернак. Он нам понравился своим открытым нравом, живым и участливым отношением к людям. Его стихов я тогда не знал совсем, мало знаю и сейчас, и те, которые знаю, мне не близки, хотя верю, что они талантливы. Нам ясно было, что Пастернак человек совсем другого происхождения, другой жизни, дру-

гих литературных взглядов, чем Твардовский. Однако при всем этом он с такой искренностью восхищался «Василием Теркиным» и так интересно говорил о значении этой книги, что мы его и за это полюбили.

Мне придется кое-что сказать о своих собственных делах. Я воевал счастливо. Особенной моей удачей было, что можно было быть на войне вместе с моей женой. Кроме тех лет, когда я был с ней насильно разлучен, мы всегда были вместе, оставались вместе и на фронте. Меня немного удивляла старательность, с которой она и тогда, и после собирала документы, которые допустимо было иметь у себя, записки, письма и прочее, в чем могла запечатлеться память о моей фронтовой жизни. После войны оказалось, что в моем распоряжении есть целый архив. Так она меня вплотную подвела к мысли написать воспоминания. Я поверил, что они могут быть интересными не только мне и моим близким. Раз начав такую работу, я по привычке всей жизни продолжал ее. Главным стремлением было писать так, как дело было,— так, как помню. Я не писатель, у меня никогда не было желания писать романы, повести, рассказы. В воспоминаниях, если бы я попытался что-то выдумать, у меня вышло бы просто неправдиво. Это было бы неуважением к читателю и к самому себе.

Но где их печатать? Твардовскому, автору «Василия Теркина», дать на прочтение рукопись мне хотелось, хотя я не был уверен, что он признает ее годной для печати. Если бы даже мы не сошлись и я остался бы при своем мнении, мне все равно важно было мнение человека, которому я доверял больше, чем кому-либо из литераторов.

1963 год был для меня решающим.

Объемистая рукопись была мною переписана набело, я сам отнес ее в редакцию, дал прямо в руки Александру Трифоновичу.

Первое впечатление убедило меня в том, что личные качества этого человека верно и точно отражались как в его сочинениях, так и в его поведении.

Он говорил любезно, держался просто и радушно, в его речи и манерах не было ничего преувеличенного, нарочитого. Он был таким, как был. Я подумал, что он, наверное, такой же и наедине с собой, и когда работает над своими сочинениями. Слушая меня или говоря сам, он по временам ненадолго задумывался, как будто уходя в себя, обдумывая услышанное. Не столько для того, чтобы выбрать более красивые слова для ответа, сколько для того, чтобы сосредоточиться на существе разговора. В таких минутах было большое внимание к собеседнику, самое серьезное желание его верно понять. Понравилось мне, что Твардовский ничего не

обещал, кроме того, что прочтет рукопись сам и даст читать своим товарищам. Записал телефон, адрес, обещал сообщить.

Позднее я узнал, что когда он предложил члену редколлегии И. А. Сацу читать эту рукопись, тот сперва отказался, потому что думал, что если автор генерал армии, так он не сам это написал, а кто-нибудь из литераторов, из журналистов. Твардовский вместо уговоров раскрыл папку, показал рукопись, обличавшую непрофессионала, и по этому поводу ему больше спорить не пришлось.

Недели через две после нашей встречи Александр Трифонович спросил меня по телефону, когда я могу к нему зайти. Я живу недалеко от Пушкинской площади (у Никитских ворот) и сейчас же пошел в «Новый мир». Это была вторая наша личная встреча, она была долгой и уже совсем открытой и сердечной. Таким был Александр Трифонович как редактор. Сперва надо прочесть. А прочитав или хотя бы просмотрев рукопись, он составлял себе основательное мнение о возможностях автора и о том, кто он таков. В рукописи, в книге Твардовский мог разглядеть не только искренность автора, а еще и то, насколько он дельный (это его слово). И если считал писателя дельным, становился другом и рукописи, и автора. Мне было радостно слышать, как точно он помнит многое, даже в подробностях, из того, что мне было дорого самому. У него была необыкновенная чуткость, в ней был талант человеческий и литературный.

Работа над рукописью продолжалась несколько месяцев. Несогласий с редактором, которому Александр Трифонович поручил работу, И. А. Сацом, не было. На своем опыте я убедился, что когда главный редактор Твардовский, автору в его редакции не навязывается ничего, что ему было бы чуждо, а ему помогают очистить рукопись от всех примесей, которые затемняют мысль.

Впрочем, случались споры,— вернее, случился спор, но не со мной, а между главным редактором и редактором. Об этом споре стоит вспомнить потому, что и в таком незначительном случае проявилась какая-то черта Твардовского. Доверяя И. А. Сацу, Александр Трифонович прочел текст моих воспоминаний после редактирования только в верстке. Прочитав, расстроился и рассердился: ему показалось, что редактором «вещь испорчена». Александр Трифонович считал, что не надо было сохранять принятую мною хронологическую последовательность изложения. Редактор был другого мнения, он не хотел ничего существенного в строении рукописи менять и главной задачей при редактировании считал сохранить ощущение подлинности, чтобы ее восприянял читатель. Произошла размолвка. Воспоминания мои были напечатаны в том порядке, в каком они были изложены у меня. Редакция получила много писем, имелись среди них и

ругательные, но несравненно больше одобрительных. Один из корреспондентов, сам «новомирский» автор, адмирал Исаков, прислал автору дружеское и приветственное письмо. То же сделали К. И. Чуковский и С. Я. Маршак. Вскоре после этого у меня были Александр Трифонович, В. Лакшин, И. Сац. Александр Трифонович заговорил о том, какая удача для журнала опубликование моих воспоминаний. И вдруг вопросительным и почти просительным тоном обратился к И. Сацу: «Скажи, а ведь все-таки можно было сделать и так, как я говорил?» — «Нельзя»,— ответил Сац и засмеялся, и все засмеялись: с таким простодушием, почти по-детски, Александр Трифонович задал свой вопрос. Александр Трифонович смеялся со всеми от души, потому что когда и бывала и у него размолвка или стычка с друзьями, дружба оставалась прежней. Вот эта душевная чистота, детская простота сильного и мужественного человека, многому знающего цену,— это тоже Твардовский, каким я его знал.

Когда в Доме журналиста отмечалось 40-летие журнала «Новый мир», Александр Трифонович усадил меня рядом с собой за «президентским» столом, рядом со мной был автор «Нового мира», инженер-изыскатель Побожий, по другую сторону Александра Трифоновича сидела писательница-инженер Грекова, потом писатель-агроном Троепольский. Других не помню. Александр Трифонович — разумеется, не нарочно — этим приглашением за свой стол все-таки показал еще одну свою черту: он как-то особенно ценил людей, пришедших в литературу через его журнал после практической (или во время практической) работы, имея более или менее серьезный жизненный опыт.

Могу добавить лишь: мне посчастливилось на моем веку видеть мужественных людей, героев. И лучшим из всех виденных героев, самым настоящим героем я считаю Александра Трифоновича Твардовского. Как коммунист, как человек, как поэт, он брал все на себя и бесстрашно отвечал за свои честные партийные взгляды.

1973

И. С. МАРШАК

ТВАРДОВСКИЙ И МОЙ ОТЕЦ

Как говорит старик Маршак:
Голубчик, мало тяги...

А. Твардовский,
«Не много надобно труда...»

Прославленный Василий Теркин твой
Не может быть никем повышен в чине.
А почему? По той простой причине,
Что он по самой сути рядовой.

С. Маршак, «Лирические эпиграммы»



емало воспоминаний и литературных исследований посвящено каждому из них. Но больше четверти века они были близкими друзьями, существенно влияли друг на друга. Каждый из них хорошо сознавал и высоко ценил значение другого — настолько, что счел своим долгом на склоне лет, в перегруженное другими работами и замыслами время, не пожалеть труда и достаточно подробно об этом значении написать. Маршак в 1961 году опубликовал большую работу о поэзии Твардовского, которая была издана отдельной книгой. Твардовский написал при жизни Маршака статью о его переводах, а после его смерти краткое предисловие к посмертной журнальной публикации одного из лирических циклов Самуила Яковлевича и обширную статью для восьмитомного собрания его сочинений.

Моего отца ко всем близким ему по духовному складу выдающимся поэтам привязывала настоящая, большая любовь. И начиналась эта любовь так, как всякая большая любовь начинается на земле: он воспринимал ее как величайший дар судьбы, бесконечно радовался этому дару, многие дни буквально им жил. Каждого близкого человека старался он в это время приобщить к созерцанию новой, открывшейся ему великой красоты, каждому гостю читал (обычно наизусть) особенно полюбившиеся ему строки, для каждого слушателя — выразительным чтением и меткими характеристиками — старался сделать доступным содержащиеся в них находки (эти характеристики, рожденные в пылу горячей

беседы, закреплялись в его памяти, он продолжал их шлифовать на протяжении жизни, многие из них легли у него на бумагу в поздних заметках о мастерстве или в лирических стихах).

В тяжелый для отца 1937 год, год его 50-летия и первый год после смерти его старшего друга — Горького, он как-то приехал из Москвы с новым запасом разнообразных по ритмам, настроениям и раздумьям стихов, которые в упоении читал каждому приходившему к нему литератору, товарищам по редакции, всем близким людям:

...Далёко стихнуло село,
И кнут остыл в руке,
И синевой заволокло,
Замглилось вдалеке.

И раскидало конский хвост
Внезапным ветерком.
И глухо, как огромный мост,
Простукал где-то гром...

...Большаком по правой бровке,
Направляясь на восход,
Подпоясанный бечевкой,
Шел занятный пешеход...

...— Тут селедочка
Была, была, была,
Что молодочка
Дала, дала, дала...

Тут и соточка
Лежит — не убежит...
Эх, ты, сукин сын,
Камаринский мужик!..

И, бесконечно повторяя эти и другие строчки, отец с любовью рассказывал про свою встречу в Москве со статным, красивым двадцатишестилетним поэтом, еще недавно крестьянским юношей, написавшим удивительную поэму. То был рассказ о вновь вошедшем в литературу человеке. Но в словах отца не чувствовалось ни малейшей снисходительной нотки, умиления молодостью «начинающего автора», выдачи ему восхищения «авансом» — он говорил о нем как о зрелом мастере, достойном и выдающемся литературном деятеле, не делая никаких скидок. А вскоре к нам в квартиру на углу улицы Пестеля и Литейного приехал сам автор поэмы — большеголовый и светловолосый, с открытыми бледно-голубыми глазами, строгими, но простыми повадками, тихим, то низким, то высоким голосом и радующей душу улыбкой, еще больше раскрывавшей его глаза и собиравшей нотную линейку морщин на лбу.

Два высоких окна, выходивших на полный трамвайного грохота и звона Литейный проспект, между ними, поперек проема,— большой, заваленный рукописями стол, длинные боковые стены, скрытые книжными полками. За столом усталый, но счастливый отец, а в приставленном к столу глубоком кожаном кресле молодой гость.

В те первые годы больше говорил отец, а Александр Трифонович слушал. Речь шла о поэтическом мастерстве — о звучании слова, прозе в поэзии, плохих и хороших рифмах,— что потом вошло в книгу «Воспитание словом». Отец читал на память отрывки чуть ли не из всех русских поэтов, давал возможность послушать музыку английских стихов, обращался к эпосу, фольклору, поэтам древности. Приходят близкие друзья отца по редакции, ленинградские писатели, артисты, художники — всех он спешит познакомить с новым большим поэтом, просит его вновь и вновь почитать «Муравию», спеть запомнившиеся на всю жизнь в его исполнении народные песни:

Ой, во поле ружа расцвела,
Ой, во поле ружа расцвела.
Ймела я мужа, мужа я ймела,
Ймела я мужа-пияка.

Или:

Сел на лавку, думал-думал —
Нет, не приголубит.
А и приголубит, да не поцелует,—
Сел на лавку, думал-думал —
Нет, не поцелует...

С тех пор Твардовский уже всегда незримо присутствовал в доме Самуила Яковлевича — так же, как и сейчас он там, вместе с хозяином дома, хотя их обоих уже нет не только там, но и нигде (помните: «Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье...»). Я это сперва засвидетельствовал со стороны, а уже потом нашел в их переписке такие строки:

«Ни на минуту все это время не забываю о Вас, мой дорогой друг...» — писал отец Александру Трифоновичу из Крыма в Москву 9 ноября 1938 года.

«Дорогой Самуил Яковлевич! Дорогой не для проформы, а действительно дорогой. Всякий раз, как ты уезжаешь, либо я — всякий раз — и с каждым разом все острее — чувствую это: дорогой ты человек, Самуил Яковлевич! И не для одного меня. Только для меня особенно. Настолько я привык жить и думать вместе с тобой, что просто безлюдно становится, когда тебя нет...» (из письма А. Твардовского от 22 ноября 1940 года).

Все эти фразы приобретают особенную значимость, если

вспомнить, что оба поэта терпеть не могли напыщенности и высокопарности и предпочитали в проявлении чувств сдержанность и простоту.

Со дня их знакомства до смерти Самуила Яковлевича прошло двадцать семь лет. В книжных шкафах отца около трех десятков книг с дарственными надписями Александра Трифоновича, в архиве на улице Чкалова десятки его писем и телеграмм. В последнее время этот архив пополнился копиями писем и дарственных надписей Маршака, сохранившихся в архиве Твардовского.

В конце 1937 года Ленинградское отделение Детгиза, редакцией которого руководил Самуил Яковлевич, распалось, сам он подвергся жестокой «проработке». После многих лет отчаянной гонки, чуть ли не круглосуточной работы с авторами, борьбы за новые и новые книги и направление «большой литературы для маленьких», создания всесоюзного издательства вдруг наступила тишина, в которой никуда не нужно было спешить, не к чему было приложить кипучую энергию. Вместо непрерывных звонков по телефону и вереницы приходивших в дом авторов, множества общественных обязанностей — мертвящее спокойствие. Отец заболел — совершенно потерял сон, не мог есть, впал в тяжелую депрессию. Физиолог и врач, ученик И. П. Павлова, академик А. Д. Сперанский, близкий друг отца, а впоследствии и друг Твардовского, перевез Самуила Яковлевича в Москву и поместил его в нервную клинику больницы на Щипке. Сохранилось письмо моей матери к Александру Трифоновичу, написанное в 20-х числах декабря 1937 года:

«Уважаемый тов. Твардовский, Самуил Яковлевич Маршак получил Ваши стихи и очень благодарит за них. Самуил Яковлевич сейчас в Москве, болен, находится в больнице им. Семашко и был бы очень рад повидать Вас. Хорошо, если бы Вы могли зайти к нему 24-го или 25-го с. м. часа в 4 дня...»

И Твардовский пришел — с гостинцем, завязанным по-деревенски в платочек, и с добрым, мудрым участием, столь необходимым отцу в то время. И стал у него бывать часто, слушал его написанные в больнице переводы из Бернса, его заметки в прозе (отец тогда, в частности, записал рассказ медсестры больницы, которая когда-то ухаживала за Лениным), читал ему свои стихи, рассказывал о деревне, о товарищах по филологическому факультету, на котором учился, шутил. И всем этим немало способствовал физическому и душевному выздоровлению Самуила Яковлевича. Дружба между ними стала тогда более простой и человечной, им уже стало нужно постоянно общаться друг с другом, знать, чем другой занимается.

В конце ноября 1938 года отец окончательно перебрался

в Москву, получив квартиру на улице Чкалова (тогда Земляной вал). А вскоре Александр Трифонович поселился в новом доме на улице Горького. Оба они стали еще чаще бывать друг у друга.

Зимой 1939—1940 годов шли тяжелые бои на линии Маннергейма. Александр Трифонович провел финскую кампанию на фронте и часто бывал в Ленинграде. Туда же на довольно продолжительный срок приехал Самуил Яковлевич. Они вместе подолгу беседовали в госпиталях с ранеными (из этих бесед родилось их единственное совместное произведение — большой литературный очерк «Герой и его мать», о революционной юности Героя Советского Союза генерал-майора танковых войск В. Н. Кашуба, о его семье и о его участии в последних боях, в которых Кашуба потерял ногу). Вместе они сотрудничали в красноармейской газете Ленинградского военного округа «На страже Родины». Собирательный образ Теркина, так развитый потом Александром Трифоновичем в его бессмертной поэме, был тогда общим героем ленинградской поэтической бригады (о нем писали и Твардовский, и Тихонов, и Маршак).

Я встречал их обоих в ту пору в ленинградской гостинице. Помню превращенный в столовую ресторан «Европейской», в котором подавали только рыбные котлеты с пюре, помню Александра Трифоновича в военной гимнастерке, кажется, со шпалой — деловитого, грустного и веселого. Запомнился его устный рассказ о какой-то встрече в армейском штабе: сначала возглавил трапезу любивший выпить генерал-майор, и все ее участники тоже показывали себя мастерами в этом деле; потом пришел генерал-лейтенант, употреблявший только нарзан, и за столом установился трезвенный дух; наконец, явился генерал-полковник, обругал воду, и все снова перешли к водке. Мой отец очень смеялся, слушая Твардовского.

В совместной работе, в тесном общении они начали говорить друг другу «ты». И в это же время стало сильнее проявляться влияние не только старшего поэта на младшего, но и младшего на старшего.

Весной 1941 года состоялось первое награждение Сталинскими премиями. Твардовскому была присуждена премия первой степени за «Страну Муравию». Александр Трифонович вышел в первый ряд деятелей советской культуры. Самуил Яковлевич поехал поздравить Александра Трифоновича в утро объявления о награде, взяв с собой обоих своих сыновей — меня и шестнадцатилетнего Якова. Встреча была простой и трогательной — с чтением стихов, веселым разговором, кажется, с пением тех же народных песен. В то последнее, предвоенное полугодие оба поэта были очень близки — их связывали борьба за высокую литературу, общие

дела. В записке без даты (начало 1941 года), посланной отцу в подмосковный санаторий, Александр Трифонович писал: «...Собираюсь приехать к тебе, о многом поговорить, посоветоваться... Пишу, перевожу (Франко), немного читаю. Очень любопытствую, что ты насочинил там...»

На протяжении Великой Отечественной войны они встречали друг друга редко. Различие возраста и здоровья сразу определило разницу их участия в ней: Александр Трифонович всю войну провел на фронте, иногда на самых тяжелых его участках (он, например, чудом вышел из окружения под Каневом весной 1942 года); Самуил Яковлевич, хоть и выезжал несколько раз для встреч с бойцами на фронт, основное время прожил в затемненной и холодной Москве. Но оба они достойным образом участвовали в общенародной борьбе с лютым врагом с помощью свойственного им оружия.

Из Отечественной войны Маршак и Твардовский вышли с глубокими душевными ранами, изнуренные работой, постаревшие, но еще более профессионально окрепшие, с новым опытом и новыми замыслами.

Хорошо помню щемящую тишину в кабинете отца, когда Александр Трифонович кончил читать звучавшие как реквием только что написанные строки «Я убит подо Ржевом...» и «В тот день, когда окончилась война...».

Это были проникновенные стихи, достойные великой темы. Таким был и «Василий Теркин», и опубликованная к тому времени поэма «Дом у дороги». Все это Самуил Яковлевич запомнил и полюбил ничуть не меньше «Страны Муравии».

Наверно, я не ошибусь, сказав, что все главные свои вещи каждый из двух поэтов проверял, читая их другому. Между ними уже не было и следа отношений учителя и ученика — их встречи казались похожими на то, как, по моим представлениям, встречались люди в платоновской Академии, в академии Лоренцо Медичи или — зачем ходить далеко,— скажем, в некрасовском «Современнике».

К началу 1956 года относится одна особенно врезавшаяся в память встреча моя с Александром Трифоновичем. Отец серьезно заболел в Крыму — я поехал за ним и привез его в Москву в плохом состоянии. Крымские врачи заподозрили у него туберкулез легких, а в московской больнице, куда его положили на лечение и обследование, консилиум виднейших медиков поставил еще более мрачный, сообщенный мне одному диагноз — рак легкого, не подлежавший никакому лечению (ни хирургическому, ни радиологическому) ввиду общей ослабленности организма. Сразу из больницы я поехал к Твардовскому,— только с ним мог я поделиться этой камнем легшей мне на сердце тайной. И Александр Трифонович разделил со мной горе по-братски — провел со мной несколь-

ко часов, разговаривал в моем присутствии с разными влиятельными людьми о принятии возможных медицинских мер, старался как-то отвлечь мои мысли (впоследствии тот категорический диагноз был подвергнут сомнению, а состояние отца значительно улучшилось).

Примерно в то время я особенно задумывался над проблемой восприимчивости человека к вредному действию на его личность внешнего успеха (мне тогда самому приходилось подвергаться некоторому испытанию в этом отношении, поэтому для меня было небезразличным двустишие из переведенных отцом «Прорицаний невинности» Блейка: «Сильнейший яд — в венке лавровом, которым Цезарь коронован»). И я присматривался к «реакции на успех» других людей, в частности Твардовского. Конечно, в очень небольшой степени что-то в нем в те времена изменилось — какая-то снисходительность и мера «большими числами» по отношению к окружающим стала чуть-чуть чувствоваться. Но у него это было очень внешней, очень тонкой корочкой, сквозь которую любому человеку так легко было пробиться к чуткому, попрежнему восприимчивому, ни в какой мере не усыпленному сознанию. Пожалуй, только Александр Трифонович и Самуил Яковлевич из всех мне близко знакомых людей оказались благодаря их высокой духовности не восприимчивыми к «яду лаврового венка».

И еще одно качество Твардовского проявилось для меня в последние годы жизни моего отца особенно отчетливо — его бесстрашие и бескомпромиссность в делах, которые он считал ключевыми. Это его качество запало мне в душу вместе с советом, который он мне дал, когда я рассказал ему о ведущейся мной борьбе за направление порученного мне дела: действовать смело, так, чтобы было «либо пан, либо пропал». Я хорошо понимал, что говорит он это не для красного словца, а примерив мое положение к себе: он бы именно так поступил на моем месте.

В августе 1961 года на улицу Чкалова пришло удивительное по искренности, точности и выразительности письмо. Оно было написано тремя братьями, мать которых попала в заключение из-за недостачи в доверенной ей сельской лавке. Ребята писали, что им очень трудно без матери.

«Дорогой дедушка, а как мы вырастим большие, то за все отслужим, и за маму, что она должна отработать 4 года, и за Ваш труд, только не оставьте нас без мамы. Мы хотим учиться и учиться...»

Самуил Яковлевич был потрясен неизбывностью детского горя, наполнявшего каждую строчку этого письма, и тут же написал обращение в Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой о помиловании. Потом он показал письмо ребят и свое обращение Александру Трифоновичу. Твардовский был

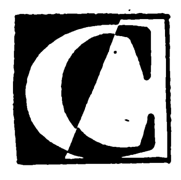
так же взволнован письмом и горячо присоединился к ходатайству Маршака.

Могу добавить, что мать была на основании их ходатайства помилована, а спустя десять лет сообщила мне, что три ее сына выросли достойными людьми, получили среднее образование, успешно служат в Советской Армии («...Ни один из них не курит, не пьет. Письма домой пишут регулярно, всегда перед праздником, на 8 марта, День Советской Армии, мы уже ждем поздравительные. А что же больше нужно матери и отцу, если их сыновей нет дома...»)

С. Я. Маршака постоянно окружали сменяющие один другого люди, он стремился быть ими окруженным. Должно быть, в каждом из них он находил частичный «резонанс», а совокупность окружения как-то воспринимала его духовное «излучение» в целом. Но как же дорог ему должен был быть человек, способный к резонансу не частичному, а почти всеобщему. Такими Твардовский и Маршак были друг для друга. То, что они встретились и более четверти века прожили вместе,— великое счастье.

1973

СТРОГАЯ МЕРА


олнце прикрывала склоненная голова опекушинского Пушкина, и лучи исходили как бы от нее самой. Мысль о какой-либо символике мне и на ум не приходила в этот миг,— просто я встал так, чтобы солнце не мешало глядеть на поэта: я был здесь впервые в жизни и, сам того не замечая, медленно обходил памятник кругом.

Наискось через площадь шла сюда старая женщина; приладив у подножья букетик, осторожно, как нянечка, поправила в нем подвернувшуюся головку цветка, беззвучно постояла и беззвучно отошла.

Я пришел без цветов. И признаюсь: так свободно, как эта женщина, не смог бы положить их перед Пушкиным, если бы они у меня и были...

За плечами поэта светилось слово «Россия». Так назывался кинотеатр, миновав который я попал в узенький да вдобавок — в связи с его ремонтом — загроможденный досками, землей и камнем Малый Путинковский переулок. С трудом пробрался к двери, куда мне выпало войти сегодня, 3 сентября 1964 года, в два часа...

На втором этаже показали другую дверь, с именем, видеть которое здесь, на дощечке, а не на книге, было непривычно: «А. Т. Твардовский».

Он явился не один — впереди себя на минутку пропустил в свой кабинет старенькую посетительницу. Приостановился, высокий, с чуть наклоненной головой. Назвав по имени-отчеству, убедился, что не ошибся в нем. А когда освободился, в дверях приглашающе слегка развел в стороны руки: пожалуйста. Пока он занимал место за своим редакторским столом, я непроизвольно произнес:

— Прежде всего спасибо за то, что я *здесь* стою...

Опускаясь в кресло, Александр Трифонович понимающе кивнул и, сразу же придав моему последнему слову более простой смысл, ответил:

— А вы... садитесь!

Все стало на свое место — я почувствовал Твардовского! Это и был тот самый человек, которого накануне один мой товарищ назвал: «Уважаемый в го-су-дарстве! Не забудь...» Хотелось ему ответить: «Прости, но ты не гид, а я не интурист». Однако что-то насторожило меня, даже вспомнились в тот момент строки:

И обычно надменно-белая
Маска замкнутого лица...

Здесь не было маски. Действительно белое лицо, не холеное: по нему прошло уже так много не замеченных мною сразу морщин, что оно казалось старее глаз — ясных и хватких.

Весь наш полуторачасовой разговор передать не намереваюсь — это весьма не просто.

Вначале Александр Трифонович сказал:

— Из полученных ваших стихотворений в нашем журнале десять.

— Я видел гранки... Почему подборку назвали «Ямбы»? Условно? Но ведь одно из десяти стихотворений написано хореем!

Он спросил свое:

— Вы что-нибудь литературное кончали?

— Нет.

— Слава богу... То, что вы идете от так называемой старой школы, хорошо. Но — ямб... Это, знаете ли, такая штука,— он напряженно согнул ладонь, как бы изображая сопротивляемость этого самого ямба и в то же время его классическую окаменелость — смотря по тому, кто и как этот стих использует.— Нынешним — иным — в таланте не откажешь: куда как хлещут ямбом! Но какой он у них?

Двумя пальцами Александр Трифонович поколебал крепко сидящую пуговицу на своем пиджаке.

— Я не люблю, когда она держится на одной нитке! (Свое мнение о такой поэзии он выразил почти этими же словами позже, в статье о стихотворениях И. А. Бунина, разумеется, не их сравнивая с пуговицей на одной нитке...)

Я уже только слушал.

— ...Вот вам иная — философская — поэзия сегодняшних: «существо — вещество — естество»!

Устало усмехнулся.

Я про себя только отметил: этих слов в моих отобранных «Новым миром» стихах, кажется, нет, но «существа-вещест-

ва» — от старой школы. А я иду от нее! Добро, что уже хоть не к ней, ощупью, по инстинкту, самоучкой...

Перед моим уходом он напомнил:

— Десять стихотворений (так цикл и назвали) — это, считай, полкнижки.

— А разве книжка из них,— я показал на лежавшие перед Твардовским в машинописи мои стихи,— разве книжка уже возможна?

— Отберите сами.

— А учиться надо бы...

— Точно. В деле.

Я уходил, приняв от него все свои стихи, кроме тех, десяти. Что я еще нес? Самое сущее — сознание того, что поэзия — дело и что я не ошибался раньше, определяя ее именно так: дело, большое и праведное. Смогу ли я убедить в этом окружающих меня людей? Много ли во мне самом этой праведности?

Я нес в себе тревогу. И до сей поры несу. В январе прошлого года — так недавно! — получил я от него письмо, короткое, предостерегающее от «академического спокойствия» в лирике. В конце слова: «Да вы сами с усами, а ученого учить — только портить».

Смотря кто учит...

Судьба дала мне встречу с одним лишь поэтом. Но им был Твардовский.

Воронеж, 1971

А. КОНДРАТОВИЧ

САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ



ри жизни Твардовского у ряда людей сложилось мнение о нем как о человеке замкнутом, недоступном, даже угрюмоватом.

Поводов для такого представления о нем Твардовский давал, конечно, немало. Если ему рукопись не нравилась, он говорил это без обиняков и невзирая на лица. Иногда даже было страшно слушать, что он говорит и кому говорит,— обычная житейская дипломатия как-то не давалась ему всю жизнь. Когда он появлялся на людях, высокий, невозмутимый, чуть ли не величественный, он и впрямь мог показаться недоступным, а когда, тоже на людях, он задумывался, уходил в себя,— а это бывало часто, даже на шумных собраниях,— то и тут, встретившись с его отсутствующим взглядом, могло показаться, что у него своя, замкнутая от других людей жизнь и проникнуть в нее нелегко. Да так оно и было, своя внутренняя жизнь — и еще какая! — была, мысль его постоянно и сосредоточенно работала над тем, что его волновало, только эта жизнь нисколько не была замкнутой. И не был он неразговорчивым, как раз любил поговорить; и не был недоступным, он с очень многими общался и переписывался, а скольких держал в памяти и о скольких вспоминал, а уж что касается мрачности, то ведь юмор, пронизывающий всю его поэзию, не одного «Теркина»,— это ведь его юмор, и какой хохот сопутствовал часто деловым и неделовым встречам, когда там находился Твардовский.

Один стереотип рождает другой, и вот уже спокойствие становится чуть ли не олимпийским, сильный характер превращается в ровный, а немногословие чуть ли не в равнодушие. И когда я говорю, что никогда Твардовский не был таким, что ему была свойственна повышенная, может быть,

даже чрезмерная эмоциональность, что за какой-нибудь час настроение у него менялось от взрывов ярости до упоенного, самозабвенного смеха и глубокая задумчивость буквально через минуту-другую выливалась в интереснейший монолог о чем-либо очень существенном в жизни или литературе, но тут же телефонный звонок — и уже Твардовский другой, веселый или закипающий от гнева, в зависимости от того, что ему говорят на другом конце провода; когда я говорю все это, то замечаю, что меня слушают с удивлением и некоторым недоверием: да Твардовский ли это?

Да, это Твардовский, реальный, нестереотипный. У меня есть записи нескольких дней, проведенных с ним, самых обычных редакционных дней, и они — штрихи живого Твардовского.

Беру наугад 8 июня 1967 года.

Вот когда он может показаться недоступным и холодным, как монумент,— это когда поднимается по лестнице на второй этаж, где расположен его кабинет. Крупный, грузноватый, он поднимается медленно, степенно. О чем-то думает. Увидев его, какой-то автор, оторопев, проскальзывает мимо него вниз и тут же останавливается и смотрит ему в спину,— наверно, видит его впервые. А он за две ступеньки до площадки останавливается. Не потому, что увидел меня.

— Болят? — спрашиваю я его, показывая кивком головы на его ноги, и он кивком отвечает: «Да, болят...» Больше спрашивать его не нужно: разговоров о болезни он не любит.

Тоже летом два года назад он неожиданно попросил меня приехать к нему на дачу: «Кладут в больницу. Не можете ли вы приехать, надо бы обсудить кое-какие дела». Я видел его последний раз дня три назад, он был весел, здоров, ни на что не жаловался. На даче он встретил меня, с трудом поднявшись из кресла. Ноги его были в теплых зимних носках и в калошах. «Что с вами?» — испугался я. «Ноги распухли,— сказал он спокойно.— В ботинки не влезают, пришлось вот калоши надеть.— И засмеялся.— Еле нашли эти калоши, кто же их теперь носит».— «Да что у вас все-таки?» — «Какой-то облитерирующий эндартериит. Курить, говорят, нельзя... И вообще говорят — надо немедленно ехать в больницу. Требуют даже расписку, что я сегодня поеду, грозят, что может начаться гангрена...» — «Как гангрена?» — «Да так... Ноги почернели и болят. Сильно болят». Он снял носок с одной ноги, и я ахнул: полступни лиловато-синие, темно-синие, черные, вся ступня опухшая. «Другая нога такая же?» — спросил я, вконец перепугавшись. «Да, и другая такая же. Вот и жду машину. А пока она не подъехала, давайте поговорим...»

В тот же день его увезли в больницу, а через несколько дней, заехав туда, я застал его за столом, он что-то писал, и в пепельнице было полно окурков. Перехватив мой взгляд, он с досадой махнул рукой на пепельницу: «Ах, это... Так все, что я писал,— писал с табаком. Куда уж теперь бросать...» И нашел оправдание: «Тут лежат с этой болезнью и некурильщики...»

С тех пор ноги у него болят часто, но он никогда не жалуется на боль, а если уж очень больно, встанет посреди дороги или, как сейчас, на лестнице, постоит минутку и тронется дальше. Но ведь за минуту боль не проходит...

В руках у него папка, обычная канцелярская папка, в которой он носит прочитанные рукописи, верстки и почти всегда письма. Почта у него большая и разнообразная. Ответы он пишет на аккуратных четвертушках бумаги, на листках отрывного календаря. Если письмо получается пространное, таких четвертушек оказывается много. И вообще писем бывает много, каждый раз не меньше десятка. К письмам он относится необычайно серьезно и часто недоумевает, почему в наше время ленятся их писать. «Вы уже говорили с автором,— спрашивает он иногда.— По телефону? И, наверное, рукопись отослали без письма? Ну, как же так?» — и в голосе явственная укоризна. Сам он отвечает на рукописи обстоятельно, размышляя, цитируя, советуя. Таких писем многие сотни. Ни один из сотрудников редакции не пишет их столько, сколько он. И еще сотни всякого рода деловых бумаг. Он никогда не подписывает подготовленных кем-то текстов, даже деловые бумаги нередко переписывает по нескольку раз, с удивляющей всех тщательностью, и пишет их с особым, я бы сказал, изяществом.

Все, что он делает, он делает основательно, серьезно.

Оставив секретарю очередную пачку писем и объяснив, как и что нужно переписать в первую очередь, Твардовский проходит в свой кабинет. Кабинет у него небольшой, скромный, «спартанский», как написал один западный писатель, посетивший редакцию. Центральное место занимает широкий дубовый стол, за ним Твардовский сидел еще в начале 50-х годов в старом здании. Когда переезжали на новое место, все уговаривали его оставить этот стол: «Чего вы будете перевозить эту рухлядь? Нам же дают новую мебель». Но он заупрямился: «Зачем бросать такой хороший стол? Я к нему привык». Наверное, эта привычка и сработала, Твардовский разрешил лишь заново отполировать стол. Но все равно видно, что стол старый, старомодный. Правда, и вся остальная обстановка хоть и современная, но очень скромная, и стол гармонирует с ней. Возле него тумбочка с телефонным аппа-

ратом; склонившись к нему, Твардовский часто набирает номер, он очень редко просит секретаря соединить его и возмущается, когда таким образом звонят к нему. «Что за манеру взяли: «Сейчас с вами будет говорить такой-то...» Ведь это же невежливо. Если такой-то хочет со мной разговаривать, неужели ему трудно набрать самому номер?..»

У него немало таких привычек или, точнее, отсутствие многих привычек. К нему можно, например, заходить в кабинет не спрашиваясь. Если он даже занят, то скажет: «Посидите, пока я кончу писать бумагу». А когда в кабинете есть кто-нибудь из работников или сидит знакомый автор, то заходи, садись и слушай, коли хочешь слушать, и разговаривай, коли есть желание. Поэтому в кабинете всегда шумно и застать Твардовского одного трудно. А если он и остается один, то, посидев немного, поднимается и идет к кому-нибудь в кабинет. Одиночества в редакции он не выносит.

— Один человек может задать такую задачу,— досадливо морщится он,— что десять умников не решат. Прислал мне из Улан-Удэ один человек письмо. В честь Василия Теркина он хочет назвать сына Василием и просит меня быть крестным отцом...

— Ну и что? — настраиваюсь я на веселый лад.

— Да вот то,— Твардовский очень серьезен.— Он же хочет совершать церковный обряд. И при этом какой-то странный человек: одновременно письмо как открытое направил в «Литературную Россию»...

— Ну, это какой-то «чайник»...

— Да, я тоже так думаю, возможно, человек даже противный, мелко честолюбивый, но надо что-то ответить. А что?

— Ничего не надо отвечать. Чего вы мучаетесь?..

Твардовский молчит: его все еще держит почта. Но лицо постепенно разглаживается, и вдруг по нему пробегает озорная улыбка.

— Хотите, я вам сейчас прочитаю одну замечательную рукопись? — И он достает ее из папки.

«Какая-нибудь забавная графомания,— думаю я.— Твардовский умеет ее находить».

— «Биография и приключения Бартова Александра Степановича,— начинает Твардовский торжественно, и я вижу, что он уже наслаждается, сияет,— родившегося в 1884 году 12 августа в бывшей деревне Бартово, в семье у деда с отцом, середняка». — И заливается смехом: — Ах, как прелестно!..

Несколько мгновений смотрит на меня, что-то соображая, и повторяет:

— Прелестно! Все прелестно! Прекрасная рукопись!..

Пока я еще ничего не понимаю, и Твардовский объясняет:

— Живет в Пермской области пенсионер, этот самый Бартов, который на семнадцати страничках (он сам сообщает: «Как умел, писал сам, не перечеркивал ни одного слова, точки-запятые поставили уже, кто печатал на машинке») описал всю свою жизнь и описал с такой откровенностью и бесхитростностью, что эта рукопись, поверьте мне, очень многого стоит. Вот посмотрите, как он описывает встречу Ленина на Финляндском вокзале, он был там!

Твардовский произносит последние слова с нажимом.

— Он был там, и мы знаем множество всякого рода документальных и художественных свидетельств этой встречи, но такого свидетельства, как у этого старика пенсионера, нигде нет. «Я ходил на Финляндский вокзал встречать Ленина. Что я там мог видеть, когда был гул, как ледоход, и тысячи тысяч разных головных уборов только я мог и увидеть». И все. И больше ничего! И какая точная картина! И какое удивительное по простоте и поэтической емкости сравнение этой встречи с таким торжественным, грозным и радостным явлением природы, как ледоход. Гу-у-ул,— Твардовский тянет, поднимая вверх руку,— как ледоход.

Он смотрит на меня, как бы спрашивая, понимаю ли я, как это действительно хорошо, и коротко, отрывисто, как о твердо решенном, говорит:

— Надо печатать.

Доволен, и очень. Он умеет находить не только занятные вещи в рукописном потоке, но и ценные документальные свидетельства эпохи, которыми дорожит нисколько не меньше, чем писательским успехом, в них он тоже замечает высокую поэзию, о которой авторы записок и не помышляли.

В этот момент я еще, конечно, не знаю, что Бартов не только будет опубликован, но Твардовский напишет к нему предисловие и сам с необычайной бережностью отредактирует рукопись, объяснив это таким образом: «Мною сделаны самые минимальные, чисто грамматические исправления в тексте записок А. С. Бартова. Сохранив как есть, даже местами неловкие, но очень выразительные стилистические обороты, чтобы не лишиться важных деталей содержания и примечательных особенностей народной письменной речи автора».

И о Бартове будет долго вспоминать.

Пришел Сергей Павлович Залыгин.

— О! — восклицает Твардовский.

К Залыгину он испытывает нежнейшие чувства. Залыгина, как и многих других авторов, открыл для журнала именно он. Я хорошо помню: так же, как сегодня, он вынул из папки рукопись всего из нескольких страничек и сказал, весь просветляясь: «Я вчера прочитал вот этот рассказ, и

растрогал он меня до слез. Автор мне неизвестен. Залыгин из Омска. Видно, что человек очень талантливый. Прочитайте-ка рассказ». Это было в 1952 году. С тех пор Залыгин стал известным писателем, автором многих произведений, которые тоже благословил Твардовский. Сейчас как раз вышел номер журнала с началом «Соленой Пади».

— Могу вас поздравить,— говорит Твардовский.— Вот сигнал с началом вашего романа.— И немного исподлобья, с усмешкой: — Ну как, ругать не будут?

— Не знаю,— пожимает плечами улыбающийся Сергей Павлович.— Может, и будут.

В это время открывается дверь и появляется буфетчица с подносом, на котором чайник, сахарница, чашки. Твардовский оживляется.

— Будем пить чай с бубликами,— встает он из-за стола.

Бублики — это особый предмет разговора. Не помню уже, когда Твардовский обнаружил в конце улицы Чехова, возле Садово-Каретной, палаточку, где продавались превосходные, теплые, свежие бублики. Откуда они там появлялись, непонятно: больше таких бубликов нигде не было. И Твардовский по пути в редакцию стал заезжать туда, прихватывая связку бубликов. Ну, а где бублики, там и чай. И так же, как Залыгин, многие авторы попадали на такие чаепития.

— Вот вы как живете! — широко улыбается Сергей Павлович, пока Твардовский на правах хозяина наливает ему чай.

Твардовский снимает пиджак — жарко, а тут еще чай,— вешает его на спинку кресла и возвращается к началу разговора:

— Значит, надеетесь, что не будут ругать? Но ведь нашу критику не угадаешь, могут и хорошее обругать, свидетелями были. А роман действительно очень хороший.

Чаепитие не только не мешает, а как бы предрасполагает к серьезному разговору.

— В чем я вижу новизну вашего романа? — говорит Твардовский.— Ведь о гражданской войне вообще и в частности в Сибири много написано до вас. А вы не повторились, сказали свое и очень существенное слово. Может, я ошибаюсь, преувеличиваю достоинства романа, но мне кажется, что в нем впервые широко дана народная философия революции, то, как народ понимал революцию. И потому меня в вашем романе нисколько не утомляют бесчисленные разговоры мужиков,— наоборот, я их читаю с наслаждением и громадным интересом, многие из них прекрасны. А как вы начали роман великолепно. С первых сцен, когда Мещеряков освобождает Власихина от смерти и происходит стычка его с Брусенковым, мы еще не знаем, как дальше пойдет дело, кто будет прав, Брусенков или Мещеряков,— но мы уже полю-

били Мещерякова, он уже нам нравится. И тут начинает действовать один из законов искусства, мы уже можем многое простить обаятельному человеку — и то, что он неожиданно загулял, и его роман с прасолихой при верной жене, и всякое другое, как прощают человеку, когда его любят. Это очень хорошо. А что было потом с Мещеряковым? Ведь это, кажется, партизанский командир Мамонтов?

— Не совсем так,— отвечает Сергей Павлович,— в Мещерякове есть черты и других людей, но много и от Мамонтова, так что в известной мере он прототип Мещерякова, но с этой оговоркой...

— Я понимаю,— говорит Твардовский. Недопитая чашка чая отставлена, разговор его уже увлек, он весь внимание.

Сергей Павлович говорит, что сам видел Мамонтова два часа живым в Барнауле. Было это в 1922 году.

Твардовский с удивлением смотрит на самого Залыгина.

— Как это интересно! Для многих, особенно для молодых, читателей ваш роман может представиться романом о далеком прошлом. Ведь после той гражданской войны была еще война, да еще какая, и после Отечественной уже сколько времени прошло, а вы вот сидите, еще далеко не старый человек, и вы, оказывается, видели, помните своего героя... Ну, и что же случилось с Мамонтовым?

Залыгин рассказывает, что Мамонтов в то время был председателем потребительского общества. В Троицын день он сел на лошаденку и поехал в Барнаул, на съезд кооператоров. Километров за двенадцать до города — сейчас это место входит в городскую черту — его увидели человек восемь мужиков. У них украли лошадей. И они крикнули: «Вот он, конокрад!» А Мамонтову когда-то цыганка нагадала, что он умрет за конокрадство, и он всегда выходил из себя, если его даже в шутку называли конокрадом. Он бросился на мужиков, и его в драке убили. Залыгин видел его, когда он еще был жив, но уже без сознания. Барнаул тогда был небольшим городишком, и слух об убийстве Мамонтова сразу же пронесся по городу.

Твардовский слушает, весь подавшись вперед. Залыгин превосходный рассказчик, и слушать его большое удовольствие. Но Твардовский, по-видимому, не только слушает, но и что-то соразмеряет, сравнивает, обдумывает, потому что первые его слова не о рассказе, а о романе:

— Очень хорош у вас Мещеряков в романе. Это не часто бывает — живой, абсолютно живой человек в литературе. Каждая деталь в нем хороша. Даже то, что он шапку не снимает, потому что у него плешка малая есть, и это ведь специально не придумаешь. И смерть Мамонтова, о которой вы только что рассказали, она уже для меня точно соотносится с этим образом, хотя в романе ее по понятным причинам нет.

— Да,— говорит Залыгин,— в конце концов, я писал роман не о Мещерякове. Мещеряков — один из героев романа, и смерть его никак не могла лечь в роман. А потом я всегда помню ваши слова, что у писателя, особенно в конце произведения, не должно быть стопроцентного попадания в яблочко. Должно быть какое-то рассеивание, хотя и с точным попаданием. Поэтому я не хотел кончать роман, ставя все точки над «и», давая все ответы.

Твардовский задумывается.

— Как раз мне кажется, что конец у вас не совсем такой, какого хотелось бы. «И он повернул коня». Куда повернул? Что все-таки будет? Читатель ждет большей определенности. А вы здесь уступили модерным взглядам: пусть будет, пусть останется что-то неясное. Хорошего в этом мало. Мы совсем забыли, что в старое время была такая форма, как эпилог. «Спустя двадцать лет...» И вы заметили, современный читатель этих романов не оставляет без внимания эпилога, он его прочитывает, значит, в нем была и есть нужда. Я как читатель люблю определенность. Не зову вас, конечно, садиться и сочинять эпилог к роману, сама по себе эта форма, может, и отжила свой век, хотя, знаете, в литературе ничего нельзя с полной уверенностью предсказывать. Но если даже форма и умерла, желание читателя знать о герое все, что знает о нем сам писатель, не исчезло, хотя писатель никогда не может сказать всего. А если он сказал все и этого всего оказалось мало, значит, писатель очень беден. Тогда лучше уж и не садиться за стол.

— Я и десятой доли не сказал из того, что изучил и знаю,— говорит Сергей Павлович.

— И это очень хорошо! Десятая доля — это еще много. В вашем романе, пропитанном документальностью, отлично чувствуется, что вы знаете неизмеримо больше, чем имеете возможность сказать, а потому каждое ваше слово я как читатель встречаю с доверием. Это не то, что писателю нечего сказать и он соскребывает все, что у него есть, а есть жалкие крохи. Соскребет так, что ничего не останется, все выложит, а класть-то ведь было нечего. И читать нечего. Такая бедность. И как часто мы с ней встречаемся...

Залыгин рассказывает, как он использовал в романе документы. Некоторые диалоги он делал по документам, выбирал оттуда выражения, характерные фразеологические обороты и вводил их в живую разговорную речь.

— Это была очень сложная работа,— говорит он.

Твардовский слушает его с таким живейшим интересом, с каким редко слушает писатель писателя, рассказывающего о своей работе. Оба довольны, и тому, и другому есть что сказать. Беседа ни на минуту не замирает. Так Твардовский может разговаривать часами.

...Открывается дверь, и на пороге возникает Александр Бек. У Твардовского давно установилась с ним полушутливая манера разговора.

— О! — снова восклицает Твардовский,— «Сходится к хате моей больше и больше народу, ну, расскажи, поскорей, что ты слыхал про свободу?»

Залыгин, видимо, впервые слышит такое приветствие и хохочет. Бек же, наверное, уже слышал от Твардовского эти некрасовские слова и, присаживаясь к столу, с ходу спрашивает:

— Ну что нового?

Все уже так привыкли, что Бек задаст именно этот вопрос, что вместо ответа смеются, да и сам Бек не ждет ответа. Этот вопрос у него заменяет приветствие.

Меня вызывают, и я с сожалением покидаю кабинет...

Когда я возвращаюсь — Залыгина уже нет, зато появились наши «критики» — так мы называем работников из отдела критики. Этот круговорот в кабинете Твардовского происходит непрерывно и никого не удивляет. Бек продолжает еще чего-то допытываться, и Твардовский легко отшучивается:

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— Ну, а все-таки как ты думаешь, Александр Трифонович?

— Изыди, сатана!

И Бек, ухмыляясь, уходит. Твардовский спрашивает «критиков» о рецензии на книгу молодой писательницы.

— Рецензия неплохая, но не рано ли вы хвалите писательницу? Даже по вашей рецензии видно, что книга так себе.

— Мы печатали очерки этой писательницы о целине.

— Я помню это,— говорит Твардовский.— Но одно дело — напечатать очерк в журнале и другое — хвалебную рецензию об этом же авторе. Очерк у нас могут и разругать, а тут мы сами хвалим. А у меня нет полной убежденности, что мы хвалим правильно. Посмотрите, как автор определил жанр своей вещи. Ужасно! «Повесть в девяти новеллах». Но это же все равно, что пиджак в семи жилетках. Пиджак не получается, так наберу я семь жилеток. Ужасно это. Само слово «новелла» ужасное.

— Чехов издевался над этим словом,— говорит кто-то.

— Конечно. Русская классическая литература не знает этого слова. А мы его берем. Зачем? Мы многое испохабили. Какое отличное слово «очерк», но я уже знаю молодых писателей, которые стесняются написать очерк, тянут на рассказ или на «повесть в девяти новеллах».

«Критики» соглашаются: да, жанровое обозначение крайне неудачно, но сама повесть неплохая и вполне заслуживает поддержки. Писательница молода, это ее первая книжка...

— Да, я прекрасно знаю, как много значит похвала при первом выходе,— говорит Твардовский,— но знаю также, если эта похвала не опирается на объективные достоинства книги, то она может сбить с толку человека. Я не понимаю совета — лучше перехвалить, чем недохвалить. Совсем не лучше. Лучше всего правильно оценить книгу, неважно, первая она или последняя. А то ведь перехвалим, а потом удивляемся, почему из писателя ничего не получается, и сам писатель удивляется, почему его вдруг начали ругать. А о нем ни разу не говорили верно.

Идет деловой разговор, каких бывает великое множество. Твардовский не навязывает своего мнения. Слушайте и прислушивайтесь, вам виднее, в конце концов, вы читали книжку. Но вот мои соображения, пришедшие при чтении рецензии. Договариваются, что «критики» еще раз посмотрят рецензию и внесут в нее исправления.

Мелькнувший в разговоре Чехов вызвал Твардовского на размышления.

— У кораблестроителя Крылова,— говорит он,— есть интересное рассуждение об остойчивости корабля. Оказывается, все можно рассчитать, построить корабль точно по всем расчетам, а он сойдет со стапелей и — кувырк... И Крылов пишет, что при строительстве должен быть еще элемент чуда, интуиция, то, что никакими словами и формулами не выразишь. Вот этим чудом остойчивости в высшей степени обладал Чехов. Он говорил, что русские писатели ходят парами, и он был в паре с Чириковым, но Чириков потонул, а он остался и никогда не потонет. Как писателя его можно сравнить с Пушкиным. И того, и другого в равной мере читают и полуграмотные люди, и люди очень искушенные. Его можно взять в дорогу, как вагонное чтение. Его можно читать вслух больному. Его можно читать и бесконечное число раз перечитывать, а вы знаете, какое громадное количество вполне хороших книг не выдерживает второго чтения. Его читают все, он для всех, и в этом тайна его чуда, потому что он еще ведь всех в равной степени удовлетворяет. А когда берешь любое его произведение, так кажется, что оно никак не написано, вроде человек без всяких усилий рассказывает нам разные истории и случаи. И в этом тоже тайна чеховского чуда. Вы помните, что он написал Бунину, когда тот допек его просьбой сказать, что он все-таки думает о его рассказах. Обычно он отвечал просто: «Получил Вашу книгу. Спасибо». А тут пришлось отвечать. И он ответил, что

ваш рассказ очень хорош, но он слишком компактен, он вроде сгущенного бульона. Очень точно ответил, потому что у Бунина была особенная художественная страсть работать над фразой, шлифовать и шлифовать ее. Этого вы никогда не увидите у Чехова. Я не вижу нигде у него следов работы, а у Бунина вижу. Оттого так высока непотопляемость чеховских произведений, а у Бунина есть и потопленные, и уже утонувшие произведения. Чехов, конечно, один из самых величайших прозаиков, какие были на свете.

Твардовский говорит увлекаясь. Какие-то мысли ему приходили и раньше, но что-то и не было готовым, а родилось сейчас, это видно по тому, как он ищет слова, останавливается, замолкает и снова продолжает размышление вслух. Это самое захватывающее — не только слушать его, но и наблюдать за самим процессом появления и словесного оформления его мысли.

Но во время этого рассуждения о Чехове я нечаянно взглянул под стол и увидел, что Твардовский сидит без туфель, в одних носках, туфли рядом. Я этого никогда раньше не видел. Да, видно, ноги у него сильно болят. Но сейчас он о них забыл. Увлекся разговором. Да если бы и не увлекся, ничего бы не сказал. А я уже не могу только слушать. Нет, нет да и взгляну на его ноги.

Под разговор о Чехове и Бунине появился Миша Рощин. Некоторое время он работал в редакции, в отделе прозы, но уже писал до этого. В своих первых рассказах он находился под сильным влиянием Бунина, и Твардовский даже морщился: «Да это же Бунин...» Теперь Рощин пишет самостоятельнее, и, как выясняется, Твардовский вызвал его для более существенного разговора. Новый рассказ Рощина «С утра до ночи» ему нравится, он уже говорил об этом, но кое-что его не устраивает.

— Вы хорошо описываете зауральские проселки, дорожные встречи второго секретаря райкома Карельникова, беседы его с доярками, председателями колхозов,— говорит он Рощину.— Поездка секретаря по району вам удалась. Но во время этой поездки ваш Карельников постоянно возвращается к мысли о недавнем споре, столкновении с первым секретарем Купцовым. Рассказ с этого начинается. Речь даже идет о том, что они — Карельников и Купцов — вошли с каким-то предложением в обком, но там их не поддержали, и получилось так, что Карельников вроде бы подложил Купцову свинью, толкал его на это предложение. Но вы знаете, если я представляю Карельникова, то мне бы хотелось поближе увидеть и Купцова. Что он за человек? Вы много о нем говорите, но я его не могу представить. А ведь у вас си-

туация, похожая на овечкинскую в его «Районных буднях», только там острый конфликт между первым секретарем, Борзовым, и вторым, Мартыновым, а у вас конфликт смазан, приглушен. Вы ничего не говорите даже о таком существенном моменте, как отвергнутое предложение райкома. Конечно, Купцов — это не Борзов, Борзов бы не пошел на поводу у Мартынова, но кто он такой все-таки, ваш Купцов? И в чем смысл их предложения? Вздорное ли оно? Или обком забюрократился и не понимает новизны этого предложения?

Рощин, готовясь к разговору с Твардовским (я хорошо знаю, как не только молодые, но и вполне маститые авторы с волнением ждут такого разговора), скорее всего не ожидал такого неожиданного поворота.

— А мне казалось, что я как раз усложнил свою задачу, не сказав об этом,— говорит он.

— Нет. Упростили,— твердо, несколько даже жестковато говорит Твардовский, у него один тон в профессиональных разговорах с молодыми ли, старыми писателями — тон, лишенный назидательности, учительства, но строгий, требовательный, ведь речь идет о деле.— Гораздо легче описать дорожный пейзаж, село, каким оно открылось с пригорка, чем ввести в литературу серьезную проблему, какая бы она ни была, и ввести так, чтобы литература осталась литературой, а не была литературным оформлением проблемы. Так, как это сделал тот же Овечкин в «Районных буднях». Какая огромная поставлена там проблема, она касается не только сельского хозяйства, но и многого другого, а ведь Борзов — это реальный человеческий тип, фигура, а не просто олицетворение борзовщины. Это уже борзовщина как термин пошла от Борзова, так он удался Овечкину как реальный характер. А что такое ваш Купцов? Я его не вижу и не могу взять в толк, почему Карельников все время о нем вспоминает.

Очевидно, Твардовский угодил в самую точку. Выйдя через некоторое время от него, Миша начал думать, каким должно быть предложение райкома, и при мне так ничего и не придумал. Твардовский ставит задачи нелегкие. Почти всегда он хочет от писателя большего, чем тот дает, и уже этим заставляет его задумываться над своей работой.

Вновь возвращаюсь в его кабинет. Пока меня не было, он, по-видимому, рассказал подошедшим товарищам о рукописи Бартова. Сейчас он, забыв об очках, читает, отставив руку с рукописью далеко перед собой.

— «После того, как я соскочил в воду, старался плыть в большие волны, которые происходят от баржи (это не совсем грамотно, но необыкновенно точно — плыть в большие вол-

ны,— и вы сейчас увидите, почему)... а за баржей было прикреплено несколько лодок: в них сидели попы и их семейства, следовавшие за баржей (он совершенно не объясняет, что это за попы и их семейства, но мы легко догадываемся, что буксируют не узников, узники на барже, а это люди с другой судьбой, они даже на лодке с семействами). Когда я плыл в волнах и пене, меня было плохо видно, а когда поплыл дальше, пули жужжали около самой головы (вот почему он плыл в волны — он хотел спрятаться в них и плыл в волны!). У меня была уверенность, что не попадут. (Откуда эта уверенность? Он тоже не желает объяснять.) Плывя дальше, видел, как у одного волосы исчезли в воде, начинал тонуть, а другой старался ухватиться за меня, я не дался. (Кто бы осмелился написать такие слова о себе, они же к невыгоде автора, но он простодушно пишет все как было, и за это удивительное простодушие мы ему все простим.) Немного погодя я почувствовал под ногами почву, от испуга ноги мои отказались шагать, еле-еле я добрел до берега, а пули все время старались положить меня, но судьба миновала. (Какая краткость, писатель бы такую сцену нарисовал, а тут все в одном абзаце, и согласитесь, что тоже картина.) Пули все время старались положить меня». (Попробуйте-ка поточнее сказать и поэтичнее.)

И вдруг заливается смехом.

— А какая краткость в описании своей семейной жизни! «За время пребывания на службе и в тюрьме моя жена развратилась донельзя. Немного прожил с ней, но никакие убеждения не помогли. Пришлось добровольно развестись с ней и жениться на другой». «Пришлось добровольно развестись»... Какая деликатность в выражениях!..

Он распластывается грудью на столе и, положив голову на руки, хохочет так, что все тело его сотрясается. Обычно это кончается кашлем. Прокашлявшись и все еще продолжая смеяться, он встает и прохаживается по кабинету, счастливый, довольный. Его может сделать счастливым одна фраза, одно неожиданное выражение.

И снова дела. Он уже занимается верстками. Верстки прочитаны дома, и теперь он объясняет свои замечания по стихам.

— Ну что ж, печатайте...

Говорится это без воодушевления. Среди поэтов, особенно потерпевших неуспех у Твардовского, существует мнение, что Твардовскому ничего не нравится в поэзии и он все режет. Это неверно. Есть поэты, которых он любит, с постоянной надеждой он роется в ворохе рукописей и нередко находит в них новые имена, и надежды его порой бывают пре-

увеличенными. Скольких поэтов он все-таки похвалил в самом начале, а они потом не оправдали его ожиданий. «Это моя вина»,— говорит он, но продолжает безостановочные поиски, и надежды его не оставляют. Но он может быть и суров в оценках, многое ему действительно не нравится, и разве это так уж плохо? Взыскательность может быть неприятной, но вряд ли она кого-нибудь портила или развращала, как постоянная покладистость и восхищаемость, за которой чаще всего обнаруживается самое настоящее равнодушие или желание всем угодить. Но что абсолютно противопоказано Твардовскому, так это угождение.

— Это не предмет разговора — плохие стихи опытного поэта,— говорит он, держа в руках верстку со статьей, в которой подвергается критике один довольно плодовитый поэт.— Да он никогда не был опытным, никогда не был поэтом! Если хотите, он автор песенных болванок, и больше ничего. Зачем же представлять его как опытного поэта? Нет, это не тот разговор!..

И безжалостно режет статью. А нам казалось, что как раз она ему понравится, в ней достаточно убедительно показана слабость очередного сборника плодовитого автора. Но Твардовскому этого мало.

— Если уж писать об этом авторе,— говорит он,— так писать прежде всего о нашей нетребовательности, когда уже и этот опытный, и этот — поэт. Вот это постановка вопроса!

И словно бы вскользь, нисколько не «реабилитируя» попавшегося ему под руку автора, замечает:

— А вообще я заметил, что даже у хороших поэтов песни, песенные тексты — самое слабое. Не говорю об отличных песнях. «Славное море, священный Байкал...» Это и читать можно. Это стихи. А так обычно у песенников песенные болванки.

В этот день мысль его все время кружится возле только что открытой рукописи старика Бартова. Это очень характерно для него — постоянно возвращаться к тому, что его сильнее всего поразило или заинтересовало сегодня ли, вчера ли, и осмысливать поразивший его факт с самых разных сторон, причем этот факт может вызывать у него сложные и далекие ассоциации. Рукопись Бартова он уже думает приспособить к юбилею Октябрьской революции: там есть Ленин, гражданская война. И, видимо, в этой связи говорит:

— В тридцать втором году я ездил от смоленской газеты в Ржевский район. И вот там в одной из изб деревни Чертолино (я хорошо запомнил название этой деревни), в избе, полной детишек, мух, недопитых чашек с молоком, я увидел французский журнал. Не помню уже какой. По-французски



А. Твардовский и И. Эренбург. Варшава, 1947 г.

В суббот



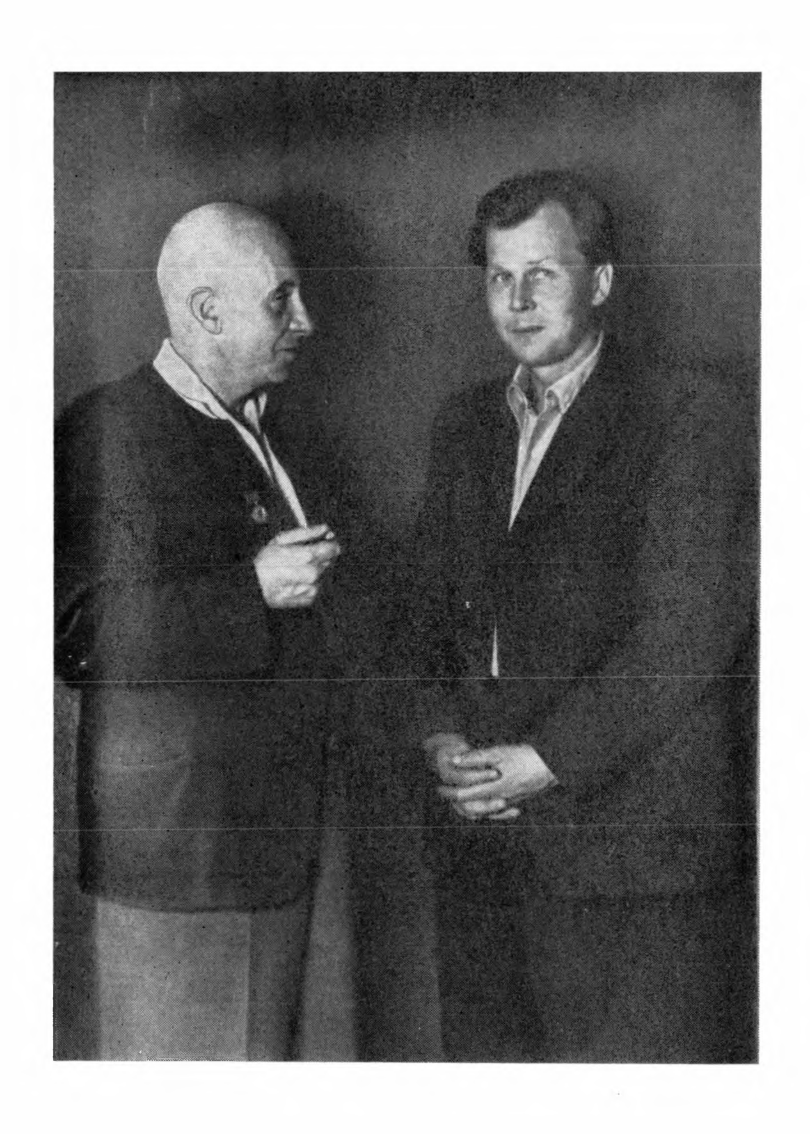
Дружеский шарж Бор. ЕФИМОВА

ВАСЯ ТЕРКИН В ПУТИ

Не шутя,
Твардовский
Саша,
Подружились
Мы с тобой.
Крепко сбита
дружба наша!
С этой книжкой
шел я в бой...
Не прожить,
как без махорки,
Чей бойцу
приятен дым,
Без твардовской
поговорки
Нам,
читателям
твоим.
Пишет Саша —
на пятерки,
В теплых
книжках
правды свет.
От души
Василий Теркин
Шлет
Твардовскому
привет!

Мих. П.

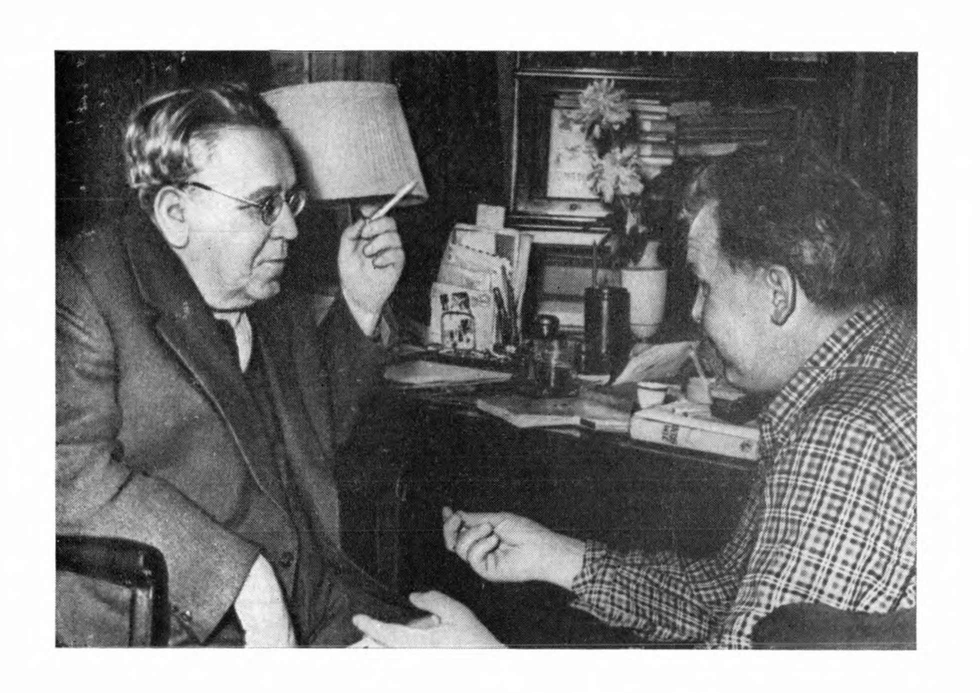
Шарж Бор. Ефимова («Вечерняя Москва», март 1947 г.)



М. Рыльский и А. Твардовский. Киев, 1954 г.



Делегация советских поэтов в Италии: Н. Заболоцкий, В. Инбер, С. В. Смирнов, А. Прокофьев, Л. Мартынов, Б. Слуцкий, А. Твардовский. Возложение венка на могилу Данте. 1957 г.



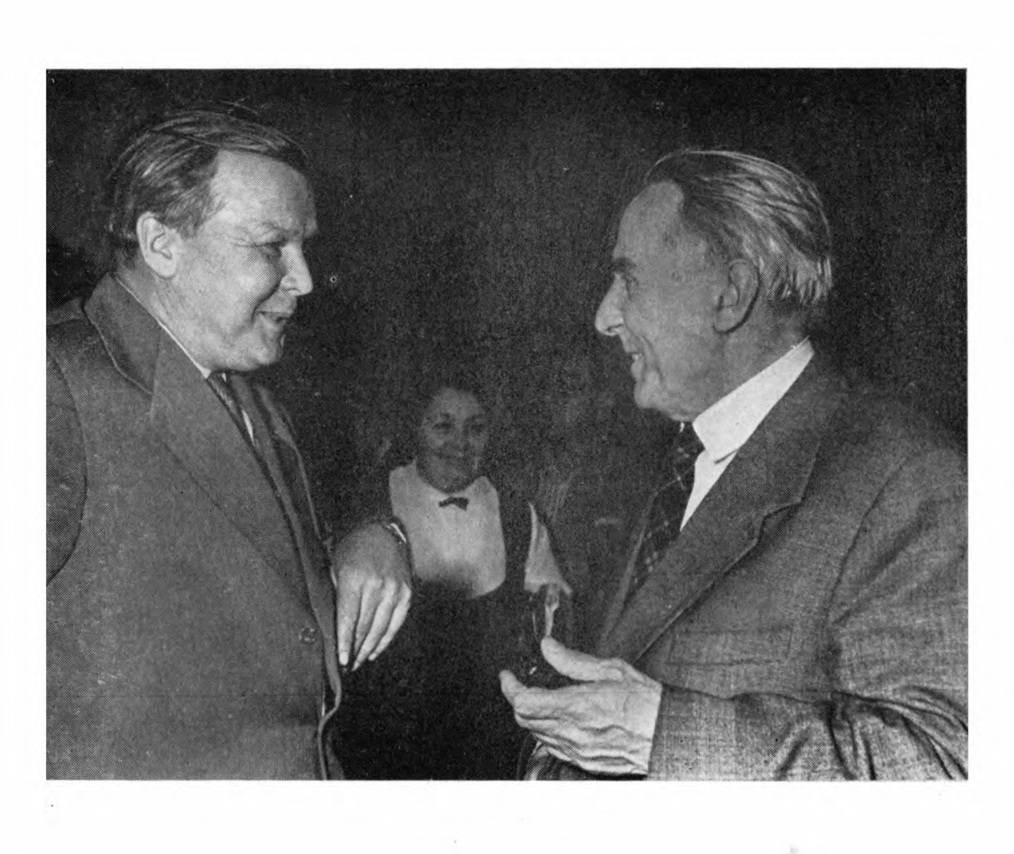
С. Я. Маршак и А. Твардовский. 1958 г.



В Доме моряка в Севастополе. А. Твардовский и Т. Семушкин. 1958 г.



Н. Грибачев, Г. Троепольский и А. Твардовский в Кремле в дни Третьего съезда писателей СССР. 1959 г.



А. Твардовский и К. Федин в дни Третьего съезда писателей СССР. 1959 г.



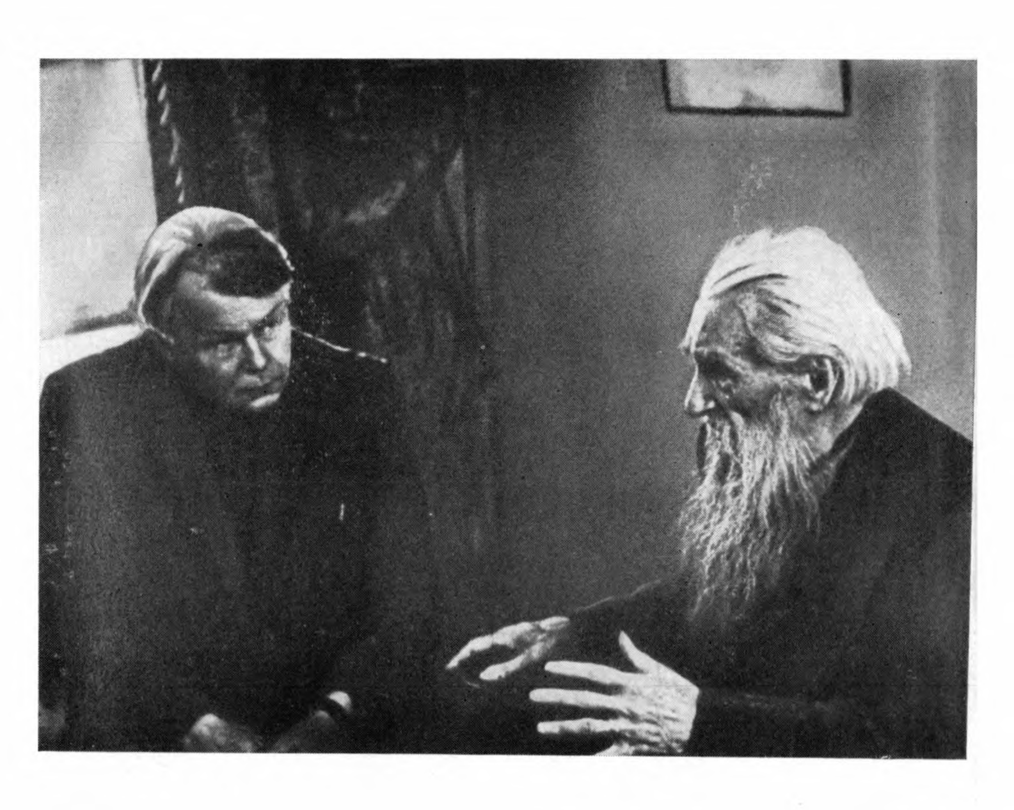
А. Сурков, Ю. Гагарин и А. Твардовский. 1961 г.



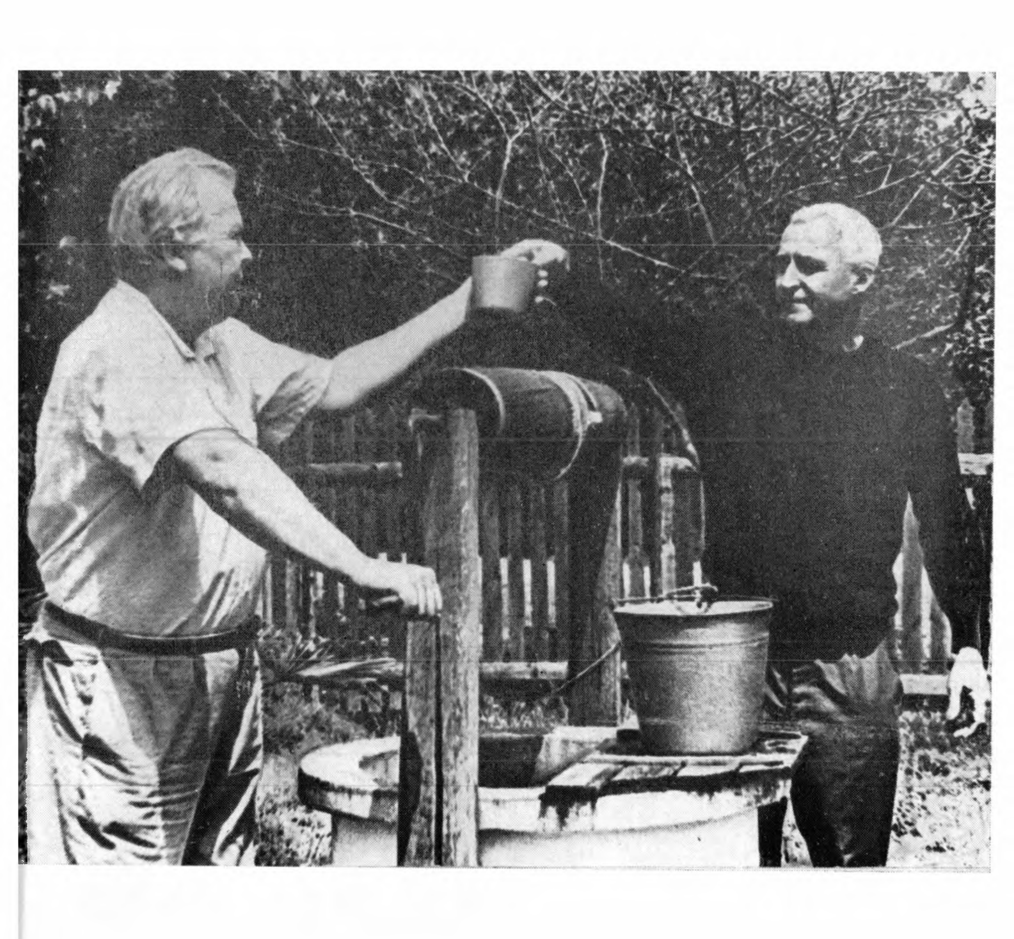
А. Твардовский и Е. Евтушенко встречают на аэродроме американского поэта Р. Фроста. 1962 г.



Поэты Т. Тильвитис, А. Твардовский, Э. Межелайтис, А. Сурков на вечере, посвященном 250-летию со дня рождения К. Донелайтиса. 1964 г.



А. Твардовский и скульптор С. Коненков. 1968 г.

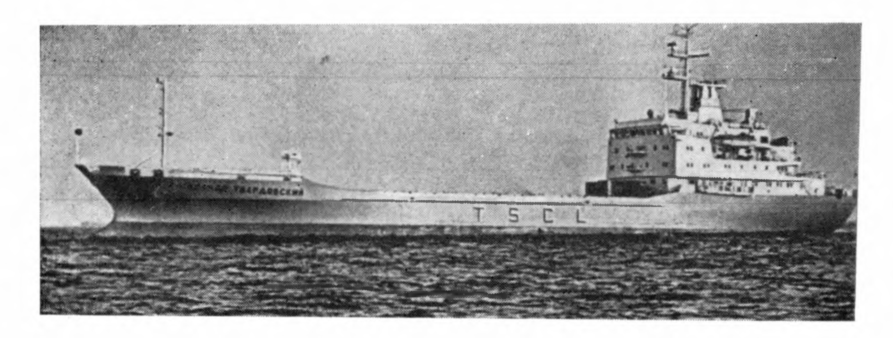


А. Твардовский и К. Симонов. Абхазия. Гульрипши. 1969 г.



Рабочая комната А. Твардовского в Красной Пахре.

Средняя школа № 279 имени А. Твардовского в Москве



Сухогруз «А. Твардовский». Порт приписки — Владивосток. Спущен на воду в 1974 г.



А. Твардовский. Скульптура работы Сарры Лебедевой, 1943 г.

я не читаю, но мне рассказали, что в этом журнале помещена статья бывшего хозяина чертолинского имения графа Игнатьева.

— Того самого?..

— Да-да, того самого, что написал «Пятьдесят лет в строю». Оказывается, он приезжал сюда посмотреть, что делают крестьяне, был восхищен и написал, что крестьяне живут без помещиков вполне исправно. Рассказывали смешной случай. Кучер, увидя Алексея Алексеевича, бросился ему в ноги: «Простите, барин...» Но тут же барина забрали, приехала милиция, но у Алексея Алексеевича была бумажка от самого Калинина, и его быстро отпустили... Вот я и думаю, надо бы найти тот журнал с той статьей Игнатьева, послать бы писателя в ту деревню написать о ней очерк. И если бы все это получилось, я бы, может быть, написал бы к этому материалу предисловие.

Он смотрит вопросительно: как мы принимаем его идею? Идея несколько неожиданна, так же как и мысль написать предисловие: такого рода желание у Твардовского возникает не так уж часто. И, конечно, мы приветствуем инициативу главного... В этот момент мы и не подозреваем, что отыскать статью Игнатьева в неизвестном нам французском журнале начала 30-х годов будет делом безнадежным: ни самого Алексея Алексеевича, ни его жены уже нет в живых, и навести справки о статье будет решительно не у кого. Идея Твардовского останется неосуществленной, но предисловие он всетаки напишет, только к Бартову, и будут в этом предисловии слова о глубинных народных силах, на которые опиралась наша революция, вполне применимые и к смоленским, и к уральским, и ко всем иным местам.

Рабочий день уже клонится к концу, когда раздается звонок. По ответам Твардовского сразу же становится ясно, что это очередной случай домогательства. Бывает, домогаются графоманы, бывает, и не графоманы.

— Я никогда этого не делаю,— раздражаясь, отвечает Твардовский,— зачем нужно мое участие? У вас уже есть выступления этих товарищей. Ну и прекрасно!.. Ах, вам нужен литературный генерал? А зачем? Что дадут мои пять — десять строчек? Поймите, я их никогда не пишу и не буду писать. Я ничего не могу сказать вашим читателям в пяти строчках, это обманывать и себя, и читателей. Я не понимаю этой газетной игры с участием литературных генералов, пишущих пустые строчки. Никому не нужные строчки. Вы считаете, что это нужно, а я — нет!..

Разговор принимает затяжной характер. На том конце провода сидит человек настойчивый, и Твардовский то от-

шучивается, то начинает кричать в трубку, отбивается, как может. Наконец бросает трубку и глубоко вздыхает, словно сбросив тяжелый груз.

— Как умеют повисать!.. Никакие доводы не действуют, и самый главный — что, кроме редактора этой газеты, никому, ни читателям, ни мне, никому не нужно это формальное участие в их парадном мероприятии... Еле сбросил...

Твардовский звонит в диспетчерскую автобазы.

— Мария Ивановна?.. Здравствуйте еще раз. Это Твардовский. Да-да, под липки... Как всегда, под липки.

Это значит, что он сейчас выходит и пусть машина ждет его под липами возле известинского дома на Пушкинской площади.

— Вы не собираетесь домой? — спрашивает он. Когда он едет на дачу, он часто подвозит меня.— Только мне надо еще заехать в булочную...

Я уже привык к тому, что по дороге на дачу он часто останавливается возле магазина и всегда возле одного — булочной Елисеевского магазина. Вот и сейчас он выходит из машины, скрывается в толпе и минут через десять появляется с пакетом и усаживается в машине. На час езды.

Мы проезжаем центром Москвы на Ленинский проспект (день по-прежнему ясен, невозмутим). В далекой выси вечереющего неба легкие мазки перистых облаков. Неожиданно он спрашивает, сколько мне лет. Я отвечаю. Он молчит и вдруг говорит:

— А мне скоро, недели через две, пятьдесят семь. Помню, я спросил Арагона, сколько ему лет, и он ответил: «Пятьдесят семь». Я подумал: какой старик... Дни летят, годы летят. И все быстрее, быстрее. Ничего не успеваешь делать. Хотя я и рано встаю, часов в шесть уже на ногах и работаю.

Машина останавливалась перед светофором. Под молодыми деревьями широкого проспекта пробегает стайка ребят. Он смотрит на них, потом снова на небо и говорит:

— Подарок. Хороший день — это просто подарок.

Задумывается и, пожалуй, уже не мне, а самому себе говорит:

— С годами все больше и больше ценишь радости. Именно тогда, когда остается меньше возможностей ими пользоваться. Думаешь: вот эту книжку не прочитал и никогда уже не прочтешь, потому что надо читать другое... А вообще хорошо.

И мы уже молчим до той минуты, когда я с ним расстаюсь.

1973

К. СИМОНОВ

ТАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ

(Несколько глав из записей об А. Твардовском)

Совладать с чувствами пока еще трудно, слишком недавно случилось все то, что навсегда отделило его от нас и о чем он сам с такой пронзительно спокойной грустью сказал в стихотворении «В тот день, когда окончилась война...».

Еще слишком близко в памяти все связанное с его смертью, с тем постепенным уходом от нас, каким она была. Хотя, как и всякая смерть, она в то же время была мгновенной чертой, разделившей все, что связано с ним, на «до» и «после».

Последние годы наиболее тесного общения первыми встают в памяти, и это делает трудной необходимость начинать с начала.

Мне не требуется дополнительной дистанции времени, чтобы осознать место, принадлежащее в нашей литературе Твардовскому как одному из великих поэтов XX века. Но именно эта, уже сложившаяся определенность моего нынешнего взгляда на него, пожалуй, и затрудняет попытки вспомнить задним числом, как она постепенно складывалась в моем сознании.

Если начать с давно прошедших времен, то, по правде говоря, я не помню своего восприятия первых стихов Твардовского, печатавшихся в начале 30-х годов в московских журналах. Я уже учился тогда в Литературном институте, начинал писать и жил (не в материальном, конечно, а в духовном смысле) главным образом стихами. Однако, как это теперь ни странно мне, среди многого жадно и поспешно прочитанного в те годы ранние стихи Твардовского не отложились в моем сознании как что-то заметное, особое.

Для меня, как, впрочем, и для многих поэтов моего поколения, в те годы главной любовью оказался Багрицкий, на

какое-то время заслонивший от нас даже Маяковского. В моей памяти и в моем мире поэзии Твардовский возникает внезапно и сразу вместе со своей «Страной Муравией». И даже некоторые другие его стихи, которые он печатал, а я читал до «Муравии», заново возникли в моем сознании уже потом, после этой поразившей меня поэмы.

Эпитет «поразившей» не результат позднейшей переоценки. Он — тогдашний. Я был поражен, потому что столкнулся с небывалым в поэзии тех лет свободным повествованием, которое при этом всегда и всюду оставалось стихами. В нем не было ничего вынужденного, никаких компромиссов между требованиями сюжета и требованиями внутреннего поэтического напряжения, самоценности каждой поэтической строфы и строки независимо от их служебной роли в повествовании.

Так сразу в «Стране Муравии» я столкнулся с тем, быть может, самым поразительным свойством поэзии Твардовского, которым отмечено почти все им сделанное. Он не обращался к стихам, чтобы рассказать ими о жизни, он обращался к жизни стихами и делал это так, словно только так и можно было это сделать. Словно никак ловчее и точнее, чем стихами, и невозможно изложить все, к чему бы он ни обратился. Поражала внутренняя духовная стройность поэмы при всем ее разноречии, разноглавии, чуть было не сказал — разнотравье... Впрочем, будем считать, что так именно и сказал, это слово тоже не случайно попало на язык.

В те годы я был юношей из интеллигентной, сугубо городской, никак и ничем не причастной к деревенской жизни семьи. Еще несколько лет прошло, прежде чем война свела меня с деревней и с ее людьми, одетыми и не одетыми в солдатские шинели.

Все или почти все в моем тогдашнем еще очень малом жизненном опыте было далеко от жизненного опыта Твардовского, стоявшего за его «Страной Муравией». Если условно принять слишком механическое для всякой большой поэзии деление, которым ее порой размашисто рассекают на городскую и деревенскую, то мои поэтические пристрастия и моя осведомленность в общем были связаны скорее с кругом городской поэзии. «Авиатор» или «В соседнем доме окна жолты...» Блока были мне в ту пору ближе, чем его «На поле Куликовом». Словом, во мне самом существовало некое внутреннее препятствие против того, чтобы я проник во внутренний мир «Страны Муравии», а вслед за ней «Сельской хроники».

И, однако, это произошло. Или, точнее, произошло обратное. Мир поэзии Твардовского силою его дарования, выйдя далеко за пределы первоначального жизненного материала, сам проник в меня. Собственно говоря, на таком преодоле-

нии препятствий, связанных с разностью жизненных опытов, вкусов и пристрастий, и основывается всеобщее значение поэзии, когда ее вторжение становится множественным, во многие души.

Такая победа над читателями, в том числе поначалу невосприимчивыми или даже предубежденными, притом победа, достигнутая бескомпромиссно, без подыгрывания вкусам, без поисков популярности, без всяких признаков отказа от своего «я», особого, основанного на собственном опыте и собственном взгляде на жизнь,— удел немногих. И в их числе Твардовского, с первых шагов зрелого периода его творчества, к которому относится и «Страна Муравия», и «Сельская хроника».

Всеобщность такой победы не означает, конечно, победы над каждым встречным, над всяким упрямцем и над всяким, кто искренне и страстно заперся в своем восприятии мира от напора чужой поэзии. Но, как в широко и быстро хлынувшем наступлении, все это остается где-то позади большой поэзии, уже вышедшей на просторы большого читателя и нимало не озабоченной тем, что в своем движении она обтекла и оставила позади себя островки сопротивления.

Так было с поэзией Твардовского, и эта уже послевоенная метафора не раз приходила мне потом в голову.

Не раз в разные годы я со смешанным чувством удивления и сожаления думал об этих искренне, но бессмысленно сопротивлявшихся в тылу у поэзии Твардовского островках ее непонимания и невосприятия, когда читал или изустно слушал мнения порою крупных поэтов, продолжавших относиться к ней как к чему-то специфически деревенскому, не имевшему отношения к их собственному душевному опыту.

Что до меня, то я благодарен судьбе за то, что не запер уши и наравне с большинством читателей Твардовского еще в довоенные годы услышал этот сильный и чистый голос.

Добавлю, уже как частность,— то изумление и даже оторопь, которые я профессионально испытывал, читая и перечитывая «Страну Муравию» и видя, как свободно, без всяких проторей и убытков в стихе, владеет Твардовский труднейшим в поэзии мастерством повествования, имели прямые последствия для моей собственной работы. Мне, без достаточных оснований, представлялось в те годы, что я сам на пороге овладения мастерством создания сюжетной поэмы. Первые опыты вроде бы дали некоторое подтверждение этому. Но когда от исторических тем я перешел к повести в стихах о юности своего поколения, то, лишь написав много тысяч строк и поставив точку, я осознал, что задуманное не вышло, что этого я не умею, и именно «Страна Муравия», сам факт ее присутствия в моей памяти, помогла мне тогда

отказаться от этой своей работы как от повествования в стихах. Выбросив из нее две трети, я оставил для печати лишь то, что сравнительно удалось, то, что несло в себе лирическое начало.

Я отвлекся в сторону и заговорил о собственной работе потому, что это решение было очень важным для меня тогда, осталось важным на долгие годы, а в своей первооснове связывалось с моим восприятием поэзии Твардовского.

Хорошо помню, какое впечатление в литературных кругах в начале 1939 года произвело награждение Твардовского. Он оказался среди очень немногих, наиболее известных русских писателей, награжденных орденом Ленина. Впечатление было далеко не однозначным. Была и ревность, и вопрос — не рано ли? Но в самом молодом поколении, к которому принадлежал тогда я, удивления в общем не было. За этим фактом для нас стояло как бы признание старшинства Твардовского. Не возрастного, а внутреннего. Признание его первенства среди многих других поэтов не только нашего, но и старших поколений.

В те давние годы я больше встречался с поэзией Твардовского, чем с ним самим. Встречался, конечно, и с ним, но хочу обойтись без натяжек. Наверное, не нужно силиться для полноты картины вспоминать то, что не врезалось в память настолько, чтобы вспоминать без усилий.

Стихи Твардовского для меня значили тогда намного больше, чем его личность. Я гораздо отчетливее помню, как читал их, чем как видел его. А оставшееся с тех времен ощущение личности Твардовского сложилось у меня не столько из впечатлений о собственных встречах, сколько из того, что я слышал от людей, соприкасавшихся с ним в годы его занятий в ИФЛИ — в Институте философии, литературы и истории,— куда он пришел как студент, будучи уже известным поэтом.

С осени 1938 года и до отъезда на Халхин-Гол летом 1939-го я сам был аспирантом ИФЛИ и слышал много разговоров о Твардовском. ИФЛИ гордился им. И гордился не так, как гордятся тенором или вундеркиндом, а основательно, как человеком, которого ни профессия поэта, ни признание, ни слава не смогли переменить в его отношении к институту, где он учился. Пришедшая к нему слава нисколько не поколебала его серьезного и строгого отношения к тому понятию необходимой для писателя образованности, в которое он вкладывал очень много. Он не манкировал занятиями и не делал себе тех легкодоступных послаблений, до которых были так охочи некоторые из нас, успевших выпустить по первой книжечке стихов, студентов Литинститута. Став выдающимся поэтом, он оставался выдающимся студентом, с упорством продолжая идти к поставленной цели и с блеском за-

вершив образование в лучшем по тому времени гуманитарном высшем учебном заведении страны.

Об этих чертах личности Твардовского я слышал тогда от многих людей, с большим уважением относившихся и к его серьезному образу жизни, и к его серьезным занятиям.

Бывает в жизни и так, что узнанное с чужих слов становится частью твоих собственных представлений о личности человека. Так это было и с моим представлением о личности Твардовского.

Думается, годы занятий в ИФЛИ были весьма важны для него: если они и не заложили — все это заложено было гораздо раньше,— то, очевидно, окончательно сформировали в нем строгое отношение к знаниям, отличавшее его на протяжении всей жизни. Не раз потом при встречах с Твардовским, в том числе в последние годы его жизни, мне приходил на память ИФЛИ, то, с каким тщанием он занимался тогда, и то, какое это имело на него влияние.

Летом 1939 года я впервые попал на «малую» войну в Монголию, на Халхин-Гол; вслед за этим оказался в Западной Белоруссии; потом, не успев попасть на финскую, почти до самой Отечественной войны занимался на курсах военных корреспондентов.

После Халхин-Гола я уже не жил так всецело поэзией, как в предыдущие годы. И жил по-другому, и о ближайшем будущем думал вполне определенно — как о войне.

С Твардовским встречался несколько раз мельком — и перед финской, и после нее.

Из стихов, связанных с финской войной, больше всего запомнились тогда стихи Алексея Суркова. Они поддерживали мое собственное ощущение войны как трудного, кровавого и долгого дела.

Стихи Твардовского о финской войне прошли как-то мимо меня. Более важным фактом для моего отношения к Твардовскому были не его тогдашние стихи о войне, а то, что он пробыл всю эту «незнаменитую» войну на Карельском перешейке. В том предчувствии будущего, которым я тогда жил, это казалось особенно существенным. И лишь несколько лет назад не стихи того времени, а фронтовые записи Твардовского, которые он вел на Карельском перешейке, открыли мне все скрытое напряжение духовной жизни, какою жил он тогда, в преддверии надвигавшегося на нас трагического будущего, та нелегко давшаяся ему духовная подготовка к этому будущему, которая без прикрас, во всей своей трезвой суровости, встает со страниц записей.

Конечно, строки Твардовского, одни из самых удивительных по силе, «На той войне незнаменитой...» могли быть написаны только во время или после «знаменитой» — после Великой Отечественной войны. И сам эпитет «незнаменитая»

война мог появиться только на ней или после нее. Но первоначально почувствовано это было тогда, в сороковом году, на Карельском перешейке. И то, как это было почувствовано еще тогда, многое определило в дальнейшем.

«На той войне незнаменитой...» я прочел гораздо позже, чем «Я убит подо Ржевом...». Но хотя по срокам встречи с ним оно для меня, читателя, оказалось позднейшим, по срокам чувств у Твардовского оно предваряло «Я убит подо Ржевом...». И так же, как и многое другое, было отстоявшейся в душе заготовкой на будущее.

В годы Великой Отечественной войны, если меня не обманывает память, у меня было всего две мимолетных встречи с Твардовским, обе в Москве, на перекладных с фронта на фронт. Во фронтовой обстановке война нас так ни разу за все четыре года и не свела. И все значение постоянной впряженности Твардовского в войну, от начала и до конца ее, сознавалось не через личные встречи с ним, а через все прибавляющиеся главы его «Василия Теркина». И через их прямое и через их косвенное воздействие. Еще не законченная книга не только становилась на наших глазах частью народного духа. Больше того — через читавших, а порой и знавших ее наизусть, еще продолжавших воевать людей она делалась как бы неотъемлемой частью самой войны.

Наверное, я бы наложил свое последующее восприятие на первоначальное, если бы сказал сейчас, что уже по первым прочитанным главам ощутил весь масштаб замысла, всю глубинную силу правды о войне, во имя которой была замышлена поэма.

Правда о первых прочитанных главах состояла в том, что я как поэт столкнулся с чем-то недоступным для меня. Сомневаться не приходилось. Именно тогда, во время войны, я написал несколько стихотворений, которые тоже читались наизусть и переписывались и которые я люблю и поныне. Но трезвое чувство сравнительных масштабов сделанного не покинуло меня, когда я прочел первые главы «Теркина». А где-то в 1944 году во мне твердо созрело ощущение, что «Василий Теркин» — это лучшее из всего написанного о войне на войне. И что написать так, как написано это, никому из нас не дано.

Об этом своем ощущении я написал Твардовскому по его фронтовому адресу:

«Дорогой Саша! Может быть, тебя удивит, что я тебе пишу, ибо в переписке мы с тобой никогда не были и особенной дружеской близостью не отличались. Но тем не менее (а может быть — тем более) мне непременно захотелось написать тебе несколько слов.

Сегодня я прочел в только что вышедшем номере «Зна-

мени» все вместе главы второй части «Василия Теркина». Мне как-то сейчас еще раз (хотя это думается мне и о первой части) представилось с полной ясностью, что это хорошо. Это то самое, за что ни в стихах, ни в прозе никто еще как следует, кроме тебя, не сумел и не посмел ухватиться. Еще в прозе как-то пытались, особенно в очерках, но в прозе это гораздо проще (чувствую по себе). А в стихах никто еще ничего не сделал. Я тоже вчуже болел этой темой и сделал несколько попыток, которые не увидели, к счастью, света. Но потом понял, что, видимо, то, о чем ты пишешь,— о душе солдата,— мне написать не дано, это не для меня, я не смогу и не сумею. А у тебя получилось очень хорошо. Может, какие-то частности потом уйдут, исчезнут, но самое главное — война, правдивая и в то же время и не ужасная, сердце простое и в то же время великое, ум не витиеватый и в то же время мудрый — вот то, что для многих русских людей самое важное, самое их заветное,— все это втиснулось у тебя и вошло в стихи, что особенно трудно. И даже не втиснулось (это неверное слово), а как-то протекло, свободно и просто. И разговор такой, какой должен быть, свободный и подразумевающийся. А о стиле даже не думаешь: он тоже такой, какой должен быть. Словом, я с радостью это прочел.

Пока что за войну, мне кажется, это самое существенное, что я прочел о войне (в стихах-то уж во всяком случае)...»

Твардовский вскоре ответил мне письмом, которое, думаю, правильно будет привести здесь:

«11. III. 44

Дорогой Костя! Сердечно благодарю тебя за твое письмо, оно меня тронуло и порадовало: в наше время люди забывают иногда о таких простых и нужных вещах, как выражение товарищеского сочувствия работе другого, хотя бы она и была иной по духу, строю, чем твоя. Мне жаль, что ты знакомился со второй частью «Теркина» в отрыве от первой (никаких вообще «частей» в книге не будет), но я покамест не имею другого, кроме первой части, издания, и к тому же она уже во многом не соответствует последнему варианту. Буду рад подарить тебе книгу, когда она выйдет более или менее полностью, а пока что хотел бы получить от тебя твою книжку стихов — гослитиздатовскую. Жму руку. Еще раз спасибо.

А. Твардовский»

В тоне ответа Твардовского на мое письмо присутствовала та определенность и строгая сдержанность, которая вообще отличала и его речь, и его письма во всех случаях, когда дело касалось литературы и других серьезных для него предметов.

Уже после смерти Твардовского я имел возможность вновь убедиться в этом, по обязанности председателя комиссии по литературному наследию читая некоторые из писем, связанных с его редакторской деятельностью. Тогда, в 1944 году, отвечая на мое письмо, он счел нужным с достаточной определенностью сказать о моей работе как об иной по духу и строю, чем его собственная.

Так оно и было тогда, так осталось для него и потом. Даже в последние годы его жизни, когда мы с ним были в наиболее тесных отношениях, его добрые чувства ко мне не делали для него ближе мою работу. Он неизменно отзывался о ней так, как она, на его взгляд, того заслуживала, не золотя пилюли, если в такой пилюле была, по его мнению, необходимость.

Говорю об этом как о прекрасном, но, к сожалению, не частом в нашем кругу свойстве. Ставя в литературе выше всего ее правдивость, Твардовский распространял это правило и на правдивость суждений о литературе. Строгое требование правды, обращенное к литературе в целом и к тем ее произведениям, с которыми он сталкивался как редактор, было с тою же строгостью обращено им и к самому себе, ко всему, что выходило из-под его пера, в том числе и к письмам, затрагивающим общественные и литературные проблемы, содержащим его оценки сделанного другими.

Я не считаю, что он всегда бывал прав в своих оценках, но его мнение всегда было определенно. Искреннее и твердое убеждение в своей правоте и чувство ответственности стояли за каждым написанным им в письме или отзыве словом. О такую определенность иногда можно было и ушибиться, но ее нельзя было не уважать. Эта черта, свойственная Твардовскому как деятелю литературы, дорого стоила: она свидетельствовала о силе и цельности его личности.

С той военной поры и доныне много раз перечитанный за эти десятилетия «Теркин» остался для меня самым главным и сильным впечатлением от поэзии Твардовского. Сказанное не значит, что я ставлю «Книгу про бойца» выше позднейших и — каждая по-своему — прекрасных поэм Твардовского. Поэзия Твардовского вообще не рождает желания, утверждая одно, отрицать другое; она слишком сильна и слишком едина в своем поэтическом волеизъявлении, да и попросту слишком хороша для того, чтобы мысленно пускать его поэмы по соседним беговым дорожкам, выясняя, какая какую обойдет. Дорога всегда была одна, никаких соседних и боковых не было: дорога от него — к нам. От поэта — к нашим, читательским душам. А что из посланного им за его жизнь по этой прямой дороге с наибольшей силой толкнулось в твою душу, зависит не только от него, но и от тебя, от твоего восприятия и поэзии и жизни.

Я говорю лишь о том, что в мою собственную душу с наибольшею силою толкнулся, или — хочется употребить более сильный глагол — вторгся именно «Василий Теркин».

Потом в куда более заскорузлом для потрясения поэзией, немолодом возрасте с тою же силой вторглась в мою душу лирика Твардовского последних лет. И поразило не то, как она написана, хотя и это поразительно, а то, как в ней п о д у м а н о о жизни, с какой глубиной, печалью и мужеством, заставляющими заново подумать о самом себе, о том, как живешь и как пишешь.

Возвращаясь к «Василию Теркину», хочу добавить, что из памяти почему-то и до сих пор не выходят некоторые литературные разговоры и споры той поры, когда поэма вышла в свет. Иногда в них сквозило желание умалить то, что сделал и продолжал делать Твардовский своим «Теркиным». Не обходилось без размышлений на тему, что такое «общечеловеческое», что такое «крестьянское», что такое «советское» и что такое «русское». Причем «крестьянское» и «русское» отдавалось «Теркину», а «советское» и «общечеловеческое» оставлялось на долю других литераторов и других произведений.

Отзвуки этих разговоров и споров вспыхивали и потом. Помню, в частности, наши яростные дружеские споры по этому поводу с Назымом Хикметом, за плечами которого была собственная удивительная поэзия, полная глубокого общечеловеческого содержания и при этом неотъединимо несшая в себе присущие ей национальные черты. Как это ни странно, мы так и не могли сговориться с Хикметом в оценках «Василия Теркина». При всех признаваемых им поэтических достоинствах для него это была чисто русская, и прежде всего крестьянская, поэма, а для меня — общечеловеческая.

А впрочем, может быть, и не так уж странно. Порою как раз крупные таланты, ведя в поэзии огонь в собственном, однажды выбранном направлении, теряют то боковое зрение, без которого их взгляд на поэзию делается и неполным, и несправедливым. Помню, как сам Твардовский, например, искренне и последовательно отрицал не масштабы дарования, а масштабы значения Маяковского в нашей поэзии, считая самое структуру его поэтики чуждой русскому стихосложению.

* * *

Случилось так, что после конца войны я почти год пробыл в долгих зарубежных командировках и московская послевоенная литературная жизнь началась для меня только с осени 1946 года. Еще во время войны Твардовского и меня

ввели в Президиум Союза писателей. А вернувшись в Москву, я вдобавок стал одним из секретарей Союза.

Говорю здесь об этом потому, что наши встречи с Твардовским с 1946 до 1949 года были связаны главным образом с моим и его участием в работе Союза писателей — и чаще всего с заседаниями Президиума, посвященными очередным выдвижениям тех или иных книг на соискание Сталинских премий.

Об этом стоит хотя бы кратко вспомнить, потому что и присутствие Твардовского на этих обсуждениях, и его участие в них были фактом весьма существенным в литературной жизни того времени. О тех произведениях, которые он читал по собственной охоте или по щепетильно соблюдаемому им правилу никогда и ни о чем не судить понаслышке, у него бывало твердо сложившееся собственное мнение, которое, будь оно положительным или отрицательным, он обычно высказывал без обиняков.

Он был в нашей среде одним из тех, кто при характерном для того времени общем ослаблении художественных критериев и увеличении количества премий соблюдал довольно суровый уровень публичных литературных оценок. У меня осталось впечатление, что он даже испытывал удовлетворение от сознания, что нетребовательные к себе литераторы боятся его суждений при оценке художественного достоинства многих весьма далеких от совершенства книг. На каком-нибудь заседании, где обсуждались и превозносились произведения заведомо слабые, и само присутствие Твардовского, и возможность его выступления заранее воспринимались с тревогой. Он любил в таких случаях наводить страх божий и не лез за словом в карман. И делал это даже, когда не так-то просто было, не обращая внимания на разные привходящие обстоятельства, сохранить строгость собственных художественных критериев и напомнить о них публично.

Может быть, то, что я собираюсь сказать, уместнее выглядело бы в воспоминаниях о Фадееве, но мне все-таки хочется, хотя бы коротко, вспомнить здесь о немалом влиянии, которое, по моим наблюдениям, имел в те годы Твардовский на Фадеева.

Годы эти были годами их дружбы, начавшейся еще до войны. Твардовский высоко ставил Фадеева как художника. Без этого для такого человека, как Твардовский, дружба с таким человеком, как Фадеев, была бы затруднительна. Что касается Фадеева, то он уже давно был подлинным, в самом высоком смысле этого слова, поклонником поэзии Твардовского.

Вдобавок к этому в личности Твардовского были некоторые близкие натуре Фадеева человеческие черты. Его притягивало к Твардовскому и народное начало его личности и

творчества, и сила натуры. В то сложное время на плечах Фадеева лежали сложные литературно-политические обязанности. И, в частности, ежегодно — обязанности, связанные с необходимостью оценок литературных произведений, выдвигаемых на премии.

Требования текущего дня, порой верно, а порой и неверно трактуемые, случалось, входили в противоречие с собственными критериями художника, с собственными эстетическими оценками. И Фадеев на моих глазах не раз оказывался перед лицом таких противоречий, иногда отступая перед ними, прибегая к литературной дипломатии, а иногда до конца продолжая стоять на своем.

Думаю, не ошибусь, сказав, что при отношениях, сложившихся в ту пору между ним и Твардовским, Твардовский не раз оказывался для него барометром истинных литературных оценок. Непосредственными помощниками Фадеева в Союзе писателей были другие люди, в их числе и я, но не сомневаюсь, что самым душевно важным для Фадеева человеком в литературной среде был тогда именно Твардовский. И особенно явственно это чувствовалось, когда возникала наиболее трудная проблема для личности, наделенной большими правами, но при этом остающейся личностью художника,— как поступить? Посмотреть сквозь пальцы на явное художественное несовершенство той или иной книги или выставить ей именно ту невысокую отметку, которой она заслуживает, несмотря ни на какие привходящие обстоятельства? Имею все основания думать, что мнение Твардовского в подобных случаях не только много значило для Фадеева, но иногда имело и прямое влияние на него.

Свои собственные отношения с Твардовским в то время я не могу назвать близкими — это не соответствовало бы истине,— но строгость его литературных оценок и та прямота, с какой он их публично высказывал, имели известное влияние и на меня. Не преувеличиваю меры этого влияния, но оно было, и оно запомнилось.

Запомнилось и чисто зрительно: угрюмо-насмешливое, подпертое рукой, откуда-то сбоку глядящее на тебя укоризненно лицо Твардовского в те минуты, когда ты преувеличенно хвалишь что-то, что на самом деле не след бы хвалить. Воспоминание, очевидно, существенное для меня — иначе навряд ли вспомнил бы это через столько лет.

В те же первые послевоенные годы у меня вышло, кажется, единственное на памяти столкновение с Твардовским, которое не стоило бы вспоминать, не будь у него эпилога.

Твардовский как-то заехал ко мне домой в том иногда посещавшем его настроении, когда он любил задираться и по делу, и без дела, поддевать собеседников, притом привыкнув, что это в таких случаях сходит ему безнаказанно. В ту

пору я уже стал редактором «Нового мира», и у меня сидела в гостях одна из сотрудниц журнала, бывшая моим другом еще с юных лет, со студенческой скамьи.

Вскоре после прихода Твардовского мы втроем поспорили о каких-то напечатанных в журнале стихах, и Твардовский остался в этом споре в одиночестве. Не знаю, уж почему это его так задело тогда, но он, вдруг прервав спор, сказал что-то уничижительное о моей гостье. Что-то вроде того, что можно было и не спрашивать о ее собственном мнении, после того как ее начальство, то есть я, уже высказалось. Это было обидно, а главное — настолько несправедливо, что я, поманив за собой Твардовского из комнаты в коридор, сказал, что ему нужно сейчас же пойти и извиниться.

Он долго молча, недоверчиво смотрел на меня, словно не понимал, как ему могли сказать такое, не ослышался ли он. Потом, поняв, что не ослышался, повернулся, надел шапку и ушел. Когда через несколько дней мы встретились с ним, ни я, ни он не вспомнили о происшедшем,— видимо, обоюдно сочли это лишним. И все-таки потом, при других обстоятельствах, Твардовский счел нужным сам вспомнить об этом.

Прошло много времени, редактором «Нового мира» был уже не я, а Твардовский, и та сотрудница журнала, из-за которой вышло у нас когда-то столкновение, уже несколько лет работала в «Новом мире» вместе с Твардовским. Я зашел по каким-то своим делам в «Новый мир», и вдруг Твардовский среди разговора о совсем других вещах, ничего не уточняя и не напоминая подробностей, посмотрев на меня, сказал:

— Как выяснилось, ты был прав тогда насчет...— Он назвал имя-отчество.— А я был неправ.

Сказал и вернулся к прерванному разговору.

Я бы не вспомнил здесь того маленького столкновения, если бы не эти слова Твардовского, сказанные спустя пять или шесть лет и свидетельствующие о такой важной черте его нравственного облика, как конечная, глубоко продуманная справедливость к людям.

* * *

В начале 1950 года возник вопрос о моем переходе из «Нового мира» в «Литературную газету»...

Я согласился пойти туда, а редактором «Нового мира» стал Твардовский.

Он стал редактором журнала, а я одним из авторов. Вскоре мы договорились с Твардовским, что роман о событиях 1939 года в Монголии «Товарищи по оружию», я, когда закончу, принесу в «Новый мир».

В таком решении сыграло свою роль и то, что Твардов-

ский пригласил к себе заместителем Анатолия Тарасенкова, через руки которого в предвоенные годы в журнале «Знамя» прошли почти все мои первые стихи и поэмы, так же как и большинство написанного Твардовским.

В 1951—1952 годах я принес в «Новый мир» сначала первую, а потом и вторую часть своих «Товарищей по оружию».

Роман этот, впоследствии сжатый мною с тридцати двух до девятнадцати печатных листов, все-таки и сейчас оставляет желать лучшего. А в ту пору, когда я в первоначальном виде принес его в «Новый мир», был вещью растянутой, рыхлой, а местами просто-напросто неумело написанной.

Были в нем, конечно, и тогда места и главы, продолжающие нравиться мне до сих пор, но к этому хорошему не так легко было продраться сквозь забивавшие его сорняки. Однако Твардовский отнесся к принесенной мною работе с интересом. Как я думаю сейчас, к тому было несколько причин.

Первая из них, и довольно горькая для меня, состояла в том, что — если не считать достаточно редких исключений — именно эти годы были, пожалуй, самыми трудными и неурожайными в нашей прозе. Вышло так, что как раз тогда особенно выбирать было не из чего, а пятнадцать — двадцать листов прозы все равно надо было печатать в журнале каждый месяц.

Вторая причина благожелательного отношения Твардовского к печатанию моего романа на страницах его журнала была связана с материалом романа. Материал был нов. Монгольская пустыня, далекая, известная большинству людей только по коротким тассовским заметкам, шедшая в обстановке военной тайны, малая, но жестокая и кровопролитная война, как-то вдруг после начала Великой Отечественной сразу заслоненная ею и оставшаяся у большинства лишь где-то в уголках памяти. В прозе о ней к тому времени еще ничего не было написано, и я в своем весьма далеком от совершенства романе впервые приоткрывал эту страницу истории, и приоткрывал довольно широко, относительно неплохо зная материал и опираясь кроме собственной памяти не только на документы, но и на разговоры с участниками событий, знавшими намного больше меня. В числе их был и Георгий Константинович Жуков.

В данном случае я упомянул о нем не только потому, что он командовал группой советско-монгольских войск, разгромивших на Халхин-Голе японцев, но и потому, что еще одной из причин благожелательного отношения Твардовского к роману были понравившиеся ему главы, связанные с изображением командующего нашей армейской группы. Он был назван в романе просто «командующим», но я бы покривил душой, сказав, что прямо назвать Жукова Жуковым мне по-

мешало время, когда я писал роман. Помешало другое — я писал роман, а не документальное сочинение. Писал о событиях, участниками которых были мои современники, и еще тогда взял для себя принцип, которого держался и впоследствии: выводить в таких случаях на сцену только вымышленных героев, хотя бы за ними иногда и прощупывались реальные исторические лица.

Однако, принимая этот принцип, Твардовский был доволен моей решимостью изобразить именно в то время как всецело положительную фигуру командующего, за которым не только по должности, но и по характеру не мог не угадываться Жуков. Твардовскому это казалось справедливым, а стремление к справедливости было связано со всем его образом мыслей.

У меня сохранилась датированная июлем 1952 года стенограмма обсуждения второй части романа, в котором деятельное участие принимал Твардовский. Эта рабочая запись свидетельствует о характере редакторской работы, об искренности, прямоте и доброжелательной строгости Твардовского. И мне хочется привести здесь некоторые из его тогдашних высказываний.

«...Скажу, что, как говорят в плохих прописях, первая часть жизни всегда лучше второй части жизни, потому что первая всегда что-то обещает,— так первая часть на меня произвела большее впечатление, чем вторая. Это я должен сказать с совершенной искренностью...

На всей второй части лежит отпечаток некоторой, я бы сказал, торопливости, то есть первая часть мне представляется как читателю,— а я не только редактор, но и читатель,— более отточенной в смысле языковом, в смысле фразеологическом, в смысле писательского мастерства. Вторая часть в этом смысле меня во многом огорчила...

Если мы начнем печатать первую часть, по которой есть наши замечания и которая гораздо чище, то вторая часть требует доработки, с перышком надо пройтись, фразу за фразой...

К этому и сводится мое предложение — насчет отшлифовки, очистки от всякой словесной перхоти, причем иногда и фразеологической, то есть нужно целые фразы иногда вычеркивать.

Общий тон хороший, главы есть замечательные,— например, главы с поимкой японских шпионов, вообще вся эта степь — это чудесно, но немножко отчетливей нужно сказать: что же они делали там?

...Ты живешь в романе в 1939 году, и ты этого должен держаться. У тебя слишком умны иногда люди. Синцова мобилизовали в сентябре, и он уже все понимает! Даже Маша строит жизнь в соответствии с большой войной. А каким

было бы прекрасным решением, если бы она задумала посадить что-нибудь в саду к приезду Синцова. То есть — все наоборот! Никто же ничего не знал тогда!..

Я был человеком, окончившим высшее учебное заведение и мобилизованным 15 сентября, и я понять ничего не мог...

У тебя хорошо, когда люди из боя, из монгольской степи, говорят, что — заключен договор.

Ты должен их устами показать, что они понимают мудрость советской политики. Значит, нападения не будет? Так? Но ты наделяешь людей слишком большой прозорливостью, которая не свойственна им...

Речь идет о том, что мы не знали тогда многого такого, что знают твои герои. Они знают слишком много.

Я считаю, что вещь удалась... Этот роман — обещание. Ты начал очень спокойно и уверенно, как будто говоришь читателям: «Я вам расскажу историю некоторых моих друзей. Я вам расскажу, как некоторые люди учились, жили, были военными, приехали на границу, и когда на границе был конфликт, вот что там произошло. Но я вам это рассказал накануне каких-то больших событий. А после этого начнется что-то очень большое...»

Художника надо все время держать в мобильном состоянии. Он не должен быть один с самим собой. Говорите ему самое резкое, что только можете, и от этого ему будет только польза. Сейчас художник нуждается в том, чтобы ему говорили все абсолютно. У него идет изумительный процесс. Он еще не простился с этой вещью. Когда она будет напечатана и выйдет отдельной книгой, он займется работой над следующей частью, и тогда он может сказать, что вообще эта книга у меня слабая...»

Так говорил Твардовский в 1952 году, в общем положительно относясь тогда к моему роману и в то же время словно предугадывая мое собственное будущее недовольство сделанным, заставившее меня вновь и вновь возвращаться к работе над «Товарищами по оружию» уже через много лет после их публикации в «Новом мире».

Вслед за романом я переписал наново свою довоенную пьесу «История одной любви», о которой вспоминаю сейчас только потому, что это дает мне возможность привести здесь очень поучительное, характерное для Твардовского письмо с отказом напечатать эту пьесу в «Новом мире» и с объяснением причин такого решения.

«Внуково 15. VII. 53

Дорогой Костя! Я, м. б., не дозвонюсь до тебя в предотъездный день, поэтому вкратце излагаю свое впечатление от пьесы, прочитанной мною одним махом. Она действительно

«легко читается» и даже «легко писалась»,— это можно о ней сказать с несравненно большей справедливостью, чем было сказано о твоем лучшем большом и серьезном труде. Но и здесь, говоря «легко читается», я не хочу сказать это в дурном смысле. Это достоинство, и достоинство, не так часто встречающееся у нас. В ее незамысловатой, отчасти наивной (это все дань молодости, но пьеса-то все же та, которая была написана 12—13 лет назад) конструкции, немногочисленности дейст[вующих] лиц, отчетливости положений, незагроможденности побочными мотивами и т. п.— ее очевидные преимущества перед многими современными драматургическими построениями. Это все так. И ничего дурного нет в том, что ты возвратился к ней, переписал ее набело (я говорю «ничего дурного», потому что резко отрицательно отношусь к той распространившейся моде переделок и перелицовок вещей четвертьвековой давности до 25% нового текста,— об этом мы в Н. М. будем однажды писать на одном из избранных примеров), [решил] дать ее вновь на сцену, включить в собрание сочинений и т. п. Но боже тебя упаси публиковать ее в журнале, не только в Н. М., где она просто не пойдет, но и в каком-либо ином месте. Это будет несолидно, в духе поветрия, которое в этом смысле уже принесло десятки подобных случаев на базе неписанья нового — желания хоть как-нибудь напомнить о себе, получить гонорар — вплоть до примера А... ой — помнишь!

После «Товарищей по оружию», вещи, перенесшей тебя в иной горизонт, горизонт более глубокого залегания, чем все твое прежнее (кроме, м. б., рассказов и отдельных очерков), нельзя тебе появляться в этом перелицованном костюмчике, где при всей его отглаженности боковой кармашек все же перешел на правую сторону,— нельзя, не советую.

О многом еще я могу сказать при встрече, при беседе, но писать много мне некогда сейчас. Одно скажу, не вижу я истинно творческой необходимости этой переделки. Как это можно вдруг обратить внимание людей — читателей, зрителей — к этой «проблеме», минуя годы и потрясения, занимающие их (людей) души вчера и сегодня! Это — «профессиональное». Это вроде как бы «отдохнуть» от сложности и пр. Но в творчестве отдыха нет даже там, где создаются вещи для отдыха, для легкого потребления. Вот что, примерно, обязывает меня сказать тебе моя уверенность в тебе — писателе, обязанном к свершениям уже не ниже «Товарищей»,— не то что не ниже или не выше, а вернее, не жиже.

Твой *А. Твардовский*»

Истинно товарищеская строгость этого письма Твардовского, его настойчивое и терпеливое желание объяснить мне, почему он не только не может напечатать мою пьесу, но и

почему я не должен стремиться к ее публикации в журнале, произвели на меня большое впечатление. Я еще не остыл от пьесы, перечитывая письмо Твардовского, вновь и вновь принимался мысленно спорить с ним то по одному, то по другому поводу, но конечная правота его выводов все-таки переубедила меня.

К следующему, 1954 году относится встреча с Твардовским, когда, по-моему, я в первый и последний раз вслух читал ему свои стихи. Я уже пять или шесть лет почти не писал их и вдруг за два или три месяца, почти не отрываясь, можно сказать — за один присест, написал книгу стихов, потом названную мною «Стихи 1954 года».

Я был увлечен этой книгой и сам оценивал ее куда выше, чем она того заслуживала. Сказался многолетний перерыв в писании стихов, после такого перерыва особенно хотелось поверить в свою удачу. И я решился на то, чего, наверное, не сделал бы в другом случае. Решился прочесть всю книгу стихов вслух Твардовскому, которого заведомо считал не только строгим, но и далеко не всегда праведным судьей чужой поэзии.

В те годы я жил совсем рядом, через улицу от «Нового мира», и, зайдя туда перед концом рабочего дня, затащил Твардовского к себе — слушать стихи.

Он сел напротив меня за стол и, тяжело положив на него руки, немного нагнувшись вперед, стал слушать терпеливо и внимательно всю книгу подряд, не перебивая и не давая мне останавливаться. Когда я делал паузу между стихами, то встречался со взглядом, в котором ничего нельзя было прочесть.

— Давай дальше, дальше...

Так я прочел всю книгу.

Твардовский довольно долго молчал. Потом сказал:

— Конечно, если ты перед кем-то поставишь вопрос так: или все, или ничего,— поежатся, но в конце концов, на твою беду, напечатают все. Но позволь нам взять в наш портфель только то, что или хорошо, или почти хорошо. А все остальное — твоя воля, где и как печатать!

Он поговорил несколько минут об одном особенно понравившемся ему стихотворении, потом, припоминая или по названиям, или по смыслу и загибая неторопливо пальцы, назвал и другие стихи, которые бы он взял. В рукописи книжки было тогда стихотворений двадцать пять — тридцать, но для тех, что он выбрал, хватило пальцев на двух руках, еще остались и незагнутые.

— Ничего из других стихов не хочешь брать? — спросил я.

— Из других ничего не хочу,— сказал он, подняв голову, и посмотрел на меня прямо и очень внимательно.— Знаю,

можешь сказать мне в ответ, что я у себя в «Новом мире», бывало, и похуже того, от чего сейчас отказываюсь, печатал, и будешь прав. Но ведь ты сам редактор, сам знаешь, что когда номер пора в типографию, а выбрать не из чего, бывает, и дерьмо ешь, а говоришь — вкусно. Тут другой случай — есть что и из чего выбирать. Я и выбрал. А ты уж сам решай, обижаться тебе или не обижаться, соглашаться печатать у нас только это, а все остальное — где хочешь, или не соглашаться.

Я не обиделся и согласился, с той поправкой, что, поспорив немного, добавили к выбранным Твардовским еще одно или два стихотворения, которые я считал в числе лучших. Добавили, впрочем, только после того, как я прочел их еще по одному разу.

Твардовский сидел и слушал так же неторопливо и внимательно, еще по разу примеряясь к уже слышанным стихам.

За всем, что он говорил в тот вечер, стоял не высказанный на словах, но достаточно ясно услышанный мною призыв: не пользуйся ты, пожалуйста, сейчас тем, что ты на коне и что найдутся охотники пойти тебе навстречу, коли принесешь даже неважные стихи, пойми, что это не благо! А благо для писателя как раз наоборот: то нормальное положение, когда одно, что получше, у тебя возьмут, а другое, что похуже, не побоятся, вернут. Вот именно так, как я предлагаю тебе сейчас,— одно взять, а другое вернуть.

Я не повел себя так, чтобы Твардовскому пришлось вслух высказать мысли, которые я прочел за его словами. Обижать меня он явно не хотел, тем более что некоторые стихи ему понравились. Но если бы я поступил по-другому, то и он бы, не сомневаюсь, в свою очередь поступил по-другому, сказал бы вслух то, о чем подумал, обидеть бы не побоялся.

* * *

В начале осени 1954 года, когда шла подготовка ко Второму съезду писателей, я почти ежедневно сидел в Союзе. Твардовский зашел ко мне туда по делу, но не по собственному, а по чужому, писательскому. Если мне не изменяет память, речь шла о задержке с переизданием книги одного из старых хороших, но не пользовавшихся достаточным вниманием писателей.

Я обещал в меру своих сил помочь этому изданию. Твардовский, выслушав, кивнул...

Я знал: у Твардовского есть горькая обида на меня за то, что я сначала слушал в его чтении бо́льшую часть поэмы «Теркин на том свете» и хвалил ее, а потом, когда он завершил поэму и зашла речь о ее печатании, не только не поддер-

жал его, а, напротив, высказался против публикации поэмы в журнале.

Нелегко вспоминать о том, о чем позже сожалел. Но без этого печального для меня воспоминания не будет правдивой общей картины моих отношений с Твардовским. Его справедливая обида на меня еще несколько лет после этого стояла между нами...

С Твардовским в те годы я встречался редко; гораздо больше, чем с ним самим,— с его стихами, со все новыми главами «За далью — даль». Мне уже трудно понять сейчас, издали, почему так это вышло, но первые главы новой книги Твардовского не взяли меня в плен, так, как это было когда-то с первыми главами «Теркина». Некоторые куски только еще разворачивавшегося повествования показались мне тогда многословными. Больше того. С какой-то странной для меня сейчас слепотой я не почувствовал тогда всей жизненной значительности того разговора на литературные темы, который развертывался с читателем по ходу поэмы. И даже — было — хотел отозваться, написал «Литературные заметки» с критическими размышлениями вокруг первых глав поэмы. Написал, но, к счастью, не напечатал. К счастью потому, что в дальнейшем своем развороте новая книга Твардовского все больше и больше захватывала меня. Окончательный душевный перелом во мне произвела та глава, где я прочел ставшие историческими строчки: «Тут ни убавить, ни прибавить,— так это было на земле...» А когда все здание поэмы было неторопливо доведено Твардовским до конца, эта удивительная путевая книга стала для меня вторым по своему значению его произведением после «Василия Теркина».

Добавлю, что к этому времени я уже другими глазами вгляделся и в первые, когда-то не особенно понравившиеся мне главы. Вгляделся — и почувствовал их нравственную силу и меру значения в общем смысле.

Чтобы уже не возвращаться к этому, забежав вперед, скажу, что в середине 60-х годов мне захотелось эти слова из книги «За далью — даль»: «Тут ни убавить, ни прибавить» — сделать названием того документального фильма о начале Великой Отечественной войны, который я задумал вместе с писателем Евгением Воробьевым и режиссером Василием Ордынским. Слова: «Тут ни убавить, ни прибавить» — были не только названием сперва сценария, а потом и фильма почти на всем протяжении нашей работы над ним, но были как бы и высшим смыслом того, во имя чего мы делали этот фильм, постоянным напоминанием о том, как именно надо его сделать.

Мне до сих пор жаль, что в многотрудную пору выпуска этого фильма,— а вышел он на экран после долгих и жесто-

ких споров, — мне пришлось заменить строку Твардовского, первоначально стоявшую в заголовке фильма, строкою собственного стихотворения: «Если дорог тебе твой дом...». Стихотворение «Убей его» было тоже дорого мне памятью о самом трудном времени войны, но выбранная первоначально строка из «За далью — даль» намного больше отвечала сути сделанного нами фильма.

* * *

К началу 1958 года, после того, как я около трех лет снова редактировал «Новый мир», я надумал уехать на два-три года из Москвы в интересные для меня места, совмещая там писательскую работу с корреспондентской. В редакции «Правды» одобрили мое намерение поехать ее разъездным корреспондентом по республикам Средней Азии, а мои ташкентские друзья готовы были гостеприимно принять меня в Ташкенте, если я на эти два-три года переселюсь туда вместе с семьей...

Осенью 1958 года, уже живя в Ташкенте, я получил от Твардовского полусерьезное-полушутливое послание на бланке «Нового мира»:

«Дорогой Константин Михайлович!

Надеюсь, ты не станешь отказываться от тех слов, коими при передаче дел мне ты обещал журналу свое сотрудничество. Я их хорошо помню, есть и свидетели. Не откажи уведомить: что ты сможешь дать нам в 59 (хотя бы) году...

Желаю тебе всего доброго под ташкентскими кущами.

Твой *А. Твардовский*»

Весной 1959 года, помнится, в первый же день приезда из Ташкента в Москву, я зашел к Твардовскому в «Новый мир». Дел у меня не было, просто потянуло зайти в журнал. Твардовский был приветлив, шутил: как же я теперь буду представлен на близящемся съезде Союза писателей — как московский или как ташкентский писатель? Расспрашивал о моей работе в Средней Азии — где был и что видел... Я чувствовал его доброе отношение к себе, но не только это. В противоположность некоторым другим моим московским товарищам по профессии, он с серьезным одобрением относился к тому, что я на довольно долгий срок уехал в Среднюю Азию и, оторвавшись от привычной литературной жизни, с другим сталкиваюсь и о другом думаю. Он смотрел на это как на писательскую необходимость переменить на время жизнь, по-другому оглядеться вокруг и по-другому посмотреть на себя. Не выдаю то, что я сейчас сказал, за слова

Твардовского, но разговор с ним в тот день шел примерно об этом.

Вдруг, вспомнив среди этого разговора о Монголии, а вслед за ней и о своем романе «Товарищи по оружию», который я когда-то печатал в «Новом мире», у Твардовского, я поддался возникшему во мне душевному движению и, вытащив из портфеля, сунул Твардовскому в руки папку с рукописью, которую до этого вовсе не собирался ему давать.

— Возьми, прочти. И скажи, что думаешь об этом, только быстро, дня за три.

— Коли быстро, так послезавтра принесу прочитанную,— ответил он, кажется, почувствовав мое волнение.

— Пока не поговорим о ней — я тебе ее не давал, а ты ее не читал,— сказал я про рукопись.

Твардовский молча кивнул и положил рукопись к себе в портфель.

Рукопись была небольшая — первые двести с лишним страниц романа «Живые и мертвые», которые потом, в ту же весну, отдельно, с отрывом в несколько месяцев от всего остального — от продолжения и окончания романа,— были напечатаны в журнале «Знамя».

Это был трудный для меня момент. Роман был написан почти полностью, но все вместе как-то не укладывалось и не укладывалось... В конце концов я приготовил к печати эту небольшую рукопись — первые, больше всего нравившиеся мне самому главы. Я хотел убедиться в возможности напечатать их вот так, отдельно, и в чьей-то решимости это сделать.

Видимо, в тот момент такое самоутверждение было мне необходимо для окончания работы. По правде говоря, не знаю, отдал бы я тогда эту рукопись Твардовскому, если бы он обрадовался ей и попросил ее для «Нового мира». Наверное бы все-таки отдал, хотя в этом была бы известная неловкость перед «Знаменем», редакция которого читала год назад первую половину романа и вернула мне ее для доработки со многими замечаниями, в том числе и вполне справедливыми.

Но этот вопрос, который я ставлю перед собой сейчас, тогда, весной 1959 года, мне обдумывать не пришлось. Начало моего романа Твардовскому не понравилось, как он выразился — «не погляделось». Придя к нему через день, я сидел напротив него, и он, переворачивая рукопись лист за листом, огорченно говорил мне о своем недовольстве ею. А я сидел, слушал и все не мог взять в толк: чем он недоволен, что не так? Доводы его, высказанные мягко и с вполне очевидным доброжелательством, на этот раз меня не убеждали.

Терпеливо растолковывая мне, почему не понравилась

моя рукопись, где я, по его мнению, напрасно раздвоился — между романом и рассказом от первого лица,— Твардовский прибег даже к терминам из области теории литературы. Уверял меня, что я как-то неправильно с точки зрения технологии литературного мастерства смещаю точку зрения на происходящее, вижу одно и то же разными глазами... А я слушал и не мог ни согласиться с ним, ни понять его. Понимал только, что раз дело дошло до теории литературы, значит, при чтении рукописи был утрачен первоначальный непосредственный интерес к ней. А раз так, стало быть, не о чем и говорить!

Наконец Твардовский протянул мне мою рукопись с закладочками на многих страницах, со следами внимательнейшего чтения и, освободившись от нее, огорченно развел руками: мол, рад бы соврать тебе, да не могу, не имею права...

Я был не убежден в его правоте и огорчен. Он был убежден в ней и тоже огорчен. Таким огорченно провожавшим меня из редакции я и запомнил его в тот трудный, но не обидный для меня день, после которого осталось странное чувство: почему-то не поняли друг друга, а почему — неизвестно, почему...

Ни Твардовский, ни я никогда больше не возвращались к разговору о той рукописи. Так и осталось: я рукопись ему не давал, а он ее не читал.

Я вернулся из Средней Азии в Москву, а через несколько лет после этого Твардовский переехал из Внукова в писательский кооперативный дачный поселок на Пахре, и мы стали с ним там соседями.

Я писал роман и бо̀льшую часть времени работал за городом. А для Твардовского, хотя он и ездил регулярно в Москву, дом его в нашем дачном поселке стал постоянным местом жительства.

После моего возвращения в Москву мы и до его переезда сюда, на Пахру, были в добрых отношениях. А такое житейское обстоятельство, как соседство, сблизило нас намного больше. Точнее говоря, оно, это соседство, привело ко многим встречам и разговорам, постепенно ставшим как бы в обычае у нас обоих. А эти ставшие в обычае встречи и разговоры, должно быть, позволили лучше узнать и понять друг друга и тем самым привели к большей близости.

Близость эта, когда речь заходила о литературе, не исключала споров и несогласий в оценке тех или других произведений и лиц. Но если говорить о моем отношении к Твардовскому в ту пору, то самым главным было мое окончательно установившееся понимание всей крупности и незаурядности этой личности и всего значения ее в нашей литературе.

Я мог в том или другом не сходиться с Твардовским, и

это достаточно откровенно обнаруживалось в наших с ним разговорах. Но его понимание долга писателя, его понимание чести и достоинства литературы и ее предназначения в жизни общества, не раз высказанные им не только в разговорах, но и в статьях и выступлениях, в том числе с такой высокой трибуны, как съезд партии, были для меня бесспорны.

А что до наших личных бесед, то могу без обиняков сказать о том серьезном нравственном влиянии, которое имело на меня частое общение с Твардовским в последнее десятилетие его жизни.

В те годы, о которых я вспоминаю, Твардовский был, а потом перестал быть редактором «Нового мира». Все связанное с долгими годами этой работы и с последующим уходом из журнала, занимая огромное место в жизни Твардовского, естественно, занимало немалое место и во всех наших разговорах с ним, и в моей собственной душевной жизни...

* * *

В заключение одно воспоминание, связанное по времени с началом лета 1969 года. В небольшое приморское селение Гульрипши, где я всегда, когда это удавалось, уже в течение многих лет проводил по два-три месяца в году, приехал Твардовский вместе с женой, Марией Илларионовной, и устроился на жительство в двухстах шагах от меня, в домике местной жительницы тети Паши.

В Абхазии Твардовский был уже не впервые. В последние годы его связывали дружеские отношения с абхазским поэтом и прозаиком Багратом Васильевичем Шинкубой, и он, по совету и предложению Шинкубы, уже приезжал сюда, жил в домах отдыха и санаториях. На этот раз им захотелось пожить «дикарями» здесь, в Гульрипши, у самого моря, на еще не людном в начале лета берегу.

Твардовскому нравилось бывать в Абхазии. Он хорошо себя здесь чувствовал, отдыхал и, наверное, в ту меру, в какую это вообще было возможно, отрывался от тяготивших его мыслей. И мне казалось, что здесь это ему удавалось больше, чем где-нибудь в другом месте. Его интересовали поездки по селам Абхазии и неторопливые вечерние беседы с Багратом Васильевичем Шинкубой, который был знатоком истории и быта своего народа; Твардовский любил расспрашивать его об этом и подолгу внимательно и уважительно слушал его рассказы.

Квартируя в Гульрипши, у тети Паши, Твардовский вставал рано и сразу, с палочкой в руках, шел к морю. Похаживал там, пошвыривая палочкой гальку, купался, сидел на берегу, глядя на море... Так бывало каждый день, но заставал

я Твардовского на берегу всего два или три раза, в остальные дни обычно просыпал, потому что накануне допоздна работал над книгой «Последнее лето», с которой у меня что-то не ладилось. А что — я не мог понять.

Как-то, когда Твардовский заглянул ко мне, зашел разговор о моей работе, и я признался, что она не клеится. Уже в третий раз переписываю, как мне кажется, ключевую в первой части романа главу, а она все не выходит.

— А ты дай мне почитать,— сказал Твардовский и усмехнулся.— Знаю, что для «Знамени», а не для нас. Прочту просто так, по-соседски, через два или три дня.

Он прочел и после завтрака зашел ко мне с рукописью. Положив рукопись на стол, отозвался о ней сдержанно-одобрительно, что-то вроде того, что «в общем, получается, но многое еще сыровато, хотя, впрочем, ты, наверное, это и сам знаешь».

Что сыровато, я знал и сам и подтвердил это. Но меня мучало не это, а никак не выходившая глава. Это была глава о Сталине, следовавшая в рукописи романа сразу за той главой, в которой генерал-лейтенант Львов пишет свое письмо Сталину.

— А ты выкинь ее,— сказал мне Твардовский об этой главе уверенно и просто, как о чем-то совершенно ясном для него самого.— Она потому у тебя и не получается, что ее надо выкинуть. А как только выкинешь, сразу без нее все и получится!

Он усмехнулся понравившейся ему самому формулировке и стал после этого серьезно объяснять мне, почему нужно исключить из романа эту не удавшуюся мне главу.

— Все, что ты хотел в ней выразить, ты уже выразил в той главе, в том романе.— Речь шла о романе «Солдатами не рождаются».— А тут он у тебя в роман, по сути дела, не введен. Появляется лишь потому, что ему нужно прочесть письмо, которое ему кто-то написал. Недостаточная причина для появления столь серьезной фигуры. С такой серьезной фигурой и обращаться надо по-серьезному. А что касается твоего Львова, то он гораздо отчетливей проявит себя в романе как раз без этой главы. Без нее он больше заставит думать над собой читателя.

Я поблагодарил Твардовского и без колебания послушался его.

Глава вылетела из романа с той легкостью, с какой выскакивает только действительно лишнее. Так, словно ее никогда и не было.

В день рождения Твардовского, когда ему исполнилось пятьдесят девять лет, он и Мария Илларионовна вместе с Багратом Шинкубой, Иваном Тарбой и другими нашими общими друзьями поехали за десять километров от Гульрипши

в загородный ресторан. Мы ужинали под открытым небом, пили легкое местное вино «Изабелла», вкусно и неторопливо ели, наслаждаясь прохладой после дневной жары.

Наши грузинские друзья Нодар Думбадзе и Гульда Каладзе специально приехали к этому вечеру из Кутаиси и привезли с собой в подарок Твардовскому на день рождения чудо кулинарного искусства — целиком приготовленного козленка, внутри которого оказался жареный поросенок, внутри поросенка — жареный цыпленок, а внутри цыпленка, шутки ради, было положено вареное яичко. Сначала дружно смеялись над этим сюрпризом, а потом так же дружно взялись за работу над этим произведением кутаисской кулинарии.

Вечер этот был веселый, дружеский, без натяжек, без долгих тостов. За нашим разноплеменным столом сидели и люди, давно знавшие Твардовского, и люди, лишь недавно, здесь, с ним познакомившиеся, но общая атмосфера доброжелательства и уважения к нему объединяла весь стол. И он в тот вечер за этим согревшим ему сердце столом и сам показался каким-то немножко оттаявшим от забот и тревог, выглядел более молодым и менее усталым, чем обычно.

Это ощущение сохранилось у меня и на следующий день, когда уже поздно утром я вышел и застал Твардовского еще на берегу. Он стоял босой на теплой утренней гальке, глядел в море и о чем-то думал. То ли такое настроение у него было, то ли такое освещение, но лицо его показалось мне в то утро посвежевшим и помолодевшим.

Я подошел и заговорил с ним. Он отвечал мне приветливо, но односложно, и я почувствовал, что ему сейчас не хочется отвлекаться от чего-то занимавшего его ум. Я влез в воду и поплыл, а он продолжал стоять на берегу и глядеть на море, кажется, занятый все той же самой мыслью, от которой я своим появлением его только отвлек на минуту, но не оторвал.

В моей памяти, как, наверное, в памяти каждого человека о другом человеке, есть много Твардовских в разные часы его жизни. И сейчас у меня на памяти этот — босой, утренний, стоящий на морском берегу на следующий день после того, как он встретил там, далеко от Москвы, в Грузии, шестидесятый год своей жизни...

1974

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

ДРУГ МОЙ И ЗЕМЛЯК



окойного друга моего Александра Трифоновича Твардовского впервые увидел я в конце 20-х годов в городе Смоленске. В те годы Смоленск уже жил новой жизнью, но не утратил древней своей красоты. Ее придавали городу построенная Борисом Годуновым стена и крепостные высокие башни, которыми любовался я в юные годы моей жизни в Смоленске. В саду Блонье (старинное славянское название «Блонье» сохранилось с незапамятных времен) возвышался небольшой памятник композитору Глинке. Тут же, у городского сада Блонье, уцелело здание реального училища, в котором я некогда учился. Перестраивались окраины Смоленска, где стояли деревянные домики с садами и заборами, утыканными острыми гвоздями. Сохранилась широкая Молоховская площадь, на которой устраивались многолюдные ярмарки.

В редакции смоленской газеты я увидел молодого Твардовского, имя которого было еще мало известно. Там же я познакомился с молодым, но уже известным Исаковским, выпустившим свою первую книжку «Провода в соломе», которую он любезно прислал мне в деревню.

Помню, как гуляли мы по Лопатинскому саду, поднимались на высокий, заросший зеленой травою бастион, любовались крепостными стенами, далеким Днепром, протекавшим среди зеленых полей. У Рославлевского шоссе, соединявшего родину Твардовского со Смоленском, возвышалось красивое здание музея княгини Тенишевой. В музее были собраны редкостные картины. Неподалеку стоял маленький домик, в котором я жил в годы моего ученья в Смоленске.

Настоящее доброе знакомство с Твардовским установилось лишь в начале 50-х годов, когда вышла моя книга «На

теплой земле». Твардовский приезжал как-то в Ленинград, где я в то время жил. Он пригласил меня в гости к ленинградскому поэту Н. Брауну, у которого собрались знакомые Твардовскому люди. Мы сидели за накрытым большим столом. Твардовский много разговаривал со мною, хвалил мои рассказы. С этой давней ленинградской встречи завязалось наше близкое знакомство, перешедшее в дружбу.

Я переживал трудные времена. У нас погибли три дочери. Старшая умерла в Крыму шестнадцати лет от горловой чахотки, средняя — двадцати трех лет — утонула в озере на Карельском перешейке, где мы жили летом на даче. Младшая умерла в Гатчине в начале 30-х годов. Старшую дочь мы похоронили в Крыму, на старом ливадийском кладбище. Это были горькие и тяжкие утраты. От горечи этих утрат мы долго не могли оправиться.

После тяжелых событий, потрясших мою семью, летом мы приезжали в Калининскую область, где на берегу Волги, у старого леса, я построил себе маленький домик. Как-то в середине лета Твардовский приехал неожиданно ко мне в Карачарово — так называлась старинная усадьба и дом отдыха, неподалеку от которого был построен мой небольшой домик. Твардовскому полюбилось Карачарово, его природа, типичный русский пейзаж, сочетающий в себе лес, поля, луга и широкую Волгу. «Всю жизнь мечтал жить около воды»,— не раз говорил и писал мне Александр Трифонович. Мы встречались с Твардовским и в Москве, нередко он приезжал ко мне в Карачарово. Случалось, целые ночи мы просиживали у горевшего камелька, вели душевные разговоры. В письмах Твардовского ко мне много раз поминается Карачарово:

«...Должен сказать, что дни, проведенные в Карачарове, оказали на меня благоприятное действие: давление норма! Я, кажется, застряну в Барвихе еще недели на две, т. к. я расписался здесь, возможно, что вижу берег моих «Далей». Таким образом, я уже вряд ли застану Вас в Карачарове в конце, скажем, февраля, а очень бы мне хотелось побывать у Вас и пожить денек-два личной жизнью. Но пишу я Вам в надежде, что Вы откликнетесь и скажете, что еще посидите там,— то-то бы приятно мне в предвкушении этой экскурсии. Отзовитесь, дорогой Иван Сергеевич, хоть парой строчек. Имеете ли в виду встречать раннюю весну в Карачарове? Право, хотел бы (и это реально) заглянуть туда к Вам...»

Встречи с Александром Трифоновичем укрепляли нашу дружбу. Он присылал мне книги для рецензий, понуждал работать.

«...Дорогой Иван Сергеевич! Поскребите у себя чего-нибудь для «Нового мира», для «Дневника писателя», например. Там — полная необязательность в смысле формы и содержания, «свободный полет»: мелькнула мысль, наблюде-

ние, соображение — вот и занесено на бумагу, отделено черточкой от последующего. Наверное, у Вас есть хоть что-нибудь с зимы, не может быть, чтобы не было. А уж как я нуждаюсь сейчас в поддержке со стороны такого пера, как Ваше, об этом и говорить не приходится. Подумайте, дорогой и добрый друг, пожалуйста, прикиньте,— всякое даяние поистине благо...»

Я послал в «Новый мир» мои «Из записной книжки», и они были напечатаны в ближайшем номере.

Как-то я послал Твардовскому для журнала несколько страничек задуманной мною книги «Воспоминания». Конечно, это было немного, о чем мне и написал Александр Трифонович:

«Дорогой, милый Иван Сергеевич! Это — «Рассказы о детстве» — очень, очень хорошо, прочел с истинным удовольствием, но этого так м а л о, чтобы начать печатание. Это только экспозиция, как говорится, преддверие какого-то большого повествования. Я уверен, что оно будет, но начать только этим невозможно. Спасибо Вам за Ваше умное и такое доверительное письмо. Какой Вы настоящий и серьезный художник!

Любящий Вас *А. Твардовский*»

Я высоко ценил поэтический дар Александра Трифоновича и как-то написал ему об этом. В ответ я получил следующее письмо Твардовского:

«...Прочел по приезде Ваше доброе и такое лестное письмо,— спасибо, спасибо, дорогой Иван Сергеевич! Я очень рад, что свое впечатление от Вашей «Теплой земли» высказал до того, как получил это письмо, а то показалось бы, что я под его воздействием, т. ск. в ответном порядке, говорил Вам свои слова. Хотя это, конечно, пустяки,— между серьезными людьми такие условия высказываний не должны иметь силы. Крепко, крепко жму Вашу большую и отечески добрую руку.

Вспоминаю о Вас, дорогой Иван Сергеевич, все с большей к Вам любовью. Иной раз кажется, что, несмотря на некоторую разницу возраста, мы с Вами люди как бы одного поколения. Есть вещи, которые могут быть понятны только нам с Вами, хотя и редко мы встречаемся и в разговорах говорю-то, собственно, я, а Вы только умно и чутко молчите — за редкими и всегда приятными исключениями. Обнимаю Вас крепко, дорогой друг, и очень хочу, чтобы Вам стало лучше.

Ваш *А. Твардовский*»

Как-то, будучи в Москве, я завез для Александра Трифоновича мои книжечки и был рад получить от него доброе письмо:

«...В редакции не был до недавних дней, поскольку с I.IX уже в отпуску, а тут заехал и нахожу Ваш дорогой дар — четыре томика Ваших сочинений. Что же это Ваши издатели не смогли выдержать четырех томов в одном цвете?! Конечно, мне ясно, что тут и Ваша вина: пусть, мол, не все ли равно. С. Я. Маршак — тот восстание бы поднял и силой заставил бы Гослит сделать все, как положено. Но что же теперь сетовать, по правде говоря, я и сам не считаю это большой бедой. Все ведь в том, ч т ó в томиках заключено, а там настоящая русская литература, которая, к сожалению, иногда забивается сорняками. Говорю это с грустью, но и с гордостью за Вас, писателя, который мало по объему написал (придется добавлять, Иван Сергеевич!), но не поступился ни разу благородными заветами отцов наших, великих стариков русской литературы.

Был в Загорье, смотрел, слушал — жизнь вроде лучше, по крайней мере сытнее. Все выкошено, все убрано. Невероятный урожай яблок на Смоленщине; у брата Кости в саду падалицами сплошь завалено все, и девать яблоки некуда, никто их не покупает, не заготовляет, свиньи едят только в виде десерта после картошки или какой-нибудь мешанки. И невесело как-то. В детстве нам яблоки снились и грезились наяву, их мучительно хотелось, и поедались они зелеными со своих яблонек, и редко доставалось их попробовать после Спаса, а тут такое их излишество, и мы, два почти что старика, почти что без зубов — поздно».

Когда я заболел, а Александр Трифонович узнал об этом, я получил от него трогательное, заботливое письмо:

«...Сейчас я совершенно здоров и очень, очень хотел бы, чтобы и Ваше, серьезное по-видимому, нездоровье сошло поскорей с Вас или, лучше сказать, вышло из Вас. По последнему Вашему письму я заметил, что Вы несколько подупали духом, а не надо, Иван Сергеевич, не надо поддаваться, ведь это все он, нечистый, старается, ему-то самая сласть, когда мы предаемся унынию и думаем, что все праздники кончились, остались одни будни. Нет, мы с Вами еще не только посидим у камелька, покурим за рюмочкой, но и предпримем какое-нибудь занятное путешествие. Все-таки нет ничего лучше родной земли с ее погодами, временами года, с ее красой и грустью, теплом, дождями и грозами, всяческим растением и цветением.

Милый и мудрый Иван Сергеевич, очень мне хочется сказать Вам, как я Вас люблю и уважаю, как высоко ценю Ваш талант, Ваш ум и сердце, как мне все понятно и дорого в Вас, честнейшем, красивейшем русском человеке, судьба которого не побаловала удачами на пути, но не сломила, нет, я знаю, что она не подмяла Вас и не подомнет. Поправляйтесь, отдыхайте, вздумаете и будет охота черкнуть мне — черкни-

те, не утруждаясь и не считая это обязательным по долгу вежливости,— мы с Вами можем строить отношения без этих условностей. Обнимаю Вас, дорогой друг.

Ваш *А. Твардовский»*

Нам с Твардовским и впрямь удалось осуществить «занятное путешествие», о котором он писал в предыдущем письме. Тогда я еще был бодр и зрение не покинуло меня. От жителей Карачарова я давно слышал о моховом болоте на левом берегу Волги. Среди огромного торфяного болота есть небольшие озера, называются они Петровскими. На песчаных островах посреди этих озер с давних пор живут люди, существуют небольшие деревни.

Только в сухое, засушливое лето можно добраться до Петровских озер. В дождливое и мокрое лето болото почти непроходимо. Из Петровских озер вытекает река Созь, впадающая в Волгу. Трудно пробраться по этой заросшей, перегороженной во многих местах реке до Петровских озер.

Меня давно привлекали загадочные, почти недоступные озера. Даже самым смелым и терпеливым туристам, охотникам и рыболовам редко удавалось на них побывать. Самое удивительное, что недоступные эти озера и непроходимое моховое болото находятся сравнительно недалеко от людной, шумной Москвы, от новых фабричных больших поселков и городов.

Мне и Твардовскому не раз рассказывали, что на островах Петровских озер живут особенные, не похожие на других люди, что в прежние времена эти люди якобы жили обособленной жизнью, не мешаясь с местным населением. Шофер Саша Корюшкин, работающий в карачаровском доме отдыха, коренастый и крепкий, добродушный человек, уроженец Петровских озер, рассказывал нам о сохранившихся там старинных обычаях, которые в других деревнях давно позабыты.

Однажды в очень сухое и засушливое лето мы с Твардовским собрались побывать на загадочных Петровских озерах.

Как описать удивительное и полное приключений короткое путешествие наше? Проводником и путеводителем вызвался быть шофер Саша, которого милостиво отпустил с нами директор карачаровского дома отдыха Борис Петрович. Благополучно переночевав в городе Калинине, утром мы двинулись в путь на машине на северо-восток Калининской области. В Калинине у шофера Саши были земляки с Петровских озер, собиравшиеся побывать там на свадьбе. Мы захватили их с собою — мужчину и женщину с грудным ребенком.

Ехали мы по незнакомой пыльной дороге, иногда оста-

навливаясь в селах и деревнях. На пути нашем то и дело встречались запустелые помещичьи усадьбы. Мы подивились обилию старинных дворянских гнезд в бывшей Тверской губернии. Дворяне, по-видимому, селились здесь поближе к знаменитому тракту, соединявшему наши столицы. С Александром Трифоновичем мы поговорили о том, кто только не езживал по этому прославленному пути между Москвой и Петербургом! Начиная от царя Петра, ездили по радищевской дороге цари и царицы, богатые помещики. Гоняли лошадей царские гонцы. Не раз проезжали здесь Пушкин и Гоголь. Да разве можно перечислить всех путников знаменитой дороги, на которой стояли дорожные станции со смотрителями и перекладными лошадьми, лихими ямщиками, валдайскими колокольчиками. И днем и ночью, зимою и летом двигались по радищевскому пути бесчисленные подводы. Сколько сложилось песен, сколько услыхали проезжие люди рассказов! Сколько было на пути торговых сел и бедных русских деревенек! Позднею осенью и весною подводы и барские экипажи утопали в непролазной грязи. Недалеко от Карачарова сохранилось селение с прежним названием Черная Грязь. Уже никто не подумает, откуда взялось это название деревни. Теперь здесь широкое асфальтовое шоссе. Давно спят на кладбищах удалые ямщики, знатные господа, заставлявшие их распевать веселые песни. Почти стерлись с земли дворянские усадьбы, нарядным ожерельем украшавшие знаменитый тракт. Остатки фундаментов, окруженные живучей сиренью, попадались на нашем пути.

Останавливаясь, мы заходили в колхозные чайные, знакомились и беседовали с людьми. Твардовский неизменно заходил в колхозные кузницы, где пахло окалиной, кузнечным горном, в котором тлел уголь. Посещение кузниц напоминало Александру Трифоновичу далекое его детство, наши родные смоленские места. По пути мы любовались красотой природы — колосилась в полях рожь, цвела гречиха.

Благополучно добрались мы до последней небольшой деревни, возле которой начинался смешанный лес, отделявший деревню от непроходимого Оршанского мха. Закусив и отдохнув, оставив в деревне нашу машину, мы тронулись пешком в трудный путь.

Мы прошли смешанным лесом по пробитой людьми стежке-тропинке до самого края мохового болота, где стежка незаметно терялась. Приходилось ли вам самим видеть большие моховые болота, заросшие редким сосняком? Идешь, идешь, бывало, по такому болоту, и ничто не меняется.

Потеряв узкую стежку, мы вступили в такое болото. На моховых кочках ожерельем румянилась клюква. Иногда изпод наших ног с шумом поднимался выводок белых болот-

ных куропаток и, низко летя над землею, исчезал за деревьями. Мы шли почти наугад. Изредка на мху попадались человеческие следы. Трудно представить себе что-нибудь унылее мохового болота. Все однообразно, те же растут низкорослые сосенки, без края, без конца виднеются моховые круглые кочки. Несколько часов пробирались мы по однообразному болоту, пока за поредевшими мелкими сосенками не показалась темная гладь Петровских озер.

Были мокры, неприветливы берега этих озер, заросших кугой и осокой. Черною казалась торфяная неподвижная вода. На обширном озере, сохранившемся от далеких ледниковых времен, не было видно противоположного берега. Озеро простиралось недвижной темной гладью, по которой ходили едва заметные волны.

На берегу озера нас никто не встретил. Не было видно населенных островов, куда мы направлялись. Наш проводник Саша и его земляк отправились берегом озера, чтобы разжечь костер и сообщить таким способом жителям острова о прибытии гостей. Мы остались одни на пустынном и голом берегу дожидаться ночи. Нелегко было развести костер, возле которого на подостланных ветвях мы с Твардовским устроили женщину с ребенком. Я иногда отходил от костра, прислушивался к ночным звукам. Где-то крякали дикие утки. Казалось, мы попали в необитаемое и дикое место, куда люди не проникали.

Полночи мы провели на берегу пустынного озера, ожидая людей, которые должны были приехать за нами. Известием о нашем приезде должен был быть костер, зажженный накануне Сашей на этом берегу. Почти под утро в густой темноте послышался с озера стук подвесного мотора. Вскоре увидели мы лодку, в которой сидели мужчина и девушка. Оказалось, что это были жених и невеста, на свадьбу которых мы поспешали. Вместе с женщиной и ее ребенком мы погрузились в присланную за нами лодку.

Почти в полной темноте мы направились к неведомым островам. Над нами светили лишь высокие звезды, над таинственным озером поднимался серп месяца. Часа через полтора пути мы достигли острова. Мы проплывали мимо свайных построек, напоминавших древние времена. Сказочным показался нам этот высокий таинственный остров. На берегу над крышами домов возвышалась старинная шатровая церковь. Над деревянным шатром церкви, как в настоящей сказке, висел тоненький серп месяца. Нас провели в освещенный керосиновой лампой опрятный дом с чистыми крашеными полами. Дом этот напоминал мне старинные архангельские и карельские постройки.

Молодежь где-то гуляла на свадьбе. С нами остались две пожилые женщины, усердно принялись нас угощать. Они

потчевали нас пшеничными пирогами, самогоном, подкрашенным клюквенным соком. Я догадывался, что по каким-то нам неизвестным причинам нас, городских гостей, не хотят приглашать на свадебную молодежную гулянку. Угостив меня и Твардовского пшеничными пирогами и самогоном, женщины отправили нас ночевать на сеновал. Мы улеглись на прошлогоднем сене, над нашими головами на жердочках спали куры. Ранним утром, еще на рассвете, куры нас разбудили. Они бесцеремонно бродили по нашим ногам, а голосистый петух кукарекал почти у самого уха.

Уже на другой день, после бессонной ночи, нас пригласили на свадьбу. Как самых почетных гостей, нас усадили за широкий свадебный стол. За столом сидели жених и невеста, а во главе восседал бородатый мужик, которого в шутку мы назвали царем острова.

Попировав на свадьбе, отдохнув в знакомом доме на сеновале, мы вышли вечером на улицу. Возле запустелой церкви веселилась и гуляла местная молодежь, ничем не отличавшаяся от любой колхозной молодежи. Играл баян, девушки пели и плясали.

Близко к полуночи, когда кончилась деревенская гулянка, мы оказались свидетелями старинного, еще не виданного ни мною, ни Александром Трифоновичем обычая. Участвовавшие в гулянке парни и девушки с подушками в руках парами стали расходиться по сенным сараям. Нет, это не было непристойным развратом. Проводник наш Саша рассказал нам, что с давних пор на острове существует такой обычай. После летних гулянок парни и девушки парами расходятся по сараям. Ночуя на сеновале, парень не смеет тронуть девушку. Во время ночевок парни и девушки как бы приглядываются и узнают друг друга, и ни одна девушка не выйдет замуж, не узнав хорошо своего жениха. Кто знает, быть может, этот древний народный обычай, сохранившийся, возможно, от языческих времен, охраняет молодежь от поспешных и несчастливых браков? Мы подивились на старинный обычай и отправились ночевать на знакомый уже сеновал.

Три дня прожили мы с Твардовским на острове среди малодоступных Петровских озер. Нас очень гостеприимно принимали и привечали островитяне. Занимаются они рыболовством, сельским хозяйством, но больше всего сбором клюквы, которая в великом множестве растет в окружающих озера болотах. Клюкву начинают собирать еще с осени. На сбор клюквы отправляются взрослые и дети, которых оказалось очень много в маленьком островном поселке. Собранную осенью клюкву жители острова вывозят в зимнее время, когда устанавливается санный путь. Они продают клюкву на рынках Москвы и в дальних поволжских городах вплоть до

Саратова. Жители острова зарабатывают хорошие деньги. Дома островитян широки, чисты, уютны. Девушки одеваются в нарядные городские платья, носят туфельки с каблучками. Женщины пекут хлебы и пироги из привозной пшеничной муки. В старинной деревянной церкви расположена небольшая лавка, где можно покупать разные товары. Мы с удовольствием прожили три дня на малоизвестном острове, пользуясь общим гостеприимством.

Возвращаться прежним путем нам не хотелось. Строго наказав Саше пригнать оставленную в деревне нашу машину, договорившись с одним из жителей острова, мы отправились в лодке на реку Созь, чтобы вернуться на Волгу.

Удивительно было и это наше водное путешествие. Мы долго плыли среди неоглядных высоких камышей и белых водяных лилий, пробираясь к устью узкой, извилистой реки, протекавшей через непроходимое болото. Долго кружили, подталкивая лодку то шестом, то веслом, пока не добрались до края болота.

Здесь, на высоком песчаном берегу, возвышалось старинное село Спас-на-Сози. Мы увидели чудесную древнюю шатровую церковь, о которой мне когда-то рассказывал побывавший здесь молодой предприимчивый художник. Забытая древняя церковь срублена из толстых сосновых бревен без единого гвоздя. В церкви не было икон и украшений, но даже по немногочисленным уцелевшим предметам, по железному узорчатому замку, по столбикам разоренного иконостаса можно было видеть, каким высоким художественным вкусом обладали наши прадеды, обитавшие некогда на тверской земле.

От старинного тихого села Спаса-на-Сози, попрощавшись с провожавшими нас людьми, мы с Александром Трифоновичем отправились пешком в сторону Волги. Это было торопливое пешеходное путешествие. Мы шли по грунтовым пыльным дорогам, среди цветущих колхозных полей. На пути изредка нам встречались небольшие деревни. В стороне от дорог текла извилистая, заросшая кустарниками река Созь. Попутчиков не было. Мы шли не присаживаясь и не отдыхая, поспешая к катеру, который отходил вечером от фабричного поселка Первое Мая в устье реки Созь.

К вечеру мы добрались до людного поселка. Мы едва поспели к отходу катера, стоявшего у пристани завода. Необыкновенное путешествие наше кончалось. Мы устроились на катере, наполненном заводскими и городскими людьми, вернулись в обычную шумную жизнь. Утром, на рассвете, мы прибыли в Карачарово.

Что добавить к описанию нашего путешествия на Петровские озера? Разве то, что наш шофер Саша, которому было строго наказано немедленно пригнать машину, пропал. Мы

ждали его день, другой, третий и четвертый. Возникло опасение, что с Сашей в дороге что-то случилось. Особенно волновалась жена Саши. Ей казалось, что Саша утонул на Петровских озерах. На четвертый день Саша явился. Оказалось, он загулял на свадьбе. Мы очень обрадовались приезду Саши и с ним расцеловались. Этим и кончилось наше короткое путешествие на Петровские озера.

Наша совместная поездка надолго осталась в памяти Александра Трифоновича, и в своих письмах он не раз поминал о ней:

«Дорогой Иван Сергеевич! Вот я уже который день дома (мои переехали в город — Оля пошла в школу), а все еще живу близкой и приятной памятью наших с Вами карачаровских прогулок, уховарений, лучше сказать, ухоедений, разговоров и пр. Верно, я с очень хорошим чувством вспоминаю все то время, особенно нашу поездку, жаль, конечно, что все проходит на этом свете и не может не проходить. Я на даче, но приезжаю в Москву. А если меня и не будет, то моя машина привезет Вас сюда. Ухи, может быть, и не будет, просто сказать — рыбы такой нет, но что-нибудь найдется же. Но я не этим Вас завлекаю, а сердечно желаю видеть Вас у себя и чтоб Вам было хоть вполовину того, как мне у Вас, хорошо и свободно...»

Однажды я получил от Александра Трифоновича удивительное письмо, которое хочу привести здесь:

«Дорогой Иван Сергеевич! От Лидии Ивановны знаю, что Вы в Карачарове и что пробудете там весь сентябрь. А написать Вам решил под впечатлением сна: будто бы мы с Вами заблудились в страшную зимнюю метель и набрели на скирду соломы в поле (из-под комбайна такие скирды остаются на зиму). Там было выщипано (или мы сами сделали) углубление, где мы засели, радуясь, что в затишке оказались, и сразу стало терпимее. Однако впереди ночь, дуть, и мести, и кружить не перестает, и мы решаем там ночевать, вернее, дожидаться рассвета. И Вы, Иван Сергеевич, будто бы говорите: «Что ж, Александр Трифонович, задремлем, а там будь что будет — встанем или не встанем». И хорошо помню, что от усталости или как, но не было страшно, что заснем и не встанем. И еще помнится из того сна, что Вы мне все время напоминаете, что нужно беречь ноги, остальное ничего. И теперь я, когда почему-либо не засыпаю сразу, я призываю на помощь тот сон, как мы сидим, привалясь спиной к теплой, непробиваемой вьюгой толще соломы, и задремываем, а там, мол, будь что будет.

Вот так, Иван Сергеевич, я и общаюсь с Вами на сон грядущий, и на душе у меня становится хорошо и спокойно,— все это оттого, что я Вас люблю и почитаю и, по правде,

с Вами вместе не прочь был бы и на самом деле провести такую ночь под скирдой. Обнимаю Вас, дорогой друг.

Ваш по гроб жизни *А. Твардовский»*

К сожалению, у меня не сохранилось писем моих Александру Трифоновичу. Привожу несколько, которые удалось отыскать:

«Дорогой Александр Трифонович! Шлю привет и поклон из Малеевки. Сижу, а вернее, лежу здесь уже четвертую неделю. Был болен (воспаление легких). На волю меня пока не выпускают. Письмишко это передаст в «Новый мир» супруга моя Лидия Ивановна. Она в Москве, меня навещает. Внук тоже сидит в Москве и дует на скрипице. Я что-то стал сдавать. Особенно в новом году. Сроки, видно, пришли. Как живете Вы и что нового в Москве? Обнимаю Вас с нерушимым добрым чувством.

Душевно Ваш *И. Соколов-Микитов»*

Нашу дружбу с Александром Трифоновичем еще более укрепило следующее невыразимо растрогавшее меня событие.

Помню, я жил однажды в Малеевке, в Доме писателей. Твардовский гостил в Ялте. Мы постоянно переписывались. Я написал ему о том, что моя старшая дочь Аринушка похоронена в Ливадии, и просил навестить ее могилу. Александр Трифонович не только выполнил мою просьбу, но приложил к этому столько добра, любви и внимания, что мне трудно без волнения рассказывать об этом.

«...Представьте, я сам думал посмотреть могилу Вашей дочери, только я думал, что это здесь, на городском кладбище. Обязательно побываю,— писал он мне в ответ.— Я решил прежде разузнать, как, что и где делается все в таких случаях. Я подумал, что просто переправить надпись, наложив еще слой цемента,— это будет плохо, некрасиво и недолговечно. Словом, нужно сделать скромно, но благопристойно и прочно...»

«...Вчера получил Ваше второе письмо,— писал я Твардовскому.— Еще раз благодарю за дружескую, братскую заботу о могиле дочери. Я был на могиле еще в 1956 году, уже поздней осенью. Тогда клали цемент (делал это не Николай Егорыч — человек добросовестный, а другие), уже шел снег, потом хватил мороз. Посадки — кустарники, цветы, деревца,— которые мы сделали с Николаем Егорычем в засушливое лето, погибли. Я бесконечно обязан буду Вам, если (разумеется, в свободные часы) подскажете Николаю Егорычу, ч т о нужно сделать и поправить. Надпись на незастывшем цементе первоначально сделал я сам, по возможности четко и аккуратно. Эта надпись, по-видимому, погибла.

О том, что была для меня старшая дочь, Вы немного знаете. В ней собралось все лучшее, что есть во мне, а мое худшее отпало. И родилась она на Смоленщине, в Кислове, и самое последнее воспоминание ее было о куличке-перевозчике, который летал и свистел над нашей кисловской рекою. Любили ее все необыкновенно — подруги, учителя, знакомые, домработницы. Красавица она была писаная, русская, в породу микитовских женщин, всегда очень красивых, но редко счастливых... Простите, что пишу об этом, но Вам могу написать...»

«Дорогой Иван Сергеевич,— писал мне Твардовский,— все я вызнал и изучил постепенно и до конца. Нужно установить на могилке так наз. «наголовник» — камень в виде геометрич. фигуры, которую я попросил начертить для Вас мою Ольгу. На этот наголовник, вернее выемку, которая вырублена на скосе его, вмонтируется мраморная доска с высеченной на ней надписью.

Я смотрел такие надгробия и все, что нужно, расспросил. Я бы все это сделал и прислал бы Вам фото, но дело-то особое, может быть, Вы не хотите так, как я могу сделать, поэтому и пишу Вам.

Покамест я здесь, Иван Сергеевич, могилу можно привести в полный порядок. Я так и договорился с Николаем Егорычем,— это действительно славный парень, он все сделает. Но нужно, чтобы Вы написали мне точно и четко всю целиком желательную надпись — с именем и датами и расположением слов. Я все остальное сделаю; прослежу, чтобы было грамотно и красиво, для меня это не составит труда.

Итак, для того, чтобы Ваше согласие застало меня здесь и я мог бы все заказать, все сделать и проследить за выполнением, прошу Вас, если Вы согласны, в основном, с моим предложением, телеграфировать мне односложно: мол, согласен. Если же у Вас какие-либо особые на все это взгляды и намерения, то пишите письмом. Во всяком случае, я прошу Вас иметь в виду, что мне было бы просто приятно выполнить для Вас эту малую дружескую услугу, если вообще это слово применимо. Так что — прошу не стесняться какими-то там соображениями о моей занятости и т. п.

Желаю Вам всего доброго, больше всего здоровья. Я начал между делом и бездельем перечитывать Вас, и опять так хорошо повеяло родным, очень настоящим и душевным.

О других вопросах не пишу сейчас, скажу только, что в письме Вы говорите о своем творчестве, об истоках и характере его — очень верно и толково. Еще бы я не понимал, что Вы — не «путешественник», или «бывалый человек», или там «Илья Муромец» и т. п.! Жму руку, обнимаю. Телеграфируйте.

Ваш *А. Твардовский*»

Два года спустя я получил от Александра Трифоновича письмо из Н.-Ореанды:

«Дорогой Иван мой Сергеевич! Вчера направился на прогулке в сторону Ливадии и Ялты, куда раньше не ходил, но собирался сходить под конец, чтобы посмотреть на могилу, которая в какой-то степени и для меня не чужая. Не только потому, что это дорогая и родная могила для Вас, моего доброго и драгоценного друга, но и потому, что я ее уже знал и помнил по 58-му году. И мне было приятно увидеть ее в полном, очень трогательном порядке — под заметно подросшими кипарисиками, усаженную ирисами и бересклетиками, и, более того,— я просто поразился, очевидно поливаемыми, ибо растения выглядели свежими, а не захиревшими от суши на этой зольно-каменистой грядке. Приятно — конечно, не то слово, но я затрудняюсь подыскать слово для того чувства, что вместе с грустью было там у меня при виде этих признаков чьего-то догляда за этими насаждениями. Я, к сожалению, начисто забыл имя и фамилию того садовника, которому, несомненно, принадлежит честь и бескорыстная заслуга этого присмотра, а то бы я его разыскал и поблагодарил бы от Вашего и Лидии Ивановны имени. Но так — неловко спрашивать о человеке, которого и назвать не можешь. Но у Вас, наверно, сохранилась где-нибудь запись его имени и адреса, и Вы ему напишете сами.

Послезавтра мы отсюда уезжаем, так, наверно, и не дождавшись конца шторма, который грохочет уже одиннадцатый день. Должен сказать, что это — странная вещь — угнетает, ждешь, когда же утихомирится эта праздная активность стихии. Обнимаю Вас, желаю всего самого доброго.

Ваш *А. Твардовский*»

В письме от 9 апреля 1958 года, посылая мне фотографии, Александр Трифонович пишет:

«Дорогой Иван Сергеевич! Все не писал Вам, потому что до сего дня не мог отыскать фотографии, которые мирно лежали у меня в столе в неподписанном пакете,— я его много раз переворачивал,— вот как бывает. Пусть Вас не смутит то, что не видна надпись: я Вам говорил, что съемка была сделана в серый дождливый день, а ретушь наводить было некогда. Так Вы и Лидии Ивановне объясните. В натуре все четко и хорошо.

Дорогой Иван Сергеевич! Только-только прибыл из Коктебеля, спешу в двух словах сказать Вам, что очень хочу Вас видеть — в Москве, в Карачарове, даже в Ленинграде. Но не тотчас, а немного погодя — завал всякой всячины образовался,— деньков через десяток. Напишите, когда будете в Москве, чтобы я мог Вас тут поймать. Если же обстоятельства держат вас в Ленинграде, то спланируем Ленинград — есть

повод. Я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал, чего-то даже пишется, по крайней мере — там писалось, завязывалось. Желаю Вам поскорее разделаться с Вашими хворями, и мы еще увидим небо в алмазах. Крепчайше обнимаю Вас.

Ваш *А. Твардовский*»

«Дорогой Александр Трифонович! Давно получил Ваше письмецо. Спасибо Вам за хлопоты, за память. Простите, что долго не отвечал: лежал, был болен. О переезде в Москву продолжаем думать. Скажу откровенно: страшновато слезать с печи. Но делать, видно, нечего. Здесь, в Питере, мы остались одни, мои питерские добрые друзья перемерли. Лид. Ив. нервничает. Ей страшно остаться совсем одной. В Москве у нее брат-генерал, сестрица, внук. Под Москвой у меня тоже дальние родственники. Поближе родная смоленская земля. Хорошо понимаю, что на золотом подносе готовых квартир никому не подносят. Нет ковров-самолетов и скатертей-самобранок. Страшно подумать о переездных хлопотах. Годочки не те, да и в кармане пустовато. Разумеется, всего лучше, если бы в Москве нам дали готовую небольшую квартирку взамен нашей большой ленинградской. Но как и кого просить?

Со здоровьем у меня совсем неважно. Лежал опять в больнице. Но всего хуже глаза: читать и писать давно не могу. Не вижу пальцев своей руки. Не вижу человеческих глаз и лиц, брожу в густом дыму. Беда! Как живете Вы? Давно ли вернулись из далекого путешествия? Что нового в шумной столице? Обнимаю Вас, еще раз благодарю. Прошу передать поклон Вашим домашним. Душевно Ваш И. Соколов-Микитов. Пытаюсь еще кое-что диктовать, но трудно привыкать. Нужен опытный и умелый поводырь. Это письмо диктую Лид. Ив.».

Я всегда радовался встречам с Александром Трифоновичем и за невозможностью по слепоте написать ему посылал иногда телеграммы. Вот один из ответов Твардовского:

«...Получил Вашу зазывную телеграмму, дорогой Иван Сергеевич, и так мне захотелось заявиться к Вам в Карачарово, навестить Вас на Вашей вилле, переночевать там, выпить чайку (ну, может быть, и еще чего-нибудь), поговорить, т. е. рассказать Вам что-нибудь, т. к. Вы-то больше покуриваете да погмыкиваете,— это у нас с Вами и называется «поговорить».

Лес шелушится, грибочки уходят, спасибо, что хоть два-три раза дались мне по-настоящему, когда уже не только свинушек, но и сыроежек не берешь,— только классные. А случалось набредать и на боровики могучие. Идешь, а он вдруг стоит в траве, притаившись, как сом, а уж по корешку

чуешь, что здоров и свеж, хоть и в возрасте. Я между прочим привык приравнивать грибные возрасты к человеческим,— там и младенцы, и юноши, и зрелые мужи, и на склоне лет, и дряхлые.

Я понимаю, что этот род охоты не может Вас особо прельщать, между прочим, и по нынешнему Вашему зрению, так что простите мне эти лирические изъяснения, подобные моему пересказу «сонных видений» в предыдущем письме.

Начавшаяся было в Коктебеле работа опять прервалась. Настроение у меня при всем этом до странности хорошее. Идет дождь — пусть дождь, можно надеть резиновые сапоги, жара — пусть, можно искупаться если не в реке или в море, так под душем в городе или здесь; работа стоит — у бога дней много (хотя не так у него их много, ох как не много!). Так и живу. Вспоминаю Вас ежедневно и мне очень отрадно, что есть у меня такой славной души дорогой человек, старик красавец!

Ваш весь *А. Твардовский»*

Мой молодой друг Вадим вырезал из тонкого картона небольшой «транспарант для слепых», и я начертал несколько строчек Александру Трифоновичу. Рад был получить в ответ доброе, дружеское письмо:

«Дорогой Иван Сергеевич, батюшка! Как я рад был получить от Вас весточку! Сейчас я с особенной силой чувствую, как мне дорога Ваша дружба, Ваша доброта и мудрость. И мне так жаль, что настроение у Вас, по-видимому, подгуляло. Конечно, болезнь, то, другое — все это так, но насчет «дряхлости», простите меня, Иван свет Сергеевич, не верю и не желаю верить. Бывает такая полоса, ее нужно перенести, как грипп. Очень, очень хочу Вас видеть, лучше всего бы в Карачарове. Правда, в жизни редко так бывает, чтобы хорошее повторялось, но я как вспомню наши бдения у камелька, наши завтраки и прогулки, «творческие сны» и посиделки у Бориса Петровича, то так мне всего этого хочется опять. Спасибо, Иван Сергеевич, за письмо, за добрые Ваши слова, за память. Будьте бодрее, дорогой друг.

Ваш *А. Твардовский*

Посылаю для порядка огоньковскую книжечку. Вашу «скоропись» я разбираю довольно свободно, так что пусть она Вас не смущает. Мои все Вам кланяются и вспоминают Вас всегда хорошо».

Ленинградское отделение издательства «Художественная литература» просило Александра Трифоновича написать статью к моей книге. Твардовский писал мне по этому поводу:

«...Я, можно сказать, уже приступил к работе. Уже с не-

делю, среди всяческих дел и сует, перечитываю Вашу книгу «На теплой земле» и, должен сказать, вновь и вновь испытываю глубокое и доброе чувство, какое вызывает только неподдельный поэтический дар. Но об этом я не буду сейчас — побережем для статьи. Меня одно немного смущает, что, собственно, статья эта не нужна: Вы в моей рекомендации перед читателем не нуждаетесь, это мы с Вами давно знаем.

Дорогой мой Иван Сергеевич! Давно, давно я не видел Вас, не слушал Ваших речей, не нюхал дыма Вашей трубочки. А время свое дело знает, бежит, перескакивая через малые и большие рубежи дней, месяцев и т. д. Поломанным оказался мой нынешний «творческий отпуск», съездили мы с Марией Илларионовной в Болгарию, побывали на курорте в Варне с недельку, объехали за 3—4 дня всю страну, вот и все, что касается отдыха. А тут опять возникла Америка, куда я должен ехать, хоть и охотушки моей нет. Однако не все же мне плакаться Вам в Вашу продымленную куртку. Есть и такой факт этого периода, как опубликование «Теркина на том свете», которого я достругивал, когда мы сидели с Вами в Карачарове. Правда, критика не балует его вниманием. Впрочем, все же есть и критика, и в особенности есть почта, да какая — бяда! Не собираетесь ли в Москву? Сигнальте, я пробуду здесь, наверное, и праздники, и середину ноября. Очень хотел бы видеть Вас хоть в утлу дивана в редакции, попыхивающим трубку и снисходительно взирающим на наши хлопоты и суеты. Обнимаю Вас, дорогой друг.

Ваш *А. Твардовский*»

«...Позвольте поздравить Вас с праздником Октября и пожелать Вам встретить его не в недугах, а в добром здравии и благополучии, как, впрочем, и в будни не хворать. Дорогой Иван Сергеевич, обнимаю Вас. До свидания, милый друг.

Ваш по гроб жизни. *А. Твардовский*»

А 7 ноября Александр Трифонович снова вспомнил о нас:

«Дорогой Иван Сергеевич! Шлю Вам и Вашему дому, т. е. Лидии Ивановне и внуку, свой большой привет в утро праздника, до того, как отправиться на Красную, посмотреть парад, потолкаться среди людей, озябнуть и, возвратившись, закусить, чего и Вам желаю.

Ваш *А. Твардовский*»

Со зрением у меня становилось все хуже и хуже. Я пытался писать «на ощупь», следя только за тем, чтобы строчка не заходила на строчку, для чего прикрывал написанное тетрадью.

«Дорогой Александр Трифонович! Давно получил Ваше дружеское письмо, пересланное мне из Карачарова. Полу-

чил и второе Ваше письмецо. Простите мне молчание. Много раз пытался Вам писать, да получается уныло и слезливо.

Спасибо Вам за добрые слова о моих писаниях, не сто́ящих похвал. Невесело подходить к концу дней своих в горьком сознании, что сделано мало.

Ваше письмо по просьбе моей несколько раз читала мне Лид. Иван. В минуту душевной тоски оно было как живительное лекарство.

Писать о жизни моей нечего: горечь и дым. Хочется иной раз еще кое-что сделать, сказать. Учусь диктовать. Не всегда получается гладко. Поводырь у меня один — Лид. Ив. Она тоже сдает.

Простите меня, что пишу путано и мало. Пишу «на ощупь», написанного не могу прочитать.

Эх, хорошо, если бы и в самом деле собрались побывать в Питере. Хотелось бы чуток посидеть с Вами, поговорить.

Крепко обнимаю Вас, кланяюсь семейству.

И. Соколов-Микитов»

«*Внуково. 3. VIII. 59.* Дорогой Иван Сергеевич! Я только что возвратился из своей сибирско-дальневосточной поездки, еще и в городе не был. Пишу Вам, чтобы узнать, где и что Вы, здоровы ли.

Много раз собирался написать Вам из дальних краев, но самолеты, автомашины и торпедные катера с их скоростями, постоянное почти присутствие людей, куда-то тебя торопящих и пр., и пр.,— все это едва оставляло минутку, чтобы известить коротенько семью о том, что, мол, жив-здоров. Так и не собрался, в чем винюсь, несмотря на приведенные выше смягчающие вину обстоятельства.

Не собираетесь ли в Москву, Иван Сергеевич?

Как Лидия Ивановна и потомок?

Мы на даче — я, Мария Илларионовна и Оля, которая заметно поправляется. Жду Вашей весточки. Простите, пишу на ходу, ждет машина, с которой сейчас еду в Москву, в омут моих обычных дел, встреч, заседаний и друг. радостей. Обнимаю Вас.

Ваш *А. Твардовский»*

Как-то раз Александр Трифонович уезжал из Карачарова через Клин.

«Дорогой Иван Сергеевич! — писал он.— Как мне стало грустно, когда увидел, что остался на клинском вокзале один. После таких чудных дней байбачьих нужно было опять ехать в город, а тут и электричка ушла, а следующая — через час-полтора. А тут и ресторан закрыт на ремонт. Беда! Выпил с горя в каком-то фанерном ящике перцовки, такой холодной, что казалось, всего в ней и есть, что градусы

холода, и, дождавшись поезда, поехал в пустом и хладном вагоне.

Живу в хлопотах и заботах, за эти дни накопилась опять почта. Пишу Вам эти малосодержательные строки просто затем, чтобы перекликнуться с Вашей доброй душой. В Л-д ранее января вряд ли смогу приехать. Крепко обнимаю Вас, низкий поклон Лидии Ивановне, привет внуку (мы сами таковых имеем).

Ваш *А. Твардовский»*

Кстати о внуке. О рождении его Александр Трифонович сообщил мне в интересном, полном юмора письме:

«Дорожайший Иван Сергеевич, мысль о Ленинграде не покидает меня, это мое твердое, реальное намерение. Думаю, что 15-го я приеду или выеду. Здесь меня удерживало еще желание как-нибудь закончить, наконец, труднейшую главу «Далей»,— в некотором варианте я читал Вам это в Карачарове. Кажется, добил. Борис Петрович прислал мне писульку, из которой я впервые узнал, что у него был аппендицит (нет худа без добра — теперь, наверное, окажется, что печени у него нет никакой).

Дома у меня так: маленький человек занял большую квартиру почти всю без остатка. Пройти на кухню или куда — нагибайся, как под сучьями и ветвями густого сада, под развешенными всюду пеленками. Боже мой, роту солдат обуть (в смысле портянок) — столько этих пеленок. Но ничего не поделаешь — научное воспитание. Я только думаю, что я в свое время не посмел бы с... в такую хорошую материю,— терпел бы!

Итак, надеюсь застать Вас в Ленинграде, побыть там с Вами, сколько придется, а там видно будет.

Крепко обнимаю Вас, дорогой Иван Сергеевич, не поддавайтесь хандре, когда она подступает, помните, что у Вас есть любящие Вас и верящие в Вас друзья.

Ваш *А. Твардовский»*

Лидии Ивановне низкий поклон, внуку привет от дедушки Твардовского, который считает, что всех внуков нужно от времени до времени сечь — для их же пользы.

А. Т.»

При переезде в Москву мы поселились на двенадцатом этаже довольно хорошего дома. Я давно уже не мог ни читать, ни писать, но яркий солнечный свет все же раздражал меня, и поэтому окно моей комнаты было завешено плотной занавеской. Как-то Твардовский заехал ко мне и сразу же бросился открывать окно, говоря, что невозможно сидеть «в темной одиночке».

«Дорогой Иван Сергеевич, с праздником Вас и Лидию Ивановну! Должен сказать, что при всем том, в каком невеселом положении узника полутемной одиночки застал я Вас в последнее мое посещение,— я, поверьте, не вынес какого-либо гнетущего впечатления. Право, наоборот, я увидел, что настоящий человеческий человек в любом состоянии способен сохранять достоинство и не быть некрасивым.

Я даже был как-то ободряюще пристыжен за себя, при гораздо меньших стеснениях природы поддающегося порой унынию и хандре. Буду рад навестить Вас сразу после праздников, которые буду проводить здесь, в Пахре, управляясь со своими садово-огородными заботами.

Ваш *А. Твардовский»*

Примерно то же писал он и в следующем письме:

«Дорогой Иван Сергеевич! Вашу «скоропись» я разбираю довольно свободно, так что пусть Вас и впредь не смущает изменение почерка. А письмо хорошее,— я рад, что Вы не теряете своей очаровательной способности смотреть на превратности жизни с неугасимым «почвенным» юмором.

Я почти уверен, что до Нового года сумею заглянуть на Ваш 10-й или 15-й этаж, но на всякий случай примите это мое поздравление с наступающим. Очень хочу поговорить с Вами неторопливо по-деревенски, без поглядывания на часы.

Лидии Ивановне мой поклон, все мои приветствуют ее и Вас и шлют добрые пожелания.

Ваш *А. Твардовский»*

С Твардовским меня связывала почти двадцатипятилетняя дружба. Мы встречались с ним в Смоленске, а в позднейшие годы в Москве, Ленинграде и здесь у меня, в Карачарове, куда Твардовский нередко наезжал работать. Мы проводили ночи у топившегося камелька за доброй беседой. По-видимому, Твардовскому было приятно общаться со мною. Я не мешал ему работать, и он чувствовал себя, как он не раз писал и говорил мне, «спокойно и бодро». Часто читал он мне стихи, которые написал здесь, в Карачарове. Придет, бывало, ко мне, наденет очки и начинает читать, что удалось написать в тот день. В Карачарове он писал «За далью — даль», «Теркин на том свете» и кое-какие другие произведения. В том маленьком письме, где Твардовский описывает свое сновидение, в котором видел себя и меня в открытом снежном поле, как заночевали мы в соломенном стогу, всего лучше отобразились его добрые дружественные отношения ко мне.

Я бывал у Твардовского в Москве в его квартире и на его даче. Иногда он приезжал в Карачарово вместе с семьею, привозил с собою свою младшую дочь Олю. Девушка эта очень нравилась мне своей скромной красотою, умением хо-

рошо держаться. Помню, я как-то раз вез на моей машине (тогда я был еще зрячим) Твардовского и его младшую дочку в наш город Конаково. Они сидели на заднем сиденье и пели народные смоленские песни. Голос Твардовского и нежный голос Олечки сливались в музыкальное единство. Помню еще, как однажды мы шли втроем по лесной дорожке, над которой высились деревья. Над деревьями и над нашими головами сияли яркие звезды. Помню, Олечка остановилась и, любуясь звездами, стала говорить что-то очень близкое и понятное мне. Я что-то ответил ей, и все мы долго стояли, подняв головы и любуясь звездным чудесным небом. Твардовский не раз вспоминал об этом, и каждый раз особенное возникало во мне чувство. Я понимал, что дочь Твардовского похожа на своего отца.

Уже незадолго до своей роковой болезни Твардовский вместе со своими друзьями приезжал ко мне в Карачарово. Мы долго разговаривали, шутили. Александр Трифонович читал свои последние стихи.

Кто знает,— быть может, нас с Твардовским сближало наше происхождение, родная смоленская земля. Отец Твардовского, как известно, был кузнецом. За лихость в работе, за его смекалку крестьяне называли отца Александра Трифоновича «паном Твардовским». Так назывался в прошлые времена герой лубочной книжки «Пан Твардовский», продавший якобы свою душу черту. Твардовский рассказывал мне о своем отце, о своем брате — большом и искусном умельце.

Он рассказывал о трудностях, которые приходилось ему переживать в его литературной и редакторской деятельности. В давние годы, живя в Карачарове, мы бродили по лесу, разыскивая грибы, ловили в Волге рыбу, варили уху. Уже много времени прошло с тех давних пор. Я всегда вспоминаю Твардовского, драгоценную для меня нашу дружбу, вспоминаю его лицо, его руки, его глаза.

Весть о смерти Твардовского потрясла меня. Я долго не мог опомниться, оказавшись как бы один в пустоте. Я и теперь не могу верить, что Твардовский умер, что больше я его никогда не увижу. Он был для меня дорогим и любимым человеком. Наша близость доставляла мне великую радость, наполняла содержанием жизнь, которая без него опустела.

Что можно сказать еще о Твардовском? Вряд ли будет забыто у нас его имя. Он воздвиг себе нерукотворный памятник, который останется в нашем народе на долгие сроки. Вечная память поэту Твардовскому, народному поэту!

1975

«ДОМ «ИЗВЕСТИЙ»



не был в числе тех друзей поэта, которым он доверял сокровенные мысли, не работал в журнале, который он редактировал, не вступал с ним в литературоведческие дискуссии, не участвовал в поездках по стране. Но волею обстоятельств я оказался сопричастным к первым публикациям некоторых произведений Александра Твардовского, провел с ним немало вечеров в беседах. Многие годы мы были связаны с одной газетой, жили в одном доме, бывали друг у друга. И мне думается, все, что сохранила память, все, о чем свидетельствуют письма, даже автографы поэта,— крупицы биографии Александра Трифоновича Твардовского. Пусть и они в какой-то мере помогут осветить личность и творчество одного из выдающихся поэтов России XX века.

Встретились мы с Александром Твардовским на войне, когда войска Третьего Белорусского фронта, освободив Литву, штурмовали Восточную Пруссию.

Свел нас полковник Баканов. Николай Александрович Баканов принадлежал к той плеяде кадровых военных, которые независимо от занимаемых постов (в свое время он командовал полком, а в годы войны был заместителем редактора фронтовой газеты «Красноармейская правда») всегда со всеми оставались «на равной ноге». Тихий, скромный, даже застенчивый человек, в пору, когда он командовал полком, в свободные от службы часы сочинял бесхитростные зарисовки, в которых были живые картины воинской службы. Затем он стал военным журналистом.

В начальный период войны — лето 1941 года — корреспонденты центральных газет, аккредитованные при Западном фронте, оказались под заботливой опекой редакции «Красноармейской правды». Жили мы в палаточном городке, упрятанном в молодом березняке в районе Касни. Вместе с сотрудниками фронтовой газеты ездили в дивизии и полки, вместе с ними каждое утро выходили на боевую зарядку, которую неизменно проводил Николай Баканов.

Фронтовые дороги разлучили нас на три года. Лишь летом 1944 года, после освобождения Каунаса, я снова разыскал редакцию «Красноармейской правды» и с радостью скрестил объятия с полковником Бакановым. За обедом не обошлось без «трофейной жидкости». Я продекламировал на память что-то из «Василия Теркина».

— А Твардовский-то теперь у нас, в нашей редакции,— не без гордости сказал Баканов.— Мы с ним дружим. Хоть он и с трудноватым характером, но человек простой, свойский. Обязательно познакомлю тебя.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах состоялось это знакомство, в конечном счете, это и не так уж важно, но знаю точно: новый, 1945 год Твардовский и я встречали вместе. В Каунасе, в фотостудии, принадлежавшей Карлу Петровичу Баульсу. В воздухе пахло весной — весной Победы. Вполне понятно, что и наше новогоднее застолье было веселым. Как бы главной фигурой новогоднего торжества оказался Александр Твардовский. Он с каким-то упоением читал стихи, отрывки из «Василия Теркина» и пел. Пел со всеми. Пел и один — старинные русские песни, пел тихо, задумчиво, задушевно. А когда пели все или подпевали ему, Твардовский не разрешал врываться в строй песни громовыми и ухарски раздольными выкриками.

Мы расстались на рассвете на улицах Каунаса. Твардовский ушел к себе в редакцию, а я уехал в 5-ю армию, в дивизию генерала Казаряна. Возможно, на этом и закончились бы мои «взаимоотношения» с Александром Твардовским, если бы опять же не Николай Баканов.

В феврале 1945 года из-под Кенигсберга я уехал под Берлин, на Первый Белорусский фронт. Примерно в то же время полковник Баканов был назначен членом редколлегии и редактором военного отдела газеты «Известия». После окончания войны я из Берлина вернулся в Москву. Первым, кого я увидел в кабинете теперь непосредственного своего начальника Н. А. Баканова, был Александр Твардовский.

Говорят, солдатская дружба самая стойкая. Дружба Александра Твардовского и Николая Баканова, завязавшаяся на фронте, объясняла и то, что в первые послевоенные годы пе-

чатной трибуной для Александра Твардовского были страницы газеты «Известия».

Александр Твардовский, или Трифонович, как звали его многие известинцы (для Баканова он был просто Саша), стал частым гостем военного отдела — не отдела литературы и искусства, а военного.

В те первые послевоенные годы Твардовский жил в доме семнадцать на улице Горького, рядом с аркой, что ведет в Большой Гнездниковский переулок. От его дома до редакции «Известия» на Пушкинской площади — рукой подать.

— Вышел погулять, смотрю — у вас огонек,— скажет Александр Трифонович и присядет на стул около стола.

Военный отдел занимал две комнаты на пятом этаже, окна выходили как раз на Пушкинскую площадь. Одна комната — кабинет Н. А. Баканова, другая — проходная, пристанище военных корреспондентов. Нас было шестеро, носивших еще военную форму, но почти полностью переключившихся на темы мирного труда, то есть, по существу, мы были людьми цивильными. Мы — это Виктор Полторацкий, Евгений Кригер, Петр Белявский, Константин Тараданкин, Александр Булгаков и автор этих строк.

На известинский огонек Твардовский приходил чаще всего без прямой цели, а просто так, «пофилософствовать». Но, поговорив о том о сем, отпустив шуточку или колючее, ироническое замечание по поводу неудачного словечка, встретившегося ему в очередном опусе одного из нас, Трифонович извлекал из кармана пиджака листы с машинописным или каллиграфически четким почерком написанными строками и говорил:

— Вот послушайте, братцы...

Мне приходилось слушать поэтов и прозаиков, читающих свои произведения не со сцены концертных залов, а в обычной редакционной комнате, для двух-трех слушателей. Не припомню похожих друг на друга чтецов.

Твардовский читал звонко, с мягким оттенком хрипотцы в голосе. Ни позы, ни жестов, ни резких перепадов в интонации. Все, кто в эти минуты находился в кабинете Баканова, замирали, как в кинокадре, остановившемся на экране. Ни шороха, ни вздоха, ни малейшего движения. Когда голос поэта умолкал, наступала тишина. Не произносились слова одобрения или восторга. Каждому хотелось еще несколько минут побыть в тишине рядом с этим человеком.

Как правило, тишину нарушал Николай Баканов. Он говорил безапелляционно, как и положено военному:

— Конечно, Саша, эти стихи для «Известий».

— Подойдут, думаешь? — с улыбкой спрашивал Твардовский и передавал рукопись в руки полковника.

Нередко бывало и так:

— Печатать пока не стану. Не завершено. Не все еще тут как хотелось бы, как следует быть.

Или:

— Извини, Николай Александрович, обещал. А вам прочитал как бы для проверки — самому хотелось послушать, да и вашу реакцию узнать...— И рукопись скрывалась в кармане.

Я могу только посетовать на себя, что не записывал тогда ни названия произведений, которые читал нам Твардовский, ни тем более какие-то строки или куски, поразившие своей свежестью и глубиной мысли. А полагаться на память в данном случае нельзя. Скажу лишь, что в послевоенные месяцы 1945 года в «Известиях» было опубликовано более десяти произведений А. Твардовского, в их числе такие рассказы и очерки: «Лявониха», «Настасья Яковлевна», «Салют у моря», «Поцелуй», «В родных местах» — с продолжением в двух номерах газеты. В те же месяцы в «Известиях» появились новые главы «Василия Теркина», в частности «Дорога на Берлин», стихотворения «Расплата», «Дорога до дому» и, наконец, «Песни немецкой неволи», собранные и записанные Надеждой Коваль, альбом которой «Для пісень з життя в Германи, 1944 року» был найден на полу барака для «восточных рабочих».

— Виделись мы с Твардовским не только в редакции газеты.

Бывало, зайдет, посидит, потолкует и скажет:

— А не навестить ли нам, дорогой Николай Александрович, достопочтенного Сергея Ивановича Вашенцева? Как ты, Леонид, к этому относишься?

Мы направлялись в квартиру скромного русского писателя, многие годы отдавшего воспитанию будущих прозаиков и поэтов в Литературном институте. В рабочем кабинете Вашенцева, скорее похожем на склад не рассортированных еще вещей, мы усаживались в старинные глубокие кресла, вспоминали всякие военные истории. Фронтовые «байки», как правило, заканчивались небольшим концертом — дочери Сергея Ивановича учились в консерватории. Настойчивые просьбы Твардовского исполнить что-то встречались доброжелательно: полчаса, а иногда и час мы слушали музыку.

— Ну вот и чудесно,— говорил Твардовский, как бы заключая концерт.— Спасибо вам, миленькие. А мы что? Отдохнем? — Эти слова были обращены уже к нам, мужчинам.

Мы шли в кафе «Отдых», что на Советской площади. Твардовский не любил шумных, фешенебельных ресторанов. Он любил бывать там, где можно не только выпить и заку-

сить, но и поговорить, пошутить, посмеяться. Доводилось и мне засиживаться в таком немноголюдном, неторопливо беседующем застолье. Позднее в главе «С самим собой» поэмы «За далью — даль» Твардовский напишет:

Мне дорог дружбы неподдельной
Душевный лад и обиход,
Где слово шутки безыдейной
Тотчас тебе не ставят в счет...

Бывало и так. Телефонный звонок, голос Твардовского:

— Чего поделываете? Не могли бы с Николаем Александровичем вместе или кто-то один из вас зайти ко мне сейчас? У меня тут добрые люди...

Не раз звал Твардовский меня к себе и тогда, когда был один. Добродушно настроенный, всегда что-то читал, и не только свое. Иногда вступал в спор с невидимым оппонентом. Расспрашивал меня о моих родных лесных краях, интересовался впечатлениями о Японии, где я пробыл сто дней.

— Погубит нас графоманство,— как-то с нескрываемой в голосе тревогой сказал он.— Что ни книга, то пятьсот, шестьсот страниц, а то и два-три тома. Жизненная ситуация, что в основе толстенной книги,— пустяковая. А размусолено на сотни страниц! «Капитанская дочка» Пушкина — а в ней целая эпоха. Характеры. Столкновения страстей. А проза Лермонтова: какая ясность, поэтичность и ни одного лишнего слова.

— Если свободен, забеги на минутку,— послышалось однажды в телефонной трубке.

Пришел. В кабинете Александра Трифоновича были его друзья — Андрей Малышко и Аркадий Кулешов. Три поэта, и каких! Читали стихи каждый на родном языке. А русские, украинские и белорусские песни, схожие в задушевности, пели вместе. В тот вечер всем своим существом я ощутил великое духовное единство трех народов-братьев.

Однажды я ушел от него с подарком — книгой «Поэмы», только что вышедшей в «Советском писателе». На титуле:

«Леониду Кудреватых, милому и умному товарищу и писателю.

А. Твардовский

16. III. 47. М.»

(Допускаю, что кое-кто может упрекнуть меня в нескромности за то, что привожу лично мне адресованные А. Твардовским дарственные надписи на подаренных им книгах. Но и в этих автографах я вижу широту его души, теплоту и

щедрость ее. К тому же я глубоко убежден — каждая строка, каждое слово, написанное Твардовским, принадлежит его биографии, нашей литературе.)

Его занимали и такие проблемы, как отражение правды жизни в нашей повседневной журналистской практике.

— Не следует сусальничать, приукрашивать,— говорил он мне.— Чем хорош Алексей Колосов в «Правде»? Он умеет удивительно просто и поэтично рассказать о том, что увидел, узнал, почувствовал. Иной его газетный очерк дороже многолистной, водолейной повестушки о деревне, которые развелись, как мокрицы.

И вдруг спросил:

— Алексей Колосов член Союза писателей?

— Да,— ответил я.

— А кто еще из очеркистов «Правды», «Известий» в писательском Союзе?

— Елена Кононенко и Иван Рябов, Татьяна Тэсс и Евгений Кригер.

— И правильно! — сказал Александр Трифонович. И тут же подкрепил свое утверждение доводом: — Журналисты, знающие жизнь и пишущие о ней самобытно,— это же писатели, причем популярные в народе писатели. Их читают миллионы: кому, как не вам, летописцам нашего боевого времени, быть в Союзе писателей. А ты, и мой земляк Петр Белявский, вы состоите в писательской организации?

— На собрании очеркистов приглашают. Хожу. Ходит и Белявский. Но подавать в Союз не рискую.

На этот раз я уходил от Твардовского с листочком бумаги, на котором было написано:

«В Союз советских писателей СССР...»

Твардовский рекомендовал принять меня в Союз писателей...

Нередко посещение квартиры Твардовского заканчивалось тем, что мы приносили в редакцию рукописи новых его произведений.

С первой половины сорок шестого года по первую половину сорок девятого года к читателям «Известий» пришли главы из поэмы «Дом у дороги», стихотворения «Москва», «Молодость», «Свет — всему свету», «9 мая», включенные Твардовским в третий том первого четырехтомного собраний его сочинений, да и многие другие стихотворения, напечатанные в «Известиях», которые поэт не включил в свой первый четырехтомник. В те же годы на страницах «Известий» опубликованы и критико-литературоведческие статьи А. Твардовского о творчестве Михаила Исаковского и Аркадия Кулешова.

Вовлеченный в орбиту больших государственных, редакторских дел, в работу Секретариата Союза писателей СССР, Твардовский печатался в «Известиях» все реже и реже. Возможно, что определенную роль в его отдалении от «Известий» сыграло и то, что из редакции ушел Николай Баканов.

Уже в 1950 году семья Твардовского переехала в дом «Известий», тот самый, который стоял на Второй Бородинской под номером девятнадцать, а ныне оказался на углу возникших в 50-х годах Кутузовского проспекта и Шевченковской набережной,— номер дома теперь один дробь семь. Мы оказались соседями.

Хочу специально оговорить — я не биограф Твардовского и не исследователь его творчества. Я берусь утверждать лишь то, чему был свидетелем сам.

От него не раз слышал добрые, самые восторженные слова о Михаиле Исаковском, Александре Фадееве и Самуиле Маршаке, которых он почитал. В первые годы жизни на Бородинской мы виделись с ним чаще, чем прежде, бывали друг у друга, и если встречались на «нейтральной почве», то нашими сотоварищами были Эммануил Казакевич, Алексей Фатьянов и Сергей Сутоцкий.

Я не знаю истоков дружбы Эммануила Казакевича и Твардовского, но могу свидетельствовать, что она была очень душевная, наполненная взаимным уважением, глубоким чувством солдатской верности.

Особые доверительные отношения сложились у Твардовского после войны с Сергеем Сутоцким — журналистом-публицистом, в то время ответственным секретарем «Известий». Квартира Сутоцкого для Твардовского была открыта и в час его душевного подъема, и в дни тягостных страданий. Не так часто, но иногда и я бывал приглашен туда. Твардовский ценил широкие познания Сутоцкого во всем, что связано с жизнью и деятельностью В. И. Ленина, с литературой о революционно-исторических процессах.

Неподалеку от нашего дома жил поэт-песенник Алексей Фатьянов. К Фатьянову мы нередко и слетались. Алексей Фатьянов являл пример единства поэта и музыканта. Мне порой казалось, что Алексей сам сочиняет не только слова, но и мелодию будущей песни, которую потом уж развивают и обогащают известные композиторы.

У Фатьянова пели. Твардовский жил песней, русской народной песней. Сколько их было перепето у Алексея Фатьянова, у Сергея Вашенцева, в нашей известинской военкоровской дружине, где одно время Твардовский бывал частенько. У Фатьянова, аккомпанировавшего на рояле, Твардовский пел с задорной улыбкой на лице, и с сосредоточенной серьезностью, и с грустинкой, так свойственной ему.

Он просил нас подпевать, но негромко. Чтобы не нарушать удивительную слитность голосов Твардовского и Фатьянова, Казакевич, Сутоцкий и я только шевелили губами или просто молчали. Да и слов многих песен мы не знали. Не берусь утверждать, какая из песен была самой любимой у Твардовского, но «Летят утки...» пелась чаще других, в ней голос Трифоновича звучал неподражаемо задушевно.

Мне хочется напомнить об одной особенности характера Александра Твардовского. Если на войне некоторые писатели и журналисты из фронтовых или центральных газет любили наведываться к высшему комсоставу, а потом в своих повествованиях до мельчайших подробностей рассказывать об этих встречах, то он не только не искал этих встреч, но даже уклонялся от них, если не сказать более — не любил. Он не так уж часто посещал передний край на войне, но уж если шел в подразделение, то надолго, жил с солдатами, вместе с ними ел кашу, пил водку, пел солдатские песни.

И так же после войны Твардовский не искал «высоких» знакомств, признаний, постов. Признание, уважение, почести, посты шли к нему сами. Вспомним: он был секретарем Правления Союза советских писателей. Дважды и подолгу главным редактором журнала «Новый мир». Нес вахту депутата верховных органов страны. Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Но это не изменяло его характера, его отношения к тем, с кем он бывал в часы досуга и отдыха.

Я ни разу не слышал его рассказов о «вышестоящих», а если он и вспоминал какие-то встречи, то героем его рассказа был самый что ни на есть простой, рядовой человек, но чем-то примечательным тронувший душу и воображение поэта. Восторженно говорил он о литераторах, написавших что-то талантливое, яркое, и гневно о тех, чьи творения публикуются «по занимаемой должности, а не по таланту».

Не просто и не легко сходился Твардовский с людьми, даже с собратьями по перу. Многое определялось его сложной натурой, в которой вместе с застенчивостью, даже со стеснительностью уживалась какая-то несдержанность, подкрепляемая к тому же резкой иронией. Я бывал свидетелем того, как в дружеской беседе он вдруг резко обрывал даже уважаемого собеседника и произносил адресованную ему уничижительную реплику или о делах вообще, или творческих, в частности. Бывал я свидетелем и того, как он, смущенный вниманием к его персоне, исчезал, говоря по-современному, из поля визуального наблюдения. Он не любил ни званых приемов, ни шумных, многолюдных застолий.

Помню, как-то в вечерний час, уже после войны, Александр Трифонович сидел в военном отделе редакции «Изве-

стий», вел с нами неторопливый разговор и, глянув на часы, вдруг спохватился:

— Ребятки, подбросьте на Ленинградское шоссе. Зван к Константину Симонову. Испытываю желание побывать у него.

Н. А. Баканов вызвал машину, и мы поехали. Когда автомобиль остановился, Александр Трифонович открыл дверцу, повернулся к нам и сказал:

— Прошу вас — сразу не уезжайте. Подождите минут десять — пятнадцать. Вдруг почему-то вернусь...

Не прошло и десяти минут, как он возник у автомобиля.

— У Симонова много незнакомых мне людей,— сказал он, усаживаясь на свое место.— Видимо, какой-то важный прием устроил. Я даже не стал снимать пальто. Костя просил, но я не могу. Не могу я в таком многолюдье, а главное — в незнакомом. Извинился, конечно: мол, как-нибудь в другой раз. Поедемте в наше кафе «Отдых», а? Согласны?

Какое-то заседание в Правлении Союза писателей СССР продолжалось без перерыва часа три. После него все пошли в ресторан Дома литераторов, уселись за один большой стол... Борис Горбатов предложил Катаеву, Твардовскому и мне поехать в «Националь».

— А может, в чайную за Крестьянскую заставу? — сказал Твардовский.— Там густые щи и ароматная гречневая каша. Это я могу. А «Националь» не по мне.

— Тогда, может быть, так: завезем Горбатова в «Националь» — у него там свидание,— купим торт, вина — и ко мне? — предложил Валентин Катаев...

В кабинете Валентина Петровича на письменном столе появились чайные чашечки, яблоки и конфеты. В чашечках пузырилось какое-то грузинское вино.

Было уже поздно, ближе к полуночи, а может, и за полночь переступило. Два тонких знатока и ценителя слова, мастера поэзии и прозы, сидели друг против друга и, все понимая друг в друге, вели непринужденный, поначалу даже веселый, разговор о литературе.

Я отодвинулся немного от стола, заняв позицию наблюдателя. Я не столько слушал, сколько думал о них — разных, «со своим голосом», со своим восприятием мира.

Оба были на войне.

Александр Твардовский еще в финскую был на фронте в газете. И всю Отечественную тоже неотлучно прошел с фронтовой газетой. Слушал солдат, писал для солдат, жил солдатской думой и верой. И на войне написал почти всего «Василия Теркина».

Валентин Катаев появлялся на разных фронтах в качестве специального корреспондента центральных газет. Что называется, заскакивал на несколько деньков на «горячий уча-

сток», рвался ближе к переднему краю, чтобы все повидать и пощупать.

Весной 1944 года войска Второго Украинского фронта в бурном порыве, форсируя несколько рек, с украинских земель вступили на земли Молдавии, стонавшей под гнетом фашистской оккупации, быстро пересекли ее северную часть с востока на запад и, преодолев реку Прут под Яссами, вышли на румынскую землю. Этот стремительный рывок ошеломил врага и вызвал восторг у советских людей.

Помню, в те дни к нам, на Второй Украинский фронт, наведывались многие литераторы. И не только из Москвы. Прилетали, например, английские журналисты Александр Верт и Ральф Паркер.

Тогда же в молдавскую деревеньку, где квартировали военные корреспонденты, как ангел с неба, свалился Валентин Катаев. А уже утром исчез и больше не появлялся. И только прочитав несколько дней спустя в «Красной звезде» его очерк, мы узнали, что он в самолете-штурмовике, заняв в хвосте самолета ничем не прикрытое, продуваемое и простреливаемое со всех сторон место стрелка, летал на вражеские позиции, исполнял все положенные стрелку обязанности. А когда штурмовик вернулся с боевого задания на аэродром, Валентин Катаев тут же вылетел в Москву. Он спешил в редакцию.

Рассматривая книги, что в небольшом шкафу,— разные издания произведений Валентина Петровича у нас и за рубежом,— я время от времени прислушиваюсь к разговору. Говорят о Тютчеве и Достоевском, о Чехове и Толстом, о Есенине и Маяковском, о Горьком и Блоке, о современной советской литературе. Снова попрекаю себя, что не записал ни одного слова из той беседы, длившейся до рассвета. Спорят и соглашаются, не без удовольствия тянут из чашечек сухое вино. И не хмелеют.

Долго говорили о Бунине. Катаев знал Бунина в юности, Твардовский — только читал, но ему хотелось не только слушать рассказы Катаева о Бунине, но и самому о нем говорить, может быть, впервые высказать какие-то мысли, которые потом, через несколько лет, оживут в его известной статье «О Бунине», написанной в 1966 году. Разговор, точно морские волны, то стихал, то шумел прибоем. Собеседники явно притомились. Вино было допито. Спорщики взбадривали себя кофе.

Вдруг Твардовский встал, глянул в окно, потянулся и сказал:

— Ничего себе, умыкнули ноченьку. Пошли-ка, дружище, домой.

Когда же это было? Достаю с полки книгу «Белеет парус одинокий», читаю дарственную надпись Валентина Петрови-

ча, под ней дата: «28 апреля 1951 года». Значит, памятная встреча состоялась в ночь с 27 на 28 апреля 1951 года.

С мая 1949 года на страницах «Известий» ни одной строчки поэта. Он был поглощен делами «Нового мира», да и Н. А. Баканов уже не работал в газете, а личная приязнь для Твардовского имела огромное значение.

И только накануне Первого мая 1952 года, то есть через три года, он передал «Известиям» большое стихотворение «Песнь о Москве». Оно-то и украсило праздничный номер газеты.

Проходит месяц, два, три месяца, а стихов Твардовского опять нет на страницах «Известий».

И вдруг в утренний час он позвонил:

— Ты когда собираешься в редакцию?

— Через час.

— Не трудно будет раньше зайти ко мне?

Когда я пришел, поэт усадил меня за письменный стол у окна, обращенного к Москве-реке. На столе листы бумаги с отпечатанными стихами.

— Прочти вслух,— сказал Твардовский.

— Испорчу песню,— ответил я.— Ты же знаешь мою дикцию.

— Тогда слушай.

И он прочитал, видимо, только что законченные «Две кузницы» с подзаголовком «Из путевого дневника», потом ставшие главой поэмы «За далью — даль».

Я не могу похвастаться памятью на стихи, подобной, например, памяти Виктора Полторацкого, удерживающей строки, четверостишия и целые стихотворения, прочитанные всего лишь раз и возникающие при случае через годы и десятилетия. Моя память в этом смысле решето. И тем не менее в ней иногда закрепляются мотивы или ритмы единожды услышанного или прочитанного. С той поры,— а было это 22 сентября 1952 года,— остались в памяти два заряда — лирический и эпический — из «Двух кузниц».

Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон,
Такой усталый и печальный
По вечерам, как будто он
Вещал вокруг о жизни трудной,
О скудном выручкою дне
В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне,
Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути;
Где мог бы все свое железо
Мужик под мышкой унести;
Где был заказчик — гость случайный,
Что к кузнецу раз в десять лет

Ходил, как к доктору, от крайней
Нужды, когда уж мочи нет.

Таков он, лирический эпос Александра Твардовского,— необыкновенно человечен, всеобъемлющ и вместе с тем конкретен.

Очарованный услышанным, я ни слова не сказал автору и, свернув в трубочку листы со стихами, поспешил в редакцию. Успел как раз к планерке — формировался номер на 23 сентября. После информации заместителя ответственного секретаря я попросил слова.

— Вот стихи Александра Твардовского. Полчаса назад они лежали на его письменном столе. Думаю, надо их поставить в номер.

Посыпались вопросы:

— Как называется?

— «Две кузницы».

— Это что, про войну?

— Про все! — зло ответил я.

— Сколько там строк?

— Не считал,— опять зло ответил я.

— Может, вначале отдел литературы посмотрит, подготовит для набора, ну, и поставим стихи в один из очередных номеров газеты,— как бы подводил черту главный редактор.

— Разрешите, я вслух прочитаю стихи Твардовского,— неожиданно вступила в спор Татьяна Чугай, заведующая отделом школ и вузов, бывшая учительница и фронтовичка. Не дожидаясь разрешения, звонким, хорошо поставленным голосом она начала:

На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берез,
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.

Чугай читала превосходно. Я с радостью наблюдал, как меняются лица почти у всех сидевших в конференц-зале, как уходит лежавшая на них тень усталости, равнодушия и безразличия. Вот что значит, когда сочетание обычных, простых слов становится поэзией. И какой! Таня Чугай являла собой отражение чувств Твардовского, вложенных им в эти стихи, так она здорово их читала! А когда она окончила чтение, раздались аплодисменты, так редко звучавшие в стенах конференц-зала.

Конечно же стихи «Две кузницы» тут же были поставлены в номер.

В конце марта 1953 года Александр Фадеев, возглавлявший в ту пору Союз писателей, собрал редакторов писательских изданий. Я, редактировавший «Альманах год (такой-то)», оказался в окружении маститых редакторов. Фадеев по-

просил каждого из нас рассказать, что публикуется в очередном номере издания, интересовался содержанием не только романов и повестей, но и рассказов, очерков, стихотворений, даже критических статей. И обязательно спрашивал:

— А как написано? Как звучит?

Когда дошла очередь до меня и я сообщил о содержании первой книги «Альманах год XXXVI» (в год выходило три-четыре книги), Фадеев спросил:

— А стихи? Поэты в вашем издании участвуют?

— В каждом номере печатаем стихи,— ответил я.— Но не все поэты, к кому обращаемся, откликаются на наш призыв. Сколько раз я просил Твардовского...

— Твардовский ныне нарасхват,— прервал меня Фадеев.— Кого из поэтов печатаете в этом номере?

— Ивана Молчанова,— ответил я.

Александр Александрович пожал плечами, как бы выражая какое-то сомнение: «Что-то давно я не читал Ивана Молчанова. Неужели он еще пишет?»

И, отвечая на этот не произнесенный никем вопрос, я сказал:

— Стихотворение Молчанова хорошее. В нашей редколлегии оно всем понравилось,— и положил на стол верстку стихотворения «У лукоморья дуб зеленый».

Верстку взял Твардовский и стал вслух читать стихотворение. Читал он так же просто и проникновенно, как читал и свои стихи.

Дочитав стихотворение и положив верстку на стол, Твардовский сказал:

— Хорошее стихотворение. Правда ведь, хорошее?

И, точно по заранее обговоренному сигналу, в кабинет Фадеева вошла секретарша с коричневой папкой в руках — в такой папке обычно вручают поздравительные адреса.

Фадеев раскрыл папку и захохотал так, как он умел, что называется, от всей души.

— Здорово! — взмахнув руками широко и вольно, сказал он.— Вот это совпадение! Сегодня юбилей Ивана Молчанова. У парня-то, комсомольского поэта, как мы сейчас узнали, есть еще порох в пороховницах. Давайте все, кто есть, распишемся в этом адресе. А где сейчас Молчанов? — спросил он, обращаясь к секретарше.

Оказалось, небольшая группа друзей Ивана Молчанова собралась в восьмой комнате клуба отметить его полувековой юбилей.

— Пойдем в клуб, поздравим юбиляра,— восторженно сказал Фадеев.

— Непременно,— поддержал его Твардовский.

Через несколько минут почти все участники только что закончившегося совещания были в восьмой комнате клуба и заключали юбиляра в объятия.

— Чем я обязан? — смущенно спросил Молчанов.

— А вот прочитай-ка сам,— сказал Твардовский, передавая Молчанову верстку стихотворения.

В октябре 1954 года меня утвердили заместителем главного редактора журнала «Огонек». Вполне естественным было мое стремление побудить Твардовского к активному участию в журнале. Твардовский для «Огонька» не новичок, он печатался и раньше, но уж очень редко. Но как «активизировать» его участие?

Мы по-прежнему жили в одном доме, встречались на различного рода собраниях и заседаниях, бывали в одних застольях, имели общих друзей и знакомых, изредка заходили друг к другу. Почти при каждой новой встрече я заискивающе просил:

— Ну хотя бы одно стихотворение для «Огонька»?

— А ты напиши сам,— иронизировал он.— У меня нет, понимаешь, нет!

И вдруг звонок:

— Зайди, почитай... Может, что-нибудь возьмешь для «Огонька»?

Через несколько минут я сидел за знакомым мне письменным столом и читал одно за другим, читал, дивился и радовался — сразу шесть стихотворений! Читал молча и как бы боковым зрением примечал, что сидевший в кресле поэт следил за выражением моего лица. Я не нашел точного слова, которое вобрало бы мое ощущение от прочитанного, и сказал, как мне показалось, банальное:

— Превосходно!

Не знаю, то ли Александра Трифоновича покоробила моя оценка, то ли ему еще раз захотелось послушать свои стихи в своем собственном исполнении, но, взяв со стола листы, он вслух стал их читать. Медленно, с той немного певучей, присущей ему неповторимой манерой. Слушая его голос со знакомой мне мягкой хрипотцой, я в свою очередь тоже следил за выражением лица поэта и видел, что он доволен, что стихи ему нравятся.

Было это в середине октября 1965 года. Я, что называется, летел в редакцию «Огонька» на крыльях радости, понимая, какой гостинец везу для читателей журнала.

Весь цикл был назван «Из лирики». Первое стихотворение «Нет, жизнь меня не обделила...» стало заключительной частью главы «С самим собой» поэмы «За далью — даль». Помните:

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

Потом шли стихи без названия, заголовки заменяли первые строчки: «Час рассветный подъема...», «Ни ночи нету мне, ни дня...».

У стольких душ людских в долгу,
Живу, бедой объятый:
А вдруг сквитаться не смогу
За все, что было взято!
За то добро, за то тепло,
Участье и пристрастье,
Что в душу мне от них вошло,
Дало изведать счастье.

Далее: «Снега потемнеют синие...», «Ты дура, смерть...», «Спасибо, моя родная...»

В тот же день стихи были посланы в набор для очередного номера журнала. А назавтра дочь Твардовского Оля принесла мне домой записку:

«Леонид!

Я не показал тебе еще одно стихотворение (полушуточное) «Не много надобно труда...». Я включаю его в цикл для разрежения «серьезности» большинства стихов.

Порядок расположения, примерно, этот, а там видно будет.

А. Т.»

Новое стихотворение было поставлено четвертым. Теперь их стало семь.

Как только пришла верстка, я позвонил автору:

— Есть верстка. Могу завезти, показать...

— Что еще за честь! Сам сейчас к вам в редакцию заеду. И вместе посмотрим.

Я разложил перед поэтом еще не высохшие листы верстки. И прежде, чем увидеть неудовольствие на лице Твардовского, сам заметил промашку. Стихи были разверстаны на полторы страницы журнала, что называется, впритык друг к другу, без воздуха, без той широты и легкости, которой они были достойны. Я пригласил техреда (я вел этот номер) и попросил разверстать цикл на полный разворот, а художника Высоцкого написать заставочки.

— И на открытии цикла,— сказал я,— портрет поэта.

— Может быть, портрет-то как раз и ни к чему? — улыбнулся Твардовский.

— Портрет необходим,— поддержал меня техред.

В одном из октябрьских номеров журнала «Огонек» за 1955 год шестая и седьмая страницы заняты стихами Александра Твардовского «Из лирики». За этот цикл поэт был удостоен премии «Огонька».

Кому-то нужно было распустить страшную байку: «Твардовский терпеть не может молодых поэтов». При этом ссылались на произнесенные им где-то слова: «Молодых поэтов, как котят, надо топить, пока они не прозрели». Нечто подобное однажды слышал и я. Тогда шла речь о том, что в чистый поток советской поэзии все явственнее вливаются ручейки бездарности, серятины и пошлости, что стало много поэтов разных и, к сожалению, далеко не всегда хороших, что поэтическая дребедень наносит моральный ущерб поэзии и портит вкус читателя.

— Люди теперь грамотные, все больше и больше становится тех, у кого среднее и высшее образование. Почти каждый может рифму подобрать, с размером справиться, стишок сочинить...

Помню, еще в первой половине 50-х годов в кругу известинцев, бывших военных корреспондентов, когда речь зашла о состоянии поэзии тех лет, Твардовский говорил это и продолжал:

— У большинства подобных поэтов стихотворчество, как правило, баловство, и оно со временем проходит. У большинства, но, увы, не у всех. Газет и журналов ныне у нас уйма. Заводская многотиражка, районная газета да областная комсомольская или городская вечерняя стишки «своего поэта» тискает с удовольствием. А он и возомнит, на работе волынить начинает, стишки кропает, в разные адреса шлет. В тех стишках ничего своего, все заимствовано, все под кого-то. Словом, чужая песня на знакомый лад. Вот таких-то поэтов надо останавливать вовремя, пока они совсем не загубили себя и поле настоящей поэзии не заглушили сорной травой. Остановить их нужно вовремя — пусть полезным обществу делом занимаются. Льстить бездари — значит погубить человека.

Известно, что Твардовский и как поэт, и как редактор чувствовал и отмечал всякого талантливого молодого стихотворца, доказательство тому — десятки писем поэта к разным молодым авторам, впервые опубликованных в книге «О литературе», вышедшей в издательстве «Современник» в 1973 году. Он охотно привечал самобытного молодого поэта, не уставал радоваться его успеху. Я не раз слышал добрые слова, даже слова восторга, высказанные Твардовским, например, о Егоре Исаеве. Не раз слышал и обиды, адресованные

Твардовским некоторым «открытым» им поэтам. В «Огоньке» мы напечатали одну из поэм Алексея Маркова. Как-то в разговре со мной Александр Трифонович сказал:

— Алеша Марков очень способный, талантливый человек. Впервые он напечатался в «Новом мире» по моей рекомендации. А теперь публикует поэму за поэмой. Не стало прежней отточенности и строгости при отборе слова. Пишет размашисто, многословно.

— Кое-кто у нас, бия себя в грудь, всенародно клянется, что он русский, что он и есть подлинная Россия, а его поэзия исконно русская,— не раз говорил Твардовский.— Суть поэзии русской не подобные клятвенные заверения. Она, эта суть, в русской сдержанности и силе мысли, чувств, в достоверности и правдивости, в содержании всего, что создано русской поэзией, что написано тем или иным русским поэтом, хотя он нигде и не давал клятвенного заверения быть только русским.

Все это я вспомнил, вчитываясь вот в это письмо А. Твардовского:

«Москва, 21. X. 56.

Дорогой Леонид Александрович!

Направляю стихи молодых поэтов, о которых говорил тебе по телефону.

1. Борис Шумилов, комбайнер, В. Мурашкинской МТС, Горьковской области. Его стихи, при всей как бы непритязательности формы, на мой взгляд, отличаются подлинно поэтическим вйдением живых черт того мира, в котором автор — свой человек, работник.

Стихи можно было бы расположить в таком порядке (если редакция отважится поместить не одно, а три-четыре стихотворения молодого автора):

1) Перед жатвой
2) «Конец уборки...»
3) Дядя Вася
4) Тетя Маша
5) О поэзии

2. Игорь Корейша, студент Таллинского политехнического института (горное отделение). В стихах явные поиски своеобразного выражения, стремление к отчетливости, ритмической и интонационной,— словом, что-то есть свое, не с чужого образца взятое, хотя знакомство с образцами, известная культура безусловна. Из его тетрадей рекомендовал бы следующие стихотворения:

1) «Иной поэт...»
2) Утро на берегу

3) Молодое дарование
4) Точная примета
5) Пословицы наизнанку
6) Медицинско-лирическое
Последние четыре стихотворения можно дать вместе.

Я, конечно, намечаю с возможностью выбора, как, впрочем, и в отношении вещей из этих тетрадей,— можно и там посмотреть.

3. Владимир Фирсов — студент лит. института, молодой (20 лет), хороший паренек, уже печатался по моей рекомендации в «Н. Мире» и др. местах. Посмотрите его два стихотворения.

Привет!

А. Твардовский

Большая просьба уведомить авторов, если будет что-нибудь отобрано, и возвратить (во всех случаях), тетради.

А. Т.»

Нуждается ли это письмо в комментариях, хотя ими можно занять не одну страницу? Все ли именитые поэты столь трогательно, заботливо относились к молодым поэтам, в произведениях которых есть хотя бы блесточка самобытного таланта?

Примечательно, что в первом номере «Огонька» за 1959 год опубликовано сообщение о премиях журнала за 1958 год. В числе лауреатов: Я. Брыль, Р. Гамзатов, О. Гончар, В. Кулемин, С. Никитин, В. Перцов, Г. Радов, Я. Хелемский, В. Федоров, В. Фирсов — за упомянутый цикл стихотворений и А. Твардовский за рассказ «Печники».

О рассказе «Печники» стоит рассказать подробнее.

Только что перечитал «Печники», лучшее из прозаических произведений Александра Твардовского и примечательное творение русской прозы. Перечитал, чтобы самопровериться, сохранились ли в памяти все детали из этой песни о мастерстве как высшем проявлении характера, достоинства личности: печник «Егор Яковлевич был поэтом своего дела».

Я оказался одним из первых читателей рассказа «Печники». С той поры он осел в моей памяти со всеми подробностями, как песня о русском величии и душевной теплоте.

В начале второй половины января 1958 года в вечерний час позвонила Мария Илларионовна:

— У меня поручение — дать почитать вам рассказ Твардовского. Мы в Ялте, в Доме творчества. В квартире у нас пустынно. Я прилетела утренним самолетом всего на два дня, послезавтра лечу обратно. В Москве у меня уйма всяких дел, в том числе и поручений. В Ялте он закончил

рассказ «Печники» — начал лет пять назад, а последнюю точку поставил вот теперь. Просил обязательно вам показать: «Подойдет ли рассказ по размеру для «Огонька». Как-никак сорок страниц на машинке. А нужно в один номер. Делить рассказ ни на какие части нельзя. Он просил прочесть рассказ за два дня. Если решат печатать, оставить у Вас.

Размер рассказа меня не смущал. Я обещал Марии Илларионовне позвонить завтра утром: за ночь прочту и сразу скажу свое мнение. Больше того — заранее просил передать автору благодарность за то, что рассказ он отдал «Огоньку».

— Вначале Твардовский намеревался опубликовать «Печников» в «Новом мире»,— заметила Мария Илларионовна,— но перед моим отлетом из Ялты положил рукопись в папку и сказал: «В «Огоньке» тираж больший, да если захотят, то и напечатают быстро. А в «Новом мире» через два месяца, не раньше. Скажи об этом Кудреватых».

На следующий день перед отъездом в редакцию я позвонил Марии Илларионовне:

— Рассказ мне очень понравился. Будем его печатать. Будем, я уверен. Но окончательное решение должен принять главный редактор Анатолий Софронов. Я еду к нему домой, попрошу его сразу же прочитать.

— Рассказ хороший. Будем печатать. Но придется в двух номерах,— сказал Софронов.

Я передал просьбу Твардовского.

— С иллюстрациями — это семь страниц журнала, ничего подобного у нас не бывало...

— Ну и что же? — заметил я.— Ради отличного рассказа, наконец, ради Твардовского возможны и исключения.

— А как ты относишься к такому месту? — Софронов нашел нужную страницу и прочитал: — «Коснулись Маяковского, о котором майор говорил с обожанием, то и дело вычитывал из него стихи наизусть с таким увлечением, что даже забывал заслонять рукой свою улыбку. А я думал о том, почему он при такой любви к Маяковскому сам пишет совсем по-другому — ровненько, опрятно, подражая всем на свете, но только не своему кумиру. Но я не спросил его об этом, а сказал только, что ознакомление школьников с поэзией Маяковского часто наталкивается на такие слова и обороты, которые идут вразрез с законами изучаемой ими родной речи».

— Во-первых, говорит это учитель, преподаватель литературы, от лица которого ведется рассказ,— сказал я.— А во-вторых, действительно, многие и сейчас не все понимают и принимают у Маяковского...

— А как расценить реплику старого печника Егора Яков-

левича: «А я говорю, что не Пушкин? Кто же еще так мог написать? Может, Маяковский твой? Нет, брат!» Может быть, Твардовский подумает над этой репликой: к чему такое лобовое столкновение?

Уже много лет зная Твардовского, я сказал главному:

— Надо решать так: или все дословно, или отказаться от рассказа. Твардовский не уберет и не заменит ни одного слова, тем более в данном случае. Мне так думается: эти фразы и реплики о Маяковском уже давно выношены Твардовским, в них в какой-то мере заложено и собственное восприятие, и отношение поэта к поэту. Он тут не поступится ничем.

— Давай запускай в производство,— решил Софронов.— Кто рисовать будет?

— Конечно, Орест Верейский.

— А в какой номер?

— Может быть, что-то снимем завтра при читке верстки очередного номера и поставим «Печников»?

— Действуй...

Вечером я позвонил Марии Илларионовне:

— Все в порядке. Рассказ будет напечатан во втором февральском номере «Огонька». Передайте, пожалуйста, Александру Трифоновичу — ждем давно обещанные стихи.

Дня через три из Ялты в мой адрес пришла телеграмма:

«Спасибо за оперативность одобрения рассказа. Стихи дам середине февраля. Твардовский».

В седьмом номере «Огонька» за 1958 год, датированном 9 февраля, семь страниц журнала (7—15) занял рассказ «Печники». В четырех рисунках Орест Верейский прекрасно передал облик и характер всех персонажей рассказа. Один из сигнальных номеров журнала авиапочтой я послал Твардовскому в Ялту. 13 февраля получил депешу:

«Спасибо. Стихи будут второй половине февраля. Твардовский».

Были в редакции «Огонька» и такие, кто опасался: «Четвертую часть текста журнала под один рассказ — обидится читатель». Большинство же сотрудников как бы переживали своеобразный творческий праздник: напечатан преотличный рассказ, написанный поэтом! Настроения скептиков развеяли, а оптимистов поддержали читатели. Рассказ Александра Твардовского вызвал поток читательских писем, что бывает не так уж часто...

Так случилось, что с Твардовским я повидался только в начале лета. Мы взаимно поблагодарили друг друга — я за то, что он передал «Огоньку» свой рассказ, а он меня, как заметил поэт, «за отменную оперативность».

— А обещанные стихи? — с укоризной спросил я.

— Их просто нет,— развел руками Твардовский.— Понимаешь, новых стихотворений у меня нет.— И тут же шутли-

во прочитал несколько строк из второй главы поэмы «За далью — даль»:

...Друзьями в классики намечен,
Почти уже увековечен,
И хвать писать — пропал запал!
Пропал запал. По всем приметам
Твой горький день вступил в права.

Я понимал, что дело, конечно, не в «запале»...

Чтобы завершить «огоньковский период», расскажу об одной фотографии. 19 июня 1960 года отмечалось 50-летие поэта. На оборотной стороне обложки журнала мы напечатали портрет Александра Твардовского и рядом с портретом статью Михаила Дудина, который написал: «Ему пятьдесят лет. Он стал национальным русским, советским поэтом».

У меня сохранился один из вариантов фотографического портрета пятидесятилетнего поэта. Когда фотокорреспондент В. Тарасевич показал только что отпечатанные размером на страницу журнала портреты поэта, я отобрал один для публикации и попросил фотожурналиста остальные экземпляры вручить Александру Трифоновичу как подарок редакции, заметив при этом:

— Скажите ему, что я очень хотел бы иметь у себя вот это его изображение,— и указал на фотографию с вдохновенным лицом поэта, то ли с кем-то увлеченно разговаривающего, то ли читающего свои стихи.

В свое время Александр Трифонович видел у меня редкие фотографии Шаляпина, Бунина, Рахманинова, Чкалова, фронтовые снимки, на которых запечатлены друзья-товарищи журналисты и писатели, и, видимо вспомнив папку с этими фотографиями, на обороте снимка со своим изображением, который я отобрал, написал:

«Леониду Кудреватых в его «собрание».

А. Твардовский

27. V. 60»

Чисто деловые отношения с ним у меня прервались — больше я нигде не служил,— но пока Твардовские жили еще в известинском доме, мы встречались нередко в час прогулки поэта, а порой у Сергея Сутоцкого или у меня дома.

Побродив в вечерний час около дома или по набережной, потом иногда мы уединялись у меня на кухне. Неторопливый разговор о том о сем нередко прерывался просьбой Александра Трифоновича:

— Принеси-ка томик Тютчева.

И читал полушепотом одно, второе, третье стихотворе-

ние. Даже не для меня, а как бы себе. Почитает, остановится, посмотрит куда-то через меня и опять читает!

— Несправедливо недооценен у нас Тютчев. Огромной силы поэт! Философ и лирик! — скажет это, положит оба тома передо мной и добавит: — Далеко не прячь, потом почитаю.

В 1961 году Твардовские переехали из нашего известинского дома на Котельническую набережную. Его я видел реже и реже, больше на разного рода писательских собраниях и заседаниях, обменивался рукопожатием и двумя-тремя малозначащими фразами. Правда, несколько раз я был зван к Сергею Сутоцкому, к которому Твардовский все еще наведывался.

В один из зимних месяцев 60-х годов в одно и то же время мы с ним оказались на отдыхе в подмосковном санатории «Барвиха». Тогда же там был и Андрей Яковлевич Свердлов, сын Якова Михайловича Свердлова. Как-то Андрей Яковлевич предложил мне вечером идти костер жечь.

В вестибюле я увидел и Твардовского. Мною уже было замечено, что он не любил прогуливаться по набережной пруда, где собираются отдыхающие разных возрастов и рангов и ведут разговоры на самые различные темы. Он не вливался в эти группы. А если и случалось ему выходить на набережную, то, встретившись или обгоняя «дискуссионников», он, молча кивнув головой, что означало его приветствие, проходил мимо. Кое-кто спрашивал:

— Зазнается, что ли? Почти ни с кем не общается...

— Не в зазнайстве тут дело,— отвечал я.— Характер у него такой нелюдимый.

Он любил уединяться и тут, в санатории. Жечь костер он пристрастил и Свердлова. Для этого был выбран укромный уголок в глубине парка, на дне песчаного карьера, вырытого в небольшой горке. Гуляющие по парку иногда доходят до кладбища.

В первые годы войны санаторий был превращен в госпиталь. Многие из тяжело раненных защитников столицы в госпитале закончили свой жизненный путь. На их могилах надгробия с фамилиями. Дальше, за кладбищем,— лыжня. Вот по этой-то лыжне мы и вышли к своеобразной нише, она как бы вырублена в отвесной стене карьера и походит на огромный камин.

Здесь мы разводили костер, тем более что сушняка кругом было в избытке.

Языки огня лизали стены ниши, сушняк потрескивал в огне; устроившись на пеньках, мы сидели молча, устремив взгляд на огонь. Я видел лицо поэта, задумчиво-сосредоточенное. Отсветы огня на секунду освещали его, и оно снова уходило в тень.

— С детства люблю жечь костры,— не обращаясь ни к кому, проговорил Твардовский.— Люблю огонь костров. В нем есть что-то стихийное и вместе с тем успокаивающее. Вы заметили: люди у костров, как правило, стоят или сидят молча, точно слушая музыку, уходят в свои думы.

Последний раз я встретил Твардовского в семидесятом году в Доме литераторов, в минуты перерыва на партийном собрании. Он стоял у окна и курил. Лицо его было грустное, думы, видимо, тяжелые. Я подошел. Поздоровались. Молча. О чем спросить? Какую думу спугнешь?

— Все еще куришь? — неожиданно сорвалось у меня.

— Курю, Леонид! Курю, дорогой! А ты не утешай. Утешать попы любили. Они врали и утешали. Это, брат, ни к чему. Так-то вот! — и похлопал меня по плечу.

1973

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ В ИТАЛИИ



не не раз выпадало счастье бывать вместе с А. Т. Твардовским в Италии. Бывать вместе — значит работать вместе, помогать ему, чем мог, порой спорить. Неумолимо стремясь к забвению, память вместе с тем обладает счастливым свойством — просеивать через свое сито все мелкое и наносное и сохранять главное или то, что с течением годов кажется главным. В этих заметках попытка заставить собственную память пролить свет на несколько эпизодов, которые, быть может, сольются воедино, хотя отделены друг от друга годами и обстоятельствами.

Сицилийский курорт Таормина на берегу Мессинского пролива. Своеобразнейший отель «Сан-Доменико» — монастырь XV века с изображениями святых над каждым номером-кельей. Но в кельях — современнейший, продуманный до мелочей комфорт. И двери выходят в сад, вернее — в апельсиновую рощу, где вперемежку с гнущимися под тяжестью зрелых плодов деревьями диковинные цветы и растения необычно ярких красок. Внизу море, рыбацкий поселок, справа, вся в снегу, вершина вулкана Этна. Почти все свободное время Александр Трифонович проводил в этой роще-саду, пусть слишком ярком, сверх меры красочном, почти театральном. А по утрам — купанье в море, в самом начале января, к ужасу всех жителей рыбацкого поселка, которые ждали на берегу, не веря, что мы выйдем из воды живыми, хотя море было теплей, чем в июле Рижский залив.

Вечером для собравшихся здесь, в монастыре-гостинице, писателей разных стран — премьера кинофильма, поставленного итальянским поэтом Пьерпаоло Пазолини,—

«Евангелие от Матфея». За экраном голос, читающий текст Евангелия. Я начал было переводить, но Александр Трифонович прервал: «Это я помню». В фильме — Христос, неистовый в борьбе с неправдой и корыстью Христос, пришедший на землю с мечом, чтобы изгнать торгующих из храма, покарать фарисеев. Сквозь весь фильм — русские народные песни, песни революционные. Тянущим сети апостолам, которым, впрочем, лишь предстоит стать таковыми, Христос говорит, что они будут «ловцами душ человеческих». И вдруг над пустынной, местами болотистой, местами песчаной равниной звучит — и, главное, звучит к месту — песня «Степь широкая».

Фильм меня взволновал после первых же кадров, и после первых же кадров я стал думать о том, как примет его Твардовский, не сочтет ли одним из тех «фокусов», которые он ни в искусстве, ни в жизни не переносил. Кончился фильм. В малом, нетопленном просмотровом зале зажгли тусклый свет, и тут произошло нечто, меня обрадовавшее и удивившее в одно и то же время. А. Т. Твардовский подошел к режиссеру Пазолини, худенькому, тщедушному, с изборожденными морщинами страдания лицом, и крепко, на людях (это при его-то нелюбви ко всякой «публичности»), обнял его, расцеловал тройным целованием и сказал так, чтобы его слышали все:

— Да если б мне пришлось совершить столь дальнее путешествие, только чтоб посмотреть этот фильм, я и то не считал бы свою поездку напрасной.

Через минут десять, уже в коридоре отеля-монастыря, он снова подошел к Пазолини и спросил: «Зачем в этом фильме русские песни?» Пазолини ушел от ответа, сказал: «Нравятся, я их часто слушаю». То ли хотел сказать: «И без того понятно», то ли в силу присущей ему сдержанности и замкнутости не пожелал объяснять свои метафорические приемы. Мы смотрели фильм вместе с Ираклием Абашидзе, Миколой Бажаном, Константином Симоновым. Просидели в одной из наших келий до двух ночи, и разговор шел только об этом фильме. Александр Трифонович сказал:

— Шел с недоверием, думал — причуда. Оказалось, большое искусство.

Эпизод в просмотровом зале — свидетельство того, с какой силой непосредственности и глубиной воспринял А. Т. Твардовский этот фильм, созданный новыми для него и в чем-то, может быть, чуждыми ему средствами. Тому, кто знал, до чего Твардовскому неприятно все, что хоть в малейшей степени связано с рекламой «собственной персоны», как раздражали его даже вспышки ламп фоторепортеров, знал, как решительно отказывался он от выступлений по телевидению, слишком понятно, что лишь непосредствен-

ный и сильный эмоциональный толчок заставил его на минуту позабыть о некоторых своих твердых и не всегда удобных для представителей массовых средств информации правилах.

Этих правил он особенно строго придерживался за границей, где о писателе порой знают все, кроме того, что он написал, превращая его в некое подобие кинозвезды с обложки иллюстрированного журнала. Однажды один американский драматург рассказал мне, что с ним у него на родине беседовали сотни людей, знавших о нем все, даже имена жен, с которыми он давно развелся, но ни разу не видевших и не читавших ни одну из его пьес.

О «Евангелии от Матфея» А. Т. Твардовский вспомнил в своей удивительно глубокой речи, произнесенной в Риме, на писательском конгрессе, посвященном художественному «авангарду». Приведем здесь его слова, многое, на наш взгляд, раскрывающие в отношении А. Т. Твардовского к искусству:

«Если бы мне наперед сказали, что вот поди посмотри фильм Пазолини, в котором древняя и отработанная во всех видах и родах искусства легенда, мифологический материал, предстанет тебе вперемежку с русской песней «Ах ты, степь широкая» и еще иными странностями, то я, пожалуй, подумал бы, что бог весть что это такое, наверно, это какие-то фокусы, а я предпочитаю искусство без фокусов. Но я пошел посмотреть, и вместе с моими друзьями мы не могли в течение двух дней перейти на другую тему: мы говорили об этом фильме. Он достаточно причудлив, своенравен по форме, он дерзок, он идет в нарушение великих традиций, он до крайности «авангардистский». Но дело в том, что он воодушевлен благородной идеей, высокочеловечной идеей добра и правды, идеей единства слова и дела, страстным, яростным осуждением того мира, который обрекает человечество на крестные муки. Там нет пафоса страдания, нет любования страданием. Там нет идеи страдания как искупления, там есть протест против тех страданий, которые сулит человечеству несовершенный, несправедливый мир. И в этом его победа, и зритель, кто бы он ни был, легко соглашается с необычностью и непривычностью формы, угадывая это благородное содержание» [1].

Эпизод с фильмом Пазолини кажется важным и вот по какой причине. А. Т. Твардовский, художник глубоко национальный по своему душевному складу, был глубоко чужд малейшему проявлению спеси и чванливости, не отвергал чего-либо априорно, прежде чем в соответствии со своими

---

[1] А. Т. Твардовский. О литературе. М., «Современник», 1973, стр. 317.

критериями, всегда строгими и требовательными, сам не разберется в сути дела. Подлинность искусства, правдивость его, необходимость появления на свет произведения искусства, а не его формальная близость или отдаленность от собственных образцов — вот чем определялись суждения и эстетические оценки Твардовского, который, будучи марксистом, всегда воспринимал связь формы и содержания как сложную диалектическую взаимообусловленность.

Отвергалась им с беспощадной порой твердостью только любая подделка под искусство, лишенная внутренней необходимости и уж поэтому ложная, неправдивая, в какие бы пестрые «авангардистские» одежды она ни облачалась.

Поэт глубоко народный, поэт, работавший для десятков миллионов, Твардовский всегда глубоко различал в искусстве простоту и упрощенность. В упомянутой речи А. Т. Твардовский высказал свои мысли на этот счет с предельной ясностью: «Совершенное художественное произведение очень трудно поддается прямому истолкованию, всегда оставляя за собой силу, полноту всесторонности изображения жизни, всегда оставляя за собой что-то на сей раз непостигнутое и неистолкованное».

Рим Александр Трифонович любил, пожалуй, более всех итальянских городов, особенно в ранние утренние часы, когда этому городу присущ особый ритм, особое обаяние. Вставал он всегда на рассвете, с наслаждением выпивал несколько заказанных с вечера стаканов крепкого чаю и отправлялся на прогулку. Ранние утренние часы всегда были для него лучшей порой дня.

— Почти все свои стихи я писал,— рассказывал он мне,— с шести до восьми утра.

В быту Твардовский был даже чрезмерно непритязателен, разве что с трудом отказывался от своих привычек к русской пище, иной раз обходясь почти без обеда. На людей, пожиравших, подобно мне, разных «морских гадов» вроде устриц, креветок, каракатиц, смотрел с нескрываемым сожалением. Единственная просьба, которой он позволял себе утруждать меня, была просьба с вечера не забыть о предрассветном чае. Вспомнил почему-то, как Александр Трифонович несколько дней мучился без спичек и прикуривал свои сигареты (единственной и неизменной марки «Ароматные») у товарищей. Зажигалок он не выносил и только под конец признался, что у него кончились спички, а затруднять меня просьбой об их покупке ему было неловко. Я, разумеется, тотчас же купил ему спички, особые, тоненькие, восковые, итальянского производства, которые зажигаются от трения о любой шершавый предмет, даже поверхность стола. Но оказалось, что эти спички ему не годятся, пришлось купить обычные, толстые, которые в Италии на-

зывают «шведскими». К сверкающим римским витринам Александр Трифонович был совершенно равнодушен, попросту говоря, не видел их, хотя хозяева витрин делали все, чтобы никто «не проходил мимо». Исключение из этого счастливого правила было лишь одно — магазины писчебумажных изделий, там он мог подолгу перебирать записные книжки, блокноты различных форматов, карандаши и ручки.

В один из последних приездов А. Т. Твардовского в Рим иллюстрированный еженедельник «Экспрессо», весьма читаемый в Италии и в других странах Запада, попросил его встретиться у них в редакции с Альберто Моравиа. Беседу между ними «Экспрессо» решил напечатать. Александр Трифонович согласился, сказав мне, что ему интересно поговорить с Моравиа, которого он читал.

Редакция «Экспрессо» неплохо подготовилась к этой встрече. Казалось, будто они заранее разведали обо всем, что Твардовскому может быть неприятно, и, затем, продумав все до мелочей, именно так и обставили встречу.

Она проходила в небольшом редакционном зале, сплошь заставленном аппаратурой для звукозаписи, фотографирования и прочей техникой. Мы пришли вовремя, но вместо Моравиа Твардовского ждал с десяток фоторепортеров, которые полчаса промучили его чередованием полного затемнения с яркими вспышками своих ламп. Продолжали они свое нестерпимое занятие и на протяжении всей беседы, значительная часть которой прошла без Моравиа, опоздавшего на час. Вели ее опытные и не слишком дружественные к нам журналисты, которым непременно хотелось изобразить Александра Трифоновича и редактируемый им журнал «Новый мир» как выразителей точек зрения некоей несуществующей антикоммунистической оппозиции. Здесь А. Т. Твардовский был краток и прям. «Новый мир» — партийный журнал, а сидящий перед вами его редактор, коммунист»,— сказал он в самом начале, и это его заявление, напечатанное затем в «Экспрессо», как бы с самого начала внесло ясность — сенсационной, спекулятивной беседы не получится. А. Т. Твардовский хотел с присущей ему обстоятельностью подтвердить свои слова подробным анализом нескольких произведений, опубликованных в «Новом мире». Но журналисты то и дело перебивали его вопросами, не давая досказать. К сожалению, не спас дело и Альберто Моравиа. Со свойственной ему нетерпеливостью он также перебивал речь Твардовского вопросами, а тут еще непрестанно гас и ярко вспыхивал свет... Словом, неприятной была эта беседа в редакции «Экспрессо», хотя Александру Трифоновичу ценой немалых усилий удалось все же сказать и важные, и новые для читателей еженедельника вещи, опровергнуть не-

которые спекулятивные домыслы присутствовавших на встрече журналистов.

На следующий день мы вместе отправились в типографию, я перевел, а Твардовский выправил до малейших деталей две газетных полосы, которые заняла эта беседа. Покончив с этим делом, Александр Трифонович обратил внимание на множество белых «окон» в этих двух полосах и смог таким образом познакомиться с некоторыми особенностями в разделении редакционного труда на Западе. «Окна» были оставлены для заголовков и подзаголовков, для фотоснимков. Редактор отвечает только за текст; заголовки, как правило, не соответствующие содержанию материала, делает особый работник, а фотоснимки — на этот раз были почему-то использованы изображения московских ресторанов — подбирает совсем другой человек. Как бы там ни было, беседа эта в «Экспрессо» вышла, и не без пользы для истины, вопреки тем, кто стремился ее исказить. У Александра Трифоновича вся эта история оставила горький отпечаток, и он так и не смог простить Моравиа ни его опоздания, ни его неумения дослушать до конца собеседника.

Уверен — проходи эта беседа в обычной, спокойной обстановке, она не оставила бы такого осадка. А. Т. Твардовский с интересом беседовал в Италии со многими писателями из различных стран Европы, не только с итальянцами, и беседы эти считал нужными, полезными.

Впрочем, может быть, даже более, чем беседы с «собратьями по перу», интересовали Александра Трифоновича встречи с обычными людьми, их взгляды на жизнь, сами устои народной жизни в любых ее проявлениях. Так, однажды в Риме Александр Трифонович зашел к сапожнику, чтобы попросить его подбить гвоздями подметку. А задержался он у этого сапожника больше трех часов, слушая его бесхитростные ответы на простые, но касавшиеся самой сути народного мироощущения вопросы.

Но вот мы снова на Сицилии, на этот раз в большом портовом городе Катания. Здесь состоится вручение международной премии «Этна-Таормина» Анне Ахматовой, приехавшей в Италию после почти сорокалетнего перерыва.

К Александру Трифоновичу обращаются с просьбой выступить на этой церемонии, неосторожно предупреждают, что его покажут по телевидению.

У Твардовского было особое, я бы сказал — весьма редкое в писательской среде, отношение к выступлениям перед публикой: он считал, что речь — особый жанр литературы, требующий не меньших, а порой и больших усилий, чем письмо. Любое выступление было для него делом весьма ответственным. И удивило, и обрадовало, что он согласился выступить, понимая, как затем говорил мне, что это выступ-

ление сможет подчеркнуть принадлежность Ахматовой к нашей культуре, считая, наконец, это своим долгом перед русской поэтессой, к которой относился с большим уважением.

Приняв это предложение, Твардовский обратился ко мне с просьбой почти невыполнимой, но, как он сказал, непременной — достать все сборники Ахматовой. К счастью, в Италии принято почти все книги иностранных поэтов печатать на двух языках — в подлиннике и переводе. На следующий день Александр Трифонович располагал почти всем, что было напечатано Анной Ахматовой за долгую ее жизнь. Два дня он не выходил из своей комнаты, готовя слово об Ахматовой, и произнес его тотчас же после вручения Анне Андреевне премии итальянским жюри.

Было это в старинном норманнском замке. В длинной чреде завоевателей, сменявших друг друга на Сицилии, норманнским викингам принадлежит не последнее место, и сейчас еще на этом острове бегает немало белокурых и голубоглазых детишек.

В зал, где в обстановке особой торжественности вручалась премия, подняться можно было только по крутой, почти отвесной настенной лестнице, ведущей к самому верху замка-башни. Признаться, нас всех волновало, как выдержит тяжело больная Ахматова этот нелегкий подъем, и в тот же вечер, когда закончилось торжество, мы не без смущения увидели на экранах телевизора, как спокойно и величественно подымалась по ней Анна Ахматова и как встревоженно выглядели мы все, сопровождавшие ее на вечер.

Выступление Твардовского на церемонии вручения премии было значительным. Он подчеркнул не «дамский» характер поэзии Ахматовой («Это менее всего так называемая женская поэзия»), отметил подлинность и невыдуманность чувств в ее стихах, сказал, что лирика Ахматовой «неотъемлемая часть нашей национальной культуры». Особенно мне запомнилось его утверждение, что поэзия Анны Ахматовой лишь «как бы традиционная» и в то же время неразрывно связанная с пушкинской школой, откуда вышли и идут столь многие и столь разные мастера нашей поэзии.

Речь, произнесенная А. Т. Твардовским, лишь отчасти совпадает с его статьей об А. Ахматовой, опубликованной позднее. Речь была короче и ёмче, обладала присущими ей, как «особому жанру», чертами устного выступления. Мне неизвестно, сохранился и был ли записан вообще ее текст.

Вот то немногое, чем я мог бы сейчас поделиться с читателем, как человек, которому, повторяю, выпало счастье путешествовать вместе с А. Т. Твардовским.

1975

ЛЕОНИД ИВАНОВ

ГОРОДСКИЕ БЕСЕДЫ — ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

I



ервая встреча была... по телефону. И не скажу, чтобы очень приятная для меня.

Произошло это так.

В 1958 году А. Т. Твардовский был вновь назначен редактором журнала «Новый мир». Знакомясь с «портфелем» журнала, прочел и мою рукопись — вторую часть очерков «Сибирские встречи». Надо сказать, что первая часть этих очерков была опубликована в третьем номере «Нового мира» за 1957 год. Точнее — перепечатана из журнала «Сибирские огни».

В то же время редактор «Нового мира» К. М. Симонов очень обласкал меня. Посоветовал написать продолжение «Сибирских встреч» и заключил со мной договор.

Новый очерк я написал довольно быстро, выслал в «Новый мир» и в июне 1957 года получил от редакции телеграмму: «Большое спасибо за хороший очерк».

Я был, что называется, на седьмом небе. Шутка ли: всего второй в моей жизни очерк — и вот, хорошая оценка.

Но моя работа, подготовленная уже к печати, долежала до нового главного редактора.

В самых последних числах августа 1958 года я возвращался из родных мест в Сибирь и из гостиницы позвонил в редакцию «Нового мира», поинтересовался судьбой очерка.

Секретарь редакции Зинаида Николаевна ответила, что сейчас узнает. И вскоре по телефону зачитала мне, так сказать, резолюцию нового главного редактора. Теперь она опубликована в книге А. Твардовского «О литературе», поэтому воспроизвожу ее полностью:

«Рукопись явно передержана «в девках». События, о которых идет в ней речь, относятся к 1956 г. Вся проблемати-

ка,— идет ли речь о самостоятельном планировании колхозами своего производства, о пережитках гибельного в условиях Сибири раннего сева, о взаимоотношениях с МТС, формах и методах руководства сельским хозяйством, и т. п.,— все это уже не может рассматриваться иначе, как с вышки решений Пленума ЦК о реорганизации МТС, новом порядке закупок сельскохозяйственных продуктов и самой практики колхозов 1958 г.

В свое время многое в этих очерках представляло безусловно насущный интерес, но теперь странно, например, читать те намеки на желательность оснащения колхозов своими тракторными парками,— кажется, что это «подпущено» задним числом. Словом, рукопись «заредактировали», замордовали, подвигнув автора уже на такие жалкие приемы, как вычеркивание дат, вставки, концовка с точки зрения сегодняшнего дня и т. п. Будь это собственно художественное произведение — иное дело, а так вещь будет выглядеть не боевой публицистикой, а каким-то вчерашним днем. Печатать нельзя. Автор не виноват, нужно его компенсировать по закону. О письме, мастерстве можно было говорить,— все это не на высоте,— но сейчас в отношении данной работы это не имеет смысла.

А. Твардовский»

Для меня такое заключение было полной неожиданностью.

Я любил Твардовского-поэта. Очень любил! Не менее того любил я его и как человека! Впрочем, эта любовь к Твардовскому зародилась у меня через Валентина Овечкина. Они дружили, и Валентин Владимирович осенью 1957 года, когда я гостил у него в Курске, очень много рассказывал об Александре Трифоновиче. От Овечкина я узнал, что Твардовский решил судьбу его знаменитых очерков. А я-то думал, что Овечкину «повезло» после того, как главы из его очерков были опубликованы в «Правде». Но оказалось все не так.

Валентин Овечкин в одном из писем ко мне обижался на Ивана Винниченко, который в 1966 году в статье (в «Литературной газете») писал, что «Районные будни» начинала печатать «Правда», а потом уж «Новый мир» обратил на них внимание и продолжил их печатание. В связи с этим Овечкин писал мне: «А ведь знает, что дело обстояло совсем не так». Первые главы «Районных будней» напечатал в «Новом мире» Твардовский.

Выслушав Зинаиду Николаевну, я был обескуражен. Молчал, видно, долго, потому что Зинаида Николаевна спросила: понял ли я ее?

И тут только я, что называется, опомнился. Вгорячах спросил:

— Могу ли я сегодня забрать рукопись?

— Конечно,— последовал ответ. И вдруг Зинаида Николаевна заспешила: — Минуточку, минуточку! С вами поговорит...

В трубке послышался мужской голос:

— Не могли бы вы сегодня часов в пять зайти в редакцию?

Голос совершенно мне незнакомый...

— А кто говорит?

— Говорит Твардовский... Сейчас я уезжаю на совещание, а к пяти должен вернуться.

А у меня билеты на поезд, который уходит в пять тридцать (я был тогда со своими сыновьями). Сказал, что уезжаю, не смогу зайти. И, видимо, потому, что уже успел обидеться на Твардовского, сказал не без дерзости:

— А зачем заходить, Александр Трифонович, если вы зарезали мою рукопись?

— Видите, мне хотелось, чтобы именно с этого момента и началась наша творческая дружба. Мы готовы с вами работать, давайте забудем этот инцидент, начнем все снова и, надеюсь, сумеем подружиться.

Я высказал обиду: проблемы, поднятые в очерке, не устарели, на мой взгляд, все они и сегодня актуальны. Я сказал Александру Трифоновичу, что он, по-видимому, не знает условий сибирской деревни.

— Вполне возможно,— охотно согласился Твардовский.— Но ваш очерк печатать теперь нельзя. Повторяю: мне хотелось, чтобы с этого момента и началась у вас дружба с нашим журналом.

От этой беседы с «самим» Твардовским на сердце как-то потеплело.

Когда я отправился за своей рукописью, неожиданно встретил Константина Буковского — он работал тогда в журнале «Наш современник». Меня в том журнале однажды уже печатали. Я поделился своей бедой. Буковский сразу:

— Отдайте нам рукопись, мы опубликуем.

Однако и «Наш современник» через месяц вернул мою рукопись. Буковский «сожалел», что она «не на уровне».

Еще в поезде, вспоминая телефонный разговор с Твардовским, раздумывая о рукописи, искал, где я неправ, а где Твардовский. Видимо, как и всякий автор, я держался своей стороны... А возвращение рукописи и из «Нашего современника» заставило на все взглянуть несколько иначе. Теперь лишь с одним не мог я согласиться — что проблемы устарели. А вот насчет того, что рукопись «не на высоте», как заключил Твардовский, начинал соглашаться, хотя, по-

вторяю, в «Новом мире» она была уже подготовлена к печати, отредактирована. Это говорило о том, что в журнал пришел более строгий редактор.

А дальше события развернулись так: я неожиданно получил письмо из Госполитиздата — у меня просили ту самую рукопись. Госполитиздат предлагал издать очерки отдельной книжкой. Когда я показал К. И. Буковскому верстку этой книги — она называлась «Глубокая борозда»,— он захотел еще раз прочесть очерк. Я отдал ему свой экземпляр верстки, и «Наш современник» мою работу опубликовал, чуть-чуть опередив выход книжки.

Я рассказываю эту историю потому, что она имеет отношение к последующим встречам с А. Т. Твардовским. Наше знакомство произошло в декабре 1958 года, во время Учредительного съезда Союза писателей РСФСР.

II

В первый же день Учредительного съезда я встретился с Валентином Овечкиным. К тому времени я был буквально влюблен в него и всюду следовал за ним. Как мне казалось, он не чурался моего общества.

А за два месяца до этого произошло такое событие: журнал «Звезда» опубликовал мой очерк «Наш экономист», в котором критиковалось необоснованное увлечение в Сибири «королевой полей» — кукурузой. Это вызвало немедленную реакцию одной центральной газеты: была опубликована редакционная заметка «Не зная броду — не суйся в воду». Мой очерк был подвергнут критике, злой, крикливой.

В очень трудную для меня минуту пришло письмо от Валентина Овечкина. Он писал:

«Знаю, что Вам сегодня очень тяжело. Разделяю Ваше возмущение подлейшей статейкой безымянного автора. Все ясно — откуда и почему удар. Вполне возможно, что и другие газеты обрушатся на Вас — и за те очерки, которые печатались в альманахе и «Новом мире». Будьте готовы к самому худшему. Но я знаю, что Вы человек крепкий, ударов в своей жизни вынесли немало, вынесете и этот.

Не знаю еще, не совсем обдумал, как, в какой форме и где я выступлю в Вашу защиту, но — выступлю. За Вас я буду драться, пока сам на ногах стою».

После такой сердечной поддержки я чувствовал себя иначе и конечно же еще крепче полюбил Валентина Владимировича!

А до этого письма, в начале июля 1958 года, он писал мне:

«Учтите, что в «Новый мир» пришел редактором опять Твардовский. Я тоже вошел в редколлегию. Давайте теперь

все, что у вас будет, в «Новый мир», начиная с очерков о свиноводах. Твардовскому я уже много говорил о Вас и еще буду говорить. Посоветую ему прочесть очерк «Как уходит и возвращается слава» для большего знакомства с вами. Будете в Москве — обязательно заходите к нему».

Овечкин в этом письме сообщил мне и домашний телефон Твардовского. Но я не воспользовался им — не хватило смелости.

И вот теперь Валентин Овечкин спрашивает:

— Ну, познакомились с Твардовским? Заходили к нему? Звонили?

Выслушав мое сбивчивое объяснение, Овечкин чему-то усмехнулся. Потом заключил:

— Ну, хорошо, постараюсь в эти дни познакомить вас...— И сразу о другом: — Вчера я был в редакции газеты, узнавал, кто это так чесанул вас за «Нашего экономиста». Оказывается, не отдел литературы, а это уже легче...

Помнится, на третий день съезда Овечкин сказал мне, что вечером к нему в гостиницу придет Твардовский, там он меня и познакомит с ним.

И вот мы сидим в номере Овечкина. Стол уже накрыт. Как видно, Овечкин хорошо знал Твардовского, не стал ждать его прихода, сам заказал официантке ужин. Да и время было уже позднее — часов около девяти вечера.

Мы вели неторопливый разговор о съезде. Валентин Владимирович почему-то был недоволен ходом съезда. А мне все было интересно. Главное — на трибуне съезда я увидел знаменитых писателей, услышал их выступления. Так я об этом и сказал Валентину Владимировичу.

— Вот побываешь на двух-трех таких форумах, сам поймешь,— усмехнулся он.— Боевитости не чувствуется, вот в чем беда! Ведь собрались лучшие писатели России, кому, как не им, поговорить во весь голос о наших проблемах — и чисто писательских, и проблемах жизни. Их столько, что... Словом, совсем не видно по ходу съезда, что писатели сильно озабочены этими самыми проблемами. Многие резину жуют...

В это время раздался стук в дверь. Овечкин шагнул к двери, распахнул ее. В комнату вошел Александр Трифонович Твардовский.

Я вскочил на ноги, жадно всматриваясь в знакомое по снимкам лицо.

Александр Трифонович быстро разделся, привычно открыл дверцу шкафа, словно был дома, повесил пальто, меховую шапку. Тут он увидел накрытый стол, воскликнул:

— Молодец, Валентин! А то я проголодался...

Овечкин представил меня:

— Это тот самый Иванов, о котором я тебе уже говорил...

— А я с ним тоже уже говорил,— усмехнулся Твардовский.

Протянул мне руку, крепко пожал мою, пристальным взглядом просверлил мое лицо.

— Я думал, он моложе, твой Леонид Иванов,— заметил он.

— Сейчас молодежь не очень рвется на острые позиции, только старики ворчливы,— усмехнулся Овечкин.

— Так что же, Леонид Иванов, не хотите сотрудничать в «Новом мире»? — спросил Твардовский.

— Почему же...

В разговор вмешался Овечкин, стараясь выручить меня. Он, видимо, хорошо понял мое состояние: я же впервые рядом с самим Твардовским...

— Ты подожди на него нажимать. Вот закусим, выпьем, и тогда Иванов сам кое-что тебе докажет.

— Что докажет? — повернулся Твардовский к Овечкину.

— А докажет, что ты отстал от жизни, дорогой мой. Витаешь, как и все современные поэты, в облаках, жизни земной не чувствуешь... Давайте за стол!

После произнесенного Овечкиным тоста: «За встречу» — на какое-то мгновение занялись ужином.

Заговорили о съезде. Впрочем, говорили они, я помалкивал, наблюдал за Твардовским. А он иногда посматривал на меня, и я как-то неуютно чувствовал себя под его остро пронизывающим взглядом.

Твардовский повернулся в мою сторону:

— Так какая критика ждет меня?

— Давай, Леонид Иванович, не стесняйся,— поддержал меня Овечкин.— Выкладывай все!

Поддержка Овечкина помогла мне прямо высказать Александру Трифоновичу свое несогласие с его оценкой моего очерка: проблемы, выдвинутые в нем, актуальны и сегодня и долго еще не будут сняты с повестки дня. Я перечислил некоторые из них.

Александр Трифонович молча слушал меня. И такое уважительное отношение сильно подкупало, побуждало к искренности.

Помалкивал и Овечкин, его хитровато прищуренные глаза наблюдали за Твардовским. Иногда я обращался к Овечкину как бы за поддержкой некоторых своих выводов, и он согласно кивал головой.

И вот доводы изложены. Александр Трифонович склонил голову, потер двумя пальцами правой руки свой лоб, глянул на Овечкина.

— Ну что, Саша, скажешь? — с торжествующей ноткой в голосе произнес Овечкин.

— Ну, хорошо,— как бы очнулся Твардовский.— Вот вы говорите, что на местах не дано еще прав планировать свое производство, утверждать технологию. Но ведь было же решение партии и правительства о предоставлении этих прав местным руководителям? Ведь было? — настойчиво повторил он.

— Да, было,— согласился я.— Но как они могут воспользоваться этим правом, если предписывается даже, сколько зерен кукурузы класть в гнездо?..

Твардовский кивнул головой, но возразил:

— Не в кукурузе только дело...

Тогда я напомнил слова одного из героев очерка «Глубокая борозда», Несгибаемого, который говорил так: наше планирование напоминает мне слышанную еще в детстве игру: «Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте, рукам и ногам воли не давайте. Что желаете купить?»

Овечкин весело рассмеялся:

— Овес и ячмень ни в коем случае, многолетние травы тоже, подсолнечник на силос — ни в коем разе... Да плюс к тому, как в той игре, рукам и ногам воли не давайте...

По губам Твардовского скользнула улыбка. Но он продолжал оставаться серьезным и, как мне казалось, озабоченным тем, что услышал от меня. А я привел несколько фактов, показывающих, что, несмотря на правительственные решения, прав на самостоятельное местное планирование фактически не дано.

— Но почему это происходит? В чем тут дело? — спрашивает он.

За меня стал отвечать Овечкин. Кое-что добавил и я. Заметил, что мои мысли были изложены в возвращенном мне очерке.

И тут Овечкин упрекнул Твардовского:

— Вот ты отклонил очерк Иванова, а его публикует Госполитиздат. Отдельной книжкой.

— Госполитиздат? — удивился Твардовский.

Я сказал, что книжка идет в серии «Повести о делах и людях партии».

— Значит, все нормально,— улыбнулся Твардовский.— Если бы мы опубликовали — один резонанс, а Политиздат — это и совсем хорошо. Так что...

— Хочешь сказать, что сделал доброе дело?— усмехнулся Овечкин.

— Не сознавая того сам,— отпарировал Твардовский и сразу же посерьезнел: — Может быть, в проблемах я и не совсем разобрался, но исполнение очерка было действительно не на высоте. Но давайте договоримся: с чем вы у нас выступите?

У меня не было ничего готового, и я медлил с ответом. Помог сам Твардовский:

— В вашем очерке, мне помнится, герои много рассуждают о сроках сева. Что это, действительно так важно? — И, не дав мне ответить, поднял руку.— В моих родных местах весной стараются пораньше отсеяться...

Тут я, что называется, сел на своего конька! Объяснил, почему очень ранние сроки весеннего сева в Сибири приводят к печальным последствиям. Начал приводить запомнившиеся мне примеры, сослался на практику Терентия Мальцева. А когда сказал, что в отдельные годы, особенно засушливые, когда хлеб на вес золота, Сибирь из-за ранних сроков сева недобирает половины урожая, Александр Трифонович совершенно серьезно спросил:

— Это вы с известным пристрастием говорите или действительно так важен вопрос сроков сева?

Я подтвердил, что сроки сева — одна из самых важнейших проблем! Твардовский спросил: почему же ученые не поднимают шуму? Если так очевидны результаты, то почему не переходят на более поздние сроки?

Я сказал, что из каждых ста сибирских агрономов девяносто девять против ранних сроков сева. Но беда в том, что руководству областей и районов важно раньше отсеяться, чтобы первыми отрапортовать. Это стремление всюду быть первыми в данном случае наносит вред...

— Вот это и есть самое главное, это предмет очерка,— перебил меня Твардовский.— Не согласились бы вы написать для нашего журнала очерк только о сроках сева?

— Обязательно напишет! — бросил Овечкин.

Я тоже сказал о своем согласии.

— Но чтобы очерк был не чисто агрономическим,— предупредил Твардовский,— сделайте упор и на ту сторону, о которой вы говорили. Словом, раскройте причины, дойдите до самых истоков этой беды...

Соглашение состоялось.

Валентин Владимирович в связи с этим провозгласил очередной тост. А когда выпили, он повернулся к Твардовскому:

— Ты, Саша, обратил внимание, сколько цифр называл Иванов? У него память на цифры изумительная! И знаешь, он может в уме множить двухзначные на двухзначные, немедля дает ответ...

Твардовский глянул на меня, словно ждал подтверждения.

Овечкин взял бумажную салфетку, достал авторучку:

— Ну, решай: двадцать пять на тридцать девять...

Приготовился записать мой ответ.

В эту своеобразную игру охотно включился и Александр

Трифонович. Он тоже взял бумажную салфетку, и оба они начали называть цифры для умножения, записывали мой ответ, а потом проверяли его обычным путем.

Словно ребятишки, увлеклись мы этой арифметикой. А Твардовский очень часто повторялся: сначала назовет, скажем, 69 на 49, а через некоторое время — 49 на 69. Видно, хотел запутать меня.

И вот Овечкин вдруг заторжествовал:

— Стоп! Ошибся!

При умножении обычным способом он будто бы обнаружил ошибку в моем ответе. Но при повторной проверке, сделанной Твардовским, выяснилось, что ошибся сам Овечкин. А когда подобный случай повторился, Твардовский убрал свою авторучку, сказал:

— Видно, на этом деле Иванова экзаменовать бесполезно. Не будем тратить силы...

Такое заключение мне было, конечно, приятно.

А Овечкин, смяв салфетки с цифрами, попросил:

— Саша, прочти что-нибудь из нового.

— Я же читал тебе самые последние,— возразил Твардовский.

— Пусть Леонид послушает. И я с удовольствием.

Твардовский не стал отнекиваться. Откинувшись на спинку стула, глядя в потолок, начал негромко...

Стихотворение называлось «Московское утро». Прочел он и еще несколько стихотворений, мы слушали, аплодировали и не заметили, как засиделись до двух часов ночи...

Мы с Овечкиным отправились проводить Твардовского.

А утром уже в Доме Союзов в перерыве Твардовский сам подошел ко мне.

— Так давайте договоримся так: вы постарайтесь побыстрее подготовить нам очерк о сроках сева. Чтобы до весны мы смогли опубликовать его. Присылайте на мое имя — это ускорит прохождение. Договорились?

— Пришлю в январе,— ответил я.

— Хорошо бы в середине января,— уточнил Твардовский.— И на дальнейшее надо договориться... Условимся, что ежегодно вы у нас будете выступать с проблемным деревенским очерком.

Я ответил согласием, и Твардовский протянул мне свою руку. Тут же он повернулся к Г. Н. Троепольскому, который стоял чуть в сторонке и, как видно, ждал Твардовского.

Я отошел, издали наблюдая за беседой Твардовского с Троепольским. И по расплывшемуся в улыбке лицу Гаврила Николаевича понял, что Твардовский сообщил ему какую-то приятную новость. Он похлопал Троепольского по плечу, что-то сказал ему на прощанье и обратился к совсем незнакомому мне человеку.

А Гавриил Николаевич, все еще улыбаясь, огляделся, увидел меня (Овечкин раньше познакомил нас). Как видно, ему надо было поделиться с кем-то своей радостью. Подойдя ко мне, заговорил почему-то тихо:

— Добрую весть Александр Трифоныч сообщил...

Дело в том, что в те дни в «Новом мире» была опубликована острая повесть Троепольского «Кандидат наук», и он очень волновался, как она будет принята. Твардовский, как видно, хорошо знал Троепольского и потому поспешил его успокоить. И этот факт как-то по-особенному отозвался в моем сознании: добрый человек этот самый Александр Трифоныч!

III

Очерк о сроках сева написался довольно быстро, так как был хорошо «выношен». Тем более что новых фактов и в текущем году было сколько угодно. Я так и назвал свой очерк — «Когда сеять?».

И первую весточку о его судьбе получил не из журнала, а от Валентина Овечкина. В письме от 3 марта 1959 года он писал: «Ваш очерк о сроках сева мне присылали, я высказался категорически за немедленное напечатание, и после этого мне сообщили, что он идет в № 3. Жду этот номер «Н. М.» с нетерпением. В этом номере идет и «Московское утро» Твардовского».

И действительно, мой очерк был опубликован в третьем номере журнала за 1959 год. Редакция сделала сноску, что публикуется очерк в порядке обсуждения.

А в мае 1959 года открывался Третий съезд Союза писателей СССР, делегатом которого был и я.

Как-то так случилось, что, поднявшись в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, я увидел Твардовского. Стоя у стены, он разговаривал с незнакомым мне человеком. Жестикулируя правой рукой, что-то рассказывал ему, но, заметив меня, жестом пригласил подойти, подал руку.

— Ну, как сибиряки живут?

Он слегка улыбнулся, пристально посмотрел на меня. Я не выдержал этого острого взгляда, смутился, пробормотал слова благодарности за опубликование очерка «Когда сеять?».

— А как он воспринят в Сибири? — живо спросил он.

Я сказал, что агрономы, с которыми мне довелось встречаться, очень благодарны «Новому миру» и, видя поддержку журнала, смелее действовали весной.

— Агрономы — это понятно, а руководители?

— Многие из них теперь тоже агрономы, так что... Но некоторые товарищи недовольны.

— И я должен огорчить вас...— сказал Твардовский.— Журналу не советуют открывать обсуждение темы: оценка ранних сроков сева остается прежней.

— Так это же гибель урожаю! — не удержался я.

— Ничего,— сказал Твардовский,— очерк будут обсуждать. Вы же сами говорите, что агрономы довольны. Хорошо и то, что очерк задел кое-кого. Не может быть, чтобы над вопросом не задумались серьезно. Так ведь? — Он положил руку на мое плечо, дружески стиснул его.— А я жду нового, не менее острого и интересного вашего выступления. Дождусь? — Он уже улыбался. И сразу о другом: — Валентина не встречали?

— Нет.

— Он может и не приехать — что-то прихворнул...

После съезда я попросился на прием в ЦК. Беседовал там с товарищами, ведавшими вопросами сельского хозяйства. А через месяц или полтора мне в Омск позвонил Александр Трифонович и сказал:

— Сегодня мы послали вам обзор откликов на очерк «Когда сеять?». Прочтите внимательно обзор... Вы слышите меня?

— Я слышу, Александр Трифонович, только не пойму: зачем этот обзор? Ведь не хотели обсуждать...

Он перебил меня:

— Есть мнение дать обзор, а откликов поступило очень много, и все, кроме одного-единственного,— кстати, из вашей области,— поддерживают вас. Словом, прочтите и побыстрее верните, будем публиковать.

Потом осведомился о здоровье, спросил, когда ждать от меня новый материал.

Так завершилась эта история. Конечно, не сразу все отказались от ранних сроков сева, но теперь-то в Сибири никто уже не сеет в апреле, хотя раньше шло соревнование за завершение сева зерновых к Первому мая. Сейчас посев зерновых в Сибири начинают, как правило, после 10 мая. И урожаи-то стали более высокими!

IV

После того, как обзор откликов был опубликован в «Новом мире», Александр Трифонович снова позвонил мне в Омск, напомнил о моем обещании написать новый очерк. Поинтересовался, что больше всего меня сейчас волнует.

Я ответил сразу:

— Сорняки!

К тому времени сорняки стали бедствием на сибирских полях, они расселились и на бывших целинных землях, урожаи стали резко снижаться. В результате люди уезжали с

только что освоенных земель. Так чисто агротехническая сторона дела — вторжение сорняков — обращалась в социальную проблему.

— Вот вы и напишите об этой проблеме,— выслушав меня, сказал Твардовский.

Очередной мой очерк для «Нового мира» назывался «В поход на сорняки». Послал, как и просил Александр Трифонович, на его имя. И вскоре звонок от него:

— Даем в третий номер.

— И этот в третий? — удивился я. Получилось так, что и третье мое выступление в «Новом мире» пришлось на третий номер.

— И следующий дадим в третьем,— пошутил Твардовский.

Между прочим, так оно и получилось: и четвертое выступление — очерк «В родных местах» — был опубликован в третьем номере за 1963 год.

Правда, между двумя последними публикациями прошло три года. И не потому, что я не писал для «Нового мира». Я продолжал работать над серией очерков «Сибирские встречи». Вторым в этой серии был уже упоминавшийся очерк «Глубокая борозда», затем был написан третий — «Свежая струя». Послал его в «Новый мир», и ответ оттуда задержался.... Как-то, будучи в Москве, зашел в «Новый мир» к Твардовскому. Поздоровавшись, он сразу приступил к делу. Мне тогда показалось, что Александр Трифонович в плохом настроении, но я счел неудобным интересоваться причинами.

— В нынешней ситуации ваш очерк нам не протолкнуть. И не потому, что он плох, хотя поработать над ним надо еще, и обязательно! — подчеркнул он.— Но проблемы, поднятые вами...— И, глянув на меня, чуть улыбнулся.— Обижаетесь?.. Но мы договорились о честных отношениях, я честно и говорю: у нас он не пройдет. В другом месте — вполне возможно, а у нас нет.

Этот очерк я отнес в Госполитиздат, и он вышел в серии «Повести о делах и людях партии».

А для «Нового мира» написал очерк «В родных местах». К тому времени я стал наезжать в свои родные места в Калининской области, и этот очерк был первым из задуманной серии.

Разговор о нем с Твардовским произошел в конце сентября 1963 года, когда я вместе с группой советских писателей направлялся в Болгарию. Все мы, туристы, разместились в одном купейном вагоне. В Унгенах высадились из вагона, в ожидании переезда границы бродили по перрону.

Оказалось, что Александр Трифонович тоже едет в Болгарию, но не туристом, а гостем — по приглашению Союза

писателей Болгарии. Едет в соседнем вагоне с женой, Марией Илларионовной.

Вскоре объявили посадку. А утром я прошел в соседний международный вагон с двухместными купе. Александр Трифонович стоял в проходе у окна, наблюдал за пробегавшими, не нашими уже местами.

Мария Илларионовна сидела в купе. Александр Трифонович представил меня ей, назвав другом Валентина Овечкина, и попросил организовать чай.

Осведомившись, когда я получил в последний раз вести от Овечкина, он сокрушался:

— Валентин там тоскует... Надо как-то перетянуть его в Россию.

Надо сказать, что в то время Овечкин жил в Ташкенте.

И вдруг спросил:

— Вы читали последний номер «Коммуниста»?

Я не читал.

— Вас там критикуют,— продолжал Твардовский, глядя в открытое окно.— За очерк, который мы опубликовали в этом году. «В родных местах»... Между прочим, мне очень понравился этот ваш очерк, он напомнил мне о моих родных местах — на Смоленщине. Многое совершенно похоже... И с льнами такая же неурядица, и упадок деревни заметный...

Он продолжал эти параллели, но я не все улавливал — и из-за шума поезда, а больше потому, что в голове засверлило: «В чем же меня обвиняют? Да еще в «Коммунисте»?» Но вот Александр Трифонович примолк. Я спросил: за что же меня критикуют?

— Вернетесь обратно, сами прочтете... Там не только вас, а многих «деревенщиков» упрекают в искажении действительности.

Но я волнуюсь: за что? Ничего я не искажал и страшно не люблю тех, кто искажает действительность... Однако вопросы Твардовского увлекли меня, начал отвечать на них.

Что я мог сказать о делах в Сибири? Много грустного: урожаи на целине продолжают падать, пыльные бури, как результат неразумной обработки полей, продуктивность скота снижается, она ниже уровня 1958 года, Королева полей продолжает наносить огромный ущерб сельскому хозяйству Сибири, животноводству особенно.

Твардовский слушал, нахмурив брови и, как мне казалось, углубившись в раздумья. В некоторые моменты мне казалось, что он не слушает меня, но стоило мне примолкнуть, как Александр Трифонович поворачивался лицом ко мне, негромко просил:

— Продолжайте, продолжайте, это очень интересно...

И когда я выговорился, спросил:

— Ну, хорошо... А какие же шаги нужно предпринять,

чтобы избежать таких крупных недостатков? Что, по-вашему, надо делать?

Попытался ответить и на эти вопросы. Честно говоря, мне думалось, что Твардовский в каком-то месте моего взволнованного рассказа перебьет меня и скажет: «Надо об этом писать! Пишите нам...» Но он сказал о другом:

— Знаете... Вам надо обязательно продолжить очерки о родных местах. Вы же каждый год туда ездите, вот и наблюдайте за всеми делами повнимательнее, и пишите... Вот Ефим Дорош — великолепную книгу ведет! Вам нравятся очерки Дороша?

Я сказал, что мне нравится его умение писать, но отсутствие острых проблем снижает мой интерес к очеркам Дороша.

— Нет, очерки Дороша великолепны! — возразил Твардовский.— Ну, а вы продолжайте свои, в своем плане, но по родным местам. Вот эти — документальные — ваши очерки мы будем публиковать.

Вот и ответ на мое ожидание...

Забегая вперед, скажу, что я продолжал писать очерки о родных местах, отсылал их Твардовскому, и их печатали: в начале 1965 года — «Снова в родных местах», затем, в 1967 году,— «Новые времена — новые заботы» — и в 1969 году — «Мартовские всходы».

Мария Илларионовна пригласила к чаю.

Потом мы снова вышли в коридор, к открытому окну. Александр Трифонович снова вернулся к разговору о проблемах сибирской деревни, так как проблемы нечерноземной зоны были, как он заметил, ему ясны.

В Софии Твардовского встречали официальные представители Союза писателей Болгарии, у него был иной маршрут поездки, и в Болгарии я его больше не видел.

V

Долгое время у меня не было встреч с Твардовским. Както не создавалось повода для них. Я много ездил, в Москве бывал хотя и часто, но день-два.

Припоминаю встречу в 1967 году.

Совсем по пустяковому поводу зашел в редакцию «Нового мира». Перед этим получил письмо из журнала — меня просили прислать автограф. В юбилейном номере (50 лет советской власти) имелось в виду дать автографы основных авторов журнала. Но так как предстояла поездка в Москву, я автограф не стал отсылать.

И только вошел в приемную, из кабинета выглянул А. Т. Твардовский. Увидев меня, распахнул дверь.

— Что же не заходите? Или зазнались? — улыбнулся он.

Я зашел, пожал руку Александра Трифоновича.

— Что случилось? — спросил он, когда усадил меня в кресло.

— Ничего.

— Но зачем-то зашли в редакцию? Что-то случилось?

— Да нет,— говорю,— просто так...

— Нет, нет, подождите,— настаивал Твардовский.— Вы все-таки зачем-то зашли? Не просто же так?..

Мне пришлось рассказать.

— Ну, вот видите! Все же по делу.

Он вызвал секретаря, попросил принести карточку, передал мне свою авторучку, чтобы я расписался.

И после этого заговорил о деле:

— Ну, как Сибирь? — Улыбнулся.— Спрашиваю про Сибирь потому, что о родных краях читаю в ваших очерках.

Я сказал о некоторых отрадных переменах в жизни сибирской деревни, о том подъеме, который наметился и в производстве, и в жизни селян.

Твардовский слушал не перебивая. Спросил:

— А проблем много?

— Больше, чем раньше было.

— Вот как? Это интересно!

И опять продолжал задавать вопросы. Чувствовалось, что он очень интересуется делами деревни, сопереживает неудачи, радуется добрым делам...

VI

И вот последняя встреча. Самая короткая...

По окончании Третьего съезда писателей РСФСР состоялся прием во Дворце съездов. Когда он подходил к концу, столы поопустели и люди, несколько навеселе, сбившись кучками, шумно разговаривали и о делах, и о чем попало.

Я бродил по этому шумному сборищу и вдруг увидел рослую фигуру Александра Трифоновича, окруженного десятками людей. Его о чем-то спрашивали, он что-то отвечал. Я пробовал прислушаться к разговору, но из-за шума было трудно уловить суть. А мне пора уже уходить — в этот день я уезжал в Сибирь. Решил пробиться к Александру Трифоновичу. Он порывисто обнял меня, расцеловал по русскому обычаю — крест-накрест.

Я спросил:

— Как, Александр Трифонович, жизнь, вообще-то?

— То, что происходит сейчас,— это лишь малая обедня перед заутреней... Все самое главное впереди!

Это были последние услышанные мною слова дорогого мне Александра Трифоновича Твардовского.

Омск, 1974

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНИЕ



Теперь, когда Твардовского нет среди живущих, он равно принадлежит всем. Как принадлежит всему народу песня; как мысль принадлежит всем, независимо от того, чья она, кем высказана, как язык, на котором думают, говорят, передают нравственные заветы.

И многое посмертно поменялось местами. Даже на групповых фотографиях он отделился от тех, кто в силу разных причин оказался с ним рядом: не как ушедший от живых, а чтобы остаться жить.

Истинный художник, Твардовский сам рассказал о себе. Не столько даже в тех автобиографических заметках, которые по необходимости пишет каждый, а рассказал тогда, когда не о себе рассказывал. Таково свойство литературы: тут ни скрыть, ни самому скрыться невозможно. Независимо от намерений, в книге каждый таков, какой он есть на самом деле, а не такой, каким хотел бы предстать.

Вот написанное на отдалении полугода воспоминание Твардовского о первом дне войны, о том, как он узнал, что началась война:

«Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег, а мужики и женщины сидели на груде прошлогодней соломы и молчали. И когда я увидел, как они сидели и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скупо и строго, как будто тут был покойник».

А вот последняя запись мирного предвоенного времени, которую он, перечтя, дописал уже во время войны:

«...на выходе из города, у самой дороги — белого булыжника шоссе,— в узкой полоске тени от какой-то деревянной амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-седых волос освежалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу,— спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж,— так же спокойно согласился он,— смотри.— И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...

И мне таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».

Это написано не о себе, а о людях, из которых кого-то к тому времени, наверное, уже не было на свете. Но сам он здесь такой живой, так виден и ощутим.

Многие при жизни знавшие Твардовского написали о нем теперь. Это тоже рассказы про него и про себя. И он в этих рассказах такой, каким его видели, но не обязательно такой, каким он был: ведь каждый понимает по-своему, а видит столько, сколько увидеть дано.

У меня нет намерения поместить себя на групповую фотографию. Но так случилось, что я имел возможность наблюдать Александра Трифоновича Твардовского; вначале — издали, потом — близко. Много лет мы жили под Москвой в одном поселке, встречались часто, о многом говорили, но я никогда не записывал эти разговоры. А теперь, говоря его словами, «спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».

Почти три десятилетия минуло с тех пор, когда я впервые увидал Твардовского. Он был автором знаменитого «Теркина», автором поэмы «Дом у дороги», которую я в то время еще не читал, но слышал отрывки по радио и за которую, следуя студенческому правилу: «Не важно знать, а важно сдать», сумел получить на экзамене «пять». Словом, для меня он был где-то высоко и далеко, откуда только го-

лос радио доходит, и не был ни молод и ни стар, а был он — Александр Твардовский. Еще и то учесть надо, что, хотя я учился в Литературном институте Союза писателей и что-то писал уже, я был совершенно убежден, что ни из меня, ни из кого-либо моих однокашников, называвших себя прозаиками, драматургами, поэтами, конечно же не может получиться писателей, потому что писатель — это совсем другое.

Вот в эту пору на встречу с нами приехал Самуил Маршак и с ним Твардовский. Встреча была именно с Маршаком, а Твардовский приехал с ним вместе.

Не могу уже отделить то, как я тогда видел, от того, что узнал или понял потом, и рассказываю, как в общем сложилось и запомнилось. В актовом зале Литературного института, то есть когда-то частного дома Герцена, тесно набились мы, студенты, а за длинный стол, стоявший поперек, вышел под аплодисменты Самуил Яковлевич Маршак. Постоял, пока мы аплодировали,— спиной к сцене, лицом к нам. Потом сел, потрогал пальцами оправу очков с толстыми, сильными стеклами, за которыми глаза его все равно казались маленькими и сожмуренными. Маршак, администрация института — образовался там небольшой президиум. А Твардовский — оттого ли, что он шел позади, или в самом деле опоздал — запомнился мне спешащим и опоздавшим. И сел он не за почетный стол, а в первый ряд, как хороший ученик, сел слушать. Только крупен он был для ученика, тесно ему там было, меж двух подлокотников; за головами и плечами в несколько рядов покатая его спина возвышалась.

Маршак рассказывал о своих переводах Роберта Бернса: они тогда только появились. Говорил, как он в Шотландии из окна замка увидел то, что видел отсюда Бернс, как важно это было увидеть и почувствовать, чтобы передать дух подлинника. Мне запомнилось, что вид был именно из окна замка, но, может быть, так не было сказано, потому что ведь известно, что Бернс при жизни не владел замками, а, наоборот, как извещает Литературная энциклопедия, «испытал на себе все тяготы аграрного и промышленного переворота». Да и вид из окна, можно полагать, изменился за полтора столетия.

Зал на все живо реагировал: важно ведь не только, что говорится, важно, кто говорит. А Твардовский слушал внимательно и серьезно. Он чтил поэзию Маршака, об этом он и говорил и писал.

Лет десять спустя принес я в журнал «Новый мир» свою повесть «Пядь земли». Перед этим я отдавал ее в другой журнал. Там долго знакомились с ней члены редколлегии: есть такое осторожное выражение «знакомиться с рукописью». Наконец сообщено было: к разговору со мной готовы. Мне дорога была моя повесть, я твердо решил не вести

необязательных разговоров. И потому сказал: пусть редактор прочтет, тогда уж будем говорить.

Прошло еще время, прочел и редактор. Вызвали меня. Каждому лестно открыть молодого автора, да ведь за молодого ты отвечаешь целиком, как отец за малолетнего сына, и страх нередко превышает опасность. Совсем иное дело, когда в редакцию передает свою рукопись маститый автор, за которым имя и многое другое стоит. Это почти торжественный акт: состоялась передача рукописи.

Я выслушал все, что говорили. Но когда мне, артиллерийскому офицеру в недавнем прошлом, стали объяснять, что и пушки у меня не так стреляют (при этом спрашивали работников редакции всех подряд: «На сколько эти пушки стреляют?.. Ну вот, видите!..»), я взял свою повесть и понес ее в «Новый мир», к Твардовскому. Разумеется, не к нему самому сразу. Прозой ведал в то время Евгений Герасимов; ему я и отдал, честно сказав, откуда и почему принес.

На скорое прочтение я не надеялся. Но все как-то быстро завертелось. Дня через два или три позвонил Герасимов, сказал, что прочел, отдает рукопись Твардовскому. Вот тут страшно мне стало. Мне уже было что терять. И долог сделался каждый новый день: ведь не когда-то, а может быть, в этот момент, сейчас, читает мою повесть Твардовский.

Вдруг вызвали на заседание редколлегии. Хоть и ждал, и каждый телефонный звонок был тот самый, которым судьба решалась, хотя уже Евгений Герасимов, добрейший человек, умеющий простодушно радоваться за других, как за самого себя, сообщил мне, что Твардовский одобрил повесть, решил печатать, и я, веря и не веря, осторожно носил в себе радость, с некоторым даже удивлением поглядывая на улице на людей — неужели не понимают, не чувствуют? — хоть всем этим был я, конечно, подготовлен, а все-таки вызвали вдруг. Это ведь не звонок телефонный раздался, это час пробил.

Среди дня, в назначенное время, вошел я с улицы Чехова в парадные двери «Нового мира».

Сейчас пишут многие и рассказывают, что двухэтажный дом этот в центре Москвы был маленький, тесный и внутри было тесно, хотя, мол, и уютно... Я так не чувствовал. Для меня здесь все имело не случайный смысл. Дом выходил окнами на площадь Пушкина, а дверьми — на улицу Чехова. И вот в эти двери мне было сказано войти. Я подымался по широкой лестнице, по которой карета могла бы проехать свободно. И наверху высокие, старинные, двустворчатые белые двери раскрылись предо мной, словно не я их открывал, а они сами раскрылись.

Не помню, кого я первого встретил, кого спросил, как пройти к Александру Трифоновичу, но осталось, что я шел

через редакцию, по дороге обрастая людьми, выходившими из разных дверей,— под конец шел уже как бы в центре небольшого шествия...

Конечно, это было не так: никому здесь, в редакции, не известный, я прошел к Герасимову, а он уже к Твардовскому меня повел. И улыбался при этом, счастливый до пота, и очки его блестели, и покрасневшее лицо. У меня же в груди по временам раздувался воздушный шар, едва не вознося меня, но я сжимал его и шел, единственно полагаясь на не забытую еще офицерскую выправку.

И вот снова белые двери, главные здесь двери, и Твардовский подымается из-за стола. Тут действительно все стали входить, зазвучали голоса приглушенным хором, и хоть держались члены редколлегии не связанно, даже с некоторой внешней вольностью, чувствовалось — знают, где они, с кем, и есть незримая черта, которую не переступает ни один.

Расселись за длинным столом. Редколлегия — по обе стороны, Твардовский — во главе, спиной к свету, а мне через весь длинный стол было указано место напротив: то ли как имениннику, то ли как подсудимому.

На военных советах, как известно, первым говорить полагается младшему; примерно такой же порядок и здесь соблюдался. Что-то поощрительное один за другим говорили члены редколлегии, высоко в общем хоре взвивался тонкий на радости голос Герасимова, как в медный колокол, в круглое «о» бухал Дементьев — для солидности басом: «Бом! Бом!» — а слов не разобрать, хотя общий смысл понятен.

Подперев тяжелую голову, Твардовский курил. Солнце жаркое сквозь высокое окно слепило, и весь он в этом солнце был виден, как сквозь сумрак, а дым сигаретный подымался над головой из тени — в свет. И хоть лицо его было неясно различимо, запомнилось выражение строгой серьезности. Сквозь свою думу, как мне казалось, он молча слушал и сидел подперевшись. Пошевелился. Вздохнул. Стало тихо. Теперь заговорил он.

Если я тут упомяну что-то из его замечаний, так не для того, чтобы положить лишнюю краску на свою книгу. Твардовский напечатал ее и тем высказал главное свое одобрение. Но в том, что человек замечает, ценит или отвергает, есть он сам.

Он говорил не по порядку, а как складывалось:

— Земля на плацдарме сухая, закаменелая... Это чувствуется. Даже мина не берет.— Он покачал головой с сомнением, возможно, усомнившись на отдалении лет: как же все это солдату было пережить, как же брал он ее своей лопаткой, когда мина не берет? И по собственному опыту подтвердил: — Это было, это все так.

Вдруг отметил поощрительно, к членам редколлегии обратясь и говоря обо мне как об отсутствующем, в третьем лице:

— Немцев у него пленных гонят, заметили? Пот по лицам течет... Солдаты виноград едят, а они идут, глаза отводят... Немцы ведь, а он замечает, что жарко им, пить хочется... Это хорошо! Это правильно.

И вдруг неприязненно повернулся ко мне — быстры в нем были эти переходы:

— Что же это вы отрицательному герою фамилию дали Иноземцев? Таких у нас не бывает? Человек иной земли?

Честно говоря, мне и в голову это не приходило. Фамилия — вещь прилипчивая. Так просто ее не найдешь, а уж если соединилась с кем-либо, так и оторвать трудно. Был у меня солдат Иноземцев, не такой, как в книге, но для меня многое с ним слилось. Я попытался объяснить, что и почему, но он жестом как отрезал:

— Нет, вы ему фамилию перемените!

Дальше вовсе получилось странно: вместо Иноземцева дал я схожую по звучанию фамилию Козинцев. Так и было напечатано. И совершенно из головы вон, что есть же известный режиссер Козинцев... А Григорий Михайлович Козинцев в Ленинграде прочел повесть, пришел на киностудию и спрашивает редакторов:

— Скажите, этот человек меня знает?

Ему сказали, что нет, мол, не знает.

— Как же так? Даже внешне похож...

Мне это потом редакторы на «Ленфильме» рассказывали. Григорий же Михайлович, человек в высшей степени щепетильный, чтобы не подумали, что он может быть как-то необъективен, предложил на худсовете в мое отсутствие повысить мне оплату за сценарий. Вот так неожиданно обернулась история с фамилией одного из персонажей. После, для книги, я еще раз сменил эту фамилию, опять же на нечто близкое по звучанию: Мезинцев. Это когда уже мы с Козинцевым познакомились близко. Но все это к слову, конечно.

Вид человека, награждаемого тобою, приятное зрелище для глаз. И Твардовский не спешил завершить редколлегию. Он стал спрашивать: как живу? Что? Как? И, не дослушивая, сам говорил:

— Хорошо!

Он чувствовал себя тогда хозяином жизни. В моем лице он спрашивал в мир входящего, как бы всему нашему поколению, входившему тогда в литературу, вопросы задавал. И говорил:

— Хорошо!

Я не считал, что все так уж хорошо. Мне было тридцать

шесть лет в то время, но повесть свою, третью по счету, я все еще писал не за своим столом. То ранними утрами на кухне, пока соседи не встали, а то вечером допоздна, уходя из дому за несколько улиц. Была зима, стояли морозы, и вот, попивши чаю горячего, так не хотелось уходить. А тут еще сыну четвертый год, хочется поглядеть, как его спать будут укладывать...

Но, конечно, не про все эти обстоятельства спрашивал Твардовский, и смешно было бы ему это говорить. Да он и не столько спрашивал, сколько сам утверждал, и ответ требовался единственный: «Так точно, хорошо!» Как в «Теркине» у него: «Говорят — орел, так надо и глядеть, и быть орлом». В нем самом и тот генерал жил, и Теркин, который полагал бесстрашно: «Ничего. С земли не сгонят, дальше фронта не пошлют».

И правда ведь, если не о временном думать, а иной мерой мерить,— хорошо. Есть вещи, которые человек не должен уступать. И есть дни, которые должно помнить. Это был тот самый день. И не потому только, что судьба повести решалась: она была раньше решена. Но сам этот день был миг единственный, который не повторяется.

Как часто не хватает нам простой мудрости не за тем гнаться, что впереди ждет, а не торопить мгновенье. Но тот раз я отдельно от всякой суеты чувствовал это.

А по времени был конец февраля 1959 года. На исходе зимы, в самом начале весны, после снегопада, бывают в Москве такие чистые, ясные, солнечные дни. Нигде они так не ощутимы, как в старой Москве, когда идешь вверх по Петровке или по Неглинной, а солнце над всеми домами и крышами, и парит, и шуба на плечах тяжела.

После «Пяди земли» ни одной своей вещи я не печатал у Твардовского. Было искушение отдать ему повесть «Карпухин», а потом все же не отдал. Как раз эту повесть Твардовский отметил рецензией в своем журнале и прислал мне поздравительную телеграмму.

Все это говорю к тому, что отношения наши не были связаны с тем, печатает или не печатает мои вещи Твардовский, думаю ли я нести что-либо в «Новый мир». Этот немаловажный оттенок, к счастью, отсутствовал.

Минуло несколько лет после той редколлегии, и неожиданно мы оказались почти соседями: Александр Трифонович купил дом в том поселке, где я жил тоже. И начал заходить. Не часто, приглядываясь, потом чаще. Заходил просто посидеть, поговорить.

От него был ближний путь на реку, но там обдавали пылью машины, идти надо было обочиной, сторонясь. А по нашей улице хоть и дальше, но тихо. И вот с полотенцем под мышкой он иногда приходил.

Вставал он рано, часов в пять, в шесть утра, и на речку любил ходить по холодку, пока роса, туман над водой и одни только рыболовы сидят по берегам с удочками — то ли ловят, то ли дремлют, пригретые солнышком.

Однажды мы сговорились, что зайдет он часу в восьмом утра. Но потом оказалось — мне нужно ехать в Москву ранним автобусом, и в половине седьмого я пошел предупредить. Была середина июня, еще не косили, высоко по обочинам стояла трава. Но вдоль всего участка Твардовского было уже выкошено, как сострижено. И обочины, и кювет — ровная везде зеленая щеточка.

А сам Твардовский ходил по двору с топориком, явно ища себе работы. Я окликнул его через забор: мол, так и так.

— Ну зачем же вы шли? Я все равно бы шел мимо...

Но и год, и два года спустя он нет-нет да и напомнит: «А вот вы зашли предупредить...»

Очень он памятлив был ко всякому проявлению невнимания, и не только в отношении себя. Не скажет, как будто даже не заметит, но запомнит. Особенно же задевало его, если дети не здоровались:

— Ведь взрослый человек идет, как это не поздороваться?

А дети в нашем поселке действительно здоровались далеко не все. И что того хуже — не со всеми. Это каждого нормального человека не могло не задеть: ведь в детях всегда отражен дух семьи. Но у Твардовского еще и другое с этим связывалось: в деревне просто невозможно, чтобы взрослый человек шел по улице, а дети не здоровались с ним. Даже если это посторонний, незнакомый идет. Так, во всяком случае, было в пору его детства.

Обычно, прежде чем в воду войти, он складывал костерок на берегу. Повесит на дерево полотенце, рубашку и начинает собирать всякий мусор — ветки, щепки, коробки сигаретные, бумажки. Сложит вместе и зажжет. И сидит, смотрит на огонь, подкладывает по веточке. Однажды я сложил костер и зажег. Он ревниво удивился, что зажег я с одной спички. Вот так, помню, сказал мне и председатель колхоза в Камышинском районе Пустовидов, с которым мы зимой, в сильный мороз, ехали лошадьми, степью. Остановились у омета, где много на снегу было заячьих следов, и я, загородясь от ветра высоким воротником тулупа, протянул прикурить в ладонях и сам прикурил.

— С одной спички...— сказал Пустовидов поощрительно.

Однако тут было другое: хотел он сделать приятное городскому человеку,— мол, дескать, и вы можете по-нашему... А Твардовский не скрывая заревновал к чему-то такому, что только ему должно было принадлежать. Это тем более смешно, что за четыре-то года войны уж этому можно было научиться.

В нем жили привычки и понятия той, прежней его, деревенской жизни. То, что считалось умением тогда, сохраняло в его глазах значение и цену на всю дальнейшую жизнь, даже если это и не имело никакого практического смысла. Он, например, мог с четырех ударов затесать кол топором: удар — затес, удар — затес. И гордился этим:

— Ну-ка, вот вы так!..

Но гордился он и тем, что в его журнале лучшие корректоры, что тут никогда не встретишь ошибку, описку, неточность. Он и сам был грамотен, хотя этим качеством наделены далеко не все люди, имеющие высшее образование. Качество это в русском языке, я бы сказал, сродни чувству слова. Встретив ошибку в рукописи, он непременно сам выправлял и, как мне удалось заметить, бывал даже рад, если встретится особо сложный случай правописания. Тут он и объяснит еще, отчего, почему, как по незнанию могло бы показаться, но почему так быть не должно. За ним не стояло двух-трех поколений дворянской культуры, все свои университеты он сам проходил и знания свои не стеснялся подчеркивать.

Посидев у костерка, докурив, слезал он в воду, придерживаясь рукою за сук дерева. И мы плыли на ту сторону, где отражались в зеленой воде белая балюстрада детского санатория, похожего на помещичью усадьбу, белые лестницы и колонны. Иногда останавливались там передохнуть; стояли под берегом, по щиколотки увязнув в иле, чувствуя, как он под водой засасывает все глубже и от него по ногам щекотно бегут вверх пузырьки газа. Но чаще сразу же плыли обратно.

Еще только войдя в воду, после первых взмахов, Александр Трифонович окунался весь, с головой, и волосы намачивал, и затылок. Потом, отерев мокрой ладонью лицо, плыл. А плыл он не спеша, мощно, спокойно: не плыл, а отдыхал в реке.

Зимою вместе с режиссером Иосифом Ефимовичем Хейфицем работали мы за городом. В поселке мало кто жил в ту пору. Светили вдоль белых улиц фонари, пустые дворы завалены снегом, в окнах домов блестят черные стекла. Зима была снежная, как перед урожайным годом.

Доработавшись до того состояния, когда уже оба не соображали ничего, решили мы часов в десять вечера пить чай. Я поставил чайник на газ, а сам забрел в темную комнату и стал у окна: ведь и не хочешь, а продолжаешь думать, не можешь отвязаться.

Смотрю — Твардовский идет от калитки. И как-то неровно, толчками, словно упирается. А тут свет еще качающийся. Ветер то забросит фонарь за столб, и тогда на весь двор клином расширяющимся ляжет тень, то осветит ярко: снег сквозь голые вишни, одна сторона дорожки, прорытой в снегу, снежные лапы елей у забора.

Из-за поворота дорожки выбежал Фома, полугодовалый ньюфаундленд, ростом со среднего медведя, и шерсть медвежья, бурая. Александр Трифонович вырастил его из щеночка и теперь один только и мог удержать его на поводке. И то шел, оскользаясь ботинками, только что не ехал следом по льду. А Фома тянул впереди на четырех мохнатых лапах, красная пасть разинута, дышит паром.

Привязав его к рябине у крыльца, Твардовский вошел в дом, прямо-таки огромный в зимнем. Он вышел пройтись по пустому поселку и завернул на огонек.

С Хейфицем они были знакомы заочно, вообще к кино, тем более к писанию сценариев прозаиками, относился Твардовский весьма и весьма сдержанно. То же самое и о пьесах говорил, не считал это делом серьезным. И все же временами казалось мне: хоть он и отвергает и не считает делом серьезным, но это до поры до времени, пока сам не взялся. Найдись искуситель режиссер — и могло случиться.

Снял Твардовский зимнее полупальто — оно у него было тяжелое, драповое, с серым каракулевым воротником и прорезными карманами на груди, неизносное, напоминавшее покроем и видом те бобриковые, по воспоминанию ему знакомые, и в желтой ковбойке, в лыжных теплых брюках сел к столу. На том месте, на котором обычно мой сын сидел.

— Работаете?

Спросил неодобрительно, явно сомневаясь, что из такой работы может что-то получиться. Тем более когда ему самому не работается.

Сели на кухне пить чай втроем. Дома Александр Трифонович пил из огромной чашки, и варенье клубничное, домашнее, сваренное так, что все ягоды целые, накладывала Мария Илларионовна в большие блюдечки.

У нас тоже пили из больших чашек, и налил я, как он любил, почти что одной заварки, разбавив фыркающим кипятком. Александр Трифонович курил сигарету и запивал чаем из блюдца. Разговор явно не получался. И не только потому, что они с Хейфицем, в сущности, не были знакомы, но и потому, что мы собирались работать еще, а он заранее

все это не одобрял. Он и раньше, когда я, не закончив романа, взялся за сценарий, говорил:

— А ведь не получится одновременно. Отсюда сюда таскать будете. Это как сообщающиеся сосуды: здесь взял — там уровень понизился.

Так-то так, кто ж спорит? Но за сценарий я взялся срочно не ради славы, а потому, что обстоятельства приперли. Картину, как говорят художники, надо кормить. Вот и роман тоже, его надо писать не торопясь.

Снаружи стучали о жестяной отлив крыши замерзшие ветки рябины: это Фома дергал ременный поводок, а с ним вместе все дерево. И скулил. Александр Трифонович не спеша пил чай, затягивался сигаретой, и в широкой его груди многолетнего курильщика хрипело.

Каким-то краем разговор коснулся великих людей. Я в ту пору дочитывал книгу о Нильсе Боре, взятую у Твардовского. И поразил меня рассказ о встрече Бора и Черчилля. Этих двух людей разделял век целый: Черчилль не весь еще из девятнадцатого века вылез, а Бор провидел уже век двадцать первый. И вот его, во время войны перелетевшего через Атлантический океан в Англию, чтобы объяснить, что началась атомная эра, что надо сейчас уже сделать выводы, иначе начнется то, что, собственно, и началось после войны,— его Черчилль принял всего на десять минут и после короткого разговора заявил, что Бор русский шпион и его надо отстранить от ядерных исследований.

Вот в связи с этой книгой я и сказал, что, наверное, интересно написать великого человека.

— А что великий! — сказал Твардовский. Он сидел, расставя полные, в лыжных брюках, колени, ноги обуты в суконные ботинки на «молнии», которые он донашивал за городом; он вообще старые вещи свои донашивал. Не потому, что они стоили что-то, а не мог выбросить вещь, раз она еще годна.— Что великий? Ничем особенным он от остальных людей не отличается.

И через свою думу убежденно и просто сказал опять:

— Великий, он — обыкновенный.

Летом 1967 года попросили меня написать о Твардовском. С чем-то это было связано, требовалось срочно, и даже размер был определен: около трех страниц. Не очень я это умею — писать статьи, а еще то смущало, что мы знакомы и непременно он прочтет. Но и не написать о Твардовском было нельзя по всем обстоятельствам того времени.

Статья называлась «Заполненный товарищами берег». Я должен привести ее, чтобы понятней было дальнейшее.

«В годы, последовавшие за окончанием Великой Отечест-

венной войны, постепенно начала устаревать и вскоре вовсе устарела грозная по прежним временам боевая техника, наше славное оружие, с которым мы освобождали родную землю, Европу, мир. Даже легендарная «катюша» стала теперь далеким прошлым. Сравнение ее с техникой наших дней просто неправомерно.

В эти же годы одна за другой отошли в прошлое и забылись многие книги военных лет. Время отодвинуло их. Только высокие создания человеческого духа оказались не подвластны времени. Такова судьба поэзии Твардовского.

Сейчас, когда поколения людей со школьной скамьи знают «Василия Теркина», когда без этой «Книги про бойца» уже невозможно представить себе всю нашу советскую литературу, а первое впечатление от чтения ее заслонено многими последующими, трудно восстановить в памяти, как тогда воспринимались солдатами на фронте разрозненные главы, не по порядку доходившие до них. Но вот одно я помню точно: была несомненная уверенность, что книга писалась на нашем фронте и даже где-то здесь, близко. Такое ощущение сопутствует книгам, где правда все: и целое, и частности. Мы не задумывались тогда над тем, что только очень большие художники способны в одну судьбу вместить судьбу всего народа: потому каждый, читая такую книгу, находит в ней и самого себя. Мы объясняли это проще: значит, автор был здесь, знает, сам прошел. И книга вызывала благодарное уважение и доверие.

Даже после войны я искренне считал, что бой за «населенный пункт Борки» — это бой за деревню Белый Бор на нашем Северо-Западном фронте.

...Где вода была пехоте
По колено, грязь — по грудь;

Где в трясине, в ржавой каше,
Безответно — в счет, не в счет, —
Шли, ползли, лежали наши
Днем и ночью напролет...

Бой шел, как сказано в книге, на втором году войны, сходились приметы большие и малые. Я мог бы, как карту с местностью, сличить эту главу из «Теркина» с тем, что было у нас. И каким необходимым оправданием безымянных ратных трудов, какой прекрасной памятью павших безвестно звучали в конце главы слова, которым суждено, как и подвигу, остаться:

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.

И Россия — мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна, и смерть одна.

Это было так, словно мы сами сказали эти слова. Подлинное искусство всегда совершает эту подмену: выражая, то, что смутно ощущается людьми, оно оставляет читателю и радость открытия, и уверенность, что автор просто высказал его мысли, его словами сказал.

Но еще и потому такое доверие вызывала «Книга про бойца», что в каждой строке ее обнаруживались понимание и знание тех простых вещей, которые составляли существо солдатской жизни на фронте, вещей по видимости малых, но без которых не творится ничто великое. Писатели ограниченные стараются эти вещи обходить, беря себе задачей говорить только о «главном».

Восхищая точной правдой подробностей, удивительной силой народного характера, книга рассказала о том, чем жил народ на войне, и казалась не загаданной на дальний срок. Так солдат на фронте далеко вперед не загадывает, а воюет честно, и в этом все то великое, что совершает он для настоящего и для будущего, даже если ему в том будущем жить не суждено.

Но, видимо, так только и создаются книги, которые переживают время. Вся их боль, и страсть, и радость в настоящем, и потому так важны они грядущим поколениям.

Самое удивительное, быть может, то, что писал свою книгу Твардовский не на отдалении, в зрелую пору раздумий о минувшем, а писал ее там, на фронте, «без отрыва от колес». Впрочем, примеры тому в русской литературе есть: «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. С тех пор как писались они, не раз сменилось все то, что казалось незыблемым: и воинские уставы, и законы, и боевая техника прошла путь от гладкоствольных ружей до ракет, и даже многие государства исчезли бесследно, а другие народились на карте мира. Пожалуй, только хлеб и вода остались такими же неизменными, необходимыми каждому и вечными; свойство, подобное этому, к слову сказать, лежит и в основе искусства.

Какие войны сотрясали с тех пор шар земной, какие яркие писательские имена зажигались и гасли на литературном небосводе, а «Севастопольские рассказы», ничего не утеряв, и сегодня поражают, как слово, сказанное впервые.

Значит, дело все-таки не в отдалении, а в размерах личности художника. В мире, открытом каждому, не каждый

способен совершать открытия. Великому же художнику из гущи событий видно то, что другим не суждено увидеть и по прошествии лет. Потому для книг, созданных великими художниками, границы времени понятие относительное. Необходимые современникам при появлении своем, как будто даже для них только и писавшиеся, они потом переживают своего создателя.

Мне хочется в связи со сказанным привести строки из стихотворения Твардовского, помеченного послевоенной датой: «В тот день, когда окончилась война...». Оно сегодня звучит так же, как в пору, когда было написано:

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный...

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях,
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...

Пока мы живы, он никогда не скроется из глаз, «заполненный товарищами берег». А когда время соединит нас с ними, то и тогда слова эти многое скажут будущим людям, дадут им почувствовать особую для душ минуту, и среди них, живых, незримо встанут те, кто ушел.

Чем больше поэт, тем бо́льшим он обязан своему народу. Он обязан народу всем, что ему дано. И только по прошествии времени становится ясно, что и народ многим обязан своему поэту. Расул Гамзатов сказал однажды, что у его народа тоже были свои Ромео и Джульетты, не было только своего Шекспира, чтоб рассказать о них, и потому никто о них не знает.

Когда отсеивается все временное, незначительное, люди на отдалении смотрят на минувшее глазами большого худож-

ника, зримой реальностью становится для них жизнь, которую он запечатлел. Целые эпохи исчезли бесследно из памяти народов потому, что не было у них своего поэта.

Создаваемые на самом недолговечном, подверженном тлению материале, литературные памятники имеют свойство переживать и бронзу, и мрамор, и гранит».

Несколько дней я не заходил к Твардовскому. Он тоже не заходил. И вот как-то под вечер, после жаркого дня, вернувшись из Москвы, пошел я с семьей на реку. Но не туда, где он обычно разводил свой костерок у моста, а через поле и луг — к деревне: там хоть и не широко, но народу бывало поменьше, гоготали гуси на берегу, с шипением уступая дорогу, телята забредали непривязанные.

Подходим. Александр Трифонович стоит один на берегу, собирается лезть в воду. Полезли вместе и поплыли по течению к острову. Был тогда остров на завороте реки, ветлы дуплистые стояли над водой, густо росли бузина, крапива, дикая малина. Потом умная чья-то голова додумалась расширить реку. Срубили деревья, пригнали земснаряд, он всосал в себя половину острова и выплюнул на берег. Тут только задумались: может, не надо? И оставили, что осталось, собирать тину вокруг себя.

Но тогда остров еще был, и мы плыли к нему посреди реки. Тишина опускалась предвечерняя, хорошо были слышны голоса из деревни, лай собак по дворам.

А когда плыли обратно, садилось над затоном огромное красное солнце. Мост выгнулся, как нарисованный, и по нему, по диску солнца, быстро бежала черная машинка. Оторвавшийся от нее на берегу хвост пыли волокло ветром на деревню. Потом и на другом берегу стала вздыматься пыль. А по закатному зеркалу воды с берегов полз туман, его словно выдувало из-под моста, и скоро мы плыли в сплошном розовом тумане.

— Может ли это быть,— прямо-таки с нежностью спросил Александр Трифонович,— что от вас водочкой пахнет?

— Может быть, Александр Трифонович. И даже так и есть. А еще есть у меня дома неначатая бутылка коньяку.

И мы пошли после речки ужинать к нам домой. Как всегда, сел Александр Трифонович на то место за столом, где обычно сидел мой сын: спиной к стене. Почему-то место это ему нравилось. Только стол отодвигал он от себя, иначе было ему тесно. А дети сбоку сидели рядышком, притихшие при нем. Поужинав, они ушли.

Мы долго сидели в тот вечер на кухне, хорошо было, душевно, и он сказал поразившие меня слова:

— Вы знаете, ведь это, может быть, третья такая статья за всю мою жизнь.

О многом под настроение говорилось. Могучий, грузный, он встряхивал просыхавшими волосами, удаль глядела из светлых его глаз:

— Нет, ничего, ничего... Все-таки все — ничего!

Выпито было в меру — мы начали и кончили бутылку коньяку. Он все уговаривал жену выпить с нами стопочку, уважительно произнося имя-отчество — Эльга Анатольевна. Он как бы подчеркивал дань уважения. Ему нравилось, что она хозяйка, мать.

И не впервые в тот вечер слышал я от Твардовского:

— Чтобы писать, нужен запас покоя в душе.

Именно — покоя. Но не спокойствия. У Толстого был такой запас покоя единожды в жизни: между тридцатью пятью и сорока двумя годами. Он видел тогда возможную гармонию мира, он смог написать в ту пору «Войну и мир».

Я провожал Александра Трифоновича, и уже у калитки он сказал, желая сделать приятное:

— Ну, ничего, бог даст вам за ваших детей.

Так это и осталось со мною.

Однажды я зашел к Александру Трифоновичу часу в шестом вечера, но дома его не застал: он был в Москве. Я уже выходил из калитки, как вдруг подъезжает машина, а из нее вылезает Твардовский, нагруженный, словно с ярмарки: кульки, папки, кулечки — и локтем прижато, и в руках перед собой несет. Я хотел зайти после, но он не отпускал, и вместе вошли в дом.

В доме все это стало выгружаться: обсыпанные мукой свежие калачи, из бывшей булочной Филиппова привезенные, еще что-то, еще. А он ходил среди всего радостный, освобожденный: подписан в печать номер журнала, в типографию ушел. Великий груз снялся с плеч. А что в папках привезено, это уже в другие номера.

Дом у Твардовских был хлебосольный, хозяйка Мария Илларионовна хорошая, и за столом Александр Трифонович сидел, сдержанно гордясь. Для него вообще, как можно было заметить, дом существовал не в городском понимании, а скорее в крестьянском, родовом: это не место жительства, которое легко меняют в виду лучших удобств, это — твое место на земле. И хотя этот дом под Москвой, не им построенный, никак не напоминал отчий дом на Смоленщине, разрушенный войной, значение, с детства воспринятое, оставалось.

Он сидел за столом, освобожденный от недавних забот, увлеченно рассказывал про одну рукопись, которая самотеком пришла в журнал. Никак невозможно было печатать ее: автор совсем малограмотный человек.

— Но какие точные подробности! — восторгался Твардов-

ский.— Такое не выдумаешь. Это только солдат мог написать!

Он и сам был на редкость точен. В «Теркине» такое тонкое знание мельчайших подробностей солдатского быта, какое не поэтам присуще, а скорей прозаикам. Ну, и тем, разумеется, кто сам все прошел.

Конечно, Твардовского, до войны уже автора «Страны Муравии», среди немногих награжденного орденом Ленина, даже при очень большой его настойчивости ни при каких обстоятельствах не пустили бы в окопы. А когда такой человек с корреспондентским заданием прибывал к командиру дивизии, тот нес за него ответственность. Потому как бы радостно ни встречали, а провожали еще радостней, живого, целого.

Если бы не огромный талант да еще если бы сам он не был крестьянским сыном, ему бы с одним лишь его военным опытом не написать «Василия Теркина». Не случайно больше никому подобное не удалось. И вот сознание, что часть жизни он не столько сам испытал, сколько имел возможность наблюдать, врожденный такт и еще большое чувство собственного достоинства побуждали его в разговоре с бывшими солдатами, строевыми офицерами, непременно такую фразу сказать: «Ну, да вы это лучше знаете...» Не уверен, что во всех случаях так он считал, но он считал своим долгом так говорить.

И вот за столом, гордясь этой рукописью, Твардовский рассказал оттуда подробность: солдат под огнем плывет через реку, пулеметные очереди секут так близко, что он отдергивает руки под воду. Рассказал и засомневался как будто. И опять свою фразу сказал: «Ну, да вы это должны лучше знать...» Но тут Мария Илларионовна, которой показалось, что он себя умаляет, вступилась за его честь:

— Ты, слава богу, тоже повидал... Что тебе досталось, другому на передовой не пришлось...

Александр Трифонович только чуть улыбнулся, по-мужски призывая прощать такую понятную заботу.

А подробность действительно была точная. Я знал случай в нашем полку, когда из двух братьев, служивших вместе, одного убило, а другой пополз за ним, чтобы вытащить с поля. И тут заработал пулемет. Всякий раз, когда пулеметная очередь ложилась близко, он отдергивал руки под себя.

— Ну вот, я же говорю! — обрадовался Твардовский.— Конечно, такое не соврешь и не выдумаешь.

В нем неколебимо и свято было отношение ко всему, что пережил народ, вынесший на себе такую войну. А перед теми, кто с войны не вернулся, кто за всех за нас остался там, жило в нем сознание вины живого перед павшими. Потому-то на отдалении лет, после «Я убит подо Ржевом...», после

«В тот день, когда окончилась война...», написал он «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...», заканчивающееся пронзительно-искренне: «...но все же, все же, все же...»

Это «все же...» не одного его сопровождало и сопровождает в послевоенной выпавшей нам жизни. Но только он смог так за всех сказать.

А тогда, вернувшись из Москвы, свалив груз с плеч, такой он у себя дома, за столом, сидел радушный, радостный.

Когда солнечные дни следуют друг за другом, уже и не так солнце замечаешь, как жмуришься недовольно, что слепит. Но предгрозовое, предзакатное — как ярок и короток, как щемящ его особенный свет.

Ни в Твардовские, ни в Есенины не назначают. Жизнь богаче оттого, что они есть, бедней — когда их нет.

Твардовского нет, и многое многим стало не стыдно.

Не знаю, где еще так велико значение нравственного примера, как велико оно в литературе. Хорошо пишут многие, но великая книга — это всегда нравственный пример. Ведь за нею прожитая жизнь.

Вижу, как сидит Александр Трифонович у костерка на берегу, поджав по-турецки босые опухшие ноги. Еще не обсох после купания, и волосы мокры; сидит и смотрит в огонь.

Быть естественным всегда и везде невозможно. Где-то надо и показаться, и тон взять нужный. Он это умел. Но при всем том он оставался самим собой. Он не играл роль, он жил и занят был делом жизни. И значение свое сознавал. Это чувствовалось. Была в нем та сосредоточенность, та ненапускная значительность, которая отличает человека, живущего собственной духовной жизнью.

Все больше я убеждаюсь, что есть в жизни своя скрытая мера и поступков, и дел, и вещей. Кто черпал из жизни, как из колодца,— и свое вычерпать спешил, и чужое,— как бы он ни утверждал себя, как бы ни возносился, не станет его, и нет ничего. Жить посмертно суждено тем, кто стремился не из жизни взять, а свое оставить людям. Такова природа таланта. Истинный талант бескорыстен. Его не надо насаждать, издавать какие-либо приказы, распоряжения. Власть его — духовная, добровольно признаваемая людьми. Вмещая прошлое, такая жизнь длится в будущем, в ней особенно ощутима связь времен.

Это и Твардовского судьба.

После поездки в США пришлось мне как-то к слову рассказать Александру Трифоновичу про американского критика и поэта Кеннета Рексрота, старого уже человека, знавшего в свое время Хемингуэя. Мы сидели у нас во дворе, в беседке. Когда-то на всем участке только здесь была тень. Потом поднялись посаженные лиственницы, черемуха, ря-

бины, беседку накрыло их тенью, а деревянные ее столбы подгнили, и пришлось врыть пасынки из обрезков труб. Александр Трифонович садился в беседке всегда на одно и то же место, опирал палочку о стол, а врытая в землю труба оказывалась у него под правой рукой. Он курил и стряхивал в нее пепел, туда же бросал окурки, обещая, что когда-нибудь наполнит ее доверху. А курил он всегда одни и те же сигареты «Ароматные»,— запахом которых и сам был пропитан.

Так вот, рассказывал я про Рексрота, а он слушал без особого интереса, налегши грудью на стол. Вдруг оживился. Это когда я сказал, что если человек долго живет на свете, странная вещь происходит: с какого-то момента он уже не отдаляется от жизни минувшей, а, наоборот, ему все ближе, понятней становится то, что за сто и за тысячу лет до него было. Словно это теперь тоже часть его собственной жизни. Твардовский быстро взглянул своими светлыми глазами — в них мысль и строгая серьезность,— подтвердил:

— Да! Это я знаю!

Он это не по наблюдению, он по собственной прожитой жизни знал.

Не помню, чтобы когда-либо мы говорили с ним о смерти. Конечно, все в жизни от нее неотделимо, самое главное проверяется у ее порога, но чтобы вот так, прямо, о ней говорили, не помню. Однако осталось впечатление, что относился он просто к тому, что для каждого, сколько на свете ни живи, кем ты ни будь, а неминуемо настанет время уйти на тот «заполненный товарищами берег».

Рассказывая о смерти Казакевича, с которым он был дружен и последние дни сиживал у его кровати, он, собственно, не о самой смерти рассказывал, а о том, как Казакевич, обреченный уже, замученный болями, все говорил, как надоело ему проворачивать в голове недописанный роман, как тяжело это, как он от этого устал.

Вот о том, что умер, не дописав главной своей книги, до последнего часа проворачивая ее в мозгу, об этом Александр Трифонович рассказывал и вновь к этому возвращался, задумываясь, как я понимал, не только о Казакевиче.

Но кто знает заранее, какая книга главная? И где она? Ее всегда хочется видеть впереди, а оказывается нередко, что главной была та, которую писали со свежими силами, многого еще не ведая и не слишком серьезно относясь к себе.

Он спокойно переносил боль, не прислушивался к болезням. Даже когда у него начала отниматься рука, он что-то еще делал в саду,— кажется, пытался косить или копать.

Я увидел Александра Трифоновича, когда его привезли

домой из больницы — после многократных лечений, после облучения. Все знали уже: надежды нет.

Многие в те дни старались вести себя при нем естественно, так, будто ничего не случилось, и это была мучительная ложь. Лишенный дара речи, сильно исхудавший, истончившийся, он смотрел молча, все видя, все понимая.

А вот Зиновий Гердт как будто ничего и не старался. Он приходил, сильно хромая, спрашивал деловито:

— Так!.. Кипяток есть? Помазок? Будем бриться.

И крепко мылил горячей пеной, не боясь голову сотрясти, брил как здорового, и что-то рассказывал своим громким голосом. Обвязанный полотенцем, намыленный, а потом умытый, с лоснящимися после бритья щеками, освеженный, Александр Трифонович радостно смотрел на него, охотно слушал.

А утешение доставлял младенец, младший внук. Не ведая ничего и не сознавая, с той правотой, которую жизнь дала, он топал по полу, не страшась штаны потерять. Обутый в толстые шерстяные носки деревенской вязки, как дед его когда-то, светлый, рыженький, неправдоподобно похожий, он топал храбро по дому, а дед поворачивал голову, смотрел вслед, провожал взглядом.

Твардовский умер в декабре.

А летом вновь так же высоко стояла трава по обочинам, и у его забора впервые за много лет никто ее не косил.

Перед днем его рождения, перед 21 июня, хотелось мне выкосить и обочины и кювет, как он любил, чтобы ровная густая щеточка зеленела вдоль всего участка. Я и косу наточил, с вечера приготовил, думал, приду пораньше, пока в поселке все еще спят. Для самого себя хотелось. И в память о нем. Но не решился не спросив. А спрашивать было неловко: ведь могли быть соображения, которых я не знал и о которых не обязаны были мне говорить.

Косил там, насколько я знаю, сторож из детского санатория Евгений Антонович Беляков, хороший, мудрый старик. При жизни Александра Трифоновича он часто заходил: и что-либо сделать по хозяйству, и так просто, поговорить. Придет, тихий, стесняющийся, подаст руку:

— Как чувствие?

И щурится, словно на солнышко глядя. А руки его, черствые, с разбухшими суставами и пальцами, как бы даже не разгибающимися до конца, много-таки поработали на своем веку. И все с толком, умело, не спеша. За деньги ли, без денег, но всегда на совесть. Сохранил старик это редкое в наши дни качество, это уважение к себе, которое столькими утрачено.

Александр Трифонович любовался стариком. Мне даже казалось, что в чем-то существенном сам он утверждается,

глядя на него. Бывало, рассказывает — не раз он это рассказывал и мне и, наверно, не мне одному: «Спрашиваю: Годков-то тебе сколько же?»

Тут Твардовский непременно повышал голос, будто глухому старику в ухо кричит. Делал он это бессознательно, поскольку Евгений Антонович в свои годы не только слуха не потерял, но слышал не хуже нас обоих.

«Годков тебе сколько, говорю?..» — «А семой миновал...»

Вот этим «семой миновал» Александр Трифонович восхищался. Не год, конечно, седьмой, а «семой» десяток. И, видно, не вчера миновал. Но при всем при том сохранил старик собственный разум, твердые понятия и свои представления обо всем в жизни. Не кто-нибудь, а сам он себя продолжал кормить в такие годы и хвори свои хоть и не без помощи врачей, но больше все же собственными средствами одолевал, теми травками и настоями, которые «способствуют».

Он косил в тот год вдоль участка.

Не знаю, сколько осталось мне весен, но почему-то я особенно чувствую нынешнюю, быстро уходящую. И снег стремительно тающий и ослепительный блеск солнца в вешней воде. Словно никогда еще оно так не светило, не блистало.

И думаю я сейчас, на тающий снег глядя, спиною чувствуя, как солнце печет,— думаю я о тех, кто эту весну уже не увидел. Не думаю даже, а чувствую за них. Как стало их много, какой длинный ряд безгласный, и все больше, больше там дорогих мне людей.

Последняя весна Твардовского была здесь, на Пахре; здесь он ее видел, казался еще здоров.

Помню, как-то косил я перед домом. Было начало лета. За городом постоянно этот соблазн: бросить работу и пойти копать, косить или столярничать. Но тогда это было под вечер, после работы. Сильно липли комары на потную шею, предвещая назавтра жаркий день. Срезанная трава пахла свежим соком.

Вдруг вижу — от калитки идет по дорожке Александр Трифонович со своей палочкой. Я бросил косить, стал точить косу. Но не так, как косари на лугу, взявшись рукою за обух, а как мне было удобней — носком уперев в столбик. Знал я, что все это он заметит, непременно посмотрит, низко ли, ровно ли срезана трава, но я так привык, и мне было так проще.

Концом своей палочки он шевелил скошенную траву и говорил о том, что вот пишут «пахло сеном», а сколько и каких запахов имеет скошенный луг! Когда только скошен, когда его солнцем печет полуденным, когда граблями воро-

шат невысохшую, провянувшую траву. И вечером, когда луг влажен. И сложенное сухое сено... Все это разные же запахи!

Стоял он такой задумавшийся; волосы легкие, светлые, почти совсем уже седые, чуть ветер шевелил на лбу. И вдруг спросил: читал ли я года два назад напечатанные в журнале «Иностранная литература» отрывки из записных книжек Томаса Манна? Есть там мысль, что только искусство способно остановить мгновение, только оно одно может это.

Как быстро все в жизни совершается. Когда мы с женой посадили эти ели перед домом, они были меньше нашей пятилетней дочки. Осталась фотография: дочь наша и елки — ниже ее. А родилась она в том самом мае, когда у Твардовского в журнале «Новый мир» печаталась моя повесть «Пядь земли»; так получилось, что они ровесницы, вместе появились на свет. И вот уже ели поднялись выше дома, и мы стоим под ними, и Александр Трифонович концом своей палочки шевелит скошенную траву.

Он остановил мгновение. Вот с этой самой палочкой идет он, бывало, улицей нашего поселка, широкой, как в деревне, улицей. Или по лесу идет. А то сядет на пень и палкой шевелит на земле палую листву и взглядывает на солнце сквозь вершины. Вот таким и вижу его, когда читаю это, мое любимое:

На дне моей жизни,
на самом донышке,
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век, целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:

Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

Зимы сменяются веснами, и летними вечерами все так же в наклонных лучах красуется палая листва. Наверное, в этом есть и утверждение, и великая правота жизни.

Каждый раз, когда ранним утром я иду на автобус по гулкому над водой деревянному мосту, стоят уже у мокрых железных перил, сидят на берегу и в лодках, среди тины, озябшие рыболовы: и те, что тогда были, и те, что за это время подросли. Мокро еще все: и трава и лес. А река словно паром исходит. Это согревает ее низко поднявшееся над лесом солнце, чистое оттого, что чист воздух, отстоявшийся за ночь. И так же точно у дальнего берега, к которому мы плыли, бывало, отражены в зеленой воде белая балюстрада и белые опрокинутые колонны детского санатория. Всплеснет рыба — все это заколеблется в воде, расходясь кругами.

И опять я вижу на том же самом месте дымящийся костерок на берегу, сложенный из сухих веток, из мусора. Придерживаясь рукой за сук дерева, по мокрому, осыпающемуся под босыми ногами берегу спускается к воде грузный человек. Вода в этот час теплей воздуха, а дно у берега — илистое, вязкое. Он входит по колено, потом со вздохом ложится в воду и плывет к тому берегу, не размашисто, не шумно плывет над зеленой глубиной.

Дважды не войти в ту же реку, и дважды ни река, ни время не текут. Далеко теперь текут те воды, что протекали тогда здесь, под мостом. Не раз они с тех пор пролились дождями и вновь обратились в пар.

На вышнем ветру плывут они над нами в небесной выси, и вечное солнце светит сквозь них. Какими оттуда, из дали расстояний и времен, увидятся наши заботы, наши боли и дела? Увидятся ли? Нет, все же увидятся.

Вот и его слово, его поэзия, придя из жизни, вернулись в жизнь.

С ней и останутся.

1977

«НА ЧУДО НЕ НАДЕЙТЕСЬ...»



есной 1970 года Твардовский пригласил меня на дачу в Красную Пахру, чтобы я его порисовал.

Долгое время я тревожил Александра Трифоновича телефонными звонками. В принципе он был не против, но его занятость не позволяла ему уделить мне время.

Он шутливо говорил: «Звоните, не стесняйтесь». И я звонил. Ждал. И дождался.

Я был рад и в то же время испугался, испугался потому, что встреча предстояла почти один на один, а мне думалось поначалу, когда мы договаривались, что рисовать буду в редакции, в кабинете, во время работы, при людях.

Правда, я знал, что он уже оставил работу в редакции, казалось естественным, что пригласил к себе на дачу, и все же что-то меня пугало.

Я заехал на Котельническую набережную, к ним на квартиру, чтобы отсюда с Марией Илларионовной ехать на дачу. В дороге старался что-то вспомнить, настроиться.

Приехали под вечер.

Александр Трифонович встретил нас на улице, у калитки, с непокрытой головой, в рубашке.

Поздоровались.

Все как-то просто и необъяснимо.

Вот оно — первое впечатление, оно для меня во многих случаях было решающим.

Что же на этот раз?

В прихожей нас встретил могучий черный пес, прямо-таки медведь. Взгляд его настолько был умным, что я не дрогнул перед его могуществом, а сразу ощутил его доброту.

Я спросил, как его звать и что за порода.

Александр Трифонович сказал:

— Это — Фома, из породы водолазов. Мне подарили монахи, когда я ездил на острова [1].

Александр Трифонович пригласил меня в небольшой, уютный кабинет. Стеллажи книг, письменный стол, два стула, небольшая тахта — вдвоем не развернешься.

Его жена принесла корреспонденцию. Позвонил телефон, и он, извинившись, взял трубку.

Не задумываясь я начал рисовать.

В это время (оно продолжалось десять — пятнадцать минут) сделал несколько рисунков пером. Вначале одну голову, затем части лица.

Чувствовал себя свободно: он своим делом занят, я — своим.

Так бы весь вечер.

Но увы, письма просмотрены, и наша беседа продолжилась.

Рисовать я уже не мог. Возможно, потому, что он был близко и выражение его лица то и дело менялось. Во время разговора вообще трудно сосредоточиться. Когда же речь зашла о портрете как жанре, я довольно запальчиво стал утверждать, что портрет как жанр умирает, что фотография с успехом заменит художника, много еще чего наговорил. Александр Трифонович возразил мне и добавил, что и в литературе портретный жанр сохраняется.

Он был удивлен, и, наверное, неприятно удивлен, услышав от меня, что я вижу его впервые.

— И вы до этого нигде не встречали меня, не слышали во время выступлений?

— Нет, не встречал, не слышал,— сказал я.

— Как же вы собираетесь меня рисовать, не зная моих интересов и вкусов и вообще того, что делается в литературе и искусстве сегодня?.. Извините, что об этом вам говорю,— расстроившись, добавил он.

— Вы вправе меня упрекнуть,— сказал я.— Так все нелепо складывается, что не знаешь, за что браться. Времени не хватает на самое главное — живопись, рисунок,— а работаешь с утра до вечера и без выходных... А ни одного толкового шага...

Я замолчал, подумав, что это уже ни к чему, такая исповедь.

Да, я был выбит из колеи. Я не рисовал, а разговаривал, и разговор был не вообще, а о литературе, а это мое слабое место.

Кто кого больше изучал? Я его или он меня? Разумеется, он меня.

---

[1] Потом выяснилось, что А. Т. разыгрывал меня.

И ему, вероятно, хотелось знать меня — человека, а не только видеть мои наброски. Он еще раз взглянул на рисунки и сказал:

— Что ж, для начала — может быть.

Затем спросил, как я думаю решать портреты поэтов для издательства «Изобразительное искусство». Дело в том, что это издательство заинтересовалось моими натурными портретами литераторов и Твардовский об этом знал.

Я ответил, что как-то не задумывался над этим; главное, чтобы сами портреты были удачными, чтоб каждый образ в своем материале решался.

Александр Трифонович помолчал, затем сказал, что, как ему кажется, у меня с издательством ничего не получится, но независимо от этого он уделит мне время, как он ранее обещал.

Потом спросил:

— Кого из поэтов рисовали?

Я перечислил: Светлова, Безыменского, Гамзатова, С. Смирнова, Луконина, Казакову, Снегову, Коваленкова, Алигер, Ваншенкина.

— А кого из прозаиков?

— Кассиля, Лидина, Шкловского.

— В данный момент над кем работаете?

— Над Кирсановым.

Он недовольно сказал:

— Как же можно противоположных по духу и характеру людей рисовать одновременно!

Я промолчал, но про себя подумал: меня многие упрекали в «беспринципности». Все это так. Но мне хотелось рисовать, а это важнее каких-либо личных пристрастий. Но, разумеется, были и есть симпатии, и Александр Трифонович — в первую очередь.

...До ужина я сделал еще несколько набросков: Александр Трифонович стоит у приемника, ловит какую-то волну; взял журнал, надел очки, затем сел за стол; задумался, поднял голову, улыбнулся. Я делаю наброски при каждом новом его положении. Удивляюсь, откуда взялась у меня репортерская настырность. Возможно, ему это было неприятно, но что поделаешь, мне хотелось работать.

После ужина мы с Марией Илларионовной смотрели телевизор, а он то уходил, то вновь появлялся.

Затем я ушел в кабинет, где мне отвели ночлег. Долго не мог заснуть. Искал компановку для завтрашнего портрета, но так ни на чем и не остановился. Что ж, утро вечера мудренее.

...Я думал, что проснулся раньше всех, но Александр Трифонович был уже на ногах. Что-то делал или просто ходил возле дома.

Утро было светлое, пели птицы, и я, почти два года не выезжавший за город, залюбовался природой.

Но вот он вернулся, волосы растрепаны, наверное, от небольшого ветра.

Позавтракав, стали готовиться к работе.

— Алексей Иванович,— добродушно сказал он,— быть может, продолжим у вас в мастерской? Для первой встречи достаточно и тех набросков, которые сделали вчера. На чудо не надейтесь,— добавил он, то ли шутя, то ли всерьез.

Но бумага наколота, уголь готов. Хотелось взять широко и точно...

Он сел на широкой тахте, мне же предложил сесть почти против себя в кресло.

Я сделал несколько набросков-компановок.

Что-то меня не устраивало: возможно, потому, что разворот головы был схож с рисунком Верейского, или потому, что коррида Пикассо, висевшая сзади, как-то не вязалась с ним, или потому, как мне казалось, что ему неудобно было сидеть на жесткой тахте — куда лучше в мягком кресле с подлокотниками, и я предложил ему пересесть.

Когда он пересел в кресло, то сразу как-то провалился, обмяк и даже изменился в лице. Он пытался себя организовать, но это давалось ему с трудом.

Я начинал понимать, что произошла ошибка, поэтому спешил закончить этот рисунок, чтобы начать заново, из другого положения. Видно, первоначальное положение было более ему свойственно, а я не смог оценить этого сразу.

Он встал, извинившись, что надо размяться.

Посмотрел на рисунок:

— Что ж, рука набита.

Эта фраза меня насторожила.

Он продолжал:

— Сам по себе рисунок... может быть. Правда, выражение не то, какое-то спесивое, кислое... и не хватает затылка.

Позвал жену и уже нервно сказал:

— Смотри, какое мурло получилось.

Он был разгорячен:

— Алексей Иванович, я же вам говорил — на чудо не надейтесь. Для начала достаточно и тех набросков, которые сделали вчера.

Я стал убеждать, что следующий заход будет удачным, что начну рисовать с нового положения.

Говоря это, я готовил новый лист бумаги, но он сказал, что на сегодня хватит, и, положив руку на мое плечо, добавил:

— Не обижайтесь за некоторую резкость с моей стороны. Это ради дела.

Достал со стеллажа новенькую папку с завязками и аккуратно вложил подготовленные для меня фотографии.

— Так будет удобнее,— сказал он.

Провожая меня, он спросил, есть ли деньги на дорогу. Я ответил:

— Целых три рубля сорок пять коп.

Он улыбнулся.

Расспрашивал о моих делах, над чем работаю.

Шло такси. Он поздоровался с тем, кто сидел рядом с шофером (видно, был кто-то из литераторов). С обеих сторон приветствия были сдержанными, сухими. Он остановился, посмотрел вслед машине,— наверное, хотел договориться, чтобы меня подвезли. Я же был настроен ехать в автобусе, чтобы не спеша все обдумать и осмыслить впечатления.

Мы шли медленно — он впереди, в больших спортивных ботинках, прокладывая след в талом весеннем снегу.

— Александр Трифонович, осторожнее,— говорил я.

— Ничего, не провалюсь,— шутил он.— Хотя и тяжеловат, но ступни у меня большие.

Встретился мужчина. Они бойко поздоровались, заговорили о хозяйских делах. Видно, человек этот из местных или здесь работает.

Я стоял в стороне, сознательно не приближался — хотелось его видеть с расстояния.

Черная куртка со стоячим глухим воротником придавала ему строгость. Носки поверх брюк, почти до колен, удлиняли фигуру. И голова с большой кепкой, чуть наклонившись, держалась высоко. Вид у него был внушительный, монументальный. Палка, на которую слегка опирался, придавала равновесие, устойчивость.

Они простились. Пройдя немного, простился с Александром Трифоновичем и я.

Договорились, что я буду звонить, при первой возможности встретимся у меня в мастерской.

Вскоре он заболел и слег. Прошло много месяцев — мы не виделись. А потом он умер. На той тахте, где, как тогда казалось мне, он сидел неудобно и потому наброски не удались.

И сейчас продолжаю работать над его портретом.

...Вот он сидит на тахте, развернутый к людям, взгляд чуть в сторону, не в упор, руки со сплетенными пальцами опущены на колени, как после тяжелого труда.

Все больше осознаю виденное, но одно дело — осознавать, другое — воплотить на холсте.

Его предостерегающее: «На чудо не надейтесь» — и мучительно, и обнадеживающе.

А пока мои первые рисунки оказались и последними вообще, сделанными при жизни с Александра Твардовского.

1973

К. КУЛИЕВ

СЛОВО ПРОЩАНИЯ



не давно хотелось написать об Александре Твардовском, но все не решался, зная, как он строг в оценках и суждениях о литературе. Он ведь сказал:

Я как кощунства — краснословья
Остерегаюсь, как беды.

Общаясь с Твардовским, беседуя с ним или говоря о нем, я тоже каждый раз боялся краснословья. Боюсь и сейчас, когда сел за статью о нем — поэте народном в истинном значении слова. Глубина, с какой его поэзия выразила народную жизнь и наше время, простота и естественность этой поэзии, ее правдивость и серьезность, точность языка и речевая свобода кажутся мне несравненными. Редкостная содержательность, оригинальность без оригинальничания, новаторство, а не игра в новаторство, новизна по глубине и значительности сказанного — вот главные, по моему мнению, качества, через которые его творчество стало достоянием всей читающей массы, всего народа. Поэзия Твардовского отмечена теми чертами большого искусства, которые делают искусство необходимым для людей. Она освещена светом сердца крупной, очень крупной личности.

Все это вместе взятое позволило ему стать не только выдающимся, как о нем обычно пишут, а великим поэтом современности, живым классиком волшебной русской поэзии, занять место в одном ряду с ее чародеями. Его поэзия, проникнутая мощью и целомудрием народной души, освященная ее светом, мужеством и совестливостью, ее радостью и болью, редкостной силой и чистотой русского языка, так сильно и честно выразила нашу эпоху с ее небывалыми потрясениями, всемирно-историческими собы-

тиями и принесла ему не дешевую популярность, на которую так падка посредственность, а всеобщее признание и настоящую славу, которая с годами будет не убывать, а возрастать и останется за ним так же, как она осталась за его великими предшественниками от Пушкина до Блока.

...Так я начал статью об Александре Твардовском за два месяца до его смерти — такой безвременной, такой горестной для всей нашей культуры, для всех нас. Теперь, после того, когда мне пришлось стоять холодным декабрьским днем у его свежей могилы на Новодевичьем кладбище, еще труднее писать о нем — боль, сжимающая сердце, велит молчать. Я не считаю себя самым слабым из людей, но мне трудно. Так больно и трудно от сознания того, что на моем веку больше уже не будет у нас поэта такого масштаба и я больше никогда не узнаю счастья общения с таким крупным Человеком-художником, каким был Твардовский.

Смерть великого поэта — всегда всенародное горе. А боль тех, кто пользовался его признанием или добрым отношением, невыразима. Мне всегда хотелось сказать Александру Твардовскому очень высокие слова, но считал неловким говорить их именно ему, так строго относящемуся к слову.

Теперь я попытаюсь сказать о нем то, что при его жизни не осмеливался. Я не буду смущаться тона своего разговора, каким бы высоким он ни оказался. Так поступали не раз литераторы гораздо выше меня. Я помню, как писал, например, Стефан Цвейг о Верхарне, которого он обожал. Я говорю не о возможностях Цвейга и моих, а только о тоне.

Мне посчастливилось в течение многих лет пользоваться хорошим отношением Александра Трифоновича, его дружеским расположением. Ряд лет я печатался в журнале «Новый мир», который он редактировал и которому отдал столько драгоценного времени, таланта, ума, сил и энергии. Я считал для себя благом и радостью одобрительное отношение Твардовского к моей работе и то, что мои вещи проходили через его руки и печатались под его редакцией.

Чем старше я становился, тем больше постигал могучую силу, значение и кажущуюся мне непостижимой художественную мощь его поэзии. Уважение к языку и безоглядная преданность ему — первая заповедь для писателя. На горячей любви к родной речи, на чуткости к ней держится работа литератора, с любви к ней и необыкновенной привязанности, плененности ею начинается жизнь поэта. Он должен не только лучше всех знать язык, чувствовать его стихию, как хороший конь дорогу, но на всю жизнь оставаться завороженным его красотой и силой, его неповторимым звучанием. Среди нас не было поэта, который бы так знал свой язык, так заботился о точности и естественности поэтического слова,

как Твардовский. Иного мнения не может быть у тех, кому дорога литература, кто следил с интересом или с любовью за его работой — такой обширной, за всей его деятельностью — такой подвижнической и мужественной.

Я хочу пусть даже бегло, ибо эти строки пишутся в больнице, сказать слова любви и восхищения о том поэте, о том Человеке, память которого свята для меня. Она дорога для всех, кто ценит поэзию, высшие духовные достижения советского народа, его культуру, а также человеческое мужество и совесть.

Я хочу сказать свое слово любви и прощания о человеке, одним знакомством с которым я мог бы гордиться всю жизнь, даже если бы не было большего, потому что он был из тех редких людей, которые не так часто появляются на земле, а появившись, живут и делают свое дело так, что каждый из них словно оправдывает существование человеческого рода, доказывая, как прекрасны и сильны творческие, созидательные возможности человека, как бесценны ум, талант, благородство. Мое слово гордости тем, что он сделал, и мое слово скорби от утраты поэта и человека, который за два дня до смерти одной слабой левой рукой обнимал меня и так горестно смотрел на меня теми похожими на небо России глазами, которые я знал такими зоркими и в которых видел его необыкновенный ум. Этих глаз я больше не увижу. И не пожму его по-крестьянски крепкую руку.

О ком бы мы ни писали, важнее всего быть верным истине. Только тогда и стоит писать. А в данном случае истиной является то, что творчество Александра Твардовского — это эпоха в поэзии, он был выдающимся нашим современником, одним из редких сынов своей родины. Преувеличить значение его работы и личности невозможно. Он принадлежит к семье тех поэтов и тех людей, именами которых будет отмечен наш век. Гору полагается называть горой. Ей самой жизнью дарована высота.

Давайте вспомним стихотворение «Слово о словах». Из него я процитировал две строки в самом начале моих заметок. Оно, по-моему, уникальное. Мне хочется остановиться на нем. Это стихотворение — кредо Твардовского-поэта. Не только возможность, но и право написать подобное стихотворение имел только такой поэт, каким был Твардовский,— художник с мудрым сердцем и чистой совестью, до последнего дыхания преданный поэзии, человек большого гражданского мужества и честности, писатель, обожавший свою землю, родной язык, без остатка преданный им, точно и мудро знавший цену слову, непримиримый враг лжи, позы и фальши, литератор, умевший дорожить словом как народным достоянием и сокровищем, как жизнью, поэт, для которого слово неотделимо от его совести художника и гражданина.

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь — до дна,
Но их подмена словесами
Измене может быть равна.

Те, кому все равно, по какому поводу рифмовать словеса, не только не могут написать такое — куда там! — но и не имеют права. Это право надо завоевать талантом и творчеством, всей своей жизнью, верностью художнической чести и достоинству. Речь прежде всего идет, конечно, о таланте. Без него не выручат ни знания, ни старания, ни опыт. Мастерство без таланта — мертвое дело. Да и бывает ли такое мастерство? Таланту, как известно, свойственны острое чутье, пронзительная искренность. Бывают ли исключения — не знаю. Но едва ли. Борис Пастернак, например, утверждал, что талант учит чести. Он же писал, что шекспировский Яго так бесчестен потому, что бездарен. И завистлив потому же. Не то же ли самое и с пушкинским Сальери? А вот Пушкин никому не завидовал. Думаю, что такое было и с Моцартом. Однажды Твардовский при мне говорил одному из наших товарищей, что мы должны иметь возле себя только достойных друзей-поэтов и не бояться того, что они нас могут опередить. Пушкина радовала каждая хорошая строка у любого из собратьев. Найдя какую-нибудь замечательную строчку, он выводил на полях книги свое любимое слово «прелесть». Это щедрость гения. На такое, мне кажется, способен и крупный талант. Талант нельзя заменить ничем — ни умом, ни мудростью, ни образованием, хотя они, наверное, очень полезны таланту и являются подспорьем для него. Мы знаем, что Пушкин был, как верно сказала Марина Цветаева, умнейшим мужем России. Одним из умнейших людей, каких мне приходилось видеть, был и Твардовский. Но все же только талант дает право носить поэту его прекрасное от века звание. А сколько людей без права на это печатают стихи, да не только стихи — издают книги, даже много книг. Что поделаешь, на земле растут не только розы.

Мне кажется, что каждый, кто считается поэтом и берет на себя такое бремя и ответственность, должен не только выучить наизусть стихотворение Твардовского, но и переписать его большими, ученическими буквами, прикрепить лист к дощечке и постоянно держать перед собой на письменном столе, как поэтический кодекс, как правила поведения в общежитье или расписание распорядка дня. Мы обычно говорим, что поэзия учит людей всему хорошему. Если это так, то цитируемое стихотворение учит поэта не только уважению к слову, но и тому, что он не имеет права бросать его на ветер, говорить слова, у которых «дурной трезвон». Но оно также учит самому высшему в человеке и художнике — чести и совести, целомудрию и благородству, чуткости и достоин-

ству, без которых нет творчества и большого искусства, а есть только их видимость, их тень. Без этих драгоценных черт не бывает крупной личности и большой судьбы. А нам известно, что выдающийся художник — это всегда характер и значительная личность. Разве не об этом говорит нам история культуры?

Больно и стыдно, когда мертворожденный суррогат выдается за произведение поэзии, и словами, рожденными «без божества и вдохновенья», мы пытаемся сказать о живой жизни, полной потрясений, поражений и побед, о человеческой радости и горе, о жизни наших людей, несших и несущих на своих плечах весь гигантский груз времени. Бездумная стряпня людей, лишенных дарования, печатается, издается, к сожалению, в большом количестве и нередко находит поддержку и поощрение у иных редакторов и критиков. А плохо сделанное дело обычно не приносит пользы. Все мы, кто причастен к художественному творчеству, обязаны понять одну суровую истину: искусством надо называть только то, что действительно является им. И еще: безжизненные и фальшивые сочинения никогда и никому не делали чести, не возвеличили перед человечеством и потомством ни одну эпоху, ни одного героя. Это делали только произведения искусства, рожденные талантом и вдохновением, озаренные их светом. Так было во все времена, так будет всегда. Вот почему Твардовский, творчеству которого свойственны именно эти черты, написал:

Как, обольщая нас окраской,
Слова — труха, слова — утиль
В иных устах до пошлой сказки
Низводят сказочную быль.

По праву лучшего поэта наших дней Твардовский забил тревогу, видя, как тщеславные стихослагатели безответственно относятся к слову, унижая поэзию и родной язык. Это очень его тревожило, должно тревожить и нас. Почему становится нормой считать поэтом всякого, кто рифмует слова? Они гордо именуют себя поэтами, обожают говорить «моя поэзия», «мое творчество», «я как поэт». Они в силу отсутствия чутья не могут понять, что поэт не называет себя вслух этим именем, понимая, как трудно нести это бремя. Для того чтобы понять это, надо иметь дарование, ум и скромность. Последняя, кстати, никому не мешала стать крупным или великим писателем. Чехову, например. В скромности заключено не только обаяние. Она также заставляет быть строгим к себе и ведет к совершенству. В этой связи всем нам, литераторам, полезно почаще вспоминать наших классиков. Говоря так, я вовсе не утверждаю, что сам я такой скромный, умный и умею хорошо учиться у больших мастеров. Только

говорю о своем идеале и сожалею о том, что не всегда это понимал.

Почитайте внимательно автобиографию, статьи и речи Твардовского. Там вы ни разу не встретите слов «я как поэт», «моя поэзия», «мое творчество». Он говорил о себе: «Моя работа», «Я как литератор». Вот кусочек из его автобиографии: «Со «Страны Муравии», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут охарактеризовать меня как литератора».

И в этом опять-таки я вижу верность лучшим традициям русской литературы, человеческой скромности ее крупнейших деятелей.

Будучи писателем, сделавшим в литературе столь много, создавшим образцовые произведения советской поэзии, Твардовский имел право написать и такие строфы:

И я, чей хлеб насущный — слово,
Основа всех моих основ,
Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов;

Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал;
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал;

Чтоб не мешать зерна с половой,
Самим себе в глаза пыля;
Чтоб шло в расчет любое слово
По курсу твердого рубля.

Оно не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял,—
Нет, слово — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

Как хочется, чтобы каждый даровитый поэт с самого начала учился относиться к своей работе с таким же чувством ответственности, с такой же серьезностью.

Я хорошо сознаю, что «Слово о словах» не нуждается в моем толковании. А остановился я на этом стихотворении, считая, что в нем кредо Твардовского-поэта, суть его поэзии и его отношения к творчеству, выраженные сжато и сурово.

Александр Трифонович любил слово «достоинство». Свою небольшую, но замечательную статью, написанную в дни смерти Анны Ахматовой и обращенную к ее памяти, Твардовский озаглавил «Достоинство таланта». Едва ли можно было найти лучшее название в данном случае. Эта статья кажется мне шедевром, ее хочется выучить наизусть, как стихи, пленившие нас. Ничего лучшего об Ахматовой мне не приходилось читать. Оно и понятно. Статьи и речи Твардов-

ского — это особый разговор. Пятый том его последнего прижизненного собрания сочинений каждый из нас, литераторов, должен изучить внимательно и кропотливо, как говорится, от корки до корки. И статьи его явление редкое — такая в них самобытная глубина мысли, присущий одному только Твардовскому тон разговора. И тут соединились громадный талант, большой ум, культура и прозорливость. В них сильно ощутима печать неповторимости его крупной индивидуальности, удивляет тот богатый, обворожительно чистый, сильный язык, каким написаны его статьи о Пушкине, Бунине, Маршаке, Исаковском.

Вернусь к разговору о достоинстве человека и художника. Когда об этом говорил Твардовский, это каждый раз мне было особенно понятно и дорого еще и потому, что на земле моих отцов, где я рос среди хлеборобов, пастухов и каменотесов, слово «достоинство» являлось одним из самых первых и драгоценных. Достоинство для жителей гор всегда оставалось дорогим, как родная земля, которую они так старательно пахали каждой весной. Это было у них в крови, всасывалось с молоком матери, людей в горах с детства учили чести и достоинству. Кто их терял, тот в глазах земляков как бы терял и жизнь, перестав быть человеком. Так жили крестьяне в наших горах.

Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле.

Все прекрасное, что так трудно дается, связано с честью и достоинством. От них также неотделимы преданность Родине, подвиг и творчество. Еще одним подтверждением верности этой мысли являются личность и творчество Твардовского. Наряду с крупнейшими предшественниками он стал примером для нас потому, что, обладая выдающимся талантом, прожил свою жизнь с большим достоинством, благородно и мужественно, до конца остался верным совестливости русской классической литературы, удивившей мир своим величием. Потому так горестна его безвременная смерть. Пока еще нам трудно в полной мере осознать значение этой невосполнимой утраты. Неповторим каждый человек, а такой поэт и человек, каким был Твардовский, тем более. Да будет позволено мне назвать его совестью нашей советской поэзии.

Мне кажется, что у большого художника обязательно должен быть большой характер. Таким мы знали и Твардовского. Пусть он сам подтвердит то, что я пытаюсь сказать:

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых,— знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

И еще:

С тропы своей ни в чем не состуная,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

В этих глубоких и упрямых строках выражено очень важное и трудное для поэта, что делает его самостоятельным и до конца определенным. Такое отношение к своему делу дает ему возможность работать без оглядки, самозабвенно, сказать то, что никем, кроме него, не может быть сказано. Без такого убеждения, без подобной определенности и значительности характера невозможно стать большим писателем, сказать свое самобытное слово в литературе. А такое дается далеко не каждому из пишущих, вернее — не многим. Счастье быть в числе тех не многих имел Александр Твардовский.

Мы часто говорим о новаторстве в поэзии. Многие, по моим наблюдениям, понимают под этим словом чисто внешние признаки. Некоторым кажется, что Маяковский, например, был новатором лишь потому, что стал писать стихи лесенкой. Думать так очень наивно. Маяковский стал новатором не внешней структурой стиха, а сущностью и значимостью сказанного, новым, революционным содержанием своей поэзии. Очень важна, конечно, форма, но думается, даже самая прекрасная форма без содержания дело пустое. Значительность сказанного, глубина содержания — вот главное. Я считаю Твардовского выдающимся новатором, несмотря на то что он пользовался так называемым традиционным стихом. Посмотрите повнимательнее, какие новые, своеобразные, неповторимые оттенки приобрел этот стих у Твардовского. Ни у кого не было тех интонаций, такого словаря, образов, какие мы находим у него, не говоря о содержании. Все идет от его индивидуальности, все у него «своеобычно», самобытно, пропущено через его большое сердце, все выношено, пережито, освещено светом его могучей души, во всем сказывается его крупная индивидуальность. И перед нами встает мощный, монолитный и цельный образ редкого художника, волшебного мастера слова.

Мне за мою жизнь приходилось слышать чтение многих поэтов, больших и малых. Знаю, как подвывают и деклами-

руют многие из них. В чтении Твардовского не было ни подвывания, ни декламации, он читал так же точно, как писал, так же просто в лучшем значении слова и естественно, проникновенно и чисто. Так же пел он и народные песни. Те, кому не пришлось слушать его при жизни, могут проверить мою правоту или неправоту в суждении о манере чтения Твардовского. Грамзаписи, к счастью, остались. Давно сказано, что о вкусах не спорят. Поверим этому. Но что бы то ни было, манеру чтения Твардовского я считаю замечательной. Тут я также должен отметить глубочайшее чувство языка, убедительность интонаций, их пронзительную силу при всей естественности. И в этом он не походил ни на кого. Его чтение точно соответствовало его стихам.

Сказать, что автор «Василия Теркина» был новатором, не будет открытием. Открытием явилось само это произведение, потому что до него в поэзии не существовало подобного полотна о народе, который сражается за свою родину, о советском воине, не было такого образа, такого типа, как Теркин. Теркин встал в один ряд с крупнейшими образами русской классической литературы. Это незабываемый литературный тип, всеми любимый, всем понятный.

Мы, бывшие фронтовики, помним, как «Книга про бойца» была нам «всех прочих боле дорога». Такую жизнь и всенародную славу приобретают только те книги, которые являются новым словом в литературе, значительнейшим словом, а потому и новаторским.

В заключительной главе «Василия Теркина» читаем:

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...

Мне известно, что эти строки цитировались в очень многих случаях. Я привожу их еще раз для подтверждения того, что Твардовский имел право сказать так о всех своих произведениях. Простота, естественность, точность — вот его стиль, которому он оставался верен всю свою творческую жизнь, до конца. Речь идет, конечно, о той трудной и мудрой простоте, к которой стремится в конце концов всякий крупный талант, а не о простоватости и примитивности. Я говорю о прекрасной и завидной простоте, так трудно дающейся.

Как-то в беседе с нами он сказал, что надо писать так, чтобы тебя понимали и академик, и доярка. Это было его убеждением. И что можно этого достичь, он доказал своей работой.

Я не знаю, как другие воспринимали Твардовского, а по мне значительность во всем — вот одна из главных его черт. Он, крестьянский сын, достиг такой высокой культуры, так

знал литературу и искусство, что слушать его каждый раз было наслаждением. Все это, однако, совсем не значит, что я пытаюсь сделать из Твардовского святого. Это было бы пустым и неблагодарным занятием, непростительным шагом. Он был не ангелом, а живым человеком среди живых, трудился, радовался, ошибался, страдал, делал свое дело мастера. Я вообще против того, чтобы художника превращали в икону. Это фальшиво и отвратительно. Ангелами не были ни Гёте, ни Лев Толстой. Ими не могли быть даже Моцарт и Пушкин. Хорошо, что пушкинский Сальери называет Моцарта гулякой праздным. При всей своей любви к Твардовскому я не хочу делать из него икону. Он был человек, но крупный человек, носивший в груди тот священный огонь, которым отмечены редкие творцы и созидатели каждого народа.

Порой приходилось слышать разговоры о том, что Твардовский равнодушен к литературам других народов страны. Судить о крупном писателе только с позиции того, как он относился к тебе и к твоей работе, непозволительно и необъективно! Что из того, что Шекспир не нравился Льву Толстому, что не признавал он также и пьесы Чехова? Постоянный интерес Твардовского к работе ряда литераторов из республик нашей родины, его внимание к ним полностью опрокидывают пустые разговоры. Вспомним, как он относился к таким национальным писателям, как Аркадий Кулешов, Микола Бажан, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кугультинов, Василь Быков. Он умел хорошо относиться к людям, которые заслуживали этого.

Одной из замечательных черт порядочного человека, по моему мнению, является свойство помнить то добро, которое сделали ему другие. Эта черта была в высшей степени присуща Александру Трифоновичу. Тут достаточно вспомнить, как он относился к М. В. Исаковскому. Я могу назвать это отношение любовным и нежным. Он был признателен своему земляку не только как замечательному поэту, он помнил и те внимание и поддержку, которые оказал Исаковский младшему собрату в начале его пути. Это еще один поучительный урок для всех нас и для всех тех, кто придет после нас, ибо всегда будут зрелые мастера литературы и начинающие писатели.

Вот еще один факт, подтверждающий то, как Твардовский относился ко всему талантливому. Один автор, не избалованный жизнью и успехом, передал Твардовскому свою рукопись о Пушкине. Прошло некоторое время, и молодой пушкинист попросил меня узнать, читал ли его рукопись Александр Трифонович и какое у него сложилось мнение. Я пришел к нему в редакцию. Когда я зашел в кабинет, он говорил по телефону. По содержанию разговора я понял, что он говорит с автором рукописи о Пушкине. Работа молодого

литератора понравилась Твардовскому, он нашел его телефон и позвонил ему. Мое посредничество оказалось ненужным.

Все мы, кто пользовался его благосклонным отношением, каждый раз нетерпеливо ждали его мнения о наших вещах. Так было и не только в отношении наших писаний, но во всех наших поступках, во всем нашем поведении. Мы думали: «А что скажет Твардовский?» Он был нашей поэтической совестью.

При его жизни я никогда не осмеливался называть себя учеником Твардовского, а когда его не стало, тем более не могу. Быть учеником такого человека — слишком большое дело. Я также никогда не старался писать под Твардовского, понимая бессмысленность подобных стараний. Но тут же хочу подчеркнуть, что его уроки и его пример стали для меня большой, неоценимой школой. Учиться совсем не значит повторять учителя, быть похожим на него. Ученики, похожие на учителей, но не на самих себя, обычно огорчают мастеров. Одно только то, что он жил среди нас и мы имели счастье общаться с ним, слушать его, было школой и благом.

Александр Твардовский был крепко скроен, и нам всегда казалось, что он создан для долгой жизни. Ушел он слишком рано. Он жил с достоинством и с достоинством встретил болезнь — свою роковую, неотвратимую беду — и до конца сохранил это достоинство. Для этого требуется большое мужество. Как это трудно! Но человеку положено стараться быть таким. Каждый раз, приезжая к нему больному, я видел, с какой тоской он смотрел на заснеженные березы и сосны за окном своей дачи зимой, на черную собаку, которая ходила по снегу, на зелень тех же берез летом. Несмотря на все муки и боль, все равно в его глазах светился все тот же огромный ум и проникновенность, оставались все те же воля и мужество. В те трагические дни он действительно был похож на орла с перебитым крылом, который жаждет взлететь в небо, но не может. И такая была боль, такая тоска в его прозорливых глазах! И что мне сейчас до того, банально это сравнение или нет! Я помню его великую боль, неотвратимую беду, пришедшую к нему так рано! Сознание этой катастрофы не дает мне покоя.

Была большая гора. Мы долгие годы с любовью смотрели на нее. И не стало этой горы. «Мы все уходим понемногу...» Что делать! «Чарка выпита до дна». Что делать! Да, милый Александр Трифонович, «чарка выпита до дна»!.. «Мы умираем, а искусство остается»,— сказал Александр Блок. С людьми остается и поэзия Твардовского, как высокое искусство, как редкое и неповторимое явление великой русской культуры. С живыми остаются его пример, его уроки.

Кому память, кому слава,
Кому темная вода...

Судьба одарила его большой славой при жизни. Она не потускнеет и после смерти того, кто с таким достоинством нес ее бремя на своих плечах. Он был из породы редких людей. Другим и не мог быть человек, создавший великие поэмы — эпос эпохи и свою драгоценную лирику. Он в полную меру узнал счастье быть истинно народным поэтом, быть нужным людям. Он сам об этом сказал так хорошо:

С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня.

Невыразимо глубокую привязанность к жизни, к природе мы в полную меру ощущаем и в последних его стихах. Вместе с вами мне хочется перечесть одно потрясающее стихотворение, написанное в 1967 году:

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

В последние дни жизни ему не пришлось «посидеть на солнышке». Но свет своего сердца и ума, мужества и благородства, огонь своей великой поэзии он оставил людям навсегда.

Эти заметки — мое прощание с Александром Твардовским, мой горький реквием ему, мое слово в честь и во славу великого поэта великой России.

Нальчик, 1972

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

ВАРШАВСКИЙ ШЛЯХ

1


окуда в теле теплится душа,
Не верю в благость божьего чертога,
В иную жизнь, что райски хороша.
Варшавский шлях, Варшавская дорога,
Тебя зову на помощь, а не бога,
Строкой, что просится с карандаша.

Ты к западу спешишь в согласье полном
С дорогами другими. Ты преград
Не знаешь, даже океана волны
Твой сухопутный бег не прекратят:
Отыщешь трап, оставишь след широкий,
Винтами грунт соленый разгребешь.

Когда же ты планету обогнешь
И сызнова возникнешь на востоке,
Как вестник дружбы, как ее связной,
Раскинь привал в лесу под скромным Довском
И разложи костер.
                                        Мы в час ночной
Поговорим о жизни, о Твардовском.

Был земляком твоим он и моим.
Начнем под сосен неумолчный гомон,
Под шум огня, что переходит в дым,
Наш разговор — он так необходим.
Начнем...
                    Да будет он запеленгован
И лесом, и подлеском молодым.

2

Мой шлях! Еще не убраны обломки
Войны — осколки, щепки, головни.
Нас, проступая грустно сквозь потемки,
Как памятники, окружают пни.
Шумели тут вершины боровые,
И — ствол к стволу — гудел лесной орган.
Он смолк, как песни те, что под курган
С собою унесли певцы былые.

С таким и наш земляк встречался горем.
И сам он был познавшим бурю бором,
Органным эхом бед, побед, тревог.
Мой шлях! Того не рассказать и хором,
Что он один еще сказать бы мог,
Когда б, как бор сраженный, не полег.

Смертей немало изобрел наш век.
Лекарств от них не знает человек.
Хвораем мы, хворает наше время,
Хворают реки, берега больны.
Земля несет одной заботы бремя —
Как выжить ей, как избежать войны,
Мир исцелить от распрей и от злобы.

Но нелегко развеять старый страх,
Покуда стратегическим, особым
Объектом все ты числишься, мой шлях.

3

Как мы, озябшие ладони грея,
Сидел бы с нами у костра земляк,
Когда б не переполз дорогу рак
С треклятой похоронкою своею.

Не тот, чьи в речке зыблются клешни,
А тот, незримый, что ползет нередко,
Переходя твой путь, живая клетка,
Век превращая в считанные дни.

Откуда он берет свое начало?
Быть может, под прикрытием брони
Проник он в клетки? А пора настала —
Приноровился, не подняв забрала,
Питаться ими на правах родни —
Поэты... Им ли привыкать к дуэли?
Не страшно гибнуть, поражая цель.

Страшней, когда, не вызвав на дуэль,
Тебя тайком настиг в твоей постели
Палач, врачам невидимый досель.

Откуда взялся смертоносный вирус,
Безжалостен, пронырлив и упрям?
Он, может, из войны все той же вырос
И устремился по ее следам,
Чтоб снова пополнялась картотека
Надгробных плит
на всех погостах века.

4

Пускай костра ночлежного искринки
Не гасит пуль трассирующих рой!..

Тут некогда в жестоком поединке
Схватился наш земляк с напастью той.
Жизнь или смерть? Дуэль стихов с крестами.
С войною, не командуя фронтами,
Мой шлях, на всех фронтах он вел бои.

С руками коваля, с душой жнеи,
Не раз он тут солдатам нес утеху,
Их шуткой веселил, чтоб от войны
Отвлечь на миг,— и нет его вины
В том, что, случалось, врал им ради смеху,
Но никогда не лгал он ради лжи.
Не ради славы брал он рубежи,
Успех пророча, звал на подвиг всех он
Чернорабочей
книгой про бойца,
Дочитанной не всеми до конца...

С душой жнеи, с руками коваля,
Когда вздохнула радостно земля,
Он за бессмертным пламенем салюта,
Как за последним валом огневым,
Шагал с бойцом, живым и неживым,
И плакал в ту победную минуту
За всех и с каждым,
с каждым, как с родным.

5

Он в мир вошел той памятной порой,
Когда заря встречается с зарей,
Когда июнь купели осеняет
Земным трудом...

Кладбищенский окоп
Из рук усталых ношу принимает.
Кто слезы льет, кто слезы утирает.
На месте поп, на месте землекоп.
А кто, хоть ритуалу не перечит,
Все норовит пробраться в первый ряд,
Позирует, наивной мысли рад,
Что, может быть, его увековечит
На панихиде фотоаппарат.

А в этот час, не чувствуя утраты,
Струится Днепр и лижет сушу Сож.
Пускай ни в чем они не виноваты,
Как ты и я, мой шлях, а все ж, а все ж...
А все ж в прощальный миг его ухода
Потрясено сознание мое
Тем, что, как прежде, хороша природа,
Что больше не увидит он ее,
Что шум листвы над приднепровским краем
Не шевельнется в нем стихом живым,
Мой шлях!..
Над памятью его склоняем
Я — горькую строку,
ты — горький дым.

6

На кладбищах порой одно и то же
Читаем обращенье на камнях:
«Кто б ни был ты, остановись, прохожий,
Молчанием своим почти мой прах.
Я — дома, ты — еще в гостях».

Отгостевав, земляк наш ныне дома —
В бессмертии. А там порядок строг.
Никто из тех, что были с ним знакомы,
Теперь не перейдет его порог
По праву и обычаю былому.

Да, не гостить уж нашим песням там,
Но, может, вырастет средь них такая
Когда-нибудь, что, в песне узнавая
Наш голос, он из дома выйдет сам
Навстречу ей, признательный друзьям.

Мне горько оттого, что не хватает
Не нас ему сегодня, нам — его.

Нам было с кем беседовать, с кого
Брать совести пример, и поделиться
Работой было с кем...
О, почему,
Скажи, мой шлях, так вышло, что ему
Не снимся больше мы, а нам он снится?

Таких, как он,
уйдя за небосвод,
Одна заря другой передает.

7

Я не огонь ночлежный разжигаю
В честь земляка.
Какой уж тут обряд!..
Не самого себя ли провожаю?
Нет дыма без огня, как говорят.
Мы — люди фронтового поколенья,
Сплетенные, как звенья тех времен,
И оттого так горько удивленье,
Что я в гостях еще, что дома он.

Я слышу в час веселья не впервые,
Как некто шепчет, вкрадчив и упрям,
Сквозь чад застолья:
— Гости дорогие,
Хозяева не надоели вам? —
И я, внимая голосу чужому,
Все думаю в такие вечера:
А может, впрямь до хаты мне, до дому,
Уже, как гостю позднему, пора?
Не так ли наш знакомец дед Данила
Пожитки собирал на склоне дней?

Тут, где меня поляна приютила,
Мой шлях, усну я на груди твоей.
Пора! Дорога неизбежна эта...
Лечу, почти уверен, что смогу
Свою печаль на нашем берегу
Оставить навсегда,
как звук
ракета.

8

Во сне все это или наяву?
Прощай, прощай, дорога дорогая,
Тебе оставлю самого себя я,

И кочку в изголовье, и траву.
А все же я, пока лечу, живу!
Лечу, упрямо отвергая веру
В иную жизнь, в таинственную сферу...
В краю, где не дано мне быть живым,
Там не дано и самому Гомеру
Сказать о том, что отлетело с ним.
Остаток дней уже вдали маячит,
Еще мне не чужих и дорогих.
Летит моя слеза, и о своих
Ромео и Джульетте сердце плачет.
На чутком острие карандаша
Летит моя печаль, моя душа.
А вместе с нею стих летит, тот самый,
Единственный, как некий эпилог
Задуманной, но нерожденной драмы.
Мне б написать ее! Да краток срок.
И век летит, всем ненадолго данный,
Войне подвластный, хвори и врачу...

У костерка среди лесной поляны
Я не лежу. Я вместе с ней лечу!

9

Чем укорочен век его? Войной?
Смертельною болезнью? Нет, не это...
Самозабвенный труд. Судьба поэта.
Поэзия.
Вот кто всему виной.
Та одержимость косит исполинов,
Как молния, сжигающая лес.

Не верю я, что Пушкина Дантес,
Что Лермонтова некогда Мартынов
Убил. Не верю.
Их сперва сразила
Поэзия. А пули шли за ней.
Есенина — она. Петля — поздней.

Поэзия. Она одно твердила
Всем тем, кто с ней отправился в поход:

«Нет, не широк он, мир, для мыслей тесный.
В нем истины стареют, что ни год.
Пусть душу разрывает звук железный,
А ты за все в ответе, мой болезный,
За славу, за державу, за народ.

Будь зорок, разгляди орлиным оком,
Откуда приближается беда.
Меня избрав, ты должен быть пророком.
А не пророком —
кем же быть тогда!
Не бойся громкой миссии пророка.
Не бога он, а сущей правды око.

10

Спасай людей от лютых мук, их души
От злобы и насилья защищай.
Отдай им радость, сам возьми печаль,
Тепло отдай им, сам привыкни к стуже.
Иди, вещун, по морю, как по суше,
Туда, где рана жгучая свежа,
Где только что оплакали утрату.
Спеши туда. Над бездной по канату
Пройди, как бы по лезвию ножа.

Умерших чти, храни могилы их,
С семьею предков не живи в разладе,
Не забывай, что мертвых на параде,
На перекличке больше, чем живых.
Они — минувший век в твоем столетье
И города в огромных городах,
Которые росли на их костях.
Ты их наследник, ты за все в ответе:
За села в селах, за века в веках.
Твой рог трубит, бессонный взор открыт,
Ты сам горишь, когда Земля горит».

К людским делам причастностью святой
Поэзия его испепелила.
Испепелив, навечно поселила
В своем дому, за некою чертой.

11

Он цену знал словам простым, бесценным,
И руку подавал лишь той строке,
Что выходила в путь не налегке —
С весомой мыслью, с чувством
сокровенным.

Его делянка всем теперь видна.
На ней приметных вех и дат немало,
Их властью, что поэзии дана,
Его живая муза утверждала.

Две кузницы — две вехи жизни той.
Одна из них — в краю уральском горном.
Другая кузница — в глуши лесной,
Землячка наша с дымным сельским горном.
Но путь от жаркой кельи коваля,
Что черной жестью от огня обшита,
До рудных гор —
                    еще не вся земля,
Не вся окрестность та, что им обжита.
Она и укрощенье Ангары
С тротилом, рвущим грудь прибрежным скалам,
Она — тоннель, что в глубине горы
Поет и днем, и ночью под металлом.
А там, а там опять за далью — даль,
Шеренга шпал бетонных, гулких, серых.

И снова даль, прощальная печаль —
Заполненный товарищами берег...

12

Мой шлях!
                    На всех скрещениях твоих,
Что с высоты подобны осьминогу,
Стоит божок, связующий дорогу
Юдоли грешной и небес святых.
Не так уж он и требует поклонов,
И не такой уж лекарь он от бед
Теперь, когда богов низринул свет
С былых крестов, с хоругвий и амвонов.
Но, удержав дорожные посты,
На месте он покуда остается,
Порой святит распятием колодцы,
Не ведая, что бог не он, а ты.
Он временный. Ты вечный и законный
Связной сердец.
                    Он мертв уже. Ты жив!
Ты жив, ты мчишься, на бегу сменив
Покров песчаный на покров бетонный.
Ты лечишь раны, утоляешь боль,
Весь мир окольцевавшая дорога,
Надежный шлях.
                    И потому позволь
Тебя призвать на помощь, а не бога.

Мне душу ранит горькая юдоль
Всех тех, что, веря в древние скрижали,
В молитвах, на кладбищенских камнях
Свет замогильный д о м о м называли...

13

Не верю я в тот вечный дом, мой шлях!
Я только путник, временный, конечно,
Как все, а все же вечно, вечно, вечно
Я быть хотел бы у тебя в гостях.

Когда бы все, кто там, в кромешной мгле,
Нашли обратный путь в наш мир зеленый,
Они бы благодарные поклоны
Не богу отбивали, а земле.
Земля одна для всех, кто там, кто тут,
Надежда, справедливость, человечность.
И в ней одной их вечность и невечность.

Она для всех единый высший суд.
Все отшумит— пустая слава, мода,—
И жить лишь те останутся слова
И помыслы, которым слаще меда
Банкетного была полынь-трава.
Растет полынь в окопе, у землянки
И там, где пни корчуют тягачи.
И только не растет на той делянке,
Где не работу делят, а харчи.

Не за наживой легкой, а на подвиг
Шел наш земляк, чей полновесный стих
Трудом добыт и вдохновеньем поднят,
Как самородок
                    из глубин земных.

14

Примеру этому рекомендаций
Не надобно моих, да и ничьих,
Ни для читателей, ни для редакций.
Пишу о нем согласно прав иных,
Мой шлях!.. И не затем, чтоб скорбь суровой
Утраты нашей приглушить стихом
Хотя б на время.
                    Не скажи я слова
Теперь, как знать, смогу ли я потом?
Потом, потом... А вдруг его не станет
Вот этого п о т о м?
                    И потому
Пишу теперь, пока я на поляне,
У моего огня, в сквозном дыму,
Пока на это пламя, тьму сгущая,
Холодный пепел времени не лег...

А догорит костер, прошу тебя я,
Подписывать не надо некролог.
Вновь разложи огонь под скромным
Довском
И без меня со странником другим
Поговори о жизни, о Твардовском,
Как мы с тобой сегодня говорим
На месте том, где бушевала битва...

Пусть наша память вечная о нем
Возносится, как жаркая молитва,
Сложив
ладони дыма
над огнем.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Мой шлях, ты всех переживешь —
меня,
Тома стихов, друзей, любимых мною.
Но если вновь не избежишь ты дня,
Чреватого последнею войною,
Сражением добра с тем самым злом,
Которое у Бреста, под Москвою
Мы в сорок первом смертным жгли
огнем,—
Тот день
и нашим будет судным днем.

Тогда меня ты вспомни как солдата,
Прости грехи, коль в чем повинен я,
И все ж не дай под дулом автомата
Злу гнать мой стих на минные поля.
Не дай, чтоб за моей спиной, зверея,
Оно росло и в наступленье шло.
Позволь, чтоб стих мой миной был твоею
В бою, где захлебнется кровью зло.

Ты в судный день позволь стиху взорваться
И самому свершить свой правый суд.
Позволь ему погибнуть, чтобы тут,
Где я теперь живу, ты мог остаться.
Чтоб здесь, где не напрасны были муки,
Где тяжкий труд не обратится в прах,
Ты, сын земли, всю Землю принял в руки.
О том тебя молю,
Варшавский шлях!

Минск, 1973

Авторизованный перевод с белорусского
Якова Хелемского

* * *

Глубокоуважаемый Александр Трифонович!

Лишь сейчас, на свободе, во время отпуска, прочел Ваши воспоминания о финской войне, или, как тогда говорили, «кампании».

Мне было приятно прочесть в начале записок о том, что Вы заболели вскоре после приезда в Ленинград. Чувствую, что Вы улыбаетесь и думаете: какой это чудак обрадовался моему заболеванию? Сейчас объясню: я доктор, доктор из Союза писателей, который приехал к Вам в то холодное, зимнее утро и установил диагноз Вашего «детского» заболевания.

Хотя прошло уже много лет и я отношусь уже к категории людей, о которых Вы очень хорошо сказали:

Справляй дела и тем же чередом
Без паники укладывай вещички,—

но прекрасно помню Вас и обстановку. Большой номер Европейской гостиницы, Вы, молодой, высокий, стройный, красивый — отличный человеческий экземпляр. На Вас гимнастерка и штаны военного типа, высокие белые валенки и белый овчинный полушубок, накинутый на плечи. Почему был надет полушубок, мне теперь неясно. Холодно ли было в гостинице, или у Вас был озноб из-за высокой температуры?

Чем объяснить, что все это так запомнилось? Во-первых, Вы гость из Москвы, затем — «взошедшая звезда», а самое, пожалуй, главное — необычность для меня (терапевта-кардиолога) Вашего диагноза. И, знаете, это чисто профессиональная черта — запоминать необычных больных.

Как бы то ни было, диагноз был поставлен правильно, и, судя по дальнейшим Вашим записям, Вы скоро поправились.

Этот рассказ, Александр Трифонович, только повод для того, чтобы выразить мое глубокое уважение и любовь к Вам как к Поэту, общественному деятелю и гражданину!

Желаю Вам здоровья, душевного покоя, долгих лет творческой жизни!

С глубоким уважением

И. РЕЗВИН

1969

* * *

Дорогой Александр Трифонович!

Да, да, именно дорогой, хотя мне с Вами пришлось встретиться лишь дважды. Эти встречи я пронес как немногое счастливое, что у меня осталось в памяти из числа счастливых встреч.

Если вспомнить зиму 1942 года... Вы в нашей замечательной 33-й армии, недалеко от Шанского завода, на смоленской земле. Вы читаете свои наброски из «Теркина». Здесь новый командующий — Гордов, член Военного совета Роман Павлович Бабийчук и еще ряд из командования армией. Я смотрю на Вас как зачарованный, боюсь приблизиться к Вам, с упоением слушаю. Отлично помню, как мой наставник и начальник Роман Павлович Бабийчук, хвалил Ваш талант.

Я же, слушая Ваши стихи, думал о своем страшном горе и об участи моего отца, бывшего командующего этой 33-й армией — Михаила Григорьевича Ефремова, совершившего героический рейд в сторону Вязьмы и так незаурядно проявившего личные и полководческие способности.

Теперь в Вязьме ему памятник, останки из села Слободка перенесены в Вязьму. Улица в Москве названа его именем. Военные люди в своих мемуарах тепло о нем отзываются. Вышла книга о нем: Виноградов. «Герой-командарм».

Я же свой сыновний долг исполню только тогда, когда Вы, дорогой Александр Трифонович, своим пером расскажете людям об этом человеке. Я очень хочу просить Вас об этом. Утешаю себя мыслью, что Вы поймете и не осудите.

Простите за столь непродуманное письмо, но Ваш голос сегодня по радио придал мне смелости поздравить с присуждением Вам Государственной премии СССР за 1971 год и пожелать хорошего и только хорошего здоровья, а значит, и многих лет жизни, что я и делаю в конце своего послания.

Давно и всегда уважающий Вас

М. ЕФРЕМОВ

18. II. 1971 г.

P. S. Вы очевидно и не предполагаете, какое значение имели Вы и встречи с Вами в моей жизни. Об этом расскажу, когда увидимся.

Еще раз примите мои самые искренние и лучшие пожелания.

М. Е.

* * *

В 1942 году, когда Гитлер все силы бросил на Сталинград, на Верхнем Дону, южнее Воронежа, наступило затишье. Здесь, как сообщало Совинформбюро, шли бои местного значения. Мы находились в обороне.

Как-то в облачную ночь вместе со штабистами пехотного батальона мне пришлось переправиться на маленький островок, где наш взвод занимал плацдарм. Островок, заросший широковетвистыми вязами и красноталовым кустарником, стал рябоватым от взрывов авиабомб и снарядов, многие деревья и кусты были вырваны с корнями.

Вот на этом островке утром мне попался в руки журнал «Красноармеец», где были напечатаны главы из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». У меня не было в это время желания читать стихи. Но я не мог быть равнодушным к Твардовскому, потому что в моей памяти жило очарование его поэмы «Страна Муравия», подлинно народного произведения русской советской поэзии.

Я открыл журнал... Снова и снова перечитывал главы поэмы «Перед боем», «Переправа», «Гармонь». Молодой командир взвода, увидев мое заметное волнение, спросил:

— Интересно? А?

— Читай! — Я передал ему журнал.

Он сидел за сколоченным наспех столом, читая поэму, громко вскрикивал:

— Как здорово!

А через некоторое время командир взвода вызвал Александра Паршина, молодого парня из нашего Порецкого района, говорил ему:

— Обязательно прочитай своим, а потом передай другим отделениям.

— Есть читать! — отрапортовал Паршин и быстро вышел из землянки.

На моих глазах поэма Твардовского нашла путь к солдатским сердцам. Не генерал, не Герой Советского Союза, незаметный на вид человек, Василий Теркин, из всех героев, созданных советскими писателями в годы войны, занял прямо-таки маршальское место. На фронтах редкий солдат

не курил, расходовалось ежедневно много махорки и самосада, газет и книг. Солдат-курильщик, надо сказать, был свирепым критиком, не щадил ни книг, ни поэтов, даже именитых, кто

Самим Фадеевым отмечен,
Друзьями в классики намечен,—

но я на своем пути из глубины России до Праги не видел солдата, осмелившегося рвать на самокрутки листки из книги «Василий Теркин», хотя она была издана в серии «Библиотека красноармейца», на тонкой бумаге.

ЯКОВ УХСАЙ,
народный поэт Чувашии.

* * *

Дорогой Александр Трифонович!

Понимаю, что мое письмецо окажется маленькой, незаметной частицей в Вашей почте, видимо всегда большой, а в эти дни особенно.

И все же не могу промолчать — очень хочется поздравить Вас с днем рождения (к Вам, мне кажется, не подходит казенно-торжественное слово «юбилей») и пожелать всего хорошего, самого хорошего, и прежде всего — здоровья, долгих лет творчества и радостей.

Должно быть, мне нужно представиться, чтобы Вы знали, чье письмо к Вам пришло. Я Мостков Юлий Моисеевич, один из редакторов Западно-Сибирского книжного издательства.

До сих пор, хотя с того времени прошло более четверти века, храню тепло Вашего рукопожатия. Я знаю (в частности, мне говорил об этом Сергей Павлович Залыгин), что Вы обладаете изумительной памятью, но не уверен, что случай, который меня свел с Вами, запомнился Вам.

Это было в 1943 году. Меня вызвали в штаб бригады (я был командиром взвода противотанковой батареи) и приказали к 23 февраля быть в Смоленске. Мне и одному политработнику поручили представлять нашу бригаду на торжествах по случаю Дня Красной Армии и освобождения Смоленска (таких представителей прислали все соединения и части, удостоенные звания «Смоленских»).

Помню совсем разрушенный город, измученных и усталых людей — на улицах их почти не было. И большой зал, срочно приведенный в порядок для торжественного собрания.

После собрания нас пригласили на ужин. До сих пор сохранилось ощущение сказочной роскоши: после траншей и землянок, после развалин Смоленска и многих других городов и деревень показалась невероятной сама возможность существования белых накрахмаленных скатертей, официанток с наколками, по всем правилам сервированного стола, яркого электрического освещения. Официантки на подносах разносили «Казбек», и всем нам, привыкшим к махорочным самокруткам, это тоже казалось удивительным.

Если Вы помните, столы стояли буквой «П», за средним столом находился генералитет (до того я никогда не видел столько генералов сразу). Моими непосредственными соседями за боковым столом оказались партизан и летчик, летавший к партизанам. Конечно, у нас нашлись темы для разговора,— получилось так, что мы знали войну «с разных концов».

И совсем неожиданным для меня было, когда кто-то из генералов громко попросил, чтобы поэт Александр Твардовский прочел стихи.

Тогда я Вас увидел впервые. Но знал я Вас гораздо раньше — потому что ни одной главы «Василия Теркина» не пропускал.

Вы прочли главу «О награде». До сих пор хорошо помню и Ваши интонации, и единственный Ваш жест — при словах:

И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна,—

Вы провели ребром ладони по шее: мол, позарез.

Не буду Вас утомлять подробностями. Скажу только, что весь вечер мучился желанием подойти к Вам и робел, но потом не выдержал. И оказался свидетелем неожиданного диалога: какой-то майор опередил меня и очень казенными словами стал объяснять Вам значение Вашего творчества.

Меня тогда поразили Ваши глаза — я увидел, какими они могут быть холодными. Вы сказали майору:

— Зачем произносить слова, в которые Вы сами не верите?

Он, что-то пробормотав, ретировался.

«Сейчас и мне нагорит. Но я все же скажу, что хотел»,— подумал я и подошел к Вам.

— Позвольте мне просто пожать Вашу руку. И спасибо за «Теркина».

Я, честно говоря, ожидал такой же суровой отповеди. И, по-моему, был близок к ней. Вы пристально посмотрели на меня, и вдруг я почувствовал (именно почувствовал), как потеплели Ваши глаза. Вы сказали только три слова:

— Спасибо, лейтенант, спасибо.

Я крепко пожал Вашу руку и отошел — на более продолжительную беседу у меня смелости не хватило, да и слишком много генералов сидело за столом.

Впрочем, чтó я мог сказать Вам такого, чего бы Вы не знали?

Но я взялся за перо не для воспоминаний, хотя и дорогих для меня.

Просто я хочу, дорогой Александр Трифонович, сказать Вам спасибо за Ваши поэмы и стихи, за Ваши слова о Пушкине и Бунине, об Исаковском и Маршаке, за Ваше редакторство в «Новом мире», за Ваше бесстрашие и правдивую мудрость.

Спасибо Вам за то, что Вы всегда были рядом — и на войне, и после нее.

Будьте здоровы и бодры. И пусть жизнь подарит Вам много счастья, столь заслуженного Вами.

С днем рождения, дорогой Александр Трифонович!

Ю. МОСТКОВ

1970

* * *

Александр Трифонович Твардовский пришел в редакцию фронтовой газеты «Красноармейская правда» несколько позднее других московских писателей. Меня с ним познакомил тогда еще молодой прозаик Евгений Воробьев. Он представил меня как бродягу-пешехода, которого не берут никакие пули и осколки. Александр Трифонович пошутил:

— В каком смысле не берут — отскакивают или не долетают?

Уточнять мы не стали. Заговорили о редакционных делах, о положении на фронте.

Чувствовалось, что поэт за короткое время хорошо познакомился с комплектом газеты и знал, чего можно ожидать от каждого из корреспондентов. Ему не нравилось, что мы слишком увлекаемся внешними описаниями героизма, чисто батальной стороной дела: первым поднялся в атаку, умело действовал штыком и гранатой, выручал товарищей. А настрой человека, его душевные порывы, сложнейшие переживания, предшествовавшие минутам боевого вдохновения? Ведь не роботы же нажимают на спусковой крючок, лезут в самое пекло боя, а живые люди, стриженые ребята, и каждый из них — это целый мир, познание которого

является нашей главной обязанностью. Из моих очерков и корреспонденций он выделил лирическую миниатюру «Солдат остается солдатом», напечатанную до прихода Твардовского в нашу редакцию.

На одном из редакционных совещаний Александр Трифонович с присущим ему тактом, но достаточно веско и убедительно критиковал редакцию за то, что она редко адресуется к сердцу солдата.

Однажды, вернувшись из очередной поездки на передовую, узнаю, что в этот день Твардовский будет читать законченную накануне главу из поэмы «Василий Теркин». Никто из нас не предвидел, что он услышит слова, способные потрясти души и оживить картины, виденные любым из нас, но впервые осмысленные мощным талантом великого художника. А голос поэта, негромкий, проникновенный, временами прерывающийся от скрытого волнения, взывал к нашей памяти:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый.
Снег шершавый. Кромка льда.

Кому память, кому слава,
Кому темная вода —
Ни приметы, ни следа.

«Может, это Соловьевская переправа на Днепре? — гадал я, слушая поэта.— Это там над головами наших солдат пикировали немецкие самолеты и «люди, теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно...».

Опустил неунывающую голову наш редакционный Кола Брюньон, мастер безобидных шуток и розыгрышей, кубанский джигит Александр Шестак. Знаю, Сашко, о чем ты думаешь: такую переправу ты и сам видел на Березине в первые дни войны... Разве не там столбом ставили воду вражеские снаряды и бомбы, рассекая в клочья один беззащитный понтон за другим?

Видел я, как читали «Переправу» и последующие главы поэмы в окопах и траншеях, на командных пунктах дивизий, полков. Известный всему фронту снайпер Гуляев, якут, которого я часто навещал, к этому времени знал уже достаточно русский, чтобы почувствовать всю правдивость, все величие неповторимой картины переправы. Немногословный и скромный труженик войны только и сказал:

— Да ведь и я там был, все видел.

У нас, корреспондентов, спрашивали: где, в каком полку, на каком участке необъятного фронта, сошлись пути волшебника слова Александра Твардовского и бывалого, подлинно русского бойца Василия Теркина? Не так легко

было объяснить людям, что Теркин — собирательный образ, имеющий своих прототипов везде, где ни на минуту не стихает смертный бой «ради жизни на земле». Александра Трифоновича эти наивные вопросы фронтовиков не удивляли — он достаточно глубоко знал солдатскую душу. Но однажды разволновался и он: вольнонаемный сотрудник газеты, московский журналист Володя Аринич видел в одном медсанбате тяжело раненного бойца... Василия Теркина, тезку вымышленного героя, человека такой же неповторимой судьбы. Ехать в медсанбат не имело смысла, раненых там не задерживали и при первой возможности отправляли в госпитали. Но душа поэта, по его признанию, рвалась к этому всамделишному Василию Теркину.

Каждую новую главу поэмы ждали в редакции и на фронте как праздника. Александра Трифоновича даже хотели освободить от повседневных редакционных забот. Но где там! Он придумывал меткие газетные «шапки», консультировал корреспондентов, которым предстояло написать особо волнующий репортаж с переднего края.

Позднее, когда фронт подошел к границе Восточной Пруссии, понадобилась его консультация мне и майору Григорию Улаеву. В дивизии, которой командовал генерал Калинин, сумели переправить через пограничную речушку Шешупу отборную группу автоматчиков. Это был первый занятый нами на Третьем Белорусском клочок немецкой земли, так называемый «пятачок». Автоматчики окопались и при огневой поддержке с восточного берега Шешупы не подпускали к себе фашистов. Одну ночь провели с этими автоматчиками и мы, два корреспондента.

Выслушав наш взволнованный рапорт, заместитель редактора категорически заявил, что не стоит писать о мелком эпизоде, который никем не будет замечен: «Разве земля за Шешупой чем-нибудь отличается от земли нашей, литовской, той, где дивизия генерала Калинина давно держит оборону?»

Встретив нас после такого холодного душа, Александр Трифонович поинтересовался: чем, собственно говоря, мы расстроены? Есть ведь новый редактор, полковник Фоменко, умный журналист, который не скажет, что ночь, проведенная на немецкой земле, — пустая затрата, ненужный риск: «Идите к редактору и готовьтесь к обширному репортажу. А завтра вам позавидует вся журналистская братия». Так оно и было: за ту газетную полосу Военный совет фронта наградил журналистов орденами.

Я. ГЕРЦОВИЧ

Минск, 1972

* * *

Дорогой Александр Трифонович!

Я встречался с Вами только один раз. Это было, кажется, в мае или начале июня 1944 года, перед прорывом нашими войсками обороны немцев между Витебском и Оршей. Был я тогда младшим лейтенантом, служил в танковой армии Ротмистрова. Части наши в это время переформировывались, и я смог на несколько часов отлучиться. К тому времени у меня было написано несколько стишков о боях в Румынии, откуда мы только что прибыли, и я ринулся на поиски редакции «Красноармейской правды».

Помню, я нашел ее в какой-то небольшой смоленской деревушке. Здесь-то меня и показали Вам, предупредив предварительно о том, что такое есть Вы. И то ли это предупреждение, то ли то, что я и сам знал, к кому иду, но кончилось все тем, что я не решился тогда показать свои стихи. Однако как-то получилось так, что Вы втянули меня в разговор и я несколько часов пробыл рядом с Вами, а вечером уехал на попутной полуторке, одетый в Ваш плащ. «Шуба с царского плеча», как я не без гордости говорил своим товарищам в части. Потом, уже много времени спустя, кажется, в Восточной Пруссии, я через одного из корреспондентов «Красноармейской правды» вернул Вам этот плащ в изрядно потертом виде, с пятнами от газойля и подпалинами от костров.

Получили ли Вы его? И помните ли вообще этот случай? По всей вероятности, нет. А во мне тот день оставил зарубку, которая не стерлась и по сие время.

Поскольку Вы просили тогда почитать Вам стихи, а я не смог этого сделать, выполняю Вашу просьбу сейчас, спустя пятнадцать лет. Читать весь сборник будет долго и, боюсь, скучно. Но я был бы рад, если бы Вы прочитали стихотворение «Переправа».

В апреле 1955 года я как корреспондент «Красной звезды» в Вене был приглашен венгерской военной газетой «Непхадшерег» на празднование 10-летия со дня освобождения Венгрии Советской Армией. Днем в Будапеште был военный парад, а вечером в городском театре — торжественное заседание, на котором присутствовала советская правительственная делегация во главе с К. Е. Ворошиловым. Затем начался концерт.

Одним из первых номеров было художественное чтение. Артист, видимо венгерский Журавлев или Балашов, стал читать стихи. Венгерского языка я не знал. Но очень скоро по ритмике стиха, по жестам актера, а главное — по тому, как реагировала публика — то замрет, то вздохнет облегченно, то рассмеется внезапно, то вдруг опять затаит дыха-

ние,— я почувствовал в стихах что-то знакомое. Рядом со мной сидел полковник Венгерской Народной Армии, живший некоторое время в Москве и знавший русский язык.

— Не Твардовский ли это? — спросил я у него.

Он ответил утвердительно.

— А не «Теркин» ли?

Он подтвердил и эту догадку. Так постепенно, на ощупь я добрался до того места в поэме, которое звучало сейчас со сцены. Это была глава «Переправа».

Так появилось это стихотворение, которое, очевидно, могло быть более сильным, но я уже доволен и тем, что смог ответить Вам хотя бы этим добрым словом за то поистине братское отношение, которое было проявлено Вами пятнадцать лет назад к младшему лейтенанту-танкисту во время случайной встречи с ним на одном из перекрестков великой войны.

С глубочайшим уважением

Л. РЕШЕТНИКОВ

2.2.59

* * *

...В августе 1944 года, в начале освобождения Польши, меня ранили. Санитара поблизости не оказалось, и у самого не было пакета «первой помощи» — за несколько минут до этого истратил бинт на товарища,— а кровь густо пенилась сквозь штанину. Бежать было трудно и отставать опасно: когда находишься в прорыве, можно сказать, в тылу врага, не мудрено нарваться на пулю. Надежнее было тянуть за рвущимися вперед танками.

Неожиданно наткнулся на комсорга нашей танковой бригады, молоденького лейтенанта. Он сначала прикрикнул: «Почему отстал?» А сообразив, в чем дело, стал торопливо шарить в командирской сумке, чем бы перевязать меня. Но оказалось, что в сумке бережно хранились одни лишь газеты. На мое удивление, запасливый грамотей решил, что они сгодятся и для перевязки. Деловито разорвал мою штанину, ногу под коленом перехватил обмоткой, рану обернул газетой и сверху закрепил обмоткой.

Медики принялись за меня ножницами и пинцетами, поругивая «первую помощь»: как это человеку пришло в голову такое — от газеты могло произойти загрязнение раны.

Когда ногу спеленали стерильно белым бинтом, я выкрал из таза окровавленный лист газеты; распирало любо-

пытство: зачем молодой политрук хранил ее? Расправил, разгладил и высушил. На пропитанном кровью лоскутке сохранились строчки стихов:

И пойдешь в огонь любой,
Выполнишь задачу.
И глядишь — еще живой
Будешь сам в придачу.

А застигнет смертный час,
Значит, номер вышел.
В рифму что-нибудь про нас
После нас напишут.

Стихи обожгли и обрадовали. Мне захотелось узнать: кто их автор? Солдаты и офицеры охотно слушали стихи, хвалили, пытались помочь, называя разных поэтов, чаще всего довоенных песенников.

А однажды из палаты лежачих выполз подполковник Бредихин, заместитель командира 50-й гвардейской танковой бригады. Прислушался к нашему спору-гаданию и внес ясность.

— Твардовский, Александр Твардовский,— спокойно сообщил он.— Подожди-ка...

Он сходил в палату и вынес маленькую книжечку. На титульном листе черным по белому — «А. Твардовский». А красным — «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН».

«Книгу про бойца» читали коллективно и каждый по очереди. Чем дальше, тем медленнее перевертывались страницы, строчки захватывали, заставляли задумываться, заглядывать в ту даль, куда вел поэт. По интонации, близости поэтической речи к разговорному русскому слову угадывалось, что Твардовский свой человек в солдатской семье. В гуще народной он подметил, что и в трагической обстановке «святой и грешный, русский чудо-человек» не обходится «без прибаутки, шутки самой немудрой».

Из строки в строку, со страницы на страницу, из главы в главу текла полноводная река правды. Книга запелась «в тяжкий час земли родной». В такую пору только правдивое слово могло быть услышано народом и породило ответную реакцию.

Для нас, самого молодого поколения фронтовиков, «Книга про бойца» была откровением. В учебном стрелковом полку очередных стриженых новобранцев учили ползать по-пластунски, стрелять из трехлинейки. Хотя и готовили к войне, но не могли, а может, не умели зримо и ясно нарисовать: что это такое — война?

И то, что не под силу было офицерам учебного полка, оказалось по плечу рядовому бойцу Василию Теркину. Когда читал рассказ о сабантуе, то с замиранием сердца и

горьким сожалением думал: почему эта мудрая книга не попала мне и моим товарищам заранее, перед боем? Честное слово, по-иному бы мы провели свой первый бой.

Потрясла глава «Перед боем». Я не просто перечитывал строки, чтобы запомнить,— нет, всматривался, хотел увидеть, всем существом почувствовать, как же мучительно трудно и совестно было советским солдатам из тыла «к фронту пробиваться, с той немецкой стороны».

Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас...
То была печаль большая,
Как брели мы на восток.
Шли худые, шли босые
В неизвестные края.
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?

Горечь, боль, укор в каждой строке. По подсказке Василия Теркина я узнал, что на войне самая главная боль — это не боль раны, а боль утраты даже малой пяди родной земли, хотя бы такой, как населенный пункт Борки. Призванный из запаса только тогда становится настоящим солдатом, защитником Отечества, когда готов, как за родной дом, сражаться за любую частицу советской земли.

Русские солдаты сумели защитить Родину. Этот подвиг записал для потомков летописец войны А. Твардовский.

М. МОРОЗОВ

Коченево, 1972

* * *

...Александр Трифонович Твардовский в марте 1947 года баллотировался кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Неоднократно он приезжал в Вязники на встречи с избирателями. При встречах с рабочими района его всегда сопровождал секретарь Вязниковского райкома партии, ныне персональный пенсионер Федор Дмитриевич Алексеев. Федор Дмитриевич вспоминает один случай, который врезался ему в память.

После встречи с трудящимися фабрики «Марксист» (поселок Паустово) А. Т. Твардовскому, Федору Дмитриевичу Алексееву и председателю окружной избирательной комис-

сии Сергеевой Антонине Павловне надо было посетить последний пункт их маршрута, фабрику имени Розы Люксембург в поселке Ново-Вязники.

«Был мартовский денек, уже пахло весной, но, несмотря на это, снегу было много. Мы ехали,— вспоминает Федор Дмитриевич,— на легковой машине «эмка». Немного отъехали от арки фабрики «Марксист», всего каких-то 300 метров, машину вдруг занесло в сторону, и она стала буксовать. Но, как назло, на дороге не было видно ни машин, ни людей. А мы спешили, ведь нас ждали.

Александр Трифонович вышел из машины, внимательно оглядел положение «эмки» и вдруг предложил мне:

— Давайте, Федор Дмитриевич, рискнем, обойдемся своей силой, время ведь не ждет. Поднимем за задние колеса и поставим машину на дорогу.

Взялись мы с ним вдвоем... и вскоре машина задними колесами стояла на твердой почве. Дальше до фабрики имени Розы Люксембург все было благополучно.

На встрече с нововязниковцами все шло хорошо, хотя Твардовский сильно устал (он выступил уже на пяти участках). Но так же, как и везде, выступления Александра Трифоновича и чтение им отрывков из поэмы «Василий Теркин» встречались громом аплодисментов.

А я все думал о случае на дороге,— говорит Федор Дмитриевич Алексеев,— и поражался находчивости поэта и его недюжинной силе».

Записал и прислал В. ГЕРАСИМОВ

1972

* * *

Дорогая и многоуважаемая Мария Илларионовна Твардовская!

Этим письмом вас беспокоит читатель, любитель стихов покойного А. Твардовского Ахундов Мамед из далекого Азербайджана.

Мария, вы знаете из газеты, что с 3 по 10 октября в Азербайджане, то есть на моей родине, проходили дни литературы и искусства РСФСР. К нам приехали гости, писатели и другие видные деятели литературы и искусства, они не были там, где я живу и работаю, они были от меня далеко. Я за месяц раньше стал готовиться к этим дням, хотя у меня была на душе тяжесть, потому что я знал: среди них нет моего любимого поэта А. Твардовского. Я за месяц раньше увеличил портрет моего любимого поэта: то фото, которое

вы послали мне на память, на хорошую рамку посадил и застеклил, внизу портрета сделал такую надпись:

«На добрую память о днях литературы и искусства РСФСР в Азербайджане от читателя Ахундова Мамеда».

Теперь стоял передо мной вопрос, как это вручить представителю Союза писателей РСФСР тов. Алексееву. Он в Баку, а я в отдаленном районе.

Значит, надо поехать в Баку. До этого я поехал в наш райцентр город Евлах и прослушал звукозапись голоса моей девочки Динафары, которой исполнилось 3 августа 1972 года семь лет, она с пяти лет выучила из Василия Теркина наизусть, конечно на азербайджанском языке, раздел «Гармонь».

9 октября сел на самолет, через 55 минут был в Баку. Когда самолет летел в Баку, со мной был портрет любимого поэта, «Василий Теркин» с автографом поэта и книга «За далью — даль». И так получилось: автор, читатель и герой автора вместе летели в Баку.

А когда я ходил с портретом под мышкой по Баку, всегда говорил про себя: «Познакомься, дорогой поэт,— это самая красивая улица — 28 апреля. А это Музей Низами — тоже великим поэтом был Азербайджана. Это сад Сабира, а это Физули». В общем, со всеми видными местами Баку я познакомил портрет поэта и героев его поэм.

После приехал я в Союз писателей Азербайджана. Когда входил в вестибюль Правления Союза писателей, я говорил: «А это Союз писателей Азербайджана».

На втором этаже Союза писателей стоит большой портрет Самеда Вургуна, а портрет А. Твардовского поставлю рядом с портретом Самеда Вургуна и произнесу в душе просьбу: «Вы вместе оба для меня великие поэты, и хоть вас нет на свете, но вы всегда находитесь в душе каждого азербайджанца».

После этого я заходил к секретарю-машинистке Союза писателей — ее зовут Кубра-ханум — рассказал ей, откуда приехал, зачем приехал, что меня заставило приехать. Кубра-ханум удивленным взглядом смотрела на меня и радостно сказала:

— Вы делаете очень хороший шаг, это и есть инстинная дружба народов. Оставьте портрет, мы вручим его тов. Алексееву.

Она сделала отметку: «От Ахундова Мамеда из Евлаха, вручить товарищу Алексееву». После этого я поехал в аэропорт и обратно вылетел домой. Но не знаю, портрет вручен или нет, прошу об этом написать мне.

Пусть будут вечно дружны не только взрослые из семей Твардовских и Ахундовых, но и их дети. Желаю от всей души счастливой жизни всем членам вашей семьи.

Портрет другой висит в моем доме, а один фотограф повесил фото Александра Трифоновича в витрине своего ателье.

АХУНДОВ МАМЕД ДЖАФАР-ОГЛЫ

Евлах, 1972

* * *

Всем известно, что жизнь состоит не только из праздников, которых, как ни много в календаре, все же меньше, чем будней, наполненных трудом и заботами, перемежающимися чередой неудач, порой нежданно-негаданно обрушивающихся на наши головы, как снег с чистого неба. Особенно огорчительны первые неудачи, последовавшие за первыми же кажущимися или вполне правомерными успехами, они ранят больно и надолго; случается, что даже самые многоопытные и мужественные из людей готовы спасовать перед ними, растеряться, надолго впасть в уныние. А что уж говорить об авторе двух-трех жиденьких книжонок, только что обретшем свое литературное имя...

И вот в такие минуты горестных уныний, как раз в канун Майских праздников, пришел из Москвы небольшой конверт с редакционным грифом и поздравительной открыткой внутри — обычное редакционное послание автору перед годовым праздником, несколько напечатанных на машинке строчек с выражением привета, ниже которых характерным угловатым почерком было дописано:

«Все минется, а правда останется.
А. Твардовский».

Не знаю, может, во всем этом и впрямь не содержалось ничего необычного, возможно, все это — обычный жест вежливости, но для меня в тот момент эта строчка огненными буквами засияла на небосклоне, сверкнула призывным лучом маяка, возвещавшим заблудшему путнику о его спасении. Действительно, как это просто!

Пока жив хоть один человек на свете, не исчезнет в мире жгучая необходимость в правде, неизменно освещающей человеку запутанный лабиринт его бытия, указующей ему путь к свободе и лучшему будущему. С правдой возможно все, без нее невозможно ничего. Без правды нет движения, без нее застой, гибель, тлен...

Все минется, правда останется! Какая великая мудрость заключена в этих четырех словах древнего народного утверждения.

Не скажу, что эти слова разрешили для меня все и ото всего освободили, но все же какой-то значительный груз спал с моих плеч. Это было утешение, и я с радостью принял протянутую мне руку поддержки, тем более такую руку! Как при вспышке молнии во тьме, явственно обнаружился ориентир, который я, ослепленный и растерзанный, готов был потерять в громыхании критических залпов. Он дал мне возможность выстоять в самый мой трудный час, пошатнувшись, вновь обрести себя и остаться собой.

Потом были многие не менее мудрые и прекрасные его слова, были разговоры, критические и одобрительные, но именно эти первые четыре слова поддержки и утешения на всю жизнь запали в мое сознание. Наверно, это потому, что сами они были исторгнуты из самых чутких глубин души великого человека, кто, может, не менее других нуждался в утешении, правде, и, может быть, недополучил их при жизни. Это последнее сознавалось тем обиднее, что, наверное, все мы, в свое время обласканные им, чего-то недодали ему самому, по беззаботности или по недомыслию полагая, что ему-то утешение ни к чему, что его у Александра Трифоновича в достатке. А как нет? Что же тогда может извинить нам эту непростительную нашу небрежность?

И вот теперь, когда минуло многое и его уже нет, остается лишь еще раз убедиться в непреходящей ценности правды, к которой обязывает нас память перед его светлой и огромной личностью.

ВАСИЛЬ БЫКОВ

Минск, 1972

ПИСЬМО СМОЛЕНСКИХ ПАРТИЗАН

Партизаны дивизии «Дедушка», действовавшие в 1941—1942 годах на территории Смоленской области, в этот скорбный час склоняют свои головы. Не глаза — сердце наше партизанское плачет об Александре Трифоновиче. Скорбим мы по тебе, славный сын земли смоленской. Но мы остались, и любовь твоя к нашей Родине с нами, как великая память о тебе.

В стихах твоих «К партизанам Смоленщины», изданных Главным политическим управлением Красной Армии отдельной листовкой, сброшенной к нам, во вражеский тыл, ты давал нам наказ:

Бей, семья деревенская,
Вора в честном дому,

Чтобы жито смоленское
Боком вышло ему.
Встань, весь край мой поруганный,
На врага!
Неспроста
Чтоб вороною пуганой
Он боялся куста;
Чтоб он в страхе сутулился
Пред бессонной бедой;
Чтоб с дороги не сунулся
И за малой нуждой;
Чтоб дорога трясиною
Пузырилась под ним;
Чтоб под каждой машиною
Рухнул мост и — аминь!
Чтоб тоска постоянная
Вражий дух извела,—
Чтобы встреча желанная
Поскорее была.

Этот наказ — первая весточка с Большой земли от тебя — был воспринят партизанами как боевой приказ Родины и выполнялся свято народными мстителями: уже в феврале 1942 года освободили мы древний город Дорогобуж и райцентр Глинка и удержали их до середины июня 1942 года. Кроме этого, партизанским соединением «Дедушка» было освобождено еще 420 населенных пунктов и в тылу немецкой группы армий «Центр» был создан большой партизанский край.

Так и было, как ты писал:

За Починками, Глинками
И везде, где ни есть,
Потайными тропинками
Ходит зоркая месть.
Ходит, в цепи смыкается,
Обложила весь край.
Где не ждут, объявляется
И карает...
Карай!

Только за время операции по освобождению древнего русского города Дорогобужа (с 7 по 15 февраля 1942 года) был уничтожен крупный вражеский гарнизон, состоявший из подразделений полка СС, Австрийского запасного пехотного полка, батальона СД, двух рот белофиннов и роты полиции.

На вооружении у партизан были и твои стихи.

Партизаны признательны тебе за то, что ты воспел воинскую доблесть, мужество и отвагу народных мстителей.

Очень тяжело нам прощаться с тобою, родной. Пожил бы ты еще пару десятков годков, порадовал бы нас своими чудесными стихами! Но верим — Твардовский-человек

умер, Твардовский-поэт — жив, он навсегда останется с народом, с нами...

Мир праху твоему, великий русский поэт!

Совет ветеранов 1-й Смоленской партизанской дивизии «Дедушка»

В. И. ВОРОНЧЕНКО, быв. командир партизанского соединения «Дедушка»

Н. Ф. ЮДИН, зам. начальника оперативного отдела штаба дивизии

В. М. СТЕПАНОВ, начальник разведки 3-го полка

20 декабря 1971 г.

ПРОЩАНИЕ С ТВАРДОВСКИМ

Те, кто видел его в Болгарии вскоре после войны, говорят, что то был высокий, стройный полковник Советской Армии, русоволосый, с голубыми глазами.

Я познакомился с ним прежде по его книгам, по его лирике, напоминающей волшебную простоту Пушкина, переносящей в мир смоленских деревень с просторными полянами и лесами, где парни влюблялись, расставались, покидали родной край, чтобы стать летчиками и танкистами, где царила новая человечность. Потом пришли бессмертные поэмы о чудаке Никите Моргунке и о «русском чудо-человеке» Василии Теркине, а позже, в Ленинграде, я прочел его скорбную ораторию, реквием и плач — или все это вместе,— названную «Дом у дороги». Тот, кто написал самую веселую и оптимистическую поэму и назвал ее «Книгой про бойца», написал с благородной целью внушить нам бодрость и веру,— после войны, после победы напомнил нам об обжигающей человеческой боли, о невозвратимых потерях и призвал никогда не забывать о них: об Анне и Андрее Сивцове, о родном доме, обращенном в пепелище, о детях у колючей проволоки лагерей, о тружениках, оторванных от родного края, о поэзии деревенского труда. Он исполнил святой завет многих жертв, превратил в поэзию великую скорбь и горе народа.

Прошли долгие годы размышлений, появлялись лирические сборники, многие читатели спрашивали себя, что же пишет Твардовский,— и вот в «Правде» и в журналах стали один за другим появляться отрывки из новой поэмы «За далью — даль». Круг мирной жизни словно замыкался, поэт снова возвращался к ясному небу и неоглядным просторам своей родины — на этот раз не Смоленщины, а Сибири с ее

неизмеримыми пространствами и нехожеными дорогами, ночными огнями Волги, кувалдой Уральского завода-кузнеца — ко всему, что говорило о величии и мощи советской страны, о ее богатырского размаха великом и святом мирном труде. И здесь, как и в других его произведениях, история родной страны переплеталась с биографией поэта, его гордость и восхищение ее прошлым — с размышлениями о ее будущем. У меня было такое чувство, точно и он, как Гоголь, остановился, очарованный, околдованный этими просторами, и готов спросить: «Русь, куда летишь ты?»

В последние годы я видел его несколько раз — и в его кабинете в «Новом мире», и на даче на Красной Пахре, и в его московской квартире, на Котельнической набережной Москвы-реки. Однажды летним днем — мы были с Константином Колевым — один мой близкий знакомый и друг Твардовского повез нас к нему. Мы застали хозяина на участке дачи. Одетый по-домашнему, с косой в руках, он косил на лужайке перед домом. Тогда я понял, как ценит он крестьянский труд и почему он сумел почувствовать поэзию, обаяние, волшебство всего того, что связано с этим трудом,— его радостей и жгучих воспоминаний. Он встретил нас радушно, угостил русским квасом домашнего производства, мы сидели в саду и вспоминали, как он приезжал в Болгарию за шесть-семь лет до этого. Тогда он посетил и Союз болгарских писателей и рассказывал, как ему понравились «Золотые пески», где сохранен народный колорит и естественная среда, прочел отрывки из «За далью — даль» и, по моей просьбе, короткое чудное стихотворение «Матери».

В феврале прошлого года Твардовский был еще здоров, и я попросил его переписать мне это стихотворение от руки; позднее это факсимиле вместе с двумя статьями о поэте было опубликовано в журнале «Родна реч».

Запомнились мне встречи в его кабинете в редакции «Нового мира». Всегда, когда я ставил вопрос об интервью, он отвечал: «Интервью — нет, а так можем поговорить». И мы говорили о романе Залыгина и повести Семина, о молодой поэзии и критике. Когда однажды я назвал ему двух молодых советских поэтов как пример нового оживления в поэзии, он посмотрел на меня с иронией и ответил: «Вы считаете эту болтовню поэзией?» Да, он был воспитан на поэзии Некрасова и Пушкина, в духе самых благородных и самых широких гуманистических гражданских традиций русской поэзии XIX века, он был чужд ограниченности и сектантства, но он жил чувством большой ответственности перед своим народом и своим временем. В последних его стихотворениях и поэмах все сильнее звучат философские размышления, все больше на передний план выступает са-

ма личность поэта с его пушкинским стремлением к гармонии и простоте, к афористичным поэтическим формулам — выстраданным убеждениям автора, мыслям его о судьбе поэзии, об истинном пути в искусстве.

Судьба одарила его одним из самых редких талантов, и это было его величайшим счастьем: на каждом повороте истории советского общества, на каждом переломном этапе становиться выразителем мыслей и переживаний народа, народного сознания. Всех его героев отличает самая широкая представительность, самая бесспорная полнота и сочетание всех неповторимых достоинств русского советского человека — и в годы трудного расставания с собственническим бытом, и в роковые дни «святого и правого боя ради жизни на земле», и в новую эпоху грандиозного скачка в будущее, невиданной славы и авторитета его родины.

Кто знает, может, лишь наши потомки в полной мере осознают, что в эти дни мы потеряли своего Пушкина или Блока — одного из самых народных русских поэтов, о котором мы с уверенностью можем сказать: слух о нем пройдет по всей Руси великой, и назовет его всяк сущий в ней язык.

Как тяжело, что мы никогда уже не сможем сказать: «Добрый день, Александр Трифонович!» Не увидим его крупную фигуру, его чуть прищуренные глаза и светлую улыбку, что нам остается лишь последнее: «Прощай!»

София, 1972

В. СОЛОВЬЕВ

ЕГО СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ



ервое мое знакомство с А. Твардовским состоялось на Смоленщине, родине поэта, в самые тяжелые дни войны, когда приходилось «сдавать чохом города», месить окопную грязь, в то самое безрадостное время, когда фронтовики ждали себе в поддержку ободряющее слово. И они находили его в главах «Книги про бойца», появившихся во фронтовой газете «Красноармейская правда». И как они были рады, как были благодарны Твардовскому за слово бодрости и надежды...

Каждый из нас верил его словам:

Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — все вернем.

Я счастлив, что в моей личной библиотеке есть не только все, что написал Твардовский, но и две книги с автографами, подаренные лично мне Александром Трифоновичем в разные годы.

В одной из них под портретом автора помечено его рукой: «1943 г. 3-й Белорусский фронт», а на титульном листе другой: «Василию Степановичу Соловьеву — с добрыми пожеланиями — от автора. А. Твардовский. 7. 7. 70 г. М.»

Надо ли говорить, как тронули и согрели меня эти теплые строки. Александр Трифонович, высылая книгу, вряд ли мог подумать, что тот, которого он никогда не видел, останется одним из преданных его почитателей, а я в то время, когда получил ее, не знал, что это последняя весточка от дорогого человека.

Часто беру в руки его книги и испытываю и радость, что могу бесконечно смотреть на фотографию поэта, такого простого и обаятельного, и щемящую до слез боль от сознания,

что нет его больше среди нас, что «дышать он с нами перестал».

В трудные послевоенные годы, когда был «в селах душам куцый счет», когда у многих было как у той тетки Дарьи с ее «трудоднем пустопорожним и трудоночью — не полней», «Книга про бойца», напечатанная на плохой бумаге, стала для меня настольной. С каким удовольствием я вновь и вновь перечитывал ее, не переставая удивляться и восхищаться тем, как «легко» и «светло» она написана.

Я читал ее и своим друзьям. Очень берег и был до слез огорчен, когда однажды в дождь уронил «Василия Теркина» на землю. В эту минуту, в ночной осенней темноте, я почувствовал вину перед создателем этой книги за то, что не уберег ее в первозданном состоянии. Вид ее не был восстановлен, несмотря на мои старания, но мне она стала, кажется, еще ценнее.

Шли годы. Я окончил институт. Стал преподавателем математики и физики в Тоцкой средней школе и начал читать «Книгу про бойца» ученикам-девятиклассникам, у которых был классным руководителем.

Ребята были в восторге, им сразу пришелся по душе неунывающий герой Твардовского. Но однажды на очередной час классного руководства пожаловал инспектор районо. Я продолжил чтение, дополняя прочитанное рассказами о лично пережитом.

И вот за то, что я читал «Василия Теркина» учащимся, мне пришлось держать ответ на педсовете, за то, что «нашел какую-то книжку и занимается громкой читкой».

Это глубоко оскорбило меня, фронтовика, который сам изведал дороги войны.

Слова — «нашел какую-то книжку» — я воспринял как оскорбление автора, и я в ответ сказал тогда: «Подождите, эту книгу введут в программу, и наши дети будут изучать ее как шедевр русской поэзии».

И действительно, на выпускных экзаменах учащимся была предложена тема о Василии Теркине.

«Сытый голодного не разумеет»,— говорит пословица. Она в какой-то степени относится к тем составителям радио- и телепередач и к тем, кто пишет о войне, не побывав на ней и не изведав «малый, средний и главный сабантуй».

И вот, когда пишут те и составляют, кто этого не изведал, то проскальзывает фальшь и упрощенчество.

После какого-то серенького рассказика о фронте, подогретый чувством протеста против безответственного увлечения песнями, подобными «Нинке», которые стали все чаще вырываться хриплым голосом из магнитофонов, когда голос «Теркина», прежде громко повторявшийся по радио, совсем умолк, да и голос Твардовского по каким-то причинам,

казалось, как бы слабел, я обратился в Комитет Всесоюзного радиовещания 17. 7. 1968 г. с письмом:

«Каждый раз, как только начинается передача о суровых днях Великой Отечественной войны, приходится невольно вспоминать тяжелые картины, пережитые на фронте. И все же, несмотря на это, я за то, чтобы продолжать напоминать об этих днях, что полезно для всех нас, а особенно для тех, кто о суровых днях знает по рассказам или из печати.

Но напоминать надо не серенькими рассказиками, которые проникают в печать и в эфир, а теми произведениями, которые составляют гордость русской литературы, но которые, как мне кажется, незаслуженно держим мы только на полках.

Я имею в виду прежде всего книгу про бойца «Василий Теркин» А. Т. Твардовского, равную которой, по-моему, вряд ли можно встретить. А молодежь, как мне кажется, мало знакома с ней, хотя многие были бы довольны, если бы услышали передачи. А то до нашей молодежи доходят хриплые голоса, а не такие ценности. В этом виноваты мы сами.

Прошу запланировать передачу «Василий Теркин».

Я всегда был рад за Александра Трифоновича, когда отмечались его заслуги. Автор положительной статьи о нем становился близким мне человеком. Упрек, сделанный Твардовскому, почему-то воспринимался мной как обида, нанесенная передовой мысли нашего времени.

Меня потрясло, как чутко отозвались мои ученики-восьмиклассники на смерть поэта-гражданина, как скорбно слушали они на следующий день каждое мое слово о Твардовском, как сочувственно почтили его память минутой молчания.

Это я навсегда сохраню в сердце своем. А они, юные и быстро взрослеющие, сделали еще шаг к гражданской зрелости и ответственности за все, чем живет «мать земля родная наша в дни беды и в дни побед...».

Оренбург, 1972

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. ТВАРДОВСКОМ

М., «Советский писатель», 1978, 488 стр. План выпуска 1976 г. № 10. Художник *В. В. Локшин*. Редактор *Е. Н. Конюхова*. Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*. Техн. редактор *А. И. Мордовина*. Корректоры *В. Е. Бораненкова* и *И. Ф. Сологуб*.

ИБ № 901

Сдано в набор 19.12.77. Подписано к печати 06.05.78. А 10981. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Журнальная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 30¹/₂+ +2 л. вкл. на мелованной бумаге. Уч.-изд. л. 29,90. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1013. Цена ~~2 р. 80 к~~. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграф и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109